

Владимир Солоухин

2

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ВТОРОЙ

РАССКАЗЫ

•

ПРИГОВОР
ПОВЕСТЬ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

Оформление художника
Д. ШИМИЛИСА

Солоухин В. А.

С60 Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 2. Рассказы; Приговор: Повесть.— М.: Худож. лит., 1984, с. 527.

В том вошли рассказы, написанные в разные годы, а также повесть «Приговор».

С $\frac{4702010200-356}{028(01)-84}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

РАССКАЗЫ

СВИДАНИЕ В ВЯЗНИКАХ

КАРАВАЙ ЗАВАРНОГО ХЛЕБА

По ночам мы жгли тумбочки. На чердаке нашего общежития был склад старых тумбочек. Не то чтобы они совсем никуда не годились, напротив, они были ничуть не хуже тех, что стояли возле наших коек,— такие же тяжелые, такие же голубые, с такими же фанерными полочками внутри. Просто они были лишние и лежали на чердаке. А мы сильно зябли в нашем общежитии. Толька Рябов даже оставил однажды включенной сорокасвечовую лампочку, желтенько светившуюся под потолком комнаты. Когда утром мы спросили, почему он ее не погасил, Толька ответил: «Для тепла...»

Обреченная тумбочка втаскивалась в комнату. Она наклонялась наискосок, и по верхнему углу наносился удар тяжелой чугунной клюшкой. Тумбочка разлеталась на куски, как если бы была стеклянная. Густокрашеные дощечки горели весело и жарко. Угли некоторое время сохраняли форму то ли квадратной стойки, то ли боковой доски, потом они рассыпались на золотую, огненную мелочь.

Из печи в комнату струилось тепло. Мы, хотя и сидели около топки, старались не занимать самой середины, чтобы тепло беспрепятственно струилось и расходилось во все стороны. Однако к утру все мы мерзли под своими одеялишками.

Конечно, может быть, мы не так дорожили бы каждой молекулой тепла, если бы наши харчишки были погуще. Но шла война, на которую мы, шестнадцатилетние и семнадцатилетние мальчишки, пока еще не попали. По студенческим хлебным карточкам нам давали четыреста граммов хлеба, который мы съедали за один раз. Наверное, мы еще

росли, если нам так хотелось есть каждый час, каждую минуту и каждую секунду.

На базаре буханка хлеба стоила девяносто рублей — это примерно наша месячная стипендия. Молоко было двадцать рублей бутылка, а сливочное масло — шестьсот рублей килограмм. Да его и не было на базаре, сливочного масла, оно стояло только в воображении каждого человека как некое волшебное вещество, недосягаемое, недоступное, возможное лишь в романтических книжках.

А между тем сливочное масло существовало в виде желтого плотного куска даже в нашей комнате. Да, да! И рядом с ним еще лежали там розовая глыба домашнего окорока, несколько белых сдобных пышек, варенные вкрутую яйца, литровая банка с густой сметаной и большой кусок запеченной в тесте баранины. Все это хранилось в тумбочке Мишки Елисеева, хотя на первый взгляд его тумбочка ничем не выделялась среди четырех остальных тумбочек: Генки Перова, Тольки Рябова, Володьки Пономарева и моей.

Отличие состояло только в том, что любую нашу тумбочку можно было открыть любому человеку, а на Мишкиной красовался замок, которому, по его размерам и тяжести, висеть бы на бревенчатом деревенском амбаре, а не на столь хрупком сооружении, как тумбочка: знали ведь мы, как ее надо наклонить и по какому месту ударить клюшкой, чтобы она сокрушилась и рухнула, рассыпавшись на дощечки.

Но ударить по ней было нельзя, потому что она была Мишкина и на ней висел замок. Неприкосновенность любого не тобой повешенного замка вырабатывалась у человека веками и была священна для человека во все времена, исключая социальные катаклизмы в виде слепых ли стихийных бунтов, закономерных ли революций.

Отец Мишки работал на каком-то складе неподалеку от города. Каждое воскресенье он приходил к сыну и приносил свежую обильную еду. Красная, круглая харя Мишки с маленькими голубыми глазками, запрятанными глубоко в красноте, лоснилась и цвела, в то время как, например, Генка Перов был весь синенький и прозрачный, и даже я, наиболее рослый и крепкий подросток, однажды, резко поднявшись с койки, упал от головокружения.

Свои припасы Мишка старался истреблять тайком, так, чтобы не дразнить нас. Во всяком случае, мы редко видели, как он ест. Однажды ночью, проснувшись, я увидел Мишку сидящим на койке. Он намазал маслом хлеб, положил

сверху ломоть ветчины и стал жрать. Я не удержался и заворочался на койке.

Может быть, втайне я надеялся, что Мишка даст и мне. Тяжкий вздох вырвался у меня помимо воли. Мишка вдруг резко оглянулся, потом, напустив спокойствие, ответил на мой вздох следующей фразой:

— Ну ничего, не горюй, как-нибудь переживем.

Рот его в это время был полон жеваным хлебом, перемешанным с желтым маслом и розовой ветчиной.

В другую ночь я слышал, как Мишка чавкает, забравшись с головой под одеяло. Ничто утром не напоминало о ночных Мишкиных обжорствах. На тумбочке поблескивал тяжелый железный замок.

К празднику Конституции присоединилось воскресенье, и получилось два выходных дня. Тут-то я и объявил своим ребятам, что пойду к себе в деревню и что уж не знаю, удастся ли мне принести ветчины или сметаны, но черный хлеб гарантирую. Ребята попытались отговорить меня: далеко, сорок пять километров, транспорт (время военное) никакой не ходит, на улице стужа и как бы не случилось метели. Но мысль оказаться дома уже сегодня так овладела мной, что я после лекций, не заходя в общежитие, отправился в путь.

Это был тот возраст, когда я больше всего любил ходить встречь ветра. И если уж нет возможности держать против ветра все лицо, подставишь ему щеку, вроде бы разрезаешь его плечом, и идешь, и идешь... И думаешь о том, какой ты сильный, стойкий; и кажется, что обязательно видит, как ты идешь, твоя однокурсница, легкомысленная, в сущности, девочка Оксана, однако по взгляду которой ты привык мерить все свои поступки.

Пока я шел по шоссе, автомобили догоняли меня. Но все они везли в сторону Москвы либо солдат, либо ящики (наверное, с оружием) и на мою поднятую руку не обращали никакого внимания. Морозная снежная пыль, увлекаемая скоростью, перемешивалась с выхлопными газами, завихрялась сзади автомобиля, а потом все успокаивалось, только тоненькие струйки серой поземки бежали мне навстречу по пустынному темному шоссе.

Когда настала пора сворачивать с шоссе на обыкновенную дорогу, начало темнеть. Сперва я видел, как поземка перебегает дорогу поперек, как возле каждого комочка снега или лошадиного помета образуется небольшой барханчик, а каждую ямку — человеческий ли, лоша-

диный ли след — давно с краями засыпало мелким, как сахарная пудра, поземным снежком.

Назад страшно и оглянуться — такая низкая и тяжелая чернота зимнего неба нависла над всей землей. Впереди, куда вела дорога, было немного посветлее, потому что и за плотными тучами все еще брезжили последние отблески безрадостного декабрьского дня.

По жесткому шоссе идти было легче, чем по этой дороге: снег проминался под ногой, отъезжал назад, шаг мельчился, сил тратилось гораздо больше.

Меня догнал человек — высокий усатый мужик, одетый поверх пальто в брезентовый плащ и закутанный башлыком. Этого небось не продувает. Случайный попутчик шагал быстро, и я старался тянуться за ним, хотя и знал, что для моей «марафонской» дистанции такой темп не годится, что я обессилею раньше, чем доберусь до села.

Ему-то что! Он идет лишь до Бабаева. Скоро он будет дома, а мне идти еще двадцать километров.

Дома самовар поставит ему жена, чайку горяченького. Или, может, достанет из печки щей. Они, конечно, постные, остыли, чуть тепленькие. Но все равно, если взять ломоть хлеба потолще...

Я почувствовал, что желудок мой совершенно пуст и, для того чтобы дойти до дому, я обязательно должен что-нибудь съесть, хотя бы жесткую хлебную корку со стаканом воды. Некоторое время я шел, вспоминая, как однажды, еще до войны, съел с морсом целую буханку хлеба. А то еще, помнится, я варил себе обеды, когда жил не в общежитии, а на частной квартире. Это тоже было до войны. Я шел на базар и покупал на рубль жирной-прежирной свинины. Она стоила десять рублей килограмм. Значит, на рубль доставался мне стограммовый кусок. Эту свинину, изрезав на одинаковые кубики, я варил с вермишелью. Белые кубики плавали сверху, и, когда с ложкой вермишели попадал в рот кубик, во рту делалось вкусно-вкусно... Продавали до войны и сухой клюквенный кисель. Разведешь розовый порошок в стакане кипятку...

Тут у меня в голове гвоздем засела мысль: надо будет у этого мужика, когда он дойдет до своего дома, попросить кусок хлеба,— может, даст. Если есть дом, значит, есть и хлеб в доме. Все же не голодовка теперь. Но вот ведь какая досадная психология! Когда ты сыт и у тебя все есть, ничего не стоит спросить у других людей и хлеба, и еще чего-нибудь. Но когда на этот кусок вся надежда...

«Значит, что же, вроде милостыни получится? «Подайте Христа ради!» Так, что ли? Вовсе не милостыня. Вместе идем. Почему не спросить?»

Однако я-то знал, что мой язык ни за что не повернется, чтобы и вправду в виде милостыни попросить кусок хлеба. «А может, попроситься ночевать? До его деревни километра три да там двадцать. Не дойдешь. А если ночевать пустит, то небось и поесть даст. Факт! Вот жаль, я неразговорчивый человек. Другой на моем месте теперь казался бы ему лучшим другом. Бывают такие говоруны. Теперь он сам бы уговаривал меня зайти к нему переночевать или просто чайку попить. Или, может быть, щей... Они хоть и остыли теперь, чуть тепленькие...»

— Война, брат, переживать надо! — говорил между тем спутник, не сбавляя ходу.

Наверное, мой вид, мое демисезонное пальтишко, моя усталость — наверное, все это возбудило сочувствие, иначе с чего бы это он меня взялся утешать.

— Теперь все переживают. На фронте переживают — смерти ждут каждый момент; здесь матерям да женам за своих страшно — опять переживания. А у кого уж убили, кому «похоронные» пришли, тем и подавно слезы и горе. А мы с тобой еще что! Руки, ноги целы, идем домой, а не где-нибудь в окопе лежим, значит, как-нибудь переживем.

Мне вспомнилось, что точно такой же фразой утешал меня Мишка, сидя на кровати и уминая ветчину с маслом. «Тебе-то что не пережить!» — зло подумал я про спутника. Но все же через некоторое время остыл: «Сердиться мне на него — за что? За что злиться? Что у него дом ближе, чем у меня, или что одет теплее? Я так на него злюсь,— думал я,— как будто я уж попросил хлеб, а он отказал. Или насчет ночлега. Я ведь не спрашивал. За что же злиться? А может, он и хлеба даст, и ночевать пустит,— ничего не известно».

Но и до сих пор я не знаю, как отнесся бы попутчик к моей просьбе насчет хлеба или ночлега, потому что, когда дошли до его деревни, он свернул с дороги на тропинку вдоль домов и сказал мне, дотронувшись до башлыка:

— Ну, бывай здоров! Не падай духом...

Может быть, на полсекунды опередил он меня со своим прощанием. А может быть, если бы и минуту стояли на перепутье, все равно я не осмелился бы спросить, кто знает. Так или иначе — мужик пошел к своему самовару и к своим щам, а я остался один среди ночи, вошедшей теперь в полную силу.

Метель становилась сильнее. Местами колею перемело так, что шагов десять приходилось идти, увязая почти до колен. Радостно было после этого опять почувствовать под ногами твердую опору. Хорошо еще, что в руках была палка, которой я нащупывал дорогу там, где перемело. Когда-то здесь прошла, должно быть, колонна машин, и, хоть колею давно замело снегом и узкий санный путь проторился над ней, все же колея существовала, и палка находила ее.

Как ни старался я вообразить, что глаза самой красивой девчонки со всего курса, синие глаза Оксаны смотрят на меня в эту минуту и, значит, надо идти как можно тверже и прямее, не сгибаться под ветром, не поворачиваться к нему спиной, как ни почетна была моя задача принести каравай хлеба ребятам из общежития, ночь взяла свое — мне стало жутко.

Теперь кричи не кричи, зови не зови — никто не услышит. Нет поблизости ни одной деревеньки. Да и в деревнях все люди сидят по домам, ложатся, наверно, спать, прислушиваясь к вою ветра в застрехах, в трубе, в оконных наличниках. Даже если кошка дома, то рады и за кошку, что сидит на стуле возле печки, а не шляется где-нибудь.

Я почувствовал, что, несмотря на холод, неприятная липкая испарина выступила по всему телу и словно бы вместе с ней ушли, улетучились последние силенки. Ноги сделались как из ваты, под ложечкой ощутилась некая пустота, и безразличие овладело мной. Скорее всего, спасло меня то, что не на что было присесть. Если бы я нес хоть пустяковый чемоданишко, то, наверное, сел бы на него отдохнуть и, конечно, заснул: раскопали бы на другой день, наткнувшись на островерхий бугорок снега.

Но присесть было не на что, и я механически шагал, приминая рыхлый снежок и почти не продвигаясь вперед из этой бесконечной ночи к крохотному и недостижимому островку тепла и покоя, где теперь спит моя мать, не зная, что я бреду сквозь метельную темень.

То, что мне не дойти, было ясно. Но в то же время (может быть, единственно от молодости) не верилось, что я в конце концов здесь погибну!

Случится что-нибудь такое, что поможет мне, выручит, и я все-таки дойду, и сяду на лавку около стола, и мать достанет мне с печи теплые валенки, и я наемся, а потом закурю, и ничего не будет слаще той глубокой, той долгожданной затяжки. Нет, что-нибудь произойдет, что я все-

таки не останусь здесь навсегда. Ведь это так реально: теплый дом, и мать, и валенки, и еда. Это ведь все существует на самом деле, а не придумано мною. Нужно только дойти — и все. А дома есть и валенки, и, конечно, есть у матери припрятанная на случай махорка...

Вдруг я заметил, что мои ноги (а я глядел теперь только под свои ноги) как бы отбрасывают тень, да и от самого меня простерлась вперед темная полоса. Я оглянулся. Случилось именно самое невероятное, самое чудесное и волшебное: по застарелой колее, беспорядочно разбрасывая свет фар то вправо, то влево, то кверху, то книзу, пробирался настоящий автомобиль! Я еще не знал, какой он: легковой, или полуторка, или трехтонка, или, может быть, «студебеккер», но это безразлично — главное, автомобиль, и свет, и люди, и, как и следовало ожидать, я спасен, я не останусь замерзать в этой заснеженной черноте!

О том, что автомобиль может не остановиться, а проехать мимо, у меня не было и мысли. Он для того только и появился здесь, чтобы подобрать и спасти меня, как же он может не остановиться? Если бы я знал, что он может не остановиться, я бы встал посреди дороги и растопырил руки. А то я шагнул в сторонку и, кажется, даже не сделал самого простого — не поднял руки, настолько очевидно было, что меня нужно подобрать. И вот автомобиль (это оказалась полуторка), разбрасывая снег, проехал мимо меня. Ночь хлынула в пространство, на время отвоеванное у нее человеческим светом, залила его еще более густой, еще более непроглядной темнотой.

Полуторка не ехала, а ползла. В другое время мне ничего не стоило бы нагнать ее пятью прыжками и перекинуть себя через борт, едва коснувшись ногой какого-нибудь там выступа. Но теперь мне показалось, что если я, собрав последние крохи сил, побегу, и вдруг не догоню машину или не сумею в нее забраться, и сорвусь, и упаду в снег, то уж, значит, и не встану. Вот почему я не побежал.

Отъехав шагов двести, машина остановилась. И не удивительно. Удивительно было другое: как она могла оказаться на этой дороге и как она вообще по ней пробиралась?

Я понял, что машина остановилась, когда около нее начало мелькать белое пятно света от электрического фонарика. Я догадался: люди вышли из кабины и осматривают колеса и яму, в которую они провалились.

Вопрос теперь решался просто, кто скорее? Я скорее

добреду до машины или машина тронется с места? Иногда мотор начинал рычать усиленно и надрывно, даже стон и свист слышались в его рычании. У меня обрывалось сердце: сейчас пойдет, выкарабкается из ямы! Но рычание стихало, снова мелькал фонарик, и вскоре я стал различать силуэт машины, еще более темной, чем сама ночь.

Когда я добрел до автомобиля, людей около него уже не было. Вот уж снег из-под задних колес долетел до меня — так я приблизился к цели. Вот уж я вижу, как бешено крутятся колеса, стараясь зацепиться хоть за какую-нибудь опору, как дрожит деревянный кузов. Вот уж три метра от кончиков моих протянутых рук до заднего борта, вот уж два, вот уж один метр... Только бы теперь, в эту последнюю секунду, не дернулся, когда я почти ухватился за борт.

Идти три метра к кабине и спрашивать разрешения было мне не под силу. Кое-как я нашарил ногой железный выступ пониже кузова, кое-как перевалился через высокий борт и мешком упал на дно. В эту же секунду автомобиль, зацепившись наконец за что-то, подпрыгнул и дернулся с места.

Застарелая колея, по которой пробирался автомобиль, проходила в четырех километрах от моего дома. Значит, мне надо было уследить момент, выбрать самую близкую к дому точку дороги, чтобы выпрыгнуть из кузова и идти дальше. Но как только я лег на дно кузова, как только почувствовал, что не нужно больше шагать и вообще двигаться, так и задремал. Сколько я дремал, неизвестно. Очнулся же от толчка. Мне показалось, что темные силуэты изб и ветел рядом с дорогой знакомы, что это и есть то самое село, возле которого мне надо выпрыгнуть из кузова: отсюда до моего дома четыре километра. Перевалившись через задний борт, я отпустил руки и упал в снег. Грузовик сразу растворился в метельной темноте. Люди в кабине так и не знают, что подвезли случайного попутчика, больше того, не дали ему замерзнуть.

Приглядевшись к избам и деревьям, к порядку домов, я понял, что грузовик либо увез меня дальше, чем мне нужно, либо куда-нибудь в сторону, потому что деревня, в которой я очутился, была мне совершенно незнакома. Значит, не было у меня выхода, как стучаться в одно из черных окон в надежде, что затеплится оно красноватым огоньком коптилки, и проситься переночевать.

Все избы были мне одинако незнакомы, все они были

для меня чужие, но я зачем-то брел некоторое время вдоль деревни, как бы выбирая, в какую избу постучаться, и неизвестно почему свернул к одной из изб (ничем она не отличалась от остальных, разве что была похуже). Есть, должно быть, у каждой из русских изб эдакое свое «выражение лица», которое может быть либо суровым, либо жалким, либо добрым, либо печальным. Наверное, этим-то подспудным я и руководствовался, выбирая, в какое окно постучать. А может быть, просто понадобилось некоторое время, чтобы собраться с духом и окончательно утвердиться в мысли, что стучать придется неизбежно, так лучше уж не тянуть.

Сначала я постучал в дверь на крыльце, потом, осмелев, потюкал ноготком по морозному стеклу окна. Сквозь двойные рамы не доходило мое тюканье до нутра, до избяного тепла, а, может быть, сливалось с шумом ветра и с разными метельными звуками. Тогда я начал стучать сгибом пальца, и вскоре что-то в глубине дома сдвинулось, скрипнуло, вздохнуло, и голос совсем близко от меня за дверью спросил:

— Вам кого?

— Переночевать бы мне, с дороги сбился, а метель.

— Эко чего придумал! Могу ли я, одинокая баба, мужика ночевать пустить?

— Да не мужик я, ну вроде бы... одним словом, студент.

— Откуда идешь-то?

— Из Владимира.

— Чай, не из самого Владимира пешком?

— То-то что из самого.

Было слышно, что женщина за дверью с трудом вытаскивает деревянный засов из петель, двигает его из стороны в сторону, чтобы скорее вытащить.

Душное избяное тепло, как только я вдохнул его несколько раз, опьянило меня, сразу разморило. Я сидел на лавке не в силах пошевелиться и блаженно озирался по сторонам.

Женщина (ей на вид было лет пятьдесят — пятьдесят пять,— значит, надо считать, что около сорока) достала с печи валенки, а из печки, погремев ухватом,— небольшой чугунок.

— Щи на обед варила. Да теперь уж, чай, остыли, чуть тепленькие.

Сбывалось все, точь-в-точь как представлялось мне, когда я шел еще рядом с незнакомым мужиком! И ломоть

хлеба оказался таким же толстым и тяжелым, каким я и ощущал, когда его еще не только не было в моей руке, но и не было никакой надежды на то, что он будет.

Я ел, а тетя Маша (так звали женщину) смотрела на меня, сидя напротив, думая о своем.

— Сколько исполнилось-то? — наконец спросила она.

— Семнадцать.

— Значит, на будущий год, если она не кончится, и тебе туда?

Потом тетя Маша помолчала, как бы решая про себя, говорить ли дальше или уж не говорить, и стала рассказывать. Она рассказывала, а я слушал, закурив после ужина (остался табачок от сына, именно от того самого, про которого она теперь рассказывала). И шли минуты, и шли часы, и проходила за окном метельная военная ночь... И проходила тут жизнь русской женщины, тети Маши, впустившей меня среди ночи и теперь все рассказывающей, рассказывающей, рассказывающей...

Значит, не было случая до этого, чтобы рассказать и облегчить душу. Значит также, я показался ей благодарным слушателем, а то ведь, бывает, и просится из души, а передать это человеку нет никакого желания. И то правда: единственно, чем я мог ответить тете Маше на ее приют и доброту, было мое благодарное слушание.

Она рассказала, что сначала от сына не было никаких вестей, а потом пришло письмо, и писано оно было чужой рукой. Писал Митя о том, что лежит в госпитале в Москве, и звал ее повидаться.

Главная часть рассказа тети Маши состояла из подробного описания всех преград, которые встали перед ней на пути к Москве и которые она по очереди преодолевала. Не так-то просто было попасть в Москву осенью сорок первого года, когда Москва была почти что осажденным городом. Если бы я в то время мог записать эту ее дорогу, а теперь только чуть-чуть подправить, то это была бы целая повесть и не нужно было бы ничего добавлять.

В Москву она все-таки прошла и Митю в госпитале отыскала. Он оказался раненый и, кроме того, весь обмороженный. Тетя Маша как на него взглянула, так сразу поняла, что не жилец. Села возле него, хотела хоть ночь, хоть семь ночей, а просидеть рядом. Ведь и сто просидишь, если последний сын и ночи его тоже последние...

Но сидеть не пришлось: очень уж Митя просил молочка. Он, оказывается, был большой любитель молока и в мирное

время в покос или в жнитво выпивал сразу по крынке. И парное тоже любил. С детства еще приучился, чтобы прямо из подойника — кружку молока: «Большая была кружка у нас...» Тут тетя Маша даже принесла эту кружку с кухоньки, чтобы я мог посмотреть, какая она. Кружка была алюминиевая, во многих местах помятая. Может статься, Митя еще мальчонкой играл с ней или, по крайней мере, часто ронял.

Уж если мать сумела добраться до Москвы и даже пройти в самую Москву, то, наверное, она сумела бы достать раненому сыну молока, если бы это было возможно. Но не было молока в Москве поздней осенью сорок первого года. Тетя Маша решила ехать за молоком в свою деревню.

Тут она опять подробно рассказала мне о своих дорожных приключениях: и когда ехала из Москвы в деревню, и когда везла Мите бидон самого жирного коровьего молока. «Я и больше бы захватила. Не испортилось бы. Да в чем же его повезешь?»

Тетя Маша замолчала надолго. И я, оказывается, не ошибся, спросив ее тихим голосом:

— Ну и что же, успел он попить-то или уже не успел?

— Успел,— ответила тетя Маша.

Постлано мне было на печке. Вскоре сквозь подстилку (старый тулуп и байковое одеялишко поверх него) стало доходить до тела устойчивое, ровное тепло кирпичей. Засыпая, я думал: вот шел я вдоль деревни, и все избы были для меня одинаковые. А что затаилось в них, за ветхими бревнами, за черными стеклами окон, что за люди, что за думы,— неизвестно. Вот приоткрылась дверь в одну избу, и оказалось, что живет в ней тетя Маша со своим великим и свежим горем. И уж нет у нее мужа, нет сыновей и, надо полагать, не будет. Значит, так и поплывет она через море жизни одна в своей низкой деревенской избе. И остались ей одни воспоминания. Единственная надежда на то, что особенно вспоминать будет некогда: надо ведь и работать.

Если бы я постучался не в эту избу, а в другую, то, наверно, открыла бы мне не тетя Маша, а тетя Пелагея, или тетя Анна, или тетя Груша. Но у любой из них было бы по своему такому же горю. Это было бы точно так же, как если бы я очутился в другой деревне, четвертой, пятой, в другой даже области, даже за Уральским хребтом, в Сибири, по всей метельной необъятной Руси.

...Утром я без особых приключений добрался до родительского дома. Мать испекла мне большой круглый кара-

вай заварного хлеба. Он от обычного черного хлеба отличается тем, что заметно сластит и немного пахнет солодом.

Переночевав дома ночь, положив драгоценный каравай в заплечный мешок, я отправился обратно во Владимир к своим друзьям в студеном, голодном общежитии.

Оказывается, виноваты были не одна только метель, не одно только то обстоятельство, что я из Владимира вышел не поев как следует и потому быстро обессилел. Оказывается, сами по себе сорок пять километров зимней дороги — нелегкое дело. Когда я прошел двадцать пять километров и вышел на асфальтированный большак и, таким образом, идти мне осталось двадцать километров, я был почти в таком же состоянии, как и в позапрошлую ночь в метель, когда, если бы не случайный грузовик, замерзать бы мне среди снежного поля.

Кроме того, я, должно быть, простудился за эти два дня, и теперь начиналась болезнь. Мне сделалось все безразлично. Какое бы интересное дело, ожидающее меня в будущем, ни вспомнилось, мне казалось оно теперь совсем неинтересным и скучным: не хочу летом купаться в реке, не хочу ходить на рыбалку, не хочу читать книги, не хочу в лесу жечь костер, не хочу ходить в кино и есть мороженое, безразлично мне даже, есть ли на свете Оксана, самая красивая со всего нашего курса синеглазая девчонка. Я давно заметил за собой, что если у меня пропадает интерес ко всему на свете, значит, я начинаю хворать.

Пройдя по асфальту километр, я почувствовал себя совсем плохо и стал поднимать руку тем редким, можно сказать редчайшим, грузовикам, которые время от времени догоняли меня. Некоторое развлечение состояло в том, чтобы считать эти проходящие грузовики и загадывать, который же из них возьмет меня с собой.

Остановился седьмой грузовик (к этому времени я пробрел еще три километра).

— Ну, куда тебе? — грозно спросил шофер, выйдя из кабины.— Спирт есть?

— Нету, какой может быть спирт?

— Табак, папиросы?

— Нету.

— Сало? Э, да что с тобой разговаривать! — Он пошел в кабину. Угрожающе зарычал мотор.

— Дяденька, дяденька, не уезжайте! У меня хлеб есть, заварной, сладкий. Сегодня утром мать испекла.

Мотор перестал рычать.

— Покажи.

Я достал из мешка большой, тяжелый каравай в надежде, что шофер отрежет часть и за это довезет до Владимира.

— Это другое дело, полезай в кузов.

Каравай вместе с шофером исчез в кабине грузовика. Надо ли говорить, что больше я не видел своего каравая. Но, видимо, болезнь крепко захватила меня, если и само исчезновение каравая, ради которого я перенес такие муки, было мне сейчас безразлично.

Ничего не изменилось в общежитии за эти два дня. Как будто прошло не два дня, а две минуты. Ребята оживились, увидев меня, но тут же поняли, что мне не по себе. Я разделся, залез в ледяное нутро постели и только попросил друзей, чтобы они истопили печку и принесли бы из титана кипятку.

— Комендант запер чердак на пудовый замок (эта новость была самой неприятной, потому что я все никак не мог согреться), а кипятку сколько хочешь. Только вот с чем его?.. Да ты из дому-то неужели ничего не принес?

Тогда я рассказал им, как было дело.

— А не был ли похож этот шофер на нашего Мишку Елисеева? — спросил Володька Пономарев.

— Был,— удивился я, вспоминая круглую красную харю шофера с маленькими синими глазками.— А ты как узнал?

— Да нет, я пошутил. Просто все хапуги и жадюги должны же чем-нибудь быть похожи друг на друга.

— Так ты, что же, так ничего и не ел целый день? — вдруг догадался Генка Перов.— Хоть бы краюху отломил от того каравая.

— Каравай-то я вам нес: думал, обрадую. Сейчас бы разрезали его на куски. С кипятком...

Тут в комнате появился Мишка Елисеев.

— Слушай,— обратились к нему ребята.— Видишь, захворал человек. Дал бы ему чего-нибудь поесть. Не убыло бы.

Никто не ждал, что Мишку взорвет таким образом: он вдруг начал кричать, наступая то на одного, то на другого. Было видно, что у него изо рта вылетают брызги слюны, и это мне, лежащему в ознобе, было почему-то противнее всего.

— А вы что, проверяли мою-то еду? У меня что, амбары с едой? Я тоже как вы, мне на хлебную карточку тоже

четыреста граммов дают. Ишь вы, какие ловкие в чужую суму глядеть! Нет у меня ничего в тумбочке, можете проверить. Разрешается.

При этом он, как мне показалось, успел метнуть хитрый лучик на свой тяжелый железный замок.

Напряженность всех этих дней, усталость, мужик, не позвавший меня ночевать, грузовик, проехавший мимо, горе одинокой и доброй тети Маши, сердоболие, которое вложила мать в единственный каравай заварного хлеба (и думает, что я его буду есть теперь целую неделю), бесцеремонность, с которой у меня взяли этот каравай, огорчение, что не принес его в общежитие, заботы ребят, хотевших покормить меня из Мишкиных запасов, его хитрая бесстыдная ложь — все это вдруг начало медленно клубиться во мне, как клубится, делаясь все темнее и зловещее, июльская грозовая туча. Клубы росли, расширялись, подступали горечью к горлу, застилали глаза и вдруг ударили снизу в мозг темной непонятной волной.

— А вот я и проверю!..— твердо, как мне показалось, сказал я, поднимаясь с койки и путаясь в сбившемся одеяле.

Говорили мне потом, что я спокойно подошел к печке, спокойно взял клюшку, которой мы крушили обычно тумбочки, и двинулся к Мишке. Мишка сначала метнулся, чтобы загородить свою тумбочку грудью, но, значит, свиреп был мой решительный вид, если все же он уступил мне дорогу и даже отскочил к двери.

Остальное я помню хорошо. Привычным жестом наклонил я тумбочку наискось (отметив про себя, что тяжелая, не в пример тем, с чердака) и опустил клюшку на нужное место.

О, сладость бунта! О, треск и скрежет лопающихся скреп в душе и в мире! Разве дело в размерах? Дело в сути ощущений и чувств. Это была моя Бастилия и те засовы на тех воротах, которые придется еще когда-нибудь разбивать.

Я поднял клюшку и раз, и два, и вот уже обнажилось сокровенное нутро «амбара»: покатилась стеклянная банка со сливочным маслом, кусочками рассыпался белый-белый сахар, сверточки побольше и поменьше полетели в разные стороны, на дне под свертками показался хлеб.

— Все это съесть, а тумбочку сжечь в печке,— будто бы распорядился я, прежде чем снова укрыться легоньким одеялом. Самому мне есть не хотелось, и даже поташнива-

ло. Впрочем, скоро я забылся, потому что болезнь вошла в полную силу.

Мишка никому не пожаловался, но жить в нашей комнате больше не стал. Его замок долго валялся около печки, как совсем ненужный и бесполезный предмет. Потом его унес комендант общежития.

1961

СВИДАНИЕ В ВЯЗНИКАХ

Я несколько раз подряд произнес вслух название городка:

— Вязники... Вязники... Вязники...

Странно, что сердцебиение мое по-прежнему осталось спокойным. Но все же какой-то неведомый сковывающий холодок возник около сердца. Что-то слегка сжалось там, значит, хотя и одна, хотя и последняя, хотя и вконец перержавевшая струнка слабеньким дребезжанием отозвалась на звучание этого слова: «Вязники»...

Мы с приятелем лежали каждый на своей койке в душном номере гостиницы и размышляли, каким образом нам поскорее уехать в Москву: то ли на поезде, то ли пойти на площадь и «голосовать» проходящим машинам, то ли дождаться рейсового автобуса. Мы могли бы немедленно выбрать любой вид транспорта, но нам было лень выходить на жару, и вот мы лежали и думали.

Мой приятель — художник. Путешествуя, бродя по земле, мы пришли в городок, расположенный на высоком берегу Клязьмы и весь утонувший в зеленых, главным образом вишневых, садах.

Я первый раз попал в этот городок, хотя услышал о нем впервые двадцать лет назад. В те времена для меня, шестнадцатилетнего подростка, он не имел ни одной конкретной черты: ни вишневых садов, ни бойкого базара, заваленного грибами, лесными ягодами и деревянными ложками, ни главной площади с толпящимися по ее краям пропыленными автомобилями, ни изогнутых улочек, то карабкающихся круто вверх, в гору, то сбегающих с нее, ни широкого вида на Клязьму, размашисто брошенную в зелень поймы, ни туманных далей заклязьминского Ярополческого бора.

Это все я увидел в последние три дня. Тогда, двадцать

лет назад, город не имел для меня ни одной конкретной черты. Но было слово. И была девушка. И было ее певучее имя. И была она из Вязников. И каждый раз, когда кто-нибудь говорил слово «Вязники», мне казалось, что все тотчас поворачиваются ко мне и смотрят на меня пристально и всем ясно, что я день и ночь, день и ночь думаю только о ней.

Нет, не думаю — это не то слово... Что я день и ночь... Ну что? Ну что? Живу ею? Дышу ею? Мучаюсь? Болею? Страдаю? Казнюсь? Ну какие там есть еще слова? Вернемся к самому точному и единственному: мне казалось, что всем сейчас станет ясно, как я день и ночь, день и ночь ее люблю.

Да, вспомнил: курить я начал из-за нее, вино начал пить из-за нее, в карты играть из-за нее, стихи писать из-за нее. Кажется, собраны все главные человеческие пороки, а между тем не было любви светлее и чище, чем моя мальчишеская.

Ромео все же целовал свою Джульетту, дотрагивался до нее, и пение жаворонка заставало их в объятиях друг друга. Если бы тогда все получилось так, что она подошла бы и поцеловала меня или я поцеловал ее... Да, конечно, из-за нее же у меня в жизни не было первого поцелуя.

Настоящего первого поцелуя, а не такого, что я когда-нибудь полушутя-полувсерьез схватил на гулянье, к примеру, Надюшку Балдову да и поцеловал при всех, а она засмеялась и вдогонку шлепнула меня ладонью промеждулопаток.

Не было первого поцелуя. А между тем, может быть, когда я буду помирать и всю свою богато и радостно прожитую жизнь, с ревущими поездами и молчаливыми тропинками, голубизной Адриатики и развалинами Самарканда, музыкой и картинными галереями, рыбной ловлей и восхождением на горные вершины, говорливым таянием снегов и безмолвными листопадами, бессонными ночами за рабочим столом и восторгами удач, женской любовью и лепетанием ребенка... Нет, конечно, задним числом теперь я не смог бы отдать всей моей жизни за единственный поцелуй ветреной той девчонки. Но если бы мне представился выбор тогда...

Не было первого поцелуя. Нам всем было по шестнадцати лет (впрочем, к концу учебы стало по девятнадцати), и ей, значит, было столько же. Была ли она самой красивой девушкой из всего техникума? Наверно. Множество стар-

шекурсников, городских, более смелых и находчивых, чем я, деревенский недотепа, всегда окружало ее.

Я таился, но все равно скоро все узнали, что я, Гога (иначе меня не называли на курсе), безмолвно и безответно люблю эту девушку.

Сначала ее подруги смотрели на меня с усмешкой, пото с удивлением, а потом, к концу учебы, то есть к концу третьего года, с завистью и грустью в глазах. Как я теперь понимаю, грусть и зависть происходили оттого, что не на их долю досталась такая упрямая, такая единственная любовь.

Если знали подруги, значит, знала и она сама. Мы учились на одном курсе и виделись каждый день по нескольку часов кряду. Невозможно было бы три года не разговаривать, не попросить учебника, рейсфедера, чертежа, совета да и просто решения задачки. Но ни разу мы не остались вдвоем хотя бы на одну минуту. Надо полагать, она не хотела и боялась этого. Да нет, просто она меня не любила. Хотя вспоминаю: к концу учебы что-то оттаивало, что-то теплое стало появляться в ней. Скорее всего, это была либо жалость, либо, может быть, благодарность своему рыцарю за железное постоянство.

И был один вечер. Она пришла в гости в общежитие к своим подругам (сама жила у тетки на улице Карла Маркса). Я в это время сидел у девчонок в комнате. Постепенно-постепенно, я не заметил как, и Рая Фалалеева, и Зоя Постникова, и Тоня Миронова, и Нина Теплухина — все вышли из комнаты. Мы сидели за столом, на котором лежала большая чертежная доска. К доске был приколот чертеж. Стол с доской и чертежом разделял нас. Мы сидели друг против друга и говорили. Впервые за три года. Это было похоже, как если бы весной все держали и держали морозы, и вдруг однажды утром — южный ветер, влага и теплые дожди, омывающие озябшие ветки деревьев, землю... Еще день-два — и все вспыхнет яркими земными цветами.

Щеки ее горели, глаза... Тепло и сияюще было в глазах. А про себя я ничего не помню. Нет-нет, мы говорили не о наших отношениях друг с другом, а о всякой всячине, что-то вспоминали из детства: она из своего, я из своего — кто любит какие цветы, кто любит дождь, кто зиму... Оказалось, что она любит ландыши.

Два часа разговоров о всякой всячине не так уж много для трех лет. Теплый дождь прошел, но земные цветы не

вспыхнули, потому что через день-два всех нас, парней — выпускников 1942 года, увозили из Владимира поезда. И были мы в шинелях...

Учились мы во Владимире, а родом она была из Вязников. Слово «Вязники» было связано с ней. Вот почему я удивился, когда при произнесении слова «Вязники» три раза подряд сердце мое по-прежнему оставалось спокойно. Но все же какой-то легкий сладковатый холодок возник около сердца, что-то слегка сжалось там, какая-то, хотя бы и одна, хотя бы и последняя, хотя бы и вконец перержавевшая струнка слабеньким дребезжанием отозвалась на звук слова: «Вязники».

Приятель лежал, закинув свои длинные волосатые ноги (штаны сбились к коленкам) на железную спинку кровати, а руки заложив за голову.

— Слушай, друг,— сказал я ему,— давай отложим отъезд еще на один день.

— Пошто?

— Ну, напишешь еще один этюдик. Знаешь, с горки... Плетень какой-нибудь, или дворик... или старое дерево. А у меня есть дело. Я вспомнил, что здесь, в Вязниках, жил мой знакомый товарищ. Может быть, я нападу на его след.

Итак, ехать нужно в Ярцево — поселок, примыкающий к городу. Помню, Ярцево упоминалось в разговоре двадцать лет назад, иначе откуда бы я вообще знал про Ярцево?

На площади, возле чугунной решетки, стоят столбы. К столбам прикреплены красные железные таблички: тут останавливаются автобусы. Народ сидит в ожидании их вроде как беспорядочно, но каждый знает, к какому столбу ему в случае чего бежать и за кем становиться.

В тесном автобусе нельзя было смотреть из окна, куда именно он везет и какие улицы и дома пробегают мимо. Чувствовалось лишь, что потихоньку лезем в гору, круто поворачивая время от времени.

— Ярцево! — объявил кондуктор.

Я поймал себя на том, что взволнован. Конечно, вряд ли совпадет так, что она живет теперь в Вязниках. Да и вообще, чего только не могло случиться за двадцать лет! Но все равно я узнаю что-нибудь о ее судьбе, увижу, вероятно, ее мать, комнату...

Однако сначала я пошел через поселок на край обрыва (потом оказалось, что это место называется Венец) и некоторое время сидел над обрывом, глядя на сады, вздымающиеся клубами зеленого дыма внизу подо мной, на извили-

стую ленту Клязьмы пониже садов, на зеркальные осколки продолговатых озер, разбросанных там и сям по заречной пойме.

«Гуляла ли она когда-нибудь над этим обрывом? Ходила ли сюда одна? Или все больше на танцплощадку? Ах, какое мне до этого дело?!»

В Ярцеве было только одно почтовое отделение.

— Вы должны знать: Оксана Сергеевна Потапенко. И мать ее Потапенко.

— Это что же, Татьяна Петровна?

— Вероятно, Татьяна Петровна. Здесь ведь не Полтава, не может быть, что в Ярцеве много Потапенок.

— Потапенко-то есть, но разве мы помним все адреса! Вот идет письмоносица, она вам скажет.

Из окошечка выглядывали любопытные девичьи лица: почувствовали, что тут неспроста, что кроется тут некая сердечная подоплека. Письмоносица без обиняков пошла проводить меня до подъезда.

— Вот тут и живут Потапенки. Только вряд ли кого застанете. Сама-то теперь на пенсию вышла, все больше у дочери живет, внучку нянчит.

— Где у дочери?

— Как где? В Давыдкове. Станция такая есть, верст шешнадцать. Зять-то там инженером работает, ну и Оксана там и Светочка, дочка, значит, ну и сама все больше у них да у них. А здесь, когда ни постучишь, все заперто.

— А как ее... новая фамилия? То есть инженера того как фамилия, который... стал ее мужем?

— Судаков. Судакова она теперь, по мужу-то, а не Потапенко. Судакова Оксана Сергеевна.

— Судаков... вы его когда-нибудь видели? Черненький? Небольшого росточка? Прихрамывает?

«Ну да, ясно, что он! С третьего курса парень. Мы еще учились, а он уж работать начал. Инструктором в мастерских. Значит, скоро встретимся, Яшка Судаков».

Через тридцать минут я был на вокзале и покупал билет. Всю жизнь мечтал побывать в этом, как его, Давыдкове!

Я надеялся, что, может быть, мне удастся все же избежать встречи с ее мужем. Зачем мне это, хоть он и Яшка Судаков, у которого, помнится, когда мы засели за карты и играли со вторника до четверга, я сорвал большой банк. Хорошо сорвал: остановился на тринадцати (к тузу валет), а он, банкомет, прикупил к шестнадцати восьмерку. А рука

моя была последняя... Яшка бросил колоду и сказал многозначительно: «Везет тебе, парень, в карты! Мне тебя, парень, жаль...»

Но, в сущности, мы с ним были очень мало знакомы. Может быть, даже и не узнали бы друг друга на улице. А тут придется разговаривать, держать струну. Одна надежда, что инженер должен быть на работе.

Давыдково оказалось таким населенным пунктом, что, как только я сошел с поезда да миновал перрон, так и наткнулся на Яшку — простите, на Якова Яковлевича Судакова.

— Здорово! — сказал Яков, как если бы мы с ним вчера вечером выпивали, а теперь встретились, чтобы опохмелиться.— А Оксаны дома нет, она с утра уехала в Вязники. Ну пойдем, посидишь, дождешься.

Мы пошли вдоль улицы, состоявшей как бы из одних палисадников. Шли почти всю дорогу молча.

— Ты вроде пишешь там в газетах, в журнале?.. Оксана недавно стихотворение из численника вырезала. Где-то у нее спрятанное лежит. «Гога, говорит, написал».

— Пишу.

В комнате или, лучше сказать, в избе (они занимали просторную деревенского склада избу) тоже все больше помалкивали.

— Вот альбом, фотографии. Вот это еще техникум. Вот, видишь, и твоя тут есть. А это в Румынии, вскоре после женитьбы. Я тогда офицером был, а служил в Румынии... Это на курорте, в Сочи... Это так себе, любительские...

Оксана сидела в белом полотняном лифчике на постели, среди белых скомканных простынь.

— Контрастно очень вышло. Так нельзя... И света мало Видишь только белое и черное, а середины нет.

— Ты тоже, оказывается, балуешься?

— Снимаю, когда понадобится...

— А это в Вязниках, на Венце. Знаешь, там обрыв? А это уж здесь в Давыдкове...

— Дай я техникумовские погляжу. Знакомых ребят повспоминаю. Про кого знаешь?

— Почти все погибли. Нас ведь тогда всех вместе забрали, помнишь? Осенью сорок второго. Сразу в огонь. Как все равно пучок соломы в костер подбросили. Ты-то как уцелел?

— В тыловую часть попал. В огонь не бросили. Дело случая. А ты?

— А я просто уцелел. Не всех же на войне убивали. Но что же, пойдем, пока никого нет. Тут чайная рядышком.

— Жарко.

— Понемножечку.

В чайной не оказалось ни коньяку, ни водки...

— Хотите, открою портвейн? — предложила буфетчица.

Мы поглядели друг на друга. Я понял, что пить ему в жару не хочется, что он пришел сюда только ради меня, что вообще ему нелегко развлекать меня, когда полдневное время почти не движется. А я и в худшие времена терпеть не мог никакого портвейна.

— Давай отложим.

Мы пошли из чайной обратно по улице к его дому. В дом вошла женщина, пожилая, худощавая, некогда очень красивая, с той сдержанностью в движениях, которая происходит от развитого чувства достоинства. Она пристально посмотрела на меня, и в ее черных, обведенных коричневым глазах почудилась настороженность.

Яков Яковлевич сослался на необходимость сбегать на завод и оставил меня одного с матерью Оксаны.

Женщина как бы не обращала на меня никакого внимания. Она в сенях делала что-то по хозяйству, кажется, перебирала ягоды на варенье.

— А вы, значит, Гога? — вдруг спросила она, мне показалось, прямо из сеней.

Но, подняв голову, я увидел, что она стоит на пороге.

— Гога. Почему узнали?

— Чай, я все-таки мать... Долго же вы собирались навестить Оксану...

Женщина поставила на стол три тарелки пирожков и самовар.

— Давайте чаевничать. Ешьте пироги. Эти — с черникой, эти — с малиной, эти — с черной смородиной. Иль, может, холодного молока вместо чаю? Жарко теперь.

— Давайте холодного молока.

Я все косил глаза на темно-синий жакетик, висевший на стуле: на лацкане горела крохотная, но яркая-яркая рубиновая звездочка, как если бы искорка от костра опустилась на лацкан.

— Звездочку признали?

— Признал.

— Давнишняя звездочка...

Некоторое время мы молчали.

— Она после техникума в мастерских стала работать и проработала там всю войну. Вас, конечно, никого нет. Хоть бы кто-нибудь письмо написал! — Черные глаза впились в меня, сидящего напротив.— Так, мол, и так, после войны вернемся... Поскучала она, покручинилась... Яков вернулся самый первый. Он не вернулся, правда, а в отпуск приехал. Ну, это все равно. С приездом — вечеринка. Кое-кто из техникумовских, все больше девушки... Потом опять вечеринка. Это мне сестра рассказывала, то есть тетка ее. Она ведь у сестры жила во Владимире. Ну, значит, кино, танцы. Отпуск у Якова короткий — все надо успеть. Поколебалась она — скрывать нечего. А к концу отпуска расписались да и в Румынию. Да вы пирожки-то ешьте, с черникой вот, с черной смородиной... А у вас, значит, семья?

— Семья.

— Они тоже хорошо живут — жаловаться нечего Внучка растет, Светланочка... Ну что бы вам предложить; может, отдохнуть приляжете? Или в лес хорошо прогуляться. У нас ведь кругом леса. Грибов в нынешнем году пропасть! Уже старики говорят, как бы войны не было. Яков каждый раз по триста штук одних белых приносит. А Оксана скоро приедет, верней всего с четырехчасовым.

«Да, наверно, скоро приедет,— думал я.— Что же, пироги с черникой вместе есть будем да ледяным молоком запивать? Мне ведь не надо сидеть с ней за одним столом три часа, да еще мать, да еще муж рядом. Мне ведь нужны секунды. Глаза ее нужны, когда узнавать будет. А больше ничего. А пироги, бог с ними, когда-нибудь в другой раз! Уж лучше мельком, да один на один, чем здесь за столом, за чаем. А мать-то как взглядывает черными глазищами! Она все понимает, Татьяна Петровна Потапенко... Многоопытная, мудрая женщина!»

Мозг мой лихорадочно стал совершать арифметические действия с часами и минутами: «Ее поезд в четыре. На вокзал приедет за полчаса. Если я сейчас отсюда уеду, то буду там как раз в половине четвертого. Встреча неизбежна. А если она не с четырехчасовым, а с шести? Подожду до шести. А если с восьми? А если с двенадцати? Подожду до двенадцати».

— Ну что же, спасибо, Татьяна Петровна. Пироги вы печете отличные.

— Зять не обижается... Да куда же вы? А Оксана? Она будет жалеть. Я знаю, что будет. Очень будет жалеть, поверьте...

— Оксана жалеть не будет. Поверьте и вы мне. До свидания. Якову привет! Извините, что не дождался его с завода. Да мне, право, некогда.

В вязниковский вокзал, сойдя с поезда, я вошел вроде бы спокойно и равнодушно, а на самом деле весь как струна. В маленьком зале ожидания народу почти не было, так что я сразу увидел ее. Я подошел и встал в четырех шагах. Она сидела в три четверти оборота от меня, почти затылком ко мне, и кормила девочку мороженым. Девочка, значит, была ко мне лицом.

Заметив, что дочка на кого-то внимательно смотрит, мать тоже вскинула глаза (стоит какой-то тип в лыжных шароварах и клетчатой рубахе!) и снова занялась мороженым. Но клетчатая рубаха осталась в уголышке зрения и не исчезала. Тогда женщина опять вскинула глаза и на этот раз опустила их не в первую долю секунды, а задержала чуть-чуть подольше, как раз настолько, чтобы уже не опускать совсем.

Глаза стали расширяться и темнеть. Глаза залило синевой, а синева сгустилась до цвета июльской грозовой тучи. Но вместо молний, вместо зловещих теней и переливов, предшествующих обычно самому главному, самому страшному громовому удару, как бы легкий трепет солнца пробежал по темной синеве, насквозь пронизал, прогрел, просветил ее. Медленно, помимо своей воли, женщина приподнялась с коричневого вокзального дивана и вдруг, шумно вздохнув: «А-ах!», опустилась снова на широкий диван.

— Я знала, я знала, я знала, что мы когда-нибудь обязательно встретимся!.. Никаких, никаких, никаких!.. Поедем сейчас к нам. Один раз за двадцать лет! Разве можно? Вокруг нас густые-густые леса. Пойдем за грибами. Яков приносит по триста штук одних белых. Но, правда, ему некогда, он все больше на заводе.

Мне показалось, что при последних словах женщина смутилась и даже покраснела. Да, иногда огромным усилием воли мне удавалось посмотреть на собеседницу не через ту давнишнюю, привычную мне Оксану, а как на женщину, случайно сидящую рядом на диване. Тогда я видел, что передо мной сидит молодая, красивая, синеглазая женщина, за которой можно и поухаживать. Вот она приглашает меня в лес по грибы. Не пойти ли?..

Я посадил их в вагон, и ее и Светлану, а сам пошел вдоль поезда вперед по перрону: именно там был выход на

привокзальную площадь. Поезд долго не трогался. Минут десять я стоял, прислонившись к стойке ворот, и ждал, когда их вагон проплывет мимо.

Оксана не удивилась (я ясно видел, что не удивилась), увидев меня в воротах, хоть, если попрощались десять минут назад, нечего было мне здесь торчать. Она благодарно помахала мне рукой, и дочка ее тоже помахала, может быть, по детской привычке махать, когда трогается поезд, может быть, ее попросила мать.

...Приятеля я застал в том же положении.

— Возликуем?

— Отменяется сухой закон?! — Ноги мгновенно оказались на полу.

— Путешествие ведь закончилось.

В столовой № 1, заменяющей вязниковцам ресторан, нашелся «горный дубняк».

— Нет, ты скажи, где ты был и что с тобой случилось?..

Чайные стаканы отбрасывали на скатерть продолговатые золотистые тени. Через некоторое время мы позвонили местному поэту Ивану Симонову, и он немедленно появился. Впрочем, может быть, он пришел не сразу — время для меня стало терять границы.

Иван Симонов, успевший быстро сравняться с нами, беспрерывно читал чужие стихи: «Хороша была Танюша, краше не было в селе, красной рюшкою по белу сарафан на подоле...», «Я вас любил, любовь еще, быть может... То робостью, то ревностью томим...», «А что мне вокзальный порядок, связавший на миг вас со мной!..»

Потом мне стало казаться, что я — это вовсе не я, тридцатишестилетний человек, имеющий за плечами большой опыт и десяток написанных книг, а шестнадцатилетний мальчишка, и что сижу я не в столовой № 1, а в студенческом общежитии на Студеной горе, и стоит мне только собраться с духом и преодолеть что-то непонятное и нелепое — и я через десять минут окажусь на улице Карла Маркса и, вместо того чтобы обходить ее дом за три квартала, взлечу на второй этаж, ударю в дверь кулаком, и на пороге появится она, синеглазая и золотоволосая девчонка с крохотной рубиновой звездочкой на груди. Как будто огненная, жгучая искорка прилетела из большого костра, опустилась да так и прикипела к лацкану...

1962

СЕРАФИМА

После ужина в местном незатейливом ресторане мы, трое друзей, решили прогуляться по тихим вечерним улицам этого старинного и все еще в некоторых местах уютного городка.

Вообще-то говоря, мы весь день только и делали, что ходили по городу. Но в нашем дневном хождении была цель: побывать возле каждой древней постройки, осмотреть каждое архитектурное сооружение, каждый кусочек старины.

Считалось, что я у своих друзей должен быть вроде проводника или экскурсовода, потому что в этом городе прошла моя самая ранняя юность. Но получилось как-то по-досадному наоборот. Оказывается, я, живя здесь с четырнадцати- по восемнадцатилетний возраст, вовсе не обращал внимания ни на старину, ни на монастыри и церкви, и теперь московские художники рассказывали мне о том, что они давно уже знали из книг, по многочисленным исследованиям и альбомам.

Я постыдно хлопал глазами и лишь показывал дорогу: то к Успенскому собору, то на Козлов вал, то к бывшему Княгинину монастырю. Дороги-то я, конечно, знал, потому что весь город был исшастан некогда и вдоль и поперек, особенно по глухим закоулкам, где во дворах режутся в футбол шустрые городские мальчишки.

Теперь, вечером, мы просто брели по тихой, полуосвещенной улице и молчали. Впрочем, я про себя не молчал. Еще днем ко мне привязались невесть откуда и невесть когда залетевшие в мою память строки. Они, как ни странно, выплывали наверх из таинственной темноты каждый раз, как только я приезжал в этот город и оставался в нем хотя бы на одни сутки:

Этот город мучных лабазов
Был театр моих розовых драм.
Полон он пахучих рассказов,
Отдан он полевым ветрам.
В этом городе с главной площади
Кругом поле, воля и сушь...

Строго говоря, твердились мной беспрерывно две первые строчки, а остальные так, подразумевались. Идешь-идешь, забудешься, разговоришься с друзьями, и вдруг снова, с какой-то болью и сладостью, мучительно про себя пропоешь:

Этот город мучных лабазов
Был театр моих розовых драм...

— А здесь я учился,— показал я друзьям на приземистое краснокирпичное здание.

Но здание и само то, что я здесь учился, не произвели на моих друзей никакого впечатления. В самом деле, за всякую память мы должны платить сначала свежими, горячими чувствами. Не израсходуешь чувств сегодня, не будешь вспоминать завтра или через год. Мы проходим равнодушно мимо десятков домов, а ведь каждый из них для кого-нибудь яркая, хорошая ли, дурная ли, память.

Помню, как однажды на московской улице я чуть не налетел (при быстрой ходьбе) на Владимира Александровича Луговского. Поэт стоял среди тротуара, опираясь на клюшку, огромный, с приоткинутой назад седовласой породистой головой. Я имел право остановиться рядом с ним и посмотреть, что его так заинтересовало. Ломали дом. Часть его, как бы отрезанная ножом, лежала грудой щебня, разноцветной штукатурки, деревянных обломков. Обнажилась внутренняя стена с ячейками многочисленных бывших комнат и дверью в одну из них, и на обоях светлое пятно от висевшей там раньше фотографии или картины.

— Справа стоял рояль,— поймав меня краешком глаза, начал объяснять Владимир Александрович.— Хозяйка превосходно играла. «Лесной царь» Шуберта — вы понимаете, что это значит? А там, где пятно на обоях, висела моя фотография. В ту дверь я иногда заходил и говорил: «Здравствуйте». Пойдем, пойдем, я хочу снова открыть эту дверь и постоять на пороге.

— Но порог теперь над пропастью, третий этаж. Эта дверь больше никуда не ведет. Она ведет в пустоту.

Поэт слегка улыбнулся, взглянув на меня, и сказал:

— Будь щедрым, мой мальчик.

Тысячи прохожих равнодушно глядели на обломки дома. Для одного это были обломки чувств.

Итак, мы равнодушно миновали здание, где я когда-то учился, и равнодушно, механически пошли дальше по улице, еще более темной, чем была до сих пор.

Что-то начало мне мерещиться, как если бы ночью снился сон, от которого остались одни обрывки. Да нет, вовсе ничего не осталось. А потом среди бела дня заметил бы, что оказался в той, позабытой обстановке и каждый кусочек яви совпадал с обрывочком смутного и забытого сна.

Ну да, конечно. Та самая улица. Как она называлась? Завражная. И как называется эта? Я подошел к дому сквозь зелень палисадника прочитал на табличке: «Завражная». От этой мелочи, от точного совпадения деталей сегодняшней яви с далеким сном весь сон вдруг вспомнился отчетливо и ясно, до последней черточки, до запаха духов, до цвета обоев, до занавесочек, загораживающих низенькие, начинающиеся прямо от пола окошки. Ведь действие сна происходило в мезонине. Я ничего не стал объяснять моим московским друзьям. Просто попросил их подождать несколько минут на улице. Главная дверь, как и прежде, не заперта. От двери налево вход в нижние помещения, а прямо кверху узенькая-преузенькая лестница. Потом площадочка. Неужели и раньше здесь так воняло керосинками? Теперь другая дверь, за ней кухонька. Керосинки, корыта, впрочем, все чистенько и уютно. Из кухни дверь в ту самую низенькую, о двух окнах мезонинную комнату. Теперь я вспомнил, что это была даже и не комната, а просто что-то невероятно милое, уютное, теплое, чистое — светелка, теремочек, кусочек земного рая.

Я постучался и открыл дверь на кухню. Мне показалось здесь, на кухне, слишком обыденно и даже неопрятно — не сравнить с тем, как было раньше. Раньше я, наверное, не глядел по сторонам, а сразу стремился к той, главной двери, которая точно так же и теперь все еще обита голубенькой, закоптевшей от керосинок клеенкой. Пришлось изрядно нагнуться, чтобы пройти сквозь дверь. Женщина, впустившая меня, посмотрела вопросительно: кто я и что мне нужно?

Боже мой! Кособокая, душная клетушка. Обои наклеены буграми. Две узкие койки этакого студенческого образца, стол под бумажной скатертью.

— Вы к кому? — третий раз переспросила женщина.

— Ах да, мне нужна Серафима Доброхотова.

— Здесь не проживает никакая Серафима.

— Разве? Она снимала здесь комнату. Вместе с подругой. А подругу звали Клавой.

— Что вы, гражданин, не было этого! Я живу здесь восемнадцать лет.

— Разве? А это было двадцать три года назад.

— Воля ваша. Но теперь здесь нет никакой Серафимы.

— Разумеется. Извините за беспокойство. Больше я не приду.

Друзья-художники встретили меня шутливо: дескать,

наверное, это самое... Так не волнуйся: мы, дескать, гостиницу найдем одни. Вот почему я не стал им рассказывать вспомнившегося мне смутного сновидения, я остался с ним один на один. Думается мне, что рассказать его просто-напросто нёвозможно. Расскажешь, и получится пустячок, незначительный эпизод из ранней юности. Да вот, посудите сами.

...На перемене ко мне подошел Колька Рябов.

— Слушай,— сказал он,— давай запишемся в школу танцев. В клубе железнодорожников открывается школа танцев. Я все узнал. Плата — двадцать рублей. Ходить два раза в неделю, по вечерам. В программе фокстрот, танго, медленный вальс и румба. Ведет артист драматического театра Сероглазов. А что нам? Подумаешь! Все равно проболтаемся в общежитии.

— Так-то оно так... Да как-то чудно... Да и не научимся

— Вечно ты со своими раздумьями! Насчет того, что научимся,— гарантия. Понимаешь, написано в объявлении — гарантия. Обязательно к концу школы будем уметь. Всего два месяца через день. А лучше, что ли, на каждом вечере мы стоим, как оболтусы, у стены, в то время как все танцуют с девчонками?

О, это было не лучше! Стоя у стены на каком-нибудь техникумовском вечере, я отдал бы не то что двадцать рублей... Чего бы я только не отдал, чтобы вдруг, как в сказке, снизошло на меня умение танцевать и я смело подошел бы и пригласил бы, а она положила бы руку на мое плечо!.. Дальше этого не смела забегать моя самая распаленная фантазия. А между тем я стоял обыкновенно у стены среди таких же, как и я, нетанцующих оболтусов. Мы старались показать, что нам весело, разговаривали громче, чем нужно, шутили плоско и невпопад, и все это делалось напрасно. Потому что нам только казалось, что все на нас смотрят, на самом деле все танцевали, и никто не обращал на нас никакого внимания.

Все время стараешься независимо, но на самом деле — глупо, улыбаться, так что к концу вечера даже болят мышцы лица,— и уносишь в конце концов неприятное, досадное чувство отверженности и неполноценности.

Колька Рябов был, значит, не то самолюбивее, не то решительнее, не то деловитее меня. Мне самому и в голову не пришло бы идти в школу танцев в городской клуб железнодорожников. Не приснилось даже бы и во сне.

Кассирша приняла у нас деньги, выписала квитанции

и сказала, что нужно прийти в четверг к семи часам вечера. В хороших, по возможности, костюмах, в приличных туфлях, побритыми и «при галстуках». Насчет бритья она беспокоилась зря. Помнится, я еще не брился. Надо заметить, впрочем, что ростом и сложением я выглядел постарше своих лет, это мне говорили все, да я и сам знал об этом.

В назначенный день мы, едва дождавшись вечера, начистили гуталином наши ботинки, обстригли ножницами мохонышки на краях широченных (последнее слово предвоенной моды) брюк. Завязали галстуки, как полагается, широкими разляпистыми узлами и ровно в семь часов переступили порог клуба железнодорожников, пройдя между толстенными желтыми колоннами.

Раньше тут было Дворянское собрание. В его бальном зале вощеный паркет, зеркала от пола до потолка, настенные подсвечники между зеркалами, лепные украшения на потолке, все более причудливые к середине потолка, к тому месту, от которого свисала огромная, дрожащая прозрачными стеклышками люстра.

После нашего студенческого общежития, после наших слесарных и токарных мастерских, после того, что мы считали роскошным обшарпанный, весь в рыжих потеках зал кинотеатра «Художественный», большой зал Дворянского собрания показался мне сказочным. Я и представить себе не мог, что существуют такие блестящие залы, что можно смело ходить по таким блестящим полам, смотреться в такие зеркала, любоваться такими люстрами! А тяжелые занавеси на окнах, а двери от пола до потолка, а стеклянные зеленые ручки у дверей!

В этом-то зале нам и предстояло обучаться фокстротам и румбам.

Словно на тонкий ледок, ступил я в первый раз на вощеный паркет, прошел сторонкой в дальний угол (там как будто было потемнее) да и встал, чтобы никому не мешать. И все собравшиеся — по уголкам да по стеночке, оставляя свободной просторную середину зала.

Драматический актер Сероглазов, длинный, гибкий, вполне владеющий каждым своим движением (не то что мы, чурбаны), как раз вышел на эту свободную просторную середину. На нем ладно сидел светло-шоколадный костюм. Он ловко повернулся во все стороны, оглядел нас и весело хлопнул в ладоши.

— Итак, приступим. Сейчас я расставлю вас каждого на

свое место. Прошу вас запомнить его, и по моему хлопку в начале занятий (вот так) становиться, куда положено.

Тут наш маэстро чуть ли не за руки развел каждого из нас, и получилось, что мы стоим двумя шеренгами у длинных стен зала, лицом друг к другу. В одной шеренге — мужчины, в другой шеренге — женщины. Все обширное пространство по-прежнему пустовало, только маэстро в светло-шоколадном костюме расхаживал по нему слегка пружинящей походкой и как-то очень уж ловко, очень уж незаметно поворачиваясь то в нашу, мужскую, сторону, то наоборот.

— Сообщаю вам новость,— говорил между тем маэстро,— вы не умеете не только танцевать, вы не умеете просто ходить. Показываю, как вы обычно ходите.

Подтянутый и собранный маэстро вдруг расслабился. Плечи его опустились и размякли. Спина ссутулилась, руки удлинились и повисли чуть ли не ниже колен. Передвигая ноги невпопад с движениями рук, он карикатурно прошел вдоль зала. Искусному актеру нетрудно было шаржировать нашу, может быть, и в самом деле неумелую походку. Разве нам кто-нибудь показывал, кто-нибудь когда-нибудь говорил, что нужно ходить по правилам? Стали с четверенек в десятимесячном возрасте, пошли да так вот и идем, кто шестнадцатый год, кто двадцатый, а кто и больше.

— Вы, конечно, ходите,— продолжал маэстро,— выполняете эту человеческую функцию — ходить на двух ногах. Но можно, кроме того, ходить красиво. Настоящий человек ходит таким образом.

Актер опять собрался, выпрямился (но не напыжился, боже сохрани!) и прошел по паркету так, что... Черт его знает, как он прошел, но это было действительно красиво!

— Значит, сначала мы будем учиться ходить и держать корпус. Красивая походка — основа танца. Сейчас вы положите руки на бедра и под музыку будете делать следующее: левая нога шагает вперед, правое плечо (заметьте, правое!) тоже резко выдвигается вперед. А потом правая нога и левое плечо. Повернитесь в затылок друг к другу. Музыка!..

Мы пошли под музыку, выворачиваясь при каждом шаге, как на шарнирах, то и дело выпадая из ритма музыки.

— Да, да! Это одновременно приучит слушать музыку и каждое движение подчинять ей. Свободнее! Изящнее! Больше уверенности. Не вижу пластики. Стоп!

Так мы ходили под музыку два или три занятия.

Помню, что и на улице теперь, и в техникуме (дл нные коридоры) я старался идти, подслеживая, а где мое левое плечо, в то время, как правая нога делает шаг вперед. Помнится, я сразу почувствовал себя чем-то богаче остальных однокурсников.

Кроме того, стало тянуть из неуютных казенных комнат общежития в тот совершенно иной мир, где паркет, зеркала, ритмичная музыка, плавные и красивые, тоже ритмичные, движения. Но все еще было впереди.

Однажды маэстро, выстроив нас, как обычно, в две шеренги, лицом друг к другу, торжественно провозгласил:

— Сегодня в вашей учебе великий и знаменательный день. Сегодня каждый из вас выберет себе партнершу. А каждая из вас, соответственно, партнера. Партнеры закрепляются друг за другом до конца обучения. Чтобы не заставлять вас волноваться по столь щепетильному поводу, я скажу вам, что выбор давно состоялся. Сейчас обе шеренги пойдут навстречу друг другу. Виноват, сейчас кавалеры подойдут к линии дам, и каждый возьмет себе ту даму, которая окажется как раз напротив него. Так как дам и кавалеров поровну, то никто не останется в обиде.

Не помню, как я пошел вперед. Глаза мои забегали, ища, к кому именно я должен двигаться. Но, очевидно, линии стояли не строго друг против друга, произошло легкое смещение линий, произошла маленькая путаница, все замелькало у меня перед глазами ярким разноцветьем, как если бы в калейдоскопе, когда его повернешь и туда и сюда. Потом как-то вдруг все успокоилось и рассеялось.

Я оказался лицом к лицу с женщиной в черном бархатном платье. Да, в первую секунду (ну или там долю секунды) я видел только черное бархатное платье. Не бальное, конечно, так чтобы до полу и шлейф, а обыкновенное платьице с поясочком и белым кружевным воротничком.

Вторая секунда принесла мне смутный сигнал, что женщина некрасива и гораздо старше меня. Где-то вдалеке-вдалеке, как беззвучная августовская зарница, мелькнула мысль, что я в своей шеренге стоял не очень-то удачно, но радость оттого, что все кончилось и, какой бы там ни был, выбор пал, погасила далекую зарницу. Да и не все ли равно, с кем разучивать танцы! Не навек же!

Партнерша смотрела на меня (казалось мне, что сверху вниз, а была гораздо ниже меня ростом) и спокойно улыбалась моему смущению.

— Познакомьтесь, — откуда-то, чуть ли не с боже-

ственной высоты, из некоего, чуть ли не божественного тумана, гремел голос маэстро.— Назовите друг другу имена, протяните друг другу руки.

— Серафима,— сказала женщина.

Я пролепетал свое имя, и мы взялись за руки.

Я думаю, тут нужно прежде всего иметь в виду, что я, шестнадцатилетний юноша, до этого вечера никогда ни под каким предлогом и видом — случайно ли, нарочно ли, в шутку или всерьез — не дотрагивался до женщины

— Будем изучать основное положение танцующих. Встаньте друг против друга.

Мы и так стояли друг против друга. Но, оказывается, нужно было приблизиться друг к другу вплотную.

— Партнер кладет свою правую руку на спину партнерши примерно там, где кончается лопатка... Прекратить смешки! Кто не хочет учиться дальше, может оставить помещение... Следите, чтобы ладонь прилегала ровно, а локоть не отвисал. Не ерзайте ладонью по спине партнерши. Только во время быстрого, стремительного вальса разрешается опустить ладонь со спины на талию партнерши. Но это вас пока не касается.

Партнерша кладет свою левую руку на плечо партнеру. Правая ее рука находится в левой руке партнера. Не отставляйте руки далеко от себя. Заденете за чей-нибудь нос. А это неприлично. Во время танца смотреть нужно на партнершу, на ее лицо. Обязательно разговаривать с ней, улыбаться. Стыд и срам отворачиваться от партнерши. Еще стыднее смотреть на свои танцующие ноги. Простите, я хотел сказать, на свои вяло передвигающиеся ноги.

Маэстро, нарочно шаржируя, показал нам, как не нужно ерзать ладонью по спине, как не нужно отворачиваться от дамы во время танца, как не нужно смотреть под ноги. Все это было очень смешно, и я, пока смеялся, немного справился со своим смущением. Помогла, конечно, и Серафима.

Ей, как я потом узнал, шел двадцать седьмой год. Работала она медсестрой. У нее были темные густые волосы, когда-то завитые на шесть месяцев. Но, значит, кончился шестимесячный срок: мелкие барашки и колечки распрямились, и волосы были теперь не курчавы, а в меру волнисты. Брови подняты как бы в неожиданном удивлении. Губы пухлые и добрые от всегда таящейся в них легкой усмешки.

Если мне лицо моей партнерши показалось при первой

встрече некрасивым, то, наверно, виной этому были прежде всего глаза. Они были явно мелковаты для крупного, широкого лица Серафимы. Не служил украшением и нос, слегка приплюснутый и короткий.

Это теперь, задним числом, по прошествии более двадцати лет, я вспоминаю, какое было у нее лицо. И наверное, зря это делаю. Я читал детальное описание лиц у многих писателей мира и никогда не мог сложить внятного лица из преподнесенных мне, пусть и точных, подробностей. Напротив, во время чтения у меня возникает в воображении свой образ героя или героини. И тут уж все равно, коротковат ли у него нос, с точки зрения автора, или не коротковат. Скажу только, что было в лице Серафимы что-то отдаленно татарское. Но такое отдаленное, что, может быть, прошло сорок или пятьдесят поколений, может быть, сорок или пятьдесят русских лиц ложились на некое давнишнее чисто татарское лицо и все стерли, все заслонили, осталась одна лишь смутная догадка, проблеск, почти мираж.

Я отвлекся на том, что, скорее всего, именно Серафима помогла мне справиться со смущением в первые, необыкновенные для меня минуты. Как ни объяснял маэстро, что при помощи ладони, лежащей на правой лопатке партнерши, я должен управлять партнершей, поворачивая ее направо и налево, получилось все-таки, что Серафима незаметно для самого меня управляла мной. Я вскоре почувствовал себя с ней очень легко и просто. От ее черного бархатного платья, от ее чуть-чуть улыбающегося лица, уж не казавшегося мне некрасивым, излучалось какое-то доброе тепло, которое обволакивало меня и странно грело.

Придя в общежитие и укрывшись с головой одеялом, я услышал, что мои руки источают легчайший запах духов, и в полусне мне мерещилось, что я опять прикасаюсь к чему-то мягкому, доброму, теплому и что мне уютно и сладко от этой темной бархатной теплоты.

В другой раз я сделал большое открытие. Стоит почти что мысленно передать своей правой ладони мое желание повернуться налево, как партнерша в точности исполняет мое желание. Восприимчивость Серафимы была удивительна. Жаль вот только, я не знал еще вовсе никаких поворотов на этих ранних порах и, конечно, не смог бы самостоятельно вести Серафиму, не сбившись на первых двух шагах, не сконфузившись и не стушевавшись. Оттого-то почти все в нашем танце зависело от нее. Было ясно, что она взяла меня под свое чуткое женское покровительство.

— Внимание, музыка! — командовал маэстро Сероглазов.— И... раз-два-три! И... раз-два-три! Делаем только правые повороты. Не семените на цыпочках. Протяжнее шаг. Каблуки почти не отрываются от паркета. Не сутультесь. Разверните плечи. Чувствуйте себя кавалерами. Дамы, не отстраняйтесь от своих кавалеров на три версты. Они вас не съедят... И... раз-два-три! И... раз-два-три!

Серафима не отстранялась от своего кавалера.

Теперь я ждал дня занятия (мы занимались по вторникам и субботам) еще и потому (пожалуй, главным образом потому), что скорей хотел очутиться рядом с Симой — она приказала мне называть ее коротким именем.

Первый час мы всегда занимались разучиванием элементов танца. Стояли разделенными на шеренги, как в самом начале. Ходили гуськом по залу. То одного ученика, то другого маэстро вызывал на середину и заставлял выделывать разные ступенчатые сложные шаги. Выпала эта участь и мне.

Один среди огромного зала, под взглядами сорока человек, я немедленно стушевался и выглядел неуклюже. Раздались смешки.

— М-да!.. В паре, молодой человек, у вас получается гораздо лучше. Ну ничего. Главное, вы обладаете чувством ритма.

В конце концов маэстро умел ободрить даже самого безнадежного ученика.

Однажды, когда мы стали в шеренги, я заметил, что Симы в зале нет. В этот день мне почему-то сильнее, нетерпеливее, чем в другие дни, хотелось на занятия. С большой радостью я предвкушал, как мы опять будем рядом и я услышу ее голос, почувствую запах духов и теплоту бархатного платья, и вообще она нужна была мне теперь почти как хлеб, и странно было, что я когда-то жил, не думая о встречах с нею. А еще страннее, что сначала она показалась мне ужасно некрасивой.

Так вот, ее не было в зале. Я не поверил, несколько раз пробежал глазами по дамской шеренге. Как в полусне, я выполнял упражнения вместе со всеми, слушал команды маэстро, механически слушал музыку. Внутри же у меня все похолодело и онемело, и я не знал, что теперь будет.

Почему-то мне казалось, что Сима не придет никогда.

— Разойтись по парам!

В безнадежности я посмотрел туда, где всегда стояла моя Сима, и вдруг черное бархатное платье кинулось мне

в глаза через зальную пустоту, и не осталось в зале ничего и никого, одно только черное бархатное платье, и белый кружевной воротничок, и чуть-чуть улыбающиеся губы Симы.

Мы танцевали слаженнее, чем всегда.

— Я не хотела сегодня приходить,— шептала мне Сима.— Я хотела совсем не приходить никогда. Но в последние минуты все же решила. Сама не знаю почему. За пять минут собралась — и бегом... Не наступай мне на ногу. Слушай музыку.

Духами от нее пахло крепче обыкновенного: наверно, и душилась она второпях, на ходу, в последнюю минуту.

— Сегодня ты проводишь меня до дому,— сказала Сима, когда маэстро трижды хлопнул в ладоши в знак окончания занятий.

На улице я не знал, как себя вести. В зале все было предрешено и расписано: правую руку на спину, ее рука на моем плече. Теперь вступали в действия иные правила.

Все же я набрался духу, чтобы взять Симу под руку. На ней была беличья шубка. Я чувствовал, как просторно Симиной теплой руке в широком беличьем рукаве. Мы пришли к домику с мезонином.

— Эти два окна. Видишь, освещены? Там я живу. И моя подруга Клава. А теперь до свидания. До субботы!

В субботу в тот же час мы оказались перед тем же самым домиком. Света в окнах не было.

— Походим немного по улицам,— предложила Сима.— Такой тихий, приятный вечер.

Мы ходили по улицам минут сорок. И я все думал, правильно ли я делаю, что держу Симу под руку, и правильно ли я ее держу, с этой ли стороны. А Сима глубже запахивалась в широкую беличью шубку. Иногда взглядывала на меня сбоку и тихо, странно смеялась.

— Теперь зайдем к нам. Ты, наверно, озяб в своих танцевальных туфлях. (Сама она была в белых фетровых ботах.) Выпьем чашку горячего чая.

Окна мезонина гостеприимно светились.

То ли я все видел тогда в несколько радужном свете, то ли с мороза все мне в домике показалось необыкновенно уютным, приветливым, милым. И узенькая шаткая лесенка, и площадочка наверху, и кухонька, и голубая дверь, и, наконец, сама комната с низеньким потолком, с окнами, начинающимися прямо от пола. Занавесочки на окнах, две койки, стол под бумажной скатертью.

В комнате мы нашли подругу Серафимы — Клаву, бледнолицую завитую блондинку (она полулежала на койке), и майора, сидевшего за столом на стуле.

Я стараюсь вспомнить, точно ли в звании майора был тот офицер. Почему-то мне запомнилось, что он был именно майор. Сомнения же мои на этот счет происходят оттого, что офицер вспоминается мне очень молодым, розовощеким, веселым. Вроде бы майоры всегда выглядят постарше и посолиднее. Но, помнится мне, что именно майор.

Нас познакомили. Военный назвался Сергеем. Он поглядел на меня пристально, оценивающе и начал собираться домой. Клава встала с койки и надела шубку — проводить майора.

Сима торопливо прибирала на столе: две стопки, пустая бутылка из-под вина, крошки хлеба, обертка от плитки шоколада.

Я мог бы подумать о том, что еще четверть часа назад в мезонине не было света, когда же они успели выпить бутылку вина? Но куда мне было до таких наблюдений.

— Они давно дружат,— говорила Сима, постилая новую бумажную скатерть и садясь на свою койку.— Чайник закипит через полчаса.

Это вот положение или, если хотите, расположение нас в комнате — она сидит на койке, приоткинувшись на подушку, а я за столом на жестком венском стуле — определилось и укоренилось на много дней и недель.

Бывало так, что мы сидели в комнате. Потом приходила Клава, а потом вскоре и майор Сергей. Тогда Сима предлагала мне прогуляться, и мы уходили на улицу.

Бывало так, что мы приходили с улицы, заставая в комнате Клаву с майором. Они быстро собирались и уходили, оставляя нас наедине.

Но всегда, оставаясь наедине, мы занимали свои привычные места: она на койке, около подушки, а я на стуле возле стола. От меня до нее не меньше двух метров расстояния.

Теперь, когда мне не шестнадцать, а тридцать девять, я, вспоминая о днях юности, часто задаюсь вопросом, кто из нас тогда был виноват, ну, не виноват, не виноват, конечно, а, скажем помягче, от кого тогда зависело, что это расстояние продолжало оставаться все тем же и никто из нас не протянул друг другу руки.

Руку протягивает мужчина. А я им еще не был. Допустим. Но если руку протягивает мужчина, то все же снача-

ла он обязательно и точно чувствует, как будет встречена протянутая им рука.

И вот я чувствовал, что протягивать руку нельзя. А может, просто боялся, робел, холодел при мысли? Да, боялся и холодел. Но неужели она, если бы захотела, не сумела бы ободрить меня? Не научила бы, как протянуть руку? Остается одно: не хотела, чтобы я протягивал. Мало того, теперь я точно знаю: каждый вечер боролась сама с собой.

А недели между тем уходили назад, как уходят берега от идущего по реке парохода...

Однажды мы пошли в городской театр на спектакль. Правда, не помню, что давали тогда в городском театре. Как будто что-то из Лопе де Вега. Наш маэстро тоже был зан т, в спектакле, но роль его была второстепенна, и нам было досадно, что мы так мало видим на сцене нашего маэстро.

Да, забыл сказать, что курсы танцев к этому времени давно уже закончились. Мы встречались теперь с Симой не в клубе железнодорожников, а просто я почти каждый вечер, как на дежурство, повязав галстук широким узлом, шел к домику с мезонином.

Я видел: что-то неладно в наших отношениях. Чувство динамики, значит, и в то время жило во мне. Отношения вертелись на одном месте, как бы вхолостую. Я видел это, но сделать ничего не мог и постепенно привык к самому чувству неблагополучия.

Так вот мы тихо и мирно шли из театра. Вдруг Сима сказала:

— Я решила, что мы больше не будем встречаться. Это нам ни к чему. Когда-нибудь ты поймешь. Только не сердись на меня. Ладно?

И я остался один на морозной завьюженной улице.

Писали в старинных романах, что он-де остановился как пораженный громом. Куда там гром! Если бы меня вместо книжного грома ударили по голове обыкновенным прозаическим кирпичом, то я не был бы поражен так сильно, как при неожиданных и жестких словах Симы. И полная беспомощность. Теперь уж ни сила, ни мужество, ни храбрость, ни, допустим, нахальство — ничто не могло помочь мне, как обычно не помогает ничто, когда женщина решила уйти и уходит. Мужество, сила, храбрость — все это должно быть раньше, пока она еще не решила, не ушла. А теперь все поздно. Дверь за ней наглухо закрылась,

мелкая колючая поземка остужает и заметает ее следы. Да и какие следы на истоптанной городской улице!

Было чувство, что меня ударили в левую половину груди каким-то ужасным зазубренным оружием, которое я не в силах вытащить обратно. Ударили не смертельно, но дьявольски больно. Так и придется теперь таскать это покачивающееся при каждом шаге и причиняющее при каждом шаге свирепую боль (вроде как обломок татарской стрелы) оружие.

Не помня себя, я добрел до общежития. Значит, хватило все же выдержки не подать виду, если ребята ничего не заметили, а Колька Рябов даже начал трунить и острить в меру своей врожденной деликатности и тонкости:

— Ну как? Наверно, целый вечер к губкам прикладывался? Сладко, наверно, прикладываться к мягким губкам? Эх, хоть бы мне кого-нибудь поцеловать! Словно и не доживешь до этого часа.

Я укрылся с головой жестким суконным одеялом. Смутный запах духов, как и всегда после встречи с Симой, наполнил душное пододеяльное пространство. Но сегодня вместо обычной щемящей сладости он вызвал нестерпимую боль, как если бы тот обломок стрелы взяли и повернули в ране то вправо, то влево.

Я укутался еще плотнее и беззвучно заплакал. Плакать мне было трудно и неудобно, потому что надо было следить, чтобы ничего не увидели и не услышали ребята: ни всхлипа, ни вздрагивания.

...Дни проходили в полусне. Машинально я делал все, что полагалось мне делать и что делал раньше: умывался, сидел на лекциях, делал чертежи, ходил с ребятами в кино. Вот только по-прежнему не танцевал на студенческих вечерах, хотя и мог бы,— даром, что ли, плачено двадцать рублей из студенческой стипендии!

Всякое воспоминание о танцах, всякая мысль о них отзывались болью. Помню, однажды сидел я в гостях у брата. Вдруг по радио объявили: «Передаем танцевальную музыку. Фокстрот». Ну и что тут такого? А меня словно кипятком ошпарили при первых же звуках музыки. Вскочить из-за стола и убежать на улицу было первым толчком, но я, конечно, остался. Никто ничего не заметил.

Однажды я работал в мастерских в вечернюю смену. На токарном станке я делал из стального толстого стержня легкие тонкие кольца. Работа несложная даже для меня, практиканта. Обточишь болванку снаружи проходным рез-

цом, то есть снимешь с нее верхний слой металла вместе с ржавчиной. Ну и бугорки, неровности, выбоины. Бывает, что из кузницы болванка приходит не круглая, а приплюснутая, и это тоже нужно убрать. Впрочем, станок знает свое дело — поворачивай рукоятки.

Потом, когда болванка обточена, расточным резцом я выбирал у нее середину, то есть делал ее пустой, вроде как бы превращал в трубку. Теперь оставалось самое простое — узким отрезным резцом отрезать от трубки колечки, которые скатываются одно за другим на плоскость станины, залитую мыльной эмульсией.

Особенно волновала меня первая операция, первое соприкосновение, первое врезание стали в сталь. Ржавая болванка крутится быстро и равномерно. Я подвожу к ней резец, все ближе, все ближе. Кажется сейчас, как только острый кончик резца дотронется до вращающейся стали, так и полетит все к черту: удар, стук, резец пополам, как бывает всякий раз, когда находит коса на камень.

Но я уверенно, твердой рукой (и это мгновение мне особенно нравится) делаю последний полуоборот рукояткой — и вот уж из канавки резца спиральной струйкой течет синяя дымящаяся стальная стружка. Запах окалины, напряженная дрожь станка. Работа. Я режу крепкий металл. Я делаю из него все, что захочу. Кольцо, цилиндр, гайку, болт, круглый шарик... Струйка течет и течет, ломаясь время от времени с легким хрустом. Я гляжу на бесконечную голубую стружку и немножко забываюсь, и тогда затихает боль. Впрочем, к боли я привык. Ношу ее в себе бережно и молчаливо, отчетливо понимая, что любовь — болезнь и что нет другого лекарства, кроме времени.

Колька Рябов идет из курилки ухмыляющийся:

— Тебя к телефону. Приятный такой голосочек. Жми!..

Из трубки после долгого молчания (она не решалась заговорить секунды три или четыре) голос Симы:

— Приходи в четверг вечером. Я все объясню. Я больше не могу. Приходи.

Но встретились мы не в четверг, до которого осталось три дня, а на другой же день. Встреча была случайной.

Всегда в апреле на меня нападает некое смутное волнение, которое не позволяет мне сидеть на одном месте, а заставляет бродить целыми часами по рыхлому тающему снегу. Сырой, не по-зимнему мягкий воздух еще больше будоражит душу.

Городские улицы особенно неприглядны в это время. На

них особенно грязно, не прибрано, серо. Но на это как-то не обращаешь внимания, а видишь только, что весна и что снег рыхл, грязен вовсе не оттого, что посыпан солью, а оттого, что весна и сырой мягкий ветер. Не оттепель, а настоящий весенний ветер.

Он, ветер, вырывается из-за каждого угла, из каждых ворот, натыкается на стены, бросается из стороны в сторону, изорванный в клочья острыми городскими углами, крышами, железными столбами, проводами, грузовыми машинами.

Но я знал, что в городе есть место, где ветер без единой царапинки, широкий и светлый, плывет над землей, свободно расплеснувшись от горизонта до горизонта. Это место — высокий обрыв у белой кремлевской стены, а внизу река и заречная плоская равнина.

И вот она тоже пришла к белой кремлевской стене, к реке, к обрыву, и были мы тут вдвоем: она и я. Она сама впервые взяла меня под руку.

— Ты знаешь, я долго мучилась. Хотела звонить — и не решалась. А потом чувствую: больше не могу! Но давай не будем вспоминать. Какой мягкий день! У меня сегодня ночная смена. С одиннадцати. Целый день свободный. А как странно, что мы здесь встретились! Я назначала на четверг, потому что... Впрочем, глупости. Хочешь, пойдем на французскую борьбу?

Я молча покорно повиновался Серафиме.

В ту весну весь город словно свихнулся на этой самой французской борьбе. В парке Пушкина приезжие циркачи натянули свой шатер. После обыкновенной, посредственной, разумеется, цирковой программы во втором отделении выходил к публике пожилой человек, весь составленный из огромных, теперь уж немножко одряблых, бугров мышц. Это был арбитр Храпченко. Он раскланивался на все стороны и громко командовал: «Парад, алле!»

На арену упругой рысцой выбегали борцы. Тут были и пожилые, и огромные, на первый взгляд неповоротливые, борцы, и молодые, гибкие, узкие в поясе, широкие в плечах. У одного ноги как мраморные колонны; скупо переступает он ими по арене во время борьбы. Ну и весу в нем сто десять — сто двадцать килограммов — попробуй такого повали! К тому же в руках железная неразъемная, как у бульдога, хватка. Другой юрко суетится вокруг своего противника, хватает его, как дворняжка, то справа, то слева, ускользает от его роковых объятий, выскальзывает, как

угорь, не дается, снова наскакивает и вдруг каким-то кому не понятным образом перекидывает свинцовую тушу через себя.

Во время парада арбитр называл каждого борца по имени и городу, из которого борец якобы приехал. Названный борец делал пружинящий шажок вперед, кланялся одной головой и становился на место.

— Юрий Карелин — Урал! Святогор — Киев! Яунзе — Рига! Казаков — Запорожье...

Всего борцов выходило на арену десять — пятнадцать человек. Боролись же ежедневно две или три пары.

Потом я где-то узнал, что борцы в цирке не столько борются, сколько играют, заранее условившись, кто кого должен побороть. Таким образом администрация цирка создает наиболее азартные, наиболее завлекающие сочетания. Например, однажды борец Яунзе поругался на арене с арбитром и вызвал его (арбитр по возрасту не боролся). Назначили день. К цирку нельзя было подойти, не то что проникнуть внутрь. Весь город только и говорил что о предстоящем поединке. К тому же все видели, как Храпченко в этот день ходил в баню.

В другой раз Храпченко объявил: не желает ли кто-нибудь попробовать свои силы из публики? И вот один нашелся. По фамилии Красавин. Тут уж игра шла на чувствах местного патриотизма. Красавин положил своего противника. На другой день победа опять осталась за ним. Тогда выпустили против него Святогора. Билеты перепродавали втридорога. Потом мы узнали, что Красавин — их же профессиональный борец.

У публики и вообще у горожан появились борцы-любимчики, главным образом из молодых. Студентки педучилища и медицинского техникума караулили борцов на каждом шагу, как в Москве караулят знаменитых теноров. Может быть, даже азартнее, чем теноров, потому что голос — он и есть голос, а эти, даже самые молодые и гибкие, походили на породистых, выхоленных мирских быков: те же тяжелые загривки, те же, вроде бы немножко исподлобья, взгляды, те же бугристые, мощные торсы, то же нетерпеливое перетаптывание с ноги на ногу.

Серафима равнодушно проглядела первую половину цирковой программы, но так и впилась глазами, даже подалась вперед, когда дело дошло до борцов. Ноздри ее расширились (может быть, от крепкого запаха мужского пота), взгляд не пропускал ни одного движения лосня-

щихся, кувыркающихся, сжимающихся, как пружины, и, как пружины же, распрямляющихся тел.

Иногда она тихонько смеялась странным, загадочным смешком, смеялась именно в тех местах, где смеяться было вовсе нечему.

Впрочем, я мало, мельком, искоса смотрел на Серафиму, потому что во всем городе, может быть, не было более страстного болельщика, чем я...

После цирка — это было дневное представление — Сима заметила, что я изнуренно голоден. Это была правда. Стипендия давно кончилась, и я не ел со вчерашнего дня. К тому же под куполом цирка было прохладно, и я продрог. Значит, был еще бледнее, еще синегубее и жальче.

Сначала Сима хотела повести меня в ресторан. Но на пороге ресторана она вспомнила, что плохо, не по-ресторанному одета, и тут же переменила планы. Мы зашли в гастроном, купили колбасы, рыбных консервов, халвы и бутылку портвейна.

— Сегодня мы встретились. Пусть,— не то объясняя, не то оправдываясь, говорила Сима,— пусть сегодня все будет по-другому. Сегодня все будет сначала. Сегодня пойдем ко мне, поедим, согреемся.

В мезонине после долгой отлучки мне показалось еще уютнее. Вино и согрело меня и опьянило, и мне стало казаться, что я больше никуда и никогда не уйду из этой комнатки. Сквозь легкий туманец я смотрел на Серафиму и вдруг вспомнил, что давным-давно уж не было так, как тогда, на танцах, чтобы ее рука на моем плече, и темная бархатная теплота, и лицо близко-близко у моего лица.

Мне мучительно захотелось, чтобы все опять было так же, и еще большего — схватить ее, стиснуть, обнять, и чтобы так уж было всегда,— и вроде бы падать, кружась и задыхаясь на лету от падения, от кружения, от счастья.

Серафима, как и прежде, полулежала на койке. Я, как и прежде, сидел на стуле возле стола.

Было заметно, что она нервничает, волнуется, как бы хочет решиться на что-то и не решается. Она то взглядывала на меня быстрым, но цепким взглядом, то опускала глаза. Я заметил, что рука Симы, держащаяся за спинку кровати, побелела от напряжения.

Помню, что волнение Серафимы передалось и мне. Что-то приближалось, надвигалось на нас, чему мы должны были беспрекословно подчиниться.

Под долгим, чуть ли не гипнотизирующим, взглядом

Серафимы я как во сне встал со стула и сделал шаг. В то же мгновение Серафима вскочила и выбежала из комнаты.

Вскоре она вернулась, но уже совсем другая, оживленно начала говорить о чем-то постороннем, села против меня за стол и вдруг завела длинную историю о том, как она работала в детдоме воспитательницей, какой сначала это был плохой детдом и как они, воспитательницы, преобразили его. Мелькали в ее разговоре фикусы в коридорах, ковровые дорожки, белые простыни, пионерские галстуки.

Она рассказывала, не глядя на меня, боясь остановиться. Рассказывала, рассказывала до самых сумерек. И даже не успела закончить, как пришел мой старый знакомый — майор Сергей.

Полчаса майор подождал, не придет ли Клава, потом решился уйти. Я тоже собрался уходить. Впервые мы с майором из мезонина вышли вместе.

Серафима на площадке крепко сжала мою руку двумя почему-то холодными как лед ладонями и прошептала:

— Знаешь, ты все-таки больше не ходи, не надо...

По лесенке мы с майором спускались молча. На улице тоже не сразу наладили разговор. Первым заговорил Сергей.

— Слушай, гляжу я на тебя и не пойму, почему ты не бросишь всю эту волынку. Она же старше тебя на десять лет. Да и не в годах дело. Ты еще мальчишка, а она — матерая волчица.

Меня немного покоробил майоров тон, но я слушал.

— Найди себе ровню, молодую девчонку, и балуйся с ней в свое удовольствие. Правда, опытность тоже много значит. Пройти такую школу!.. Я понимаю...

— А я не понимаю, о чем вы говорите. У нас с Серафимой чисто дружеские, совсем незапятнанные отношения.

Я и сам чувствовал, что нашел нелепое слово. Майор же просто расхохотался.

— Незапятнанные! Уморил!.. Ты хочешь сказать, что всю зиму ходил сюда каждый вечер по чистой дружбе?

— Да. А для чего же я должен был ходить?

Сергей рассмеялся пуще.

— Ты, может, скажешь, она тебя и целоваться не научила?

— Да. Мы ни разу не целовались,— твердо ответил я.

Майор перестал смеяться и сделался серьезным.

— Да ты знаешь ли, куда, к кому ты ходил всю зиму?

— К Серафиме, и вы это отлично знаете.

— Знаю. Я-то знаю, что я к своей Клавдии хожу. Да я ведь даю себе отчет, к кому я хожу и, главное, зачем я хожу.

— Не понимаю...

— Да ведь они же обе... Высшей марки, понял? Высшей пробы! Нет, не те, которые околачиваются в парке Пушкина и готовы под любым кустом... Эти тоньше. Но, поверь мне, самой чистейшей, самой высокой пробы...

— Вы врете! Врете! — закричал я.— Вы нарочно мне врете. Но зачем?

— Ого!.. Еще пять минут — и готова дуэль. На чем будем драться: на пистолетах, на шпагах? Я, конечно, дурак и подлец. Не надо было мне тебя в холодный омут вниз головой. Но я ведь не знал, что у вас одни эти... голубенькие цветочки. Да и на Симку не похоже. Теперь слово сказано — не воротишь. А может, и к лучшему? А я ведь думал, что ты прямо из школы — в другую школу. Она это страсть любит — нетронутых.— Он посмотрел на меня изучающе: — А не врешь ли ты? Не прикидываешься ли?

— Зачем мне врать? Какая такая выгода?

— Очень уж чудно! Ну прямо-таки неправдоподобно. Как говорят, редчайший случай в медицине. Ну, бывай... Мне — по этой улице.— И он стушевался в густом апрельском тумане.

Вот, собственно, и вся история. Незначительный эпизод из ранней юности. Давно пора бы забыть. Я и забыл. Только всякий раз, как приезжаю в этот город и остаюсь в нем хотя бы на одни сутки, выплывают из глубины памяти, невесть откуда и когда запавшие в нее строчки чужого стихотворения. Хожу и твержу. Отвлечешься, забудешься, разговоришься с друзьями и — вдруг снова с какой-то болью и сладостью, мучительно про себя пропоешь:

Этот город мучных лабазов
Был театр моих розовых драм...

Иногда я задумываюсь: прав ли был Сергей? Или, может быть, за что-нибудь он был раздражен на свою Клаву? Или, может быть... (впрочем, это совсем невероятное предположение), но откуда-то берется же несуразная мысль: может быть, майора нарочно научила Серафима?

Не знаю. Ничего не знаю! Помню, что вскорости началась война — и медсестра Серафима Доброхотова, по дошедшим до меня слухам, уехала в действующую армию.

1962

МОШЕННИКИ

Один раз в жизни мне случилось быть настоящим мошенником. История эта небольшая, поэтому, хоть в ней нет ничего занимательного и примечательного, а тем более такого, что показывало бы нас, участников этой истории, с выгодной стороны, я ее расскажу.

Мы были на практике в чужом городе, на большом авиационном заводе. Семнадцатилетние пареньки, без пяти минут техники, мы все же мало умели делать полезного для того, чтобы завод обрадовался нам и принял нас как нужных и равных. По правде говоря, заводу было не до этого. Шла вторая весна войны, и, надо полагать, авиационному заводу хватало забот помимо того, чтобы путаться с желторотыми практикантами.

Может быть, и не хватало людей, может быть, даже их трагически не хватало, но мы приехали всего на один месяц и для военного завода не могли считаться людьми. Ставить нас на черную работу (например, разбирать мусор или грузить тяжести) было неудобно — все же преддипломная практика. У станков стоять мы не умели, то есть вообще-то умели, но сделали бы в три раза меньше опытного токаря или фрезеровщика. Для военного времени это была непозволительная роскошь. Заниматься с нами, водить нас по заводу, по цехам, все показывать, обо всем рассказывать, ко всему приучать было попросту некому.

Я рассказываю об этом потому, что, наверное, тут подтвердилась лишний раз древняя мудрость: праздность является матерью всех пороков. Если бы мы, отстояв свою смену, усталые, пусть даже трижды голодные, приходили в заводскую столовую вместе с рабочими, садились с ними за столики, обедали, разговаривая о нашей же работе и чувствуя себя равными среди равных, нам, я уверен, и в голову не пришло бы сделать то, что мы сделали однажды. В первые дни мы бродили по цехам, глядя на все со стороны, как экскурсанты. Потом, заметив, что никто нами не интересуется, стали приходить на завод на час-полтора, а потом и вовсе перестали показываться. Так вот и появилась та самая праздность, от которой, как известно, все равно как мокрицы от сырости, заводятся в душе человека самые разнообразные пороки.

И ведь не то чтобы мы были совсем уж неразумные мальчишки, что мы вовсе не понимали, где право и лево.

Лучше всего сказать в таком случае — бес попутал, если бы существовали на свете бесы...

Правда, в эти дни, все из-за той же праздности, разгуливая по городу, мы впервые попали в оперный театр. Никто из нас сроду не слышал оперы, не видел красочных декораций, самой обстановки оперного театра. Все это произвело на нас такое действие, что мы на другой день перестали разговаривать друг с другом нормально, по-человечески, но обязательно пели:

— О Васька, дай мне ножик перочинный!

— Зачем те-ебе?

— Я зачиню свои карандаши...

— Возьми, пожалуй, он — в кармане, в брюках.

Немудреный репертуар областного театра мы переслушали весь (там шли три оперы), и, пожалуй, больше всего меня теперь удивляет, как могли тогда в нас соединиться впервые проснувшаяся тяга к искусству и первое (слава богу, что последнее!) мелкое, грязное мошенничество.

Однако надо бы по порядку... Наступал час, когда мы дружно (ведь нас четверо жило в общежитской комнате) и целеустремленно шли в сторону заводских корпусов. То был час обеда. Нас прикрепили к заводской рабочей столовой, где, отрывая талончики от обеденных карточек «Р-4», мы получали гороховый суп и кашу из мелких прозрачных шариков, называемых сагой. Для того чтобы получить к обеду двести граммов ржаного хлеба, надо было отдать другие талончики, где печаткой было обозначено сегодняшнее число.

В столовой было людно и шумно. Подавальщица подолгу не несла нам суп и кашу, так что мы обыкновенно щипком, щипком успевали съесть весь свой хлебишко, а обедали вхолостую. Но все же это был настоящий обед. По утрам мы завтракали дома. Чаще всего это была еда, приготовленная по рецепту Яшки Звонарева: в миску мы наливали воды и немного льняного масла, солили все это и крошили хлеб.

Известно, что подростки — самый прожорливый народ. Значит, мы еще не вышли из подростков, если могли бы, так нам казалось, есть беспрерывно с утра до вечера. Но увы!.. С завтраком мы справлялись очень быстро, с обедом — тоже (если не считать задержек из-за подавальщицы), а ужин... Ужинать нам не приходилось вовсе, ибо все, что можно было съесть, мы съедали гораздо раньше.

— Если бы хлебца побольше,— мечтательно начинал

кто-нибудь из нас,— жить бы можно... Во-первых, оставалось бы к вечеру. Хотя бы с солью. Во-вторых, утром тюря была бы гуще. В-третьих, на базаре можно обменять на масло, а масло вылить в тюрю. Эх, да что и говорить! Известно — хлеб всему голова и основа. (Стоит заметить, что про хлеб мы не пели наподобие оперы.)

Обычно такие разговоры происходили вечером, то есть в самые голодные часы. Но тут прилетали немцы, начинали стрелять зенитки, по крышам звякали осколки от зенитных снарядов, в темноте метались прожекторы. Наконец раза два или три оглушительно ухало... Это отвлекало, и мы засыпали, разговаривая уже не о хлебе, а о только что закончившемся налете. Все меньше часов оставалось до желанной тюри.

Однажды после обеда Яшка Звонарев вынул из кармана измятый клочок бумаги и стал тщательно расправлять его на столе. Мы все увидели, что это не просто клочок бумаги, а тот самый талончик, который выдают нам в кассе и по которому мы получаем обеденный хлеб.

— Где взял?

— Откуда он у тебя?

— Ну-ка покажи!

— Где взял, там нету! На полу подобрал. Наверно, кто-нибудь обронил. Или подавальщица. Но не в этом дело. Смотрите, какая простая бумажка — клочок. Таких из одного листа тысячу нарезать можно. Нагибаться лень, чтобы поднять. Однако — хлеб! В этой бумажке содержится двести грамм хлеба. На вот, съешь, жуй, жуй — сыт не будешь: бумажка. А в ней — хлеб. Душистый, мягкий. Да хоть бы и черствый — все равно. И даже не написано, что хлеб. Ну хотя бы нарисовано было: буханка, или два кусочка, или там ржаной колосок. Нет. Написано только, что «13 июня 1942 года». А завтра будет написано: «14 июня», а послезавтра — «15-го».

— А послепослезавтра — шестнадцатого,— поддразнил Яшку Звонарева Генка Серов.— Пойдем-ка лучше, пока не поздно, получим по этому талончику двести грамм, а то столовая закроется — пропадет.

— Не пропадет! Можно тройку переправить на восьмерку и получить хлеб восемнадцатого числа. Это ведь очень просто сделать. А знаете что,— обвел нас всех воспламенившимися вдруг глазами Яшка,— знаете что... У нас будет куча хлеба, братцы, вот смотрите...— С этими словами Яшка нарисовал на ладони чернилами: «13 июня

1942 года», дал чернилам высохнуть, подышал на них, как дышат в канцелярии на печать, и приложил к бумаге. На бумаге обозначились цифры и буквы. Но были они бледные, а кроме того, читались наоборот.

— Ерунда,— вдохновился Яшка.—Айн момент... Генка, иди подержи зеркальце, сейчас я напишу правильно...

Генка держал маленькое зеркальце, а Яшка старательно рисовал на ладони. Мы с Витькой Рябцовым наблюдали. Оттиск на этот раз получился явственнее, читался, как и полагается, слева направо, но все же его нельзя было класть рядом с образцом, настолько он выглядел коряво и кустарно.

Мы, наверно, потому и не обсуждали Яшкиной инициативы и не пресекли ее в нужный момент, что видели всю ее бесплодность и бестолковость.

Но Яшка не унимался. Два дня он беспрерывно рисовал на ладони цифры и буквы, ставя отпечатки на газетах, на каждом клочке бумаги и даже на обоях. На третий день, отчаявшись и вымыв руки, он переменил тактику.

Теперь он не рисовал на своих ладонях, а купил несколько канцелярских резинок, какими стирают неудачные карандашные записи, наточил свой перочинный ножичек и принялся вырезать не дающие ему покоя цифры и буквы на резинках.

Между тем исподволь психология наша сама собой приготавливалась к тому, что почему бы и не попробовать, если удастся... Постепенно мы настраивались на Яшкин лад,— так сказать, постепенно созревали для преступления. Созревание наше шло, главным образом, в часы голода, когда хлеб казался наиболее желанным и, значит, наиболее недоступным.

Обедая в столовой, мы теперь тщательно рассматривали хлебные талончики и видели, что действительно в них нет ничего мудреного — число, месяц и год — и что если в ворохе истинных талончиков затерять парочку «наших», то, конечно, и подавальщица не заметит, и женщина на раздаче не заметит, и, таким образом, мы получим четыреста граммов лишнего хлеба. Так просто и заманчиво! Скорей бы Яшка заканчивал эти свои резинки!

Работа была тонкая и продвигалась медленно. Нужно было кончиком ножа «выбирать» лишнюю резину между мелкими, в сущности, буквами. А попробуйте, например, у восьмерки выбрать резину в крохотных колечках так, чтобы колечки получились ровные и круглые, а не как-

нибудь! Кроме того, требовался набор разных цифр, чтобы отпечатывать разные числа: дни идут — за девятнадцатым грянет двадцатое...

Однажды Генка Серов глядел-глядел на кропотливые Яшкины занятия, потом, ничего не говоря, вышел и пропадал около двух часов. Появился он загадочно сияющий, обошел вокруг Яшки, как бы не решаясь сразу огорошить нас и наслаждаясь лишь предвкушением своего торжества.

Но все же надолго его не хватило. Обойдя вокруг стола три раза, он без дальнейших обиняков вынул из кармана и положил на стол рядом с жалкими Яшкиными резинками замечательное фабричное изделие. Это было приспособление, при помощи которого в кинотеатрах ставят на билеты число, месяц и год. Резиновые ленточки с цифрами и буквами передвигались одна возле другой, так что за две секунды можно было составить любую надпись: двадцать пятое так двадцать пятое, двадцать восьмое так двадцать восьмое. Нетрудно было нам уточнить, что в заводской столовой хлебные талончики штемпелюют точно такой стандартной, фабричной, ширпотребовской печаткой.

Яшкина работа потеряла смысл, но зато расцвела его идея. Хохоча, нетерпеливо выхватывая друг у друга из рук печатку, мы клеймили ею все вокруг себя, что только можно было клеймить.

Вечером Яшка (никто не оспаривал у него это право) в нашем тесном и ободряющем окружении начал священнодействовать. На бумажном билетике, точно скопированном с образца, появилась первая надпись, сулившая нам первые двести граммов незаконного хлеба. Мы так и сяк сличали новоявленный фальшивый талончик с образцом — никакой разницы между ними не было. Теперь нужно было решить, сколько талончиков сделать. Здравый смысл подсказывал: напечатать для начала один или два талончика и посмотреть, что из этого получится. Впрочем, если рассуждать строже, здравого смысла вообще не было близко возле нас в то время, иначе мы выбросили бы и печатку, и все Яшкины резинки на помойку. Вместо этого мы напечатали сначала четыре талончика — на каждого человека по двести граммов.

— Это мы съедим за обедом,— предложил Генка Серов.— Теперь неплохо бы немного хлеба на утро, на нашу тюрю.

Мгновенно, как в сказке, появились еще четыре талончика.

— Теперь хорошо бы килограммчик хлеба, чтобы обменять его на базаре на подсолнечное масло.

— То же и на курево можно там обменять.

— А я видел вчера, как один мужик на кусок хлеба выменял большую селедку. Вот бы нам посолиться!..

Мы рассуждали между собой, мечтали то о подсолнечном масле, то о турецком самосаде, то о селедке, а Яшка, как восточный волшебник, немедленно претворял наши мечтания в жизнь: долго ли было ему надавить печаткой на бумажный билетик! Опомнились мы, когда накопилась гора талончиков. Пересчитали — пять килограммов восемьсот граммов хлеба.

— Нельзя столько сразу. Подозрительно. Как бы не попасться. (Что будет с нами, если мы попадемся, мы както не думали.)

— Чего бояться! Как же мы попадемся, если талончики не отличишь друг от друга? Предъявим подавальщице — обязана принести. Не все равно ей, сколько нести — восемьсот грамм или...

— Да, пожалуй, пять восемьсот все-таки многовато. Давайте убавим для первого раза. Ну хотя бы четыре кило... По килограмму на брата как раз будет.

В столовой в этот день, как нарочно, оказалось народу меньше, чем обыкновенно. То ли мы пришли в своем нетерпении чуть-чуть пораньше.

В кассе мы оторвали от своих хлебных карточек нужные купончики и получили на руки по талончику, точно по такому же, каких полно было у Яшки в кармане. Получив эти талончики, мы вышли из столовой в уборную, закрывшись на крючок, стали сличать с фальшивыми. Да, разницы не было! Больше того, смешав, мы не могли уже выбрать теперь из кучи те четыре, что только что получили в кассе.

— Ну как, кладем? — обвел нас всех Яшка тревожными глазами, когда мы снова уселись за стол.— Кладем? Рискуем? После не жалеть.

— Клади,— ответил за всех Генка Серов.

Яшка бросил талончики на стол.

Подавальщица — черноглазая, бледная, худая девушка (раньше мы как-то не обращали внимания на то, какая она) — торопливо смахнула все наши билетики к себе на поднос и исчезла. Мы переглянулись еще раз, и каждый, наверно, в лице другого прочитал тревогу. Нет, нет, мы не думали о том, с кого спросится за четыре килограмма хлеба, которые мы сейчас получим: с этой черноглазой и как бы

полупрозрачной девушки, или с раздатчицы, пожилой сталой женщины (не то чтобы усталой, но с какой-то устойчивой усталостью в глазах), или, может быть, с кассирши, которая уже вовсе ни в чем не виновата. Не думали мы и о том, что, может быть, этих четырех килограммов не хватит двадцати рабочим, отстоявшим у станка десять или двенадцать часов. Но зато впервые мы задумались о том, что будет с нами самими, если нас неожиданно разоблачит вот та черноглазая подавальщица или вот та — блеклая, усталая раздатчица.

Впрочем, мне трудно говорить за своих товарищей. Что касается меня, то я явственно вдруг увидел, что нас, во-первых, немедленно прогонят с практики, а во-вторых, исключат из техникума. Мало того, нас, конечно, по законам военного времени, будут судить. Много не дадут, но даже одного года в лагерях достаточно для того, чтобы переломалась и на десятки лет вперед вылетела из колеи вся жизнь.

Мне рассказывали об этих лагерях. Попадает туда человек, к примеру, опоздавший на двадцать минут на работу. Вполне хороший, вполне порядочный человек. И вот кругом — уголовники, преступная среда. Иной мир, иной быт, иная психология. Некоторым удастся удержаться на поверхности, то есть сохранить в себе человека, большинство же идет на дно...

Мне вдруг вспомнилось, что после практики я должен на месяц поехать к себе в деревню. Это будет как раз середина лета, июль. В Журавлихе созреет в высокой лесной траве крупная, как малина, земляника; ослепительно-белые кучевые облака будут неподвижно дремать над дальним лесом, над ровными лугами, над селом с колокольней, отражаться в спокойной речке, в которой около дна, даже в самую жаркую пору, держится обжигающе студеная ключевая вода...

Вечером прохладная тишина опускается на землю. Будешь замечать воздух, которым дышишь (он станет прохладным и заметным), звезды, бледные сначала, станут ярчеть, разгораться, а вскоре из-за темных былинных холмов выплывет огненная половина луны, похожая на горящий стог сена или клевера. Может, в эту минуту закричит коростель; может быть, заржет в лугу кобылица; может быть, в соседней деревне за рекой железной палкой о подвешенный рельс замедленно, с растянутыми промежутками, ударят одиннадцать раз... А если лечь на землю и смотреть

в сторону подымающейся луны, то вся она окажется исчерченной, изрезанной по багровому своему полукружию черным переплетением былинок и трав. Воля...

Лежать на траве и смотреть на звезды — что может быть прекраснее и слаще! Воля...

Или, может быть, развести небольшой огонь. Тотчас исчезнет все: и туман над рекой, и окрестность, освещенная луной и звездами. Мрак сгустился вокруг огня. Можно тогда непрерывно следить, как бойкие красные лоскутки бегают с конца на конец сосновых палочек, как из холодных, твердых, неинтересных, в сущности, деревяшек начнет высвобождаться, выпархивать и тут же тянуться к звездам до поры до времени притаившееся солнце. Каждая палочка — консервная банка с солнцем. Ну не банка, что-то другое, но, что «солнечные консервы», — факт. И вот солнце обретает само себя — бегают по дровам огненные языки. Тепло и свет распространяются вокруг. Искры взлетают кверху, трепеща и не веря самим себе, не веря тому, что летят. Воля...

Можно ночью уйти с гулянья с той, которая, по неизвестным законам, кажется несравненно лучше других, сидеть с ней на уютном крыльце заброшенного, «ничейного» дома. И будет шепот, и будут губы, и стыдливое расстегивание кофточки, и грудь, сухим электрическим огнем обжегшая вдруг ладонь, впервые прикоснувшуюся к полному великой тайны девичьему телу. Воля...

Странно! Но я думал о своей деревне и обо всем так, как будто то, что должно случиться, уже случилось, и деревня сделалась недоступной, и все остальное в жизни сделалось недоступным. А разве не случилось? Уже брошен жребий и перейден рубикон. Талончики не у нас в руках, и далека и недоступна теперь моя деревня...

Черт возьми, на что же мы все это теперь меняем?! На четыре килограмма ржаного хлеба. Вся нелепость, вся глупость нашего поступка вдруг стала настолько очевидной, что я чуть было не бросился вслед за подавальщицей, чтобы отнять у нее фальшивые талончики и растоптать их на полу, и уничтожить, и забыть о них. Может быть, каждый из нас думал так же. Но правда остается правдой — никто из нас не шелохнулся, сидя за столом. Все мы напряженно следили за действиями подавальщицы (раздача была нам хорошо видна). Вот она перебрала в руках бумажки, прежде чем отдать их раздатчице. (А может, это все наваждение, что мы сейчас попадемся и нас будут

судить и отправлять в лагерь или в тюрьму, может быть, сейчас принесут нам гору хлеба, и мы будем довольны и счастливы и будем обедать, есть тюрю, а завтра выменяем на базаре большую жирную селедку и стакан табака!)

Вот движения девушки замедлились. Она снова начала перебирать все бумажки. Раздатчица, пожилая, усталая женщина, вместе с ней наклонилась над бумажками. Они перебрали их раз; начали перебирать снова,— видимо, тщательно пересчитывали. Потом раздатчица что-то спросила у девушки. Девушка кивнула головой в нашу сторону, и раздатчица стала искать глазами нас, и нашла, и долго смотрела на нас, как бы обдумывая.

Почему мы не убежали, ясно видя, что дело наше раскрыто? Ведь никто не узнал бы никогда ни наших имен, ни даже кто мы. А если бы и узнали, что практиканты,— попробуй докажи! Не знаю почему, но мы сидели как прикованные под испытующим и принимающим решение взглядом пожилой, усталой женщины.

Женщины на раздаче о чем-то поговорили и перестали глядеть в нашу сторону, забыли о нас.

Как теперь все будет дальше? Наверно, раздатчица сейчас уйдет куда-нибудь в задние комнаты и позвонит по телефону. Конечно, теперь они будут делать вид, что не смотрят на нас, чтобы не вспугнуть. Ну точно! Раздатчица вытерла руки полотенцем и уходит. Вместо нее на раздаче появляется подмена — другая, тоже пожилая и тоже усталая женщина. А черноглазая как ни в чем не бывало ставит на большой деревянный поднос тарелки с супами и кашами, а также тарелку с хлебом. Хлеба на тарелке восемьсот граммов — это сразу видно. Четыре килограмма образовали бы хлебную гору.

Девушка ставит поднос на уголышек нашего стола и все тарелки быстро перестанавливает с подноса на стол.

Суп, суп, суп, суп! Каша, каша, каша, каша! Хлеб...

На тарелке с хлебом, на дне, под аккуратными черными ломтиками лежат наши талончики. Девушка ничего нам о них не говорит. И мы ей ничего о них не говорим. Не возмущаемся, почему нам вернули талончики, не требуем вместо них как бы законного хлеба.

Прежняя раздатчица снова появилась в окне. Но мы не смотрели в ее сторону. Нам стыдно. Мы, обжигаясь, не разбирая вкуса, съедаем гороховый суп, обжигаясь, глотаем безвкусную саговую кашу...

Только сейчас, спустя двадцать лет, я подумал о том, что мы ушли тогда из столовой, не сказав спасибо ни черноглазой девушке-подавальщице, ни пожилой женщине на раздаче, с безнадежно усталыми, военного времени глазами.

1962

И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ ГОВОРИТ...

Мы путешествовали по Киргизии. Мы — это я, начинающий журналист, мой напарник, опытный журналист-фотокорреспондент Романыч, и шофер Володя. Четвертым можно было бы назвать наш «газик», к которому мы привыкли, как к живому существу, пока карабкались вместе с ним по невероятным для неискушенного человеческого воображения горным дорогам.

Теперь мы ехали из Пржевальска во Фрунзе вдоль северного берега Иссык-Куля. Мы выехали из города довольно рано, так что могли б в этот день доехать до цели, но перед нами на каждом шагу открывались такие красоты, Иссык-Куль то и дело показывал нам такие сочетания глубокой морской синевы и ослепительной белизны, что Романыч беспрестанно просил остановиться, выскакивал из машины, чтобы запечатлеть. А тут еще понадобится ему, чтобы вот то серебряное облачко приблизилось вон к той сиреневой горной вершине. Значит, сидим и ждем, когда облачко приблизится. Неудивительно поэтому, что день начал клониться к вечеру, а мы, спохватившись, увидали, что проехали очень мало.

— Пока светло, надо подумать о ночлеге,— скорее распорядился, чем внес предложение Володя.— Скоро будет детский санаторий. Я думаю, там найдут для нас пустую комнату.

Через полчаса мы въехали в ярко разукрашенные ворота санатория.

Директриса, молодая, симпатичная женщина, показала нам комнату, велела в семь часов приходить на ужин, а пока что разрешила побродить по аллеям и дорожкам санатория. Мы побродили немного, читая разные детские лозунги, записанные на фанерных щитах, а потом уселись на решетчатый зеленый диван, чтобы там скоротать время, оставшееся до ужина.

Мимо нас сновали пионеры — мальчики и девочки, так

примерно пятого-шестого класса. Иногда проходили по дорожке воспитательницы — молодые загорелые женщины. Проходя мимо нас, они почему-то смущенно отводили глаза и густо краснели.

— Почему они смущаются? — вслух подумал я.

— А как им не смущаться! — тоже вслух начал размышлять Романыч.— Их здесь, молодых девушек, наверно, двадцать или тридцать. Живут в санатории: солнце, воздух и вода. Причем какое солнце, какой воздух и какая вода! Опять же — кумыс. А вокруг ведь одни детишки. Если бы были порядочные отдыхающие, конечно, те отучили бы их смущаться. А ты как думаешь, Володя?

Володя любил отвечать категорически.

— А я думаю — это все ерунда,— сказал он.— Просто парней давно не видели, вот и краснеют.

В это время на аллее появилась девушка, не заметить которую, вернее, не выделить которую из всех остальных было бы невозможно. Ее белые (еще и выгорели на высокогорном солнце) волосы были заплетены в одну косу, толщиной, право же, не меньше ее собственной загорелой руки в том месте, где кончается коротенький ситцевый рукавчик. Доходила коса как раз до подола. Она, должно быть, была тяжелая, эта коса, оттягивала голову немного назад, отчего девушка держалась необыкновенно прямо и выглядела бы даже горделивой, если бы не милое застенчивое лицо.

— Девушка, у вас есть библиотека? — спросил я, когда она поравнялась с нами.

Спросил, конечно, не ради книг, а ради того, чтобы хозяйка невиданной доселе косы хоть на полминуты задержалась. Ну просто нельзя было так ничего и не спросить у этой девушки!

— Да, есть. Я как раз библиотекарь. Правда, теперь уж немного поздно. Но если вы очень хотите...

— Не то чтобы очень... Но у вас здесь так скучно! Танцев ведь не бывает?

— Ой, что вы, какие танцы!.. Дети...

— Чем же прикажете заниматься?

— Не знаю. Я, например, по вечерам катаюсь на лодке. Если хотите... И если не боитесь, конечно... Вот причал, видите? Приходите к нему, когда начнет темнеть.

Девушка скрылась за поворотом аллеи, а мы все еще смотрели ей вслед и не могли опомниться.

— Вот это да!..— только и выговорили мы.

Тут вскоре подоспел ужин, с которым мы расправились за двадцать минут. Снова погуляли по дорожкам санатория. Снова уселись на диван.

— Ну что же ты? — удивился Романыч.— Смеркается. Неужели не хочешь воспользоваться приглашением?

— А ты считаешь, это была не шутка? Ты же знаешь, вечером здесь темно, как в бутылке с чернилами. Неужели ты думаешь, что девчонка действительно катается по Иссык-Кулю в такую темень? Наверно, она пошутила, чтобы отвязаться от нас.

— Может быть, и пошутила. Но если она придет, а ты нет, то получится, что ты испугался. Лучше уж прийти.

— Ты думаешь? Ну ладно, пойду возьму куртку. На воде ночью холодно.

В синих высокогорных сумерках я сидел один у причала. Темная прохладная синева расстелилась по дну долины и поднималась теперь все выше и выше, как будто сам Иссык-Куль, тоже прохладный и синий, начал подниматься как на дрожжах, заполняя собой огромную каменную чашу. Только края чаши — зубчатые гребни гор — горели, вздымаясь над синевой, светились где розовыми, где красными, где лиловыми снегами. Последние лучи солнца, уже недоступные нам, микроскопическим существам, ползающим по дну долины, царственно покоились на поднебесных снегах.

Непривычное волнение охватило меня. Теперь мне хотелось, чтобы девушка обязательно пришла, чтобы все не оказалось просто шуткой.

Между тем горящие снега начали покрываться сизым теплом, холодеть, стынуть, гаснуть. И вместе с тем, как они гасли, все темнее и темнее становилось здесь у нас, на грешной земле.

— Вы уже здесь? — весело и непринужденно спросила девушка.— А я думала, испугаетесь. Помогите мне открыть замок, сейчас я принесу весла.

Цепи лязгнули в тишине.

— Грести умеете? Тогда садитесь на весла, а я оттолкнусь. Поехали!

Когда мы уже оттолкнулись, на берегу появился Романыч.

— Садись с нами,— предложил я и начал выгребать одним веслом, чтобы повернуть лодку.

— Нет, нет, я хотел что-то тебе сказать, но теперь ладно. Счастливого пути!

Ничего себе путь! Высокогорная ночь опустилась мгновенно, как будто захлопнула нас крышкой в глухом чугунном котле. Ни близких берегов, ни далеких гор, ни даже воды вокруг лодки — ничего не было видно, одна чернота, в которой невозможно было ориентироваться. А я-то знаю, что в темноте, пешком ли, на лодке ли, обязательно будешь ходить кругом, пока окончательно не закружишься. Между тем, судя по времени и по тому, как я греб, мы успели отъехать порядочно.

Я подумал о том, что не знаю, где берег, и что, если бы сейчас остался один, совершенно не знал бы, куда плыть, чтобы причалить к санаторию. Дело, видимо, в том, что мы выехали из бухты и мыс загородил от нас то место, где в темноте спал теперь санаторий, а то какой-нибудь огонек, наверно, светился бы там.

Вдруг и она, эта взбалмошная девчонка, не ориентируется в темноте? Тогда придется ждать рассвета. Какое-нибудь течение унесет на середину озера. Да еще рассказывают, что временами налетает внезапный береговой ветер, который уносит и разбивает большие рыболовные суда, а не то что нашу деревянную лодочку, в которой и повернуться-то нельзя, чтобы не опрокинуться.

Я бросил весла и еще раз огляделся. Нет, нигде ни огонька, ни намека на берег! Одинаковая холодная чернота.

— Что, все-таки страшно? — тихо рассмеялась спутница.— А я люблю. Люблю, чтобы совершенно одна. Чтобы страшно. Чтобы опасно. Прошу вас, гребите еще, гребите подальше от берега, туда, где ходят большие волны и откуда нам, может быть, не удастся вернуться.

Видя, что я не берусь за весла, Маша (а именно так звали девушку) категорически потребовала:

— Гребите, или я переверну лодку.— При этом она так начала раскачивать нашу ореховую скорлупу, что борта и справа и слева зачерпнули понемногу воды.

Но все же вместо того, чтобы подчиниться ее нелепому требованию грести, я протянул вперед руки и наткнулся как раз на руку Маши. Рука была теплая и добрая. Я потянул ее на себя. И Маша покорно пересела на мою скамейку. Я тихо обнял девушку за плечи, накинул на нее половину своей куртки. А потом взял ту самую руку, которая первой попалась мне в темноте, поднес к губам. Тут мне показалось, что рука от моих губ, как бы зовя их за собой, потянулась к Машиному лицу. Скорее всего, просто Маша хотела убрать руку. Но я это понял именно как зов, остановиться

мне было уже трудно. Не успела девушка опомниться, как я поймал ее испуганные, дрожащие губы.

Маша ткнулась мне в плечо и расплакалась.

Переход от безрассудного чудачества к этим слезам был так неожидан, что я не знал, что и сказать. Вместо утешения я стал гладить ее волосы, мокрую от слез щеку, ее плечо.

— Ну зачем? Ну зачем? — всхлипывала Маша.— И вы тоже. Неужели это обязательно? Неужели этим нужно всегда платить за что-нибудь необыкновенное, за красивое?.. Неужели и вы — как эти мои подруги или как наша директриса?

— Чем я похож на директрису, помилуйте?

— Все тем же самым. Они думают, что я каждый вечер беру лодку и езжу к рыбакам. Они не могут представить, чтобы все не сводилось к этому. Что я ночью, одна, просто так плаваю по Иссык-Кулю! Сначала эти косые насмешливые взгляды, эти намеки, а потом уже упрекать в открытую. А что я могла, как я могла их разубедить!

Девушка надолго замолчала, продолжая всхлипывать.

— Я думала, что бывает же что-нибудь, чтобы без задней мысли, без обязательного этого. Ну, просто море, или просто звезды, или просто ночь... Ну, прошу вас, не надо, ничего не надо. Мне тепло, хорошо рядом с вами. Давайте будем молчать и плыть.

Мы молчали и плыли. То есть неизвестно, плыли мы, подгоняемые ветерком и волной, или просто покачивались на месте. Иногда Маша поднимала с моего плеча свое казавшееся счастливым лицо и крепко закрывала свои светло-серые, а в темноте черные глаза.

— Конечно, там, на берегу, никто не думает, что мы рядышком сидим в лодке и можем просидеть так всю ночь. Знаете, что они скажут завтра: «Ну как, Машенька, вчерашний улов?» Страшно противно. Ну, а какой у меня улов? Сидим — тепло. Бьется ваше сердце... Но если все равно все будут думать, что я с вами целовалась, лучше уж и правда целоваться, не так ли?.. Ну вот... Я думала, что вы мне докажете, что это не так, а вы молчите... Вы знаете, со злости и чтобы не было, по крайней мере, пустых разговоров, я однажды ночью причалила к рыбачьему шалашу...

После этих слов мы оба молчали очень долго. Наконец Маша продолжала:

— Там никого не оказалось. Рыбаки в эту ночь ушли в море. Я сидела и жгла костер. Вам не понять, как иногда

хочется сделать назло. Я ведь не просила их думать обо мне плохо. Я ведь действительно просто каталась по Иссык-Кулю, потихоньку пела, вспоминала стихи. И с вами поехала назло. Но втайне я хотела проверить: неужели ничего не может быть без этого? Чтобы просто море, или просто звезды, или просто ночь?.. Но вот и вы захотели меня поцеловать.

Теперь здесь получается, что мы беспрестанно разговаривали. На самом же деле между каждой фразой шло время, длилось молчание, проходила ночь. Так, например, я не знаю, сколько времени мы молчали перед тем, как Маша негромко запела:

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит,
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит...

Пела Маша очень хорошо. То есть она пела вполне безграмотно с точки зрения знатока вокального искусства, но как-то очень больно и очень сладко. А вместе с тем чисто и светло.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Случилось так, что как раз под Машину песню начала проясняться непроглядная чернота неба. И прежде всего из безграничной темноты проступили вдруг, смутно почудились, забрезжили зеленоватые пирамиды снежных гор. Через какие-нибудь четверть часа они уже полыхали то зеленым, то розовым огнем, хотя подножия, основания гор еще не было видно. Розовые и зеленые шатры висели во вселенной, беспристрастные, невозмутимые, не боящиеся того, что их может запачкать или опорочить дурной взгляд, грязная мысль, нелепые подозрения. Они были выше всего на свете и властно манили человеческий дух к себе, в свою абсолютную, торжественную чистоту...

По дорожкам санатория нам пришлось идти, когда уже рассвело.

— Ну вот, чего, чего мы боимся? — чуть не плача, говорила Маша.— Что мы сделали плохого? Ровно ничего. Отчего же нам было бы стыдно и неловко теперь, если бы вдруг попались люди и увидели нас вместе в этот час? Почему сразу же им пришла бы в голову не самая хорошая мысль: «Вот люди вместе слушали море, вместе встречали

рассвет, начало нового дня, великое солнце...», а самая плохая: «Ишь, до которой поры проваландались! Ну как улов, дорогая Машенька?»

Попрощавшись с Машей, я тотчас разбудил друзей. Через час-другой мы были далеко от гостеприимного санатория. Меня клонило ко сну. Конечно, Володя и Романыч избрали это объектом для своих острот и шуток.

— Кстати, Романыч, что ты хотел мне сказать вчера, когда мы уезжали на лодке?

— Перед этим я разговаривал с директрисой. Она мне описала эту Машу. Я хотел тебе сказать, чтобы ты не тратил время на чтение стихов.

— Стихов-то я ей как раз не читал,— ответил я. А километров через пять добавил: — И это единственное, в чем я могу себя упрекнуть и о чем жалею.

1963

НА ЛЫЖНЕ

Я воткнул лыжи в сугроб около тропинки, чтобы они, стоявшие до этого в теплой комнате, немного остыли. Такая уж фантазия пришла мне в голову. Мне показалось, что к теплым лыжам «прикипит» снежок, может быть, даже успеет растаять и намочить их, и тогда они будут хуже скользить, а ведь путь не близок.

Строго говоря, это никакой не путь, а замкнутый круг, кольцо, лыжня, проложенная отдыхающими санатория. Хорошим скользящим шагом пробежать часа за два.

В то время, когда я ерзал ботинком, стараясь попасть дырочками в подошве крепления, мимо проходила медсестра Наташа, совсем юная, темнобровая, большеглазая девушка. Ее накрахмаленный халатик поскрипывал на морозе. Он был такой же чистый, так же облит солнцем и так же отдавал синевой в складках и затененных местах, как и мартовский снег, лежащий по обе стороны от тропинки. Глядя на него, хотелось зажмуриться, как и при взгляде на эти лебяжьи девственные снега.

Впрочем, я не знаю, возникло ли бы желание зажмуриться, если бы халатик просто висел на ветке дерева,— например, вон той ольхи или вон этого орехового куста.

Итак, когда я застегнул крепления и распрямился, у носков своих лыж я увидел Наташу. Она не стала обходить меня — узкая и глубокая была тропинка,— но ждала,

когда я сверну в сугроб. Ее фигурка и весь ее вид выражали капризную повелительность и сдерживаемое нетерпение, а в глазах было то самое, отчего мне хотелось зажмуриться каждый раз, когда я попадал, ну что ли, в их свет.

Я случайно оказался в этом санатории, где отдыхали все больше инженеры да ученые, и, видимо, необыкновенность моей профессии (композитор) была удивительна для Наташи. Я был тут залетной птицей. Может быть, даже легкое романтическое облачко окутывало меня в то время, когда Наташа останавливала на мне свои солнца, от которых, как я уже не однажды замечал, хотелось зажмуриться или, по крайней мере, опустить глаза.

Наташа улыбнулась и спросила меня:

— И вы на кросс?

— Не знаю. Культурник вчера очень уговаривал принять участие. Вот уж воистину дела себе ищут!

— Разве плохо — кросс? — удивилась девушка.

Лыжня начиналась тут же, возле тропинки. Я сильно оттолкнулся, низко присел, чтобы проскочить под еловые ветви, скатился в овраг (ветер скорости, пробив куртку и свитер, на мгновение разлился по теплой груди), вынырнул из оврага на противоположную сторону и очутился прямо на старте.

— Давайте, давайте скорее! — уж начал командовать мною культурник.

Я подумал об условности бытия. Вчера этот Федя, умеющий играть на аккордеоне и громко, для публики, рассказывать анекдоты, уговаривал меня. Я кивнул головой. Если бы я не кивнул, значит, я поехал бы сейчас, куда мне нужно и как нужно, а теперь вот надо подчиняться команде.

— Давайте скорее! Видите, уж все собрались!

Никакого старта не было. Палкой прочертили снег, и теперь мы выравнивали носки лыж по черте, стараясь не переступить через нее хотя бы на четверть. Феде удалось уговорить пятнадцать человек.

Тут были и вовсе пожилые мужчины, и один доктор наук с длинной бородкой, и долговязый, в очках, сынок профессора, запустивший растительность на лице, чтобы быть похожим на Хемингуэя. Никто, видимо, не воспринимал этот кросс всерьез, так же как и я.

Все рванулись со старта. У кого-то сзади заплелись лыжи. Послышался смех, визг. А я, первым попав на лыжню, не заметил, как пробежал полем, и теперь бежал лесом.

Лет пятнадцать назад, в армии мне много приходилось ходить на лыжах походами и участвовать в кроссах. Бывало, жмешь изо всех сил. Из-под шапки струями льется пот, попадает в глаза. Видишь только лыжню да носки своих лыж. Нет бы оглянуться по сторонам, восхититься торжественной сказкой зимнего леса, полюбоваться деревьями, сделанными из инея,— куда там! — только лыжня да носки лыж.

И в голове тоже не то чтобы связные мысли, а одно мельтешение. Потом сознание зацеплялось за какую-нибудь воображаемую детальку,— например, за гороховый суп со свининой, который я любил до армии, и уж не отпускало этого горохового супа до самого конца.

Ни армейская дисциплина, ни железная необходимость не руководили теперь мною. Но выработалась нелепая привычка: если встал на лыжи, то жми изо всех сил, пока не пробежишь замкнутого кольца. Теперь кросс, теперь понятно. Но и в предыдущие дни, катаясь на лыжах, я старался бежать изо всех сил, как будто меня подгоняют, как будто сама цель лыжной прогулки состоит не в том, чтобы прогуляться по лесу, но промчаться сквозь него, ничего не замечая, уткнувшись в носки собственных лыж и обливаясь потом.

А вот догоняет меня еще один фанатик. Либо он еще больший фанатик, чем я, либо лучше владеет лыжами. Иначе почему же он меня догоняет? В другое время, лет пятнадцать или хотя бы десять назад, я, услышав за спиной напряжение нарастания погони, прибавил бы шагу и позволил бы обогнать себя только на самом быстром ходу. Теперь что-то новое и непонятное шевельнулось во мне. А я прислушивался к этому новому и не очень удивлялся. Может, и правда возраст — не просто слова? И, может, что-нибудь неожиданное перевернулось в моем сознании?

Прежде всего я остановился, а потом сделал шаг в сторону. Долговязый, очкастый, с бородкой под Хемингуэя сынок профессора шел шагах в тридцати. Я подождал, пока он пройдет мимо, и тогда только снова стал на лыжню. Я поймал себя на том, что мне не хочется его догонять, хотя некоторое время без усилий я шел за ним, и он от меня ни капли не отрывался. Если это был предел парня, то я смял бы его очень быстро. Но вот мне не хотелось сминать. Пижон, стиляга, интеллигентный хлюпик обошел меня и идет впереди. Красные лыжи перекликаются с красным свитером, на рыжей шевелюре тает снег. Длинные руки бросают,

бросают вперед палки. Во всей его долговязой фигуре чувствуется превосходство, торжество победы, насмешка. А я (непостижимо) и не пытаюсь наступить ему на пятки, властно, неумолимо потребовать лыжню.

Постепенно долговязый стал удаляться от меня, и это значило, что я сбавляю скорость. «Черт с тобой, уходи, мчись, задыхайся, выбивайся из последних сил! Я не вижу, зачем это нужно делать. Тебя уже не видно, ты уже скрылся за деревьями? Тем лучше! Я пойду один, как хочу и даже куда хочу. Возьму и сверну с вашей нелепой круговой лыжни. Разве мало в лесу простору? Буду идти и смотреть на лес, на белый снег и синее небо. Хватит! Пятнадцать лет я бегал на лыжах, выкладывая все силы, не щадя сердца. В деснах появлялась боль, обильно набегала слюна, в глубине легких было так, как если бы во все легочные пузырьки под давлением нагнетали воздух, и надо было ждать, когда наступит второе дыхание. И надо было не думать ни о чем, смотреть и смотреть себе под ноги, на лыжи, вонзающиеся поочередно в белое пространство, которому все нет и нет конца».

Тяжелое дыхание послышалось сзади, и я снова сделал шаг в сторону. Теперь меня обогнал не юноша с запущенной бородой, а худой шестидесятилетний человек. Раздевшись до пояса и, видимо, побросав одежду прямо в лесу, энтузиаст рвался вперед.

— Очкастый с тарзаньей прической далеко? — крикнул он мне на ходу.

— Не очень, можно еще догнать.

— Так что же вы, черт возьми, не догоняете? Что вы раскисли? А ну-ка, за мной, за мной! Хотите кусочек сахару под язык? Хорошо помогает.

— Я не раскис, просто я не хочу так мчаться. Если вы хотите, валяйте!

Старик не обернулся на мои слова. Может быть, даже он их не расслышал.

Если юноша бежал легко, как бы любуясь самим собой, то этот, войдя в ритм, работал, как машина. С точностью рычагов руки поочередно выбрасывались вперед, и палки через поразительно ровные промежутки времени тяжело, устойчиво ударялись в снег. И ноги тоже двигались, как рычаги машины. И весь он был подчинен ритму движения, и чувствовалось, что ничего в мире нет для этого старика, кроме движения по лыжне, кроме желания догнать очкастого, кроме желания прийти первым.

Тогда Федя, умеющий играть на аккордеоне и громко рассказывать анекдоты, пожмет ему руку, а вечером в столовой объявит, что первым пришел конструктор Салкин. Да, я вспомнил теперь, что старик этот был конструктором Салкиным из второй палаты.

— Ха-ха!..— расхохотался я вслух.

И мне показалось на мгновение, не схожу ли я с ума. Вам хочется быстрее проскочить этот лес? Зачем? Ведь, может, в нем-то и есть вся прелесть и весь смысл. Эх вы, бедняги!..

Чтобы больше никто уж не мог меня обогнать, я резко свернул вправо и тотчас же наехал на лыжню, проложенную отдыхающими другого, соседнего санатория.

Я остановился, снял шапку и вытер пот со лба и лица. Первое, что я увидел, осмотревшись, были снегири, прыгающие по веткам орешника. Птички шелушили что-то на кусте — не то сережки, не то почки, шелушинки сорились на снег, снегири тоже спрыгивали на снег и, перепрыгивая и перепархивая с места на место, собирали корм.

Как ни ярок был день, как ни золотило солнце те места — на снегу, на деревьях, куда оно попадало прямыми лучами; как ни густа была синева там, куда не достигало солнце; как ни розовели вверху безлистые купы берез; как ни ослепительно сверкали иногда крупные кристаллики снега, когда глаза мои попадали как раз на зайчики, отбрасываемые этими кристалликами,— все же ничего не было ярче красных грудочек снегирей.

Снегири! Как же я не замечал их раньше! И вообще, когда я видел снегирей последний раз? Давным-давно, в детстве, когда мы с братом мастерили зимой кормушки для птичек, и к нам прилетали ярко-желтые овсяночки и красногрудые снегири, и надо было следить, чтобы не налетела сорока и не сожрала корм.

Воспоминания окружили меня, и я медленно поехал по лесу.

Вскоре лыжню пересек рыхлый глубокий след лося. И я некоторое время шел, раздумывая о том, какое лось редкое и красивое животное и что, с одной стороны, хорошо, что их стало много попадаться в Подмосковье, но что, с другой стороны, животные эти абсолютно бесполезные и даже вредные, ибо объедают верхние мутовки молодых деревьев, губят посадки, а лес драгоценней, чем лось, живущий в лесу,— и поэтому вроде бы и хорошо, что развели лосей, но вроде бы и нет в этом ничего хорошего. И вообще

в природе существует железная цепочка хорошего, целесообразности, так что разорвешь одно звено — получишь отдачу где-нибудь в другом месте цепочки, десятью звеньями ниже.

Наверное, далеко бы увели меня мысли в этом направлении, но тут я вышел на поляну, и что-то отвлекло мое внимание, что-то удивило меня, прежде чем я мог понять, что же именно. Ну конечно! Взгляд остановился на кустах ольхи, растущих посреди поляны. Не удивиться им было нельзя: среди всего синего (особенно синим было небо, а потом уж и снег, и стволы берез) ольшаник был глубокого шоколадного цвета. Он так и бросался в глаза, и удивительно, что я не замечал раньше, какой шоколадный бывает ольшаник в лесу, освещенный мартовским солнцем!

Тишина запела во мне. Я закрыл глаза, и музыка зазвучала сильнее. Это было не бог весть что, но все же это была свежая, сильная тема, которая пришла ко мне в лесу. Я мог бы ее запомнить или записать на клочке бумаги, но, дурачась, я веткой стал рисовать на снегу нотные линейки и записывать фразу, только что родившуюся во мне.

Видимо, я увлекся, потому что как же я не услышал ни скрипа лыж, ни дыхания! Чистый женский голос без фальши спел записанное мной на снегу, и это было удивительнее шоколадной ольхи, удивительнее синего неба, удивительнее воздуха, наполняющего лес. Это было удивительнее всего на свете.

Женщина с меня ростом, то есть роста для женщины необыкновенного, в тонком черном свитере с желтой полосой поперек груди, стояла, опираясь на палки, и смотрела на мою запись. Потом она посмотрела на меня.

Сначала я почему-то отметил лишь ее рост и желтую полосу на свитере. Наверно, это было еще тогда, когда она не подняла на меня своих глаз. А потом она посмотрела на меня, и я больше не видел желтой полосы и не думал о том, что такой рост должны иметь одни только королевы, то есть они должны были его иметь, когда были в цене и участвовали в романах и драмах.

— Что вы здесь делаете? — просто спросила женщина, как будто мы век были знакомы и вот случайно съехались на прогулке.

Мы поехали вместе — она впереди, я сзади, и это не мешало нам время от времени перебрасываться пустяковыми фразами. Но мелодия, случайно прилетевшая ко мне

там, на поляне, может быть, звучала уж одновременно в нас обоих.

— Кто это напетлял такими маленькими следочками? — спросила женщина.

— Здесь ночью охотился горностай. Смотрите-ка, что здесь, оказывается, случилось.

В снегу виднелись две ямки, как если бы кто-нибудь дважды глубоко ударил лыжной палкой с широким концом.

— Здесь под снегом сидели тетерева. Горностай учуял их и нырнул к ним под снег. Вот его норка. Тогда тетерева взмыли вверх, подняв снежные фонтаны. Только вот почему один взмыл свечой, а другой прочертил по снегу глубокую борозду? Уж не унес ли он маленького хищника на себе? Так ведь иногда бывает.

— Фантазия! — рассмеялась женщина, и мартовская синева успела полыхнуть на ее зубах.— Фантазия из охотничьих рассказов.

— Подойдите и загляните в ямку.

— Ой, и правда! (В ямке на дне лежали продолговатые ярко-желтые орехи тетеревиного помета.) С вами интересно ехать по лесу.

— Со мной интересно не только в лесу.— Я нарочно сказал так, чтобы услышать дежурное: «Какая самонадеянность!», но женщина сделалась серьезной.

Некоторое время мы шли молча. Начался заметный спуск, сначала по чистому полю, а потом по густому кустарнику, так что нам пришлось лавировать, местами идти лесенкой, ибо не было простора съехать прямо с горы.

Наконец меж кустами открылась прогалина. Спутница первая пустила лыжи по ней. В самом конце спуска (снег был рыхлым и затормозил лыжи) она зарылась в сугроб. Через несколько секунд я барахтался рядом. Снег набился в уши, за воротник, в волосы. Он оказался совсем не холодным. Он радостно освежал. Он пьянил нас, и мы вели себя, как маленькие ребятишки. Я стал поднимать ее за руки, но, поднявшись, она перевесилась на мою сторону, и мы опять оказались в сугробе. Мы засыпали друг друга снегом, помогали друг другу вставать, снова падали, хохотали и смотрели друг другу в глаза.

Потом она села. Я положил ей голову на колени и затих. Сначала я глядел в синее небо, а потом закрыл глаза. Я не знаю, долго ли было так, может быть, пять минут, может быть, полчаса, может быть, полжизни.

Сделалось так тихо, что журчание ручья подо льдом

наполнило весь мир. Значит, рядом бежит ручей, и вот журчание его стало слышимо из-подо льда. В то время как я весь отдался пению воды, женщина наклонилась и поцеловала меня.

...Оказывается, в ручье все же была полынья — небольшая проталинка на быстринке, в которой среди голубого снега переливалась светлая струя воды. Камушки и песок просвечивали сквозь воду.

Мы долго стояли и глядели, как вода, выбегая из-под темного полога льда, встречалась с солнцем и как ее снова утягивало в темноту.

— Эта проталинка — мой сегодняшний день,— сказала женщина.— Солнце, синее небо и песня. Я пойду, а вы идите обратно. Ничего больше не нужно. Было все самое хорошее, а дальше будет, как всегда и у всех. Не хочу. Прощайте!

Я сломал большую ольховую ветвь с маленькими сережками, плотными, скрючивающимися так и сяк.

— Поставьте в воду у себя в комнате. Через несколько дней ольха зацветет. Видите эти сережки? Они скрючены и смотрят кто куда. Потом они сделаются золотыми, большими и все тяжело повиснут среди коричневых ветвей, стремящихся вверх и в стороны. Будут параллельными штрихами свисать вниз. Это будет похоже на музыку. Только уборщица совсем заругает вас: по всей комнате будет летать золотая пыльца цветения.

Поднявшись на гору, издалека женщина помахала мне, и я подумал, что никогда больше не увижу ее и даже никогда не узнаю имени.

Когда я вышел на свою лыжню (она оказалась совсем близко), то никто уж не перегонял меня. Только сейчас мне пришло в голову, что там, где Федя, может быть, хватились меня, ждут или даже ищут. Как же так, ушел человек со старта — и до сих пор нету!

Издали я увидел, что на горке, откуда мы рванулись, где должен быть финиш, все еще толпится народ. Заметив меня, на горке замахали руками и лыжными палками. Кровь стыда и позора бросилась мне в лицо. Федя не выдержал и побежал навстречу:

— Где же вы? Разве так можно?! Коллектив... Перепугались, трое поехали вас искать.

— Я сбился с лыжни и немного поплутал по лесу,— соврал я внятно и твердо.

— Мы так и подумали. Но очень уж трудно сбиться!

Около входа в корпус мне опять встретилась медсестра Наташа. В ее глазах тревога и даже испуг не сразу успели смениться радостью. Я спросил у нее, чтобы только что-нибудь спросить:

— Ну что, не слышали, догнал ли Салкин этого рыжего в очках?

— У Салкина плохо с сердцем. Он дышит из кислородной подушки, разве вы об этом не знаете?

— Нет, не знаю. Когда он обогнал меня на дистанции, нельзя было и подумать. Старик шел так красиво!

— Вас обогнал Салкин? — не поверила Наташа.

— Ну да. Я и не старался убегать от него. Зачем? И ему не нужно было бежать через силу. Видите, что из этого вышло.

Глаза Наташи, всегда сиявшие мне навстречу, вдруг превратились в ледышки. И голосок ее тоже оледенел:

— Это почему же вы не старались?

— Видишь ли, девочка, я пришел к выводу, что когда по лесу на лыжах идешь тихо, то больше видишь и чувствуешь, нежели когда летишь через него сломя голову.

— А самолюбие, а борьба, а цель? — вспыхнула девушка, и глаза у нее опять сделались большими.— Интересная у вас философия: «Мне здесь приятно, тепло и сыро» — не так ли?!

— Ну... из пустяка вы делаете слишком далеко идущие выводы.

— Да-да-да! — крикнула девушка мне вслед, когда я, уже сняв лыжи, поднимался по ступенькам.— Да, вы эгоист! Это философия Ужа, горьковского Ужа, понимаете?! А у Соколов рвутся сердца, и они не жалеют об этом.

Оглянувшись на Наташу, я понял, что больше никогда не засветятся для меня ее глаза, ее милые добрые солнца, в которых было столько восторга и как бы надежды или ожидания.

Войдя в комнату, первым делом я бросился к столу, чтобы записать музыку, которую нашел на лесной поляне.

1962

«НАША ДАМА»

В четвертый раз я приехал в эту большую абхазскую деревню на благословенном берегу благодатного Черного моря. Мне полюбилось бывать здесь в конце сентября, когда там, у нас в Москве, в подмосковных полях и лесах,

становится сыро и мглисто, в небе — темные, быстро летящие облака, под ногами — размокшая глина.

Не то чтобы я вовсе не любил этого времени, напротив. Столько настроения бывает в дрогнувшей уже, безнадежно больной природе, что тихо начинает ныть и болеть душа, и сладка, и желанна эта боль, как если бы боль любви, и тогда холодное, серое ненастье вдруг становится дороже пусть красного, пусть жаркого, но все же какого-то бездумного, я бы сказал, пустоватого лета.

Но приходит момент, когда так насмотришься серого неба, так надышишься северным зябким ветром, так насытишься беспощадной осенней болью, что надо уж либо что-то делать, например плакать, падать плашмя на сырую грудь земли и целовать ее в исступлении, либо бежать на время, пока не скует окрестности легким бодрящим морозцем.

Да и кроме всего просто так захочется вдруг после серого и черного увидеть голубое с золотым. Да еще и ослепительно-белая чайка качнется вдруг в невероятной неправдоподобной стихии золотого и синего.

Приедешь в эту абхазскую деревню, снимешь комнату, договоришься насчет питания. За два дня перезнакомишься с другими такими же москвичами, что живут с тобой в одном доме, а также и в соседних домах.

На пляже с утра до вечера вполне бездумная, вполне растительная жизнь. В Москве кто-то из этих людей — врач, кто-то — дирижер эстрадного оркестра, кто-то — администратор филармонии, кто-то — инженер по нефтеперегонной аппаратуре, а вон те двое — юристы. Ну и, разумеется, жены: врача, администратора, инженера, дирижера, юристов... Здесь все одинаковы, все ходят в пижамах, в цветных халатиках, а то и просто в трусах. Все занимаются одним, в общем-то, делом: жарятся на солнышке, время от времени купаются, играют в карты, в кинг, в преферанс, а то и просто в подкидного дурака. Некоторые запаслись карманными шахматами, некоторые читают книги. Но таких мало. Не потому их мало, что не любители или что в подкидного дурака интереснее, а потому, что на ярком солнце, на жаре много не начитаешь. Страница бьет в глаза слепящим солнечным зайчиком. Да и мозги, размягчившись, не готовы к восприятию чего-либо серьезного и духовного.

Тут свой быт, свои разговоры, свои сплетни. Так, помню, в позапрошлый год предметом всеобщих разговоров

служила одна пара, а именно директор областной филармонии и его жена. Сам он был нельзя сказать чтобы вовсе плюгавенький человек, хотя и с лысиной, и щеки подушечками, и росточком мог бы быть посолиднее. Но зато она... Эта была женщина с жгучими черными волосами, жгучими черными глазами, с широким, как бы даже несколько свирепым, ярко-лиловым ртом. Ноздри ее всегда трепетали, а взгляд выражал одно и то же: «Знаю я вас, мужчин... Все вы ничтожества и хлюпики, неврастеники и слабаки».

Прошел слух, что она бьет своего мужа — директора филармонии. Это-то и служило пищей для разговоров.

Большим развлечением служил также рыбак дядя Павел, живущий по соседству. Не имея детей, дядя Павел привечал всех бродячих собак (а им здесь не было числа); собаки жили у него и не чаяли в нем души. То есть я думаю, что, если бы кто-нибудь тронул дядю Павла, делая вид, что хочет ударить, тот, наверное, был бы разорван дружной стаей. Анекдотом же послужил один случай, когда рыбак пробирался к дому на четвереньках, к тому же задом наперед, так что собаки не узнали своего благодетеля и, бросившись на него, начали было рвать.

— Вот это настоящая степень опьянения,— шутили москвичи,— когда собственные собаки не признают.

В этом году стоило мне в первый день посидеть во время обеда за общим столом, как сразу же я уловил, что имеется новый объект для шуток, острот и, что там скрывать, даже насмешек.

— Ну, где же наша дама?

— Что-то не видно нашей дамы.

— Вчера она опять загорала при лунном свете...

— Ха-ха! Это называется «лунные ванны».

— Интересно, если пойдет дождь, она все равно будет спать на пляже?

— Наверно, не пронюхали еще местные парни.

— Ну, это как раз ей не грозит.

Я не знал предыстории, почему все они так не любят эту еще неизвестную мне женщину, почему постоянно смеются над ней. Скорее всего, и не было никакой предыстории: не полюбили, не приняли в коллектив — постепенно, словечко за словечком образовалась пропасть. Может быть и то, что отверженная сама не захотела общества: старалась отдельно обедать, отдельно завтракать и даже спала не так, как все,— не в доме, на кровати, а на раскладушке. Раскла-

душку ставила на пляже, возле самого прибоя, возле самого плеска и трепетания морской воды, источающей смутное мерцание и тревожные, крепкие запахи.

Вскоре я увидел виновницу пересудов. К концу дня я пришел с моря с уловом. В то время как я потрошил и чистил ярких морских рыб, около меня остановилась женщина лет шестидесяти или даже шестидесяти пяти, худая, седая, смуглая. Она внимательно, неторопливо, я бы даже сказал, несколько бесцеремонно, как будто меня здесь нет, разглядывала рыбину за рыбиной, беря ее двумя пальцами (остальные оттопырены) и переворачивая с боку на бок. Больше всего ее поразила зеленуха — ярко-зеленая, как чернила для вечного пера, с ярко-красными полосами по бокам. Когда женщина взялась за скарпену, я предупредил: «Осторожнее, если вы уколетесь об эту рыбу, будет очень больно. Ее колючки выделяют яд».

Женщина не обратила на мои слова никакого внимания, повертела еще с боку на бок морского карася, потом распрямилась, громко хмыкнула и ушла.

Самое страшное на юге для таких, как мы, отдыхающих — обложные дожди. Все мы ютимся в летних неустроенных, продувных комнатенках, да других и не нужно в хорошую погоду: весь день проходит на пляже, а в комнату приходишь только спать. И вдруг нужно целыми днями сидеть в чужом, собственно, неуюте. Кроме того, появляется огромное количество времени, которое просто некуда девать. Тут-то, дождавшись своего законного часа, и начинают господствовать картишки и анекдотишки. Соберутся в одну комнату человек десять да целый день из нее и не выходят. А в карты режутся в две или три колоды. Только и слышно: «Пики... трефы. Пики — два... Пас... Вист... Мизер... А мы ее, голубушку, королем... А мы вашего короля по усам!..»

Тут же примешивается:

— У армянского радио спрашивают: «Что делать, если человек хочет работать?» Армянское радио отвечает: «Полежите два часа — само пройдет».

— Ха-ха-ха!

В дождливые дни особенно заметными сделались отверженность и одинокость бедной женщины. Она снимала крохотную клетушку, этакую фанерную пристроечку, и теперь проводила там одна целые дни. Иногда я старался представить, что она там делает: читает или, быть может, умирает от тоски и одиночества. А еще я представлял, как,

наверно, надоели ей наши анекдоты и наши «пики-козыри», которые, конечно, долетают к ней через тонюсенькую перегородку. Самое ее целый день не было слышно.

На третьи сутки дождя хозяйка нам доложила:

— Ну, наша дама совсем, видно, спятила: взяла раскладушку, клеенку, зонт и отправилась на пляж.

— Разве дождь прошел?

— Какое прошел! Говорю: спятила! А уж выкобенивается: и это ей не так, и это не так...

— Что же ей не так?

— На кухне, видите ли, грязно, и полотенце, которым посуду вытираю, видите ли, ей грязно...

Мы все неловко замолчали, потому что полотенце было как раз заткнуто у хозяйки за пояс и оно было действительно...

— Тоже мне бела кость!

Ночевать в свою клетушку «наша дама» не пришла, хотя дождь всю ночь шумел, дробясь и ломясь о звонкую толевую крышу. Не видно было ее и весь день.

Ближе к сумеркам я решил сходить на пляж и посмотреть, что же делает там «наша дама».

Дождь падал с высоких, неподвижно висящих над морем облаков. Был он прямой, теплый, и, сколько бы его ни лилось, весь он, как в прорву, утекал в мелкую прибрежную гальку.

Галька холодила ноги, не как при солнце, когда нельзя на нее ни сесть, ни лечь, настолько горяча. Зато морская вода рядом с прохладной галькой казалась только что не горячей.

На пляже почти никого не было. Два энтузиаста купались, фыркая и исторгая непонятные междометия, да еще стояла под густокронной сосной раскладушка «нашей дамы».

Я подошел поближе. Женщина лежала, укрывшись одеялом, а поверх него большой столовой клеенкой в голубую клеточку. В изголовье же, закрывая от дождя лицо и вообще все изголовье, распространялся большой черный зонт.

Она лежала и спокойно читала книжку.

Черт возьми! А ведь, наверно, это не так уж плохо: лежать здесь, под сосной, около моря, слушая шум дождя по гальке, по крупным зеленым иглам, по теплой морской воде! К тому же, если интересная книга...

Я подошел совсем близко к раскладушке, чтобы погля-

деть, если удастся, что читает женщина. Иногда книга, одно название книги, одна строка, прочитанная из книги, могут сказать о человеке очень много. То есть открывается как бы узенькая щелочка, в которую можно заглянуть за высокий, непроницаемый забор чужой жизни. А там сразу видно, что за забором: мусорная свалка, пустырь, усыпанный щебнем, строящийся дом или, может быть, сад с фонтанами.

Книжку я разглядеть не успел, потому что женщина оторвалась от чтения, но зато (чего никак нельзя было ожидать!) молчальница вдруг заговорила со мной.

— Здравствуйте, голубчик... Хорошо, что вы пришли. Вы знаете, у меня к вам есть дело. Может быть, вы сумеете меня выручить. Вы не поверите, я четвертый день страшно мучаюсь. И что же? Положение мое вполне безвыходно!

— Может быть, простудились и нужны лекарства, так я сейчас. Аптека не так далеко.

— Ну что вы, голубчик, в аптеку я бы сходила сама. Моя просьба гораздо сложнее.— Тут женщина перешла на шепот: — Понимаете, я забыла слово... Ну да, что вы на меня так смотрите? Стала читать про себя стихотворение Пушкина — и вдруг... выпало из головы. Одно только слово. Оно не дает мне покоя четвертый день. Если я его не вспомню, я, кажется, сойду с ума. Давайте попробуем с вами вместе. Итак, я начинаю:

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печальна сидит...—

тут женщина сделала нетерпеливое движение рукой, нетерпеливо пошевелила пальцами,—...какой-то держа черепок... А вот какой? Я перебрала все возможные эпитеты, я перебрала десятки эпитетов... Какой?

— Праздный,— выпалил я, как на экзаменах.— Какой же еще, конечно, праздный!..

— Боже мой! — облегченно откинулась женщина на подушку. Даже руки ее повисли в облегчении, блаженной расслабленности.— Голубчик, милый, вы сняли с меня тяжелый груз! Вы сделали меня вполне счастливой. А как это прекрасно.

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печальна сидит, праздный держа черепок...

Надо ли говорить, что слово «праздный» она произнесла с особенным удовольствием, как бы даже с наслаждением.

Я отошел немного по берегу и сел на камень. Мне вдруг захотелось самому вспомнить это стихотворение до конца.

Совсем уж смеркалось. Из темноты йодистой, соленой теплотой в лицо мне дышало море. Ласково, убаюкивающе журчала о гальку вода.

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печальна сидит, праздный держа черепок...
Чудо! Та-та-та... вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева... та-та-та-та-та... вечно над урной сидит.

Теперь я почувствовал, что не смогу успокоиться и уйти домой, пока не вспомню и не поставлю на место выпавшие из памяти слова. Долго бормотал я эти свои «та-та-та», но — проклятие! — слова не хотели появляться.

— Скажите мне третью и четвертую строки! — крикнул я наконец в темноту, зная, что, кроме нее, услышать меня некому.

Некоторое время было тихо. Потом из темноты прозвучало:

Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева над вечной струей вечно печальна сидит.

Да, как это прекрасно — вспомнить нужное слово,— и как это прекрасно вообще! Какая пластика, музыка! Какой восторг! Почти как это журчание вечного великого моря.

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печальна сидит, праздный держа черепок...
Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева над вечной струей вечно печальна сидит.

Дома я разделся, лег, не зажигая света. Ветер шумел в деревьях. Снова начавшийся дождь зашелестел за окном и по крыше. Некоторое время я лежал, открыв глаза и все еще упиваясь так неожиданно нахлынувшей на меня светлой и чистой красотой. Потом я стал засыпать. Не то во сне, не то наяву через две перегородки доносилось до меня:

— Трефы — два! Пас! Откроемся!..

— Спрашивают у армянского радио: «Может ли муж изменять своей жене?..»

— Ха-ха-ха!

— А наша дама опять не пришла ночевать.

Это было последнее, что я слышал.

1963

НОЖИЧЕК С КОСТЯНОЙ РУЧКОЙ

Из Москвы мне привезли небольшой перочинный ножичек с костяной ручкой и двумя зеркальными лезвиями. Одно лезвие побольше, другое — поменьше. На каждом — ямочка, чтобы зацеплять ногтем, когда нужно открыть. Пружины новые, крепкие, попыхтишь, прежде чем откроешь лезвие. Зато обратно — только немного наклонишь, так и летит лезвие само, даже еще и щелкает на зависть всем мальчишкам. Отец наточил оба лезвия на камне, и ножичек превратился в бесценное сокровище. Например, нужно срезать ореховую палку. Нагнешь лозу, найдешь то место, где самый изгиб, приставишь к этому месту ножичек — и вот уже облегченно раздалась древесина, а лоза висит почти что на кожице. Может быть, не все мне поверят, но палку толщиной с большой палец я перерезал своим ножичком с одного раза, если, конечно, взять поотложе, чтобы наискосок.

Чтобы вырезать свисток, напротив, нужна тонкая работа. И тут особенно важна острота. Тупым ножом изомнешь всю кожицу, измочалишь, дырочка получится некрасивая, мохнатая по краям. Какой уж тут свист, одно шипенье! Из-под моего ножичка выходили чистенькие, аккуратные свистки.

С 1 сентября открылось еще одно преимущество моего ножа. Даже сам учитель Федор Петрович брал у меня ножик, чтобы зачинять карандаш. Неприятность как раз произошла на уроке, при Федоре Петровиче. Мы с Юркой решили вырезать на парте что-нибудь вроде буквы «В» или буквы «Ю» (теперь, во втором классе, мы уже знали все буквы), и я полез в сумку, чтобы достать ножичек.

Рука, не встретив ножичка в привычном месте, судорожно мыкнулась по дну сумки, заметалась там среди книжек и тетрадей, а под ложечкой неприятно засосало, и ощущение непоправимости свершившегося холодком скользнуло вдоль спины. Забыв про урок и про учителя, я начал выворачивать карманы, шарить в глубине парты, полез в Юркино отделение, но тут Федор Петрович обратил внимание на мою возню и мгновенно навис надо мной во всем своем справедливом учительском гневе.

— Что случилось, почему ты под партой? (Значит, уж сполз я под парту в рвении поисков.) Встань как следует, я говорю!

Наверно, я встал и растерялся, и, наверно, вид мой был достаточно жалок, потому что учитель смягчился.

— Что случилось, можешь ты мне сказать?

— Ножичек у меня украли... который из Москвы...

Почему я сразу решил, что ножичек украли, а не я сам его потерял, неизвестно. Но для меня-то сомнений не было: конечно, кто-нибудь украл — все ведь завидовали моему ножу.

— Может, ты забыл его дома? Вспомни, подумай хорошенько.

— Нечего мне думать. На первом уроке он у меня был, мы с Юркой карандаши чинили... А теперь нету...

— Юрий, встань! Правда ли, чинили карандаши на первом уроке?

Юрка покраснел, как вареный рак. Ему-то наверняка не нравилась эта история, потому что сразу все могли подумать на него, раз он сидит со мной рядом на одной парте. Про карандаши он честно сознался:

— Чинили.

— Ну хорошо,— угрожающе произнес Федор Петрович, возвращаясь к своему столу и оглядывая класс злыми глазами.— Кто взял нож, подними руку.

Ни одна рука не поднялась. Покрасневшие лица моих товарищей по классу опускались ниже под взглядом учителя.

— Ну хорошо! — Учитель достал список.— Барсукова, встать! Ты взяла нож?

— Я не брала.

— Садись. Воронин, встать! Ты взял нож?

— Я не брал.

Один за другим вставали мои товарищи по классу, которых теперь учитель (а значит, вроде б и я с ним заодно) хотел уличить в воровстве. Они вставали в простеньких деревенских платьишках и рубашонках, растерянные, пристыженные: их ручонки, не привыкшие к обращению с чернилами, были все в фиолетовых пятнах. Каждый из них краснел, когда вставал на оклик учителя, каждый из них отвечал одно и то же:

— Я не брал...

— Ну хорошо,— в последний раз произнес Федор Петрович.— Сейчас мы узнаем, кто из вас не только вор, но еще и трус и лгун. Выйти всем из-за парт, встать около доски!

Всех ребятишек, кроме меня, учитель выстроил в ли-

нейку около классной доски, и в том, что я остался один сидеть за партой, почудилась мне некая отверженность, некая грань, отделившая меня ото всех, грань, которую перейти мне потом, может быть, будет не так просто.

Первым делом Федор Петрович стал проверять сумки, портфелишки и парты учеников. Он копался в вещичках ребятишек с пристрастием; и мне уж в этот момент (не предвидя еще всего, что случится потом) было стыдно за то, что я невольно затеял эту заварушку.

Прозвенел звонок на перемену, потом снова на урок, потом снова, но теперь не на перемену, а идти домой — поиски ножа продолжались. Мальчишки из других классов заглядывали в дверь, глазели в окна: почему мы не выходим после звонка и что у нас происходит? Нашему классу было не до мальчишек.

Тщательно обыскав все сумки и парты, Федор Петрович принялся за учеников. Проверив карманы, обшарив пиджачки снизу (не спрятал ли за подкладку?), он заставил разуваться, развертывать портянки, снимать чулки и, только вполне убедившись, что у этого человека ножа нет, отправлял его в другой конец класса, чтобы ему не мог передать пропавшее кто-нибудь из тех, кого еще не обыскивали.

Постепенно ребят около доски становилось все меньше, в другом конце класса все больше, а ножичка нет как нет!

И вот что произошло, когда учителю осталось обыскать трех человек. Я стал укладывать в сумку тетради и книжки, как вдруг мне на колени из тетрадки выскользнул злополучный ножичек. Теперь я уж не могу восстановить всего разнообразия чувств, нахлынувших на меня в одно мгновение. Ручаться можно только за одно — это не была радость от того, что пропажа нашлась, что мой любимый ножичек с костяной ручкой и зеркальными лезвиями опять у меня в руках. Напротив, я скорее обрадовался бы, если бы он провалился сквозь землю, да, признаться, и самому мне в то мгновение хотелось провалиться сквозь землю.

Между тем обыск продолжался и мне, прожившему на земле восемь лет, предстояло решить одну из самых трудных человеческих психологических задач.

Если я сейчас не признаюсь, что ножик нашелся, все для меня будет просто. Ну не нашли — и не нашли. Может, его кто-нибудь успел спрятать в щель, за обои, в какую-нибудь дырочку в полу. Хватает щелей в нашей старой школе. Но, значит, так и останется впечатление, что в на-

шем классе учится воришка. Может быть, каждый будет думать на своего товарища, на соседа по парте.

Если же я сейчас признаюсь... О, подумать об этом было ужасно!.. Значит, из-за меня понапрасну затеялась вся эта история, из-за меня каждого из этих мальчишек и девчонок унизительно обыскивали, подозревали в воровстве. Из-за меня их оскорбили, обидели, ранили. Из-за меня, в конце концов, сорвали уроки... Может быть, им все-таки легче думать, что их обыскивали не зря, что унизили не понапрасну?

Наверно, не так я все это для себя сознавал в то время. Но помню, что провалиться сквозь землю казалось мне самым легким, самым желанным из того, что предстояло пережить в ближайшие минуты.

Встать и произнести громко: «Ножичек нашелся»,— я был не в силах. Язык отказывался подчиниться моему сознанию или, может, сознание недостаточно четко и ясно приказывало языку. Потом мне рассказали, что я, как лунатик, вышел из-за парты и побрел к учительскому столу, вытянув руку вперед: на ладони вытянутой руки лежал ножичек.

— Растяпа! — закричал учитель (это было его любимое словечко, когда он сердился).— Что ты наделал!.. Вон из класса!.. Вон!

Потом я стоял около дверей школы. Мимо меня по одному выходили ученики. Почти каждый из них, проходя, задерживался на секунду и протяжно бросал:

— Эх ты!..

Не знаю почему, я не бежал домой, в дальний угол сада, где можно было бы в высокой траве отлежаться, отплакаться вдалеке от людей, где утихла бы боль горького столкновения неопытного мальчишечьего сердца с жизнью, только еще начинающейся.

Я упрямо стоял около дверей, пока мимо меня не прошел весь класс. Последним выходил Федор Петрович.

— Растяпа! — произнес он снова злым шепотом.— Ножичек у него украли... Эх ты!..

1963

МСТИТЕЛЬ

Вместо того чтобы сидеть на скучном уроке по арифметике, нам выпала удача копать картошку на школьном участке. Если вдуматься, копать картошку — чудесное за-

нятие по сравнению с разными там умножениями чисел, когда нельзя ни громко высморкаться, ни повозиться с приятелем (кто кого повалит), ни свистнуть в пальцы.

Вот почему все мы, и мальчишки и девчонки, дурачились как могли, очутившись вместо унылого класса под чистым сентябрьским небом.

Денек стоял на редкость: тихий, теплый, сделанный из золотого с голубым, если не считать черной земли под ногами, на которую мы не обращали внимания, да на серебряные ниточки паутинок, летающих в золотисто-голубом.

Главное развлечение наше состояло в том, что на гибкий прут мы насаживали тяжелый шарик, слепленный из земли, и, размахнувшись прутом, бросали шарик — кто дальше. Эти шарики (а иной раз шла в дело и картошка) летают так высоко и далеко, что кто не видел, как они летают, тот не может себе представить. Иногда в синее небо взвивались сразу несколько шариков. Они перегоняли один другого, все уменьшаясь и уменьшаясь, так что нельзя было уследить, чей шарик забрался выше всех или шлепнулся дальше.

Я наклонился, чтобы слепить шарик потяжелее, как вдруг почувствовал сильный удар между лопаток. Мгновенно распрямившись и оглянувшись, я увидел, что по загону убегает от меня Витька Агафонов с толстым прутом в руке. Значит, вместо того чтобы бросить свой комок земли в небо, он подкрался ко мне сзади и ударил меня комком, насаженным на прут.

Многочисленные лучистые солнышки заструились у меня в глазах, а нижняя губа предательски задергалась, так бывало всегда, когда приходилось плакать. Не то чтобы нельзя было стерпеть боль. Насколько я помню, я никогда не плакал именно от физической боли. От нее можно кричать, орать, кататься по траве, чтобы было полегче, но не плакать. Зато легко навертывались слезы на мои глаза от самой маленькой обиды или несправедливости.

Ну за что он теперь меня ударил? Главное, тайком, подкрался сзади. Ничего плохого я ему не сделал. Наоборот, когда мальчишки не хотели принимать его в круговую лапту, я первый заступился, чтобы приняли. «На любака» мы с ним не дрались давным-давно. С тех пор, как выяснилось, что я гораздо сильнее его, нас перестали стравливать. Что уж тут стравливать, когда все ясно! В последний раз мы дрались года два назад, пора бы об этом забыть. К тому

же никто не держит обиды после драки «на любака». «Любак» и есть «любак» — добровольная и порядочная драка.

Ни один человек на загоне не заметил маленького происшествия: по-прежнему все собирали картошку; наверное, небо по-прежнему было голубое, а солнышко красное. Но я уж не видел ни картошки, ни солнца, ни неба. В горле у меня стоял горький комок, на душе было черно от обиды и злости, а в голове зародилась мысль отомстить Витьке, да так, чтобы в другой раз было неповадно.

Вскоре созрел план мести. Через несколько дней, когда все позабудется, я как ни в чем не бывало позову Витьку в лес жечь теплинку. А там в лесу и набью морду. Просто и хорошо. То-то он испугается один в лесу, когда я скажу ему: «Ну что, попался на узенькой дорожке?» Нет, я сзади бить не буду, я ему дам прямо в нос. Или отплатить тем же? Раз он меня сзади,— значит, и я его сзади. Только он нагнется за сухим сучком, а я как тресну по уху, чтобы загудело по всей голове. Он обернется, тут-то я ему и скажу: «Ну что, попался на узенькой дорожке?» А потом уж и в нос...

В урочный день и час, на большой перемене, я подошел к Витьке. Затаенное коварство не так-то просто скрывать неопытному мальчишке. Казалось бы, что тут такого: пригласить сверстника в лес жечь теплинку? Обычно уговариваешься об этом мимоходом, никакого волнения быть не может. На этот раз я волновался. Даже в горле стало сухо, отчего голос сделался глухой и вроде бы чей-то чужой. А руки пришлось спрятать в карманы, потому что они вдруг ни с того ни с сего задрожали. Витька посмотрел на меня подозрительно. Его оттопыренные уши, над которыми нависали соломенные волосенки, покраснели.

— Да уж... Я знаю, ты драться начнешь. Отплачивать.

— Что ты, я забыл давно! Просто пожгем теплинку. А то, если хочешь, палки будем обжигать, а потом разукрасим их. У меня ножичек острый, вчера кузнец наточил...

Между тем положение мое осложнилось. Одно дело — нечаянно заманить в лес и там стукнуть по уху: небось знает кошка, чье мясо съела, а другое дело — весь этот разговор. Если бы Витька отнекивался, отказывался, а потом нехотя пошел, было бы куда все проще. А после моих слов он улыбнулся от уха до уха (рот у него такой, как раз от уха до уха) и радостно согласился:

— Ну ладно, тогда пойдем.

«Вот я тебе покажу «пойдем»!» — подумал я про себя. Пока шли до горы, я всю дорогу старался вспомнить, как он

ни за что ни про что ударил меня промежду лопаток, и как мне было больно, и как мне было обидно, и как я твердо решил ему отплатить. Я так все точно и живо вообразил, что спина опять заболела, как и тогда, и в горле опять остановился горький комок, и даже нижняя губа вроде бы начала подрагивать,— значит, я накалился и готов к отмщению.

На горе, где начались маленькие елочки, выпал удачный момент: как раз Витька, шедший впереди меня, наклонился, что-то рассматривая на земле, а ухо его словно бы еще больше оттопырилось, так и просило, чтобы я по нему стукнул что есть силы.

— Смотри, смотри! — закричал Витька, показывая на круглую норку, уходящую в землю. Его глаза горели от возбуждения.— Шмель оттуда вылетел, я сам видел. Давай раскопаем? Может быть, там меду полно.

«Ну ладно, эту норку мы раскопаем,— решил я,— потом уж я с тобой разделаюсь!»

— Надо вырезать острые лопаточки, а ими и копать землю. Нож-то захватил?

Живо-два мы вытесали себе по отличной лопаточке и стали рыть. Дерн тут был такой плотный, что мы сломали по одной лопаточке, потом вырезали новые, а потом уж добрались до мягкой земли. Однако никакого меда или даже шмелиного гнезда в норке не оказалось. Может быть, когда-нибудь здесь вправду водились шмели, только не теперь. А зачем лазил туда шмель, которого увидел Витька, так мы и не узнали.

На опушке леса в траве мы тотчас наткнулись на стаю рыжиков. Опять наткнулся Витька, недаром у него глазищи по чайному блюдечку.

Крепкие, красные, боровые росли грибы в зеленой траве. И хоть целый день грело солнце, они все равно были холодные, как лягушки. В большом рыжике в середке стояла чистая водичка, как все равно нарочно налили для красоты. Поджарить бы на прутике, да жаль, соли нет. Вот бы славно поели!

— Айда за солью! — предложил Витька.— Далеко ли овраг перебежать. Хорошо бы заодно по яичку у матери стащить.

«Айда за солью! — думал я, лелея по-прежнему свой злодейский замысел.— Только не думай, что все так и кончится. Когда сбегаем за солью, я тебя обязательно прищучу в лесу, ты от меня не уйдешь».

Мы принесли соль и два куриных яйца.

— Теперь давай ямку копать.

В ямку мы положили яйца, засыпали их землей и на этом месте стали разводить теплинку. От огня земля нагреется, яйца в ней превосходно испекутся. Останется только подержать их в золе около горячих углей, чтобы немного пропахли дымком для вкуса.

Сначала мы зажгли небольшую сосновую веточку, пушистую, но высохшую, с красными иголками. Она вспыхнула от одной спички и горела так, словно гореть для нее большая радость, то есть даже ничего нет на свете лучше, чем сгореть в нашей теплинке. Она вроде бы даже не горела, а плясала, как девчонка в ярко-красном платьице. (Если вдуматься, Витька этот не такой плохой мальчишка, и в лесу с ним интересно, только вот зачем он тогда меня треснул промежду лопаток? Теперь придется ждать, когда кончим жечь теплинку.)

На горящую сосновую ветку мы стали класть тонкие сухие палочки. Мы их клали сначала колодцем, крест-накрест, потом стали класть шалашиком. Постепенно пошли палочки потолще, еще потолще, и теплинка наша разгоралась ровным, сильным огнем. Она хотя и была небольшая, но сразу видно, что не скоро погаснет, если даже не подкладывать в нее дров.

Тут мы принялись за рыжики. Когда Витька насаживал на прутик свой первый рыжик, мне так и вспомнился тяжелый земляной катыш, которым он меня тогда огрел, и я подумал, не сейчас ли мне с ним расправиться, но решил, что всегда успеется, и стал насаживать свой рыжик. Рыжики шипели в огне, соль на них плавилась и вскипала пузырьками, даже что-то с шипением капало в костер — не то соль, не то грибной сок. А кончики прутьев дымились и обугливались. Мы съели все рыжики, но нам хотелось еще, так они были вкусны и душисты. Да и соль оставалась, не выбрасывать же ее! Пришлось снова идти по грибы.

Когда мы раскапывали яйца, из земли шел пар — настолько она прогрелась и пропарилась. Надо ли говорить, что яйца упеклись на славу. Мы съели с ними остатки соли. Никогда я не ел яиц вкуснее этих. (Конечно, это Витька придумал печь яйца. Всегда он что-нибудь придумает, даром что уши торчат в разные стороны.)

Ну что же, вот и теплинка прогорела, сейчас пойдем домой, и тут я буду должен... Что бы еще такое придумать, очень не хочется сразу идти домой.

— Бежим на речку,— говорю я Витьке.— Помоемся, там, а то вон как перемазались. Водички попьем холодненькой. Бежим?

Все под руками у нас в деревне: лесок так лесок, речка так речка. Мы по колено заходим в светлую текучую воду, которая очень холодна теперь, в конце сентября, наклоняемся над водой и пьем ее большими вкусными глотками. Разве можно воду из колодца или самоварного крана сравнивать с этой прекрасной водой! Сквозь воду видно речное дно — камушки, травинки, песочек. Травинки стелются по дну и постоянно шевелятся, как живые.

Ну вот и попили и умылись. Делать больше нечего, надо идти домой. Под ложечкой у меня начинает ныть и сосать. Витька доверчиво идет вперед. Его уши торчат в разные стороны: что стоит развернуться и стукнуть!

Что стоит? А вот попробуй, и окажется, что это очень непросто ударить человека, который доверчиво идет впереди тебя.

Да и злости я уже не слышу в себе. Так хорошо на душе после этой теплинки, после этой речки! Да и Витька, в сущности, неплохой мальчишка — вечно он что-нибудь придумает. Придумал вот яйца стащить...

Ладно! Если он еще раз стукнет меня промежду лопаток, тогда-то уж я ему не спущу! А теперь — ладно.

Мне делается легко от принятого решения не бить Витьку. И мы заходим в село как лучшие дружки-приятели.

1961

ПОДВОРОТНЯ

Всю ночь мне снились золотые соломенные пояски. Это, наверное, потому, что вечером я помогал матери их скручивать. Мы крутили их на зеленой лужайке около пруда. Ведь если солому помочить в прудовой воде, она делается мягче, лучше свивается в поясок.

Я знал, что утром мать пойдет в поле жать рожь. За ней среди высоченной частой ржи будет оставаться ровная соломенная щетка. Местами среди желтой соломенной щетки зеленеет живой, по сравнению с созревшей соломой, колючий жабрей.

На желтую соломенную щетку, на зеленый жабрей будет мать класть длинные гибкие пряди ржи, пока не

наберется их столько, что можно связать в сноп. Тут-то и пригодится поясок, скрученный нами вчера на берегу пруда на лужайке. Всю ночь мне снились золотые соломенные пояски, лежащие на зеленой траве. К тому же мне очень хотелось с матерью на жнитво, и я боялся, чтобы не проспать, чтобы она не ушла без меня. Кто тогда вовремя подаст ей поясок, кто тогда с радостью укроется в тень от самого первого поставленного среди жнивья снопа, кто принесет ей бутылку с квасом, спрятанную у межи в прохладной густой траве!

Но детский мой организмишко не успел отдохнуть к нужному часу. Ни рука, ни нога не хотели шевелиться. Глаза — как все равно намазаны самым надежным, крепким клеем, а по всему телу — тяжелая сладкая истома. Такая сладкая, что ничего уж на свете не может быть слаще ее, ибо она есть желание сна.

Мать пожалела меня и сказала, перекрестив:

— Ну спи, бог с тобой, я тебя запру снаружи. А когда ты выспишься и встанешь, первым делом умойся, потом выпей молоко, что стоит на столе. Лепешка будет лежать рядом. А потом, если хочешь, сиди дома или приходи ко мне. Дорожку ты знаешь. А на улицу ты вылезешь через подворотню: калитку-то я снаружи замкну, значит, ты через подворотню. Там хоть и нешироко, ну да ты у меня ловкий, ты у меня обязательно вылезешь.

Тут все закачалось вокруг меня, и я уснул крепче прежнего. Проснулся я уже не в полутемной, а в солнечной, яркой избе. По выскобленным половицам, по желтым, как смола, бревенчатым стенам, по струганым лавкам, по скатерти, пусть застиранной, но все еще белой, по печке, недавно побеленной с добавлением синьки, по разноцветной дорожке на полу — повсюду разлилось солнце. И не какое-нибудь там слабосильное, но солнце самого разгара лета, солнце жнитва.

Уж одно ощущение того, что выспался, есть наслаждение жизнью. Каждая клеточка налита до отказа жаждой жить, каждый мускул просит движения. Ко всему этому еще солнце, еще чистые теплые доски под босой ногой, еще свежая вода в рукомойнике, а значит, и на моих щеках, глазах, губах. Ко всему этому еще свежее молоко в крынке и мягкая пшеничная лепешка.

Я бессознательно (а не то чтобы думать о клеточках своего организма) наслаждался всем этим, и было у меня смутное ощущение чего-то очень интересного и хорошего,

что ждет меня впереди, сейчас, вот-вот, может, даже в следующую минуту. Сначала я никак не мог вспомнить и понять. Но потом вдруг вспомнил: мне ведь предстоит выйти на улицу не каким-нибудь там обычным путем, а через подворотню. Значит, не только взрослым доступно инстинктивное, может быть, стремление оттягивать немедленное осуществление того, что в воображении кажется истинным и верным счастьем.

Я сначала вылил остатки молока в кошачью лакушку, поманил кошку из сеней, и та сразу прибежала на зов. Тогда я решил, что раз кошка гуляла на улице, значит, пусть она съест молоко, и я опять выпущу ее за дверь. Присев на корточки, я долго наблюдал, как ловко она розовым язычком лакает белое-белое молоко. Наконец она выпила все, облизнулась, широко раскрыла пасть с острыми белыми зубами и принялась умываться.

Я привязал к нитке бумажный бантик и пытался поиграть с кошкой, как делал прошлый год, когда она была еще маленьким котенком. Однако теперь кошка не захотела носиться по избе за шуршащей бумажкой. Правда, она постреляла за ней справа налево загоревшимися вдруг глазами, резко поворачивая голову, но дальше этого дело не пошло.

И давая кошке молоко, и играя с ней бумажным бантиком, я не переставал думать о том, что ждет меня на улице. Во-первых — солнце, во-вторых — трава, в-третьих — земля под босой ногой. Побегу к матери в поле. Это очень близко, сразу за молотильным сараем. Или нет — сначала найду красивый черепок, или нет — сначала погоняю вокруг церкви железное колесо на проволоке. Вокруг церкви у нас все замощено речным камнем. Значит, колесо, когда его быстро катишь, высоко подпрыгивает и на разные голоса звенит.

Итак, была изба, и была улица. И все это было мое. А между ними, как самое главное, как самое радостное для этого дня, была подворотня, сквозь которую мне предстояло пролезть.

Бегом промчался я сквозь полутемные сени, выскочил на двор и — остолбенел. Ворота были широко открыты, и дедушка подметал возле них. Он подметал истово, вершок за вершком, мусоринку за мусоринкой, благо торопиться ему было некуда, подметай хоть до вечера.

— Дедушка, закрой ворота, мне нужно вылезти на улицу.

Дедушка не понял всей тонкости моей просьбы, а понял только, что «на улицу», поэтому сказал:

— Ступай, я тебя не держу.

— Нет, ты закрой ворота.

— Зачем же их закрывать, если ты хочешь на улицу? Вот она, улица, ступай.

— Нет, ты закрой ворота!..

Тут уж терпения моего больше не хватило, и я горько-прегорько заревел.

— Чего ты плачешь? Кто тебя обидел? — растерялся дедушка.

— Никто... Закрой ворота... Я хочу на улицу.

Так ничего и не поняв, но видя, что я не перестану плакать, пока ворота не будут закрыты, дедушка запахнул сначала одну, потом другую широкую воротину. Со скрипом они сошлись одна с другой, сразу загородив и траву, и солнце, и колодезь, и улицу нашего села с ветлами по сторонам.

— Запри их на запор,— сквозь продолжавшийся рев потребовал я от дедушки.

Дедушка (странно, что при его нраве он все еще медлил распоясывать свой крученый веревочный поясок), кряхтя, просунул в железные скобы тяжелый, гладкий от времени квадратный брус.

— Ну, что тебе еще?

Мне ничего больше было не нужно. Теперь мне оставалось осуществить то, что целое утро казалось таким заманчивым и интересным. Мне оставалось теперь лечь на живот и пролезть в подворотню из прохладного, темноватого двора на зеленую, золотистую улицу.

Но вот беда, отчего-то расхотелось лезть в подворотню. Это вовсе даже неинтересно лезть в подворотню, если ворота широко распахнуты, это неинтересно даже тогда, когда их нарочно закроют и даже нарочно запрут для того, чтобы пролезть в подворотню.

Я почувствовал себя глубоко несчастным, глубоко обиженным человеком и заревел еще громче.

Дедушка неторопливо начал развязывать свой крученый веревочный поясок...

1961

БЕЛАЯ ТРАВА

Есть на нашей реке такие глухие и укромные места, что, когда продерешься через спутанные лесные заросли, заполненные к тому же крапивой, и присядешь около самой воды, почувствуешь себя как бы в обособленном, отгороженном от остального земного пространства мире. На самый грубый, поверхностный взгляд, мир этот состоит только из двух частей: из зелени и воды. Но и в воде отражается все та же сплошная зелень.

Будем теперь по капелькам увеличивать наше внимание. При этом почти одновременно с водой и зеленью увидим, что, как ни узка речка, как ни густо сплелись над ее руслом ветки, все же и небо принимает не последнее участие в сотворении нашего маленького мира. Оно то серое, когда еще самый ранний рассвет, то серо-розовое, то ярко-красное — перед торжественным выходом солнца, то золотое, то золотисто-синее и, наконец, голубое, как и полагается ему быть в разгаре ясного летнего дня.

В следующую долю внимания мы уже различим, что то́, что казалось нам просто зеленью, вовсе не просто зелень, а нечто подробное и сложное. И в самом деле, натянуть бы около воды ровную зеленую парусину, то-то была дивная красота, то-то восклицали бы мы: «Земная благодать!» — глядя на ровную зеленую парусину.

Висит над водой старая, черная, как уголь, коряга. Отзвенела, отшумела свое. Отдрожала дождевыми каплями на весенних листьях, отсорила в воду ярко-желтыми глянцевыми листочками. Угольное отражение ее четко лежит на воде, перерываясь лишь в тех местах, где попадает на округлые листья кувшинок. Зелень этих листьев не может не совпадать, не сливаться с отраженной вокруг лесной зеленью. У черемух выросли до своей величины будущие ягоды. Теперь они гладкие, жесткие, как все равно вырезаны из зеленой кости и отполированы. Листья ракиты повернуты то своей ярко-зеленой, то обратной, матовой, серебряной стороной, отчего все дерево, вся его крона, все, так сказать, пятно в общей картине кажется светлым. У кромки воды растут, наклонясь в сторону, травы. Кажется даже, что дальние травы привстают на цыпочки, тянутся изо всех сил, чтобы обязательно, хотя бы из-за плеч, поглядеть в воду. Тут и крапива, тут и высоченные зонтичные, названия которым здесь у нас никто не знает.

Но всех больше украшает наш замкнутый земной мирок некое высокое растение с пышными белыми цветами. То есть каждый цветок в отдельности очень мал и был бы вовсе незаметен, но собрались цветы на стебле в бесчисленном множестве и образуют пышную, белую, слегка желтоватую шапку. А так как стебли этого растения никогда не растут поодиночке, то пышные шапки сливаются и вот уже как бы белое облако дремлет среди неподвижной лесной травы. Еще и потому невозможно не залюбоваться этим растением, что едва лишь пригреет солнце, как от белого цветочного облака поплывут во все стороны незримые клубы, незримые облака крепкого медвяного аромата.

Вообще-то говоря, сидя с удочкой, ни о чем больше не думаешь, как только о клеве, о поплавке, если можно назвать думанием сосредоточенное напряженное ожидание хотя бы легкого шевеления. Страстный рыболов Антон Павлович Чехов не так уж прав, говоря, что во время уженья приходят в голову светлые, хорошие мысли. Ничуть не бывало! Последние жалкие обрывки деваются неизвестно куда.

Глядя на белые пышные груды цветов, я часто думал о нелепости положения. Я вырос на этой реке, чему-то меня учили в школе. Цветы эти я вижу каждый раз, и не просто вижу, а выделяю из всех остальных цветов. А вот спроси меня, как они называются,— не знаю, почему-то ни разу не слыхал их названия и от других, тоже здесь выросших людей. Одуванчик, ромашка, василек, подорожник, колокольчик, ландыш — на это нас еще хватает. Эти растения мы еще можем называть по именам. Впрочем, зачем же сразу обобщать,— может быть, один лишь я и не знаю? Нет, кого бы я ни расспрашивал в селе, показывая белые цветы, все разводили руками.

— Кто их знает! Полно их растет: и на реке, и в лесных оврагах. А как называются?.. Да тебе на что? Цветы и цветы, их ведь не жать, не молотить, не на госпоставки сдавать. Нюхать и без названия можно.

Мы вообще-то, я бы сказал, немного равнодушны ко всему, что окружает нас на земле. Нет, нет, конечно, мы часто говорим, что любим природу: эти перелески, и холмы, и роднички, и огневые, на полнеба, летние теплые закаты. Ну и, конечно, собрать букет цветов, ну и, конечно, прислушаться к пению птиц, к их щебетанию в золотых лесных верхах в то время, когда сам лес еще полон темно-зеленой, черной почти прохлады. Ну и сходить по грибы, ну и по-

удить рыбу, да и просто полежать на траве, глядя вверх на плывущие облака.

«Послушай, а как называется трава, на которой ты теперь так бездумно и так блаженно лежишь?» — «То есть как это как? Трава. Ну там... какой-нибудь пырей или одуванчик».— «Какой же тут пырей? Тут вовсе нет никакого пырея. Всмотрись повнимательнее. На месте, которое ты занял своим телом, растет десятка два разнообразных трав, и ведь каждая из них чем-нибудь интересна: то ли образом жизни, то ли целебными для человека свойствами. Впрочем, это уж вроде как бы непостижимая для нашего ума тонкость. Пусть об этом знают хотя бы специалисты. Но названия, конечно, не мешало бы знать».

Из двухсот пятидесяти видов грибов, что растут повсеместно в наших лесах, начиная с апреля и кончая заморозками (кстати, почти все виды съедобны, исключая лишь несколько видов), мы знаем «в лицо» и по названиям едва ли четвертую часть. Про птиц не говорю. Кто мне подтвердит, которая из этих двух птиц малиновка-пересмешница, которая крапивница, а которая мухоловка-пеструшка? Кто-нибудь, конечно, подтвердит, но каждый ли? Но каждый ли третий, но каждый ли пятый — вот вопрос!

...Встретившись в Москве с моим другом и земляком из соседнего села Сашей Косицыным, мы начинаем вспоминать наш лес Журавлиху, нашу речушку Ворщу, наш Долгий омут, затерявшийся в Журавлихе.

— Больше всего я люблю в Журавлихе запахи,— зажмуриваясь от блаженства, вспоминает Саша Косицын.— Нигде, ни на одной реке, ни в одном лесу я не встречал таких запахов! Нельзя сказать в отдельности, что пахнет крапивой, или мятой, или вот этой... как ее?.. Ну, знаешь, такая белая трава... пышная, ну ты знаешь...

— Знаю, о чем ты говоришь, но я сам сто раз собирался спросить у тебя, как называется эта трава. А ты, оказывается, забыл.

— Ну знал, да забыл,— рассмеялся Саша.— Вообще-то, не мешало бы выяснить. Ты бы спросил в деревне у местных жителей, скажут.

— Разве я не спрашивал? Много раз!..

— Я придумал: надо будет спросить у моего отца. Он лесником четыре года работал, он все знает. Их, лесников, даже заставляют собирать семена деревьев и растений. Он книги на эту тему читал. И по этой части знает все доско-

нально. А уж эту траву — и говорить нечего. Вокруг сторожки, где мы жили, ее целые плантации.

Как-то так получилось, что летом, когда мы с Сашей встречались в деревне и его отец, знающий все досконально, бывал поблизости, а часто даже и сидел с нами за одним столом, мы забывали про нашу душистую траву. Вспоминали же о ней снова зимой в Москве: начинали сожалеть, что вот была возможность узнать — забыли. На будущий год непременно надо спросить у бывшего лесника. Наше нетерпение обострялось в такой степени, что хотелось скорее написать письмо.

Но вспоминали мы о белой траве обыкновенно поздним вечером, не дома, а в гостях, во время ужина, а то и вовсе в ресторане, когда на нас находили особенно лирические мгновения и мы особенно ярко вспоминали о Журавлихе и Ворще. Только этим и можно объяснить, почему мы в течение трех лет не отправили ни письма, ни телеграммы. Однажды наконец-то совпали все желаемые условия: мы были с Сашей вместе. Павел Иванович сидел рядом, и мы вспомнили про нашу загадочную белую траву.

— Так-так-так,— энергично поддакивал нам Павел Иванович.— Ну как же! Неужели я не знаю эту траву?! У нее еще стебли пустые. Бывало, надо напиться, а родничок в глубокой промоине. Сейчас срежешь стебель метровой длины да через него и напьешься. А листья у нее немножко на малинные похожи. А цветы белые да пышные. А уж пахнут!.. Бывало, сидишь на реке с удочкой, за сто шагов — аромат. Ну как же, неужели не знаю я эту траву?! Да что ты, Саша, неужели не помнишь, сколько ее возле нашей сторожки росло по тому берегу реки, хоть заготовляй!

— Ну так не тяни душу, говори, как она называется.

— Бела трава.

— Мы знаем, что она белая; но вот название?..

— Какое вам еще название? Я, например, так ее постоянно зову: бела трава. Да и все у нас так зовут.

Мы с Сашей рассмеялись, хотя причина нашего смеха, я так думаю, была совсем непонятна для бывалого человека Павла Ивановича. Бела трава — и вдруг смешно! Попробуй догадайся, над чем тут смеются.

1961

ЛЕТНИЙ ПАВОДОК

Каждый день перепрыскивали дожди. В конце концов земля так напиталась водой, что не брала в себя больше ни капли влаги. Вот почему, когда образовалась в небе широкая, темная прореха и оттуда хлынула обильная, полетнему теплая вода, наша тихая, мирная речка сразу начала вздуваться и пухнуть. По каждому оврагу, по каждой канаве наперегонки, перепрыгивая через корни деревьев, через камни, мчались ручьи, словно у них была единственная задача — как можно быстрее домчаться до речки и принять посильное участие в ее разгуле.

Дождь стегал веревками по спинам ручьев и потоков, подхлестывая их. Чем сильнее, звучнее стегал дождь, тем азартнее, тем проворнее мчались бесчисленные потоки.

Над самой землей, так примерно на полметра, стоял седой дым. Крупные капли дождя разбивались о землю, превращаясь в пыль и мельчайшие брызги. Точно такой же седой дым виднелся над каждой кровлей. Повсюду, уверенно наполнив окрестности, устойчиво держался ровный напряженный шум. Время от времени резко и оглушительно ударял гром. Было странно слышать его, потому что все небо было серое и ровное, ненастное, а не грозовое, когда черная синева, ветер и люди знают, что это сейчас пройдет.

Дождь лил в безветрии, из однотонного, студенистого неба. Казалось, не будет теперь ему ни конца ни края. Меньше всего можно было ждать ударов грома, тем не менее удары были, и каждый удар, как бичом, подхлестывал и без того взбесившийся дождь.

Шум стоял всю ночь. К утру стало тихо. Только обильно капало с деревьев, а если очень чутко прислушаться, то и с трав.

Дождь прошел, а у реки начиналось самое гулянье. Никогда, при самом дружном таянии самых глубоких снегов, не было на нашей реке такого разлива, такого водополья, как теперь.

Река немедленно сорвала и унесла с собой все лавы, подняла все, что лежало на ее летних, казавшихся безопасными берегах: дрова так дрова, бревна так бревна, копны сена так копны сена, мусор так мусор. Выйдя из берегов, она залила где луга, а где и поле зеленого овса, золотой уже ржи, белой цветущей гречихи. В деревушках, что стоят пониже, она подобралась к огородам.

В Останихе у реки притулились на берегу бани, этакие

покосившиеся избушки на курьих ножках. Теперь над водой оставались только крыши этих бань, и все ждали, что вот-вот их приподнимет и понесет.

Но все же речка наша слишком мала, чтобы даже в такое половодье всерьез навредить людям. Допустим, разыграется в избе котенок: ну, сорвет занавеску, ну, разобьет стакан или вазу, ну, что еще он может набедокурить? Все-таки котенок, а не слон, не медведь и не тигр.

Напротив, всем было интересно поглядеть на такую необыкновенную для наших мест воду. Одни говорили: «Вот бы всегда у нас была такая река!» Старики вспоминали, когда — пятьдесят или семьдесят лет назад! — они видели такую воду. Богомольные старушки причитали: «Одну ночь лил, а что сотворилось! А если бы сорок дней и сорок ночей — вот и был бы потоп. Погодите еще, разверзнутся хляби небесные!..» Мальчишки бегали возле самой воды и глядели, как комбайнер Анатолий Ламанов шарит наметкой в надежде поймать голавля или щуку.

Я пошел вдоль по берегу, не думая ни о чем, любуясь воистину необыкновенным зрелищем.

Высокие ольховые кусты теперь выглядывали одними макушками. Видно было, как вода пригибает кусты в одну сторону по своему течению, а они пружинят, стараются выпрямиться, пользуясь малейшим послаблением мутных струй, и оттого беспрерывно кланяются как заведенные.

Старую ветлу затопило по самую крону. По ее ветвям сновали, тревожно и жалобно крича, разнообразные пичужки. Наверное, немало уютных обжитых гнезд (по времени так и с птенцами) залило этой водой.

В одном месте я остановился, засмотревшись на завертину. Вода в этом месте ударялась о загнутый берег, ходила кругами. По краю завертины движение воды было медленное, как бы ленивое, но ближе к середине оно все убыстрялось и убыстрялось, образуя наконец водяную вертящуюся яму, в которую неудержимо тянуло все, что проплывало мимо: солому, сено, щепки и даже пузыри, рождающиеся там, где вода расчесывалась ветвями затопленных деревьев.

До моего слуха стал доноситься однообразный слабенький писк, настолько слабенький, что сначала я хоть и слышал его, но как-то не обращал внимания, как-то он не мог «допищаться» до меня. Может быть, спутывался сначала с писком и щебетанием птиц, а потом уж и выделился, чтобы завладеть вниманием.

Я прислушался и понял, что пищит не одно существо, а несколько, и где-то очень близко, чуть ли не у моих ног.

Сделав несколько шагов по берегу, я прислушался еще раз и тут увидел у носка моего, самому мне показавшегося огромным, резинового сапога крохотную ямочку, оставленную некогда коровьим копытом. В ямке, сбившись в клубочек, барахтались крохотные существа, беспомощные, как все детеныши.

Детеныши были величиной со взрослых мышей или, лучше сказать, с кротов, потому что больше походили на них окраской своих мокреньких шубок. Их копошилось там штук шесть, причем каждый старался занять верх, так что они вслепую все время перемешивались клубочком, попирая и топча наиболее слабеньких.

Ямка находилась как раз на границе земли и воды. Но вода продолжала неумолимо подниматься. Она скопилась холодной лужицей на дне убежища, где два слепеньких существа лежали, не двигаясь, то ли захлебнувшись, то ли их затоптали в слепой борьбе за существование их же «братишки» и «сестренки».

Мне захотелось узнать, чьи это детеныши, и я стал оглядываться. Из-за верхушки ольхи, судорожно, непрерывно загребая лапками, чтобы удержаться на одном месте (течение сносило ее), глядела на меня своими черными бусинками выхухоль. Встретившись со мной глазами, она быстро, испуганно поплыла в сторону, но невидимая связь с коровьим копытцем держала ее, как на нитке. Поэтому поплыла выхухоль не вдаль, а по кругу. Она вернулась к ольховому кусту и снова стала глядеть на меня, без устали гребя на одном месте.

Копытце при нормальной высоте было далеко от берега. Значит, можно было предположить, что мать, когда вода хлынула в нору, сумела перетащить детенышей на сухое высокое место. Скорее всего, копытце было не первым убежищем. Но все предыдущие тоже заливало водой, как залило теплую нору, как зальет через четверть часа и это студеное, с лужицей на дне копытце.

Выхухоль держалась на воде метрах в двух от меня, что невероятно для этого крайне осторожного, крайне пугливого зверька. Это был героизм, это было самопожертвование матери, но иначе не могло и быть: ведь детеныши кричали так тревожно и так призывно!

Я наконец ушел, чтобы не мешать матери делать свое извечное дело — спасать своих детей. Может быть, она

перетащит их еще на новое место, и хоть снова начинается дождь, и в конце концов вряд ли ее детеныши выйдут целыми из этой передряги, как уж не вышли те двое, что лежат на дне ямки,— живой думает о живом.

Я направился домой. Поддавшись невольной сентиментальности, я думал о том, что у меня тоже есть дети. Я старался вообразить бедствие, которое по масштабу, по неожиданности, по разгулу и ужасу было бы для нас, как этот паводок для бедной семьи зверушек, когда пришлось бы точно так же тащить детей в одно, в другое, в третье место, а они гибли бы в пути от холода и от борьбы за существование, и кричали бы, и звали бы меня, а я не имел бы возможности к ним приблизиться. Перебрав все, что подсказывало воображение, я остановился на самом страшном человеческом бедствии. Название ему — война.

Дождь усиливался с минуты на минуту, он больно сек меня по лицу и рукам. На землю спустилась черная, ненастная ночь. В реке по-прежнему прибывала вода.

В небе, выше дождя, превыше ночной темноты, так, что едва доносился звук, неизвестно куда и неизвестно откуда летели машины, созданные из огня и металла.

Если бы они и могли теперь взглянуть со своей высоты на землю и на меня, идущего по ней, то я им показался бы куда мельче, куда микроскопичнее, чем полчаса назад казались мне слепые, озябшие детеныши выхухоли, лежащие на самом краю земли и стихии.

1961

ЗАКОН НАБАТА

Я вскочил на ноги рывком, с трудом, вполне безотчетно преодолевая чугунную тяжесть сна.

В селе звонил набат. Не тот набат, который висел, бывало, на колокольне — двадцать девять пудов двенадцать фунтов. Тот и мертвого поднял бы, не то что спящего.

Когда сбрасывали, разбивали и в разбитом виде увозили от нас колокола, оставили все же в селе один маленький колокольчик из того набора колокольчиков, в которые Сергей Бакланихин ловко вытрезвонивал камаринскую.

Счастливый колокольчик повесили на столб около пожарницы. Он-то и кричал теперь жалостным голоском, подражая тому, настоящему, покойному набату.

Одевался я торопливо, не попадая в перепутавшиеся

штанины. А сам все глядел на окна: не краснеют ли стекла, не проступают ли на них, не трепещут ли отблески близкого пожара?

Сообразив еще, что на улице (при непроглядной темноте) жидкая грязь, лужи и трава, залитая вечерним дождем, я выскочил в сандалиях на босу ногу.

В конце села перекликались люди:

— Кто звонил?

— Горит!

— Малый Олепинец.

Набат зазвонил увереннее, тревожнее, тверже: старенькую сторожиху тетю Полю сменил кто-нибудь из подбежавших мужчин.

— За Грыбовых бегите!

— Малый Олепинец горит...

В темноте там и тут слышалось громкое чавканье сапог — по раскисшей грязи бежали люди.

Пробегая мимо столба с колокольчиком (на время перестали звонить), я услышал запыхавшиеся и как бы даже восторженные слова сторожихи:

— Гляжу, вроде деревья на небе проступили. Я на зады. Батюшки мои светы — зарево над Олепинцем! Что делать? В колокол. Руки трясутся. Не выходит по-набатному-то.

«По-набатному» мне привелось слышать несколько раз в детстве. С тех пор и запомнилось, что ничего уж не может быть тревожнее и страшнее, чем по-настоящему, по-набатному. Правда, случаи оказывались все больше безобидные,— например, тревога.

Начинал бить набат, выбегали люди, село наполнялось криками, как при настоящем пожаре (старушки, пока опомнятся, успеют поголосить!), пожарная дружина, составленная из отборных мужиков, начинала действовать.

В поводу гнали лошадей к пожарному сараю. Из широких ворот по бревенчатому настилу выкатывали за оглоблю телегу с пожарной машиной, бочку для воды (тоже устроенную на оглоблях), разбирали багры, топоры, лопаты.

Объявлялось, что «горят» Черновы. Вся пожарная оснастка переправлялась к Чернову дому. Раскатывали брезентовые рукава к пруду или к колодцу. В своем селе на руках, не теряя времени на запрягание лошадей, катили телеги с пожарными машинами. Проверка не кончалась на том, чтобы просто подбежать к «горящему» дому. Время замечалось по первой струе, направленной на крышу и на

стены: честь для пожарной дружины, если вода польется через семь минут после того, как разнесся голос набата.

В жаркую погоду брандспойтщик вильнет струей на толпу, в особенности на баб и мальчишек. Тревога, с ее неизбежным ударом по нервам людей, разражалась визгом, смехом, весельем. Все переходило на шутку.

Эти своеобразные «маневры» проводились раз по пять за лето, так что все было отработано в тонкости, в любую минуту было начеку. Правда, и пожары случались чаще.

Позже, перед самым снятием колоколов, когда стали уж нарушаться в селе веками сложившиеся патриархальные порядки, кто-то подговорил Витьку Гафонова понарошку ударить в набат, и он ударил.

Мужики и бабы побросали косы и серпы (стояло жнитво), полумертвые прибежали в село, кое-кто от самого Самойловского леса.

Велик и непреложен закон набата: старый ли ты, усталый ли, занятой ли ты человек — бросай все и беги на зовущий голос.

Этот голос всегда означал только одно: другим людям нужна твоя немедленная, безотлагательная помощь. И бегут с топорами, с лопатами, с ведрами. Кое-кто с вилами — на всякий случай. Неизвестно, что за беда. Не ровен час, пригодятся и вилы.

И поднимается в тебе (несмотря на беду) некое восторженное чувство, что ты не один, что, случись у тебя беда, и для тебя точно так же побегут люди, потому что непреложен и велик закон набата.

Вот и теперь я бегу вроде бы один в темноте, но слышу то справа, то слева тяжелый топот и шумное дыхание. Значит, еще бегут мужики. Бегут напропалую, не выбирая дорог и в грязи и мраке.

Я успеваю подумать, спросить себя, почему все мы бежим не к пожарнице, а за Грыбовых, на зады. Не любоваться же пожаром повскакали мы все с постелей. Ну, да это вот почему. Олепинец близко, какой-нибудь километр за оврагом и буграми — добежим. А около пожарницы хлопочут, наверно, другие люди — дружина. Они небось знают свое дело.

За околицей на луговине собрались в одно место все бежавшие. Не очень-то много народу осталось в селе, мало собралось и здесь. Пять-шесть мужиков, а то все больше бабенки.

Все глядим туда, где в непроглядной разбойничьей

черноте мокрой осенней ночи за черным далеким бугром, безмолвное, темно-красное, стоит зарево.

Было это похоже, как если бы на черной линии земли лежал раскаленный уголек, временами кто-то дует на него, отчего зарево странно пульсирует, в стороны и кверху.

Иногда желтое сердцевидное пятнышко зарева раскаляется до белизны. В эти секунды краснота растекается еще дальше во все стороны, особенно кверху, подсвечивая нижние, черные лохмотья набрякших осенних облаков.

— Ишь ты, как выбрасывает! — говорят в это время в толпе.

— Сказали, Олепинец. Да рази это Олепинец? Олепинец вон он, за бугром. Если бы Олепинец горел, тут бы не то что... и у нас бы светло было. А это вот что горит... Я вам сейчас скажу... Это горит Волково.

— Полно не дело-то говорить! Волково много правее. А это, я так думаю, Некрасиха.

— Нет, мужики, скорее всего Пасынково.

— Наверно, клеверный стог либо солома.

— Тут не соломой пахнет. Солома полыхнет — и нет.

— Да. Пока тетя Поля увидела, пока бежала до колокола, пока все мы прибежали... Почитай, уж больше часа полыхает. Разве это солома? И не слабеет нисколько.

Некоторое время мы смотрим, как пульсирует красное пятно с желтой точкой посредине — единственное светлое пятнышко величиной с копейку в беспредельной осенней черноте.

— А ведь, пожалуй, и правда Некрасиха,— возобновляется ленивый, раздумчивый разговор.

— А сказали — Олепинец. Да Олепинец-то вот он, за бугром. Если бы горел Олепинец...

— А может, это... того, мужики... съездить?

— Съездить можно. Почему не съездить? Да ведь пожарница закрыта. Пожарник в Прокошихе.

Тут и до меня дошла вдруг вся нелепость положения.

— Как так в Прокошихе? — спросил я, обращаясь не к кому-нибудь в отдельности, а ко всем вместе.

— Очень просто. Василий Барсуков теперь пожарник. Живет в Прокошихе. До нее два с половиной километра. Пока добежишь, да пока он прибежит...

— А если в своем селе пожар?

— И в своем. Все одно и то же. Недавно у Виктора в избе загорелось. Хорошо ведрами успели залить. Потом уж и машину привезли, а она не качает!

— Как так не качает?

— Очень просто — испортилась. Тык-пык — вода не идет. Василия чуть не избили. Теперь, кажется, наладили.

— А я вот что думаю, мужики: не позвонить ли нам в Ставрово — в райцентр? Они скорее нас доедут. И машины у них лучше. Пусть им хоть и дальше, хоть и пятнадцать километров вместо наших пяти...

— Наверно, черкутинские поехали. От Черкутина до Некрасихи близко.

— Говорят вам: Пасынково горит!

— До Пасынкова им еще ближе...

— Из Черкутина и в район могут позвонить. От них легче дозвониться, чем от нас. От них прямая линия.

Успокоившись окончательно (звонить из Черкутина удобнее, доехать ближе), сосредоточенно глядим на далекий пожар. Но червячок сомнения (хорошо ли мы делаем, что бездействуем?), видимо, гложет совесть каждого. Нужно снова успокаивать червячка.

— Нам по такой грязи не доехать. Два дня лило как из ведра.

— Давно уж горит. Прогорело, наверно, все. Остались одни головешки.

— А ведь, пожалуй, мужики, и правда Некрасиха.

— Мне оказывает, что Некрасиха будет полевее.

— Вот и я говорю, что Волково.

— Пасынково...

Зарево не хотело сбавлять своей хоть и пульсирующей, но равномерной напряженности. Зловещими были именно его безмолвие, его бесшумность, полная тишина.

Наверно, там теперь суета, беготня, крики, вопли... Ничего не долетает сюда, к нам, стоящим на луговине в пяти километрах от пожара. «Тихое, долгое, красное зарево целую ночь над становьем своим...— и некстати и кстати стали вспоминаться любимые точные слова.— Я вижу над Русью далече широкий и тихий пожар». Какие все-таки точные слова! Наверно, пришлось ему глядеть где-нибудь в Шахматове на русские наши пожары. Не может быть, чтобы одно прозрение?..

— Мужики, что вы стоите? Чего ждете? Мужики, разве так полагается?

Вдруг дружно, громко заговорили бабы:

— Давно уж были бы на месте, если бы сразу-то...

— Василий-пожарник, вишь, в Прокошихе... Чай, замок-то можно сшибить ради такого случая?

— Да хоть бы и без пожарных машин, с топорами. Там теперь каждые руки до́роги.

— Ишь, на что надеются, что прогорело давно, одни головешки остались! А оно все не прогорает. Вон как выкидывает, вон как разъяряется!

— Поезжайте, мужики. Хватит вам гадать.

— Где это видано, чтобы на пожар глядеть, а не ехать! Рази так полагается?

Молча глядим на пожар. Но настроение от бабьего разговора наметилось к перелому. Нужен был теперь лишь маленький толчок, чтобы все пошло в другую сторону.

Тут в самую решительную секунду на пожаре опять выбросило,— пожалуй, даже сильнее всех разов.

— А что, мужики, и правда, не поехать ли нам? Пожалуй, поедем. Что-то большое горит, не прогорает.

— Не проехать в такую грязь.

— Трактор завести. На тракторе...

— Приедешь завтра к вечеру.

— Попробуем на грузовике. Авось...

Через четверть часа (пока сшибали замок с пожарницы) наша колхозная трехтонка по расхлябанной колее, урча, разбрызгивая грязь, повезла нас всех на пожар.

С того времени, как тетя Поля ударила в набат, прошло, я думаю, не меньше часу. Все нам казалось, что едем мы зря, больше для очищения совести, нежели для пользы дела. На головешки едем смотреть — упущено главное-то время.

Как ни странно, машина наша ни разу не завязла. Даже самое гиблое место — против шуновского скотного двора — миновала благополучно. На Куделинской горе поняли, что горит Некрасиха. Само зарево, само пятно скрылось от нас за еловый лесок, но выше елок вздымались искры. Они метались, завивались в жгуты, завихрялись, клубились черно-красными клубами.

Шофер поднажал на газ. Вялое, полусонное, странно окостенелое состояние нашего духа прошло. Мы возбудились и, нетерпеливые, стояли в кузове — все лицом к пожару, готовые на ходу выпрыгнуть из машины, чтобы бежать и действовать.

Еще острее почувствовали мы всю нелепость нашего стояния на луговине, наши бестолковые пререкания, что́ горит — Пасынково, Некрасиха или Волково. Засмеют нас

теперь пожарные дружины, приехавшие раньше нас: «Глядите, мол, люди добрые, олепинские пожаловали! К шапошному разбору. К головешкам. Пустите их вперед головешки заливать. Как раз по ним эта работа!»

От пожарища (горели сразу две избы) навстречу нашей машине (уж не бить ли) бросились люди. Бабы завопили, причитая:

— Слава богу! Родимые... приехали!.. Выручайте, люди добрые! Приехали... Слава богу!

Обстановку оценить было нетрудно: мы —единственная реальная сила на пожаре. Кругом женщины. Один дом действительно уже догорал. И крыша и стены обвалились. Образовался чудовищный костер, к которому нельзя было подойти ближе чем на тридцать шагов — трещали волосы.

Второй дом (загоревшийся от первого) полыхал что есть мочи. Спасти его было невозможно. Да нечего уж и спасать: стропила вот-вот рухнут, из окон с гуденьем вырываются длинные мятущиеся клочья огня.

Надо было спасать третий дом, который еще не загорелся (полчаса назад в таком положении был второй дом), но весь раскалился от близкого огня и готов вспыхнуть в любую секунду. Народу в Некрасихе — два с половиной человека. Бабы таскали ведрами воду, чтобы поливать приготовившийся к вспышке дом; но жара мешала подбежать вплотную. А если кто и подбегал, то выплескивал воду торопливо, отвернувшись, обливая завалинку, не доставая до верхних рядов бревен, а тем более до крыши. Там-то, наверху, и было горячее всего.

— Родимые, выручайте. Христа ради, сейчас ведь примется.

Но подгонять нас было не нужно.

Что-то проснулось в наших олепинских мужиках, и холодок восторга от своей же дружности и слаженности приятно пробежал у меня по спине.

Медный, давно не чищенный брандспойт в моих руках (так уж получилось в горячке) вдруг вздрогнул, дернулся, едва не вырвавшись из рук. Сильно щелкнуло, хлопнуло на его конце (как если бы вылетела пробка), и белесая струя воды с силой ударила кверху, в черно-красное небо.

В следующую секунду я перевел струю на крышу и стены.

От бревен и от железной крыши повалил пар. Значит, новая пища огню, новая пища зареву (если глядеть на пожар издали) была уже совсем готова.

А мы все стояли бы там, на олепинской луговине, лениво рассуждали бы между собой:

«Что-то долго не прогорает...»

«А пожалуй, мужики, и правда Некрасиха...»

«Нет, Некрасиха будет гораздо полевее...»

И опять глядели бы со стороны на тихое, долгое красное зарево...

1963

МОЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ

Как ни стремился я приехать засветло к тому месту на шоссе, от которого нужно поворачивать направо, ночь застала меня в пути.

Во время долгой езды по шоссе (сначала по бетонке, а потом булыжнику) я утешал себя, успокаивал, что не может быть... не такое уж ненастье... проеду. И вообще, когда едешь по широкой бетонке, кажется — в мире не бывает непроезжих дорог. Правда, иногда вдруг заденешь краешком глаза, увидишь, как от бетонки в лес узкой полоской тянется водянистое месиво, глубокие, заплывшие глинистой жижей колеи. На мгновение сожмется сердце как перед несчастьем, но летящая навстречу бетонка мигом развеет дурное предчувствие. И мелькнувшая лесная дорога словно приснилась, словно померещилась от слезинки в глазу.

Два пучка света, выбрасываемые вперед моим «газиком», то совсем упирались в дорогу, когда попадалась выбоина, то прыскали к облакам. Они представлялись мне умными живыми щупальцами, которые автомобиль — тоже живое существо — выпускает, чтобы ощупывать, изучать дорогу.

Вот щупальца замешкались, поползли вправо, совсем соскользнули с каменной полосы, обшарили мокрую траву, канаву, чахлый кустик, жирные пласты пашни и недоуменно замерли на водной глади.

Сама по себе она не очень пугала меня. Бывает, лучше глубокая и широкая лужа с твердым, укатанным дном, чем безобидное на вид место, где колеса с каждым поворотом все глубже вязнут в плотную, засасывающую трясину. А вообще-то самое страшное — глубокая колея. Пока «газик» (или «лазик», как мы его зовем) стоит на своих четырех колесах, все еще есть надежда выкарабкаться из

самой непролазной грязи. Но бывает, садится он на грунт своим низом, животом («дифером», говорят шоферы),— тогда дело плохо. Колеса теперь могут вертеться сколько им вздумается, как у паровоза, приподнятого над рельсами.

Лужи, полные воды, я приноровился проскакивать с разгона и, преодолев их больше десяти, почувствовал даже некоторый задор, этакую неосторожную удаль. Между лужами мотор рычал надсадно, стонал. Каждое колесо, чтобы продвинуться хоть на один оборот, сначала крутилось вхолостую, пробуксовывало в липкой грязи.

В одном месте лужа показалась мне слишком глубокой, а вправо вроде бы уходил следок объезда. Я и свернул на этот следок. Метра три машина протащилась с разгона, потом задрожала, засвиристела на одном месте. Я включил задний ход и прибавил газу. «Газик» дернулся назад, но опять задрожал на месте. При этом слышно было, как он резко осел вниз. Судорожно я двинул вперед рычаг демультипликатора. Это приспособление резко увеличивает силу автомобиля, и на него теперь была последняя надежда. Мотор заревел еще надсаднее, но «газик» даже не дернулся хотя бы на сантиметрик, только еще глубже и прочнее осел. Каждый раз, когда я переключал ход то с заднего на передний, то с переднего на задний, пытаясь раскачать машину, автомобиль вздрагивал на одном месте, не в состоянии дернуться и продвинуться ни вперед, ни назад.

Я выключил мотор, фары и встал на крыло, чтобы осмотреться.

Влажная беззвучная темнота окружила меня. С крыла машины капало. Два раза звучно шлепнулась отлипшая грязь.

Первым делом я стал прислушиваться, не работает ли поблизости трактор. Теперешнюю нашу ночь нельзя представить без того, чтобы не тарахтел вдали тракторный мотор. Обычно во время вечерних прогулок, во время любимого тихого сидения на пустынном холме даже досадно немного на то, что нельзя остаться вовсе в полном ночном безмолвии; либо трактор в отдалении, либо радиовещание из соседнего села. Сейчас рокотание трактора показалось бы мне слаще самой светлой музыки.

Но тихо было вокруг. Поздняя осень. Ночная осенняя пора. Темные ветреные ночи, поздние мглистые утра,

серенькие, моросящие деньки. Мокнущая солома на полях, полупрозрачные леса. А главное — очень уж темно по ночам, сыро и ветрено. Пожалуй, в такую осеннюю ночь теплая изба и теплая постель покажутся уютнее, чем даже в зимнюю морозную пору.

С фонариком я оглядел машину со всех сторон. Сидела она прочно, всем «животом» и передней и задней осями. До дороги, с которой я так легковерно свернул, карабкаться метра четыре, не меньше. Значит, нужно лопатой выбирать всю землю из-под автомобиля, чтобы он опять встал на колеса; затем нужно вырыть отлогий путь к твердой (уж стала твердой казаться расхлябанная колея!) дороге; затем нужно под колеса накидать либо веток, либо дров, либо камней — что окажется поблизости. Затем хорошо, если бы кто-нибудь подтолкнул сзади...

Плохо ездить в дорогу одному! В компании все переходит в шутку. Посмеялись бы над бедой и взялись бы дружно за дело. Вдвоем и то уж легче. И словом перекинешься, и работу сделаешь в два раза быстрее. Кроме того, двое могут сделать то, что одному совсем не под силу. Очень плохо в дороге одному!..

Пришлось зажечь подфарники, чтобы светило на те места, где выбирать землю лопатой. Сначала я старался не зачерпнуть воды или грязи в туфли, но оступился раз, оступился другой — и стало все равно. Брюки я закатал выше колен. Впрочем, они все время сползали, раскатывались. Я и на них перестал обращать внимание.

Выбирать землю из-под брюха автомобиля было неудобно: лопата соскальзывала, лязгала по металлу. Земля утрамбовалась весом машины, лопата в нее никак не лезла, хоть плачь!

Остановившись отдышаться, снова стал слушать ночь и услышал впереди по дороге сочное, мокрое чмоканье. Кому-то еще не сидится дома в такую пору. Но ему что, если он пешком,— на дифер не сядет. Я дернул за рычажок фар и ударил вдаль таким ярким светом, что идущий по дороге человек от неожиданности заслонился рукой и даже отвернулся. Я погасил свет и стал поджидать прохожего.

Прохожий был в брезентовом плаще и кепке. На ногах резиновые сапоги. В руках можжевеловая палка. Он не собирался останавливаться около меня, но мне пропустить его показалось невозможным. Единственная живая душа в этой ночи, в этом моем одиночестве! Как же так не погово-

рить с человеком, не отвести душу! А ему неужели неинтересно, почему я здесь торчу, кто я, откуда? Может быть, мне нужна помощь? Именно насчет помощи-то... Неужели можно пройти не осведомясь?

Но нет, я со своей бедой не вызывал никакого интереса, никакой хотя бы праздной любознательности прохожего с можжевеловой палкой. Мало ли застревает машин на наших дорогах!

— Завяз вот,— сказал я, вроде бы и не обращаясь к прохожему, но все же в тот самый момент, когда он поравнялся с моей машиной.

— Что делать, грязь.

— Как что делать? Дороги.

— Так и будешь сидеть, пока дорогу к тебе не подведут?

Прохожему было лет сорок, не больше. Да еще нужно прикинуть лет пять на то, что не брит. Задав свой шутливый вопрос, он остановился и повернулся ко мне лицом.

— Куда бы за трактором сходить?

— Здесь поблизости некуда. В бригадах сейчас ни одного трактора. А если во «Власть Советов» — километров восемь. Да и какой трактор за семь верст киселя хлебать поедет!.. Мне вот, правда, торопиться некуда. Хошь, помогу?

— То есть как?..

— Ну как? Где подкопаем, где подложим. Не может быть, чтобы не вытащили. Она сама-то исправна?

— Сама как часы. Я буду очень рад, если вы...

— Ты не думай, что я без корысти. Трояк за работу: чтобы на бутылку и на бутерброд.

Не то чтобы жалко было трех рублей — отдашь и десять. Но очень уж откровенная корысть неприятно резанула меня. Я ответил так, как никогда не ожидал от себя в такую минуту:

— Не надо. Я как-нибудь один. Подожду.

— Ну валяй!

И, усмехнувшись еще раз, теперь уж на прощание, он зашлепал по грязи своими резиновыми сапогами.

Хм, «подожду»! А чего, спрашивается, ждать? Дурак я, дурак! Зачем отказался от подмоги? Может, и правда вытащили бы?

Некоторое время я с остервенением (от злости на себя) рыл землю. Но было ясно, что, как только я попытаюсь

тронуть машину, она увязнет опять и все мое выкапывание пойдет насмарку.

Между тем лесок, который я недавно проехал (какой там лесок — осиновые кустики!), до сих пор сливавшийся с чернотой ночи, так что его нельзя было и заподозрить, начал смутно проступать, потому что сзади него пожелтело и засветилось. Вокруг леска образовалось слабенькое сияньице. Потом пошли в небо, вроде как прожекторы, вздрагивающие, трепетные пучки света.

Вот чего нужно было ждать: чтобы засветился осиновый лесок! Через пятнадцать минут грузовик поравнялся с местом моего одинокого сидения.

Наверно, и сам остановился бы грузовик, но для верности я вышел на дорогу и посемафорил рукой, прося ли, требуя ли остановиться.

— На кой тебя сюда понесло? — заругался шофер вместо приветствия.— Ехал бы по дороге.

— Думал, как лучше объехать лужу.

— Петух думал — в горшок попал... Дернуть, что ли?

— Ну а как же, конечно, дернуть. Век буду благодарить.

— Ладно. На бутылку дашь.

Шофер захлопнул дверцу и поехал вперед, чтобы встать поудобнее для выдергивания.

«Дались им сегодня эти бутылки! — думал я.— Тот — на бутылку с бутербродом. Теперь и этот — на бутылку. И ведь какую мерку выработали: не сто граммов, не стакан — бутылка! Должно быть, сказывается повышенный уровень благосостояния, повседневно растущие потребности».

Я не стал уж спорить: бутылка так бутылка! Лишь бы ехать, а не сидеть в луже.

Когда шофер подошел зацепить трос, я при свете подфарников разглядел его. Здоровенный рыжеволосый детина. Стандартная стеганка коротка ему. Наверно, неудобно лазить в карманы — приходится высоко задирать локти. Впрочем, стеганка расстегнута, клетчатая рубаха тоже, голенища резиновых сапог загнуты. От этого ноги кажутся еще длинней. А сам он весь как восклицательный знак: чем выше, тем шире и здоровее.

Силой и уверенностью повеяло от рыжего богатыря. Не было бы ничего чудного, если бы он потянул за трос да сам же и вытащил мою машину на твердое место.

Разглядел я и его грузовичок. Это была вконец обветша-

лая, побывавшая, должно быть, не в одном капитальном ремонте, чуть ли не довоенного выпуска, полуторка. Ладно, что борта кузова перекосились и выкрошились, ладно, что вся она похожа на консервную банку, которую мальчишки гоняют вместо футбольного мяча,— очень уж гладка и ненадежна была резина. Вот что смутило меня в первую очередь. Такие колеса без единой зазубринки шоферы зовут лысыми. Казалось, камеры видны сквозь стесавшиеся, утончившиеся покрышки.

Я сел за руль, чтобы помочь грузовику мотором. В ярком свете фар мне видно было, как лысые колеса, словно в масле, крутятся в осклизлой земле, бросая в мои фары, в мое ветровое стекло мелкую, как дождь, и такую же частую грязь.

Покрутившись на одном месте с невероятной, почти пропеллерной быстротой, лысые колеса замерли. Хлопнула дверца грузовика. Сейчас детина подойдет, отвяжет трос и уедет, оставив меня ждать какой-нибудь новой оказии. И точно, детина подошел, присел на корточки и стал глядеть под мою машину.

— Засосало по выхлопную трубу. На моем драндулете не вытащишь.

И замолчал. Снова высматривает что-то там, под машиной. В эту минуту молчания каждый из нас думал посвоему. Я думал о парне, что он сейчас бросит меня и уедет, что он решил уезжать, но сразу как-то неудобно. Молчит, набирается духу.

— Да, не вытащишь,— обобщил парень свое разглядывание под брюхом машины.— Засосало. Давай сначала подкопаем, накидаем под колеса камней и веток, а тогда уж и дернем.

В грузовике нашлась еще одна лопата. В две лопаты с двух сторон дружно мы начали копать землю. Я заметил, что лопата парня не ищет, где помягче, а лезет под дифер в самые жесткие, в самые трудные места.

Кряк, кряк! — Дзень, дзень! Кхы, кхы! Шлеп! Чмок! Чмок!

— А, гадость! У нас узнаешь, как не даваться!

Шлеп, шлеп!

— Глубже бери, все равно осядет.

Чмок, чмок!

— И когда это будут у нас дороги?

Кряк, кряк!

— Сам-то откуда?

— Колхоз «Власть Советов».

— А зовут как?

— Серегой... Глина, черт ее дери! Из-под каждого колеса надо полкубометра выбрать.

Шмяк, шмяк!

— У нас — не у тетки Пелагеи: за столом не фукнешь.

Чмок! Трах! Серега распрямился, держа в руках обломок черенка лопаты.

— Перестарался маленечко.

— Ладно, мою возьмешь.

— Чепуха! Завтра насажу — будет лучше новой! Перекурим? А то разогрелся я. Видишь, лопата не выдержала. Надо немного охолодать. Я, когда разгорячусь, про силу забываю, хоть в работе, хоть с бабой...

— Женаты?

— Третий год. Девочка народилась. Настя.

— Какое хорошее имя.

— Неуж плохое? По матери. Да вот незадача у меня.

— По работе?

— Не то чтобы по работе, но и не в дому. Видишь ли, я, конечно, могу открыться. Все от своей же глупости. Председатель наш да еще там два бригадира выпили после работы и подрались. Что у них там произошло, не знаю. Завхозу поломали два ребра. Отвезли завхоза в больницу. Ну а я возьми и повесь на магазине бюллетень.

— Какой бюллетень?

— О состоянии здоровья.

— Непонятно... Что же было в том бюллетене?

— Конечно, мне бы не сочинить. Но я нашел старую газету и списал оттуда. Немножко добавил от себя. Пишу: «Бюллетень о состоянии здоровья завхоза Никитина. Пульс такой-то, дыхание такое-то, поломаны два ребра. Сердечная деятельность...» — и так далее. Кнопками приколол к магазину. Оказывается — шум. Приехали из района, не знают, как расценить. Стенная печать? Не подходит. Стали расценивать как листовку. Понимаешь, чем тут запахло?..

— На вид-то вы вроде смирный.

— Нет, я озорник. От этого я не отказываюсь. Но все же, какой я враг? Какой я, к примеру, политический преступник? Не враг же я? Неужели могут за врага сочесть?

— Я думаю, обойдется. Там люди неглупые. Очень

даже неглупые. Разберутся, что к чему. Главное тут — чувство юмора.

— Ну да! Я — чтобы посмеяться, а они — всерьез. Однако давай работать. Хорошо, что у меня запасная лопата есть.

Шмяк, шмяк! Чмок, чмок! Кхы, кхы!

— Ты, пожалуй, бросай лопату да иди на поиски. Камни, бревна, доски — все неси сюда.

Шлеп, шлеп! Кряк, кряк!

— Эх, сударушка, земля-матушка, сколько же тебя перекопано!

Кха, кха! Трах!

— Тьфу! Так-перетак, что за черенки пошли! Эдак-переэдак, нельзя дотронуться,— он уже перелетает!

— Кто насаживал?

— Сам же и насаживал.

— Ты уж ставил бы себе дубовые черенки.

Я отдал Сереге последнюю из наших трех лопат, а сам с фонариком пошел на поиски. Недалеко от дороги среди перепаханного поля островком обнаружилась куча прошлогоднего льна, который выдергать-то выдергали, но почему-то не увезли с поля. Я набрал охапку слепившихся, шибающих гнилью, тяжелых от прели снопиков.

— Хорош! Вали по целой охапке под каждое колесо. Да не так, а поперек.

Серега стал поправлять снопики, брошенные мною как попало, укладывать их рядочком один к одному поперек колеи. Работа наша ладилась. И чем больше и лучше спорилась, тем больше я смущался предстоящим разговором с Сергеем об оплате.

— Под мои колеса тоже по охапке положь. А я еще подкопаю для гарантии.

Сколько времени он потерял из-за меня! Даже неудобно теперь давать ему трешницу. Пожалуй, надо добавить рублик... Одно дело — просто дернуть и вытащить, другое дело — потерять целый вечер.

— Все-таки надо бы и камней. Помнится, недалеко отсюда лежала кучка булыжника. Еще до войны собирались мостить. С тех пор осталось. Пойдем сходим.

Мы пошли за булыжником.

Конечно, теперь он работает не ради этой самой непременной бутылки. Тут и самолюбие, и... ну, может быть, не самодисциплина, а нечто врожденное, перешедшее от деда и прадеда, ну... порядочность, что ли. А главное, пожалуй,

все-таки азарт. Во всяком деле он должен быть, а иначе не сделаешь никакого, самого пустякового дела. И порядочность тоже врожденная... Почти инстинкт.

Давно бы он плюнул не только на одну — и на три бутылки. Не похож ведь на сквалыгу, на жадину, готового радоваться каждому лишнему полтиннику.

— Вот и булыжник. Давай знаешь что... давай в мою стеганку. Ты понесешь за рукава, а я — за полы. Как носилки. В руках-то мы много ли?.. По три камня, больше не унесем.

Грязный, мокрый булыжник мы стали укладывать на исподнюю сторону стеганки.

— Хватит! Не донести.

— Клади, пока рукава не затрещат.

— Как черенки у лопат?

— Не говори... Раз-два — взяли!

Теперь мне надо держать марку. Если он идет хоть бы что, нельзя мне останавливаться через каждые пять шагов, просить отдыха. А он идет да еще и разговаривает:

— А Маруся, моя жена то есть, спать ни за что не ляжет, пока я не приеду. Сидит и ждет. Приеду, тогда уж вместе.

— Значит, любит.

— Почему же меня не любить? — искренне удивился Серега.— Вали сначала все в одну кучу, будем раскладывать.

Говорят, что лучше всего сближает людей дорога. Но это неверно. Не дорога, а работа, делание одного и того же дела — вот что сближает людей по-настоящему и наверняка.

— Она что же, под стать тебе, рослая, Маруся?

— Что ты! Я ее на плечо посажу и унесу хоть на край света. Ну, правда, верткая, поворотливая то есть, и по хозяйству, и в поле, и так... Очень она переживает за мою дурацкую неприятность.

— Обойдется.

— А Настя уродилась три кило шестьсот. Наверно, значит, в меня... Под заднее колесо вон тот плоский камень подложи. Да заткни его покрепче. Не так. Вот как надо его заткнуть. Теперь давай пробовать. Экзамен нашему труду... Пожалуй, попробуем без твоего мотора. А то она опять вниз полезет. И давай так: ты садись за мою баранку, а я твою машину сзади подтолкну, так будет вернее.

Через три минуты обе машины — и его и моя — стояли

на главной колее. Это тоже был не асфальт, и, может быть, скоро опять мне сидеть в грязи. Но пока мы выиграли у дороги наше маленькое сражение.

— Ну вот, а ты говорил! — Серега надел на себя стеганку, отряхнув ее от земли, убрал трос и поломанные лопаты в кузов.— А ты говорил «Не вылезем!». Кто сильнее: человек или дорога?

Давясь словами и покраснев (хорошо, что в темноте), я промямлил, протягивая Сереге бумажку:

— Вот!.. Как договорились. Уговор дороже денег. (В последний момент и четырех рублей мне показалось мало, и я прибавил еще один мятый рубль.) Вот! Без вас мне бы никак...

— Ладно! Не возьму. Вместе работали. Убери. А здорово мы ее, а? Одной земли кубометр вынули. Да покрышечные работы, мощение камнем на участке в четыре метра... Слушай-ка, давай заедем ко мне? Марусю поглядишь, Настеньку... Ты не думай, бутылка у меня найдется. Яблоки моченые с прошлого года держатся. У меня ведь погреб. Спрыснем такое дело, а?

Я ехал вслед за грузовиком и думал, как неожиданно может раскрыться всякий человек, какими неожиданными гранями может он вдруг сверкнуть, если жизнь повернет его так и эдак.

А может быть, и тот прохожий с можжевеловой палкой, рядившийся за три рубля, может, и он, в конце концов, позвал бы меня есть моченые яблоки?

1963

ВАРВАРА ИВАНОВНА

Мы сидели за столом и разговаривали. Все уж было выпито и съедено. На столе пустые стопки, пустая сковорода из-под яичницы, тарелка с остатком зеленого лука и тарелка с хлебом.

За столом, кроме меня, сидели бывший секретарь нашего райкома (еще до укрупнения), а теперь областной работник Кудряшов, новый секретарь райкома (по-теперешнему — парткома) Григорьев, председатель сельсовета Борисов и директор РТС Коровин.

Я признаюсь вам чистосердечно, что первые три фамилии я выдумал, чтобы не было лишнего разговора: выпили-

де по сто граммов под яичницу, а Леонида Константиновича Коровина называю, потому что он-то и рассказал нам маленькую, но примечательную историю, которую хочется передать людям.

И ведь как рассказал! Словно профессиональный литератор. Ничего лишнего, только одни главные детали, как будто пересказал содержание своего, написанного уже им рассказа.

А то что выпили по сто граммов под яичницу, так ведь перед этим целый день мотались на двух «газиках» по колхозным полям, по бригадам: где появились всходы, где нет всходов — весна небывало трудная: с середины апреля установилась летняя тридцатиградусная жара.

А тут еще новый председатель колхоза (молодой зоотехник, 1937 года рождения) наломал дров неуместным административным рвением. Желая укрепить дисциплину, решили на правлении отрезать часть усадьбы у тех, кто не работает в колхозе. У злостных лодырей или там подрабатывающих на стороне оно бы и ладно, а то, как иной раз у нас бывает, перехватили.

Например, дед да баба доживают свой век в покосившейся избушке. Они, пока могли, до последней возможности ходили на колхозную работу,— теперь же больше не в силах. Перевалило за восьмой десяток! Всему есть предел. Ну, сидели бы себе на завалинке да копались бы в своем садишке-огородишке. Небольшой залог, расцветающий в мае купальницами, а в июне — раковыми шейками да ромашками, картофельник за залогом. Оно, правда, за восемьдесят, оно, может, и скоро помирать, но хоть и два года, а жить надо. Нужны старикам и залог, и картофельник, и садишко с огородиком.

И вдруг выходит решение: отобрать половину усадьбы.

— Да как же так, люди добрые! Уж на кончике-то за огородом посеяли мы горстку овсеца, чтобы было что курам дать.

Куда там — не приняли во внимание! Так с посеянным и отчекрыжили. Даже истраченных семян не догадались вернуть.

Или другой случай. Человек-то всю жизнь в Москве прожил, уехал еще в революцию, а не то что злостный беглец из колхоза. Работал в Москве на заводе, отдавал, можно сказать, народу свои силы и уменье. Во время отпуска каждый год — в деревню, где дом у реки и тоже садик за домом.

Выйдя на пенсию, и вовсе уехал на вольные воздуха. Садик между тем получился аккуратный, ухоженный, чистый, грамотный. Не такой, чтобы на продажу, а именно такой, чтобы для своего удовольствия. Сказано ведь великим писателем: пусть каждый посадит на земле хотя бы одно деревце. Пенсионеру и сам бог велел ковыряться в земле и ухаживать за садом.

И вдруг выходит решение: всю усадьбу московского пенсионера вместе с выращенным садом отобрать. Как у нас говорят: отрезать по углы. То есть оставить только ту землю, что находится под домом.

Молодой председатель колхоза ломает дрова — руководителям района в этих «дровах» разбираться. Удивительно ли, что к пяти часам, наездившись по жаре по пыльным полевым дорогам, мы проголодались, и яичница с салом оказалась кстати.

Разговор постепенно перешел на тему прямо-таки философскую. А именно обсуждали, не помню уж в связи с чем, где границы человеческой, допустим, силы или выносливости и может ли человек сам знать эти границы или существуют некие скрытые резервы, о которых и не подозреваешь, но которые вдруг в нужную минуту включатся в дело и все дело вывозят на гору.

Посыпались разные интересные случаи.

— А как же, бывало, на войне (шли из окружения), кажется, еще километр — и смерть. И шагу больше не ступить. Иссякли резервы организма. А немец как шуганет — и еще километров сорок, да почти бегом...

Мне вспомнился феноменальный и очень показательный в этом смысле случай, рассказанный бывшим флотским Мишей Годенко.

У них на эсминце на палубе у глубинной мины вдруг сработал взрывной механизм. Два матроса слышали щелчок и, твердо зная, что через несколько секунд последует взрыв, подхватили мину, перекатили через леера и — за борт! Ухнуло за кормой, когда эсминец уж пронесся мимо. Но гвоздь-то в том, что после, в спокойной обстановке, те же матросы не могли мину приподнять от палубы хотя бы на сантиметр, не то что перебросить через леера. Откуда же взялись силы в нужную роковую секунду?

— Это что! — заговорил вдруг Леонид Константинович Коровин.— Все эти ваши рассказы — пустяки! Вот я знаю случай...— И он рассказал следующее: «Я проверял работу одного колхоза в селе... (он назвал село километров за

двадцать от нашего). После всевозможной канители, как вот и сегодня, пошли к бригадиру, перекусить.

Бригадиром была женщина лет сорока, по имени Татьяна Сергеевна. Дом у нее справный, три окна по улице, перед окном в палисаднике жасмин, как все равно корзина с цветами. Правда, видно, что давно уж до этого жасмина руки не доходят. Сами знаете, что-нибудь одно: либо бригадирствовать в колхозе, либо цветы.

Татьяна Сергеевна прошлый год похоронила мужа. Я уж и не помню, правду сказать, от чего он умер, то есть от какой болезни. Как будто от язвы желудка. А может, и не от язвы: врать не буду, и к делу не относится. Факт тот, что вдова.

В передней горнице просторно, прибрано, половички, цветы в кадушках, ситцевые занавесочки, на образах вышитые полотенца и красная лампадка перед образами.

«Ты это зачем? — напустились мы на нее.— Член правления, член партии, как не стыдно!»

Татьяна Сергеевна показала глазами на тесовую перегородку и говорит, сходя почти на шепот:

«Мама помирает. Просила затеплить. Вчера соборовали».

Я заглянул за перегородку и увидел на кровати старуху, лежащую вытянуто и прямо, как лежат покойники на столе. Даже руки сложены на груди, как у готовой покойницы. Да она с лица и была уже готовая покойница: кожа желтая, щеки ввалились, губы натянуло до синевы, нос востренький, надбровные дуги выступили и прояснились. Про руки говорить нечего: воск и воск. И этот, знаете, серый, пепельный налет на лице. То есть нынче или завтра конец. Недаром же попросила, чтобы соборовали...

«Да, отработала Варвара Ивановна свое,— опечалился я, выходя из-за перегородки к столу.— Сколько ей? Чай, за восемьдесят?»

«Восемьдесят шестой,— подтвердила Татьяна Сергеевна.— Да уж, конечно, отработала. Во-первых, вырастила семерых детей. Две дочери на чужой стороне замужем. Четырех сыновей убило в немецкую войну. Один вот недавно умер (это, значит, про своего мужа). Да после убитых сыновей детишки остались — их надо было на ноги поднять. Теперь кто где: и во Владимире, на тракторном заводе, и в Москве один, инженером. Выросли и глаз не кажут. Отрезанные куски...

А вы думаете, такая чистота в доме от меня? Да когда

мне, колхозному бригадиру, за чистотой в доме следить! От зари до зари на ногах да на нервах. Так что и чистота в доме — все от нее. Да трое моих ребятишек. Младшему — два с половиной, старшему — шесть. А куда денешься, жизнь...

Четвертого дня слегла. Сразу как-то перелом произошел. Три дня — и готово. Догорает, как свеча. Вот вы меня ругаете, почему я допустила лампаду и соборование. А как я могла запретить, если это за все ее восемьдесят пять лет последняя и единственная воля, последнее на земле желание? Нет уж, мы — одно, а старики — другое. Пусть уходят, как им кажется лучше. Как им, с их темной точки зрения, кажется по-людски, по-человечески».

Тут мы заметили, что говорим о Варваре Ивановне как о совсем умершей, а она ведь пока жива. И, может быть, даже слышит наш громкий разговор, только вставить уж ничего не может. Мы спохватились, стали говорить тише, а потом и вовсе переменили тему разговора.

Пока ужинали, побывали в горнице и трое ребятишек Татьяны Сергеевны. Старший, Сережа — шестилетний сероглазый мальчик с соломенными волосенками — был уж приучен здороваться с посторонними людьми. Четырехлетняя Маша в продувной рубашонке, круглолицая, розовощекая крепышка, вся перепачкалась в киселе из смородины. Вовочка, по третьему году, тотчас вскарабкался к матери на колени и пальцем стал показывать на еду. Все босенькие, но незапущенные. Видно, что были в хороших женских руках. А если и подзапустились самую малость, так разве за последние четыре дня.

Бригадира мы должны были вызвать в район на совещание. Но, видя, что у нее в доме почти покойник, сказали, чтобы она не ездила. Хлопот будет много: похороны, поминки, по деревенскому обычаю. И переживание: хоть и старый, отживший свое человек, а жаль...

На другой день совещались мы в райкоме, как вдруг секретарша вызывает меня к телефону. Звонят из колхоза, где ужинали: бригадира Татьяну Сергеевну вечером убило наповал куском металла, отлетевшего из силосорезки. Надо ехать на место, разобраться. Да и как было не поехать! Потрясло, и не укладывалось в голове, чтобы наша Татьяна Сергеевна, видная, сорокалетняя, сильная, выносливая,— и вдруг мертва. Можно сказать, лучший бригадир в нашей зоне.

Захватив врача, поехал в колхоз «Победа». Силосная

яма у них на въезде в село, так что мы сразу и увидели происшедшее.

Впрочем, что мы увидели? Лежит поверх изрубленной на силос кукурузы наша Татьяна Сергеевна. В стеганке, в мужских кожаных сапогах. Лежит ничком, лицо подвернуло на сторону. Висок пробит железным осколком. Руки в земле, как полагается бригадиру. Глядеть, собственно, нечего. Уж целую ночь пролежала здесь, на силосе. Положили в кузов, чтобы отвезти в больницу на вскрытие.

Надо бы и мне возвращаться в район, но вдруг встала перед глазами вчерашняя картина: старуха, почти покойница, и трое ребятишек мал мала меньше.

«Они-то как? Они-то как?!» — пронзила меня неожиданная мысль. Пустая изба. Покойница и трое ребятишек. Воображение почему-то твердо подсказывало мне, что уж обязательно покойница и трое сироток возле мертвой бабки. А может, залезли со страху под лавку, под стол и сидят.

Я завел свой «газик» и на третьей скорости — в село, в дальний конец села, где стоит желтый дом с тремя окнами по улице и с копной одичавшего жасмина в стареньком палисаднике.

Затормозил. Взбегаю на крыльцо — и чуть не обмер с испугу: навстречу мне Варвара Ивановна на своих ногах и с ведром. По воду.

«Да разве ты не умерла?!» — не удержалось у меня на языке. Не могло удержаться, настолько был уверен.

«А их куда? — озабоченно кивнула Варвара Ивановна назад в избу, где, видимо, сидели ее внучата.— Ну умру я, ладно. А их кто будет обихаживать, если остались круглыми сиротами? Уж, видно, некогда мне, старухе, помирать. Не время».

Поверите или нет, три года прошло с тех пор, а она все живет, отсобórованная, совсем было уж преставившаяся русская женщина Варвара Ивановна. Живет — и некогда ей помирать. Но откуда берутся силы?..»

1963

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Случалось ли вам встать однажды с постели раньше обыкновенного и встретить самое раннее утро не в доме, а где-нибудь у реки или в лесу? Значит, вам хорошо знакомо чувство раскаяния, запоздалого сожаления, что все предыдущие утра (сколько тысяч их было!) вы беззаботно и безвозвратно проспали. Проспали самое лучшее, что так просто и легко дарила вам жизнь.

Именно чувство раскаяния я и должен отметить прежде всего, а потом уж восторг, и певучесть в душе, и легкость, и радость оттого, что вот это-то утро все-таки не пропало даром.

Утро было матово-сиреневое, как будто мир освещали невидимые, хорошо замаскированные фонари с фарфоровыми сиреневыми абажурами. Сиреневыми были снега, расстилающиеся безгранично во все стороны, сиреневым был иней на березах (сиреневатые березовые стволы), сиреневыми были облака — там, где должно было с минуты на минуту показаться солнце. Я не удивился бы, если бы из-за снегов выплыл в небо сиреневый солнечный шар. Но, вопреки возможному, солнце вышло ярко-красное, и все в мире порозовело, покраснело: щелкнули выключателем, и зажегся другой фонарь, теперь уже с багровым абажуром.

Мороз был градусам к двадцати. В носу пощипывало при каждом глубоком вдохе.

Не знаю, как на других, а на меня нападает иногда некое восторженное состояние, когда мне мало просто дышать и наслаждаться дыша, но хотелось бы еще чего-то, какого-то более полного соприкосновения с окружающим.

Обычно такое восторженное состояние приходит ко мне в теплый летний вечер. Но вот и теперь, морозным, все более разгорающимся утром, я услышал в себе это редкое, но знакомое чувство.

Интересно, а *он* тоже чувствует сегодня что-нибудь особенное или ему все равно, какое утро: лишь бы сытно поесть и спрятаться в укромное место? Или и у него может быть восторг от такого необыкновенного утра? И предчувствует ли он неминуемое, что нависло над ним, предчувствует ли судьбу свою? А судьба его — мы!

Только на миг показалось мне нелепым в такое утро выходить на убийство. Впрочем, скорее всего, проходим попусту. Из нас пятерых — ни одного порядочного охотника, так себе, любители районного масштаба. Пошли же потому, во-первых, что давно собирались, что получили, во-вторых, долгожданную лицензию на отстрел одного лося и что охота, в-третьих, представлялась простой и короткой. Увидим, выстрелим, как если бы в корову,— и конец.

Впереди — вкусное жаркое. Выпьем в компании, поговорим, пошутим, посмеемся. Как еще можно лучшим образом провести выходной день в маленьком районном поселке?

Я не охотник, а рыболов. Сколько раз говорили мне, что я не охотник только до первого выстрела. Как убеждали меня, что я не охотник единственно по неведению. Однако и охотником, значит, нужно родиться.

У меня есть отличный малокалиберный карабин, из которого я попадаю в ромашку, в еловую шишку, в кувшинку, десятикопеечную монету на таком расстоянии, на каком попадание зависит от стрелка, а не от оружия. Несколько раз я выходил со своим оружием в лес (стрелять я очень люблю) и приносил на жаркое то жирных, отъевшихся на рябине дроздов, то дикого голубя, то тетерку. Как чутко я ни прислушивался к себе после каждой охоты, но — увы! — никакого охотничьего азарта, горения, трепета не удалось мне уловить в моем неотзывчивом, значит, на охоту сердце.

Сегодня вот. правда, немножко зацепило. Может быть, тому способствовали особенно тщательные коллективные сборы и приготовления. Эти жаканы, эта картечь, эти острые охотничьи ножи. Ну, и необыкновенность дичи — все-таки лось, а не дикий голубь.

Признаться ли вам, что я никогда не видел лося на свободе, как зверя, а не как пленника зоопарка. Впрочем, не помню, видел ли я его даже в зоопарке, там обычно глазеешь на тигров, барсов и бегемотов. К вольеру с лосями лень пройти лишних пять — десять шагов.

Теперь мне предстояло не только увидеть, но и убить

этого зверя, убить в лесу, по всем правилам охоты, по праву человека с ружьем, хозяина земли, распорядителя над природой, по крайней мере считающегося таковым.

Хотя, если раздуматься, почему бы птицам, например, которых, конечно же, больше на земле, чем людей (сто миллиардов штук), не считать, что планета Земля предназначена главным образом для них? Почему бы классу насекомых (триста тысяч видов), всем этим комарам, муравьям, жукам и бабочкам, не считать себя основными обитателями планеты, а остальных существующими для их, комариного и муравьиного, удобства? Мало того, может быть, некая смертоносная бацилла возьмет в конце концов верх над всеми иными формами жизни и останется господствовать на земле одна. Правда, некому тогда будет любоваться таким вот зимним морозным утром, снегами, окрашенными зарей, небом, до головокружения зовущим в свою беспредельную голубизну. Горд человек, называющий сам себя царем природы.

Вот идет впереди меня работник милиции Манечкин. Рядом с ним директор текстильной фабрики Сыромятин. Сзади поспешают рядком, дымя на ходу папиросами, еще два «царя» — шофер директора Быков и бухгалтер Краснов. Я работаю в районе... Впрочем, это вовсе не обязательно. Меня пригласили, я и пошел.

Постепенно дорога сужается, мы вытягиваемся в цепочку, гуськом заходим в заиндевелый — не дрогнет, не шелохнется — лес.

Наша охотничья тактика проста и надежна. Нужно идти по лесу, пока не нападем на свежий, ночной след лося. Тогда мы разделимся и пойдем вправо и влево от следа, образуя клещи. Если мы сойдемся снова на лосином следу, значит, клещи щелкнули вхолостую — зверь пошел дальше. Если же сойдемся на чистом месте и никто из нас не пересечет лосиного следа, значит, *он* стоит где-нибудь внутри круга. На охоте мы не говорим ни «лось», ни «зверь», но единственно «*он*». Кажется, то же бывает и на других охотах на крупного зверя.

Когда мы твердо будем знать, что *он* недалеко здесь в лесу, мы встанем по номерам, а кто-нибудь из нас вспугнет *его,* чтобы *он* решился выйти из окружения. Задача облегчалась тем, что в наших местах перелески — островки среди белоснежного моря. Легко будет проследить, где *он* вошел в лесок, и удостовериться, что не вышел.

Мы пошли вдоль опушки леса и вскоре действительно

наткнулись на след. Частые глубокие ямы в снегу, или, лучше сказать, дыры, тянулись через поле из осинового леска в наш березнячок. Переставляя ноги, лось глубоко чертил по снегу. След был как широкая взрыхленная борозда.

— Может, вчерашний,— высказал робкое предположение бухгалтер Краснов. Он запыхался от ходьбы, раскраснелся при его пятидесяти годах и, видимо, желает теперь, чтобы все на этом и кончилось. Прогулялись, проветрились — и хорошо.

— «Вчерашний»,— передразнил бухгалтера директорский шофер.— У охотника должен быть глаз. Видишь, он задел за куст орешника. Инея на кусте нет. А иней выпал когда? Сегодня. Значит, он шел недавно, когда иней уже лежал. Шел и стряхнул его с куста. Вот почему куст оказался без инея. Да что, братцы, дело верное. Может, он пять минут назад прошел. Сдается мне, что около куста еще поблескивает, еще держится в воздухе кристаллическая пыльца,— Быков самодовольно щегольнул ученым словечком.

Командовал нами Манечкин. Он живо распорядился, кому обходить лесок справа, кому — слева, а меня оставил на месте, на случай, если *он* захотел бы уйти по своему же собственному следу.

— На самом-то следу не стой, все же зверь, встань за дерево, в двадцати шагах. Из-за дерева будешь бить.

Первые четверть часа моего стояния на номере я думал о том, что лучше бы здесь остаться бухгалтеру. Он был бы рад отдохнуть. Но, значит, так уж распорядилась судьба. Возражать Манечкину я не мог, подумали бы, что боюсь оставаться на следу. И вообще на охоте, как на войне, не перечат.

Потом мне стали вспоминаться разные случаи, как лоси-подранки набрасывались на людей и будто бы насквозь пробивали их своим копытом. Одному будто бы снесло череп, так что отлетел в сторону. Другого охотника лось загнал на дерево и держал там, пока бедняга не замерз.

Я поискал глазами и не нашел поблизости подходящего дерева, на которое можно было забраться: стояли вокруг гладкоствольные березы да еще орешник в виде подлеска.

А то был случай, что лось упал и не двигался. Охотник подошел к нему, чтобы освежевать. И тут задняя нога лося, может быть в агонии, нанесла удар. Охотник отлетел на десять шагов. Впрочем, уж не охотник, а труп охотника.

Потом, как обрывки смутного, заспанного сна, стали мне вспоминаться разрозненные картинки из книги, прочитанной в глубоком детстве. Книга была про гордого сильного лося, который жил отшельником, всегда один. И как у него был среди трясинных болот недосягаемый островок, на котором он спасался, и как он схватился однажды с огромным деревенским быком и победил его. И как охотник изо всех сил стремился выследить и убить необыкновенного зверя.

Писатель сделал этого лося, так сказать, личностью, выделил из толпы, из всех остальных существующих на земле лосей. И вот он уж дорог, близок мне. Не то что убить самому — другим помешал бы, по возможности, поднять руку.

А тот, что сейчас выйдет из лесу как раз на твое ружье?

Этого я не знаю. Этот из толпы. Этот рядовой, безымянный, неинтересный. Мало ли их убивают каждую зиму.

А он между тем шел. Сначала я услышал, как встряхнулся ореховый куст, потом послышалось шастанье снега, потом шумное и ритмичное, как если бы автоматические мехи, дыханье.

Розоватый пар курился около морды зверя. Характерный вздыбленный хребет быка задел за нависший куст орешника, и розоватый пар дыханья слился с розоватой оседающей пылью, такой же тонкой и такой же легкой, как пар.

Я заметил, что стою не дыша и что мои ноги как все равно не мои, а чужие.

И то, что в первый раз я увидел настоящего матерого лося, и то, что впервые придется убить огромное живое существо, и то, что это было красиво, как он шел через заиндевевший лес,— все это заставило меня потерять понапрасну три или четыре секунды. Значит, целиться я стал суетливо и торопливо. Из-за неуклюжей зимней одежды приклад ружья не впаивался, не влипал в плечо, как я привык при стрельбе из своего карабина. Мушка и прорезь, которые я лихорадочно ловил глазом, оказались тоже непривычными — прорезь слишком мелка, отлога и широка, а мушка — низенькая и маленькая.

Нескольких секунд промедления хватило, чтобы лось миновал мою линию, и я, поймав на мушку заднюю часть быка, решил, что сюда стрелять бесполезно, перевел скорей на голову и выпалил пониже уха. Бык мотнул головой, кажется, даже рыкнул или хыкнул, сделал прыжок и, не

оглянувшись, пошел дальше. Тогда я выпалил еще раз вдогонку, целясь куда попало, после чего зверь вломился в мелкие кустики, мелькнул два раза хребтом поверх них и скрылся из глаз.

Стрелял я, значит, все-таки механически и бессознательно, если не бросился сразу по следу, в кусты, перезаряжая на ходу ружье, а стоял раскрыв рот, с пустым ружьем, переживая посетившее меня сказочное видение. Царь лесов гордо и достойно (не оглянувшись, черт возьми!) проплыл в розоватой дымке, и вот уж нет ничего. Я не удивился бы даже, если бы не оказалось на снегу никаких следов, а оказалось бы все вот именно розоватой дымкой.

Но следы были. Мало того, с места, где зверь мотнул головой, на снегу обильно набрызгано алой, яркой-преяркой кровью. А с того места, где я выпалил из второго ствола, правые ямки следов тоже перепачканы красным. Так и пошло с этого места — кровь в следу и округлые — как накидано вишенья — брызги по сторонам.

Сбежавшиеся охотники определили точно: ранен в голову и правую ногу,— скорее, в заднюю. Нужно преследовать — далеко не уйдет.

Мы рванулись по следу чуть ли не бегом (снег был еще неглубок в эту пору, особенно в чистом поле) и так добежали до низких кустиков. Нам казалось, что вот тут он и лежит,— как только раздвинем кусты, сразу и увидим. Но кустики пришлось пройти насквозь, снова открылось поле. Кровавый след пересекал его, уводя в седой от инея, но все-таки черный по сравнению с березняком ельник.

— Нет, ребята, так не годится,— скомандовал запыхавшийся не меньше нас всех Манечкин.— Предстоит длительная погоня. Не торопясь. Тут, брат, на терпении — кто кого! Он обязательно где-нибудь ляжет. Не может не лечь. Я его очень хорошо знаю.

Началась самая длинная и самая скучная часть нашей охоты. Первоначальная горячность прошла. Начинала сказываться усталость, первые признаки усталости, которые, конечно, проходят, забываются на длинном пути.

Если бы нам сказали сразу, что придется брести по снежной белизне двадцать пять километров до самого вечера, то, может быть, мы, кто знает, плюнули бы на все (уж бухгалтер-то во всяком случае плюнул бы!), но мы ничего не знали, кроме того, что нужно идти вперед.

Манечкин, как заправский следопыт, сообщил:

— Видите — снег на ходу хватал. Выдыхается. И розовая пена с губы. Дойдет.

— Дерсу Узала,— шутил о Манечкине начитанный директорский шофер.

Хорошо еще, что не упрекали меня за мои, в общем-то крайне неудачные, выстрелы. Манечкин, шедший впереди всех, радостно закричал:

— Ага, вон он... Лежал... Ничего... Мы его дожмем! Тут, брат, на терпении, кто кого перетерпит.

Под развесистой елкой розовая, в красных пятнах, лежка зверя. И тут он, лежа, хватал губами снег, отдыхал, минуту ли, пять ли минут — кто знает! Постепенно, с усталостью, мне становилось все жальче и жальче лося. Такой гордый, такой красивый, такой свободный — и в таком обреченном, унизительном положении. Обернулся бы, что ли! Бросился бы навстречу врагам. Конечно, мы бы его добили наверняка. И так, наверно, добьем. Лучше бы ему погибнуть в затуманенном яростном исступлении. Но, значит, он исполнял какой-то лесной лосиный закон. Может быть, один из главных законов в лосиной жизни. Закон этот мудр. Он велит ему уходить все дальше и дальше.

Понял я также всю жуть, весь ужас медленной, уверенной погони. Своим чередом проходит зимний день. Небо заволокло ровной серенькой пеленой. Скоро начнет потихонечку смеркаться — велик ли день в декабре! К четырем часам пополудни опускается сумеречная темнота. А мы все идем и идем. Если бы мы бежали в порыве и азарте, давно бы выдохлись и прекратили погоню. Но мы не бежим. Мы — хитрее, опытнее, злее лося. Мы идем не торопясь, отдыхаем иногда на пеньках, счистив с них шапки снега, перекуриваем. Шофер либо Манечкин успевают рассказать какой-нибудь анекдот, после которого рассказчик хохочет, а остальные говорят многозначительно: «М-да, бывает! Кто только сочиняет эти анекдоты!»

Мы не торопимся, и в этом весь ужас для преследуемого зверя. Уже три раза ложился он отдыхать, и все короче расстояние между его остановками. Может быть, он надеется выиграть время до темноты? Напрасный труд. Завтра мы начнем погоню с вечернего места, и снова будет у нас в распоряжении целый зимний день. Снова ему идти и терять кровь. Впрочем, скорее всего, он сдохнет ночью. Да нет, почему же? Хватит и этого дня. Немножко поднажмем и догоним.

Пятый раз ложился лось отдыхать и прошел от четвер-

той лежки каких-нибудь полтора километра. Манечкин дал знак идти осторожнее и молча. Зверь близко. Может броситься из-за кустов в смертельном отчаянии, хоть на одном ненавистном ему двуногом враге отыграться всласть, распоров как железным плугом.

И правда, зверь начал ложиться через каждые сто шагов. Не успеет прилечь — шаги и голоса. Нужно снова подниматься на странно ослабевшие, чужие ноги и хотя бы ползком, хотя бы на брюхе уходить, уходить, уходить.

— Лежит! — шепнул нам наш вожак, хотя мы и сами увидели (дело было в редком сосновом лесу), что он лежит, завалившись на бок, изогнув тяжелую шею, смотрит на нас, и подходящих, и боящихся подходить.

— Истек! Давайте, ребята,— от сосны к сосне, веером. С сорока шагов, если подпустит, будем бить!

Мне хотелось поглядеть ему в глаза. Интересно, что я увидел бы в них: безысходную усталость и тоску, мольбу либо огненную, кровавую ненависть вместе с болью и злостью бессилия? Но лось смотрел не на меня, а на Манечкина. Может быть, инстинктивно чуял главного своего врага. Может быть, потому, что Манечкин был к нему шагов на пять ближе, чем остальные. Подойдя, как нам показалось, на сорок шагов, мы начали беспорядочно палить в лежащего зверя. После первого выстрела он встрепенулся, встал на колени, но снова рухнул, теперь уж на другой бок, мордой в нашу сторону.

С десяти шагов (помня охотничьи рассказы) мы для гарантии выстрелили еще по разу. Туша не дрогнула. Пытка, растянувшаяся для него на целый зимний день, кончилась. Теперь у него нигде ничего не болит.

Первым делом мы осмотрели старые раны — результат моей пальбы. Один комок свинца задел основание рога — отсюда и брызги, крупные, как зрелое вишенье. Вторым выстрелом я перебил ему заднюю ногу. Значит, двадцать пять километров он шел на трех ногах? Вероятно ли? Может ли выдержать такую пробежку какое-либо живое существо? Значит, может.

Манечкин, директор и шофер с ножами начали хлопотать около туши. Мы с бухгалтером, уставшие больше других, присели поодаль.

- Ничего попался воробушек,— приговаривали мясники.— Тридцать пудов, не меньше. А башка, башка-то — что твой овин!

— Телега, а не башка. Жалко, окровенилась вся, заскорузла.

— Отмоется, ни черта!

— Знаете что, друзья, а ведь мы напрасно с ним сейчас возиться будем.

— Как так?!

— Начинает темнеть. Ушли мы далеко и устали. Местность я узнаю́. Это мы недалеко от Митрофановой сторожки. Значит, я предлагаю вырезать у него печенку и идти к Митрофану. Через час, много через полтора будем на месте, в тепле и за столом. Печенку изжарим, остальное найдется.

— А быка куда же? Оставить волкам?

— Какие тут волки. До завтра, может, обойдется. Завтра найдем лошадь, подберем. Сами посудите, не унести нам тридцать пудов на своих плечах. Волки не волки, а положение безвыходное. Печенка же парная — лучшее лакомство для усталого человека.

...В избушке у лесника Митрофана натоплено до духоты. Сам он не ложился еще спать — куском вара навощал дратву до прочной глянцевой черноты. С приходом гостей смахнул с лавки в фанерный ящик обрезки войлока, шильце, сапожный ножик и прочее. Задвинул ящик под лавку, туда же убрал низкий стульчик-кадушку с натянутой для сиденья сыромятной кожей. Видно было, что он рад гостям, гости для него — разнообразие в лесной жизни, кроме того, парная лосиная печень — повод выпить.

На шестке русской печи под таганом ярко разгорелась березовая лучина, смолевая еловая щепа.

Кромсая печенку на крупные бесформенные куски, Митрофан шмякал ее на огромную сковороду. После каждого нового куска раздавался треск, шип, шкворчание. Дым от горелого масла на мгновение обволакивал сковороду. Митрофан отстранял, отворачивал лицо, боясь едучего дыма, а еще больше масляных брызг.

Как предвкушали мы тысячу раз, пока брели через зимний день, эту вот драгоценную минуту, когда тепло и не нужно идти по целине, а на столе свежее жаркое из печени, и есть что выпить, и за столом добродушные веселые люди и незамысловатые их истории. Но ведь и обстановка и жизнь тут сами ясны и незамысловаты.

Манечкин (уж командовать, так до конца!) разлил по стаканам зеленую вонючую водку, добавив от души:

— Архангельский сучок, мать его так и разэдак. Ну да

с морозу и с устатку все пройдет. Со счастливой охотой, удачей и добычей вас, дорогие охотнички! Выпьем, как говорится, на крови!

Странно, но ни счастья, ни удачи, ни малейшего удовлетворения я не услышал в себе при этих словах. Кажется, и другие тоже остались равнодушны. Да оно и понятно: смертельная усталость одолела нас.

Пили на голодные желудки. Удивительно ли, что со звериной жадностью набросились на горячую, дымящуюся еду. Ели торопливо: спеша насытиться. Обжигаясь куском, катали его во рту с боку на бок, гоняли взад-назад во рту воздух, чтобы остудить нестерпимо горячий кусок. И, как всегда бывает после длительного голодания, неожиданно быстро и безрадостно насытились.

Для аппетита выпили еще по стакану. Но еда шла все туже. Глаза наши посоловели, потеряли человеческую выразительность и блеск. Вилки двигались все медленнее, языки не ворочались,— казалось, мы засыпаем за столом.

Директор фабрики неожиданно громко рыгнул и, зажимая рот ладонью, побежал к двери.

— Не жевал,— пояснил нам Манечкин.— Глотал кусками. И вино, значит, не привилось. Сучок — он сучок и есть.— И вдруг сам начал потихоньку бледнеть, прислушиваясь к происходящему внутри себя и как бы ненароком отодвигая стул, освобождая себе дорогу.

Меня тоже начало мутить, и я вышел на воздух.

В мире стояла звездная, лунная, сказочная тишина. Лес был затоплен лунным светом, как водоросли — хрустальной аквариумной водой. На крыльцо избушки падала тень от огромной замшелой ели. Оттого что сам я стоял в тени, вселенная казалась еще голубее и ярче. А оттого что время от времени похрустывало в лесу, еще прозрачнее казалась подлунная тишина.

1964

КУВШИНКА

С. К.

Она удивилась, что я приехал в Москву в неурочное время — в самый разгар лета, в середине моих студенческих каникул. Я сказал ей, что убежал из деревни из-за слишком хорошей, прямо-таки отличной погоды.

— Как же так? — еще больше удивилась она.— Обыкновенно убегают от дождя, от ненастья.

Мне хотелось рассказать ей все по порядку. Но никакого порядка в моей растревоженной любовью душе не было. Видел ли я косогорчик, украшенный лиловыми звездочками диких гвоздичек,— мне казалось, что если бы она очутилась сейчас здесь, рядом со мной, то не было бы в моей жизни мгновения счастливей и лучше. Сидел ли я над тихим предвечерним омутком, с яркими желтыми кувшинками,— представлялось, что если бы и она тоже сидела здесь и молчала вместе со мной... Да нет, не может быть на земле такого счастья, такой огромной, такой великой радости, только разве в мечте или сказке.

К тому же установились теплые, тихие, осиянно-лунные ночи. В общем-то, когда видишь какую-нибудь великую красоту, хочется, чтобы рядом были другие люди, чтобы они тоже видели и наслаждались. Мне хотелось разделять мою радость, мои тихие одинокие ликования не просто с людьми, а с любимой девушкой. Я не мог больше один жить среди летней цветочной, лунной, ландышевой, прозрачно-речной, рассветно-росистой красоты. Я нисколько не преувеличивал и ничего не выдумывал, говоря ей, что сбежал в Москву от слишком хорошей погоды. В ненастье мне, наверное, было бы легче.

Я пытался нарисовать ей картину.

— Представляешь, кругом холмы. Они загораживают горизонт и даже половину неба. Я — в чаше. По краям на чистом небе вырисовываются травинки. Самой луны не видно за краем холма, но вся моя чаша полна лунным светом, волшебно-зеленоватой влагой. Представляешь?

Она кивала головой и говорила, что представляет.

— Или будешь купаться в омуте, поплывешь вдоль него, видишь — зеркало, чистейшее неподвижное зеркало. В нем, конечно, и синее небо, и белые, как лебеди, облака, и сосновый лесок... Но когда плывешь и смотришь вскользь — ничего этого не видно. Просто зеркало. Вместо рамки у него яркие листья и цветы кувшинок. Представляешь? И вот, когда плывешь, особенно сладко разрезать плечом именно такую неподвижную зеркальную гладь. Если бы рябь и волны — уже не то. На листьях и цветах кувшинок — синие стрекозы. А сначала, когда тихо подойдешь к омуту и заглянешь, раздвинув ветки ольхи, увидишь, как между водяными стеблями плавают красноперые рыбки. Представляешь? Если ж во время купанья пошарить под берегом, то обязательно вытащишь рака...

— И ты мог бы поймать мне живого рака?

— Неужели не мог бы? Сколько хочешь.

Когда я рассказывал, передо мной явственно возникали то безмолвные холмы, то зеркальный омут, то кипящая цветами и пчелами лесная поляна. Но больше всего в моих рассказах участвовала река. Может быть, потому что стояли летние жаркие дни, может быть, просто потому, что я больше всего люблю реки. Тихое зеркало омута, которое разбиваешь вдребезги, прыгнув вниз головой с травянистого ласкового бережка; хрустальная влага, которая струится вдоль тела, омывая и охлаждая каждую клеточку кожи; рыбий всплеск на вечерней заре; туманы, расползающиеся от реки на прибрежные луга; пряные запахи в зарослях крапивы, таволги и мяты, когда устроишься в укромном уголке,— и уж дрогнул и пошел вкось под широкий глянцевый лист красный с беленьким поплавок.

Река — особенный мир, с таинственной тенью под кустами, нависшими над водой, с веселым журчанием воды по камушкам, с луговыми цветами, смотрящимися в нее.

Все: и подлунные холмы, и темно-красные клеверные поля, и влажные лесные тропинки, и закатное пышное небо — весь окружающий меня мир казался мне прекрасным, и не было никакого изъяна в нем. Теперь, когда вдали от него я вдохновенно рассказывал и восторженно живописал, он казался мне еще прекраснее, еще сказочнее. Он виделся мне прекрасным до сладкого замирания в груди. Рассветные туманы представлялись — обязательно розовыми, плавающие среди водорослей рыбки — золотыми, с красными перьями, роса на травах — то крупный жемчуг, то бриллианты, вода — чистейший хрусталь, любая дорожка — в заповедную сказку.

Валерия — так звали девушку, от тоски по которой я сбежал из деревни в Москву,— слушала меня, мечтательно глядя перед собой, как будто нет в пяти шагах от глаз оклеенной обоями стены, а вот именно темно-розовые клевера да еще васильки в едва-едва зазолотевшей ржи. Неожиданно Валерия предложила:

— А почему бы мне не поехать и не посмотреть на все эти прелести природы? Я смогу найти в вашей деревне угол, чтобы жить? Сдают же, вероятно, дачникам?

— Дачников не бывает в нашей местности — слишком далеко от Москвы. Но... у тети Дуни или у тети Поли...

Из широкого шкафа друг за дружкой, как у фокусника, полетели на середину комнаты всевозможные платьишки, купальники, тапочки, косынки, сарафанишки. Пышная

груда разноцветных тряпок каким-то чудом поместилась в небольшой чемоданчик. Валерия огляделась по сторонам, взяла чемоданчик в руки: «Я готова».

Я не мог опомниться от столь скоропостижного претворения сказки в жизнь. Валерия едет в наши места! Валерия будет купаться в Барском омуте! Валерию я увижу на фоне черных зубцов заречного леса либо на фоне седого от тяжелой росы, но и сиреневого от цветения трав предпокосного луга.

Я не мог, не успел еще опомниться от нахлынувшего счастья, а уж дальний рейсовый автобус увозил нас все дальше от Москвы. Я больше всего рассказывал Валерии о реке,— значит, и ее мысли теперь, естественно, все время возвращались к реке.

— Ты знаешь,— говорила она, усаживаясь поудобнее, поглубже в приоткинутое автобусное кресло,— я ведь пловчиха. Я очень люблю плавать. В этом году мне еще не приходилось. Теперь я надеюсь отвести душу.

— Ну... Я тоже люблю. Поплаваем.

— А ты сколько часов обычно держишься на воде? Я, например, уплываю в море на три-четыре часа. Однажды меня забрали пограничники, думали, что я собираюсь уплыть в Турцию. Вот чудаки, не правда ли? А однажды я заплыла на камни, едва выступающие из воды. Берега почти не было видно в дымке. Через камни во время шторма перекатывается вода. Теперь она стояла в камнях, как в тарелке. Ты представляешь, как ее прогрело южное солнце? Несколько крупных рыбин едва шевелились в перегретой воде. Я брала их в руки и выпускала в прохладное море. Оно, конечно, тоже было теплое, но по сравнению с этой водой... А берег едва виднелся. И это было очень здорово. А ты сколько часов обычно держишься на воде?

— Часов? Я не знаю, не пробовал. Прыгнешь в омут вниз головой, доплывешь до того берега, поплаваешь вдоль, сорвешь кувшинку...

— Но все же, пока доплывешь до того берега и обратно, проходит какое-то время? Полчаса или сорок минут?..

— Видишь ли, Валерия, ты, наверное, неправильно представляешь. У нас в деревне маленькая река, а не такая, чтобы плыть полчаса поперек или хотя бы туда-обратно.

— Но все же какая? Примерно с эту?

Мы проезжали по мосту через реку, которая могла бы считаться гигантской по сравнению с нашей. Правда, не было у этой реки ни таволги, ни кувшинок, ни ласковости.

Черная, с масляными разводами, ядовитая, видимо, вода, в черных же, пропитавшихся маслом или, может быть, иными ядами берегах. Но ширина... Валерия спрашивала про ширину.

Я промолчал в ответ, тем более что грязная черная река промелькнула и тотчас осталась позади. Но Валерия правильно поняла мое молчание. Когда показалась на пути другая река, в пять или шесть раз полноводнее нашей, если взять нашу в самом широком месте, девушка воскликнула удивленно и вопросительно:

— Ну какая же? Я надеюсь, что она чуть-чуть побольше вот этого жалкого ручейка.

Я опять не ответил, и остальную часть пути Валерия уже не требовала от меня никаких сравнений. Она рассказывала о разных своих путешествиях. Но даже эти ее рассказы били теперь в одну точку. Точка была больная. Я теперь с ужасом думал, как я впервые подведу Валерию к нашей речке. От берега до берега метров десять. Когда я сильно оттолкнусь и нырну вниз головой, то, если загрести под водой два или три раза и вынырнуть поотложе, как раз окажешься около осоки того, уж противоположного берега. А она спрашивает, сколько времени нужно плыть туда и обратно. Полчаса или минут сорок? Четыре секунды — вот сколько нужно плыть. Ну правда, если вдоль омута, то, пожалуй, наберется метров пятьдесят или шестьдесят. Разве недостаточно, чтобы хорошо освежиться и поплавать, разве обязательно уплывать от берега на три часа? Освежился и сиди себе на бережке, наблюдай за стрекозами, за верхоплавками. Хочешь, кидай верхоплавкам мух. Несколько мгновений муха барахтается, рябя и морщиня светлую неподвижную воду. Потом вдруг всплеск, мелькнул хвостик рыбешки, и снова успокаивается темноватая гладь. Разве неинтересно? При воспоминании мне опять начинала казаться уютной и милой наша речка, но тут я взглядывал на нее глазами моей спутницы («Я надеюсь, что она чуть-чуть побольше вот этого жалкого ручейка»), и красота вдруг потухала, меркла, как если бы выключали некий волшебный свет. Прекрасный прозрачный омут со свежими кувшинками превращался в илистое болотце, в лужу. Ну, конечно, купаться там можно только одному человеку; если вдвоем, то сразу вместе. Иначе нужно ждать, когда осядет и протечет поднятая купаньем муть, когда снова просветлеет вода до той чистоты, чтобы стоять по шейку в воде и явственно видеть дно и ноги.

Ну ладно. Зато ей непременно понравится наша круча. Да, на кручу, пожалуй, главная моя надежда.

В одном месте, поперек течения речки, поднимается высокий, округлый холм. Речонка не из гордых, не из горных, не то чтобы пробить себе ущелье, смиренно повернула направо, огибая зеленую громаду холма. Однако правду говорят, что и капля камень долбит. Из года в год, особенно во время весенних паводков, речка подмывает подножие холма. Обнажились красная глина, пески и камешки. Дальше — больше, дальше — больше, поднялся над речкой причудливый песчано-глинистый обрыв, во всю высоту холма, словно отрезали ножом от огромного каравая.

Местами на обрыве зацепились сосенки, местами зашумела листвой ольха, местами по-прежнему чистый обнаженный песочек. Когда мы были мальчишками, не было для нас более интересного места, чем эта круча. По мягким песчаным осыпям, как бы текущим вниз между глинистых складок, мы спрыгивали гигантскими, захватывающими дух прыжками. Соревнование состояло в том, кто меньше потратит прыжков от верху до низу. Да и без соревнования, ради самого восторга полета, стоило снова и снова карабкаться наверх, к месту, откуда начинались наши прыжки. Так как круча действительно крута, то каждый прыжок получался и вдаль и вниз (более вниз, чем вдаль). После каждого приземления некоторое время плывешь вместе с песком, стронутым с места, а потом уж снова прыгаешь. То-то сладко!

Местами образовались вертикальные плотные стены. Здесь новый спорт, вроде уж альпинизм. Острыми палочками мы выковыривали в песке печурки, чтобы становиться ногами и было бы за что ухватиться. По печуркам взбирались все выше и выше, пока можно было взяться за обнаженные корни сосны, свисающие желтыми, длинными веревками. Потом уцепишься за дерн, за траву, за сосновый сучок и окажешься на мягком прохладном мху. Над кручей сосновый перелесочек. Играли на круче и в партизан и в гражданскую войну, а позже я полюбил сюда ходить один. Выберешь местечко поукромней, сядешь и слушаешь, как ласково, успокаивая и утишая всякую боль и обиду, журчит, разговаривает у подножия кручи речная вода. В этом месте она бежит по камешкам, оттого и возникает ее прозрачная хрустальная песенка.

Стоит ли говорить, что, сидя там в одиночестве, я тотчас

же умер бы от счастья, если бы рядом со мной могла сидеть и слушать невинное лепетание воды она, любимая моя москвичка Валерия. Так неужели именно она едет теперь со мной в автобусе и уже завтра, уже сегодня вечером мы можем вместе оказаться на кру...

— Ты знаешь,— беззаботно рассказывала между тем Валерия,— я однажды отдыхала по путевке в альпинистском лагере на Тянь-Шане. Ты не представляешь, какая это прелесть, какое чудо. Сначала нас учили простейшей технике: как подниматься по травяному склону, как преодолевать каменную осыпь, как залезать на скалы. Потом дело дошло до снегов.

— И высокие были эти... скалы и каменные осыпи?

— Очень высоко нас не пускали. Все больше мы паслись в пределах трех-четырех тысяч метров над уровнем... Но посмотришь вниз: грузовик на дороге не больше зеленого лягушонка. Внизу горная река, превратившаяся в серебряную ниточку. Но шум ее все равно наполняет окрестности. Бурные там реки, гремят камнями.

Передо мной возникла нарисованная Валерией картина гор, потом я перекинул взгляд на нашу бедную кручу, посмотрел на нее глазами Валерии, вобравшими уже в себя затуманенные просторы Тянь-Шаня, и окончательно и трезво понял, что на меня надвигается катастрофа.

Глаза Валерии стали как бы моими собственными глазами, и вот, на что бы я ни взглядывал этими новыми глазами, все тускнело, теряло живые краски, гасло, превращалось из очаровательного дремучего леса в захламленный, неприбранный перелесок, из былинного лада холмов в глинистые, истоптанные скотиной пригорки.

Но кувшинки-то, кувшинки-то должны все равно понравиться. Цветок есть цветок. К тому же на реке встречаются большие заросли кувшинок. В одном месте собирается до сорока, до пятидесяти, может быть, даже до ста желтых ярких цветков. Этакие желтые хороводы в десять — двадцать метров в длину и ширину.

Я вскользь упомянул о кувшинках, дожидаясь восторженного отношения к ним со стороны Валерии. И точно, она оживилась, и точно, начала восторженно вспоминать, но только не о желтых кувшинках, а о белых лилиях.

— Ты знаешь, однажды я плавала в лодке по старому руслу какой-то реки на Украине. Заплыли в такое место, что плыть дальше было нельзя, кроме как по ковру из белых, душистых лилий. Представляешь? Мы плывем, за

нами черный след, а вокруг белые, белые лилии. С желтеньким в середине. Это было как в сказке. Я в детстве часто представляла себя Дюймовочкой среди белых лилий. Так вот здесь я почувствовала себя в детской сказке. И от этого было еще красивей.

— Ну какие такие ковры, сколько шагов в длину или ширину?

Валерия рассмеялась.

— Ты ничего не представляешь. Я говорю тебе, что мы плыли, понимаешь, плыли, может быть, полчаса, может быть, час по бесконечным зарослям лилий.

Так померкли, погасли, словно трепетные огоньки, мои кувшинки, мои кувшиночьи хороводы (двадцать метров в длину), все, все гасло теперь, на что ни взглянешь.

За долгую дорогу о чем только не поговоришь. Валерия похвасталась, что где-то в донских степях, под каким-то хутором Веселым (чтобы никогда ему не было весело!), она видела, как при ней колхозники наловили и отправили на аэродром восемьсот килограммов раков, почти тонну. Была телеграмма из Москвы: доставить к такому-то часу. Наверно, какой-нибудь правительственный заказ. Раки были, как омары, огромные, глазастые, с широкими длинными хвостами.

Мне представилось, как я из тинистого берега, сам перепачкавшись в тине, с трудом вытаскиваю ей из норы жалкого рачонка с оторванной клешней (ну пусть хоть и взрослого рака), и горькая обида неизвестно за что и на кого подкатилась к горлу.

Меркло и гасло все. Живописный плетень, опутанный вьюном и лиловыми колокольчиками,— всего лишь покосившийся плетень. И крапивы вокруг него больше, чем вьюна. Да еще горькие-прегорькие лопухи. Лава через речку, та, что для меня верх живописности, уюта, интимности,— всего-то лишь еловое бревно. Ну пусть белая тропинка извивается к ней среди зеленой травы, ну пусть ольховые деревья наклонились к поручню... Бревно — оно и есть бревно, если даже перекинешь его с бережка на бережок нашей шустренькой (да что в ней шустрого) речки.

Некоторое время я размышлял над тем, как бы расстроить всю эту неожиданную затею. Из человека счастливого тем, что Валерия едет в нашу деревню, я вдруг превратился в человека несчастного по той же самой причине. Но расстроить затею было никак нельзя. Разве что поссориться

и разъехаться в разные стороны. Но тогда уж навсегда, безвозвратно. Я и вообще-то не мог бы никогда и ни с кем поссориться по искусственному заданию. Тем более с ней. Положение оказалось безвыходным.

Валерия как будто догадывалась о моем состоянии. Иногда она взглядывала на меня сбоку и, должно быть, усмехалась в душе моей растерянности, угрюмости, всему моему откровенно несчастному виду.

Между тем всему наступает конец, должна была окончиться и наша дорога. Последние километры мы ехали в грузовике стоя и держась за кабину.

Дорога подходит к нашей деревне с самой неинтересной стороны: ровное поле, справа вдали черная полоска леса, впереди изо ржи выглядывают какие-то кустики. Тем не менее я ревниво следил за лицом Валерии, стараясь угадать, как она смотрит на всю округу. Но угадать было ничего нельзя. Валерия откинула голову на ветру, прищурила глаза против ветра, да так и ехала.

В окончательно расстроенных чувствах, наспех, я помог Валерии определиться на квартиру к одинокой старушке, тете Дарье, а сам скорей пошел домой. Не то чтобы соскучился по дому, но мне хотелось наконец остаться одному. И чтобы как можно позже начался позор, когда высокая, красивая, все повидавшая Валерия встанет на берегу нашей речки и насмешливо скажет: «Ну показывай свою хваленую реку. Я надеюсь, речь шла не об этом жалком ручейке. А где же мы будем плавать?»

Расставаясь у тети Дарьи, я сказал, что не то мне нездоровится, не то устал с дороги. В общем, встретимся не раньше чем завтра. Валерия опять посмотрела на меня и ничего не сказала: завтра так завтра.

Втайне я надеялся, что, может быть, она одна успеет посмотреть наши окрестности, оценить все их, теперь-то очевидное для меня, убожество и, может быть, даже догадается тайком уехать. Я понимал, что это было бы ужасно. Но все остальное мне казалось хуже, ужаснее, тяжелее.

Остаток этого дня и весь другой день я постыдно прятался, избегал Валерии. Правда, я видел ее несколько раз издали. Однажды ее голубое платье мелькнуло далеко за рекой, во ржи, на тропинке в лесу; однажды она несла ведро воды от колодца. Кроме того, мне рассказал соседский мальчишка Шурка, что тети Дарьину дачницу они, мальчишки, видели у тети Дарьи в саду, она стояла на табуретке и обрывала вишенье.

Весь день я вроде бы делал какие-то свои дела, на самом же деле время шло как во сне. С наступлением сумерек воровато я вышел из сада на залог, воровато сбежал в овраг, по оврагу добрался до реки, а там холмы, мои укромные уголки, где и днем меня бы никто не нашел, не то что ночью, хотя бы и сияла луна.

Когда я остался один среди молчаливых холмов под темным, но все-таки прозрачным небом, привольно раскинувшись на спине, когда звезды заиграли надо мной, мне стало как-то спокойнее. На мгновение показалось даже, не придумал ли я все мои мучения и несчастье. Я почувствовал на время, что они призрачны перед лицом этого звездного молчания. Но мысль о том, что Валерия все же поблизости, в деревне, и что все это, в сущности, нелепо, вновь обожгла меня, и меркли звезды.

Из-за бугра поднялась луна. Сначала показался темно-красный краешек раскаленного медного старинного пятака, потом выплыл и весь пятак, огромный, с припухшими от своей темно-красной раскаленности краями. Былинки на холме расчертили его так и сяк. Поднимаясь кверху в прохладное звездное небо, он все уменьшался, все бледнел, все прозрачнел — не то остывал, не то отстаивалась хлопьями горячечно-красная муть,— пока наконец окрестности не залило (неверно, что зеленоватым, неверно, что голубым, неверно, что желто-зеленым) непереводимым на язык земных цветов лунным светом. В полнейшем безмолвии покатился через огромное небо лунный диск, чудилась за его плавным полетом легчайшая, неземная музыка, родившаяся ниоткуда, кроме как из самой лунности.

Черная тень упала на мои глаза. Я мгновенно вскочил и увидел Валерию. Конечно, нарочно она загородила луну, чтобы сказаться, но оттого, что луна загораживалась ею, дрожало и лучилось вокруг нее сказочное сияние.

— Ну вот, я знала, что ты именно здесь. Как здоровье? А я провела чудесный день. Во-первых, рано утром я ходила купаться. Знаешь, там, где поворачивает река, а на горе сосновый лесочек. Это было непередаваемо. Ни одно морское купание не приносило мне столько свежести. А шла я до реки босиком по холодной росе. Потом я помогала тете Даше обрывать вишенье. Первый раз в жизни обрывала вишенье. Представляешь? Потом ходила за речку в луга, насобирала огромный букет полевых цветов. Такое разнообразие, а вместе с тем... такой именно... букет! Я видела,

как растут и цветут дикие маки в Средней Азии. Это, конечно, потрясающе. Даже с самолета видны огненные пятна, как будто постелили к подножию гор ковры. Но такого разнообразия цветов, таких нежнейших оттенков я себе никогда не представляла.

Она уселась рядом со мной. Я смотрел на нее и думал, искренне она хвалит или поняла, что со мной происходит, и теперь из вежливости, из такта... как-никак студентка театрального института. Что ей стоит сыграть роль девушки, пришедшей в восторг от утреннего купания. Но ведь то, о чем она рассказывала, действительно прекрасно — и купание, и полевые цветы, и вишенье у тети Дарьи...

— А как ты узнала, что я здесь?

— Ты мне говорил про свои любимые места. Я была и на круче.

Ее голова давно уже лежала на моем плече, и мы молчали. Постепенно меня стал волновать какой-то как будто знакомый (как далекое воспоминание), несильный, но свежий запах. Я подумал, что, может быть, новые духи. Но нет, не похоже, а вместе с тем так близко и явственно.

— Ты мыла голову чем-то очень душистым?

— Что? Нет, я не мыла голову. А! Так это же, наверно, кувшинка.

Действительно, в ее тяжелых волосах спрятался золотой цветок.

— Я воткнула ее еще днем. Да так и забыла. А что, действительно пахнет?

После долгой, но легкой тишины Валерия заговорила:

— Чудак. Чего испугался? Может ли не очаровать такая вот ночь, такая тишина среди трав и звезд. А если не очарует, значит, виноват уж сам человек, пустышка и последняя дрянь. Чудак. Усомнился в могуществе природы. Обязательно ли бескрайний океан и тонны цветов? Когда цветов тонны, то это уже не цветы, а силос. А если один цветок? А если одна-единственная травинка? Так что же, она уже не прекрасна?

И еще после некоторого молчания:

— Как видишь, нам из целой реки, в сущности из целого мира, понадобилась одна-единственная кувшинка.

1964

ПОМИНКИ

В двенадцать часов воскресного дня, когда я собрался прогуляться к реке поглядеть, не подняло ли зимний лед, к нам прискочила Шура Тореева.

— У тети Агаши поминки по Ивану Дмитриевичу. Просила вас прийти. Что ей сказать?

— Скажи, сейчас придем.

— Тогда поскорее, все уж пришли, сидят.

У тети Агаши самый плохонький домик из всего села. У нас в селе, можно сказать, нет плохих домов. Где были похуже — подрубили, обновили, покрасили. Сейчас если лежат перед домом свежие бревна, то это уж на баню. Некоторые берутся за палисадники.

Домик тети Агаши тоже был когда-то новым, справным, ровным. Жили в нем всегда только двое: Иван Дмитриевич, поминать которого нам сегодня предстояло, и тетя Агаша. Детей у них никогда не было. Отсутствие лишних ртов, бережливость и трудолюбие — вот почему в доме Ивана Дмитриевича водились самые белые пышки и пироги. Запасов белой, даже желтоватой, «единоличной» муки им хватило чуть ли не до войны.

Домик постепенно ветшал и одним углом врастал в землю. Но старились и его жители. Много раз говорили старичкам: пора подрубать, задавит. Но Иван Дмитриевич и тетя Агаша точно рассчитали, что на их век хватит.

Сам Иван Дмитриевич много лет работал ночным сторожем: ночью ходил по селу и через каждый час звонил в колокольчик около пожарницы. Сначала старик носил берданку, которая, впрочем, вряд ли была заряжена, а потом стал бродить просто с палкой.

Не могу сказать, был ли Иван Дмитриевич добрым человеком, потому что ничего ни разу не пришлось мне у него просить. Но то, что он был безобидным стариком, подтвердит любой житель села. Свои семьдесят пять лет он ухитрился прожить так, что не обидел ни одно живое существо на свете, не то что человека.

Будучи мальчишкой, я залез однажды к Ивану Дмитриевичу в сад за вишеньем. Наевшись черных, надклеванных воробьями ягод, я стал пробираться к лазейке, через которую влез. У лазейки с палкой стоял хозяин сада. Он ждал меня, улыбаясь в свои рыжие, коротко подстриженные усы.

— Ну что, попался? С собой-то много ли нарвал?

Совсем не нарвал? Молодец. В другой раз приходи, ешь, только с собой не бери.

Проходя мимо Ивана Дмитриевича, я все же опасался подвоха: не огреет ли палкой. Не огрел. Больше я не лазил к нему за вишеньем.

Последние годы Иван Дмитриевич сторожил не село, а одну только церковь. Он же топил в церкви печь, подметал, зажигал свечи. Весной прибирал возле церкви мусор.

Но церковь закрыли. В ней разместился колхозный склад. Вместо икон и медной утвари появились мешки овса, гороха, комбикорма, ящики с гвоздями, туши мяса, коровьи головы, ноги. Вместо ладана и горящего воска пахло перестоявшейся солониной.

Деятельность Ивана Дмитриевича переключилась на сельский наш магазин. Он тоже там безвозмездно и бескорыстно подметал, помогал продавщице разбирать товары из ящиков, но больше сидел на мешке с солью.

Целый день в магазине народ, разговоры. Старику не скучно. Если бы последить из окна, за день Иван Дмитриевич раз двадцать продвигает валенками в галошах от магазина к дому и обратно. Расстояние шагов семьдесят, не больше, но так день и пройдет.

Старики в нашем селе умирают все больше в восьмидесятилетнем возрасте и почему-то чаще зимой. Проживешь зиму в Москве, приедешь в апреле в деревню, и кажется чудно, что Сергей Васильевич Бакланихин, допустим, больше не попадается навстречу где-нибудь на тропинке. Так за последние три зимы умерли Иван Васильевич Кунин, Сергей Васильевич и Кузьма Васильевич Бакланихины, тетка Марья Бакланихина — все за восемьдесят, а Олена Грыбова так и за девяносто.

В селе не говорят вслух, но все про себя знают, чья примерно очередь умирать, кто сейчас самый старый и самый слабый житель. Вот почему смерть семидесятипятилетнего Ивана Дмитриевича всех удивила. Говорили, качая головами: «Поторопился. Очередь была не его».

Умер он в одночасье. С утра болела голова. Пришел из магазина и повалился. Онемели ноги, отнялся язык. Правда, еще целые сутки дышал, но не очнулся хотя бы и на минуту.

Это все произошло в начале февраля. По прошествии сорока дней осиротевшая тетя Агаша устроила поминки.

Теперь нужно рассказать, почему пришла за нами именно Шура Тореева.

Во-первых, Тореевы — соседи тети Агаши, но это еще не вся причина. То, что Сергей Тореев очень порядочный (хотя и не без слабостей) человек, само по себе, вероятно, ничего не решало бы. Нашлись бы в селе и еще порядочные мужики. Тем более что Тореев (или, как все у нас говорят, Торев) не наш олепинский мужик, но пришел «во двор». Теперь-то, конечно, никто не считает его чужим. Весь дом по нему стал называться не Московкиным, а Торевым. Подрастающие поколения, наверно, не знают, что Сергей пришлый. Но Иван-то Дмитриевич за семьдесят пять лет мог бы воспитать в себе симпатии к кому-нибудь и постарше. Значит, был еще один, главный, решающий случай.

Тетя Агаша взяла в сберкассе на какие-то нужды восемьдесят пять рублей. Тугим сверточком в платочке положила в какой-то там юбочный потайной карман, приплюхала домой. Через некоторое время к ней пришла Шура Тореева.

— Ну, сказывай, чего потеряла?

— Ничего не теряла.

— Догадайся, чего потеряла, а то не отдам,— смеялась Шура.

Тетя Агаша щупает сквозь юбки свой карман, а в открытую посмотреть не хочет: не любят у нас на чужих глазах деньги считать. Шура наконец сжалилась, подала ей сверточек — восемьдесят пять рублей — по деревне деньги не малые.

Иван Дмитриевич с тех пор стал твердить:

— Слушай, старуха, я раньше тебя помру...

— Полно тебе, молчи уж. Я вон какая старая, едва хожу, а ты хоть бы что...

— Не перечь, а слушай. Я раньше тебя помру. Значит, наказываю: держись за Торева.

Вскоре стало известно, что Иван Дмитриевич отписал на Торевых и свою покосившуюся избушку, и то, что было накоплено за долгую и тихую жизнь,— восемьсот рублей. С тем, однако, отписал условием, чтобы как следует похоронить тетю Агашу, когда она умрет.

— Ишь ты, как получилось. Теперь и рассуди,— говорили впоследствии где-нибудь у колодца.— Не пожалела, вернула находку, восемьдесят рублей, тоже ведь не восемь копеек. Ан через это нашла — восемьсот. Теперь и рассуди.

Тореевы, с первого дня, с самых Иван-Дмитриевичевых похорон, взяли тетю Агашу под свою опеку. Вот почему именно Шура Тореева пришла звать на поминки.

Мы пошли.

Мало того что сам дом был весь перекошен: и завалинка, и окна, и крыша, и труба, даже лавочка перед домом, но и внутри, оказывается, у него перекосились каждый порожек, каждая планочка. По кривому крылечку мы, протиснувшись в кривую наружную дверь, прошли в кривые сени, потом оказались в еще более кривом коридорчике, а потом уж, низко наклонившись, шагнули в горницу.

Как ни странно, горенка в этом домишке, где все криво, оказалась прямой и ровной. Буквой «Т», но не вплотную друг к другу, поставлены два стола. За передним, поперечным столом ко времени нашего прихода сидело семеро мужиков. Значит, я должен был сесть восьмым, да еще пришел вскоре председатель колхоза.

За продольным столом, ближе к дверям, сидели женщины. И за тем и за другим столом потеснились, прогремели табуретками и стульями, мы уселись.

Единственная причина, из-за которой иногда не хочется идти в гости в тот или иной деревенский дом,— водка. И хорошо бы отдать честь, поговорить по душам, но как вспомнишь...

Кроме того, я узнал о завещании Ивана Дмитриевича, в котором он просил свою старуху собрать на поминки мужиков и напоить, «чтобы уводили под руки».

На столе стояла следующая еда: селедка с луком и маслом, студень, яйца, крупнорубленные, облитые сметаной, открытые консервные банки с сайрой, консервы в томате, печенье и мед. Без меда не бывает ни одних поминок.

Усевшись, мы прежде всего съели по ложке меда — полагается по обычаю.

— Ну что же, мужики, теперь вроде бы все собрались, помянем...

— Не чокаться, мужики, не чокаться. На поминках не полагается.

Если бы кто-нибудь не видел происходящего, а только слышал, то он по этому возгласу: «Не чокаться, мужики, не полагается» — точно подсчитал бы, сколько раз поднимались от стола тяжелые граненые стаканы.

Велик ли обычай — не чокаться,— но сразу все как-то притихли, сразу все поняли важность происходящего. Не чокнувшись, выпили и закусили.

— А ведь как помер-то,— доносилось с женского стола. Это значит, вновь пришедшей рассказывают все подробности, как именно Иван Дмитриевич помирал.— Голова,

говорит, разламывается. Я говорю, полежи, Ваня. Приляг, пройдет. Сразу, сразу послушался, прилег. Потом как крикнет: «Баба!» Я к нему. А он уж только глядит.

— Как помер-то, а? Такую смерть за деньги не купишь.

— Не купишь, милочка, не купишь.

— Кабы такую смерть бог послал...

— Не говори, милочка, не говори.

У нас за столом тянулась своя ниточка.

— А ведь очередь-то, мужики, была не его.

— Нет, не его.

— Она, брат, очередь не признает. Бывает, вроде и молодой и на вид и так, а смотришь, и нет.

— Известно, скрипучее дерево дольше стоит.

— Вон хоть теперь соседа твоего возьми. Алкоголик? Алкоголик...

— Ну, давайте, мужики. Не чокаться, не чокаться, не полагается.

— Я и говорю. Сосед твой алкоголик? Алкоголик.

— Чего говорить? Запоями страдает всю жизнь.

— А сколько лет?

— Восемьдесят два.

— То-то и оно.

— Постойте, постойте, мужики, я вас спрошу, вино пить вредно?

Это в разговор вступил останинский мужик Николай, по прозванию «Румяный». Он всю жизнь держит пасеку. А так как пасек мало сейчас в наших местах, а мед дорог, то, конечно, живет он крепенько и себе на уме. Рассуждает степенно, не торопясь, не просто болтает языком, в чем можно будет сейчас же убедиться. Лицо у него, действительно, всю жизнь было румяное, красное, как помидор. Краснота и сейчас еще проглядывает сквозь старческую дубленую желтизну. Ходит он теперь согнувшись и все жалуется, что гора, которую ему приходится преодолевать по дороге в наше село, делается все длиннее и круче.

— Нет, я спрашиваю, вино пить вредно?

— Это... Вопрос, как и сколько?

— Нет, но все-таки много пить вредно?

— Ну, вредно.

— Одеколон пить вредно?

— Неуж. Какая тут польза — одеколон?

— Денатурат пить вредно?

Все начали догадываться, к чему клонит Николай

Михайлович, но не перебивали столь стройную систему вопросов.

— А политуру пить вредно?

— Что говорить, известно — политура.

— Древние говорили: «Memento mori». То есть помни о смерти,— неожиданно врезался председатель колхоза, приезжий для нас человек, окончивший в Иванове сельхозвуз.

— А что, мужики, давайте, только не чокаться.

— Неужели чокаться? Не полагается.

— Значит, и политуру пить вредно?

— Куда...

— А пудру пить вредно?

— Пудру?!

— Очень просто. Разводят ее водой, отцеживают.

— Значит, все вредно? — обвел нас взглядом торжествующего победителя Николай Румяный.— Значит, долго не проживешь?

— Да уж куда с пудры-то.

— Так, так,— продлевал свой триумф Николай Михайлович,— а Макушкин?

Мы были сражены, повержены в прах, уничтожены. Макушкин из соседней деревни действительно всю жизнь таскал в кармане пузырек с какой-то дрянью и пил из него время от времени. Отхлебывал через каждые полчаса. Денатурат считался деликатесом. Умер Макушкин восьмидесяти с чем-то лет.

— Да! Долго подводил, но подвел. А что, Николай Михайлович, деньжонок ты, знаем, накопил, а золота, поди, нету?

— Приходи с шапкой, насыплю.

— Мужики, а кто мне объяснит, зачем это нужно золото, ну хоть государству, и что в нем есть, и как, и к чему?

— А как же, чудак человек, чай, золото...

— Вот я и спрашиваю, что в нем есть и зачем оно, к какому делу? У нас, например, у колхозников, его нет, а живем.

— Древние говорили: «Homo hominis lupus est». То есть человек человеку — волк. Но для нас эт-то не годится,— отрезал председатель колхоза.

Все взгляды обернулись ко мне в надежде, что москвич-то уж растолкует, но заместитель председателя колхоза Александр Павлович взял эту роль на себя.

— Рассуди. Мы покупаем у американцев, они покупа-

ют у нас. Можно и без денег. Они нам машину, мы им лесу или водки...

— Неуж у них своей водки нету?

— Значит, против нашей не устоит.

— А что, мужики, давайте, только не чокаться...

— И вот получается так, что мы у них взяли товару на сто рублей, они у нас на пятнадцать. Не сходится. Разницу покрываем золотом.

— А... Ишь какая механика. А правда ли, мужики, что мы позапрошлый год целую тонну золота за хлеб отвалили?

— Загнул.

— Не может быть.

— А я слышал — сто тонн.

— Хоть бы и сто.

— И как же это так получается, чтобы Россия хлеб покупала.

— У тебя надо спросить. Ты колхозник. Ты его производишь.

— Почему же у них лишний хлеб оказался? Народу, значит, меньше?

— У них урожай.

— А что, мужики, давайте вспомянем. Очень уж мужик был хорош. Только не чокаться, не чокаться.

— Дай бог ему царство небесное.

Николай Румяный снова взял разговор в свои руки:

— Вот ты скажи... Если тебя начнешь обижать, ты обидишься?

— Ну как же. Кого хочешь разозлить можно. Какая корова, и то, если разозлить, рогом ткнет.

— Так. А Иван Митрич был какой?

— Да...

— Ты его убижай...— Нужно заметить, что это «убижай» очень характерно для нашего владимирского говора. Безударное «о» в начале слова слышится как чистое «у»: угород, убязательно, угурец.— Нет, ты его убижай, убижай, нарочно убижай, а он... не убижается! Вот какой был человек.

Начались воспоминания об Иване Дмитриевиче. Мне вспомнились теплые июльские ночи моих студенческих лет, когда я приезжал в село на каникулы. Каждую ночь в два часа Иван Дмитриевич стучал палкой в мое окно и неизменно с одной и той же точнейшей интонацией тянул: «Вова, вставай!»

Я с вечера просил, чтобы он будил меня в этот час на

рыбалку. Встанешь, зари еще нет. Едва-едва начинает брезжить. Земля на тропинке сухая, припыленная, а по сторонам на травах тяжелая, как горох, роса. Особенная сладость — успеть прийти на реку, пока не развиднелось. Точно знаешь, что не прозевал ничего и все, что должно быть, все пока впереди. Если даже и нет клева, все равно не будет думаться, что, наверно, он был на самой ранней заре. Вот она, самая ранняя заря, только еще разгорается за холмом. Еще белым туманом курится тихая черная вода, еще не прилетел самый первый рассветный ветерок, чтобы поколебать туман и сморщить водное чистое зеркало.

До сих пор у меня в ушах стоит певучая фраза: «Вова, вставай!» Теперь все это далеко и безвозвратно не потому, что умер Иван Дмитриевич и никто уж не крикнет: «Вова, вставай!» — так именно, как кричал покойник. Но потому, что если и встанешь, не слышишь в себе того молодого азарта и трепета, той удивительной радости при виде каждой росинки, каждого румяного облачка, на глазах угасающей, последней голубоватой звезды. Неужели не будет никогда больше этого слова «вставай» и всего, что шло потом за этим добрым предутренним зовом?

— Мужики, мне слово, хочу рассказать про Ивана Митрича! — воскликнул один из поминальщиков. К этому времени стаканы начали делать свое дело. Трудно было одному человеку привлечь к себе всеобщее внимание. И говорили и слушали все сразу, однако тут утихомирились.— Мужики, я вам расскажу. Эх, какой человек был. Еду я из Черкутина с ярманки. Тогда еще ярманки были. Гляжу, сидит на траве Иван Митрич. Какой он был человек, вы сами знаете.

— Неуж.

— Не то что кого, зверя за всю жизнь не обидел.

— Человек-то? Ты его убижай, нарошно убижай...

— Да. Сидит он, значит, на траве и просит отвезти его домой. Я, говорит, тебе меру овса дам, только отвези. Ладно. Привез я его домой, а на телеге, пока вез, его разобрало. Выбегает тут тетя Агаша с поленом, как начала его...

— Стой, стой, это ты не дело. Мы не для этого собрались. Нельзя.

Рассказчик сконфузился, умолк и сел.

— Древние говорили: о мертвых или говори хорошо, или не говори совсем.

Тогда вскочил бригадир Василий Михайлович:

— Давайте я случай расскажу. Пошел я по селу

наряжать на собрание. А меня на этом собрании хотели снимать. Он и говорит...— Тут у рассказчика перехватило в горле от воспоминаний, а на глаза навернулись слезы.— Он и говорит: «Я приду. Только можно ли я выступлю за тебя...» — Стакан задрожал у нашего бригадира.— Эх! Вот какой это был человек.

— Не чокаться, мужики, не полагается.

Вдруг относительно тихую, во всяком случае, мирную нашу трапезу нарушил обиженный громкий возглас, усиленный ударом кулака по столу.

— Это, значит, что же? Бригадир говорит — у него правда. А я говорю — неправда? Нет, я всю правду рассказал, и насчет ярманки, и меры овса... Да я за свою правду... А! Вот оно что? Если я говорю — садись, неправда. А бригадир говорит — правда? Пустите меня. Да я за свою правду!..

Может, и дошло бы до потасовки, потому что очень велико и яростно было стремление отстоять свою правду, но ради поминок кое-как успокоились.

Чтобы разрядить обстановку, затеяли разговор о смешном случае, который был всем известен, кроме меня. Все смеялись, вспоминая, лишь я не знал, что к чему. Председатель, сидевший слева от меня, начал рассказывать:

— Человека этого ты знаешь. Человек хороший.— Он назвал мужика из соседней деревни.— Должно быть, с приятелем они зашли в ресторан «Веник»...

Для меня это было ново. Но я сразу догадался, о чем идет речь.

Покупая в магазине водку, оглядываются питоки, думают, где бы можно было в тепле присесть, чтобы стакан и стол и можно было положить луковицу либо поставить банку с консервами. Я не думаю, чтобы одинокая пожилая женщина, Веруха, сама пригласила первую партию. Какнибудь получилось безыскусственно, но в то же время и неизбежно. Механизаторы, шоферы, колхозники захотят — тотчас идут со своим питьем к Верухе, где безошибочно находят все, что им нужно: относительное тепло, стол, стаканы, краюху хлеба и даже воду, если понадобится запить. Не последнее дело и способность поговорить со стороны хозяйки. Тут нет сусального: пожалуйста, проходите, гости милые. Тут все проще.

— Что, опять приперлись? И ты тут (на кого-нибудь в отдельности). Мало тебя жена в четверг лупила? Нальют бельмы-то, себя не помнят.

После такого вступления гости чувствуют себя как-то непринужденнее. Шутят, пьют, тут же, бывает, и подерутся, тут же под лавкой и отсыпаются в случае перебора. Хозяйке этой своеобразной корчмы остаются после всех баталий порожние бутылки — единственная ее корысть. Эту импровизированную корчму, оказывается, и зовут в деревне рестораном «Веник».

Итак, герой приключения, о котором начал рассказывать председатель, побывал у Верухи. По дороге к себе в деревню он решил разыграть комедию. Начал кататься по снегу и кричать: «Батюшки, батюшки!» В деревне было услышано. Жена собрала соседей, подхватила салазки, побежала на помощь. Видят, человек схватился за живот, идти не может, не может даже и встать. Но человек большой и тяжелый, а салазки маленькие. На этом месте больше всего смеялись за нашим столом. Оказывается, плечи детины уместились на салазках, длинные же ноги его несли на весу, на каждую ногу по человеку. Дружно несли с крутой горы, потом в гору. Нужно было переехать реку. Потрудились немало. Притворщику вовремя все свести бы на шутку, пока еще не очень намучились. Но он крепился до самого дома. Это время у него ушло на сочинение частушки. Около крыльца он исполнил свое новое произведение:

В поле вьюга, в поле вьюга,
Белая метелица.
Меня к дому привезли,
А мне и не верится.

Все, кто прибежал к нему на помощь, на выручку, рассердились. Один даже плюнул на салазки. Проказник, как говорится, переиграл. У меня тоже невольно сорвалось, что нельзя, мол, играть на доверии, это, мол, последнее дело. Председатель спохватился, начал всячески хвалить незадачливого шутника. А что хвалить, я и сам знаю, что человек он вполне хороший. Никакой древнеримской поговорки, правда, к этому случаю у председателя не подобралось.

За столом между тем кипели страсти. Наступал тот самый миг, о котором так мечтал покойный Иван Дмитриевич, завещая насчет поминок: пора было всех нас разводить под руки по домам.

Александр Иванович (человек слишком сложный, чтобы о нем можно было сказать в двух словах) встал и сумел создать полную тишину.

— Товарищи,— сказал он, заметно покачиваясь,— что мы делаем? Шумим, смеемся, можно сказать, зубоскалим. А зачем мы пришли? Я предлагаю... Бабы, и вас касается... Я предлагаю вам встать и почтить молчанием.

Деревенские люди не приучены к торжественности. Почти у всех заблестели слезы.

— Так, почтили. А теперь я предлагаю... Здесь председатель колхоза, здесь заместитель, здесь бригадир. Я предлагаю, не сходя с места, постановить: устроить на могиле Ивана Митрича оградку и провести тете Агаше свет.

— Оградку, когда растает и обсохнет, почему же не сделать.

— Как, мужики, со светом? Поручим Сергею Торееву, чтобы взял в свои руки, договорился с монтером и чтобы в двухдневный срок...

Правдоискатель, которому давеча не дали говорить, тотчас оказался в оппозиции.

— А! Когда умер — свет, а почему же раньше, при жизни?

— Да сиди ты, Иван Митрич сам не хотел электрического света.

— Значит, постановили. В двухдневный срок...

Бригадир поднял руку:

— Я вот еще что предлагаю. Поскольку тут с нами, так сказать... по телевизору и все такое... Пусть он опишет. Немного. Заметочку. Все, как у нас было... И все хорошо... Помянули... И все в порядке... И отнесет в журнал или газету.

— Два дня ему мало. Завтрашний день на опохмелку.

— Пущай хоть неделю.

— Ладно. Запомним. Если свет проведете, то и я напишу.

Оказалось, что свет тете Агаше провели именно в двухдневный срок. Мне ничего не оставалось делать, кроме как сесть за стол и открыть чернильницу. Хорошо ли я выполнил поручение, судить не мне. Я старался быть добросовестным.

1964

ВЫВОДОК

Прямо перед моим окном заброшенная крестьянская усадьба. Домишко, правда, пока уцелел и даже не заколочен. Но весь он покосился, обветшал, вот-вот развалится.

Уцелел же он потому, что сосед приспособил его вместо сарайчика, держит там либо сенцо, либо сушеные картофельные плети, либо что придется.

Заброшенные усадьбы сразу зарастают крапивой, бурьяном и лебедой. Бурьян ведь символическое обозначение запустения и заброшенности. Недавно я шел через деревню Крутово. Из пятнадцати домов, стоявших некогда длинной цепочкой по косогору, осталось два, на концах бывшей деревни. Между ними в строгом порядке зеленые жирные острова крапивы. По этим островам, среди мелкой травки, можно сосчитать, сколько раньше было домов.

Там, откуда ушел человек, принимаются почему-то не мальвы, не ромашки, не колокольчики, не купальницы, не даже васильки, а вот именно бурьян да крапива.

Подойдя к окну, я увидел, как из крапивы стремглав выскочил соседский кот. Пулей он пронесся к ветле и непостижимо молниеносно очутился на самой верхушке дремучего, престарелого дерева. А из крапивы — почудилось — высунулась на неуловимое мгновение ощеренная звериная мордочка. В страхе беглеца было что-то уж очень паническое. Кот не просто убегал от другого, победившего в драке кота, с которым можно при случае схлестнуться снова, но спасал жизнь. Должно быть, он, зверь ручной, домашний, утратил многие звериные инстинкты под надежным покровительством человека и, столкнувшись теперь с дикой вольной природой, безоговорочно спасовал. Когда потом мы разглядели зверя, в нем не было и половины жирного, выхоленного кота.

Так я узнал маленькую тайну: на заброшенной усадьбе завелось семейство хорей. Я никому не стал говорить о своем открытии, надеясь, что хори сами дадут о себе знать и что ждать придется недолго.

Но по крайней мере недели две было тихо. Однажды утром, по прошествии этих двух недель, Глафира (через два дома от брошенной усадьбы) выбежала на улицу, всплескивая руками и чуть не плача.

— Вы только поглядите, что они, окаянные, наделали. Ну ладно бы одного или двух, ведь одиннадцать цыплят, ведь ни одного не пощадили, проклятые, всех порешили начисто!

Все посочувствовали Глафире, но чужая беда — не своя. Жалко, конечно, Глафириных цыплят, но что уж тут поделаешь, бывают несчастья и похуже.

На следующее утро семи цыплят и одной старой курицы

недосчитался и Александр Федорович. Еще через день пролилась цыплячья кровь на дворе у Тореевых — дело пошло вдоль села, все дальше от гнездовья, и неизвестно было, как далеко пойдут кровожадные ночные хищники.

Вплотную к пустой усадьбе примыкает дом Александра Николаевича. У него две внучки. Тамарочка и Ольгушка. Они подружки наших девочек — Лены и Оли. Вот почему я так хорошо осведомлен о всех последующих событиях, связанных со злополучными хорями.

Семилетняя Ольгушка, выбежав перед вечером на двор, услышала, как за поленницей дров кто-то слабенько многоголосо пищит. Было доложено дедушке. Дедушка (теперь дедушки пошли безбородые и безусые) начал азартно разбирать поленницу. Поленья были мелкие, колотые, поэтому разбирали их с шумом и долго.

Когда сделалось возможным заглянуть наконец за поленницу, увидели там одного-единственного длинненького, слепенького, темненького с коричневым детеныша. К этому времени прибежал сосед Александр Федорович.

Первым порывом мужиков было задавить детеныша, но хитрый Федорович рассудил по-другому:

— Погоди, свояк. Нужно около дыры поставить капкан. Детенышей было много. Пока мы разбирали дрова, хориха перетаскала их в другое место, только одного она не успела унести.

Уповая на материнские чувства хорихи, навострили старый заржавленный капканишко. Дыра, вернее, щель в прогнившем бревне была одна. Сразу за щелью начинались зеленые крапивные джунгли.

Навострив капкан, замерли. Не прошло и пятнадцати минут, как раздался истошный звериный визг. Когда прибежали, хориха извивалась, схваченная за обе передние лапы, грызла бесчувственное железо. Убить ее было делом одной минуты. Собственно, и разглядели, что хориха, а не отец, когда убили. С трофеем выскочили на улицу, держа за пушистый хвост и показывая сбежавшимся ребятишкам.

С остренькой мордочки у хорихи капали редкие, очень алые капли.

Капкан навострили снова: не придет ли за детенышем отец. Мать, выполнившая свой материнский долг, осталась валяться на траве. Мальчишки палкой переворачивали ее с боку на бок, разглядывали набухшие молоком розовые соски.

Я заметил, что в глазах моих девчонок, Лены и Оли, не

было вовсе никакого злорадства, напротив, тихая грусть и чуть ли не жалость. Какое противоречие: почему же они не жалеют истребленных зверями двух десятков цыплят?

Хорь-отец не шел за детенышем. Ждать надоело. Решили обыскать всю усадьбу, чтобы найти основной выводок. Завечерело. Начал накрапывать редкий теплый дождь. Лена и Оля то и дело прибегали ко мне и спрашивали:

— Папа, пап, как думаешь, далеко она их успела перетащить?

— Не знаю. Наверно, все-таки далеко.

Через некоторое время вопрос повторялся в новой форме:

— Папа, пап, как думаешь, найдут мужики или не найдут?

— Думаю, что теперь уж не найдут. Видите, как темно. И дождь.

Через пять минут новые заботы:

— Папа, пап, как думаешь, хорь один сумеет вырастить детенышей? Или они все равно умрут?

— Вот этого я не знаю. Думаю, что одному ему будет трудновато. Вот если бы осталась жива хориха...

— Да, если бы жива осталась она. Мы видели у нее в шерстке такие чистенькие розовые сосочки, точь-в-точь как у нашей Рыськи.

Еще через некоторое время:

— Папа, пап, а ты будешь рад, если всех детенышей найдут и убьют?

— Видишь ли, мне все равно, но они ведь хищники. Два хоря заели двадцать цыплят. Сколько же заедят эти детеныши, когда подвырастут?

— Нашли, нашли! — послышалось в это время за окном на темной улице. Голоса были возбужденные, радостные. Видимо, расправа только что завершилась.

Хорят нашли в яме бывшего погреба, в самой глубине, под гнилым обрушившимся бревном. Сначала никак не могли обнаружить, хотя и искали вчетвером, освещая и крапиву и землю четырьмя электрическими фонариками. Федорычу пришла в голову другая тактика: пройти шагов десять, потом стоять и слушать. Дождь шуршит по крапиве и по листьям деревьев. Тишина. В одном месте послышался слабый жалобный писк. Детеныши звали мать, не зная, что она валяется теперь на холодной земле и шубка ее намокла от дождевой воды.

По писку нетрудно было найти и приблизиться. Оказа-

лось, что хориха успела перетащить шестерых. И, конечно, если бы не пришла за седьмым, то и сама бы уцелела, и эти шестеро...

Перед самым сном после долгого грустного молчания девочки возобновили допрос:

— Папа, па, а чем вообще питаются хори?

Мне хотелось спать, и я отмахнулся:

— Вы же знаете, цыплятами.

— Цыплят они заели вчера и позавчера. А чем они питались целый год до этого?

— Верно. Я как-то не задумывался. Нужно будет, когда приедем в Москву, почитать у Брема. Скорее всего они питались мышами. Чем же еще им питаться в наших местах?

— Значит, сколько же мышей они съели за целый год?

— Не знаю. Если считать две мыши каждый день...

— Ну ладно, пускай семьсот. А сколько бы мышей вывелось из этих семисот пап и мам?

— Ладно, ладно, во-первых, мы не знаем еще точно, чем питаются хори. Вот приедем в Москву, почитаем у Брема.

— А сколько хлебных зерен съест один мышонок за год?

— Спи, кому говорят. Вот приедем в Москву...

— А сколько стоит килограмм хлебных зерен?

— Спи, тебе говорят. Вот приедем...

В Москву мы приехали через полтора месяца. Я думал, что все давно забыто. Однако Лена, как только вошли в квартиру, побежала к полкам, где стоят основательные, авторитетные тома Брема. Через несколько минут мы знали, что хори действительно питаются мышами, причем никакая кошка не может сравниться в ловкости и добычливости с хорем. Может быть, кошка и ловка, может быть, она даже и ловчее хоря, но ее ведь подкармливают и молоком, и хлебом, размоченным в супе.

Будто бы крестьяне в Германии (Брем писал о своих соотечественниках) бывают даже довольны, если вблизи заведется хорь. А цыплят спасти можно очень просто. Нужно только следить, чтоб в курятнике не было лазеек.

Как-то странно изменилось у меня отношение к этому зверьку. Ведь ненависть к нему воспитывалась из поколения в поколение. Конечно, он и злобный, и ощеренный, и шипит, и кусается, но ведь это в капкане. Кто хочешь на его месте... Если же вдуматься, то, может быть, вовсе это бархатистый грациозный зверек, с живыми глазками-бу-

синками. Не вегетарианец, конечно. Ну, а кто теперь вегетарианец?

Вечером, когда легли спать, на меня снова посыпались вопросы:

— Папа, пап, а как думаешь, чем их тогда убивали? Детенышей-то в старом погребе?

— Скорее всего, каблуками. Но успокойся. Отец все равно бы их не вырастил. Понимаешь?

— А где он сейчас?

— Наверно, охотится на мышей.

— Он так и живет один?

— Не знаю. Может быть, он нашел себе другую хориху.

— И у них опять народятся хорята?

— Ну а как же. Непременно народятся хорята. Девять штук. Спи ты, в конце концов. Дались тебе эти несчастные хори!

1966

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВАГОН

Я ехал домой с работы, усталый как собака и злой как черт. Все мои желания, я бы даже сказал, не желания, а чаяния, сводились к трем: во-первых, принять слабенький душ, именно слабенький, чтобы он, подобно летнему дождику, орошал усталое тело, а не сек его жесткими, как проволока или как речной песок, струями; во-вторых, после душа мне хотелось выпить кружку пива, именно кружку, потому что, когда пиво пьешь из толстого стекла, у него совсем другой вкус; в-третьих, после душа и пива мне, разумеется, хотелось лечь спать. Лечь, как обыкновенно, в чистую, холодную в первые минуты постель, зажечь в изголовье лампу, почитать полчаса какую-нибудь книжку, а потом уснуть.

Я был бы, конечно, еще злее, а усталость моя чувствовалась бы еще больше, если бы я не сознавал, что все мои три желания вполне осуществимы, что они сейчас вот, через пять минут, начнут осуществляться и ничто, в сущности, не помешает мне осуществить их одно за другим.

Жена встретила меня на пороге квартиры. Она услышала, значит, как я поскрипел ключом, втыкая его в скважину, и вышла из комнат мне навстречу.

— Как хорошо, что ты сегодня не задержался. Знаешь, тебе придется поехать в Курск, только сейчас звонила

мама, она очень-очень просила тебя зачем-то приехать. И срочно, так что выезжай с вечерним поездом.

— Но как же так... Я с работы... Надо ведь еще достать билет. Позвонила бы мне днем, я бы взял у Абрама Львовича бронь, и теперь было бы все в порядке. А без билета меня просто не пустят в вагон.

— Я сама узнала час назад. Ну ничего, сейчас вместе поедем на вокзал, купим билет за час до отхода поезда. В это время распродают остатки.

— Знаю я эти остатки. Попадется, пожалуй, общий вагон.

— Один раз можно и в общем.

Насчет общего вагона я сказал, конечно, от чувства крайней досады. Понятие «общий вагон» у меня сочеталось с воспоминаниями войны или студенческой молодости. Помню, как пассажиры бросались на штурм этих самых вагонов, едва состав появлялся у перрона. Женщины, почему-то все больше пожилые, да старушки с узлами, с мешками, с чемоданами, мужчины, почему-то все больше небритые, нередко инвалиды, юркие юнцы — все дружно сбегались, норовя одновременно, все сразу, проскочить в узенькую вагонную дверь, в то время как входить в нее можно было только по одному. Карабкаются по ступенькам подножки, висят, как акробаты, протискиваются. При этом чаще всего случается, что сам человек уже протиснулся на площадку вагона, а мешок его, или рюкзак, или чемодан прищемило толпой. И вот бедняга дергается в отчаянии, тянет мешок за собой, а мешок тянет его назад. Гвалт, крики, крепкие словечки.

Ворвавшись наконец в вагон, счастливец бежит по нему, озираясь по сторонам, глазами ищет свободную полку. Найдя ее, бросает первым делом мешок или чемодан – занято. Теперь можно отдышаться, оглядеться по сторонам, а то и закурить.

Хоть и жестки вагонные полки, но все же можно лежать, спать даже, вытянувшись во весь рост и положив под голову собственные локти. Хуже, когда совсем не достанется никакой полки, но лишь сидячее место внизу. Легко ли, сидя всю ночь, клевать носом на вагонных толчках. Голова отяжелела, стала как чугунная, все бы отдал, чтобы лечь хотя и на голые, хотя бы и вагонной жесткости доски.

Но, впрочем, люди сидят на чемоданах в проходе. Это еще хуже. А тот и вовсе стоит. Есть ведь и такие, что оста-

лись на перроне, на вокзале и будут целые сутки ждать возможности сесть на чемодан в проходе и ехать все ближе и ближе к дому.

Но полно, все ли едут к дому? Неужели все, кто наполняет дальние ли, средней ли дальности поезда, неужели все едут домой? И куда только едут люди? И зачем они только едут и едут?

Как будто народ, которому жить бы да жить на земле, прикрепившись к одному месту корнями, перемешивает кто-нибудь сверху огромной, неведомой палкой, этакой фантастической мутовкой, этакой мешалкой, и вот лопаются непрочные корешки, а у иных уж оторвались давно, и получается чудовищная, нелепая мешанина.

С явным преувеличением, в сердцах, от великой досады, я сказал: «Попадется, пожалуй, общий вагон», как говорим мы иногда вполне безответственно и бездумно: «Умереть с тоски» или «Голову отдам на отсечение».

Последние годы мне, правда, много приходилось ездить в поездах. Но все это были служебные командировки. По служебной же командировке полагался мне мягкий вагон. Придешь с командировочным удостоверением к нашему дорогому, незаменимому Абраму Львовичу, который ведает всем немудреным хозяйством учреждения, достанет он из далекого ящика книжку брони, выпишет бумажку с красной полосой от угла до угла. С этой бумажкой не нужно ехать на вокзал, толкаться несколько часов в очереди перед кассой. Есть в самом центре столицы специальная касса брони. Народу два-три человека. Кассиры вежливые, улыбчивые, предупредительные.

С билетом в мягкий вагон можно приехать на вокзал за пять минут до отхода поезда. Вагон стоит этакий солидный, подножка пустая, только и ждет, чтобы вы соизволили по ней войти. Место вам заранее определено. Небось уж никто не кинет на него свой мешок либо чемодан. Частенько едешь в купе вообще один. Постель с чистыми простынями застелет проводница, она же предложит горячего крепкого чаю с сухарями или печеньем, тепло, уютно, настольная лампа, мягкие диваны, радио, которое можно при желании выключить. Ради одного этого удобства стоит ездить в мягком вагоне. К тому же, как правило, именно к мягким вагонам прицепляется вагон-ресторан.

«Ну ладно,— думал я по дороге на вокзал.— Покажу кассирше служебное удостоверение, остались, наверное, мягкие места, и за час до отхода поезда продаст».

На три своих сокровенных желания я давно уж махнул рукой.

Впрочем, если удастся мягкий вагон, то отпадает только слабенький душ, а пиво и сон останутся в моем распоряжении. Еще лучше, когда немного покачивает и слышишь и чувствуешь, как безвольной пушинкой на ветру несет и несет тебя куда-то в ночное неведомое пространство.

В обширном помещении, где продают билеты, было много окошечек, и перед каждым окошечком по толпе. Ну, не то чтобы по толпе, но все же по хорошей, увесистой пригоршне народу. Я, правда, втайне радовался, вынашивая уж надежду, что если не достанется билета или если не успеет кассирша продать его мне до отхода поезда, то (что уж тут поделаешь!) придется все отложить до завтра. А завтра я пойду к Абраму Львовичу...

Но жена узнала, что будет еще один поезд, двумя часами позже. Это значит, вместо одиннадцати я выеду в час ночи? Благодарю покорно.

За четверть часа до отхода поезда я очутился перед окошечком один на один с кассиршей. Сзади, конечно, попрежнему толпились желающие, но я-то теперь был с нею один на один. И прежде чем сказать, куда я еду и все такое прочее, я сунул ей свое служебное, коричневой кожей облицованное, удостоверение.

— Гражданин, говорите, куда вам нужно ехать.

— Да, я сейчас скажу. Мне в Курск. Но я бы хотел получше, желательно мягкий.

— Мягких нет.

— Ну тогда купированный?

— Купированных тоже нет.

— Плацкарту, простую плацкарту!

— Гражданин, есть билеты только в комбинированный. Будете сидеть около окошка.

— Но я не могу сидеть, я хочу спать. Впереди целая ночь. Днем я работал, устал. Вот мое удостоверение. Вы же видите.

Сзади поднялся недовольный шум, все волновались, потому что до отхода поезда оставалось пятнадцать минут, а теперь уж, наверное, двенадцать или одиннадцать.

— Не морочьте мне голову, гражданин. Хотите вы ехать или нет?

— Нет, нет, я решительно не могу ехать сидя целую ночь. Вот мое удостоверение..

— Хорошо. У меня осталась одна боковая полка, знаете, вдоль стены, у окошка. Может, она вас устроит.

«Черт возьми,— чертыхался я про себя, торопливо пробираясь к выходу на перрон.— Почему в середине двадцатого века должны существовать какие-то комбинированные вагоны? Почему каждый, если к тому же у него есть деньги, не может ехать так, как ему хочется?»

На перроне я, как говорится, облизнулся, проходя мимо мягкого вагона, и, не спрашивая и не сверяясь с билетом, пошел туда, где толпились люди. Они могли толпиться только около моего комбинированного. Да и то их толпилось не очень много. Кому надо было сесть, все сели.

В вагоне встретил меня тот непередаваемый, неповторимый запах или даже, точнее, дух, который держится в людных вокзалах или вагонах. Еще раз — черт возьми! За ночь пропитаешься этим запахом общего вагона так, что потом три дня тебя будут сторониться люди.

А ведь совсем недавно я не знал другой езды кроме как в общем вагоне. С молодецкой удалью и некоторым даже спортивным интересом бросался я в толпу около подножки. Ребра мои слегка потрескивали и похрустывали. Но я умел и пробираться вперед, и прикрывать грудную клетку локтями. Да и вообще, если я наберу, бывало, побольше воздуху, не так-то легко сдавить меня. Вот я уж дотянулся кончиками пальцев до сального поручня подножки, вот мои пальцы уж зацепились за круглую железяку поручня. Вот она, железная хватка. Теперь потрескивают чужие ребра, а я на площадке, я в вагоне. (О, теплый, знакомый, уютный запах вагона!) Все средние полки давно заняты, на них либо мешки, либо чемоданы. Как же так, ведь я один из первых. Оказывается, нужна не только сила или даже ловкость, но и хитрость. Пока поезд стоял в тупике, иные догадливые люди, по договоренности с проводницей, положили на полки свои вещички и теперь, наверное, ждут на перроне, ухмыляючись, когда мы перетискаем друг друга. Тогда они войдут и лягут рядом со своими мешочками.

Чихать я хотел на эту хитрость. Мешок летит на соседнюю полку (пусть там валяются два мешка), а я ложусь, кулаки под голову, попробуй попроси меня теперь с этого места. Никто не осмелится, глядя на мои даже на вид тяжелые кулаки.

Но вообще-то я замечал: эта постоянная нехватка

билетов в кассе, эта невозможность уехать, куда нужно, эта невозможность не спеша занять место в вагоне, но только с бою, и даже не с бою, а если успеешь,— все это развивало в людях некоторую, ну, не забитость, конечно, а какую-то постоянную неуверенность, что-то такое, что противоположно спокойному достоинству человека. Надо все время беспокоиться, все время бояться (достанешь ли билет), все время суетиться, бежать с вещами (вообще неприлично бегать взрослому человеку, если это не утренняя зарядка и не пожар), а потом бояться за место (отвернешься — займут)...

Все это вместо спокойного и достойного:

— Будьте добры, мне билет до Курска, желательно мягкий...

— Рекомендую купированный. Удобства те же, но гораздо дешевле.

— Вы очень любезны, благодарю.

Никто не толкнет, никто не наступит на ногу, никто не крикнет: «Куда прешься, разуй глаза-то». В купе все тоже как положено: «Добрый вечер», «Не хотите ли партию в шахматы?», «Спокойной ночи!» Я человек, и вы человек. Мы должны ходить по своей земле спокойно и достойно, а не толкать друг друга, не суетиться, как во время стихийного бедствия, не бегать с нелепыми мешками и чемоданами.

После долгого, многолетнего перерыва очутился я опять в общем, или, как он теперь называется, комбинированном, вагоне. Вся комбинация состояла в том, что средние полки были пронумерованы, а нижние — кто как сядет.

Длинный дяденька успел уж вытянуться во весь рост на средней полке, выставив в проход свои босые ноги. Подушечки больших пальцев и пятки желтые, как яичный желток. Пришлось пригнуться, чтобы миновать эти столь гостеприимно протянутые ножищи. На противоположной полке молодая женщина сидела, свесив ноги вниз, и кормила ребенка из мягкой голубоватой груди. Еще два ребенка заливисто возвещали о себе откуда-то из глубины вагона. Совсем молодая женщина в красном байковом халатике как раз пыталась залезть на полку, дразнясь загорелыми длинными икрами. Бабка на нижней полке развязывала узелок, собираясь ужинать. Еще на одной полке лежали, прижавшись друг к другу, пожилая женщина и девочка лет шести. Что делалось на других полках вагона, мне было не видно в первые минуты. На нижних полках, где по три, где по

четыре человека, сидели пассажиры, собираясь так и прокоротать длинную трясучую ночь.

Никто не мог показать мне, где же находится моя продольная подвесная около окошка.

— Садись, пока место есть,— чуть-чуть оттесняясь, предложил мне парень в гимнастерке без погон, с одними шлевочками.— А полку твою, наверное, заняли.

— Как это заняли! Она номерная. У меня в билете помечено.

— Ну валяй ищи.

Парень снова сел попросторнее, поудобнее, как сидел, прежде чем потесниться.

Проводница, женщина пожилая и сердитая, взглянула в мой билет и показала на узенькую полочку, висящую действительно вдоль стены вагона. Но на полке этой, собравшись калачиком, приспособилась бабка лет семидесяти, а может и старше.

Молодой здоровый мужчина, я теперь, значит, должен был согнать бабку с угретого ею местечка... и взгромоздиться на ее место. Я чувствовал, что все, кто был тут поблизости, смотрят на меня и ждут, что я сейчас буду делать. Делать в таком положении я ничего не мог, зато проводница приступила к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей:

— А ну-ка, бабка, освобождай место, законный пассажир пришел.

— Да куда же я, милая, кости-то небось старые. Ты бы мне подостлать чего-нибудь дала: али матрасик, али одеялишко. В других поездах, слыхать, дают.

— Ладно, дома будешь на матрацах спать, а теперь освобождай полку. Видишь, гражданин ждет.

— Да какой он гражданин? — раздался вдруг сзади спокойный голос.— Какой он гражданин, если старую женщину с места сгоняет? Мог бы посидеть одну-то ночь, не развалился бы.

— А если у него законное место, деньги за плацкарт заплачены? — нашелся у меня неведомый заступник.

— Деньги... Какие там деньги. Все одно нельзя старого человека гнать, а самому на его место.

— Ишь, у него ботинки... остроносые... модник... Ничего, посидит, не развалится.

— Оставьте ее,— решил я наконец обратиться к проводнице.— Оставьте, пусть лежит. Я уж так... Действительно, одна ночь.

— Как это оставить? Не положено. Ваша плацкарта, вы и лежать должны. Мы насчет порядку приставлены, деньги за это получаем.

— Просит, а сам небось рад до смерти, что бабку сгонят.

— Вишь, шарф-то в клеточку, что твоя канарейка.

— Да где ты видал, чтобы канарейка в клеточку была?

— А мне что, все одно.

— Поглядим, хватит ли совести на бабкино-то место.

— В чем дело? — вмешался тихий, но властный голос.— В чем дело, что случилось?

— Да вот, товарищ начальник поезда, у гражданина билет на это место, а тут старушка...

Начальник поезда! Моя последняя надежда. И как я не сообразил раньше? Привычным жестом я достал из кармана свое облицованное коричневой кожей служебное удостоверение.

— Понимаете, неожиданно понадобилось в Курск, а с броней было уже поздно. Если можно было бы перевестись в мягкий вагон, я охотно доплатил бы на первой же станции.

— Пойдемте,— коротко ответил начальник поезда.

Через полчаса, выпив наконец долгожданную кружку пива и пожелав соседу в полосатой пижаме спокойной ночи, я блаженно засыпал в чистых простынях, на мягкой, приятно пружинящей постели. Я не вспоминал о том, что в этом же, в нашем, составе трясется так называемый «комбинированный» с бабкой, свернувшейся калачиком, с желтыми ногами, загородившими проход, с девушкой в красном байковом халатике, с демобилизованным парнем, с женщиной, кормящей сынишку из мягкой голубоватой груди...

1965

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Некоторое время волею судеб мы жили в деревне Светихе, занимая половину пятистенного дома. Половины были отгорожены друг от дружки наглухо: мы выходили из дому на свою сторону, соседи — на свою. Но все же была общая стена. В сенях сквозь нее проникали к нам запахи картошки, поджариваемой на постном масле, жареного лука, жареной трески, запах самой керосинки.

Достигали и звуки. Отчетливо было слышно, как сосед-

ствующая хозяйка Нюшка рубит уткам крапиву, как храпит в сенях ее отец, дядя Павел, как тявкает вздорная собачонка с нелепой для деревни кличкой Рубикон, как ежедневно ругаются между собой отец с дочерью.

Они жили вдвоем, потому что остальные многочисленные дети дяди Павла все разъехались по сторонам. Одна только Нюшка приросла к деревенскому дому. Она овдовела в первые дни войны и с тех пор живет без мужика, что, вероятно, тоже наложило свою печать на ее и без того нелегкий характер.

У дяди Павла пенсия — двадцать семь рублей. Нюшка на ферме зарабатывает гораздо больше. Вероятно, главные раздоры между отцом и дочерью начались с этого материального неравенства. Нюшка отделила дядю Павла от своего стола и поставила дело так, чтобы он питался отдельно. Оно бы ничего. Восьмидесятилетнему старику нужно немного. Двадцати семи пенсионных рублей — по деревенской жизни — как раз бы хватило. Но у Нюшки кроме зарплаты было еще одно преимущество: она была женщиной, стряпухой, хозяйкой. Ей сподручней топить печку, варить похлебку, жарить картошку на постном масле. Нельзя было вдвоем соваться в одну и ту же печь. Да и характер обидевшегося дяди Павла не позволял никаких совместных действий. Таким образом, старик обычно сидел на сухомятке.

Половину дня Нюшка проводила на ферме. В это время дядя Павел иногда зажигал керосинку, чтобы разогреть хотя бы рыбные консервы — кильку в томате. В старости, когда остывает кровь, говорят, особенно хочется горяченького. Но чаще дядя Павел стоял перед домом, нахохлившись, в своей стеганке, глядя вдоль села слезящимися глазами, и, отщипывая из кармана, жевал хлебушек, гоняя его по рту беззубыми деснами. Иногда старик баловал себя печеньем, тоже обламывая его в кармане. Это не от жадности, не для того, чтобы не показывать людям, но зачем же стоять посреди улицы с кульком печенья или с куском хлеба в руках.

За стеной в такие часы было тихо. Но как только Нюшка приходила с фермы, начинали зарождаться звуки и шумы. Вот хозяйка ласково поговорила с Рубиконом. Пожалуй, это было единственное существо в ее доме, с которым она говорила ласково, не считая разве уточки-хромоножки. С Рубиконом Нюшка говорила так:

— Ну что, соскучился, дурачок? Скушно, чай, сидеть

целый день на цепи? Сейчас я тебя отвяжу. Ах ты. собачья голова, понял, обрадовался. Ступай побегай.

Затем начиналось кормление уток:

— Ах ты миленькая, ах ты хроменькая моя, на вот тебе отдельно... А ты куда лезешь, лопай со всеми вместе! — Это на какую-нибудь утку, решившую полакомиться из блюда хромоножки.

Поросенок, почуяв еду, начинал визжать пронзительно и надсадно.

— Холера, успеешь, замолчи, вот я тебе сейчас покричу, я тебе сейчас покричу!

Если бы еще какая-нибудь скотина была у Нюшки, то, вероятно, отборные словечки нарастали бы и дальше. Но никакой скотины больше не было. Оставался дядя Павел.

Я думаю, что самая отборная брань приходилась на дядю Павла вовсе не потому, что дочь относилась к отцу хуже, чем к Рубикону или к поросенку. Но ведь дядя Павел, в отличие от бессловесных тварей, мог отвечать, и брань его бывала обычно не менее остроумной и изощренной.

После каждой очередной схватки старик шел на нашу половину. Он здоровался у порога, снимал шапку и садился на стул, унося его от стола на середину комнаты. Мы уговаривали старика сесть с нами и выпить чашку чаю, но чем больше мы его уговаривали, тем дальше и дальше он отодвигал свой стул.

Сначала разговор шел о том, о сем: что вот опять нет дождя или, напротив, что вот опять с утра дождь,— потом дядя Павел решительно переходил на главную тему:

— Сволочь. И откуда такие зарождаются? Ведь что она надо мной вытворяет! Чистого кипятку не дает. Да ляд с ним, кипятком, хоть бы не кричала, не срамила последними словами. Помню, я со старшей дочерью жил. Рай, а не жизнь. Бывало, с работы идет, а я сижу в избе у окна. Так она еще с улицы в окно поглядит, смеется: «Ну как, петушок, сидишь, лиса тебя не утащила?» Пошутит эдак-то, и сразу у нас человеческая жизнь. А эта...— и голос у дяди Павла меняется,— каблуком бы ее раздавить...

Мы со смущением слушали откровенные излияния отца по поводу дочери, большую часть которых я не могу здесь привести по чисто цензурным соображениям.

— Вот погодите,— предрекал дядя Павел,— она и вам здесь житья не даст, покарай меня бог.

Это предположение нам казалось странным и неправдо-

подобным. Как это может быть, чтобы к нам стали относиться плохо, если мы сами ко всем относимся хорошо или во всяком случае никому не мешаем? Но мрачные предсказания дяди Павла неожиданно начали сбываться.

У жителей этой деревни существует привычка — помои выливать на дорогу. Если раздуматься, нарочно не изобретешь такой отвратительной привычки, потому что если в выливаемых помоях есть какая-нибудь зараза, то нет вернее способа распространить ее на всю округу, как вылить на дорогу. Проедет телега либо машина — и повезут заразу, прилипшую к колесу, по всему белому свету. Но тем не менее эта дурная привычка в Светихе существует. Каждая хозяйка выносит помои на дорогу против своих окон и выливает их в колею.

Против пятистенка, в котором нам привелось тогда жить, не было никакой дороги, он располагался в стороне от главной улицы. Против дома — ровная зеленая лужайка. По ней приятно ступать босиком, приятно полежать на ней в тени развесистой старой липы. Посреди полянки, шагах в семи от окон, канавка не канавка, ложбинка не ложбинка. Когда-нибудь прокопали канавку, но теперь она сгладилась и заросла все той же шелковой травкой. От этой ложбинки большая польза: во время летнего ливня или затяжных невеселых дождей вода не собирается перед окнами в лужу, не застаивается, но мчится вдоль по ложбинке в отдаленный пруд.

И вот мы видим из окна, что Нюшка выносит большой таз помоев и выливает его на лужайку, как раз против окон. Во-первых, теперь не полежишь на траве под липой; во-вторых, начнут разводиться мухи, которые будут залетать в окна и садиться на хлеб и сахар; в-третьих, помои во время дождя стекут в пруд, в котором жители полощут белье, моют ноги после трудового дня, а ребятишки иногда купаются.

Моя жена, окончившая медицинский институт по санитарно-гигиеническому профилю, не могла вынести этого зрелища — помойки посреди деревенской улицы, да еще под самыми окнами. Нюшке же чем-то понравилась лужайка, и она каждый день стала носить помои и выливать их на одно и то же место. Зловонная черная язва образовалась на нашей чистой зеленой лужайке. Две вороны постоянно торчали там, выклевывали из грязи остатки чего-то перегнившего, но еще, по-видимому, съедобного для ворон.

Во время очередного прихода к нам дяди Павла мы

попросили его, чтобы он уговорил дочь, хотя бы и от нашего имени, перенести помойку куда-нибудь на задворки.

— И боже сохрани! Не буду и заикаться. И вам не советую. Да можно ли ей сказать что-нибудь поперек! Вы ее еще не знаете.

Мы никак не могли поверить в это и пошли делегацией на другую половину дома.

Нюшка возилась у печки.

— Здравствуйте,— бросила нам Нюшка довольно резко в ответ на наше совершенно робкое: «Здравствуйте».

Мы присели на скамейку около порога и стали ждать появления хозяйки из-за кухонной перегородки. Хозяйка вышла. Впервые я разглядел ее как следует. Это была женщина лет сорока пяти, низкорослая, круглолицая, со следами некоторой миловидности, но с каким-то угрюмым, недружелюбным выражением. В лице ее, в общем-то, все было заурядным: жидкие блеклые волосы того цвета, когда не скажешь, что шатенка, но не скажешь, что и русая, маленькие глазки, про которые не скажешь, что они серые, но не назовешь их и голубыми, невыразительный маленький рот,— одним словом, все рядовое и будничное. При всем том, когда она улыбнулась, выйдя из-за перегородки, на щеках у нее возникло по ямочке, и я представил себе, что лет двадцать пять или двадцать семь назад она могла казаться вполне миловидной.

Улыбка подбодрила нас, и мы приступили к делу. Мы говорили о вреде мух, о свирепости летних болезней, о чувстве и значении прекрасного. Это была обстоятельная лекция по сангигиене и по охране природы одновременно. Нюшка слушала молча, пока мы не дошли до ее конкретной помойки. Наконец я собрался с духом и проговорил:

— Так что просим тебя, Анна Павловна, помойку перенести куда-нибудь на зады, в удобное место.

Скорее всего я ожидал согласия. В крайнем случае могли последовать какие-нибудь деловые возражения — мало ли что у нее в голове. Произошло самое неожиданное. Анна Павловна послала нас довольно-таки далеко, но все же с указанием самого точного, недвусмысленного адреса. Бросив свою энергичную, из четырех слов состоящую фразу, она ушла за перегородку, а мы, как ошпаренные, выскочили из избы.

На другой день в деревенском магазинчике, как мне в подробности рассказали, произошла следующая сцена. Вошла наша соседка и в присутствии семерых человек —

восьмая продавщица — громким голосом ни с того ни с сего заговорила:

— Понаедут всякие, а мы — хлебай. Ишь, что придумали. Хотят половину дома совсем купить, а потом меня с моей половины выжить да и мою половину к рукам прибрать. Конечно, они городские, все ходы-выходы знают. А что же мне, бедной вдове, по миру идти? Где мне угла искать? Отец еще сколько лет проживет? Неужели нельзя найти управу? Да я завтра же в сельсовет пойду или в милицию. Пускай их первых выселяют. Я тоже не лыком шита. Советская власть не дозволит.

Мы были потрясены фантазией Нюшки. Никогда, даже во сне, не собирались мы делать ничего подобного, даже мысль не мелькала, а она в пять минут набросала готовую программу наших действий. Я сначала только посмеялся. Но тут же представил, как Нюшка заходит в сельсовет, в милицию, еще куда-нибудь и всюду возводит на нас напраслину. Стало не по себе. На другой день у колодца, в окружении трех собеседниц, Нюшка фантазировала еще вдохновеннее:

— Пауков ко мне напускают.

— Неуж?

— У нас в сенях, между досками, щели, я и гляжу — с их половины ко мне паук ползет, за ним второй. Они, значит, их у себя там ловят и ко мне в щелочку пускают. А может, пауки-то ядовитые...

Я представил нас с женой в роли диверсантов, выпускающих пауков на чужую территорию, и мне сделалось и смешно и грустно одновременно.

Между тем события развивались. Чтобы хоть как-нибудь нейтрализовать действие помойки под окнами, жена посыпала гнилую черную язву дустом: все-таки дезинфекция. Не каждая муха сядет, не каждая улетит. Нюшка, оказывается, наблюдала из окна за санитарно-гигиеническими действиями вражеского стана. Не знаю, на какую фантазию подтолкнуло бы ее увиденное, но совпало так, что у Нюшки в этот день околел петух. Не думаю, чтобы от дуста. Тогда почему же не околели все остальные куры? Но в воображении Нюшки факт преломился по-своему, она решила, что ей не только объявлена война, но что война ведется недозволенными химическими средствами. Нужно было ждать ответных действий.

В тихий предвечерний час, когда я только что углубился в интересную для меня книгу, в комнату с рыданием вбежа-

ла моя жена. Она бросилась на кровать плашмя и тряслась всем телом. Я побежал на кухню за валерьянкой. Долго она не могла объяснить мне, что случилось, и наконец выпалила:

— Иди и немедленно застрели Рубикона.

Правда, у меня есть ружье, и пристрелить собачонку не так уж трудно, но нужно было сначала разобраться в деле. Оказывается, Нюшка только что, пять минут назад, пришибла палкой нашего Афанасия — прекрасного пушистого котенка.

Перед поездкой в деревню мы зашли на птичий рынок, чтобы побродить там между рядами аквариумов, населенных сказочными тропическими рыбками, сверкающими и переливающимися, как драгоценные камни и еще красивее драгоценных камней. Сам я уже несколько лет не держу аквариума: мешают постоянные отлучки из Москвы,— но полюбоваться чужими — для меня по-прежнему праздник.

Набродившись по рынку, у рыночных выходных ворот мы увидели девочку лет девяти с очаровательным существом на руках. Она прижимала не к груди, а к горлу крохотного, но уже пушистого и смышленого котеночка. Покупать зверька мы не собирались, но интересно было узнать, почем котята на московском базаре.

— Я не продаю,— обрадовалась нашему вопросу девочка.— Я вас прошу, возьмите его так.

— Почему ты хочешь избавиться от котеночка?

— Я подслушала разговор. Бабушка хочет подкинуть его в какой-нибудь подъезд, а мне жалко, вдруг его никто не возьмет и он будет голодать и мяукать. Я хочу отдать его в руки, чтобы видеть, кому отдаешь. Я вас очень прошу, возьмите, он хороший, очень хороший. Пожалуйста...

Кто-то, видно, надоумил девочку отправиться с котенком именно на птичий рынок. Удивительно, как это никто не взял у нее котенка до нас. Взглянув на его уморительную мордочку, невозможно было уже от него отказаться. Девочка взяла с нас слово, что мы будем кормить котенка ежедневно, не будем его бить и будем иногда играть с ним бумажным бантиком, привязанным к нитке.

И вот этого-то котенка, милого нашего Афанасия, палкой убила злая женщина Нюшка.

Жена рыдала и требовала, чтобы я немедленно застре-

лил Рубикона. Я и сам почувствовал невыносимую злость. Значит, дело будет выглядеть так: я в ответ на ее злодеяние убиваю Рубикона, она затаптывает в грязь наши простыни, вывешенные сушиться в саду, я беглым огнем истребляю всех ее кур и уток, возможно, поросенка, а она ошпаривает кипятком наших детей... Моя фантазия остановилась на этом месте, но кто знает границы Нюшкиной изобретательности! Конечно, она не сможет совершить главного шага — подпалить дом, потому что сама живет под той же крышей...

Вероятно, так и началась история на земле. Обида отплачивается обидой. Всегда хотя бы с маленьким перехлестом. Крупица зла породила горошину зла. Горошина породила орех, орех породил яблоко, яблоко породило арбуз... И вот в конце концов накопился океан зла, в котором может потонуть все человечество. Дело подошло вплотную к поджогу, а еще точнее — к сожжению дома. Хорошо еще, что, как и в нашем микроскопическом случае с соседкой Нюшкой, все живут под одной крышей, и поджечь соседа означает поджечь себя.

Сопоставления самые дерзкие сколько угодно могли тесниться в моем мозгу, но явь состояла в том, что наш Афанасий был убит палкой, что моя жена плакала и что нужно было идти и застрелить Рубикона.

— Ну, что же ты сидишь?! — говорила моя жена.— Сегодня она убила котенка, завтра перешибет ноги твоей дочери, а ты все будешь сидеть. Надо набраться мужества и застрелить.

Так как я сидел и пока молчал, жена продолжала:

— И вообще, застрелишь ты Рубикона или нет,— давай уедем сегодня же. Я не могу жить с ней под одной крышей. Не могу ни минуты, понимаешь?

Уехать — по целому ряду причин — мы не могли, поэтому я продолжал молчать.

— Что же ты молчишь? Ты же мужчина, глава семьи. Ты должен искать выход из каждого безвыходного положения. Если ты не можешь отомстить за Афанасия и если мы не можем уехать, научи, как жить дальше, что мне делать, как себя вести, говори!

— Видишь ли, ты меня призываешь к мужеству. Но дело в том, что застрелить собачонку... Можно сказать, что мужества в строгом смысле слова для этого не потребуется. Но у тебя есть возможность, если ты хочешь, совершить поступок истинно мужественный. Иди и соверши.

— Задушить ее своими руками?

— Нет. Возьми пачку дрожжей, которую я привез из Москвы, и отнеси ей. Скажи, что это подарок от нас двоих.

Жена посмотрела на меня испуганно, как на сошедшего с ума. В первую долю секунды взгляд ее показался мне бессмысленным, как у человека, которого ударили по голове. Еще бы, ведь это была та доля секунды, когда разогнавшиеся мысли ее, психика ее, злость ее, жажда возмездия — все это должно было остановиться, как при железном тормозе, а затем начать движение в обратную сторону.

— Ты... Серьезно?

— Очень. Если только ты серьезно спросила меня, как жить дальше, что делать и как себя вести. Я подумал и считаю единственно правильным в создавшемся положении отнести ей пачку дрожжей. Посмотрим, что из этого выйдет.

— Нет уж, тогда лучше застрели меня вместо Рубикона. Пойти на такое унижение... перед этим сгустком злости.

— Сейчас мы и сами сгусток злости. Кроме того, я не вижу другого выхода. Если идти и дальше по пути, на который мы встали, получится следующее: я застрелю Рубикона, она затопчет в грязь наши простыни, я перестреляю ее уток, она перешибет ногу нашей дочери... В конце концов останется одно — подпалить дом. Кто раньше успеет. Но в нашем случае это бессмысленно, потому что мы живем в одном доме, под одной крышей. Уехать мы не можем. Ее прогнать нельзя. Так что я в самом деле не вижу никакого выхода. Но выход есть, и я его предлагаю. Возьми дрожжи и отнеси ей как подарок от нас двоих.

— Да я лучше повешусь на чердаке!

— Возьми дрожжи и отнеси.

— Ни в жизнь.

— Возьми и отнеси.

Мы завернули дрожжи в газету, чтобы не всякому видно было на улице, что в руках. Жена вытерла слезы, вздохнула и пошла.

Я понимал, что она совершает сейчас героический, в некотором смысле даже великий поступок. Потому что подняться на ступеньку труднее, чем спуститься, вылезти из болота на сухое место труднее, чем с сухого места шагнуть в болото, а самое трудное во все времена и для каждого человека — переступить через самого себя.

Я не знал, что происходит за стеной. Может быть, Нюшка швырнула дрожжи ей в лицо. Может быть, она еще и плюнула ей вдогонку... Я приготовился просить у жены прощения за столь интересный, но и столь тяжелый эксперимент, как вдруг жена вошла в избу.

Она была возбуждена, будто только что получила известие самое радостное в своей жизни. Глаза ее сияли, а голос, когда она заговорила, прерывался от радостного волнения. У меня самого запершило в горле, и я понял, что мы только что прикоснулись к чему-то очень сокровенному и важному, может быть самому сокровенному и самому важному в человеческом поведении.

Потом, уже успокоившись, жена рассказала мне, как было дело. Когда она вошла в дом, Нюшка потянулась за ухватом, думая, что последует какая-нибудь месть за котенка. Она могла ожидать чего угодно, только не мирного прихода представителя враждебного лагеря. Но жена развернула и положила на стол пачку дрожжей. У жены хватило мужества и находчивости спокойно и тихо сказать, что сегодня воскресенье и вот мы решили... потому что у нас есть еще, а эти все равно пропадут, потому что жарко и хранить дрожжи долго нельзя.

Нюшка будто бы заплакала и бросилась обнимать. Тогда и жена заплакала, и они обе плакали на плече друг у дружки. Что-то одновременно говорили. Но что именно, передать в подробности жена не могла, потому что она сама больше говорила, чем слушала.

Не успели мы успокоиться от такого события, вернее, от такого поворота событий, как Нюшка появилась на нашем пороге. В руках она держала большое решето, полное отборного репчатого лука.

Значит, мелькнуло у меня, пружина пошла раскручиваться в другую сторону, и тоже, как ни странно, по нарастающей: мы ей — пачку дрожжей, она нам — решето лука; мы ей в другой раз — дорогой торт, она нам — ощипанную утку; мы ей — отрез на платье, она нам — целого поросенка; мы ей — кровельное железо, она предложит разобрать перегородки в доме... фантазия моя и тут убежала слишком далеко.

Мне не хотелось бы рассказывать, сколько еще потом было у нас до осени неприятностей с нашей соседкой и какие слова говорил про нее дядя Павел, приходивший к нам отвести душу. Все это потом было и, вероятно, было

бы снова, если бы мы решили еще раз навестить ту деревню.

Но все же я никогда не забуду сияющих глаз моей жены, возвратившейся от Нюшки, и саму Нюшку, робко стоящую на нашем пороге с большим решетом отборного репчатого лука.

1966

ЛЕДЯНЫЕ ВЕРШИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Не знаю, попадалась ли вам в руки эта весьма оптимистическая, талантливо, я бы даже сказал, с блеском написанная книга. Там было все касающееся окончательного и полного торжества стерильного человеческого разума. Если раньше в научно-фантастических книгах достаточно было помечтать о том, что возможен корабль, плавающий под водой, или что можно в металлическом шаре опуститься на дно океана, то теперь давно уж не слышится фантастического оттенка в простой, обыденной формуле: «Человеческий разум может все».

Этому, собственно говоря, и была посвящена книга. Создание механического мозга, машин, которые пока что умеют запоминать, отвечают на вопросы, знают несколько языков, производят сложные математические вычисления, а в дальнейшем научатся писать стихи, сочинять музыку и, может быть, даже предвидеть будущее,— открывшиеся перспективы сулят такие дали, которых мы, с нашим немеханическим мозгом, вовсе не умеем предвидеть.

Правда, автор не разделяет опасений некоторых ученых, что неодухотворенные роботы, запрограммированные на саморазмножение, могут со временем взбунтоваться, выйти из повиновения и либо растоптать своих одухотворенных создателей, либо подчинить их себе, пренебречь ими, во всяком случае. Как я уже сказал, автор полон оптимизма, и царство чистого разума рисуется ему как небывалый еще доселе золотой век, всеобщая гармония и всеобщее поголовное счастье.

Все же книга утомила меня, и я решил прогуляться до ближайшего леска, подышать его еловым и сосновым воздухом. Лесок этот приютился на верхушке холма, занимая, впрочем, и половину склонов. Часть леска отгорожена пряслами — там наше сельское кладбище; другая часть

свободна для прогулок. Можно даже собирать грибы, землянику, ромашки и купальницы. Можно в прохладный день или вечером развести небольшой костер. Ночью лучше всего не шуметь и не жечь огня: поблизости у речки обыкновенно водятся соловьи.

Помахивая палкой, я быстро шел по тропинке к лесу. Нельзя сказать, что будущее царство всесильного и вседовольного человека не привлекало меня. Если сохранятся такие вот лесочки, и эти цветы по сторонам тропинки, и эти подлунные соловьи,— пожалуй, бог с ними, с машинами, сочиняющими поэмы. Авось найдется спрос и на кустарные рассказики или стишки, как сейчас находится спрос на старинные, антикварные вещи. Эти мелкие сомнения едва мелькали в сознании и гасли, нет, меркли в том истинном сиянии высоких мыслей и колоссальных идей, которыми наполнила меня только что прочитанная книга. Я сам чувствовал себя как бы великим и всемогущим, потому что я тоже человек и все достигнутое человечеством достигнуто также и мной.

Вскоре я догнал старуху, едва-едва переступающую, да и то при помощи длинной палки. Я знаю всех старух в нашем селе, но эта была мне незнакома. Откуда она взялась? Не могла же она, при ее, так сказать, возможностях передвижения, прийти издалека.

Была она полная, рыхлая, с отекшими и как бы онемелыми ногами. На ней черный кружевной платок и черная бархатная жакетка. Я хотел уж перегнать странную пешеходку и посмотреть в лицо, кто такая, как вдруг услышал, что старуха не просто идет, но громко и внятно причитает:

— Иду вот. Миленький мой. (У нее получалось — миленькяй.) Иду. Ты прости, что не проводила тебя в сырую землю. Сам знаещь, жила я у дочери в Москве. И зарыли тебя, голубчика, без меня. Иду вот. Миленький ты мой. Неужто ты подумал, что я к тебе никогда не приду? Ползком доползу до тебя, миленький ты мой.

Эти причитания перемежались громкими всхлипываниями и длинными, всю душу переворачивающими завываниями. Так завывать по покойнику умеют, пожалуй, только русские деревенские бабы. Теперь я понял, кто она и к кому идет.

Недели за две перед этим в нашем селе произошло большое несчастье. Началось, впрочем, с мелочи, недостойной внимания. Во время праздника подрались два мужика.

Вернее, даже один из них... Нет, нужно начать с того, что в наше село переселилась недавно семья из другой деревни. Глава семьи — назовем его Василием — был мужчина лет пятидесяти, худощавый, подвижный, так что пятидесяти на первый взгляд никто ему не давал. Он начал с того, что на доставшейся ему усадьбе начисто вырубил весь терновник — непроходимые колючие дебри, раскорчевал оголившуюся землю и принялся сажать яблони. Потом он навозил тесу, чтобы, значит, обшить доставшийся ему дом. В колхозе между тем работал исправно.

Я однажды остановился около него, как раз во время рубки терновника, и мы постояли, поговорили. У Василия на загорелом и, как мне показалось, нервном лице были чистые, добрые, голубые глаза. Я посоветовал оставить хотя бы одно дерево терновника, но Василий, улыбнувшись, ответил:

— Да ну его. Очень уж он разрастается. Не успеваешь вырубать молодняк.

— Успеешь. Вырубишь. Все-таки интересная ягода.

— Ну ладно, раз ты заступаешься, один куст около бани сберегу.

Этот-то Василий ударил по пьяному делу другого нашего мужика. Кто из них был прав, кто виноват, разобрать трудно. Обоюдной драки, которой кончаются обыкновенно такие праздничные происшествия, на этот раз не произошло. Тот, кого ударили, вдруг обиделся (еще бы не обидеться, когда ударили!) и на другой день пожаловался в милицию. Василий, услыхав о милиции, перепугался. Хотя... как бы могли его наказать? Ну, на самый худой конец дали бы десять — пятнадцать суток. Отработал бы с метлой по благоустройству райцентра. Узнав, что дело дошло до милиции, Василий купил четвертинку и пошел мириться. Обиженный не мог предвидеть всего, что будет дальше. Он мириться не захотел и четвертинку с обидчиком распивать не стал.

Между тем Василию из района пришла повестка: явиться к десяти часам такого-то числа июня месяца... Вот почему первые два дня никто не спохватился, где Василий. Ушел в милицию, там задержали, хорошо, если не посадят в тюрьму.

Через два дня жена Василия Анна пошла в райцентр наводить справки. Ей сказали, что Василий в милицию не являлся, что они сами ждут его и даже заготовили вторую повестку. Тогда начались предположения, в сочинении

которых приняло участие все село. Кто говорил, что Василий скрывается в чьей-нибудь бане; кто говорил, что он уехал к родственникам в Москву; кто говорил, что видел Василия в Крутом буераке, в лесу, что он вырыл землянку и будет теперь скрываться наподобие дезертира. Было даже и такое зловещее предположение, будто Василия ненароком пришибли в милиции, а теперь пойди разберись. Не приходил — и концы в воду, а сами закопали где-нибудь в лесу, чтобы не отвечать. Наиболее злые языки утверждали, что Василий и не думал никуда уезжать, а живет у себя на чердаке и что Анна знает об этом, но не выдает, боясь милиции.

Но Анне было не до хитрости. Двадцатипятилетний сын Василия три дня искал своего отца. Он обошел всех родственников в округе, побывал в каждой бане, прочесал Крутой буерак, под конец слазил все же и на собственный чердак — отца нигде не было. Тогда за дело взялась жена. Предчувствие повело ее в нехожую для нас сторону, в Кольчугино, и сразу же показались следы. В одном селе в чайной видели будто бы похожего мужчину. Он покупал бутылку водки и лимонад. Куда отправился дальше? Надо думать, пробирался к железной дороге.

На переезде, где будочка и полосатый шлагбаум, Анна стала расспрашивать сидящую в будочке пожилую женщину. Вопросы были окольные, наводящие: не проходил ли дней пять назад... пиджак серый, желтые башмаки. Женщина показала Анне на охристый домик в двухстах шагах вдоль по линии: «Там бабка Евдокия живет, у нее хорошенько расспроси».

До бабки Евдокии Анна шла уже спотыкаясь. Ничего толкового не сказала ей женщина в будочке, но то самое предчувствие, которое привело ее сюда, окрепло.

Бабка Евдокия начала как по-писаному. Должно быть, не однажды пришлось ей рассказывать. Она успела выучить свой рассказ наизусть и теперь тараторила:

— Как же, милая. Вон на том бугорке он сидел. Я утром вышла часов эдак в семь, гляжу — сидит мужчина, и две бутылки возле него. Ну, думаю, мало ли тут кто отдыхает на воздухе да на травке. Пошла шишиться на огород. Часа два прошишилась: продергала морковку, подвязала помидоришки, гляну — а он все сидит. Ну, думаю: сиди, сиди. Только, вижу, не просто сидит, а плачет. Эк, думаю, сердешный. Или обида какая, или, может, жена прогнала, или так себе — от винища. В третий раз я из дома вышла после

обеда. Значит, еще часа четыре прошло. Он все сидит и плачет. Сходить бы, думаю, к нему. Да ведь, милая, всякий у нас в городе народ-то пребывает. Ведь на какого пьяного нападешь. Потом вскоре товарник прошел. Я поглядела, а на путях — людей, людей, толпа, и вновь бегут. Я тоже, старая, потрусила. А его уж, сердешного, на носилках к машине поволокли. Не успела я, старая грешница, в лицо заглянуть. Запомнила только — что кровища. И на шпалах, и на железе, и на траве, как есть все облито, словно из ведра расплескали.

— Да ты почему, старая, знаешь, что это он?! — закричала Анна, как в безумстве.

— Окстись, окстись скорее, милая. Осени себя крестным знамением. Да разве я тебе говорила, да разве я знаю, кто это был? Мало ли тут народу. Город. Два заводища. Да станция — проходной двор. Что видела, то и говорю. А насчет чего другого — надо тебе, милая, в городскую моргу.

В морге Анне показали желтые, почти совсем не ношенные ботинки, и она грохнулась без памяти на цементный жесткий пол.

Вот что случилось у нас две недели назад. Василия привезли в село и похоронили с районной музыкой. Каждый принимал какое-нибудь душевное участие в этой истории еще до ее развязки. Каждый пришел и на похороны. Отголосили, отпричитали. Земляничная, хвойная, ромашковая тишина снова установилась над маленьким, в елочках да сосенках спрятавшимся кладбищем. Тропинка к нему узкая, торная, в сухую погоду белая, а в дождливую глинисто-красная среди мелкой зеленой травы.

Старуха шла впереди меня по этой тропинке в галошах на толстые шерстяные носки. Галоши были велики. Они, может быть, и спадали бы, если бы пешеходка приподымала ноги. Но она двигала ногами по земле, шмыгала ими на полступни. Мне нужно было либо останавливаться, либо обгонять.

Я думал, что, увидев меня, постороннего человека, узнав, что ее слушают, старуха смутится, перестанет причитать и выть. Но она не обратила на меня ровно никакого внимания, продолжала разговаривать с сыном.

— Иду вот. Миленький ты мой. Неужели ты подумал, я к тебе не приду? Каково тебе было не видеть меня, когда опускали в сырую землю. Каково тебе было, миленький ты мой. Иду, иду к тебе. Немного осталось. Подожди, потерпи, миленький ты мой.

Я далеко обогнал плачущую женщину и первым вошел в сосенки. Меня обдало тем настоем смолы, хвои, земляники, горьковатых каких-то трав, перегретого мха и солнечной сухости, который держится только в летний полдень, именно в таких вот небольших, прогреваемых солнцем лесочках. В матером бору, наверно, было бы иначе.

На крохотной полянке, сплошь заросшей розовыми кошачьими лапками, я опрокинулся навзничь, раскинул руки, и лесная тишина вновь устоялась надо мной, как устаивается вода после брошенного в тихий омут камня.

Я лежал так довольно долго. Впечатления от только что прочитанной книги и от только что услышанных материнских причитаний странно перепутывались у меня в голове. Нет, я согласен на всеобщую великую гармонию, если останутся, конечно, такие вот сосновые островки, пусть даже вблизи человеческих, дорогих нам могил. Волнует другое. Вдруг получится так, что все будут довольны, просветленно радостны, торжественно и стерильно разумны, а у меня — слеза. Изобретем ли мы какой-нибудь облучающий агрегат, какой-нибудь там генератор счастья, который мог бы аннулировать, ликвидировать и, более того, профилактически предупредить мою находящуюся вне сферы чистого интеллекта, мою глупую, пошлую, отсталую, мою консервативную слезу? Потому что, если у меня слеза да у другого слеза, получаются — слезы. А если слезы, где же всеобщая великая гармония?

Или вот. Сюда, где я лежу и, в общем-то, отвлеченно размышляю, бредет не абстрактная, а настоящая живая старуха. Восьмидесятилетняя мать, у которой так глупо и так трагически погиб единственный сын. Она идет и воет на всю округу. Ей больно. Мы, не побывавшие в матерях, теряющих молодых сыновей, не можем и представить себе, как ей больно. «Человеческий разум может все»,— довольно безответственно написано в этой книжке. Отчего же, научившись черт знает чему, мы не умеем очень простого и очень нужного — успокоить боль скорбящего материнского сердца? Вот я, человек сравнительно эрудированный. Слышал о красном смещении, о спектральных анализах, более того, человек, по профессии своей считающийся в некотором роде сердцеведом. С какими словами я подойду сейчас к скорбящей, чем утешу ее? Да я же абсолютно бессилен, как трехлетний ребенок, который взялся бы

поднимать двухпудовую гирю. Сына нет. Но она сейчас говорит с ним как с живым. От этого разговора, от мнимой близости сына боль разрастается все сильнее и сильнее. Вправе ли я вмешиваться в их беседу?

Между тем причитания бедной женщины снова стали доноситься до меня. Значит, она додвигала наконец до сосенок.

Мне нетрудно было угадать, когда она подошла к могиле, потому что по мере приближения к ней голос ее становился все отчаяннее, пронзительнее и жутче. Можно было точно сказать, по нарастанию голоса: вот она вошла в ворота кладбища, вот она увидела холмик, вот она опустилась на траву рядом с ним...

— На кого ты обиделся, дорогой ты мой? Как тебе не жалко белого света? Ты погляди-ко на белый-то свет. Птички поют, ягодки в траве краснеют, цветы все стоят не шелохнутся, которые желтые, а которые белые. А мимо поля-то я шла — васильки светятся. Как тебе не жалко белого света? На кого ты обиделся, что ты с собой наделал!

Около часу мать разговаривала с погибшим сыном. Я сначала все не мог определить, что же главное в ее разговоре, что так поражает постороннего слушателя, потом догадался: да она же абсолютно верит, что Василий слышит ее голос, что он где-то тут, рядом с ней в лесочке, и только не дано ему обнаружить себя. Пожалуй, было бы даже жестоко с моей или чьей-нибудь любой стороны логически доказать старухе, что никакого Василия больше нет, ни вдали, ни поблизости, и что весь он, с памятным матери детством, со смехом и привычками, складом характера и ума,— весь он теперь тлен, прах. Да, пожалуй, это было бы жестоко и бесчеловечно, и, главное, зачем? Какой в этом смысл?

Наговорившись с сыном, старуха нашла иного собеседника. Теперь она не называла больше своего Василия ни дорогим, ни миленьким.

— Господи! Прости ты его, окаянного. Прости ты его, дурака неразумного, сгоряча он это все наделал. Уж очень, значит, его обидели. Не собирался он покидать белый свет. Тесу навозил избу обшивать. Яблони сажал в огороде, терновник колючий вырубил. Господи, дай ты ему хоть какое-нибудь местечко. Пусти ты его хоть с краешку. Ведь много ли ему надо. Прикажи кому-нибудь — пусть подвинутся, и присядет он с самого краешка, мешать никому не

будет. Было бы ему тепло и светло. Было бы ему сухо, окаянному.

Нельзя сказать в точности, как представлялось матери это сухое и теплое местечко. То ли действительно краешек скамейки, на которой сидят прощенные, то ли лужайка под деревьями, то ли учреждение. Но представлялось ей что-то очень конкретное и определенное, какая-то, видимо, дверь, куда могут пустить или не пустить ее сына. И то нужно учесть, что в старину самоубийц и не хоронили на общих кладбищах, а по другую сторону ограды, в отрешенности, в стороне.

Не успокоившись на хлопотах перед *самим*, мать решила поговорить с другой матерью, думая, что женщина женщину поймет скорее и лучше.

— Матушка, заступница наша, куда идти, кому пожаловаться? Или ты не знаешь, каково хоронить последнего сына? Или ты не лила материнских слез? Как станут определять моего окаянного — направо ему идти или налево, как начнут его толкать в котлы кипящие, во тьму вечную, замолви ты свое материнское словечко. Человек он тихий и добрый. Курицы бессловесной не обидит, гулящую кошку и ту накормит. Пустите вы его хоть с краешку, дайте ему хоть плохонькое местечко. А мастер он на все руки: и топорком подтесать, и рубанком подстругать, и гвоздь забить, и дров нарубить. Матушка-заступница, ни о чем не прошу, замолви перед судьями тихое словечко.

Просительница долго еще что-то говорила, но голос ее становился все тише, все ровнее, спокойнее, и наконец она с какой-то умиротворенностью и — это меня поразило больше всего — с какой-то даже радостью произнесла: «Слава тебе, боже наш, слава тебе». Потом поднялась и так же тихо, едва переступая, но уже без слез и завываний побрела домой.

Вот так раз! Ведь в эту «славу» входит и то, что сын ее бросился под поезд. Потому что, по ее понятиям, все совершается по воле божьей. За это и ополчиться бы на бога, взбунтоваться бы, накричать бы, грозя кулаками куда-то кверху...

Я ее обогнал на той же тропинке, когда она подбредала к селу. В глазах ее, правда, застыли слезы, но во взгляде не было ни боли, ни крика. Только губы шевелились в беззвучной уж теперь, но в той же самой благодарной молитве.

Значит, что же, думал я, значит, ужасные сердечные

раны, до которых я не посмел бы дотронуться, потому что не умею и не надеюсь их залечить, утихли сами собой? Значит, там, где были бессильны атомная физика, нейрохирургия и кибернетика, нужнее всего оказалась ее слепая, темная вера? Какая нелепость!

У нас есть всякие умопомрачительные специалисты, но отчего же нет специалистов — вровень с техникой двадцатого века — по сердечным болям и радостям?..

Книга о фантастических роботах по-прежнему лежала у меня на столе. Ледяные вершины человечества. Интересно, взбунтуются ли против своих создателей будущие бездушные роботы, запрограммированные на саморазмножение? Интересно, что они будут думать, начитавшись наших человеческих книг, о наших чисто человеческих категориях, то есть о том, что им будет заведомо не дано? Жалость, материнская скорбь, боль, любовь, сострадание, счастье, сомнения, легкая грусть, крепкая печаль и даже пошлая скука... Сначала они, должно быть, попытаются исследовать, будут спорить, отрицать или утверждать, писать трактаты, устраивать диспуты. Потом успокоятся, найдя какой-нибудь удобный, все объясняющий термин, вроде нашего словечка «сверхъестественное».

Бедные железные роботы.

1966

УРОК ТЕЛЕПАТИИ

Этот день начался обычно, хотя Надя, или Надежда Петровна, как звали ее в редакции начинающие авторы, добросовестно думала о том, что весь день нужно готовить себя к ответственной минуте, которая лежит на грани 10 и 11 часов.

Нужно объяснить теперь, кто такая Надежда Петровна и что за таинственную минуту предстоит ей пережить ровно в 10 часов по московскому времени.

Надя — сотрудница городской газеты в небольшом старинном городке, расположенном на просторной реке, нетороопливо, но уверенно несущей свои то синеватые, то черные, как хлопья сажи, воды в Великий Ледовитый океан. До океана еще далеко, но дыхание его частенько слышит на своих щеках Надя Томцева. Как будто на окраине города за низкорослыми сосенками лежит огромная

глыба зеленого льда и от нее-то и тянет временами чуть-чуть обжигающим холодком. В июле даже приятно. Конечно, Надя точно знает, что за сосенками нет ничего, кроме песка, а потом опять сосенки, наверно уже до самой тундры.

Второй год она работает в местной газете: приехала по распределению, окончив факультет журналистики. Городок с изобилием клюквы, соленых рыжиков на базаре, с молчаливыми мертвыми храмами, с желтой смолистой древесиной по берегу неоглядной реки, с непривычным, но милым, в сущности, говорком жителей постепенно полюбился Наде. А чтобы время шло быстрее, она придумала организовать литературную группу при газете, и теперь каждый четверг собираются к ней тихие юноши и застенчивые старички — местные начинающие поэты. Они почтительно называют Надю Надеждой Петровной и уважают сверх всякой меры.

Правду говоря, все эти подробности вовсе незначительны для нашего случая. Надя могла бы быть учительницей или техником на лесопильном заводе... Впрочем, тогда она, возможно, не встретилась бы с двумя другими нашими героями. А это важно.

Нелишне заметить, что Наде исполнилось двадцать четыре года, что она хотя и не красавица, но все же с печатью, так сказать, столичности на лице, казалась немножко залетной птицей в окружении более правильных и более, может быть, даже красивых, но все же и более скромных северных лиц.

О происшедшем с Надей начнем рассказывать с того, что в июне через московскую подругу ей удалось достать путевку на юг в санаторий, где отдыхали все большие ученые и писатели, люди пожилые, солидные, с громкими именами. У каждого отдельная комната. В коридоре висят таблички: «Шум мешает работать». Вот так раз. Надя надеялась именно на шум, на веселье, на танцы, на вечера, организованные затейником, с загадками, с разучиванием песен, с играми, рассчитанными на хохот до слез. Не то чтобы она была любительницей всего этого, но очень уж хотелось посмеяться и поскакать на одной ноге после строгого, вдумчивого, как бы вполголоса разговаривающего севера.

Но нет так нет. Зато есть синее теплое море, белые чайки над ним, непривычные тревожные запахи в санаторном саду, особенно ночью, когда кричат цикады и зем-

ля, нагретая за день, отдает воздуху запасенное парное тепло.

Соседом по столу у Нади оказался высокий морщинистый старик с седыми клочьями, вылезающими из-под академической шапочки. Либо ему было семьдесят лет, но он слишком много пережил и увидел, либо ему было восемьдесят, но в таком случае он, напротив, хорошо сохранился. Для восьмидесяти лет он выглядел, можно сказать, молодцом. Кроме того, у старика были пронзительные голубые глаза вне всякого возраста и времени. Взгляд его глаз был как оружие, спрятанное до поры в изящных, щеголеватых, может быть, даже легкомысленно украшенных, может, даже пошловатых ножнах. Снаружи вроде безделушка, которую впору дать вместо игрушки ребенку. Но вдруг мгновение, блеск отточенного клинка, беспощадное жало. Оружие. Мало того что стальное и острое, еще и в опытной твердой руке.

Надя испытала это в первый же день знакомства. Старик представился. Его звали Казимир Францевич. Элегантно расправляясь с поджаркой, собеседник непринужденно расспрашивал Надю о северном ее городке, взглядывал на нее время от времени, усмехался, изображал удивление — обычный застольный разговор. Вдруг все перед Надей покачнулось и поплыло. Ей показалось, что она падает, потому что Казимир Францевич странно передвинулся кверху, чуть ли не к потолку, чуть ли не повис около потолка, и все вокруг синее, голубое, и нет опоры, одна только расплывчатая зыбкая синева.

Через мгновение все вернулось на свои места. Надя сидит на стуле. Казимир Францевич нашлепывает концом ножа гарнир на кусочек мяса. Глаза его опущены в тарелку. Потом он поднял их на Надю, обыкновенные голубые глаза, улыбнулся и тихо сказал:

— Извините меня. Это я виноват. Это ребячество с моей стороны, но я не должен быть легкомысленным, извините.

Вскоре между молодой женщиной и семидесятилетним (все-таки оказалось, что семидесятилетним) стариком установились добрые дружеские отношения. Новые знакомые иногда сидели в качалках в тени развесистого платана, иногда прогуливались по аллеям старинного парка и, уж во всяком случае, трижды в день встречались за столом, говоря друг другу: «Здравствуйте», «Приятного аппетита» и еще раз «Приятного аппетита», если кто-нибудь из них

уходил из-за стола раньше другого. Загадочное головокружение и еще более того загадочное извинение профессора не выходило из головы у Нади. Но уже на третий день Казимир Францевич решил объясниться. В это время они сидели в удобных плетеных креслах и смотрели в синее море.

— Я, конечно, не должен злоупотреблять своей силой. В сущности, мне даже запрещено. Запрещено, как боксеру, например, запрещается применять кулак. Кулак боксера считается оружием наравне с гирей, железной болванкой или даже ножом. Но что нож и гиря по сравнению с оружием, которым владею я!

Надя посмотрела на профессора даже с испугом.

— Вы слышали что-нибудь о телепатии?

— Н-немного. Кажется, это вроде гипноза.

— Хм, гипноз — игрушка, хотя принципиально это вещи одного порядка, одной сути. Но гипноз — это когда я смотрю вам в глаза и передаю свою волю в непосредственном контакте. А вот если расстояние между нами несколько тысяч километров?

— Вы хотите сказать, что это возможно?

— Странно, почему вы сомневаетесь. Если в вашем распоряжении есть какая-нибудь батарейка и несколько паршивых проволочек, вы способны направить в эфир волну, и где-нибудь в Австралии ее поймают при помощи батарейки и нескольких паршивых проволочек. Но я — человек. Я сам источник энергии.

Тут профессор увлекся, в его рассказе замелькали мудреные выражения: «функциональная направленность», «ионные изменения», «генерация воли», «биотоки мозга», «интрацеллюляры» и даже «перецеллюляры».

Надя наморщила свой лобик, чтобы если не осмыслить, то сделать вид, что старается, и Казимир Францевич спохватился:

— Ну да, я понимаю, что непривычно. Одним словом, я — человек — способен забросить в эфир свою волну, а вы — другой человек — способны поймать ее, как бы далеко вы ни были от меня в это время. Потрясающее своеобразие биосвязи состоит в том, что все, что я вам передам, внушу, вы не будете воспринимать как волю, навязанную извне, но как свое собственное сокровенное желание.

В это время Надя достала из сумочки шоколадный

трюфель, медленно развернула его, обдула коричневую пыльцу и откусила.

— Вот-вот,— обрадовался Казимир Францевич,— вы захотели съесть конфету. Чего проще, при чем тут чужая воля? Так знайте же, что это я, я внушил вам желание съесть конфету, это была моя воля, а вы лишь приняли ее за свою. Понимаете, наш организм снабжен всем необходимым для передачи мыслей непосредственно из глаз в глаза без помощи дополнительных колебаний, и не только из глаз в глаза, но и на дальние расстояния. Однако, к сожалению, мы лишены возможности пользоваться аппаратурой. Вроде как в приемник, который вы купили в ГУМе, забыли вставить предохранитель — стеклянную трубочку с волоском. Или еще проще: вы не знаете, что нужно повернуть ручку и включить приемник. И вот приемник молчит, несмотря на то, что у него есть все для приема любой волны из эфира. И поделом. Представьте, если бы мы насквозь видели мысли, мечты, помыслы друг друга, а тем более если бы мы могли внушать друг другу всевозможные желания и действия, но каждый из нас не подозревал бы, что он действует не по своей воле... Вероятно, мы, человечество, в детском возрасте. А детям не дают в руки спичек, ножей, огнестрельного оружия или ядовитых таблеток. Подрастут, и все у них будет. Мы еще не подросли. Однако некоторые индивидуумы по случайности получили спички раньше времени. Я — из них.— Казимир Францевич откинулся и засмеялся.— Хотите оказаться в Париже?

Пространство снова покачнулось перед Надей. Морская синева разломилась на куски, на квадраты, на прямоугольники. Прямоугольники оформились в серые многоэтажные дома, замелькали автомобили, послышалась незнакомая торопливая речь. Потом сквозь дома и суету разноцветной толпы снова проступило синее море. И старик на плетеном стуле, и собственные Надины руки и ноги. И слегка звенело в голове, как после удара или когда проснешься и сразу же резко вскочишь на ноги.

— Вы побывали сейчас на Гревской площади. Не правда ли, занятно? Скажите, какая в Париже погода? Дождь или солнечно, как у нас в Крыму?

— К-как будто пасмурно... Но ведь это просто гипноз? Да? Просто вы мне внушили? Я ведь не была в Париже на самом деле?

— Ну что вы! Что произошло с вами, сущие пустяки. Хотите, я расскажу вам случай из своей практики? Я жил

в Сибири. Ко мне пришла старушка с просьбой рассказать что-нибудь о ее сыне, пропавшем в гражданскую войну. Ушел с белой армией, и больше ничего не известно. А я, значит, в роли гадалки. Карты, кофейная гуща и прочее. Должен узнать, рассказать. Однако обратилась она по адресу. Но мне нужен медиум, посредник. Если хотите, усилитель, мощная антенна. Впрочем, все не то. Технология достаточно сложна, чтобы вы ее сразу поняли. Одним словом, нужен особый человек. Не думайте, что интеллект, не обязательно. Лесоруб, шофер, каменщик. Но особая организация нервной системы. Тоже своего рода ребенок со спичками. Но, конечно, не знает. Я врач. Во время приема больных мне два-три раза попадались такие люди. На счастье старушки, один из них был поблизости.

— Ну и...

— Очень просто. Я посадил его напротив себя, он закрыл глаза, потерял волю. Я забыл сказать, что если обыкновенному гипнотизеру нужны глаза, то я апеллирую непосредственно к мозговому центру. В надбугровой части промежуточного мозга между верхними холмами четверохолмия существует эпифиз, или шишковидная железа,— небольшое тело красновато-серого цвета конусообразной формы. Назначение шишковидной железы до сих пор остается неразгаданным. Предполагают даже, что это рудиментарный остаток третьего глаза. Но еще йоги точно знали, что эпифиз — орган биоинформации.

Так вот, я обращаюсь непосредственно к мозговому центру. Мой помощник сидит закрыв глаза. Через некоторое время я начинаю задавать ему вопросы или даже приказывать. Он сквозь сон отвечает мне, что теперь он в большом незнакомом городе. «В каком?» — «Я не знаю».— «Подойди к прохожему и узнай».— «Говорят на незнакомом языке».— «Прочитай название улицы».— «Написано не по-нашему». Помощник с закрытыми глазами перерисовывает карандашом название улицы. На бумаге возникает французское слово. Я догадываюсь, что дело происходит в Марселе. Дальше — больше. Он находит человека, знающего по-русски, тот рассказывает ему, что искомый нами Петр Васильевич Брагин, кажется, работает поваром в порту на одном из больших пароходов.

— А они? Что чувствуют они?

— Те, с кем разговаривает мой помощник?

— Да, те, с кем он разговаривает.

— Этого я не знаю. Я думаю, что они чувствуют в это время тревожное беспокойство. Во всяком случае они вспоминают в это время о своем знакомом Петре Васильевиче, с которым давно не виделись. Вспоминаем же мы ни с того ни с сего своих давно забытых знакомых. И что они работают там-то и там-то, и что надо позвонить, увидеться.

— Ну и...

— Когда старушка написала в Марсель по нужному адресу, сын ответил.

— Красивая сказка.

— Вы невежливы, Надежда Петровна. Я стар для того, чтобы меня подозревать во лжи.

— Но это же мистика!

— Если бы вашему дедушке сказали, что можно видеть и слышать, как поют и танцуют в Лондоне, он воскликнул бы то же самое. Разве не мистика видеть то, что делается за тысячи километров? Однако видим. Через двести лет наш разговор покажется смешным и наивным, а более всего ваше удивление. Представьте даму высшего света времен Екатерины: «Как? Можно по проволочке разговаривать из Петербурга с Москвой? Можно даже и без всякой проволочки? Но это же мистика!»

Все материально, дорогая Надежда Петровна. В основе биологической связи лежат электромагнитные колебания, природа которых нам пока неизвестна. Нельзя же по отношению ко всему, что нам неизвестно, кричать: «Мистика! Не может быть! Сверхъестественно!» Может быть, существуют вовсе непривычные для нас сферы и формы материи, о которых мы не можем и подозревать. Человеческая мысль, может быть, даже не дерзает взглянуть в этом направлении, потому что это кажется сверхъестественным, нелепым. Есть сказочка про карася. Мудрость, достойная большой поэмы. Высунулся карась из воды, задохнулся — и скорей на дно. «Ну как?» — спрашивают его любознательные собратья. «Никакой жизни там нет»,— уверенно и твердо ответил карась. Не так ли подчас и мы?

Профессор пристально посмотрел на Надежду Петровну.

— Знаете что, не согласитесь ли вы принять участие в ряде опытов? Я вижу, что у вас тонко организованная, восприимчивая психика. Весьма. Это было бы важно для науки, для будущего.

— Ну,— улыбнулась Надя,— если вы собираетесь меня посылать то в Марсель, то в Париж, вряд ли,— непривычно и боязно. Кроме того, не люблю быть на побегушках.

— Речь идет о другом,— серьезно возразил профессор.— Вы знаете, сейчас проводятся иные опыты. Все начинается с азов. Так вот — азы. Наверное, вам приходилось слышать или читать в газетах, что, когда американская подводная лодка «Наутилус» плавала в Атлантическом океане в течение шестнадцати дней, беспрерывно проводились опыты по телепатии. В изолированном помещении в лаборатории на берегу безвыходно находился индуктор — студент Дюкского университета Смит. Дважды в день он осуществлял телепатическую передачу, бросая во вселенную ряд зрительных ощущений. Конкретно он передавал группу геометрических фигур: круг, квадрат, крест, звезду и три волнистые линии. Последовательность фигур при передаче каждый раз менялась. На борту «Наутилуса» в это время некто Джонс — морской офицер принимал импульсы индуктора. То есть он в определенный час, в определенную минуту сосредоточивался над листом бумаги и рисовал те же самые геометрические фигуры. Ему конечно, казалось, что он рисует их по своему желанию и произволу. На самом же деле он принимал сигналы.

— И все совпало?

— Более чем в семидесяти случаях из ста. Но ведь даже по телефону, бывает, не расслышишь некоторые слова, приходится переспрашивать. Не забывайте, что между ними было две тысячи километров расстояния, толща морской воды, корпус подводной лодки, всевозможные изолирующие переборки.

— Но если все мы что-нибудь излучаем, если импульсы летают в эфире, почему же мы их не слышим?

— Я уже говорил: не умеем пользоваться приемником. В эфире, например, мечутся радиоволны, самые разнообразные: и музыка, и речи, и сигналы бедствия. Но нужно нажать клавишу, чтобы приемник начал работать, потом нужно при помощи рукоятки поймать волну. Я говорил вам, что в нашем организме поставлены некоторые тормозящие устройства. Знаете ли вы, что люди с так называемой расстроенной психикой утверждают и настаивают, будто они постоянно испытывают на себе действие посторонней воли? Некий голос им приказывает совершить те или иные

поступки. Тысячи фактов, подтверждаемых медициной. Что ж, может быть, иногда перегорают предохранители.

Однако мы отвлеклись. Значит, давайте заключим союз в пользу науки и прогресса. На пять сеансов. Сейчас поясню. Когда вы уедете к себе в город, мы с вами осуществим пять сеансов биосвязи. В определенные дни, в определенный час и определенную минуту вы уединитесь (за час до сеанса), сосредоточитесь и в нужное мгновение нарисуете на бумаге то, что я вам в это время пошлю. Сначала это будет простенькая геометрическая фигура: квадрат, треугольник, круг, крест, ромб или даже простая линия. Второй раз сложнее (мы условимся), потом еще сложнее. В конце концов вы напишете целую фразу. Например, «Я вас не люблю», или «Волга впадает в Каспийское море», или что-нибудь в этом роде, я придумаю. Тотчас после сеанса вы запечатаете результат в конверт и пошлете мне. А я вам. Будем сверять наши рисунки и каракули. Вы согласны?

— Конечно, это так интересно и необыкновенно.

— Когда вы выезжаете в свой город?

— Одиннадцатого июля.

— Отлично. Шестнадцатого июля, в последнюю минуту десятого и в первую минуту одиннадцатого часа по московскому времени у нас будет первый сеанс биосвязи. Только вы уж не подведите меня, любезная Надежда Петровна. Вы умеете держать свое слово?

— Я обещаю вам, Казимир Францевич, что бы ни случилось (если, конечно, буду жива), шестнадцатого в десять часов... Короче говоря, я обещаю.

Мы начали наш рассказ именно с того, что этот самый день, 16 июля, не удивил Надю с утра ничем необыкновенным, хотя она, как только проснулась, подумала о предстоящем опыте. Опыт не выходил у нее из головы ни когда она умывалась, ни когда завтракала, ни по дороге в редакцию. У нее был маленький уютный кабинетик с окном на старинную церквушку. Надя не разглядывала церквушку, как не разглядывают у себя в квартире давно висящую картину, но все же замечала, что немудреный пейзажик успокаивает, если очень устанешь, что он хорош, может быть, именно своей ненавязчивостью, тем, что нет в нем ничего лишнего. Нужно только смотреть как можно дольше. Она радовалась, что ей не досталось окно другого сотрудника газеты, Миши Кулебякина. У того за окном

пыльная бугристая улица и учреждение с вывеской «Леспромхоз».

Зайдя в кабинетик, Надя открыла стол, разложила бумаги, минут пять по привычке поглядела в окно, чтобы успокоиться с дороги, и принялась за работу. Но все ее мысли были о том, что вот здесь же, за этим столом, сегодня в 10 часов вечера должно произойти чуть ли не чудо. Она примет сигнал из Крыма, зафиксирует его на бумаге. Наверное, все это чепуха. Что ж, тем интереснее проверить этот опыт.

В дверь кабинетика громко постучали, и на пороге появился незнакомый Наде человек. Он шагнул вперед, и в кабинетике сразу же стало тесно. Вместе с тем в нем стало как будто светлее,— может быть, от выгоревших соломенных волос парня, может быть, от его улыбающихся глаз, может быть, от его приветливой и доброй улыбки.

Он был одет по-дорожному, но со вкусом. Просторная мягкая куртка. Случайно ли, нет ли, носки и рубашка одинакового терракотового тона. «Не наш, приезжий»,— в первую секунду отметила Надя. Да и держится как-то... и скромно, и свободно. Чаще случается — либо уж не гнутся ни руки, ни ноги, либо уж неприятная развязность, как на шарнирах.

— Здравствуйте,— все еще улыбаясь, заговорил вошедший. Однако не полез с рукой, а выдержанно дождался, когда Надя сама первая решилась протянуть руку.— Я — молодой поэт. Зовут меня Иваном. Мне сказали, что все молодые поэты — ваше ведомство. Значит, я прямо к вам.

— Ну что же... Это правда... А стихи у вас с собой или вы хотите прочитать и получить консультацию? Вы не стесняйтесь, прочитайте какое-нибудь стихотворение, разберемся.

Иван улыбнулся.

— Стихи потом. Я по другому поводу. Собственно, я приезжий. Из Москвы. Скорее даже не приезжий, а проезжий, потому что сегодня же вечером сажусь на пароход и еду дальше к Ледовитому океану. Мне хотелось бы днем хорошенько познакомиться с городом. Старина и прочее. Я думал, если бы вы пожелали помочь. Вы ведь давно уж в этом городе.

— А почему, собственно, я должна играть роль экскурсовода? Есть музей, у него свои сотрудники.

— Все это так. Но очень уж эти сотрудники доскональный народ. Заговорят. Хотелось бы более непринужденно. И потом, лучше, когда тоже литератор. Ваш главный редактор, например, встретил меня более сердечно. Между прочим, именно он посоветовал мне обратиться к вам.

— Простите, вы сказали, что вы московский поэт. Как ваше полное имя?

Наде хотелось уязвить добродушного парня. Мол, что-то не приходилось слышать. Но вместо того она вспыхнула и закраснелась. Имя ей было хорошо знакомо. Она даже написала однажды небольшую рецензию на книгу стихов Ивана Спешнева, она даже знает наизусть два его стихотворения! «Боже мой, а я ему предлагала, чтобы он прочитал стихи, хотела проконсультировать. Боже мой, какой конфуз!»

— Ну так что же, согласились бы вы подарить проезжему москвичу несколько часов вашего драгоценного времени? Начальство не возражает.

— Я, конечно, могу. Но в смысле пользы... Я, право, не знаю — все эти монастыри, церкви...

— Польза будет. Спасибо, что соглашаетесь. Значит, начнем с Никиты Мученика.

— С какого Никиты? — переспросила Надя.

— Да вон с того, что смотрит на вас через окно ежедневно с девяти до семнадцати.

— Ну вот, а я не знала, что это мученик.— Ей хотелось добавить для каламбура: «Разве уж так мучительно смотреть на меня с девяти до семнадцати?» — но она вовремя спохватилась, что острота получилась бы дешевенькая и пошленькая.

Они пошли по городу. Собственно, показывал и рассказывал больше приезжий, а Надя только хлопала глазками и удивлялась. У Никиты Мученика оказались какие-то необыкновенные кокошники над окнами. В Ризоположенском монастыре, в Успенском соборе прекрасно сохранились фрески, будто бы школы Дионисия. Дионисий же будто бы — ни много ни мало — Моцарт русской живописи. Надя часто ходила мимо монастыря, но ей почему-то больше нравилась высокая причудливая колокольня, нежели простенький, с узкими окнами собор. А оказалось, что колокольня построена сто лет назад и не имеет никакой ценности по сравнению с собором.

Они долго ходили по собору, разглядывая яркую

роспись. Иван рассказывал ей разные библейские сюжеты. И то, что казалось раньше цветными пятнами, пробежало бы мимо глаз и сознания, разворачивалось в стройную картину, приобретало смысл. Насмешила их одна фреска. Художник иллюстрировал известное изречение: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, в своем же глазе бревна не зришь». Так и нарисовано было большое сосновое суковатое бревно, как бы торчащее из глаза.

— А это притча о блудном сыне,— толковал Иван.— Самый емкий литературный жанр — притча. Квинтэссенция мудрости. Она приложима к тысячам случаев в жизни во все века, при любом социальном укладе.

Когда ходили по городу, Надя вдруг стала замечать то старинный домик, на который раньше не обращала внимания, то необыкновенные наличники, то необыкновенный фонарь над крыльцом — крупицы красоты, дошедшие из прошлой жизни. Она поймала себя на том, что ей интересно с Иваном, что за эти полдня она узнала о городе больше, чем за предыдущие два года. Да и не в том дело, что узнала,— что-то такое поняла. Как бы появился новый взгляд, который теперь уж останется навсегда. Чувство благодарности к высокому плечистому человеку, уверенно шагающему по деревянным окраинным тротуарам, тепло разлилось в сердце.

Был второй план в их отношениях. Он наметился с самого начала. С одной стороны, они просто идут по улице для того, чтобы подойти вплотную к самому Никите Мученику; с другой стороны, Надя немного смущается, а втайне горда и рада, что рядом с ней идет этот видный парень и московский поэт. Хотелось, чтобы встречались знакомые ей люди и видели ее рядом с ним. Она чувствовала в себе постепенное, но уверенное нарастание счастья и радости. Бывало ведь и так, что он рассказывает о каменных кокошниках, и слова его все о кокошниках, а в глазах, смотрящих на нее, то улыбка, то усмешка, то вроде бы дерзость, то вроде бы теплота. Во всяком случае, далекое от кокошников XVII века. Там он помог подняться на приступок, подал ей руку, и тоже что-то произошло в те две секунды, пока ее рука соприкасалась с его рукой, там он поддержал ее под руку, там, когда она обернулась к нему, чтобы спросить, глаза их оказались близко-близко. Он просто посмотрел ей в глаза, и она забыла, что хотела спросить, отвернулась в смущении, и некоторое время они молчали, каждый про себя переживал увиденное в глазах друг у друга. Однаж-

ды она перехватила его взгляд — он смотрел на ее губы.

Внешне же все как было: от церкви к старому купеческому дому, от него к монастырю...

Обедать они пришли в ресторан «Север». Иван быстро и умело выбрал из незамысловатого, правда, меню (но ведь тем труднее выбрать) именно то, что больше всего хотелось бы Наде, и это тоже было удивительно, как было поразительно все в этот день.

Иван отодвинул меню, положил свои большие руки на стол и стал спокойно смотреть в лицо Нади.

— Зачем вы смотрите?

— Было бы хуже, если бы я отвернулся. Вы знаете, мне не хочется уезжать сегодня из вашего города. Тем более, что мы не успели побывать в музее, а ноги наши гудят. Завтра ведь тоже будет пароход, не правда ли? Вечером мы поедем в Белые Горы. Посмотрим это заповедное место. И вообще... Поедемте со мной к океану. Зеленые волны, розоватое солнце над водой, маленький черненький пароходик.

— Нет, нет, я не могу в Белые Горы. И вообще вечером я должна быть свободна. Я пообещала.

— Ах, вот оно что... Извините.

— Вы не думайте, я обещала очень старому, пожилому человеку, ему за семьдесят...— Тут Надя почувствовала, что получается полная чепуха, и торопливо и сбивчиво рассказала историю с профессором.

— М-да. Ну что же, вы правы. Дело на безделье менять нельзя. Идите и рисуйте свои треугольнички.

Надя умоляюще глядела в глаза Ивану. «Ну что тут страшного,— хотелось ей сказать.— Будет ведь завтра новый вечер, можно поехать в Белые Горы. И послезавтра. Но я не виновата, если пообещала две недели назад».

Но Иван уж помрачнел, и, значит, такой был у Ивана характер, что не умел он сразу переломить себя.

Надя проводила его до пристани. Когда появилась между пароходом и бревенчатым настилом полоска быстротекущей воды, обоим показалось, что делают они не то и что все обстоятельства — мелочь по сравнению с тем, что у них появилось, что нужно бы считать сегодня важным и главным.

Иван помахал рукой, Надя потянулась, привстала на цыпочки, но полоска воды расширялась, а пароход, показав корму, развернулся и бойко зашлепал плицами.

В свой кабинетик Надя пришла задолго до условленного срока. Ей было обидно и горько. Как если бы маленькой девочке, ребенку, подарили небывалую, яркую игрушку и она уж протянула ручонки, но все исчезло. Как ни странно, досадовала Надя не на Ивана, который несправедливо обиделся и уехал, не на себя, что не смогла его удержать, а на далекого Казимира Францевича, для которого нужно рисовать эти нелепые треугольнички. Если бы не они, сейчас Надя была бы с Иваном, они поехали бы в Белые Горы. Будь неладен этот старик! «Ну хорошо же, что бы он ни внушил мне сегодня, возьму и нарисую ему треугольник. Да, назло нарисую просто треугольник, и ничего больше. Вся его телепатия полетит вверх тормашками».

Часы за стеной в пустом кабинете главного редактора начали бить десять. Надя решительно придвинула лист бумаги и нарисовала равносторонний треугольник. Но рука ее, видимо, дрогнула от волнения. Боковые стенки треугольника получились не прямые, а слегка округлые.

— А, так вот же тебе! — В один миг жирным нажимом карандаша Надя переделала треугольник в полукружие.— Вот же тебе, старый придумщик.— Солнечные лучи брызнули от полукружия вверх и в сторону, точь-в-точь как на бесчисленных детских рисунках.— Ну что же теперь еще? Для смеху. Назло. Ага, волны моря. Зеленые волны моря. И маленький черный пароходик. Ну, что бы еще? Над морем полагается болтаться чайке. Хорошо, будет тебе и чайка.

Надя положила свое творение в конверт, лизнула языком невкусную клейкую полоску.

На другой день, успокоившись и хорошо выспавшись, Надя пожалела о своей вчерашней проделке. Не нужно было обижать старого чудака. Мало ли что. К тому же не сдержала слова. К серьезному, может быть, научному опыту отнеслась легкомысленно, по-детски.

Несколько дней спустя Надя получила сразу два письма. Одно было со штемпелем Крыма, другое из портового города на берегу Ледовитого океана. В конверте профессора лежал маленький листик бумаги с изображением правильного, уверенно вычерченного квадрата. Разорвав другой конверт, Надя побледнела и отшатнулась. Она увидела свой собственный рисунок, тот самый, что послала профессору в Крым: солнце с лучами, волна, пароходик,

чайка. Неужели перепутала адрес? С кем перепутала? Она не знает никакого второго адреса. Но была и коротенькая записка.

«Милая Надя! Сейчас ровно 10 часов, я на палубе того самого парохода. Сейчас вы слушаете приказы из Крыма. Но я тоже решил включиться в игру. Я надеюсь, что приказ молодого горячего сердца пересилит чары старого волшебника. Посылаю вам то, что вы нарисуете, я уверен, по моему велению. Напишите мне, так ли все получилось. Еще несколько дней я проживу по этому адресу...»

Надя побежала к расписанию, висящему на стене корреспондентской, и нашла, что ближайший пароход в тот портовый город уходит на рассвете, в пять часов двадцать две минуты...

1964

ОЛЕПИНСКИЕ ПРУДЫ

ТРИ БЕЛОСНЕЖНЫЕ ХРИЗАНТЕМЫ

Ни здесь в Париже, ни потом в Москве никто не мог объяснить мне, почему Шаляпин похоронен на кладбище Батиньоль. Большинство людей, спрашиваемых мной, вообще не знали, на каком он покоится кладбище. Называли наугад либо Сент-Женевьев де Буа, либо уж Пер-Лашез.

И правда, оба кладбища были бы понятнее и объяснимее в рассуждении могилы Шаляпина, нежели это самое Батиньоль.

Сент-Женевьев де Буа (Cainte-Genevieve des Bois) — некрополь русской парижской эмиграции. В небольшом красивом лесопарковом местечке Сент-Женевьев, недалеко от Парижа (у нас это могли бы быть Салтыковка, Переделкино, Малаховка, Перхушково, Абрамцево, Голицыно...), княгиня Мещерская приобрела замок и устроила там своеобразный пансион, который назывался «Русским домом». Занимались в этом пансионе, по выражению Александра Львовича Казем-Бека, полировкой светских девиц. Не только русских. Среди клиенток попадались дочки миллионеров. Заведение процветало. Тем не менее (не знаю, в результате какой эволюции) в замке оказываются уже не молодые девицы, а, напротив, престарелые эмигранты, инвалиды, человек двести — триста. Нечто вроде богадельни высшего типа. Старички начали умирать. Их начали хоронить на местном кладбище. Сент-женевьевский муниципалитет (горсовет — по выражению Александра Львовича Казем-Бека) понял, что тут таятся большие материальные перспективы. Отведена земля. Кладбище стилизуется: березки, белая сирень, белая церковка, построенная одним из Бенуа, похожая на Покров на Нерли. Уголок России по виду (поскольку стилизован) еще более русский, чем любое российское кладбище. Светятся березки, осыпается на тихие дорожки золотая листва. В оформлении и содержании могил русское благолепие соедини-

лось с западной образцовостью. В перекрестии могильных крестов и в нишах памятников теплятся негасимые лампады, мерцают эмалевые иконки. Тишина. На безлюдных аллеях редкие прохожие, например старички в черном. Могилы, могилы, могилы. Фамилии на надгробных плитах все больше знакомые. Оболенские, Волконские, Шуваловы, Шереметьевы, Меньшиковы, Воронцовы, Мещерские, Мусины, Гончаровы, Толстые, Потемкины, Сперанские, Трубецкие, Муравьевы, Щербатовы, Пестели, Одоевские, Олсуфьевы, Васильчиковы, Шуйские, Оленины, Арсеньевы, Кутузовы, Салтыковы, Раевские, Ермоловы, Борятинские... Сотни других фамилий, которые могут оказаться еще знакомее только что перечисленных. Фамилии знакомы не потому, что мы лично знали людей с такими фамилиями, но потому, что каждая из них что-нибудь нам напоминает. Там строки ломоносовского послания: «Не правы те, Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов», там державинский возглас: «Куда, Мещерский, ты сокрылся?», там лермонтовское стихотворение «На светские цепи, на блеск утомительный бала» (Щербатовой). Одоевский — друг Лермонтова, Раевский — герой Отечественной войны, Борятинский — пленитель Шамиля... вспоминаешь то о роли Шуйских во время великой смуты, то пушкинскую лирику («но сам признайся, то ли дело глаза Олениной моей»), то вдруг — белогвардейские генералы (ну, скажем, Деникин), потом, отдельно, как бы сохраняя воинский строй, белогвардейцы-алексеевцы, корниловцы, эмблемы на могильных плитах (череп и две кости), скорее перейдешь к могилам художников (Коровин, Сомов), поникнешь головой около каменного остзейского креста над прахом Ивана Алексеевича Бунина.

Могилы, могилы, могилы среди белых березок. Каждую неделю прибывает 6—7 свежих могил. Каждый день в стилизованной русской церковке звучат панихиды. Эмиграция вымирает. Постепенно умрут все русские люди, живущие в Париже, молодежь переменится, растворится в прекрасной Франции. Будут ли и тогда гореть негасимые лампады здесь над могилами?

Итак, на русском кладбище Шаляпина нет. Не захотел. Мотивы такого решения никому не известны, о них можно только гадать. Но остается еще знаменитое кладбище Пер-Лашез, достопримечательность Парижа наряду с Эйфелевой башней, собором Парижской богоматери, Елисейскими полями, Лувром, Пантеоном, Монмартром, самой Сеной

и многими еще достопримечательностями такого же ранга. Пер-Лашез!

И хотя предприимчивый трактирщик через улицу, против входа на это кладбище, начертал на своем заведении, завлекая туристов: «У меня лучше, чем напротив», все же если уж лежать в земле знаменитому человеку, то, казалось бы, лежать ему надо на Пер-Лашез. Великие писатели и поэты, художники и музыканты, великие лицедеи и политики — все лежат там.

Тут уж нет той благоговейной тишины, которая окружает могилу Бунина. Разноплеменные, разноязыкие туристы толпами валят и валят, протискиваются, толкаются, глазеют, текут говорливыми потоками мимо замшелых каменных надгробий либо подернутых зеленой патиной бронзовых монументов.

Федора Ивановича Шаляпина среди знаменитостей и звезд Пер-Лашеза нет. А ведь сколько бы людей остановилось и вздохнуло, сколько цветочков было бы положено к мраморной черной плите. Да, но по́ходя, мимоходом, по пути от Дюма к Бальзаку и от Мопассана к Эдит Пиаф. «Смотрите, Шаляпин! А я и не знала, что он тоже на Пер-Лашез!»

Нет уж, если теперь кто-нибудь придет к Шаляпину на могилу, то придет только к нему.

Я решил поехать к Шаляпину на кладбище Батиньоль. Парижское метро, хоть и неказисто на вид, замечательно тем, что пронизывает всю землю под Парижем, как паутина. Остановки короткие, как у московского троллейбуса. Спустившись под землю в любой точке Парижа, можно попасть в любую другую точку.

Покинув наземный Париж на бульваре Сен-Жермен, невдалеке от того места, где на него выходит рю дю Бак, я вынырнул на поверхность на северной, трудовой окраине французской столицы.

Вместо оживленной и как бы праздной толпы; вместо бесчисленных кафе и устричных корзин перед ними; вместо ярких машин — белых, красных, серых, вишневых, оранжевых, черных, голубых, изумрудных, перламутровых, кремовых, шоколадных,— коловращающихся по тесным для них каменным кровеносным сосудам города и образующих на каждом перекрестке тромбы, называемые в городском обиходе пробками; вместо громких транзисторов, сливающихся с кла́ксонами автомобилей и с гулом прохожей толпы, создающих впечатление, что вся эта

парижская толпа не просто движется по Парижу, но танцует фантастический беспрерывный танец; вместо пестрых газетных и табачных лотков; вместо разнообразных витрин — ярчайшая зелень, ярчайшие рыбы, ярчайшее мясо, ярчайшие платья, ярчайшие драгоценности, ярчайшая обувь, ярчайшие меха, ярчайший старинный фарфор; вместо всех этих фронтонов, порталов, атлантов, кариатид, капителей, фонарей, куполов, башенок, разновековых завитушек на фасадах зданий — я увидел вокруг себя прямоугольные, казенные, серые и черные громады домов, закоптелые вплоть до стекол, от одного вида которых просыпается около сердца противная холодная пиявка. Отвратительно шевельнувшись, она прилипает своим присоском к сердечной стенке и, не делая больно, но делая тоскливо, неуютно и зябко, начинает сосать.

В руке у меня были три белоснежные хризантемы, купленные еще в разноцветном центре Парижа.

Я думал так: времени у меня много, буду бродить один по французскому кладбищу, пока не набреду на великую русскую могилу. В том, что я на нее набреду, сомнений не было. Во-первых, она чем-нибудь выделяется. Во-вторых, спрошу у людей — каждый знает. Да и не было у меня как будто другого выхода. Если бы я пригласил в этот «поход» кого-нибудь из парижских знакомых, мы плутали бы по кладбищу вдвоем и, может быть, нашли бы могилу быстрее, но мне хотелось прийти к ней одному, совсем одному.

Много мне приходилось видеть разных кладбищ. На некоторых бываешь по необходимости, хороня собратьев по перу, родственников, друзей. На иные заходишь ради любопытства, ради туристского интереса: замечательные памятники, известные люди, черты эпохи, традиций, религиозных представлений.

Наше деревенское кладбище — сосновый лесок над песчаной кручей, огороженный пряслом в две жерди, изобилующий летом перезрелой земляникой, которую никто по понятным причинам не собирает. Пошли теперь в ход сварные оградки и сварные из узких железных полос кресты, окрашенные в серебряную, в голубую, в зеленую краску. В кустах кое-где валяются банки из-под краски, износившаяся масляная кисть, водочные бутылки. Тишина, нарушаемая посвистыванием синичек, трава выше колен, прополотая внутри оградок.

Иногда из окна вагона, около поселка, уже перерастающего в город, на отшибе, на голом месте успеешь вглядеть-

ся во многое множество фанерных пирамидок, тоже то голубых, то серебряных, то под бронзу.

Магометанские кладбища похожи на покинутые людьми города. Куполообразные мавзолеи над могилами, плоские камни, осененные полумесяцами, испещренные арабскими письменами. Сверх того на камне высечено иногда изображение предмета, говорящее о бывшей земной профессии правоверного: расческа или ножницы, если брадобрей, кинжал иль винтовка, если воин. На одном камне я видел сразу три предмета: кувшин, очки и клюшку. Мне пояснили: кувшин — символ чистоты, опрятности, благочестия; очки говорят о том, что покойный был начитан и мудр, хорошо знал Коран; клюшка свидетельствует о преклонном возрасте. Итак, из трех предметов вырастает цельный и законченный образ человека, тремя предметами, без слов, сказано все главное о нем.

Около местечка Ружаны в Белоруссии, выйдя во время прогулки из молодого соснового леса, я увидел необыкновенное зрелище. Ровное поле поросло суховатой степной, а еще вернее, седой травкой. Из земли торчало множество небольших, заостренных кверху камней. Восточная вязь на них. Видно, что место давно оставлено людьми, либо переселившимися, либо вымершими. Получалось впечатление встречи с иной, неизвестной цивилизацией. Ни заборов, ни цветов, ни тропинок. Заостренные камни, ровная сухая земля, седоватая травка.

Перенаселенные, дефицитные, уплотненные кладбища Москвы. Малогабаритные могилы — бочком кое-как протиснуть гроб в глубину ямы, где устроено для него экономное нишеобразное расширение.

Беломраморные и черномраморные, похожие больше на выставки надгробий, музейной чистоты кладбища, скажем, Вены, Мюнхена, Ниццы. Много их, кладбищ, на земле. И вот еще одно — Батиньоль.

Меня поразила геометрическая четкость его планировки. Могилы образуют каре, прямоугольники по сорок — допустим — темных мраморных плит в каждом каре. Каре называются эскадронами. Эскадроны пронумерованы, как и каждая могила внутри эскадрона. Только по номеру и можно отыскать нужную тебе могилу.

Сначала я шел не торопясь, и безмолвные эскадроны проплывали мимо меня справа и слева, однообразные, четкие, не нарушая своего безупречного строя. Мои азы во французском языке не позволяли бегло, на ходу схватывать

глазами надгробные надписи. Надо было останавливаться и вчитываться. Через четверть часа я понял, что тут проходишь и день и два и не найдешь могилы Шаляпина. Разве что последовательно, с первого до последнего обойти по рядам все эскадроны, которых хватило бы на целую армию Наполеона Бонапарта.

Посетителей в этот час (дело шло к шести вечера) на кладбище Батиньоль уже не было. Одинокая пожилая женщина попалась мне навстречу. Она шла к выходу и, как показалось мне, очень спешила.

— Shalaipine? Le grand Russe? Je ne sais pas...— и она пожала плечами.— Не думаете ли вы (по-французски, конечно), что он покоится на Пер-Лашез?

— Нет, я не думаю, я точно знаю, что он лежит здесь.

Француженка еще раз пожала плечами и еще больше заторопилась к выходу. Дело мое казалось безнадежным. Конечно, будь здесь живая толпа, столь же многочисленная и необъятная, и находись в этой толпе живой Шаляпин, и бурли и коловращайся эта толпа, словно нижегородская ярмарка, насколько легче было бы увидеть в ней Шаляпина, нежели теперь отыскать его среди неподвижных и черных плит. Вероятно, он сразу бросился бы в глаза, широкий, огромный, яркий, ни на кого не похожий, единственный среди всех людей — Шаляпин. Но одинаковы темные плиты, и на чужом языке сделаны скорбные надписи на них, и день склоняется к вечеру, и надо мне искать теперь не могилу, а кладбищенскую контору.

Француз, похожий на кинокомика Бурвиля, выслушал меня, и его лицо приняло озабоченное выражение.

— C'est possible, que monsier ne sait pas... Господин, возможно, не знает, что наше кладбище закрывается ровно в шесть часов. Сейчас без четверти. Успеет ли господин? Разумеется, я дам гида, может быть, господин успеет...

Молодой человек, в свою очередь похожий на кого-то из французских киноактеров, вышел ко мне из другой комнаты. Не откладывая дела, я протянул ему десять франков, он сказал «о!» и посмотрел на ручные часы.

— Остается двенадцать минут. Пять минут туда, пять минут обратно, две минуты... Может ли господин бегом?

Да, рисовало, рисовало еще сегодня утром мое воображение эту встречу двух русских людей. Раздумчивое брожение по печальным скорбным дорожкам. Найти, положить хризантемы. Постоять. Прислушаться к набегающим мыслям и чувствам, к их неизбежной последовательной

цепочке. А направление цепочки будет зависеть от изначального толчка. А толчок будет необыкновенный, редчайший — могила Шаляпина. В Париже! Посидеть, пока не стемнеет. Уйти, унося устоявшуюся за эти часы печаль, мысли, ставшие более четкими, чувства, ставшие более определенными.

— Умеет ли господин бегать бегом?

— Умеет, умеет.

Мы побежали сначала легкой трусцой, еще словно смущаясь бега, еще пробуя собственную резвость. У гида была сложная задача, обусловленная его французской деликатностью, самой должностью кладбищенского гида и, кроме того, десятифранковой бумажкой, которую я ему заранее дал. Бежать не слишком быстро, чтобы не утомить господина, и все-таки бежать, чтобы успеть к закрытию кладбища.

Эскадроны мчались мимо нас на рысях. Мы поворачивали под прямым углом, и навстречу нам бросались новые, доселе неподвижные эскадроны. Мы дышали тяжело, как, бывало, во время хорошего кросса. Внезапно ведущий остановился. Я оглянулся в растерянности, не видя ничего выдающегося или хотя бы заметного. Вокруг лежали все такие же эскадроны и эскадроны. Но я скользнул взглядом по короткой нисходящей прямой — от полуопущенных глаз гида до черной плиты — и увидел надпись: «Le grand fils de la terre russe...» — «Великий сын земли русской...»

Поняв, что я нашел то, что мне было нужно, гид отошел на три шага и повернулся к нам (ко мне и к могиле) спиной. Он смущенно сложил руки на животе и опустил голову. Он стоял в такой позе, не поворачивая головы, ровно две минуты, как и было условлено. Он не оборачивался, понимая, что если человек пришел к могиле, то ему нужно побыть с ней наедине. И мало ли? Бывает ведь, наверно, в кладбищенской практике, когда опускаются на колени, кланяются земными поклонами или даже падают на землю плашмя, прижимаясь щекой к холодному мрамору и гладя его руками.

Сгущались сумерки. Они размывали графику трех белоснежных цветков на черной, как полированный каменный уголь, плите [1].

---

[1] Потом многие мне говорили, что мрамор на могиле Шаляпина коричневый. Возможно. Не знаю почему — он мне запомнился черным. *(Здесь и далее примечания автора).*

По истечении двух минут проводник встрепенулся, и мы в том же ровном, но энергичном темпе побежали к выходу с кладбища.

Иногда спрашивают у меня, когда расскажешь этот полупечальный, полу... Нет, все-таки просто печальный эпизод: неужели, держа в уме побывать на могиле Шаляпина, я не отвез ему горстку русской земли в целлофановом мешочке и в чистой белой тряпочке?

— А что ему горстка? — отвечу я.— Вся русская земля принадлежит ему, так же как и он принадлежит ей. Возможно, состоится когда-нибудь торжественно-скорбная церемония, еще одно, последнее путешествие. Между прочим, кладбище Батиньоль, в рассуждении этой будущей церемонии, облегчает задачу высоких договаривающихся сторон, по сравнению с кладбищем Пер-Лашез и даже с Сент-Женевьев де Буа.

1972

ЗОЛОТОЕ ЗЕРНО

Время течет и вымывает из памяти сначала более легкие впечатления, а потом добирается до основных и тяжелых. Согласен, что самое тяжелое останется на дне и, может быть, даже не шелохнется, но хорошо, когда оно предстает постороннему глазу в оправе сопутствующих ему в действительной жизни впечатлений. Лучше цельный и стройный колос (хотя он наполовину мякина), чем просто горстка зерен. Есть у меня в памяти между прочих такой колос и одно из зерен в нем — золотое.

Я согласился участвовать тогда в десятидневной, как раньше бы сказали, благотворительной поездке и вылетел в Новгород, откуда эта поездка должна была начаться. Предстояло выступить с чтением стихов в нескольких концертах, сбор от которых — отчисление в какой-то там фонд. Очередного молодежного фестиваля? Охраны памятников? Понятнее было бы в последнем случае, почему концерты начинались в древнем Новгороде и каким образом организаторам удалось «заполучить» для участия в концертах великого русского певца с чистейшим лирическим тенором.

Многие, тотчас догадавшись, о ком идет речь, опротестуют титул, самовольно данный мной певцу, но, думается, что я прав.

После Собинова, о котором мы уже не стесняемся говорить «великий», у нас два тенора выходят из ряда вон так решительно и далеко, что другие, тоже замечательные теноры остаются все же внизу и сзади. Если время в течение ближайших лет не произведет какого-нибудь уникума, который затмит все и вся, то эти певцы — Лемешев и Козловский — так и будут представляться нам серброголовыми великаньими вершинами в ряду пусть и высоких, но не достигающих все же оледенелой, незыблемой славы гор.

Проезжая от аэродрома к гостинице, я увидел, что Новгород пестрит афишами, на которых крупными красными буквами написана фамилия знаменитого певца. Ниже, в два столбца, меленько обозначены остальные участники благотворительных, шефских, как теперь говорится, концертов.

Это афишное распределение невольно получалось и в жизни: в гостинице, на улицах города, если мы все выходили на прогулку, в ресторане, где мы обедали, при осмотре древностей, когда экскурсовод рассказывала нам о Спас-Нередице, о Николе на Липне, о Федоре Стратилате на Ручью.

Сколько бы ни было нас, хоть двадцать человек, все равно прохожие на другой стороне улицы останавливались ради одного человека, и доносился до нас их восторженный, с придыханием шепот: «Козловский, Козловский, Козловский...»

Работники обкома и облисполкома не ради нас все время обретались в гостинице и гостиничном ресторане; черный обкомовский ЗИЛ не ради нас дежурил около подъезда; лучшие экскурсоводы не ради нас вызывались на работу в неурочное время; повар не ради нас вытворял чудеса, в том числе и такое, ежедневное, можно сказать, дежурное в те дни чудо, как судак, начиненный грибами.

Если бы рядом с Козловским ездил другой певец, приблизительно того же ранга, заслуг и такой же популярности, а все кричали бы: «Козловский, Козловский, Козловский!..» — другому певцу, вероятно, было бы обидно, его самолюбие уязвлялось бы на каждом шагу.

Но мы ощущали себя как свита короля или патриарха, когда не надо даже и думать, почему все восторженные взгляды обращены не на тебя, а на другого человека. Именно потому, что он король, патриарх.

Итак, мы несли бремя его славы легко, грелись в ее лучах и даже веселились, находя для этого разные поводы.

В первый же день мы получили прекрасный повод для шутки, которая сопровождала нас потом во все время поездки. Репортер местной газеты, улучив момент, подошел к другому певцу из нашей бригады (его фамилия была Вильнис) и спросил:

— Семен Иванович, нельзя ли у вас взять интервью?

Трудно даже сказать, которая из двух одновременных ошибок репортера потешила нас больше: та ли, что он принял Вильниса за Козловского, та ли, что он назвал его Семеном Ивановичем вместо Ивана Семеновича. Но с этого часа мы уже не называли за глаза предводителя нашей группы иначе, как Семеном Ивановичем.

— Семен Иванович еще не обедал?

— Надо бы зайти за Семеном Ивановичем.

— Семен Иванович сказал, что с нами он не поедет.

Мне было легче других еще и потому, что с самого начала я понял одну простую вещь. Только вот как ее пояснее выразить? Скажем так. Мы нервничаем у телефонной будки, если «тип», занявший ее, говорит лишние десять минут, но мы не дергаемся и никого не ругаем, если междугородный разговор нам дают через час. Мы не мечемся и не пишем жалоб, если вылет самолета по метеорологическим условиям задерживается на полдня. Мы тем более не злимся на то, что после лета не сразу наступает зима, но бывает еще и дождливая осень. Если поискать, можно найти и более абсурдные примеры неизбежных, данных, не зависящих от нас обстоятельств, которые так и надо принимать со всей их заведомой неизбежностью.

Когда машины стояли уже около тротуара на солнцепеке и все уже сначала уселись в машины, но потом вышли из них в нетерпении, и стоят, и глядят на окна предполагаемых гостиничных комнат; когда отъезд назначен на 9.30, а на часах дело продвигалось уже к 11; когда все кипели и шипели, исторгая вместе с проклятьями слово о «неуважении к коллективу»,— я оставался спокойным и ждал появления мэтра не более нетерпеливо, нежели ждал бы в жаркое лето дождя, который радует, если он наконец пошел, но все же не пьешь валерьянку, если на небе пока ни облачка.

Кроме того — случай необыкновенный. Человеку достался от бога удивительный, тончайший инструмент, драгоценность такого порядка, когда она не может уже быть принадлежностью одного человека, но есть достояние всех — общенародное, общечеловеческое достояние. Одна-

ко казус состоит в том, что по-будничному, по-повседневному, драгоценность эта находится все же в распоряжении одного человека и он волен распорядиться ею как захочет. Он может ее пропить, испортить (для этого достаточно попеть на морозе или хватить ледяного пива), унести от людей в преждевременную могилу путем беспорядочного образа жизни.

Но человек правильно понял свою задачу носителя и хранителя редкой, а точнее, единственной в своем роде драгоценности. Он смолоду образовал свой голос, поставил его, настроил свой музыкальный инструмент. Он обогатил природный дар воспитанием в себе прекрасного музыкального вкуса и приобретением большой музыкальной культуры. Наконец, он понял, что все — и жест, и манеры, и внешний вид, и поведение в человеческом общежитии — все это тоже есть лишь прикладное к единственному и главному и может быть либо оправой, еще больше украшающей редкий алмаз, либо мусором и грязью, мешающими видеть его во всей чистоте и блеске.

Я вижу талантливого поэта (тогда ему не было еще пятидесяти, а теперь его давно нет в живых), который в восемь утра дрожащими руками наливал себе полный стакан водки и выпивал его натощак, и сознание туманилось, а душа (инструмент, данный ему) становилась пустынной и липкой, а мозг (инструмент, данный ему) превращался в мыло самого низкого качества.

Я вижу превосходного драматического актера, которому играть бы еще да играть, а он не может зашнуровать ботинок, потому что нагнуться мешает безответственно раскормленный живот.

Я вижу талантливых молодых ребят: Володю Морозова, Диму Блынского, Ваню Харабарова, Колю Анциферова, которые все теперь лежат в земле сырой единственно потому, что не поняли вовремя своей роли носителей редкого дара, находящегося по некоторой случайности в их распоряжении, но являвшегося не только их достоянием.

— Подожди, подожди! — скажут со всех сторон.— Уж будто?.. Уж мы-то знаем... вспомни...

Я и сам знаю, что я не ангел. Но тем более могу ли я не уважать восторженным уважением семидесятилетнего, седовласого человека, содержащего свой музыкальный инструмент, свой дар в полной сохранности, в прекрасном состоянии, во всегдашней готовности, в безукоризненном порядке?

Мы должны ехать осматривать древности Новгорода и окрестностей. Да, суетливо мы собрались ровно в девять. Хотя все равно некоторые «тянулись» и присоединялись к нам с опозданием, но с каким-то суетливым опозданием. Мы одеты все кое-как (не концерт же сейчас), мы нервничаем и ругаем семидесятилетнего старика за то, что он опаздывает и тем самым как бы не уважает нас. Но я его все равно уважаю. И когда он появляется, высокий, подтянутый, красивый, вежливый, не повышающий ни при каких обстоятельствах своего голоса, в ослепительно белой рубашке, в изысканной «бабочке», безукоризненный, одним словом, во всех отношениях, я понимаю, во-первых, что и он уважает себя, а вернее, тот дар, который носит в себе, и то имя, которое существует уже как бы отдельно от него как такового; я понимаю, во-вторых, что он уважает тех людей, которые будут видеть его на улицах Новгорода. И все мы в своих безгалстучных разноцветных рубашках с расстегнутыми воротниками, с пиджаками и куртками «на руке», в ботинках, чищенных в последний раз еще в Москве (а кое-кто даже и не побрился!), кажемся приготовишками рядом с мэтром, плебеями, челядью, уличной толпой. И поделом нам! И вот образец, к которому надо присмотреться, если еще не поздно тебе присмотреться. Да, конечно, демократизм. Но как же быть в исключительных случаях? Неужели идти на поводу у этого самого демократизма?

Мы завтракаем в ресторане при гостинице. В углу стоит приспособление под названием «Меломан». Ме-ло-ман! То есть любящий музыку до самозабвения. Можно ли еще злее насмеяться над этим понятием, как назвать меломаном то чудовище, которое стоит в углу ресторана. Оно молчит пока. Но сейчас сунут ему в пасть металлическую монету, и что-то дрогнет, щелкнет внутри чудовища, оно проснется, задвигаются его рычаги. Один рычаг бесстрастно понесет черный диск, положит его плашмя, еще раз-два что-то щелкнет, и всех нас, мирно жующих и беседующих, оглушит дикая музыка.

Музыка — духовная пища. Доказательств не надо. Притом наиболее тонкая, наиболее изысканная духовная пища. И наиболее концентрированная. Значит, если в приеме всякой пищи должен быть какой-нибудь порядок (едим 3—4 раза в день), то тем более должен быть порядок в приеме пищи духовной. И тем более в такой, как музыка.

До радио и телевидения, до патефонов и «Меломанов»,

то есть когда в мире стояла музыкальная тишина, человек мог сам распоряжаться потреблением такого сильного духовного экстракта, как музыка. Скажем, раз в неделю — концерт. Народное гулянье в праздники. Церковная служба, месса в определенные дни и часы. Ну, или как неожиданное лакомство — уличная скрипка, военный оркестр, шарманки, певички.

Представим же себе, что какую-нибудь еду (какую бы ни было) мы будем поглощать с утра до вечера в полном беспорядке и ежедневно. А между тем потребление музыки нами именно таково. Музыка по радио, в телевидении, в кино, транзисторные приемники, магнитофоны, радиолы и вот еще — «Меломаны». Как если бы вы сидели спокойно, но вдруг подходит посторонний человек и собственной рукой внезапно запихивает вам в рот жирный блин или целую порцию мороженого.

Мы обожрались музыкой, мы ею пресыщены, мы, к счастью (к горькому счастью), перестаем ее воспринимать. А как быть тому, кто обладает повышенным и утонченным восприятием музыки?

Хороший музыкант должен беречь свои уши от плохой музыки, как дегустаторы вин берегут свое обоняние, не куря, не употребляя спиртных напитков, специй и даже не беря одеколона после бритья.

Я видел, как мучительная гримаса невольно искажала лицо Козловского, когда раздавалось громкое щелканье в утробе «Меломана» и рычаги приходили в движение. Я встаю, подхожу к «Меломану» и решительно его выключаю. Но тут вступает в силу эта самая демократия. Всегда найдется в ресторане в Новгороде (в Москве, в Тюмени, в Тбилиси) человек, который скажет:

— Мало ли что — Козловский! А я вот хочу слушать музыку. Я пять копеек туда пустил. Козловский! Подумаешь, цаца!

Приходилось искать распорядителей, директора, представителя из обкома. Нет, демократия демократией, но иногда хорошо, когда найдется и власть!

...Козловский появлялся, и около машин начиналось движение. Все рассаживались. Кроме нас, так сказать, самостоятельных участников концертов, но тоже невольно играющих роль как бы свиты при главном действующем лице, была у Ивана Семеновича и своя непосредственная свита: аккомпаниатор на пианино, молодая милая женщина, с которой певец находился в постоянной шутливой

пикировке, аккомпаниатор на скрипке, певец для дуэта, местные люди, которым поручено сопровождать, организовывать, обеспечивать.

Все это рассаживалось по машинам. Впереди черный ЗИЛ, сзади четыре «Волги».

Однако поезд не трогался с места, шла там, во флагманской машине, какая-то «торговля», и я догадывался — какая. С самого начала Козловский высказал желание (всегда настаивал на нем), чтобы я и моя жена ехали с ним в голове колонны. Мы ловчили и увиливали от этой почетной обязанности вовсе не потому, что нам было бы неприятно или неинтересно, но, во-первых, потому что еще не сложилось той легкой непринужденности, когда можно и помолчать и не будет это молчание неловким и тягостным, а во-вторых, Иван Семенович, боясь за свое горло, ездил с поднятыми стеклами, и было душновато, и нельзя было по своему усмотрению опустить стекло. Но машины не трогались с места, и все ждали, и приходилось смиряться.

— Вы знаете молодого поэта Семибратова (фамилия условная)? — спрашивал, например, Козловский.

— Нет. А чем он хорош, что вы запомнили его имя?

— Своеобразный человек, оригинальные убеждения. И характер. Ну, как вам сказать? У меня в квартире телефон, а жить надо. Вполне понятно, что я не всегда подхожу к трубке. Бывает, что директор консерватории. Ну и что. Вы — директор, а мы тоже... Итак, вот одно то, что этот молодой человек до меня все-таки дозвонился... Нет, вы познакомьтесь с ним, он будет вам интересен.

Иван Семенович говорил всегда тихо, вовсе не напрягая и не утомляя своего голоса. Казалось странным, что в том же горле, производящем эти глуховатые, серые, пожалуй, даже бесцветные звуки, может возникнуть по желанию владельца могучий, высокий, чистый, радостный звук, который не похож ни на какие другие звуки и который называется в человеческом обиходе голосом Ивана Семеновича Козловского.

Причем сильный вовсе не значит — оглушительный, громкий. В одном гостеприимном доме километрах в пятидесяти от Пскова, обогретые коньячком, все пустились в самодеятельность, и одному певцу удалось совратить Козловского на дуэт. Должны были петь хорошую песню «Что затуманилась, зоренька ясная» — коронный номер певца, как выяснилось потом во время концертов.

Трудно сказать, что сыграло свою роль: вечная ли тень, в которой приходится пребывать рядовому певцу вблизи певца выдающегося, неожиданная ли возможность взять реванш сразу за все предыдущее и последующее и доказать одним махом, просто ли нервы, но певец вдруг запел так оглушительно и пронзительно, что Козловский тотчас сжал губы, и дуэта не получилось.

Да, теперь незадачливый певец мог бы похвастаться, что заглушил Козловского, перепел его, но он не мог бы похвастаться, что пел вместе с Козловским, что их голоса слились, поддерживали друг друга, обогатили и украсили.

(Почему я пишу о нем «мог бы»? Он оказался душевным человеком, и мы за эти дни подружились. Чувствовал он себя неважно. Все время обливался потом, жаловался на сердце, боялся выпить рюмку, которую в конце концов все-таки выпивал. В концертах, несмотря на плохое самочувствие, участвовал. Мы обменялись телефонами. Каково же было мое потрясение, когда, позвонив некоторое время спустя, я узнал, что певец умер от инфаркта через несколько дней по возвращении из нашей поездки. Видимо, он уже носил в себе, по крайней мере, микроинфаркт, что делает его гастроли «лебединой песней» и, конечно, накладывает трагический оттенок на несостоявшийся злополучный дуэт.)

Несколько дней мы ездили по Новгороду и окрестностям, перезнакомились, подружились до той степени, когда появляются общие шутки, общие объекты шуток, общие каламбуры, когда не надо объяснять, почему Ивана Семеновича мы называем между собой Семеном Ивановичем.

Наступил день концерта. Конферанс вел артист местного драматического театра. Я, право, не помню теперь его полного имени. Среди нас он был просто Мишей. Выступали певцы и певицы, выступали скетчисты и чтецы, выступали скрипачи и поэты, но все понимали, что зал битком не ради флейтиста Градова (фамилии условны), не ради арфистки Барцевой, не ради чтеца Калугина, но ради московской и мировой знаменитости, обозначенной на афише большими красными буквами, распростертыми над двумя столбцами остальных мелких букв.

И прошло первое отделение концерта, и прошла добрая треть второго отделения, когда Миша решительно подошел к рампе и все почувствовали, что наступил тот самый момент.

— Выступает...— Миша делал короткие, но многозначительные паузы после каждого слова.— Солист... Государственного Большого... академического театра...— голос Миши все набирал и набирал звонкость,— народный артист... Советского Союза... Лауреат Государственных премий...— Миша сделал паузу больше и многозначительнее предыдущих пауз, набрал полную грудь воздуха и торжественно, четко провозгласил: — Семен Иванович Козловский!

Зал оглушительно взорвался аплодисментами, и то, что кто-то из наших прямо-таки по-поросячьи завизжал от восторга и кто-то другой из наших начал сползать с кресел, не имело для зала никакого значения. Публика едва ли и заметила оговорку Миши (весь концерт он только и думал о том, как бы не ошибиться), а если кто и заметил, то пока хоть на секунду усомнился в себе (неужели Семен Иванович?), аплодисменты уже гремели.

Козловский вышел на сцену во фраке, в ослепительной манишке, вышел как ни в чем не бывало и только во время всего концерта смотрел сквозь бедного Мишу, как будто тот был прозрачен или как будто его вовсе не было. А между тем общаться на сцене им было необходимо, ибо приходилось Мише подходить к нему и подставлять ухо, а певец должен был в это ухо шепнуть название следующего номера.

Зал онемел. Активисты Новгорода, получившие билеты через свои учреждения и организации, ответственные работники, жены ответственных работников, служащие ателье и продовольственных магазинов, парикмахерши и работники горпита, представители заводской интеллигенции и речного хозяйства, автобаз и строительно-монтажных управлений, сельхозтехники и ремонтных мастерских, музейные работники и врачи, библиотекари, педагоги и аспиранты, бывшие работники, а теперь пенсионеры сидели не шевелясь в ожидании первой ноты, первого звука голоса, знакомого им с детства по радио, патефонам, а позже — магнитофонам и проигрывателям.

Семидесятилетнему человеку (если предстоит петь почти целое отделение) не зазорно думать о распределении сил. Первая музыкальная фраза вместе с волшебными словами «Я помню чудное мгновенье» возникла почти из шепота. Но все равно и шепот был слышен в самых отдаленных уголках большого зала, и только к концу романса певец позволил себе прибавить немного голоса, но зато

какой из этого получился эффект! Словно чистое пламя просверкнуло в красноватом дыму.

Следующий романс — «Белеет парус одинокий» — пелся уже погромче. Потом мы увидели театрализованное представление, и нам стали понятны репетиции Ивана Семеновича, на которые он тратил каждый день утренние часы. Оказывается, он пригласил для участия в концерте четырех девочек из местной музыкальной школы, четырех юных скрипачек. На сцене стало темно. Один луч освещал исполнительниц, другой — Козловского в дальнем углу сцены, черно-серебряного, с руками, скрещенными на груди. Четыре скрипки запели булаховский романс, и каждый про себя подставлял под льющуюся музыку известные всем слова: «Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная...»

Скрипки пели протяжно и долго. Козловский слушал и вдруг опустился на колени и протянул руки в сторону музыки. То ли перед поющими скрипками преклонился он, то ли перед расцветающей молодостью, то ли перед великим романсом, но продолжалось все это еще довольно долго, пока наконец совсем незаметно, но постепенно нарастая и беря власть, беря верх над четырьмя скрипками, не возник голос и самого коленопреклоненного певца, и никто не успел еще вполне наслушаться, как все потонуло в громе аплодисментов.

Девочки стояли растерянные и самые счастливые на всем земном шаре. Козловский подошел к ним и к каждой прикоснулся каким-нибудь ободряющим жестом, дотронувшись до волос, до щеки, пожав руку. Теперь уж, как бы ни сложилась судьба, через тридцать, через сорок лет, в минуту обиды и счастливых воспоминаний, каждая из них скажет кому-нибудь: «Милочка, я на скрипке аккомпанировала Козловскому, когда мне было 12 лет!»

Занавес шел и шел. Козловский бисировал. А я слушал и думал с горечью: неужели, несмотря на все бережение, на рубашки со специальными гигиеническими воротничками, на опущенные стекла в автомобиле, на весь ответственный образ жизни, неужели семьдесят лет все-таки есть семьдесят лет и настоящего Козловского я услышу теперь только в грамзаписи, да и то если не заиграна пластинка и в отличном состоянии корундовая игла?

На другой, послеконцертный день мы с Козловским, отделившись от остальной группы, поехали в Юрьев монастырь.

Некогда богатейшая, процветающая под золотым покро-

вительственным дождем графини Орловой-Чесменской, опекаемой, в свою очередь, архимандритом Фотием, Юрьева обитель теперь бездействовала, была пуста. Ни сказочных сокровищ (например, иконы «Знамение», вырезанной на огромном изумруде), ни монашеского чина, ни монастырских трапез, ни больших ектений, ни громогласных дьяконов, ни колокольного звона, расплывавшегося над Ильмень-озером не на двадцать ли верст...

Теперь была лишь ровная, зеленая травка, а на ней белокаменная постройка. Монастырская стена с башнями, посередине грандиозный, второй после новгородской Софии, Георгиевский собор. Так умерший человек все еще сохраняет для живых, смотрящих на него, черты похожести, и все как будто осталось прежним: и нос, и подбородок, и руки, но к чему нам обманывать самих себя, человек мертв и холоден, и внешнее подобие его есть самая вопиющая ложь.

Пожилая женщина, гремя ключами, открыла нам Георгиевский собор, и мы вошли в холодное, настоявшееся пространство, ограниченное высоко вверху расписным куполом, а справа от нас иконостасом высотой не с восьми ли этажный дом?

Ключница осталась внизу, а мы по тесной винтовой лестнице поднялись на хоры. Наверное, они соответствовали четвертому, а то и пятому этажу, но и над ними было много еще высоты: добрая половина иконостаса, против которого мы стояли, а выше иконостаса купол, а выше купола пустой барабан — одного его хватило бы на небольшую церковку.

Мы стояли на хорах одни, и не было во всем соборе ни души, ни живого духа. Внизу должна была оставаться еще и ключница, но мы ее не видели, и она как бы не существовала для нас.

Молчали мы каждый о своем, но, надо полагать, что во многих местах молчание наше совпадало, а тишина собора способствовала ему и даже, кто знает,— направляла его в нужную сторону.

И вот тишина лопнула, как перетянутая струна, но только без надрывного струнного звука, но тотчас другая живая и крепкая струна зазвучала и мгновенно наполнила звучанием весь огромный собор. Волна восторга расплеснулась во мне от сердца к глазам и горлу. «Ныне отпущаеши...» Рахманиновский вариант известного песнопения был взят сразу и во всю силу: «Раба твоего, владыко...»

Акустика ли собора способствовала впечатлению, сама ли необыкновенная минута, необыкновенное душевное настроение, но, может быть, Козловский никогда еще в жизни не пел так красиво и вдохновенно: «по глаголу твоему... с миром... яко видеста очи мои спасение твое...»

Если и правда, что аудитория вдохновляет, то что же за аудиторию держал сейчас певец перед полузакрытыми глазами своими. Голос его лился золотым ослепительным светом, и камни собора, разбуженные и ожившие, каждой песчинкой резонировали ему. «Еже еси уготовал перед миром всех людей свет во откровение языцев...»

Внизу старуха с ключами плакала и бросилась было в ноги певцу, но Козловский поднял ее и успокоил, погладив по плечу:

— Ничего, ничего, бабуся. Запри за нами. Спасибо тебе. Мы пойдем.

...Вот жизнь и подарила мне одно из самых своих лучших впечатлений, из таких впечатлений, которые лежат в памяти золотыми зернами и которых, вообще-то говоря, накапливается за жизнь не так уж много.

Но, извлекая на свет, напоказ людям, каждое такое зерно, приходится все равно извлекать весь колос многих, сопутствующих ему впечатлений, хоть и знаешь из практики молотьбы, что большая часть объема колоса — простая мякина.

...Вечером снова был концерт, и Миша не ошибся на этот раз, и Козловский снова пел разные романсы, и новгородские рабочие и служащие яростно аплодировали ему.

1972

КУМЫС

Он показывал нам свое хозяйство гостеприимно и широко.

Погода стояла сухая, жаркая. Пшеница все золотилась и золотилась по сторонам полевых дорог, розовато-молочная пыль не успевала за машиной и клубилась сзади длинным рассеивающимся облаком, вроде дымовой завесы на море, растягиваемой быстроходным катером, или вроде белой полосы вслед за самолетом, рвущим небесный шелк со сверхзвуковой скоростью.

Ему, гостеприимному и ревнивому хозяину, оставалось только оглядываться на нас и проверять: правда ли увиденное (хлебное поле, новая ферма, новый магазин) про-

изводят на нас то самое впечатление, которое они должны, по его мнению, производить.

Два московских писателя, заехавших в этот далекий от столицы полустепной район, оказались благодарными слушателями и зрителями, потому что зачем слова, когда все можно увидеть глазами.

Мой друг Алексей занимал... как бы это сказать... промежуточное, что ли, положение между мной и хозяином. Я здесь был более гостем, чем он. Алексей — уроженец этих мест, приезжает иногда, давно знаком с местным начальством и, с одной стороны, сегодня пользуется его гостеприимством на правах того же гостя, как и я, с другой же стороны, вместе с хозяином показывает мне свои родные места. Нет-нет и спросит у Александра Васильевича что-нибудь такое, что сам — чувствуется — знает, но что нелишне рассказать и показать мне, впервые объезжающему незнакомые земли.

— Что-то там сверкнуло в овраге? Не новый ли водоем? — спрашивал, например, Алексей.

Шофер Витя глядит уж вопросительно на хозяина, сидящего по правую руку. Александр Васильевич кивнет — и машина поворачивает на полевую дорожку, а то и на межу, к сверкнувшему вдали водоему.

Выходили и трогали руками тяжелые, но еще не затвердевшие колосья пшеницы. Слушали жаворонков. Разглядывали на колосьях черных жуков, напавших на поле. Рассуждали о мерах борьбы с этим вредителем — кузькой — и о том, что всякая химия о двух концах. Пили воду из родника в пологом овражке. Осматривали сельский магазин. Заходили в избу к незнакомой старухе и жадно пили, не то холодом, не то перекисшестью своей сводящий нам челюсти беловатый квас. На берегу реки, в тени огромного вяза расстилали скатерть-самобранку. Пока плавали по светлому зеркалу омута среди кувшинок и округлых кустов, покоящихся на тихой, темной воде, Витя раскладывал на скатерти — добротном куске брезента — содержимое багажника: колбасу, помидоры, консервы, крутые яйца, сало и хлеб. И вот еще ярче становилась окрестная зелень, еще цветистее расцветали луга, еще милее были все люди.

Так или иначе, но должен сказать, что неизвестно чем гостеприимный хозяин постепенно породил во мне едва ли ощутимый сначала, а потом все более явственный протест. Не то чтобы неприязнь, а так, червоточинку в отношениях, дребезжащую струнку в слаженном и мажорном аккорде

его триумфа. То ли на одну восьмушку тона было больше, чем надо, самонадеянности в его голосе, и во всех жестах, и во всем поведении, то ли проскальзывало за внешним доброжелательством некоторое превосходство, то ли я угадал по каким-нибудь репликам, интонациям и словам нетерпимость к другому мнению, но только между мной и Александром Васильевичем возникла постепенно скрытая пикировка, которая не прорывалась пока наружу, но тем не менее привносила в нашу поездку по району явственную перечную остринку.

Например, когда он ввел нас в сельский магазин, стеклянный, по теперешней нелепой моде, и который, как и полагается сельмагу, был универсальнее любого мосторга (от супони до велосипеда, от шифоньера до кухонной терки, от духов до сурика, от деревянных граблей до наручных часов, от зубной пасты до репродукции «Мишки в лесу» в багетной рамке), и когда он поглядел на меня с победоносным торжествующим видом, то я небрежно, но достаточно четко и громко спросил продавщицу:

— Дайте мне пачечку бритвенных лезвий. Желательно «Неву» или «Балтику».

— Лезвий нету,— привычно ответила продавщица.

— Вот так раз! А чем же бреются ваши парни?

На этот мой вопрос продавщица могла не отвечать и воспользовалась такой возможностью.

— Тогда дайте мне мужской носовой платок. А то утром впопыхах я не положил в карман...

— Платков нету.

— Тогда свешайте полкило гвоздей...

Гвозди были мне не нужны. Но я видел боковым зрением, как при каждом «нету» Александр Васильевич морщился, словно от укола иголкой, и нарочно кольнул еще раза три, потребовав электрическую лампочку, малярную кисть и еще какую-то ерунду. Не было ничего странного, что всех этих вещей не оказалось в сельмаге, но триумф Александра Васильевича после моих снайперских попаданий был уже не триумф.

Или, например, когда пили квас у старухи и прохлаждались в чистой горнице с тремя иконами в переднем углу, я спросил между двумя приникновениями к запотевшей литровой банке:

— Иконы у вас?

— Как же? Мы люди старые. С этим помрем.

— В церковь-то далеко ходите?

— Некуда нам ходить. Нет у нас ни одной церкви.

— Как?! В целом районе — ни одной?

— В соседний район иные ездят по большим праздникам. Ну, а мне не под силу. Ведь наберется семьдесят верст.

— А если умрешь?

— Ну и что? Зароют...

— Ладно, бабка...— нетерпеливо перебил Александр Васильевич,— я тебе музыку из района пришлю. Виктор! Запиши фамилию бабки, проследим.

Или когда, например, он разговаривал с колхозниками, расчищавшими и разметавшими ток под нависающий урожай, и кинул им как бы невзначай: «Скоро мы вас сольем с соседним колхозом»,— я влез не в свое дело и спросил у колхозников, рады ли они предстоящему слиянию?

— А у нас не спра...— заговорил было один колхозник, но другой его упредил:

— Мы Александру Васильевичу доверяем. Он нам плохого не пожелает.

А потом начались колхозные водоемы. Каждый овраг был перегорожен красноглинистой, вывороченной наизнанку землей. Земля выворачивалась бульдозерами, так что вокруг плотины еще шагов на пятьдесят был сволокнут весь дерн, отчего вода, не соседствуя с зеленой травой, не производила того отрадного впечатления, какое должна производить вода в жаркой полустепи.

— Ни одного оврага во всем районе не оставлю без плотины, все перегорожу. Двести семьдесят водоемов!

— Грандиозно! — не удержался от восторга мой друг Алексей.

Мы стояли как раз на плотине нового пруда, и был с нами еще агроном колхоза. У агронома-то я и спросил, повернувшись лицом к низине, пролегающей там, далеко, между двумя грядами пологих холмов, где, вероятно, протекала река:

— Но ведь если перегородить все овраги, то что же будет с рекой?

— Пересохнет,— тихо ответил агроном.— Мы отрежем ее от естественного водосбора. Можно сказать, что она уже пересохла. Зарастает травой.

— Ладно, ладно,— грубовато, но добродушно возразил Александр Васильевич,— во-первых, река протекает по другому району, а во-вторых вместо леща и щуки будешь есть карася. Царская рыба!

Так я подсовывал свои невинные шпильки нашему

гостеприимному и широкому хозяину, и день стал клониться к вечеру, и был приготовлен нам еще один сюрприз.

— Виктор, поворачивай в «Клару Цеткин».

Обычно «Клара Цеткин», «Володарка» или «Имени Урицкого» бывают на Руси мелкие фабричонки, преимущественно текстильные. Но в степной полосе такая фабричка маловероятна, да и не повез бы нас сельскохозяйственник Александр Васильевич на фабрику. Поэтому я спросил: а что же такое «Клара Цеткин»?

— Санаторий туберкулезного направления.

— Сосновый воздух?

— Бери выше. Кумыс. Сейчас мы и попробуем этого целебного напитка.

— Я давно мечтаю пожить где-нибудь около кумыса. Сиди и работай, как в любом другом месте. Но плюс ко всему — кумыс. А что, если в «Кларе Цеткин» мне попросить небольшую комнату дней на двадцать?

— Хоть две.

— Две не нужно. Одну, но удобную и тихую.

— У нас есть там отдельное помещение для приезжающих, подальше от больных. В санатории все отдыхающие называются больными. Помещение типа гостиницы. Но, конечно, не для всякого желающего, а мало ли... Как вы вот теперь... Из области кто-нибудь приедет, районное руководство... кумыс есть кумыс. Степной воздух. А работать вам будет очень хорошо. Я сам иногда ночевал в этих комнатах.

Показались купы деревьев — оазис среди хлебных полей,— и вскоре мы въехали в липовую аллею, поредившуюся местами, там, где липы выпали от старости, словно зубы.

Какой бы ни был парк, какие бы ни были пруды, какой бы ни был дворец (даже будь то Ливадия), но, если напустить на это место пятьсот человек, сменяющихся каждые двадцать четыре дня,— все равно даже и на самое царское место ложится печать некоей общипанности и, я бы сказал, потравы. Так было и здесь. Кроме того, мешали парку, цеплялись за глаза и дробили цельное впечатление разные фанерные сооружения (ларек, еще ларек, открытая эстрада), никаким образом не вписывающиеся в трехсотлетнюю зелень парка. Но все это можно пережить, ко всему можно очень скоро привыкнуть, и мы пошли осматривать дом для приезжающих, его комнаты, одна из которых уже сегодня могла стать моей. Комнаты оказались узковатые, но и это не беда. Я сел за стол, прикидывая, как буду здесь писать

и что буду видеть, отрывая глаза от бумаги, и тотчас услышал громкие, выворачивающие душу наизнанку позывные «Маяка». Столб с репродуктором оказался в тридцати шагах перед моим окном, посредине поляны. Место вокруг столба обтоптано до голой земли. Можно было предположить, что по вечерам здесь танцуют под модные современные пластинки. Так в одну секунду отпала сама собой моя жизнь и работа в кумысном санатории, и мы больше о ней не говорили, а пошли ужинать.

Ящик с кумысом стоял в стороне, на тумбочке, около нашего стола, и мы брали бутылку за бутылкой и открывали бореные, как у нарзана, железные пробки, под которыми оказывались еще и настоящие пробковые затычки.

Кумыс — напиток степей! Вспоминать ли теперь Сусамыр и заоблачные сырты в киргизском Тянь-Шане, где пасутся полудикие табуны лошадей? Как и у всякого молока, вкус и целебность кумыса во многом зависят от травы, которую едят кобылицы, а значит, еще и от времени года. Майский, а на высоких горах июньский кумыс, когда расцветают степные и высокогорные травы, нельзя сравнить с кумысом жаркого, пыльного лета, а тем более осени, ибо сохнет и становится жесткой трава, теряет она свои ароматы, а также (как без этого в нашем веке!) — и витамины.

Но в любое время года и при молодой траве крепость, вкус и полезность напитка зависят от мастера, который его готовил.

В киргизских и казахских степях — там проще. Там культура кумыса проходит через века. Там в каждой юрте свой кумыс — закваски, рецепты и секреты, но отличается кумыс от кумыса только тонкостями, уловить которые доступно лишь знатокам.

Помню, в просторной, опрятной председателевой юрте (он же и депутат Верховного Совета Киргизии) висел мешок из цельной кожи взрослой лошади. Он висел вертикально и на ощупь был упруг и прохладен. За шершавой кожаной стенкой перебраживало, превращаясь в кумыс, кобылье молоко. Кто б ни шел из жителей юрты мимо мешка, всякий брался за мешалку, высовывающуюся из отверстия в мешке, и мешал, бултыхал дозревающий напиток, которому нужны определенная температура и определенное время для того, чтобы стать настоящим напитком.

Потом собираются в юрту аксакалы. Рассаживаются по краям кошмы, оставляя пустой ее середину. Двухлитровые пиалы расходятся по рукам. Льется в пиалы белая, как бы

слегка мучнистая жидкость, терпко-кислая, немного шибающая в нос. Аксакалы сидят целый день и неторопливо пьют, неторопливо беседуют, смеются заразительно каждой удачной шутке. А сверху над юртой, над зеленым Сусамыром, над белоснежными горами, плывут белые облака. Горы собрались вокруг Сусамырской долины, как эти седовласые аксакалы вокруг кошмы.

Вот почему я не представляю себе, что кумыс можно пить из бутылок, из стаканов, за столом, как нарзан, в обстановке, вовсе не сочетающейся с этим редким и еще не разгаданным напитком.

Можно налить морскую воду в ванну и убеждать себя, что купаешься в море. На организм это купание произведет, возможно, такое же действие, как если бы и правда вошел в синие, лениво шуршащие по гальке валы. Земляника, купленная на базаре, почти так же полезна, как и съеденная в лесу на земляничной поляне. Строганину можно приготовить в Москве, положив рыбину в морозилку холодильника, а не заморозив ее на стекловидном полярном морозе где-нибудь в Усть-Каре. Ресторанная уха — тоже уха, как и то ароматное содержимое закоптелого ведра, подвешенного над костром, на берегу реки, уже заволакивающейся вечерним туманом.

В бутылках был напиток под названием «Кумыс», но я пил это кобылье молоко без той доли глубокого, почти священного уважения, с каким пивал его в киргизских степях. Не хватало запаха кошмы, дыма, полыни. Не хватало лошадиного фырканья вдалеке, собачьего лая у соседней юрты, неторопливо разговаривающих аксакалов, камчи на правой руке. Впрочем, может быть, не хватало чего-нибудь и в самом кумысе. Где здесь, в русской полустепи, возьмешь настоящего кумысного мастера?

Обратно ехали в сумерках, но Витя не хотел зажигать фары. Глаза привыкли, дорога накатана и знакома, небо с вечерней зарей подсвечивает вечернюю степь.

Я забыл про нашу дневную пикировку с Александром Васильевичем, про все мои шпильки и теперь без всякого умысла, вовсе не думая, что мой вопрос всколыхнет разговор, без которого, как я теперь понимаю, день оказался бы незавершенным, из чисто человеческого интереса спросил:

— Что ж, кумысного мастера выписали откуда-нибудь или из местных?

— Сначала у нас была старая опытная казашка. Ну она знала секреты! Это ведь не простое дело, не простоквашу

заквасить. Кумыс! Она говорила, что секреты ей достались от бабки, а той — еще от другой бабки, в общем, чуть ли не от времен Чингисхана. Ну, мы создали ей все условия. Жила с дочкой в отдельной комнате. Мы дали ей. Но только практически она и день и ночь находилась на стане, около лошадей. Работала она у нас восемь лет, а потом умерла.

— Разве вы не позаботились приставить к ней ученицу? Нельзя же было отпускать ее на тот свет с таким драгоценным секретом!

— Она сама позаботилась, все оставила дочке. Было дочери двадцать лет, и мы назначили ее старшим мастером.

— Действительно, хорошо работает?

Александр Васильевич не ответил на мой вопрос. Я подумал, что он не расслышал его, и спросил громче и тверже:

— Чей кумыс лучше, материн или дочкин?

Секретарь неохотно буркнул:

— Она уже не работает.

— Возвратилась в родные степи? Сбежала?

— Пришлось уволить.

Я стал гадать про себя, что же могла натворить единственная и незаменимая мастерица, носительница древних секретов, сотворитель целебного напитка, чтобы ее можно было и даже пришлось уволить.

Признаться, первое, что мне пришло в голову,— поведение двадцатилетней девчонки. Санаторий. Праздные люди. Мужчины. Танцы. Свежий воздух. У мужчин этих неожиданная свобода от семьи. И всего лишь на двадцать четыре дня. Кумыс. Миловидная казашка ходит всегда в перекрестке многих охочих взглядов. Куда тут денешься. Долго ли поскользнуться.

— Гуляла, что ли?

— Нет, с этой стороны у нас к ней претензий не было. Вела себя хорошо.

Я стал гадать дальше, стараясь подобрать наиболее тяжкий грех, за который надо было уволить мастерицу. Наверное, продавала кумыс «налево». Может быть, даже возила в город. Дело пахло судом, и тогда — тюрьма. Но, поскольку редкая мастерица, ограничились увольнением «по собственному желанию». А терпеть больше было никак нельзя. Несколько раз строго предупреждали.

— Воровала?

— Боже сохрани! Работала честно.

— Так за что же вы ее уволили?! — вырвалось у меня с невольной горечью.

— Да ну... понимаешь... возомнила о себе. Много понимать начала... мастер незаменимый!

— И на самом же деле — мастер.

— Незаменимых людей нет,— резко как отрезал Александр Васильевич, уже раздражаясь.

Тогда-то и пошло выворачиваться наружу все, что возили мы друг около друга целый день.

— Ни один человек не заменим другим! — ринулся я в пучину схватки.— Даже пешки и те незаменимы. И пешка а2 не может выполнить задачу пешки е2.

— Е2 — это должность. А сами пешки все одинаковы. И потом, если так рассуждать, то не может быть никакого перемещения должностей и постов. Однако оно постоянно происходит.

— Мы не говорим сейчас о людях вообще. Соглашаюсь, уступаю, делаю шаг назад. Можно заменить на какой-нибудь должности человека человеком. Но стою на том, что мастер, каждый мастер, если он действительно мастер,— незаменим!

— Так что же, терпеть его со всеми капризами и выкрутасами поведения!

— Терпеть!!! — хотел было крикнуть я, но вовремя подумал, что разные бывают выкрутасы, и, сдержавшись, спросил:

— Вы не ответили мне на вопрос: за что уволена мастерица кумыса?

— Да! Взять хоть ее. Разве можно было идти у нее на поводу?

— Что она сделала?

— Говорю, зазналась. Возомнила о себе. Командовать начала. У меня в районе!

Неужели все дело в том,— с ужасом догадался я,— что этот волевой и хозяйственный человек не смог вытерпеть слова, сказанного ему поперек, мнения, идущего вразрез с его мнением. В таком случае, кто же возомнил о себе, уж не он ли сам? И кто же начал командовать? И в чем могло состоять командование двадцатилетней девчонки?

— Приходила к вам в кабинет, и под ее давлением вы принимали нежелательные решения?

Александр Васильевич рассмеялся весело, от души.

— Звонила вам по телефону и требовала прекратить строительство нового моста? Или приказывала возить ей самолетом из Москвы раннюю клубнику? Вы сказали — командовать начала...

Александр Васильевич молчал, может быть вспоминая какой-нибудь самый нетерпимый факт командования мастерицы или не желая мне отвечать.

— Ну назовите хоть один факт, мне интересно, что она накомандовала у вас в районе.

— Не в районе, а у себя, на производстве кумыса.

— Что?

— Например, потребовала себе помощницу...

— Еще?

— Родственницу на работу пристроила.

— Кем?

— Уборщицей... Да не это важно!

— А что же тогда?

— Порядок должен быть, вот что. Говорю — возомнила. Ты ей слово, она тебе — два. Бывало, не знаешь, на какой телеге подъехать.

— На «Волге» небось подъезжали, не на телеге... Теперь, наверно, жалеете. Кумыс-то, наверно, хуже стал?

— А что! Вы сами пили. Разве плохой кумыс? Отличный кумыс. И больные довольны. В область возим. Бывает даже — в Москву. Шаманить вы очень любите. «Носители мастерства! Таланты! Гении». Работать надо, работать. Тогда и будет талант.

Я оказался на лопатках и в луже. Крыть было нечем, оставалось молчать либо как ни в чем не бывало заговорить о завтрашней предстоящей рыбалке.

Вдруг шофер Витя, не сказавший за целый день ни одного слова, но слушавший все наши разговоры, выпалил, будто кинулся с высокой кручи в воду вниз головой:

— Кумыс-то раньше... Александр Васильевич... горлышки у бутылок рвал. Сами знаете. А теперь откроешь — и не шипит.

После этого неожиданного выпада Вити никто из нас, ни мой друг Алексей, ни Александр Васильевич, ни я, ни сам Витя, не сказал больше ни слова. Впрочем, и не успели. Показалось уж впереди темное пятно села, и было ясно, что успеем доехать до места, так и не зажигая фар, автомобильного яркого света, который осветил бы узкую полоску дороги, но зато сразу погрузил бы в темноту все вокруг нас: и колосящиеся поля, и отдаленные сумеречные холмы, и самое небо.

1970

ОЛЕПИНСКИЕ ПРУДЫ

Пруды в нашем селе давно пора бы почистить. Попытка, правда, была. Года три-четыре назад выдалось сухое жаркое лето. Жара и сушь установились с апреля, и, надо полагать, не позднее чем в мае кому-нибудь могла уж прийти в голову мысль насчет капитальной чистки пруда.

Если такая мысль действительно зародилась с весны, то, значит, зрела она весь май, весь июнь, весь июль и добрую половину августа. Это можно понять. Ведь чем дольше стояла жара, тем больше было вероятности, что вот-вот погода переменится и пойдут дожди.

— Надо бы сразу тогда, в апреле, спустить хоть один пруд. Он уж давно бы высох. А теперь как его спустишь?

— Спустить не штука. Но, скажем, к примеру, нынче спустишь, а завтра — дождь. Дело к осени. Разненастится, и пойдет все насмарку.

— То-то вот и оно.

А жара все стояла и стояла. И в середине августа решили в правлении колхоза: будь что будет. К этому времени прудишки наполовину испарились, обнаружив илистое дно с торчащими из него палками и железяками. Гуси и утки испещрили обнажившийся ил своими следами-елочками. Ил вскоре ссохся в голубоватый камень. Если бы убрать его от непогоды, то будущие археологи легко могли бы изучать по засохшему илу, какая водоплавающая птица водилась у колхозников в шестидесятых годах нашего века.

Итак, в середине августа было решено спустить и вычистить верхний пруд. Бульдозер за четверть часа пропорол плотину, насыпанную олепинскими мужиками, может, двести, а может, и пятьсот лет назад. Остатки воды вытекли из пруда и потекли по траве под горку, к нижнему, тоже полуиспарившемуся пруду. Трава и земля между прудами овражистая, в глубоких оспинах коровьих и лошадиных следов. Караси, вытекшие вместе с водой, к восторгу сельских мальчишек, задерживались в этих глубоких ямках.

Думали так: когда вода из пруда утечет — пустим бульдозер. Он раздвинет ил, выгребет его на плотину, доберется до основного грунта, до глины. Ложе пруда расширится и углубится. Тогда останется заделать прореху в плотине, и весной во время таяния снега новая свежая вода наполнит новое чистое ложе.

Бульдозер смело заехал с верхнего отлогого конца

и пошел посередине вдоль ложа к плотине. Но далеко он не ушел.

Тяжелый трактор все глубже и глубже увязал в жидком иле, пока наконец не залез по кабину, по мотор, и все поняли, что ничего у бульдозера не получится.

— Надо бы в апреле его спустить. Теперь бы он уже высох.

— Надо бы, да как спустишь. Нынче спустишь, а завтра дожди пойдут...

— А теперь надо экскаватор. Чтобы стоял на твердом берегу и спокойно вычерпывал. А у бульдозера ничего не выйдет.

— А ил этот хорошо валить на самосвал и увозить на поле или, к примеру, на гряды. Самое наилучшее удобрение. Капуста родилась бы — по пуду кочан.

— Экскаватор хорошо бы, да где его взять? За ним надо бы в область. Пока добьешься, и зима придет.

Тем временем погода и вправду начала меняться, пошли дождички, повеяло холодком. Пришлось залатать кое-как прореху в старой дедовской плотине, и на том пока успокоились.

Давно пора бы почистить пруды в нашем селе. При современной технике, хотя бы только бульдозером, ничего не стоило бы устроить каскад прудов.

Ведь что такое наши теперешние два пруда? Село прорезает овраг. Старики догадались и в двух местах, в пределах села, перегородили овраг плотинами. И выходит теперь, что овраг начинается ниже обоих прудов, ниже села, и тянется почти до реки, выходя на широкий луг. Почему бы не перегородить овраг еще в одном месте? Поднять плотину, вставить в нее бетонную трубу, чтобы весной беспрепятственно утекали излишки. После этого спустить оба пруда, как следует высушить и вычистить от столетнего ила, от мусора, погребенного в иле: старых тележных колес, бездонных ведер, полуистлевших бахил и сапог, а в позднейших культурных слоях — тракторной и автомобильной резины.

Председатель колхоза Глебов горячо мечтал о каскаде.

— Построим хороший глубокий пруд,— говорил он, бывало,— разведем карпа. Ты знаешь что,— обращался Глебов ко мне,— поедешь мимо, зайди на лугомелиоративную станцию. Попроси, чтобы прислали техника.

— Нужно ли? Сказать бульдозеристу, он за два дня...

— Нет, мы давай по-научному. Приедет техник, по-

смотрит, прикинет, посоветует. Теперь двадцатый век, мы давай по-научному. А стоимость я прикинул: пятьсот рублей, больше не обойдется. За пятьсот рублей такой пруд создадим — из области будут любоваться. По берегам деревьев насадим. Ветлы. Они хорошо около воды растут. И будет у нас наподобие аллеи...

На мелиоративную станцию я заезжал. За давностью лет не помню нашей встречи с начальником станции и нашего разговора. Но помню, что оба мы улыбались и говорили, что приятно было познакомиться, и техника мне твердо обещали. Однако прошло с тех пор несколько лет, и успело смениться в нашем колхозе три председателя.

Чудову, который сменил Александра Михайловича Глебова, мечтать о каскадах было некогда. Большую часть времени он бывал пьян. Колхозный шофер привозил председателя к дому, открывал дверцу и, бесчувственного, вываливал на траву. Выбегала жена и подбирала руководителя колхоза. Но нельзя сказать, что у Чудова вовсе не было никакой мечты. В минуты трезвости он страстно мечтал разрушить сельскую церковь. Просил и плакал не иносказательными, а настоящими слезами.

— Разрешите сломать. Сколько кирпича даром пропадает. Какой бы коровник отгрохали. И-ех!

Теперь, после Чудова, у нас замечательный председатель колхоза. Спокойный, рассудительный, трезвый. Превосходно знает сельское хозяйство и умеет обращаться с народом. Теперь вокруг села там и тут появились кирпичные постройки: большой коровник, гараж, мастерские, магазин, при этом церковь по-прежнему стоит среди села, украшая наши окрестности.

Дела в колхозе пошли ровнее, устойчивее, и снова как бы сама собой выплыла на поверхность идея о каскаде. Я думаю, что в скором будущем пруды в Олепине будут почищены.

Возможно, читатель после таких пространных рассуждений о прудах представляет их себе обширными водоемами с «зеркалом» в несколько гектаров. Что ж, бывают и такие пруды, только наши скромнее. В ширину будут шагов тридцать или тридцать пять, а в длину, вероятно, по пятидесяти. Глубина... По совести говоря, нет у наших прудов никакой глубины. Станешь с мостков черпать ведром, а ведро полностью не зачерпывается, невозможно его погрузить вертикально — мешает дно.

В прудах еще недавно водились и кишели циклопы

и дафнии, а по-нашему — просто водяные блохи. Но теперь развелось в селе множество гусей и уток. И вода стала непригодная. Черпают ее исключительно для поливки огородов или деревьев.

Удивительно, что продолжают водиться караси. Вот пример приспособляемости вида к условиям, к которым, казалось бы, никак невозможно приспособиться. Впрочем, караси, хотя и водятся, не растут.

Достигнет карась граммов сорока и начинает стареть, превращаться в жалкого морозоустойчивого, грязеустойчивого карлика.

Давно пора бы почистить пруды в нашем селе.

Тем более что, если олепинские мужики захотят отметить какое-нибудь событие, будь то окончание сенокоса, будь то Первое мая, всякое отмечание начинается у нас именно с прудов.

Живописная картинка при этом бывает всегда одна.

Два-три мужика, застрельщики, искусственно храбрясь, а на самом деле стесняясь, раздеваются на берегу пруда до трусов и лезут в дремучую пузырящуюся тину... Они затаскивают в пруд бредешок, а на берегу тем временем собирается толпа мальчишек. Стесняясь своего любопытства и пряча стеснительность за независимыми улыбками, подходят и взрослые. Кто-нибудь из компаньонов носит ведро с уловом.

Полазив по одному пруду, мужики с бреднем перекочевывают в другой. Идти нужно среди села, на виду. Если бы даже и не было никого на улице, все равно — смотрят в окна. А окна у нас в селе зоркие, ничего от них не укроется: кто к кому пришел, кто с кем говорил, кто покачнулся, а кто упал.

От пруда к пруду перебегают ловцы в широких прилипших мокрых трусах. Тела у ловцов озябшие, синие и, как бы это сказать, давно не бывавшие на ветерке или на солнце. Как ни странно, тело деревенского мужика не привыкло к воздуху: работают всегда в одежде.

— Куда они выводить-то будут?

— В тот угол, к Абрамовым.

Зрители бегут к предполагаемому углу пруда. Рыболовы выволакивают бредень, в котором полтонны ила, жирного, теплого, роются в нем, извлекают обмазанных илом голубовато-черных рыбок. Под корявыми пальцами мужиков на боках рыбок сквозь черноту проступает чистое, жаркое золото. Золотые блестки опавшей рыбьей чешуи

поблескивают в жирном иле. В ведре, хотя там и нет воды, рыбки обтираются друг о дружку, и видно, что это маленькие, а то и средненькие карасики.

Наловят мужики с полведра карасей, отдадут женам чистить и жарить. Сами пойдут в магазин за водкой: а как же без этого — праздник. И вроде бы дополнительный повод, дополнительная радость выпить: все-таки лазили по воде, вымокли. После воды или рыбалки — все равно что с морозу: водка та же, а пьется слаще.

Увидев мужиков, пробирающихся с бредешком от верхнего пруда к нижнему, я не сразу догадался, по какому поводу они собрались праздновать. День — вторник, праздника никакого как будто нет... Ах, да — сегодня девятое мая — День Победы!..

Я, конечно, знал об этом, но, засидевшись за письменным столом, как-то запамятовал. Однако не могли забыть о нем провоевавшие четыре года и всякого лиха хлебнувшие фронтовики. Ведь каждый готов был тогда умереть и шел на это, и не было другого пути. Еще и за пять минут, еще и за минуту до полной всемирной тишины могла скосить пуля, подрезать осколок, оглушить снаряд. И вот до сознания дошло — конец. Нет больше ни пуль, ни осколков. Нет больше ни одной минуты опасности. Конец. Уже если выжил, то выжил. Уцелел — значит, уцелел. Отныне и на веки веков. Конец! Вот оно, воскресенье, вот она, весна. К тому же не просто замирение, не мир любой ценой, а наша взяла!.. Наша взяла! И получается, что Девятое мая — всем праздникам праздник.

Нужно лезть в воду, ловить карасей и покупать в магазине водку. Ничего, что владимирского производства, на фронте и не такую пивали, а эта — очень даже гожа.

— Федорыч, ты мимо пойдешь, зайди к Володе Солоухину, позови, скажи, нельзя — День Победы.

При этих словах, донесшихся от пруда, у меня слегка защемило сердце. Не потому, что я собирался в этот день как следует поработать, можно было бы отложить дела ради такого дня, но потому, что заранее знал, чем это грозит, и знал, что это неизбежно теперь, и можно бы только сбежать, но вот и сбежать нельзя — День Победы.

У зовущих теперь меня к столу не может уложиться в сознании, что человек не хочет выпить. А если он говорит, что не хочет, значит, не хочет выпить именно с ними, гнушается их компанией, пренебрегает, зазнался, отрывается от масс и вообще много о себе понимает.

Почти всегда такое застолье устраивается в ближайшем лесочке, под старой сосной, на поляне. Любят также олепинцы посидеть в саду, на траве под яблоней или вишеньем. Поэтому я удивился, увидев из окна, что газеты расстилаются среди села, на лужайке, под моими, в сущности, окнами. Место очень уж неудобное, рядом пролегает дорога, а если бы поднялся ветерок, то вся пыль с дороги полетела бы прямо на пирующих и на их еду. Травка еще не успела взяться плотной прохладной шубкой, какой она становится в середине лета. Она еще не выросла пока, и газеты расстилались прямо на земле. Но, значит, пришла кому-нибудь фантазия, чтобы гуляли фронтовики среди села, на глазах всех людей: даром, что ли, воевали и проливали кровь. Не хотим прятаться со своей выпивкой в лесочке или в саду!

Коренных фронтовиков было шестеро. Восемнадцать человек, не вернувшихся с войны, конечно, тоже как бы присутствовали здесь, но все же место вокруг разостланных газет они не занимали... Присоединились два молодых парня, которые в военные годы бегали еще без штанишек. Уселись жены, набралось всего четырнадцать человек. Я оказался пятнадцатым.

Уселись на землю вокруг газет. На газетах, посередине, большущая сковорода жареных карасей. В сковородку натолкали яиц и нарезали луку. Горой лежал хлеб, накромсанный толстыми ломтями. О другой закуске не позаботились.

На неровную землю рискованно ставить стакан с водкой, поэтому стаканы каждый держал в руке. Василий Михайлович Жиряков, бывший бригадир, добросовестно разливал.

Председателя не было среди нас. Его дом и семья в другой деревне, за двенадцать километров от нашего села, и он иногда на воскресенье или на праздники уезжает домой. Заместитель его, Александр Павлович Кунин, присутствовал. Он-то и взял первое официальное слово. Сидели мы интимно на земле, на травке, вокруг жареных карасей, но должность у Александра Павловича была вполне официальная, и, значит, слова он говорил тоже официальные, соответствующие, с одной стороны, должности, а с другой — поводу.

— Товарищи колхозники,— сказал заместитель председателя,— поздравляю вас с Днем Победы. В суровые годы Великой Отечественной войны, в жестокой схватке с фашистскими захватчиками, наш народ сокрушил врага,

прогнал его с советской земли и добил его в собственной берлоге. Выпьем за тех, кто воевал, за тех, кто в тылу и на фронте ковал победу!

После речи, во время чоканья стакан о стакан, слышались отрывочные реплики:

— Да, надо.

— Нельзя, такой день.

— Никак нельзя.

— Тут уж что говорить.

— Такой день раз в жизни.

— За всю историю.

— Ну, мужики, будем здоровы.

— С праздничком!

— Никак нельзя...

Я слегка удивился сути реплик. Получалось, что собравшиеся вроде бы и не хотят выпивать, и не стали бы, и не любят, но вот ничего не поделаешь: «надо», «никак нельзя».

По-моему, тонким стаканом водки можно наказывать провинившихся. Мы же должны были пить добровольно, мало того, желая друг другу самого лучшего и драгоценного — здоровья. Рука невольно тянется к столу и шарит, ища чего-нибудь острого, отшибающего противный сивушный дух: соленого огурца, селедки, гриба, капустки... Здесь были караси, к тому же горячие. Пока донесешь разваливающуюся рыбку до рта, пока на нее подуешь, пока обсосешь острые косточки — водочный дух и вкус все еще стоит во рту, и в горле, и в самом желудке, и минута эта ужасна. Все морщатся, зажмуриваются, шарят рукой вслепую и, только спустя некоторое время, обсосав третью рыбку или удачно поддев пласт яичницы, приходят в себя. Впрочем, многие запивают водку холодной колодезной водой. Им, наверное, легче.

— Володь, ты мне скажи, я был в Москве, у родственников в гостях, и там за столом был один знакомый моих родственников. Работает за границей, в посольстве. И он сказал, что за границей не запивают. Считается очень даже некрасиво и неприлично запивать водой, или, скажем, пивом, или ситром. Ты мне скажи, никак я сам не пойму, почему за границей не запивают?

— Видишь ли,— начал было я,— предполагается, что напиток сам по себе вкусный. Он его проглотит, посмакует во рту и прислушивается к аромату. Зачем же отбивать вкус того, что кажется вкусным?

— Значит, у них водка, что ли, вкуснее нашей?

— Я б не сказал, напротив, они очень любят русскую водку. Но дело в том, что они пьют маленькими глоточками, из рюмок граммов так по двадцать. А от маленьких глоточков и от того, что не закусывают, хмелеют они очень быстро.

— Пить не умеют, вот и все,— выручил меня другой сосед.— Какие они против нас питоки. Да ему ежели вот этот тонкий стакан — его и под столом не найдешь.

— Слабаки.

— Теперь понятно. А то я все думал, почему же такое — за границей не запивают. Конечно, ежели двадцать грамм, их и во рту не найдешь. Это даже смешно, двадцать грамм водой запивать или, скажем, ситром. Двадцать грамм — это курам на смех, разве это питье?

Между тем было налито по второму. Караси на сковороде поредели. Но все еще тянулись к ним руки пирующих. Пятнадцать человек не могли усесться близко к сковороде, руки тянулись издалека. Приходилось поддевать карася вилкой, класть его на левую ладонь, нести к себе и не торопясь расправляться.

После второго стакана заговорили все сразу. Я тоже что-то пытался говорить, но сосредоточиться на чем-то одном было невозможно. Каждый вел свою линию. И казалось каждому, что его не поняли, не услышали, и нужно сказать все сначала, еще один раз, громче прежнего.

Справа от меня оказался старик Андрей Николаевич. Он воевал, наверное, еще в первую германскую, однако хлебнул и второй войны. И теперь, выпив, блаженно улыбался, смотрел на все умиленными слезящимися глазами. Время от времени он припадал к моему плечу и сладко и напевно, почти шепотом, доверительно просил:

— Володя, Володя, уж я тебя прошу... ни о чем не прошу, а только одно... Ты уж посодействуй там, где нужно, чтобы...— тут старик делал выразительную паузу и с ликованьем в голосе завершал: — Чтобы мир — во всем мире!

Невоевавший парень привязался к пожилым фронтовикам с идеей, которая казалась ему сейчас самой главной:

— Мужики, пускай я не воевал, но я вас все равно осуждаю. Вы воевали? Воевали. Ордена и медали у вас есть? Есть. А где они?

Действительно, на пиджаках и рубахах фронтовиков не

было не только медалей с орденами, но даже орденских планок.

— Я спрашиваю, где ваши медали и ордена? Пускай я не воевал, но я скажу... Вы должны сейчас надеть все медали и ордена и устроить в селе парад.

— Да сиди уж ты, какой тебе парад, если нас всего шесть человек. Ну какой парад?!

— Все одно! Пусть и шесть! Вы должны сейчас надеть все ордена и пройти по селу мимо правления колхоза или мимо клуба, чтобы все как следует и чтобы состоялся парад.

В шутку парня спрашивали:

— Ладно, пущай парад. А кто его будет принимать? Ты, что ли? Становись на крыльцо, а мы все мимо тебя пойдем. Ну, отвечай, голова садовая, кто будет принимать наш парад?

— Старший по возрасту, вот кто,— нашелся парень.

Разговор отвлекся. То он переходил на горох, который посеяли около леса, и теперь мальчишки будут из леса творить на горох набеги. То на сухую погоду, которая установилась в этом году слишком рано. Так и шло.

— Подумаешь, пожалел, что мальчишки горохом попользуются. Ну и пусть пользуются. Витамины.

— Нет, мужики, вы неправильно делаете. Я бы на вашем месте все ордена и медали...

— Володя, Володя, ты уж посодействуй там, где нужно...

— А пруды наши давно пора бы подчистить. Разве это карась? Это заморыш какой-то, а не карась.

Тут вдруг вскочил Александр Иванович, который, когда выпьет, делается очень чувствительным.

— Мужики, мужики, о чем вы говорите, опомнитесь! Горох, пруды, караси... Разве об этом надо сейчас говорить... Вьетнам гибнет!

На этих словах Александр Иванович вдруг ударил себя в грудь кулаком. Однако ничто уже не могло сосредоточить разговор в одной точке и вывести его в одну линию. Говорили по-прежнему кто во что горазд.

— Горох! Да, бывало, горох нарочно около дороги, чтоб детишкам удобно было лакомиться.

— Бульдозер в колхозе есть, долго ли ему овраг перекрыть. Да это ему — тьфу, пустяк!

— Еще Глебов хотел...

— Вот я и говорю, вы неправильно поступаете. Нужно устроить парад, пройти мимо правления колхоза...

— Володя, Володя, нам ничего больше не нужно, ни о чем не просим, только одно... ты уж посодействуй, чтобы... чтобы мир во всем мире...

— А пруды мы почистим, будут как зеркало, лучше новых.

— А гусей и уток раньше держать запрещали, было постановление на миру, на сходке, они портят траву и воду.

— Мужики, мужики, опомнитесь, о чем вы!.. Какие гуси, какая трава...

И опять не удалось Александру Ивановичу повернуть разговор на Вьетнам. На некоторое время, что вполне естественно, переключились на фронтовые воспоминания.

— Я сначала в истребительном батальоне был. Дадут бутылку с горючей смесью, танки...

— А мы подходим к озеру Балатон, берег крутой, высокий...

— Концлагерь разбили. Ворвались, а там скелеты...

— Неправда, немцы бы их сожгли.

— Живые скелеты, не понимаешь? Которых истребить не успели. На коленях ползут, обниматься лезут, а нам жуть.

— А я всю войну в партизанах был, в Белоруссии. Потом наша армия подошла.

— А что, мужики, Америка с Англией на нашей стороне воевали, наверно, и у них жертвы были.

— Какая война без жертв?

— А сколько примерно американцев и англичан за всю войну полегло?

Мужики поглядели в мою сторону. Мне где-то попадались на глаза цифры, и я запомнил.

— Американцы потеряли двести пятьдесят тысяч человек, англичане — триста тысяч.

— За всю войну?

— Да, за всю.

— Не может быть.

— Почему же не может?

— Как же так?! Вместе воевали, заодно, одних и тех же немцев били. У нас двадцать миллионов человек, а у них двести пятьдесят тысяч. Не может быть!

— Слушай, что тебе говорят. Чай, он (это про меня) не сам придумал, подсчитано.

— А ежели немцы?

— Что немцы?

— Сколько мы немцев положили за всю войну?

— А немцев четыре с половиной миллиона.

— Н-да, а ты говоришь...

Разговаривая, постепенно отсели от газет и сковороды. Старик, успокоившись, блаженно, тихо заснул. Женщины вдруг запели «Златые горы». Запели громкими, не очень слаженными голосами, но все-таки песня пошла. Я подумал: вот ведь какая судьба. Никто не знает: кто написал эту песню — «Златые горы», слова и музыку. Один ли автор, два ли. Но если два, то оба вполне безымянны и неизвестны. И все-таки каждая деревенская свадьба, каждый деревенский праздник,— вернее, музыкальная и песенная часть каждой пирушки,— начинается с этой песни. Если есть гармонист и если после всех разговоров он растянет мехи гармони, то обязательно с этой песни, с этой залихватской запевки:

Когда б имел златые горы
И реки, полные вина,
Все отдал бы за ласки, взоры,
Чтоб ты владела мной одна.

Если нет гармониста, а одни только певуньи, то и они начнут с этой песни и будут, закрыв глаза, полупоя-полукрича, в подробности сообщать:

Умчались мы в страну чужую,
А через год он изменил.
Забыл он клятву роковую,
Когда другую полюбил.

И за что этой песне такая честь?! И мелодрама, и, как сказал бы иной городской интеллигент, непролазная пошлость, а вот поют и поют на всех вечеринках и на всех свадьбах, поют с упоением, надрывая голоса, сотрясая стены, если дело происходит в стенах.

Не плачь напрасными слезами,
Постой немного под окном.
С пустой котомкой за плечами
Ты не войдешь в отцовский дом.

— Мужики, мужики, не дело. Давайте теперь какую-нибудь фронтовую.

— Правильно, правильно, фронтовую. «Землянку» давайте.

— Обязательно «Землянку».

Запели «Землянку». Однако петь ее оказалось труднее,

чем «Златые горы». Песня шла вразнобой, но все же хватило выдержки, допели до конца. А потом кто-то завел «Враги сожгли родную хату...», и опять ударили дружно, согласно. Я даже не ожидал — будто разом протрезвели все.

На сковороду с карасями и на остатки хлеба, разбросанные по газете, напали куры. Они совсем не смущались поющих людей, но клевали торопливо, лихорадочно, словно понимали, что кто-нибудь сейчас спохватится, махнет рукой и крикнет:

— К-ши, к-ши!

Но никто не спохватился и не кричал. Мы с бывшим бригадиром Василием Михайловичем, как не поющие, сидели немного в стороне и наблюдали. Василий Михайлович обвел взглядом и притихших мужиков, и баб, смахивающих слезы, и всю живописную картину нашего празднества. Я увидел, как живым огоньком загорелись глаза бывшего бригадира. В них появилось что-то почти детски восторженное. Он схватил меня за руку и зашептал:

— Володя, Володя, ты гляди... ты гляди... и разбили немцев!

1970

СЧАСТЛИВЫЙ КОЛОС

Пожелтевшее спелое ячменное поле граничило в этом месте с мелкой зеленой травкой пологого овражного склона. Травка была не очень зелена теперь, во второй половине лета. Не было в ней той, почти светящейся, почти ослепительно яркой чистоты, которая свойственна всему зеленому миру весной, когда еще не припылило его пыльными облаками, плывущими наподобие дымовых завес с каждой проезжей дороги, не притоптало копытами коров и овец. Да и каждая травинка сама по себе потемнела и пожелтела на солнце и на ветру, как дубеет и жестрнет кожа на человеческом лице к пятидесяти, скажем, годам.

Семену Зотову было уже и за пятьдесят. И был он весь продубленный, обожженный, словно горшок в печи. Этому способствовала работа Семена Зотова, он был комбайнером в совхозе имени Ленина.

Сейчас Семен лежит спиной к ячменю и к своему отдыхающему комбайну, а лицом ко всей остальной земле, которая сначала полого опускалась, образуя широкий мелкий овраг, потом снова подымалась, уже на другой стороне

оврага и более круто. Но там ее перегораживал частый ельничек.

Лесок стоял ровный, как старинное войско в ожидании битвы, и лишь можжевеловые кусты недисциплинированно торчали вразнобой перед плотной и почти черной стеной. Семен знал, впрочем, что только издали кажется ельничек таким чистым и стройным. Зайди в него — и черт сломал бы себе ноги. Не прореженный своевременно санитарной рубкой, захламленный рубкой случайной и беспорядочной, лесок сидит в земле, как незадачливый, нерастущий ребенок, хотя давно бы пора превратиться ему в медно-красную еловую рощу.

Час назад сынишка Семена девятилетний Шурка принес обед. Семен поел и теперь благодушествовал, пригреваемый солнышком, а Шурка бегал поблизости, шуршал в ячмене.

— Вот ты, Шурка, не знаешь, а я хорошо помню. У меня и записано все. Три тетрадки исписал.

— Чего помнишь-то? — отозвался Шурка.

— Ты какой дорогой сюда шел?

— Через «Дубки».

— А что такое «Дубки»?

— Ну... дубы там растут. Одиннадцать штук, все в один рядок, по линеечке. Значит, кто-нибудь их там посадил.

— Правильно рассуждаешь. А кто? И почему их одиннадцать?

— Не знаю. Растут и растут.

— А я знаю. Потому что, можно сказать, я их и сажал.

— Ты-ы? — недоверчиво протянул сынишка.— Чегойто тебе вздумалось в чистом поле деревья сажать. Какую даль от нашего дома.

— Я-то был еще малолетний. Я только держал да мешался. А сажал их мой отец, твой дед Василий Васильевич. И чистого поля там не было, а стоял наш дом, располагалась наша крестьянская усадьба. И было нас, детей, одиннадцать человек. Потому и дубов одиннадцать, понял? Второй с этого краю вроде бы — я, потому что был я предпоследний, а самый младший, крайний, стало быть, дуб — в честь Николая. А Николай погиб на войне.

— Деревня, что ли, на этом месте была?

— Не деревня, а хутор. Жили мы там одни. Три коровы, две лошади, инвентарь. Молотилка, сеялка. Два сарая, небольшой прудик. Сад, огород, как полагается. Большой

погреб. Пасека — двадцать ульев. И все это у меня записано в трех тетрадях. Чего сеяли, сколько уродилось, какие цены были на базаре и прочее. А яму, которая недалеко от дубов, ты заметил?

— Куда же все делись, если одиннадцать человек? — перебил Шурка.

— Кто куда, Николай, видишь, погиб. Дядя Миша сам помер. Дядя Костя бухгалтером работает в городе, ты его знаешь. Зинаида с Олимпиадой на стороне. Я один остался в родных местах, работаю комбайнером.

— Про тебя-то я знаю.

— Знаешь, да не все. Я ведь был активист или, вернее сказать, застрельщик.

— Кого стрелял-то,— не понял Шурка.

— Не кого, а всякое дело. «Автодор» распространять, закрытие церкви... Это я теперь отстрял. А то я и селькором был, избачом тоже, пьесы разыгрывали, стенгазету выпускали. Лектор из района приедет — прямо ко мне. Введите, говорит, в курс обстановки. Снабдите местными материалами. Фамилии ударников, злостных лодырей? Ну да у меня все записано. Три тетради исписал. Можно сказать, история нашей местности... А книжек этих что прочитано! «Бруски», например, или как это ее... «Ниссо». Ты яму-то около дубов видел или нет?

Неизвестно сколько времени продолжался бы этот урок истории под открытым небом, на границе ячменного поля и отлогого оврага, если бы Шурка не подбежал к отцу в возбуждении.

— Папа! Гляди-ка, какой ячмень!

— Ну какой там ячмень? Обыкновенный. Пиво из него варить будут.

— Да ты погляди! Это нам Наталья Петровна велела за лето гербарий составить: пшеницу, овес, рожь, клевер — все сельскохозяйственные культуры. Вот я и пошел хороший колосок ячменя сорвать.

Семен принял из рук сына колос ячменя и положил его на ладонь. Что-то непривычное, необыкновенное, из ряда вон выходящее почудилось Семену в колосе с первого взгляда, прежде чем он успел осознать, в чем же состоит исключительность этого колоска.

— На, сравни,— подсказал Шурка и дал отцу другой колосок.

— Н-да! — протянул Семен и стремглав обернулся к полю. Глаза его забегали взад-вперед по бесчисленным

колосьям, желтым, отяжелевшим, суховато шелестящим на легчайшем полуденном ветерке.— Н-да!

Все колосья были один к одному, как второй Шуркин колосок, но не как первый.

— Где ты его нашел? — строго, почти криком спросил отец, словно Шурка вынес ему с поля не мирный колос ячменя, а золотой царский червонец или неразорвавшийся ржавый снаряд.

— Тут и нашел. Только ты мне его отдай. Нам учительница велела.

— Ничего ты не понимаешь. Давай скорее искать еще. Как следует надо искать. Ты не понимаешь, что ты нашел!

— А что? Урод какой-то.

— Может, ты и прав. Может, это и есть урод. Но ты знаешь, что такое отбор? Как породу скота выводят, ты знаешь? Да, может, от этого колоска по всему Союзу, по всему миру новый ячмень пойдет. «Зотовец». Понял или нет? Давай скорее искать еще.

— Дай хоть поглядеть, какой он. Я ведь случайно сорвал. Вижу, мохнатый какой-то, на других не похож.

Семен между тем держал колос на ладони, поворачивая его так и сяк.

— Не мохнатый, а шестигранный. Да, так и назовем — «шестигранный». Видишь, у других колосьев два рядка зерен, а у этого шесть рядков вместо двух!

Отец и сын углубились в поиски, забыв про комбайн. Семен сначала только что не бегал бегом по ячменному полю, но потом понял, что лучше ходить тихо и попристальнее вглядываться. В голове у Семена варилась каша из прочитанного в разное время в разных книгах, брошюрах, газетах, на плакатах, услышанного по радио. Вертелись Мичурин и Лысенко, ветвистая пшеница и орловские рысаки, ярославские коровы и земляника «виктория».

Да! Была ведь сначала обыкновенная лесная земляника. Ягоды с ноготок, а потом? С наперсток. С грецкий орех. С куриное яйцо! А все как? Потому нашел кто-нибудь, вот так же, одну большую ягодку. Пересадил кустик. Или, может, от семечек. Дальше — больше. Из нового урожая опять самую крупную... А здесь-то у нас! Не просто крупное зерно ячменя — шесть рядков зерен! Революция в сельском хозяйстве. Переворот! А невежинская рябина как? Нашел человек в лесу одно дерево послаще других, выкопал и принес домой. Пастух безымянный нашел. А теперь по всей России славится невежинская рябина. Получа-

ется, что выведен новый сорт. Невежинской зовут ту рябину в честь села Невежина. Там развелась она от одного случайного деревца, оттуда и пошла.

А мы свой сорт как назовем? «Зотовец шестигранный». Или, может, в честь совхоза — «ленинец» или «ленинский». Не годится. Неизвестно, где выведен или как. Совхозов Ленина, я думаю, по Союзу не одна сотня. А если по селу назвать — «семендюковский»? Тут и «Семен» слышится, как нарочно, и семена. Но все — не то. Лучше не придумаешь, чем «зотовец шестигранный».

Долго еще бродил по полю Семен, но в этот день ни ему, ни Шурке не было больше счастья. Шурка побежал домой, и Семен строго предупредил:

— Ты вот что, Александр, пока об этом никому не болтай. Еще неизвестно, что выйдет. Может, не прорастет. Сначала мы сами, тихонько попробуем. Попросим у матери кончик грядки...

Ночью Семен не мог уснуть. Как только закроет глаза, как только начнет наливаться голова сладковатой, теплой темнотой, сразу и пошли покачиваться усатые ячменные колосья. Этот, особенный, не представлялся Семену, не выплывал в поле зрения, а все те, обыкновенные, двухрядные.

«Вдруг посеешь,— думал Семен,— а вырастет обыкновенный ячмень. Скорее всего так и получится. Но попробовать надо. И, главное, поискать еще. Неужели в целом поле он был один?»

Через два дня Семен попросил у Шурки чистую тетрадь и на обложке старательно написал: «Краткие записи о производившихся работах с ячменем. Начато в 1962 году в совхозе им. Ленина».

Тотчас появилась и первая «краткая запись».

«В 1962 году на общем массиве рядового ячменя у места, называемого «Дубки», мой сын Александр Зотов обнаружил один совсем отличный от обыкновенного ячменя колос — расположение зерен в колосе шесть рядков вместо двух рядов у обыкновенного ячменя, за что он был нами сразу назван «шестигранным». Ряды зерен на колосе образуют шесть граней...»

Тут Семен попытался нарисовать, как торчат в разные стороны шесть зерен, и у него получилось очень похоже.

«Вид колоса в поперечном разрезе»,— подписал он под своим рисунком. Выходило все как-то очень по-настоящему. Как на каком-нибудь плакате или в журнале. Семен

представил на миг, как все то же самое будет написано однажды и нарисовано на настоящей книжной странице, и ему поверилось в то, что это обязательно будет. Да и не может не быть. Только не вырос бы из найденных зерен обыкновенный ячмень. Говорят, даже мичуринские сорта снова перерождаются в дички.

Пониже рисунка Семен продолжал свою первую запись.

«После длительных и тщательных поисков на этом же участке мной было обнаружено еще два колоса...»

Времена года и раньше сменяли одно другое. Кто-кто, а комбайнер Семен Зотов знал, когда и как приходит весна, и ждал ее, зимуя почти в бездействии. Работа сезонная. Зимой ремонт и кое-какие мелочи. Успевал и съездить в Москву, погостеваться у Зинаиды и Олимпиады, и начитаться книжек. По вечерам ходил в клуб. Участвовал в самодеятельности — читал со сцены отрывки из «Василия Теркина», удачно воспроизводя некоторые интонации московского артиста, читающего обыкновенно эту поэму по радио. Но если бы спросить одним словом у Семена, что он делает всю зиму, мог бы Семен одним словом ответить — ждет весну.

Никогда не ждал с таким нетерпением. Разве только еще охотники да рыбаки ждут так же нужного времени года, едва ли не каждый день перебирая и пересматривая охотничье снаряжение и рыболовные снасти и словно замирая душой от сознания того, что никуда этот сезон не денется, обязательно наступит, хотя и не верится, что может не в мечтах, не во сне быть такое, чтобы утка летела над утренним камышом или чтобы дрогнул на тихой воде и пошел в сторону и в глубину поплавок.

Сводки погоды — замирало все в доме, когда начинали их передавать,— казались однообразными и тупыми, потому что в них не было явлений и бурно нарастающих признаков начинающейся весны.

Семен наблюдал за солнцем, за сосульками, за облаками, за проталинами и, конечно, за барометром, стуча по нему указательным согнутым пальцем по многу раз в день.

Тут попалась ему в руки книжка «Народные приметы и предсказания погоды», и он читал ее, как любовный роман. «Если на Николу (19 декабря),— говорилось в книге,— день холодный и ясный — к хлеборобному году». Это само по себе было хорошо, но книжка попалась Семену в руки уже после Николы, в феврале, и теперь нельзя было воссоздать и вспомнить, какая же погода стояла на Николу. Тут

еще возникало противоречие. Семен ведь ждал скорейшего прихода весны, а, оказывается, по утверждению народных примет, «ранняя весна ничего не стоит». «Поздняя весна не обманет».

Остальные приметы были почти что без пользы, только будоражили воображение и как бы переселяли Семена в то самое время, которого он с нетерпением ждал, то есть в зеленое и теплое лето.

«Соль волгнет — к ненастью». «Журавль на колодце скрипит — к перемене погоды». «Утром маленький дождь — днем хорошая погода». «Если дождь пошел с обеда — затянется на сутки». «Тихая, светлая ночь без росы — жди на следующий день дождя». «Рога луны острые и яркие — к вёдру». «Золотая заря на западе (без розового круга) — признак хорошей погоды». «Багровые зори — к ветрам...»

Много там было еще разных примет, и простых и мудреных. За каждой строчкой, за каждым словом возникали для Семена сладчайшие картины природы: то дождичек начинал шуршать в древесной листве, то загорались и светили земле эти самые тихие, золотистые закаты.

А погода между тем, совсем уж решившись на весну и уже дохнув сыроватым теплом, от которого оседали снега, снова раздумывала и поворачивала на холод. И так же как охотники и рыболовы перебирают и пересматривают без надобности свое снаряжение и свои снасти, так и Семен то и дело доставал банку из-под чая, вынимал из банки темную фланелевую тряпку, разворачивал ее и пересчитывал ячменные зерна.

Посеять он наметил тридцать два отборных зерна. Еще тридцать зерен решил оставить на всякий случай, если бы эти, гвардейские, почему-либо не взошли. Погибли бы летом от болезни, от вредных насекомых, да и мало ли от чего. Рисковать тут было нельзя.

С каким бы нетерпением ни ждал человек важного, заветного события в своей жизни, оно все-таки наступает, приходит. Пришла, никуда не делась, не обогнула стороной село Семендюково и эта весна. Увидев первого грача, Семен почувствовал на душе праздник, а когда над проталинкой, величиной с полу пиджака, взвился вверх хрустальный, серебряный, золотой колокольчик жаворонка и зазвенел там, в синеве, Семен не удержался и перед обедом поставил на стол бутылку рома.

Грядку выбирали втроем: сам Семен, сын Шурка — не

главный ли виновник всего происшествия — и жена Семена Валентина Ивановна, чаще Валя и еще чаще просто — мать.

— Ты, мать, давай мне самую хорошую гряду.

— Все хороши. Навозу прошлый год сколько ввалили? Не земля — а сдобный пирог. Твоему совхозному ячменю такая земля и во сне не снилась.

— Ну ладно, хорошо, хорошо. Это вроде уже мода теперь совхоз ругать. А ведь и там мы же работаем. Хлеборобы-механизаторы.

— Вот тебе — чем не гряда! Прошлый год под морковью была. По бутылке каждая морковина.

Семен внимательно, со всех сторон оглядывал место.

— Не годится. С севера очень уж открыто. Надо, чтобы с севера кустики, вишенье, а с юга — припек.

— Припек, припек! А может, ячмень не любит твоего припека. Может, он продувной ветерок любит. Полевая культура. Вырастишь ее здесь в тепличных условиях, изнежишь, а в поле перенесешь — он и не выдержит.

— Грамотные какие все стали! — бурчал Семен, но видел в словах жены некоторую правоту.

Все же облюбовал конец грядки, такой, что и с севера не очень открыто, но и с юга не совсем уж теплота.

— Огородить бы чем...— сам себе предлагал Семен.

— Мало тебе, что огород огорожен? Что ему сделается, твоему ячменю?

— Куры зайдут, разворошат, или грач...

Землю Валентина Ивановна разделала мягче пуха. Семен еще и сам прошелся по ней руками, ощупывая ее, как слепой, и разминая каждый комочек, если попадался крупнее горошины.

За этой работой Семен поймал себя на мысли, что там, на комбайне, может быть, он и механизатор, но вовсе не хлебороб. Да и трактористов, то есть пахарей и сеятелей, возьми. Или они землю, или они погоду чувствуют, как он почувствовал и то и другое в эту весну? Конечно, явный дождь дает себя знать: на поле не въедешь, приходится простаивать без работы. Но кто же из целого совхоза ждет наступления весны с душевным трепетом и с замиранием сердца? Кто с тревогой поглядывает каждый день на закат: просто ли там золотистая заря или с розовым кругом или багровое небо?

К машине своей, к мотору, к разным подшипникам механизатор прислушивается более, чем к земле, к прора-

стающим из нее росточкам и к небу, несущему этим росточкам то ли гибель, то ли полноправную жизнь.

Словно какая-то изоляция, воздушная подушка пролегала все эти годы между душой Семена Васильевича Зотова и той землей, по которой он елозил на своем громадном и гремучем комбайне. И была некая глухота, некая бессолость, безвкусность на душе, как если бы купаться в водолазном костюме, нюхать цветы сквозь целлофан, подставлять лицо дождю, натянув липкую резину противогаза.

И только теперь, над квадратным метром любовно обработанной земли и над тридцатью двумя опущенными в ее прохладную плодоносную темноту ячменными зернышками, Семен почувствовал, что все перегородки, все целлофаны упали и он прикоснулся к чему-то самому заветному. Так оголенный провод прикасается к оголенному проводу, так голое тело прикасается к прохладной речной воде или так лет тридцать пять назад, на полуночном крыльце, с Надюшкой Малышевой, протиснувшись через расстегнутую верхнюю пуговицу и через какие-то там бесчувственные тряпки, услышала ладонь неизъяснимую, горячую нежность девчоночьей груди.

Сколько разного машинного масла налипало на руки, сколько грязи, сколько мыто бензином и мылом, сколько тер их о штурвал, а и до сих пор слышит ладонь тот ожог, и не затрешь, не смоешь, не остудишь его ничем, никогда.

Из земли проклюнулись двадцать девять росточков. Три зерна выпали по неизвестным причинам. Зато от некоторых зерен потянулось по нескольку стебельков.

— Это что же такое,— дрожал от возбуждения земледелец Семен,— это что же такое получается. На каждом колосе по шесть рядов зерен, а от каждого зерна по четыре, по шесть стеблей? Это что же за ячмень у меня вырастет? Какие же будут урожаи?!

Лето прошло, можно сказать, без приключений. Один только раз, будучи в поле и поглядев на край неба, заливаемый темной тучей, Семен вспомнил книгу о приметах погоды, а именно то место, где указано, что «темно-синяя окраина ливневого облака — признак ливня, а стальная серая окраска — признак ливня и града». Бросив среди поля свою тихоходную машину, Семен побежал в село. Вдвоем с Валентиной они держали над зелеными колосьями за углы прозрачный Валентинин плащ, пока стукались в него и соскальзывали в стороны голубоватые, но, впрочем, редкие градины.

В тетради появились новые краткие записи, и было странно самому Семену, как это целые месяцы ожиданий и тревог, десятки дождей и зорь, зеленоватых рос и желтоватых жарких ветров укладываются в несколько строчек сухого текста.

«Особенность данного ячменя, несомненно, представляет хозяйственный интерес, и, отобрав лучшие зерна из этих колосьев (страховой фонд), в следующем 1963 году я посеял на грядке в огороде 32 зерна. Урожай был собран 470 зерен».

«В 1964 году, отобрав зерна лучших колосьев, было посеяно 250 зерен в смеси с горохом сорта «виктория». Урожай был снят — ячменя 125 гр. Гороха 56 гр. Общий урожай 181 гр. Что в переводе на 1 га составляет 18,1 ц. Количество зерен в колосе было в наименьшем 18, в наибольшем 42 зерна. Произведя соответствующий отбор, весной 1965 года на приусадебном участке ячмень был посеян двумя фракциями (чистый и в смеси с горохом). Ввиду дождливой и холодной погоды ячмень удалось посеять только 25 мая. Урожай ячменя с обеих фракций 320 гр.».

Между этой и следующей записями пролегло большое событие. Семен Васильевич решился наконец открыть свою тайну директору совхоза Николаю Матвеевичу Горбаченко.

Рисовать ли классическую картину вхождения комбайнера в директорский кабинет? Эту фуражку, скомканную в руке, это топтание у двери, пока директор закончит длинный и громкий разговор по телефону? Ничего этого не было. Они встретились на улице около конторы, и Семен Васильевич сказал директору, что надо бы поговорить.

— Ну так пошли! — пригласил директор и возвратился в кабинет, хотя собирался уезжать в район — уже и «газик» стоял у дверей конторы.

Чем дальше рассказывал комбайнер о своих доморощенных опытах, тем незаметнее было, нравится директору эта затея или нет. За многие годы руководства то колхозом, то МТС, то «Сельхозтехникой», то отделом в райкоме, то вот теперь совхозом Николай Матвеевич выработал одно, может быть, самое необходимое для начальника качество: его подлинные мысли и чувства никогда не отражались на лице. После разговора одинаково можно было ждать: бросится ли он поздравлять и пожимать руку или распечет и строго предупредит.

Когда комбайнер закончил свою историю, Горбаченко некоторое время молчал. Причем Зотов думал, что он соби-

рается с духом опровергать и ругаться и только не знает, с какого конца начать, а директор между тем, все поняв и мгновенно все оценив, решал в душе единственную задачу: подключать к этому делу агронома или не подключать.

С одной стороны, вроде бы и неловко обходить хозяина полей и агротехники, с другой стороны, получится иное звучание, одно дело — агроном и другое дело — рядовой комбайнер. И Зотову будет обидно. Он нашел, он вывел... Ну или выведет... Зачем же ему свою славу делить с агрономом? При чем агроном? Совхозу же слава одна, даже еще и больше.

И, главное, недолго теперешний агроном наработает в совхозе. Что-то скрипит и потрескивает в его работе, в его отношениях с коллективом и директором. Не нынче-завтра подаст заявление об уходе. А этот факт, может, и подтолкнет.

Пропустив через свою мозговую машину всю эту механику и получив нужный и твердый ответ «не подключать», Горбаченко не выдержал марки и просиял.

— Ну и счастливый же колосок нашел твой Шурка! Да понимаешь ли ты, что это такое значит? Погоди, а что у тебя на сегодня есть?

— Все есть. Семена и колосья, краткие записи в тетради. Свидетели: жена моя Валентина Ивановна...

— Ну, свидетели нам пока не нужны, а вот семена... Много их у тебя?

— Шестьсот четырнадцать грамм.

— Ого! Значит, так. Совхоз оказывает тебе всемерную помощь. Присваивает тебе звание «Опытника». По необходимости освобождает от весенних работ. Но только одно дело — гряда в огороде, другое дело — полевые условия. Поэтому давай пока языком не болтать. А то знаешь поговорку: «Похвалился, да в яму и свалился». По-украински это будет: «Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь». Ты вот что. Выбери себе участок поля, там, где будет обыкновенный ячмень. Ну сколько на первый случай?.. Ну, я думаю, метров двадцать пять. Ручным способом аккуратно посей. С сеяльщиками договоримся, чтобы они этот участок не засевали. И в огороде продолжай культивировать... так, говоришь, как ты его назвал? Шестигранный? Ничего, потом твое имя ему присвоят. «Шестигранный Зотова» или «шестигранный зотовский». А?

— «Зотовец», может? Покороче...— поправил Семен Васильевич и почему-то зарделся, как от стыда.

— Ну это дело десятое. Пригласим областную комиссию, компетентных людей. Потом — государственную комиссию. Дело не шуточное. А колосики-то дай поглядеть.

— Сейчас?

— Хоть и сейчас.

Вскоре Зотов снова вошел в кабинет директора. Он вошел, оглянулся на дверь и вынул из кармана газетный сверток. Развернул сначала одну газету, потом другую, потом третью, и тогда оказались перед директорскими глазами три мохнатых (словно шмель по сравнению с обыкновенной тщедушной пчелкой) и впрямь шестигранных ячменных колоса.

...Записи в тетрадке закрепляли неторопливые, но по верному пути развивающиеся события.

Между прочим, Семен Васильевич, как человек в самом деле начитанный и передовой, почувствовал, что мастерская природы может вовсе не замечать этого ритма и не думать о нем, если отдаться его течению, а может очень даже им тяготиться, если вздумает повернуть свою волю поперек движения, не говоря уж о том, чтобы встречь.

Допустим, тот же Мичурин, когда выводил свои сорта. Привил дерево, небось не терпится узнать результат. Но жди много лет, пока вырастет, пока начнет плодоносить. Потом выясняется, что нужно внести поправку. Внес. Опять жди, пока дерево вырастет и созреет. Ритм исчисляется не секундами, не часами, но поколениями. И как же быть человеку, если весь он укладывается в одну собственную жизнь.

Ячмень — не дерево, но все равно посадил зернышко — не торопи. Пока прорастет само, пока выбросит колос, пока получатся зерна нового поколения. Захотел посадить еще — жди новой весны.

От записи до записи проходил год. Но все же годы шли, и записи появлялись.

«В 1966 году посев ячменя произведен на приусадебном участке на площади 100 кв. м. Семян высеяно 140 гр. Урожай получен 2300 гр. В переводе на гектар 23 ц, по зерну сам-18.

В этом же году посеяно в поле ручным способом на площади 25 кв. м 255 гр. Урожай получен 2900 гр. В переводе на гектар 11,5 ц. Урожай по зерну сам-11.

В 1966 году количество зерен в колосе от 18 до 48 шт.

В 1967 году ячмень посеян на приусадебном участке на площади 13 кв. м 10—11 мая. Семян высеяно 200 гр. Собран

урожай 3 кг, в переводе на гектар 23 ц, урожай по зерну сам-15.

В том же 1967 году выделена опытная делянка в поле площадью 0,06 га, где высеяно 6 мая рядовой сеялкой ячменя 5 кг. Норма высева выразилась 86 кг на 1 га. Урожай снят 123 кг, что в переводе на гектар составляет 20,5 ц. Урожай по зерну сам-24.

Наибольшее количество зерен в колосе доходило до 52 штук.

Ячмень имеет склонность к кучению. При указанной норме высева кучение обнаружилось 4 — 6 — 8 стеблей от одного зерна. Норма высева каждый раз бралась намного заниженной с целью получения большого количества зерна от высеянных семян, а также с целью воспитания ячменя на кучение и на наибольший вес каждого колоса.

Отбор зерна для посева каждый год проводился от крупных правильных колосьев, от кустов с наибольшим количеством стеблей».

Семен Васильевич почувствовал, что пора подводить итоги. Бумагу он озаглавил так: «Систематизированный материал о шестигранном ячмене, составленный на основании кратких записей о произведенных работах с ячменем в 1962—67 годах в совхозе им. Ленина».

Заканчивалась бумага резонным выводом: «Рекомендую дирекции совхоза вести дальнейшую работу по размножению и оказанию мне помощи по улучшению данного сорта ячменя, как перспективного для высоких урожаев и представляющего хозяйственную ценность.

Опытник, комбайнер совхоза имени Ленина Семен Зотов».

На основании этой бумаги Николай Матвеевич Горбаченко послал письмо в область, поговорив сначала по телефону, куда посылать и какое именно письмо, в какой форме. По голосу на другом, далеком, а вернее, высоком конце провода директор понял, что и там известие о необыкновенном ячмене произвело свое действие.

Через несколько дней Зотов принес в контору еще одну небольшую бумагу. В ней значилось:

«Я, Зотов Семен Васильевич, заявляю, что выведенный мною новый сорт ячменя шестигранного я передаю в полное распоряжение совхозу имени Ленина на благо нашей великой Родины. Ни я сам, ни мои дети, ни сегодня, ни в будущем не должны иметь никаких претензий на этот сорт ячменя, а также никаких вознаграждений. Прошу

также не присоединять моего имени к названию сорта, а называть его впредь ячмень «шестигранный».

Николай Матвеевич прочитал это, как завещательное распоряжение, и поднял на Зотова не то недоуменный, не то восхищенный взгляд.

— А не поторопился ли ты, Семен Васильевич? Это, конечно, хорошо, скромность, как говорится, украшает. Ну, а если на премию представят, тогда как? Не весь же совхоз на премию представлять? Ты трудился пять лет. Ты нашел. Я тебе советую так: бумажку эту ты не выбрасывай. Держи пока у себя. Мало ли. По ходу дела увидим. Областная комиссия приедет во вторник. Готовься держать экзамен.

— Готовиться нечего. Дело само за себя говорит. От трех колосков пуды зерна.

— Я тоже думаю, что никаких недоразумений здесь быть не может.

При выходе из конторы Семен Васильевич столкнулся с совхозным агрономом, молодым специалистом и молодым человеком Петей Головиным, у которого в работе, по словам директора, что-то скрипело и потрескивало. Может быть, потрескивание это шло от подчеркнутого независимого вида Пети Головина, от нарочито небрежных поз на деловых совещаниях, от некоторой резкости его суждения, а может...

Вот уж шестой год работает он в совхозе, и пора бы притереться, и пора бы уже называться Петром Сергеевичем, а не Петей Головиным, но все что-то крошилось у Пети Головина и вот именно скрипело и потрескивало.

То ли агроном с самого начала знал, что его сознательно не привлекли к работе над ячменем, то ли он вовсе не знал ни о каких таких опытах, потому что Зотов работал аккуратно и тихо, но ни разу за все время агроном не остановил комбайнера, не спросил, не намекнул даже, не показал обиды и неудовольствия.

Теперь, когда можно считать, что все уже позади и до вторника остается четыре дня, Зотову, столкнувшемуся в дверях с агрономом, сделалось как-то виновато и даже совестно. Агроном же и на этот раз не подал никакого вида, только в краешке рта — заметил опытник — притаилась у него легонькая усмешка. От этой усмешки (еще вопрос, была ли она) у Зотова невольно почему-то защемило сердце, даже отозвалось под левой лопаткой, словно укололи вязальной спицей.

Агроном прошел уже мимо, как вдруг обернулся и окликнул Зотова, тоже успевшего отойти.

— Семен Васильевич! Я слышал, комиссия скоро приедет. Когда?

— Во... вторник. Может, вы бы, Петр Сергеевич... как специалист...

— Время у тебя еще, Зотов, есть. Поезжай сегодня же в область, пойди в областную библиотеку, попроси энциклопедию. Запомнишь? Эн-ци-кло-пе-ди-ю. Открой ее на букву «я». Найди про ячмень. Советую сделать это тебе до комиссии. Компривет.

— Это зачем же?

Агроном смерил Зотова насмешливым взглядом.

— Ну... Чтобы знать общие сведения. Вдруг придется разговаривать с комиссией, отвечать на вопросы. Нельзя же выставлять себя полным невеждой.

В этот день поехать в область Зотов никак не мог. Да он и не придал словам агронома никакого значения. Но чем больше проходило часов, тем беспокойнее и хуже становилось у Зотова на душе. Ночью стало и совсем плохо. Ни с того ни с сего Семен Васильевич обливался липким противным потом, ворочался. Дурные предчувствия томили его. Только перед самым утром забылся он болезненно бестолковым сном, когда человек спит и помнит себя...

— Какую же вам энциклопедию? — спрашивала Зотова молодая красивая библиотекарша несколько часов спустя.— Их ведь много. Большая Советская, Малая, «Гранат», «Брокгауз и Ефрон». Начните с этой последней. Вам нужна буква «я». Сейчас найдем. Вот. В восемьдесят втором томе. Пожалуйста. Садитесь за мой столик. Только курить у нас нельзя.

— А я как раз не курю,— заверил Зотов, принимая в руки старинную, с золотыми буквами на корешке и что-то затаившую в себе книгу.

Так. Буква «я». Яйцо. Несколько страниц шло про яйцо. Семен попробовал вчитаться по своей любви ко всякому чтению, а в особенности содержащему новые, неизвестные факты и данные. Именно такое чтение Семен любил больше всего.

С первых строчек он понял, что у него в руках не книга, а клад интересных знаний. Он пожалел, что только на шестом десятке оказалась у него в руках столь драгоценная, столь чудесная книга. И некому было ведь посоветовать вовремя. До всего доходи своим умом. Наверное, есть

вещи, до которых так и не успеешь дойти. А ежели бы с этой книги с первой начать? А?!

Наткнувшись на «яйцо», Семен Васильевич стал искать про куриные яйца. Но энциклопедия не торопилась. Шло сперва про яйцо вообще. Оказалось, что яйцо есть «женская половая клетка в ее окончательном сформированном виде». Потом началось про яйцо у растений. Замелькали непонятные слова, множество иностранных. Ага! Вот и про яйцо. Семен Васильевич жадно читал.

«Предметом международного обмена Я. стало очень недавно, вследствие того что товар принадлежит к группе скоропортящихся пищевых продуктов».

Столбиком пошли цифры, кто сколько вывозит.

«В России общей переписи птичьего населения никогда не было, и потому все попытки учесть его являются более или менее приблизительными. По приблизительным соображениям некоторые знатоки русского птицеводства (Н. В. Петров) определяют куриное население европейской России в 100 миллионов штук, а производство яиц в 6 миллиардов штук. Другие исследователи увеличивают эту цифру почти вдвое. Принимая в основание упомянутую цифру производства Я. в шесть миллиардов, окажется, что сама Россия потребляет две трети, а одну треть вывозя и за границу. Цены на Я., смотря по времени года, подвержены большим колебаниям. В 1900 году 25 р. 75 к. за тысячу...»

Яйца кончились, и началась Якутская область, на которой Зотов не стал задерживаться, так же как на Японии и японском искусстве. Но ярмарки его зацепили.

«Места периодического съезда торговцев и привоза товаров... Всего в России 18.452 ярмарки с оборотом 1.098.000.000 рублей».

Зотову вспомнилось, как и сам он ездил с отцом в Петров день и в Успенье на ярмарку, в то самое Семендюково, в котором теперь совхоз. Поплыло перед глазами у Зотова что-то пестрое, яркое, оживленное, запахло дегтем, рогожами, воблой и мятным пряником.

Однако начинало уже щемить там, около сердца, и само сердце, и снова укололо в лопатку так же, как в тот самый миг, когда усмехнулся агроном, и щемило теперь все сильнее и явственнее. Значит, подбирался теперь Зотов к чему-то очень главному и решающему, хотя и шла пока еще невинная «Ярославская губерния».

Вдруг ударило по глазам слово, напечатанное как будто крупнее, жирнее и чернее других слов. Оно показалось

Зотову каким-то даже траурным, короткое и обыкновенное слово «Ячмень».

Торопливо перескакивая со строки на строку и снова возвращаясь наверх, начал он читать сокращенные, измельченные, плохо читающиеся слова.

«Ячмень. Одно из главных хлебных растений вообще и в частности один из важнейших продуктов полевого хозяйства России. Разводится ради зерен, являющихся пищевым продуктом, материалом для пивоварения и кормовым средством для скота. В муку для целей хлебопечения размалывается редко, так как не дает пористого теста... Как материал для пивоварения Я. очень ценится и почти незаменим.

В Туркестане, в Вост. Закавказье, Аравии и многих других местах корм. Я., как корм для лошадей, заменяет собою овес, выгорающий в знойное лето, и на этом корме создались арабская и близкая к ней карабахская лошадь.

Я. принадлежит к числу древнейших культурных растений, найден в самых древних египетских гробницах и в остатках озерных, свайных построек (т. е. в каменном и бронзовых веках)...»

Разведение ячменя по губерниям России Зотов пропустил, отметив про себя, что эти сведения теперь устарели.

«В ботаническом отношении вид (два заграничных слова), к которому относится довольно большое число разновидностей ячменя, характеризуется тем, что одноцветные колоски собраны в группы по три и расположены на изгибах колосового стержня. В зависимости от того, все ли цветы в группах колосков приносят плоды и как колоски располагаются на самом колосе, а также, все ли колоски снабжены остями, различают три постоянных разновидности: 1) шестирядный (или шестигранный) Я. (два иностранных слова), колоски которого составляют шесть равно расположенных от колосового стержня и одиноких рядов зерен и имеют по их числу столько же правильно расположенных остей. 2) Четырехрядный... 3) Двухрядный.

Настоящий шестирядный ячмень встречается в культуре сравнительно редко, по преимуществу в Южной Европе (Исп., Порт., Италия и в некоторых более высоких местах Альп). У нас он встречается изредка в некоторых южных губерниях. По всей вероятности, это наиболее древняя форма ячменя...»

— Товарищ, товарищ!

Зотов никак не мог понять, что окликают его.

— Я вам подобрала букву «я» в других энциклопедиях. Возьмите.

Семен Васильевич не слышал и не соображал ничего. В одно мгновение, как в испортившемся кино, проскочил в сознании и тот зеленый лужок, где лежал тогда после обеда и где Шурка показал ему первый мохнатый колос, и зерна на ладони, и лицо председателя, и записи, и завещательная записка с глупейшей постыдной просьбой, и усмешка на губах агронома, и неотвратимо нависающий вторник. Потом все это расступилось, словно обманчивая трава на болоте, и разверзлась под Зотовым темная бездонная хлябь.

Библиотекарша, видя, что читатель не поворачивает головы, понесла ему три тяжелых тома. Когда она подошла вплотную, мужчина поднял на нее туманные невидящие глаза и вдруг странно обмяк и повалился на бок.

Девушка уронила книги и бросилась сначала к упавшему, потом к телефону.

— Але! Але! Скорая помощь... областная библиотека... Наверное, сердечный приступ... Лежит на полу!

Выздоравливал Семен медленно и долго. Ему запрещали шевелиться, запрещали читать, запрещали разговаривать. По правде сказать, ему и не хотелось делать ни то, ни другое, ни третье.

Только потом уже, на втором месяце болезни, вернее сказать, выздоровления, где-то в душе, внутри противной, серой, холодной пустоты начала шевелиться тепленькая светленькая живинка. «Если встану,— смутно думал Семен,— эту энциклопедию начну читать с первого тома. И чтобы все восемьдесят четыре».

О прошлом он не жалел. Может быть, подсознательно понимал, что за то счастье, которым он был счастлив целых пять лет и которое дается человеку только изредка, одному из многих и многих тысяч, надо же было чем-нибудь заплатить.

1970

МОКРЫЙ СНЕГ

До недавних пор здесь был кирпичный завод, который закрылся, распался и как-то сам собой стерся с лица земли. Уцелела только бывшая контора завода — деревянный дом из шести комнат, в которых размещались некогда

и директор завода, и бухгалтерия, и все, кому полагалось по штату сидеть в конторе.

Земля вокруг, возможно, и хранила следы кирпично-производственной деятельности, но я никогда не бывал в этом месте летом, а ездил всегда зимой, когда глубокий и чистый снег покрывает все бугры и ямы, все язвы и раны истерзанной неугомонным человеком земли. И большого озера, начинающегося недалеко от упомянутой конторы, я тоже не видел в летнее время, когда оно бывает, наверно, то серым, то синим, а видел все время только ровную белоснежную плоскость с желтым, шуршащим под знобким январским ветерком камышом по краям.

Контора располагалась в свое время на некотором отшибе от самого завода и отделялась от него узкой — в сто шагов — полосой старых сосен. А окна ее смотрят на озеро. Получается уж не контора, а вилла, дача, курорт. Я и облюбовал ее для того, чтобы иногда зимой приехать на месяц или хотя бы на две недели покататься на лыжах, наглядеться на озерный и небесный простор. Ну и работа на первом месте: стол с бумагой, книги, тишина, одиночество.

Необходимо время от времени сослать себя в добровольную ссылку подальше от большого города и от всех, как правило, суетных дел, связанных с ним. На зимнем метельном ветерке проветрится, просвежится душа, отстоится во время тихих пушистых снегопадов, и тогда в морозный, запушенный инеем день посмотришь самого себя на просвет и увидишь всю муть в себе, но и весь свет в себе. И яснее станет, что делать дальше.

Все комнаты в конторе были неказисты на вид. Обои потемнели и местами ободраны. Из-под них выглядывает газетная подкладка, измазанная серым клейстером. Подойдешь, прочитаешь фразочку и сразу поймешь, какой давности эта газета, какой великой и бессмертной эпохи, какого великого десятилетия. Поковырявшись в газетной подкладке, я докопался до газетного слоя: «От Советского информбюро».

На тех местах, где висела в конторе наглядная агитация — объявления, призывы и графики,— сохранились на обоях светлые места, прямоугольные пятна.

Сохранились еще тут конторский шкаф, директорский стол, два стула, табуретка, печка-голландка, не истребимый ни морозом, ни временем табачный дух да еще — как курьез — телефон, который будет потом играть некоторую роль в этой грустной лирической истории.

Из всех шести комнат я оборудовал себе под жилье одну — бывший директорский кабинет. Она, эта комната, и с самого начала выглядела почище других. В ней была своя, самостоятельная печка, от остального дома комната отделялась не перегородками, а капитальной стеной и хорошо держала тепло.

Из конторского шкафа я выбросил полки, прогибавшиеся раньше под канцелярскими книгами, и получил таким образом платяной шкаф. Директорский стол был даже просторнее моего московского письменного стола. Черная клеенка на нем местами изрезана и порвана, но когда я раскладывал свои бумаги, то все огрехи загораживались и выходил прекрасный рабочий стол. Настольную лампу я выпросил в соседнем совхозе (в полутора километрах), а железную кровать с шишками и почти сохранившейся никелировкой подобрал в ближайшей деревне (в трех километрах): выставили на улицу, приобретя, как видно, модный ныне раскидывающийся диван. У этой кровати имелся только один-единственный недостаток: она была слегка широковата для одинокого отшельничьего спанья.

Если учесть, что я постоянно держал в комнате, в бутылке из-под итальянского вермута, ольховые либо черемуховые ветки, которые, обманувшись теплом, распускали листья и даже цвели, если учесть также, что ежедневно в сумерки у меня топилась печка, что я каждый день подметал деревянный, крашенный суриком пол, то нетрудно поверить и в то, что в моей одинокой комнате было всегда более или менее уютно, особенно когда войдешь в нее из остальных, ободранных и промороженных комнат.

Возникает вопрос, почему этот дом сохранился, почему пустовал и на каком основании я пользовался им, захватив директорский кабинет.

Когда ликвидировали завод, этот домик купил совхоз в надежде приспособить его... Впрочем, вернее всего, без всякой далекой цели, но на всякий случай: в хозяйстве пригодится. Но у совхоза много дел, и руки до домика, до ремонта его, до приведения в порядок его все никак не доходили. Директором этого совхоза оказался мой сослуживец по армии ефрейтор Курочкин, а теперь Виктор Иванович. Как-то раз он позвонил мне в Москве, раздобыв телефон, зашел в гости, мы посидели, разговорились, остальное — понятно. Надумав сослать сам себя в добровольную ссылку, я всякий раз звонил Виктору Ивановичу

в совхоз, он в течение недели отапливал мой «кабинет», и я приезжал как домой в привычное теплое помещение.

Моя самая первая ссылка совпала с трагическими личными обстоятельствами. Положим, это сказано слишком сильно. Но всякий любовный разрыв приносит боль, смятенье, тоску, чувство одиночества, быстрое чередование надежд и отчаянья, метание словно в клетке. Тем более что клетка моя отстояла от Москвы на двести почти километров и нельзя было ни схватить такси, поддавшись порыву, ни крикнуть что-нибудь в трубку телефона-автомата, накрутив тугой на морозе, застревающий на обратном пути кружок циферблата и поневоле прислоняя к уху омерзительную, ледяную эбонитовую поверхность трубки.

Обнаружив тогда в моем домике телефонный аппарат, я подошел к нему в первый раз, как к мине замедленного действия. Взял трубку и услышал, к неописуемому удивлению, что телефон жив. Ровный глуховатый фон плыл мне в ухо. Потом щелкнуло, и живой (живой!) девический голос неизвестно откуда ответил: «Коммутатор».

Но не было у меня никакого «добавочного». Да кроме того, от неожиданности и растерянности я скорее положил трубку. Казалось бы, надо было радоваться: какая-никакая ниточка к внешнему миру, но помню, что телефон только обострил и усугубил мое одиночество. Телефон, по которому некому позвонить,— чудовище, генератор, вырабатывающий и излучающий тоску. Теперь понятнее будет моя радость, когда у меня впоследствии появился «добавочный номер». Но не будем забегать вперед на целую долгую неделю. Впрочем, неделя эта была обыкновенной календарной неделей, состоящей из семи дней. И мне она только казалась долгой. Если же описывать события этой недели, то хватит и полстранички. А вернее сказать, не было никаких событий, если иметь в виду внешние события и происшествия, которые только и называются событиями в человеческом обиходе. А то, что я перечувствовал и передумал, лежа на кровати или сидя у печки, то, что я передействовал в своем воображении, это все не события, хотя бы на описание всего этого не хватило и трех томов.

Внешне же все было размеренно, просто, тихо. Ходил на озеро за водой. На электроплитке готовил себе еду. Читал. Писал. Гулял по берегу озера. Набрел на сосновый лесок, огороженный темно-зеленым забором. Скрывалось в лесочке что-то военное. Видел снегирей, шелушащих семена

в прошлогоднем репейнике. Топил печку. Выходил на крыльцо и смотрел на звезды. Решал шахматные задачи. На самом же деле всю эту долгую зимнюю неделю я боролся с неодолимым искушением поехать на одну (на одну только) ночь в Москву.

Практическая возможность была. Пройти полтора километра до автобусной остановки. Проехать пятьдесят километров на автобусе. Сесть на местный поезд, который привезет на большую станцию. А там — электричка, и через два часа с четвертью — Москва. Один автобус в день, как раз к этому местному поезду, и один поезд в день. Общее время на дорогу — пять с половиной часов. Автобус отходит в 18.30. Таким образом, хочешь не хочешь, ровно в полночь будешь в Москве. На площади трех вокзалов. Такси. Еще двадцать — тридцать минут... Но нет, нет и нет! Только не это. Лучше удавиться, сунуться головой в прорубь, заморозить себя на снегу, сжечь самого себя в этой нелепой конторе. По истечении недели ровно в 18.00 я пришел на автобусную остановку.

Лепил густой мокроватый снег, и было тепло. Еще человек пятнадцать ждали автобуса, повторяю, единственного и привозящего прямо к единственному поезду. Единственный шанс для всех нас уехать каждому в свое место и со своей целью. Ах, не было ни у кого такой же больной и такой же сладостной цели, какая была у меня.

Мы все напряженно вглядывались в непроглядную зимнюю темноту, толпясь на освещенном пятне автобусной остановки. Три столба — на каждом по лампочке — жидко освещали круг шагов в пятьдесят, а также дверь сельмага с тремя замками и голубую будку — собственно автобусную остановку.

Крупный мокрый снег летел и летел из темноты мирозданья в наш освещенный мирок, испещряя и заштриховывая его белой, плотной, как пряжа, путаницей.

Тут были и мужчины, и женщины, кто с чемоданом, кто с узлом. Но выделялась для меня из всех будущих автобусных пассажиров одна молодая женщина в малиновом пальтеце и в белом пуховом платке. У нее было свежее розовое лицо, непроизвольно улыбающиеся губы, синие глаза и прядь светлой соломы из-под платка. Не трудно было понять, что волосы, скорее всего просто русые, обесцвечены до такой соломенной светлоты современными косметическими средствами. Кроме дамской сумочки, никаких вещей у нее в руках не было.

...Значит, все-таки я еду в Москву? Капитуляция и сдача на милость? Но ведь это только противник, враг принимает капитуляцию и даже видит в ней цель своих усилий. Женщине, когда она больше не любит или не хочет любить, капитуляция не нужна.

Ночь-то, конечно, будет сладкой, если я сегодня приеду. Но узелок тут такой, что все равно ничего хорошего впереди быть уже не может. Неужели? И все к лучшему в этом лучшем из миров? И судьба постоянно права? Но если она права и если она так хочет, то я ведь не пасынок ей какой-нибудь! Хоть бы знак подала, намек, чтобы я догадался, а не ломился напролом по упрямству и слепоте. И потом, если я и правда не пасынок (а я не пасынок), то понимает же она, что творит? И что ждет меня в ближайшие месяцы? Согласен, что, может быть, это все для моего же блага, но переживать каково! Могла бы позаботиться о смягчении удара, о соломке для падающего. Какую-нибудь интересную поездку на первый случай, интересное отвлекающее событие или... я уж не знаю что. А то ведь нарочно не придумаешь такую конуру на берегу замороженного озера. Так вот же, поеду в Москву наперекор судьбе, и посмотрим еще...

Снег становился все мокрее и гуще. Мы все нетерпеливее всматривались в темноту, где должно было появиться сначала зарево, а вскоре и само белое пятно автомобильного света. Самые нетерпеливые выходили из нашего светлого круга по дороге навстречу автобусу шагов на сто, словно это могло ускорить его появление.

— Так и на поезд опоздаем,— высказалось первое еще неуверенное опасение.

— Четыре минуты уже просрочил.

— Наверстает. Не было случая, чтобы автобус к поезду опоздал.

— Не было случая, а теперь будет. Сам посуди — ему ехать по такой дороге не меньше чем полтора часа...

— До поезда еще час пятьдесят.

— Если бы автобус уже был здесь, а то и свету не видно. Нет, мужики, еще пять минут, и можно идти по домам. Бесполезное дело.

— И то учесть, что если туда заедешь, а поезд уже ушел, то обратного автобуса больше не будет. Придется ночевать на вокзале.

— Какой там вокзал? Волков морозить...

— То-то вот и оно. Нет, мужики, как хотите, а я рисковать не согласен.

Снег слепил, время шло, автобуса не было. Я спросил у молодой женщины в малиновом пальтеце и в белом пуховом платке (она оказалась рядом):

— И часто не приходит автобус?

— Никогда этого не было. Сейчас придет.

— Так вот, автобуса сегодня не будет.

— Это почему?

— Из-за меня.

Несколько человек настороженно повернулись ко мне, но, поняв, что это не больше чем глупая шутка, стали опять глядеть в снежную ночь.

А меня и правда внезапно озарила уверенность, что никакого автобуса не будет и ночных поездов с пересадкой не будет. Ни вокзала, ни такси и ничего сегодня не будет, а останусь я среди мокрого снегопада, с этой вот женщиной в малиновом пальтеце, губы которой и не хотели бы улыбаться, но невольно изображают улыбку. Грустную, правда, почти печальную и как бы извиняющуюся, но все-таки женскую улыбку.

Чтобы не вмешиваться в дело судьбы и, как говорится, не дышать у нее над ухом, я отошел подальше от белого пухового платка и нашел себе место сзади всех ожидающих. Их ряды заметно редели. Те, кто поспешал на поезд, ушли домой, поняв, что если сейчас и придет автобус, то к поезду все равно не успеть. Оставались пока еще те, кому нужно в разные деревни по пути следования автобуса, да не двигался с места еще я, потому что торопиться мне было некуда ни в ту, ни в другую сторону.

Между тем заданная программа начала осуществляться с кибернетической точностью, где-то вращались колесики, бежал ток по бесчисленным проводам, мигали сигнальные лампочки, дрожали стрелки, щелкали автоматические отключатели и включатели — шла работа. Мы не видели ее, для нас обнаруживался только конечный результат этой работы, последнее и окончательное решение.

Все разошлись, и на островке света под снегопадом остались только два человека — я и молодая женщина в белом пуховом платке. Нужно сказать, что она не видела меня и того, что я остаюсь. Во-первых, я стоял на десять шагов сзади нее, а во-вторых, я стоял в черной тени, прислонившись к остановочной будке.

Ушли последние люди. Пошла было по дороге в темноту и эта женщина.

— Я же сказал, что автобуса сегодня не будет.

Женщина быстро обернулась и рассмеялась.

— Это и правда из-за вас?

— Конечно. А куда это вы собрались идти в такую погоду?

— До Мартынихи. Я там снимаю квартиру. Вернее, угол.

— Поскольку вина за автобус лежит на мне, то, может быть, разрешите вас проводить?

— Пойдемте. Только это три километра.

Мы вышли из фонарного зыбкого света и окунулись в чернила. Однако глаза скоро начали привыкать к темноте, и сперва проступили старые ели по сторонам от дороги, а потом оказалось, что ночь сквозь толстую вату облаков и летящего снега подсвечивается луной. Саму луну нельзя было увидеть, и даже нельзя было угадать, в каком месте неба она скрывается, но все же она была, напитала своим светом, как губку влагой, все облака, которые, если не пропускали зримых лучей к земле, то сами, набрякнув светом, начинали источать его и как-никак освещали нам эту ночь.

Мы бойко хрустели валенками по свежему снегу, которого нанесло на дорогу толстым слоем. Морозного скрипа, слышимого и за два километра, конечно, не было теперь при сырой погоде, но глухой энергичный хруст заполнял собой все паузы между нашими словами и фразами.

— Все-таки почему не пришел автобус?

— Сама не понимаю. Водитель заболел или случилось что...

— Как вас зовут?

— Доля.

— Чья... доля?

Женщина опять рассмеялась.

— ...Бедняка.

— Но если серьезно. Полное имя. Долина, что ли? Или Далила?

— Долорес.

— Ого! Передовые были ваши родители. Но вы ведь гораздо моложе.

— Долорес Ибаррури? Надеюсь.

— Того времени, когда ее имя часто произносилось людьми.

— Да, тогда меня еще не было. Мне двадцать четыре года.

— Ах ты, доля, моя доля...

— Продолжайте: доля горькая моя.

— А вы хотите быть сладкой долей? Знаете поговорку?

— Какую?

— Сладкой будешь — расклюют, горькой будешь — расплюют.

Спутница резко остановилась и схватила меня за рукава. Глаза ее, смотрящие прямо в мои глаза, как-то словно дрожали.

— Повторите! Повторите, пожалуйста! Ну, пожалуйста!

Я, разумеется, повторил. Некоторое время мы молча хрустели валенками по свежему снегу.

— Ну вот... а меня зовут...

— Не надо. Я знаю, кто вы.

— Откуда?

— Хитрое дело! Здесь все знают, что вы живете в конторе. Беспроволочная телеграфная связь... Здесь вообще все всё знают. И то, что вы меня провожаете, завтра будет известно.

— Боитесь за репутацию?

— Да. За вашу, конечно.

— А стихи вы читаете, любите?

— Очень.

— Ну кого, например?

— Сергея Поликарпова.

Я рассмеялся. Кого бы тут можно было услышать? Есенина, Блока, Маяковского. Ну, дежурного Евтушенку, ну, Цветаеву, что ли, по женской линии. На же вот тебе — Сергей Поликарпов! Не икнулось ли ему сейчас в бильярдной Центрального Дома литераторов?..

— Знаете наизусть хоть один стишок?

Доля прочитала незнакомое мне стихотворение.

— А еще кого?

— Я и сама немного пишу, не думайте!

— Дайте мне почитать. Только сразу все вами написанное. Я поставлю диагноз. А пока читайте, что помните.

Она читала стихотворение за стихотворением. Я был удивлен, чтобы не сказать — потрясен. Все это были хорошие стихи, хоть сейчас неси в журнал и печатай. Правда, рождались смутные воспоминания (ассоциации, надо было бы здесь сказать), но что же спрашивать с нее, если у иного поэта с десятком книг то и дело проскальзывают стихи, рождающие эти самые воспоминания-ассоциации.

— Слушайте! — теперь я остановился и взял ее за рукава.— Вы должны все это чисто переписать и отдать мне. Вы с ума сошли! Держать все это под спудом! В течение трех дней переписать и отдать мне.

Доля неуверенно обещала. Между тем мы вошли в деревню.

— Зайдите погреться. У тети Маши такие огурцы, такие грузди!

На крыльце мы старательно обмели снег с валенок жестким, обносившимся голиком и вошли в теплую деревенскую избу.

Редко теперь приходится бывать в деревенской избе. Ходишь мимо, глядишь на избы снаружи, но нет ведь предлога и повода зайти внутрь, раздеться, сесть на лавку на кухне, где стол перед лавкой, полка с утварью, чело русской печи, ухваты около, самовар на столе, тетя Маша, открывающая люк подпола. А в руках у нее две миски — под огурцы и под грузди.

Как видно, тетя Маша ладила со своей квартиранткой, потому что кроме соленых огурцов, с прилипшими мелкими семечками укропа и листьями смородины, кроме грибов, тотчас распространивших по комнате пряный запах чеснока, она поставила на стол еще и бутылку водки.

Я люблю жизнь за эти вот неожиданные резкие переходы, за резкие смещения «планов». В самом деле, предстояло (и уже существовало в сознании) тоскливое ночное бдение в пересадочных поездах, а потом предстояла полуосвещенная московская квартира, тихая медовая музыка, зазывающие, как бы парализующие волю глаза. Мог ли я еще и один час назад знать, что окажусь в деревенской избе, у тети Маши, и будут лафитнички на столе, и я разолью по ним холодную водку.

Доля сняла свое малиновое пальтецо и оказалась — в розовом свитере, подпирающем подбородок,— стройной и складной девушкой. Ну, конечно, волосы обесцвечены. А бывают ли теперь настоящие, натуральные блондинки? Все трое мы дружно выпили. Доля раскраснелась, глаза у нее заблестели, и в разговоре появилось выражающее не то вопрос, не то восторг восклицание: «Надо же!», к которому она добавляла совсем уж вопросительное «а».

— Автобус не пришел, надо же, а?

Поговорим о чем-нибудь: тетя Маша расскажет о житье-бытье — сын шофер, а жена от него в Сибирь убежала.

— Надо же, а?

При этом «а» Доля взглядывала на меня, словно я должен был подтвердить рассказ тети Маши.

Она вышла на крыльцо проводить меня, накинув на голову и плечи все тот же белый пуховый платок.

— Значит, за вами переписанные стихи. Но когда же я вас увижу? Как с вами держать связь?

— Можно по телефону. У коммутатора спросите «профилакторий».

— Какую профилактику вы наводите?

— Летчики-испытатели отдыхают. А я там — официантка. Разочарованы? Да? Фамилия у меня простая, Сергеева. Сменщицу мою зовут Тамарой. Если что накажете, она мне передаст.

Доля держала рукой платок около горла и улыбалась мне вслед.

Курьезный, стоящий на полу в морозной нежилой комнате телефон приобрел смысл, сделался необходимым предметом. Существует какой-то нелепый профилакторий, куда можно звонить. Наверно, это то самое, за зеленым забором в сосновом лесу, которое приходится огибать, если вздумаешь идти все время по берегу озера.

— Коммутатор? Соедините с профилакторием (вот словечко!). Профилакторий? Позовите, пожалуйста, Долю.

В ухо мне громко стукнуло, наверно, положили трубку на стол. Потом отдаленно крикнули там, словно аукнулись в далеком лесу:

— Доля! Тебя...

И что-то она еще сказала кому-то, прежде чем прислониться к трубке, но я не расслышал что. Это было все еще далеко и неразборчиво. Словно даже хихикнули там, но после всего этого голос прорезался чисто и явственно:

— Это вы? Надо же! А? Нет, сегодня я не могу. Такое у меня дежурство. А завтра я свободна весь день...

Она пришла около пяти часов вечера, когда я растапливал печку.

— Чудесно! Посумерничаем около огня и будем ужинать.

— А у вас хорошо. Сколько книг. Можно, я посмотрю? Ой, «Огонек»! Тут есть кроссворд, в котором мы не отгадали несколько слов.

— Кто это мы?

— Ну... мы. С нашими летчиками.

— Много их там у вас?

— При полной загрузке — двенадцать коек. Но зимой обычно пять-шесть человек.

— Значит, вы с ними разгадываете кроссворды? Какие же там слова?..

Я щепал лучину, и получалось это у меня почему-то отрывисто, зло,— того гляди, попадешь себе по пальцу.

— Вот, например, буква греческого алфавита из трех букв. Как это может быть — буква из трех букв?

— Ну как... были же в русском языке «аз», «буки», «веди», «глагол», «добро», а у греков — «альфа», «дельта», «омега», «сигма», «игрек», «икс»...

— Начинается с «П», из трех букв.

— Наверное, пси.

— Ой, и правда подходит. Надо же, а? Ни за что бы не догадаться... Теперь — способ передачи энергии...

— Идите лучше греться к огню.

Скамеечка, на которой я обычно сидел перед огнем, не уместила бы нас двоих, и я уступил ее гостье. Доля протянула к печке свои валенки, небольшие, аккуратные, и от них тотчас начал куриться парок. Между верхним обрезом валенок и нижним обрезом черной юбки, расправленной на коленях,— капрон, цвета хорошо загорелого тела, обтягивал коленные чашечки и начало полных, как раз по ширине валенок ног.

— Где ваши стихи?

— Я не переписала.

Вот так раз! Как было не удивиться, что человек не захотел воспользоваться таким случаем? Какой молодой поэт не захотел бы отдать свои стихи на суд поэту старшему, опытному? Стихи, когда их накопится достаточное количество, побуждают автора к действию, заставляют нести, показывать, обивать пороги редакции. Тут все пришло к ней само, можно сказать, явилось с неба, а она, видите ли, поленилась переписать.

— Тогда читайте.

— Можно, когда-нибудь в другой раз?

— Но почему?

— Я стесняюсь.

— В прошлый раз не стеснялись.

— В прошлый раз я думала, что больше мы не увидимся.

Я настаивал, и Доля чуть не со слезами на глазах стала

читать. Она и правда стеснялась, краснела, но читала, с трудом выдавливая из себя, опять хорошие, зрелые стихи. После каждого стихотворения она порывалась перестать читать, но я требовал еще и еще до тех пор, пока смутная догадка не переросла в явственную уверенность. Доля обманывала меня, Доля читала мне чужие стихи. Тут были, вероятно, Вероника Тушнова, Таня Кузовлева, Инна Кашежева, кто-нибудь из еще более молодых поэтесс.

Острое чувство жалости поднялось во мне к этой соломенной, синеглазой Доле.

Улыбка странным образом никогда не сходила с губ этой девушки. Но странным же образом она всегда меняла свои оттенки. Теперь Доля, как видно, поняла, что я разоблачил ее поэтический секрет, и смотрела на меня улыбаясь виновато.

Но что же тут было непростительного? В тот первый вечер она немного поморочила мне голову из озорства и — правильно — из предположения, что больше мы не увидимся. Разве сегодня, поняв, что мистификация зашла далековато, Доля не отказывалась читать стихи? Разве она не краснела, читая их? Да и не анекдоты же она мне рассказывала, а читала стихи. Наизусть. Много. Переживая их, как свои.

— Ах ты, Доля, моя Доля!

Я пододвинул свою табуреточку к скамеечке и руку свою положил ей на плечи. Вблизи от нее пахло какой-то медициной: карболовой кислотой или хлоркой, что ли? Однажды в санатории я отдал горничной в стирку носовые платки, и они потом пахли вот точно так же.

Доля поглядела на меня (табуретка возвышалась над скамеечкой), припала щекой к моему свитеру и по-детски всхлипнула. Волосы, которые я хотел погладить, пружинили под рукой. Тогда я нашел для ладони место ниже волос, сбоку горячей шеи, и стал слушать, как проклевывающимся птенцом стучит в середину ладони бьющаяся Долина жилка. Дрова потрескивали в печи и горели еще очень долго. Пока они горели, мы не пошевелились и не сказали друг другу ни одного слова.

Насчет беспроволочного телеграфа Доля была права. Дня через три после нашего свидания ко мне зашел Виктор Иванович. На пороге он шутливо взял «под козырек» пыжиковой шапки и, вспомнив нашу былую субординацию, бойко отрапортовал:

— Товарищ сержант! Ефрейтор Курочкин прибыл из

долгосрочного отпуска для прохождения дальнейшей службы.

Впрочем, команды «вольно» он дожидаться не стал, а сразу обнажил из кармана полушубка бутылку водки и поставил ее на стол.

— Вот так. Давай закусить. Плохо тебе без хозяйки. Сейчас бы она живо соорудила нам, как полагается. А то живешь бобылем. Вроде соломенный вдовец.

— Ничего. В одиночестве лучше работается.

— Подыскать тебе, что ли, среди наших доярок? Девки знаешь какие! И-эх! И держат себя в порядке. Не то что эти вон из... как его... про-фи-лак-тория. И не выговоришь. Тьфу!

Не понять было, к кому относилось это тьфу: к самому профилакторию или к «этим, из него». Но я промолчал. Мы выпили по стопочке, прожевали, и Виктор Иванович начал продолжать свою тему.

— Да... Оно и понятно. Шесть-семь молодых летчиков. Испытателей. Ежедневный риск, перенапряжение всех нервов. И вот посылают его на десять дней отдохнуть. Лес да озеро. Ни жилья, ни былья кругом на три километра. И на весь дом две девчонки-официантки. Врачиха — пожилая, директор — мужчина, уборщица — тетя Шура, под пятьдесят лет. А что им надо для отдыха? Ну, лыжи. Согласен, лыжи. Так ведь на лыжах катаются днем. А — вечер? Выпили, конечно. А тут хорошенькая девчонка в белом халатике. «Тамарочка, не выпьешь с нами?» — «Ой, что вы, мне никак нельзя. Я на службе».— «А служишь ты кому? Нам. Так что нас надо слушаться». Ну, поломается для приличия и выпьет. И повторит. А потом на квартиру к себе потащит. Не потащит, а само собой получится. Надо же выпившую девушку до дому проводить. Провожать пойдут трое — пятеро. Подруга, сменщица есть.

— Погуливают, что ли, эти девчонки?

— Хм. Погуливают! Не то слово. А через десять дней — новая смена. Понимать надо... Была у меня одна тут... хорошая девчонка. В столовой официанткой работала. Уволил я ее, она — в профилакторий. Теперь, говорят...— Виктор Иванович безнадежно махнул рукой.

— Если хорошая была девчонка, почему уволил-то ее из столовой?

— Это другой вопрос. Строг я. Строгость моя не нравится.

Так и допили мы бутылку, и выходило, что наведался ко

мне Виктор Иванович просто так, ради воскресенья, что ли, но подоплека его визита была мне ясна. Добра желает мне человек. Предупредил, исполнил долг старого верного товарища. А уж там, мол, как хочешь. Мое дело сказать.

Совпало, что в тот же день мне надо было сходить в сельмаг. Около магазина я увидел трех молодых военных, летчиков, офицеров. Один держал в руках большой пакет, наверно, с закусками, другой — сверток, в котором угадывались удлиненные бутылки югославского коньяка,— другого не было в здешнем магазине. И была с военными девица, чем-то похожая на Долю, но только выше ее, может быть, даже красивее, а вернее, с более правильными чертами лица. И была эта девица уже заметно пьяна. Тотчас я догадался, что это и есть Долина сменщица, Тамара.

Несколько вечеров подряд провели мы с Долей около пылающей печки, а потом и за столом, за ужином, около, увы, все того же югославского коньяка. Я не старался выспрашивать, но во время разговора сами собой выплывали и высвечивались подробности. Была замужем и оставлена. Разошлись. Происходило это все где-то в Ужгороде. Растет дочка. У родственников. Доля ездит к ней один раз в две недели. Взять к себе некуда.

— Тамара, твоя сменщица, тоже снимает угол?

— Нет, у нее отдельная комната в райцентре. Туда ходит автобус. Езды двадцать минут. А что?

— Да нет, просто так. Бываешь ты у нее в гостях?

— Ну, а как же? Подруга же!.. А больше-то у меня никого здесь и нет. Вы вот теперь...

Я задумывался над тем, почему ко мне ходит Доля. То, что я мог просто понравиться молодой женщине, это я исключил в первую очередь. Замуж за меня она не рассчитывает, ибо она не глупа. От простой женской скуки? Но какая может быть женская скука в окружении молодых и красивых офицеров? Что же остается? Одиночество как таковое. Одиночество сердца, души, желание прислониться и отдохнуть на долгом, можно сказать, бесконечном в ее двадцать четыре года пути. Зябкость, холод, лютая стужа. Вот и оттаивает около моей неожиданной приветливой печки.

— Ну как, кроссворды все разгадываете? Накопились неразгаданные слова?

Доля закусила нижнюю губу.

— Вы смеетесь, а мне плакать хочется.

— Отчего?

— Уеду я куда-нибудь. Брошу все и уеду. И уехала бы давно. С дочкой не знаю как поступить.

— Не нравится здесь?

— Надоело. Осточертело. Одно и то же. Приезд. Знакомства. Ухаживания. Одни и те же слова они говорят, одни и те же слова я говорю. Двадцать, пятьдесят, много раз... Анекдоты, кроссворды. Все остальное одинаково...

— А вы... Ну, как бы вам сказать? Отработали — и домой. Ни минуты больше. Возьмитесь, постановите для себя, чтобы работа была отдельно, а остальная жизнь отдельно. Чтобы никакого продолжения не было после рабочего дня. 19.00. До свидания. Я — домой.

— К тете Маше? Огурцы соленые есть? Куда же деться-то мне? С чем же я останусь тогда? Пробовала. Стихи наизусть учила. Но ведь не могу же я все время одна. Я ведь живая. Куда я от этого денусь? И на сколько лет? До каких пор? Нет, попала я в западню. А они, ребята, веселые, хорошие. Я их не виню. Телефоны, адреса оставляют. Но все это без толку. Уехал и больше уж — никогда. Как умер. Нет, я до лета как-нибудь доживу, а потом уеду. Куда глаза глядят. К черту на кулички. В тартарары.

Я тоже обещал писать и даже посылать книги. Даже и написал раза два. Даже и послал томики Блока, Омара Хайяма и Леонида Мартынова. Но на большее меня не хватило. Выпала дальняя поездка, закружила Москва, подоспели неприятности, увлекла работа. Очнулся я через год в той же самой «конторе» у той же печки.

Сознаюсь, что раскаянье и запоздалые угрызения совести набросились на меня. Кроме того, окружили воспоминания. Эта ее не сходящая с губ улыбка. Это ее «надо же, а?», этот ее немножечко медицинский запах. Наши одинокие застолья, чай с изюмом. Память глаз, память слуха, память рук, острая память тела...

Трудно ли было, ну хоть в десять дней по письму для ее моральной поддержки! Наверно, ждала, бегала на почту (до востребования), и спрашивать часто неудобно, потому что Клава на почте ее хорошо знает. Но с другой стороны, не лучше ли, что не было моих писем? Она должна была принять решение — уехать,— и письма влияли бы на него. Она осталась бы из-за меня! И что я мог бы ей тогда предложить? Руку и сердце? Все это так, и все это правильно. Но

сейчас-то, сию-то минуту, когда я опять один в своей конуре, как хочется, о, как хочется, чтобы Доля опять вошла раскрасневшая с мороза, улыбающаяся смущенной улыбкой, сняла свое малиновое пальтецо.

Отвечает милая: на дворе метель,
Затопить бы печку, постелить постель.

Я любил дразнить ее этими строчками, потому что каждый раз она краснела и укоризненно говорила:

— Ну, зачем же вы так?

— А что? Есенин. И печку мы сейчас обязательно затопим. Будешь греть свои валенки.

И все это было в этой комнате! Печка осталась на месте, скамеечка, телефон... Телефон!

— Соедините меня с профилакторием. Профилакторий? Попросите, пожалуйста, Долю.

Грохнуло в ухе (положили трубку на стол), и отдаленно крикнули там, словно аукнулись в далеком лесу:

— Доля! Тебя...

Ах ты, доля моя, доля. Ни упрека за то, что не писал. Напротив, спасибо за книги. Омара Хайяма она до сих пор не знала. Вернее, пробовала читать, но не могла. Не читается и не запоминается. А теперь — прекрасно.

— Но ведь это же переводы Тхоржевского. Это совсем другое, нежели Румер. У Румера, конечно, точнее, но точность убила поэзию. Получилось не живое лицо, а гипсовая маска. А Тхоржевский — живой. «Бог нашей драмой коротает вечность. Сам сочиняет, ставит и глядит». Ах, Доля, Доля, как я рад, что ты оказалась здесь. Снял трубку — ты тут как тут. Надо же! А?

Доля смеялась, поняв, что ее словечко перешло ко мне.

— Немногому вы у меня набрались. Только это «надо же! а?» на память и останется.

— Брось! Не знаешь, как ты мне была нужна в это время.

— В том-то и дело, что была...

Доля не отвечала. Кое-что изменилось в ней за этот год. Приходилось звонить, настаивать. Иногда от нее попахивало спиртным. Иногда усталость сваливала ее прямо на скамеечке перед печкой. Иногда же, видимо желая преодолеть свою усталость и добиться чего-нибудь сверх нее, она старалась казаться энергичной и полной сил, нетерпеливой, неистовой в своем нетерпении, но чаще всего это были отчаянные старания.

Чтобы отвлечь и успокоить ее, я ударялся в воспоминания (будущего не было, и о нем говорить я не мог):

— А помнишь тот мокрый снег?

— Да. Не пришел автобус. Я потом узнала, почему не пришел.

— Ну?! Что ж ты молчала до сих пор!

— Перед самым рейсом водителя схватил аппендицит. Пока искали другого водителя, время ушло.

— Коровьевские штучки! Надеюсь, благополучно?

— Вырезали, и все. Но Коровьев тут ни при чем.

— Кто такой ваш Коровьев?

— Как кто? Заведующий райздравотделом.

— Восхитительно. Превосходно!..

Огромная — с грецкий орех — сияющая голубая звезда плыла через черное пространство верхнего оконного стекла, которое не захлестнули еще морозные папоротники, заполнявшие нижнюю оконную половину. Звезда светилась над папоротниками, словно луна над большим, настоящим лесом. На озере время от времени громко и протяжно трещал лед. Треск змеился от берега и до берега, повторяя ту трещину, которая возникла там, в зеленой, стекловидной, засыпанной снегом толще.

— Рыбы тоже вздрагивают, когда треснет лед? Как ты думаешь, Доля?

— Рыбы? Им все равно. Когда очень холодно, все — все равно. Мокрый снег... Правда ведь, тогда шел мокрый-премокрый снег?

...Замкнулось и второе кольцо. Доля взяла с меня слово, что я приеду на озеро летом, когда можно на лодке переплыть на тот берег.

— А что там?

— Цветы.

— И только?

— Разве этого мало? Цветы!

Пришло лето, и я действительно поехал на озеро. В этот раз — летний и неурочный — я вез Доле разные подарки: для дочки и даже для тети Маши. В дороге я почувствовал, что мной овладевает нетерпение. Хотелось скорее добраться до «конторы», скорее взять телефонную трубку, скорее услышать знакомый Долин голос: «Это вы? Надо же, а? Сейчас приду».

Все почти так и было. Телефон действовал (чудо двадцатого века!). Коммутатор быстро соединил меня, и я несколько обрадованнее, чем полагалось бы в разговоре с не-

знакомым дежурным по профилакторию, прокричал, что мне нужна Доля.

Опять трубку положили на стол, но не так громко. И уже одно это подсознательно подсказало мне, что вся остальная цепочка будет нарушена, и сердце мое укололо нехорошее предчувствие. Не послышалось и отдаленного крика: «Доля, тебя!» Сказали что-то неразборчивое, потом постояла тишина, потом трубка ответила.

— Але.

Это был не ее голос.

— Я просил Долю.

— А ее нет.

— Она что, не дежурит сегодня?

— Кто ее спрашивает?

— Знакомый.

— Из «конторы», что ли?

— Ну... да.

— Они завербовались куда-то на север.— Трубка щелкнула, отключилась.

Куда? На какой, к черту, север? И кто — они? С дочкой? С подругой? С кем?.. Пойти в профилакторий и все разузнать? Побежать к тете Маше? Найти ее подругу Тамару?

Никто ничего не знал. Я понял, что не могу прожить здесь и трех дней, хотя, говорят, хорошо в это время клевали окуни, было много цветов и за один только день два раза обрызгивал землю светлый дождичек.

Автобус ходил все по такому же расписанию, и на этот раз у водителя не было острого приступа аппендицита. И не было мокрого снега, а было жарко и даже душно. И я предвидел, как совсем жарко и душно будет в переполненном вагоне сонного местного поезда, останавливающегося, как любят говорить пассажиры, у каждого телеграфного столба.

1970

ДЕВОЧКА НА УРЕЗЕ МОРЯ

Обращаются за советом, когда колеблются. Решение еще не принято. Все еще можно сделать так, а можно и эдак. Цепочка жизни, цепочка событий, фактов, судеб, начинающаяся от точки принятого решения, будет вязаться и плестись либо одна, либо другая. Как же тут, скажите, не колебаться?

Посоветуете вы вашему другу Сергею не жениться на девушке Тане, он послушается вашего совета и не женится. Что же произошло? А то, что с ответственностью, настолько изумляющей, что, пожалуй, лучше ее назвать безответственностью, вы передвинули рычаги, перевели очень важные стрелки, и теперь несколько поездов понесутся в пространстве и времени другими путями, нежели они понеслись бы без вашего совета, о котором вы, проснувшись на другой день, возможно, и не вспомните.

А поезда эти — судьбы. Судьба самого Сергея. Судьба бедняжки Тани. А может, и не бедняжки. Судьбы Сергеевых и Таниных детей, но уж не их совместных детей, заметьте! У них должны были народиться Светочка, Ирочка и Андрюшка, из которых вышли бы со временем эстрадная певица, учительница и техник по ремонту телевизоров. Теперь же у Тани совсем не будет детей, а у Сергея родятся Танечка и Славик. Танечка поступит кое-как в лесной институт, а Славика возьмут в армию. Их часть будет стоять на Украине. Он женится на местной девушке и поселится под Винницей. Устроится в совхоз трактористом, а дома разведет поросят и тыквы в огороде.

Вот что наделали вы своим советом!

А разве мы знаем, что за дети народились бы у неродившихся по вашей вине Светочки, Ирочки и Андрюшки? И что за дети родятся у Танечки и Славки, и что они натворят, пока живут на земле?

Давая тот давнишний совет, я не задумывался над важностью происходящего. И занятие у меня было самое прозаическое: я сидел за столом и ел южное блюдо, приготовленное из сладкого перца, кабачков, помидоров, зеленой фасоли и лука.

С этим домом я впервые познакомился лет двенадцать назад (боже мой, как летит время!) совершенно случайно. Шел по перегретой приморской улочке в поисках комнаты. В середине сентября побережье заметно пустеет, свободные комнаты попадаются на каждом шагу. Но выбрать из многого всегда труднее, чем просто найти.

Дворик, затененный особенным, привлекательным образом, и домик, белеющий в глубине зелени, остановили меня. Я открыл калитку, пошел по прямой дорожке, и свисающие гроздья черного винограда, затуманенного белой пыльцой, все время, пока я шел, просили, чтобы я подставил просторные пригоршни и принял в них тяжелую прохладную гроздь.

Мне показали комнату с окном на старую узловатую хурму, дикую, осыпанную мелкими, как черешня, желтенькими плодами, на бамбукоподобные стебли кукурузы, между желтизной которых проглядывала яркая синева близкого моря. В комнате помещались койка, стол и платяной шкаф, то есть все, что мне нужно.

Хозяйка взялась и кормить меня. Я приходил к столу трижды в день и вскоре узнал всю семью. Глава семьи Михаил работал на рыбозаводе. Он возвращался домой после шести вечера, и от него пахло соленой рыбой.

Хозяйка Катя работала только дома на участке. Земля требовала ухода, дети тоже.

Осенью начиналась особенная пора. Наливали в бутылки цицебель, запечатывали их проволокой и варом, зарывали в землю. Готовили аджику. Варили, мариновали, солили, сушили, вялили. Давили виноград. Винный дух стоял над деревней.

Семья была русская, но делали они все то же, что и местные люди, то есть то, что предопределялось климатом, землей, всевозможными плодами, вызревающими на этой земле, и обычаями народа, возделывающего эту землю.

Михаилу было лет сорок пять, Катя казалась лет на десять моложе, но, возможно, разница в летах между ними была не так велика.

Старшему сыну моих хозяев исполнилось четырнадцать лет: он учился в восьмом классе. Дочка Людочка перешла в шестой.

Как это часто бывает, на следующий год мы списались, и я приехал прямо к моим добрым хозяевам. Да так и наладил с тех пор каждую осень ездить в их чистый домик. Разложишь вещи, бумаги на столе, посмотришь в окно, увидишь синеву моря между кукурузными стеблями, и на душе сделается тепло и тихо, легко и радостно. Много ли человеку надо?

Значит, я сидел за столом и ел южное блюдо, приготовленное из сладкого перца, кабачков, помидоров, зеленой фасоли и лука, запивая еду молодой, ароматической «изабеллой», Катя сидела напротив меня и чистила чеснок для соленья. Виктор зашел в комнату, взял подводное ружье, ласты и ушел к морю. Людочка была неизвестно где. Михаил еще не вернулся с работы.

Разговор у нас с Катей шел самый дежурный, повседневный, невозможно и вспомнить, о чем мы тогда говорили. Да оно и не важно. Хотя, пожалуй, неплохо бы вспомнить,

как именно наш никчемный разговор пришел к той неожиданной точке, когда Катя, несколько смутясь и покраснев, поделилась со мной:

— Нет, мы с Мишей твердо решили. Виктор, можно сказать, на ногах. Людочка тоже стала взрослая девочка. Неужели теперь снова все начинать? Это только со стороны хорошо. Или кому не дались дети в жизни, те тоскуют. Это я понимаю. И то правильно говорят: «Без детей — горе, а с детьми — вдвое». Мы, слава богу, двоих вырастили. Долг перед природой исполнили.

Насчет природы и долга она сказала с некоторым озорством, со смешинкой, но во всем остальном была очень даже серьезна.

— Мы теперь стали вольные птицы, руки наши развязаны. Хотим — здесь будем жить, хотим — в Россию подадимся, ближе к родным местам. И вообще... Разве кто знает, сколько я пережила, когда у Людочки двустороннее воспаление легких было в двухлетнем возрасте? А как я ее ночи напролет на своем плече носила, и так целый год?

— Почему надо было носить?

— Орала. День молчит. А как только нам спать ложиться, так и начинает концерт. Орет и орет. Пока на плече носишь — замолкнет. Только положишь — снова ор. Я стала на тень похожа. И рожать — не конфетку съесть. Мы забываем. Так, наверно, устроено, чтобы женщины забывали. А ведь мука мученическая. Кричим ведь, визжим, как недорезанные поросята. Нет уж, как только вспомнишь... Б-рр! Ну, и возраст не тот. И Миша, как вы знаете... попивает. Мало ли как на ребенке отразится. Родится какой-нибудь трегубый. Вы которого, двадцатого уезжаете? Ну вот, вас проводивши, двадцать третьего и пойду. Четверг будет — хороший день.

Что за стих нашел на меня? Я и сам понимал, что двум этим людям, прошедшим своевременно через молодость, влюбленность, замужество, устройство гнезда, рождение детей, не нужен теперь новый пискун. А если и нужен, то — господи! — ни Виктор, ни Людочка не отложат дела в долгий ящик. Не успеешь опомниться — получай внуков! Ловкие пальцы женщины шелушили чеснок. Головка трескалась и с легким звуком рассыпалась на части. Белая и лиловая шелуха оставалась в стороне, и было ее много по сравнению с крепкими, глянцевыми дольками в тарелке, хранящими в себе тот крепчайший, сложнейший экстракт,

изобретенный природой, который мы в человеческом обиходе зовем чесноком.

Пальцы Кати ловко шелушили чеснок. Я загляделся на них и именно по движениям пальцев, по их неуловимому почти волнению понял, что решить-то Катя с Михаилом решили, но все же теперь, сию вот минуту Катя ждет еще и моего слова, совета, одобрения их поступку.

Отчетливо помню, что я хотел сказать: «Правильно вы решили. Конечно, придется перенести операцию. Но в наше время от нее никто, пожалуй, не умер. Отдохните, поживите спокойно. Скоро внуки пойдут. А знаете ли вы, что внуков любят больше, чем своих детей?» Тут я, возможно, развил бы теорию о степенях биологического родства между ближайшими и между следующими поколениями, но вместо всех этих рассуждений я неожиданно и простодушно спросил:

— А не жалко?

Пальцы дрогнули и выронили дольку чеснока, которую чистили. Катя подняла голову и взглянула на меня удивленно.

Я не отдавал себе отчета, что от меня сейчас, в сущности, зависит жизнь человека: родиться ему или не родиться, быть или не быть. Высокие материи были чужды мне в тот миг. Я хотел одобрить решение семьи, а вместо этого выпалил свое нелепое, неуместное: «А не жалко?»

— Если бы все жалели...— начала Катя и не закончила фразы.

Кто-то продолжал говорить за меня, ведя свою линию:

— Мне отчасти знакомо это чувство. Я поэт, а вынужден заниматься прозой.

— Но вы же пишете и стихи.

— Время от времени. Но если бы я не занимался прозой, то стихов у меня теперь было бы гораздо больше. Я недосчитываюсь нескольких сот стихотворений. Выходит дело, проза их задушила, и они не появились на свет.

— И вам не жалко? — с горьковатой усмешкой спросила Катя.

— Не то чтобы жалко,— серьезно ответил я,— но иногда хочется знать, какие это были бы стихи, о чем, насколько хороши или плохи, и, поверьте, нападает тоска. Делается страшно от необратимости происшедшего, от того, что никогда уж я не узнаю, что задохнулось и погибло во мне под тяжелыми плитами проклятой прозы.

Я помолчал и ударил, выражаясь по-спортивному, ниже пояса:

— А женщины разве не думают о своих неродившихся детях? У вас, наверное, не первый аборт. Скажите, никогда не хотелось вам хоть одним глазком взглянуть на детей, от которых вы избавились?

— Зачем же вы так? — Катя побледнела, у нее задрожали губы.

— Извините, конечно, я грубовато выразился. Но обычно женщины в этом не раскаиваются. Только одна женщина раскаивается и мучится, и то лишь потому, что умерла дочка, а дочке приснился сон.

— Какой сон? — насторожилась Катя.— И как мог девочке присниться сон, если она умерла?

— Перед смертью. Девочка умирала и знала, что умирает. И мать знала. И вот в день смерти, с утра, девочка говорит: «Бедная мама. Останешься ты одна. Мне приснилось сегодня, что ты стоишь на поляне и вокруг тебя много детей. Три девочки и четыре мальчика. Но только все они ужасные, жалкие, у одного голова похожа на бутылку, у другого три ноги. У девочки вместо рук маленькие лапки, как крылышки ощипанного цыпленка. Жуткий-прежуткий сон. А ты их всех обнимаешь и плачешь. И будто я бегу к ним, и они принимают меня в свою игру...» Женщина пропустила все мимо ушей: не тем была занята ее голова. Но потом, через месяц, вспоминая все время и перебирая в памяти последний день бедняжки и каждое ее слово, женщина вдруг похолодела от совпадения. Она вспомнила, что сделала в жизни именно семь абортов. И семь детей приснилось умирающей девочке. Так вы знаете, она едва не свихнулась. Кажется, ее даже лечили.

— Ужасно вы рассказываете. Я не думала, что вы такой злой...

Тут прибежала Людочка. Разговор наш оборвался, и больше мы к нему не возвращались. Через несколько дней я уехал в Москву, и выпало несколько неудачных лет, без южного солнца, без теплого моря, без комнаты, выходящей окнами на старую узловатую хурму и на кукурузу, громко шелестящую в те часы, когда на сочной и звучной голубизне появляются яркие белые барашки.

Шли сентябри и октябри, тоже прекрасные, с листопадами в березовых рощах, с полосатыми рыжиками в молодых соснах, с хрустальными заморозками по утрам либо уж

с черными ненастными ночами, в которых чувства и настроения ничуть не меньше, чем в прозрачном утре или в солнечном полдне.

Но тело истосковалось по солоноватому йодистому ветерку, по теплой, но уже не горячей гальке и по той неизъяснимой бархатной ласке, которую умеет дарить только одна морская вода.

Больше я ждать не мог. Я бросил всю суету (а основное дело всегда со мной) и поехал, помчался к морю. После долгого перерыва я подходил к поселку около рыбозавода, словно к родной деревне, по которой соскучился. У знакомой калитки поставил свой чемодан и уже предвкушал всплеск рук и возгласы, неизбежные при внезапной встрече. Улыбка заранее расплылась на моем лице и, как бы я ни хотел ее согнать, становилась только шире и лучезарнее, сказал бы я, если бы речь шла о чужой улыбке, про свою же приходится сказать, что она становилась все глупее.

Глупее еще и потому, что никто не шел мне навстречу по дорожке от белого домика к калитке, под гроздьями черного винограда, все так же свисающими с витиеватых загнутых в виде арки лоз.

Оставив чемодан на улице, я сам пошел к домику и около ступенек обнаружил чужую девочку, играющую в морские камешки.

Девочка оторвалась от игры и подняла на меня... Ну как там говорилось в старинных сентиментальных романах? Васильки глаз? Незабудки глаз? Бывают же такие синие, такие светлые глаза у детей! Вместе с тем во взгляде девочки не было никакой младенческой наивности и, ну как бы это сказать, голубизны херувимчика, ангелочка, что ли. Напротив, взгляд ее был исполнен серьезности и даже строгости.

Надо было бы как можно дольше, ухватившись как за соломинку, держаться за эти глаза. Но как быть? Одновременно я увидел и то, что сама девочка поразительно, безнадежно некрасива. Что-то старушечье, что-то от сморщенного печеного яблока, что-то от жалкой обезьянки было в ее лице. Но самое главное, и это поразило меня, подобно выстрелу, у девочки была раздвоенная, заячья губа. С откровенной надеждой на чудо, как если бы вывалился из самолета и надеялся остаться в живых (известны же подобные случаи), я спросил:

— Ты чья?

— Миронова,— внятно ответила девочка.

— Как Миронова? Мироновых я всех знаю.

— Я Миронова. Я не виновата.

«Господи! Да конечно же, ты не виновата! — ослепительно сверкнуло в мозгу.— Это я, я виноват во всем! Начал плести тогда какую-то ахинею. Задел за живую струну, и вот результат. Посоветовал, называется, отговорил, убедил. Девочка, миленькая, да знаешь ли ты, что, если бы не я, тебя могло бы не быть?..»

Я смотрел на нее, как на чудо. Некрасивость ее стушевалась и отошла на задний план. Руки, ноги, вздернутый носик, веснушки на носике и глаза, словно смотровые отверстия в некий сосуд, в котором горит ровный синий огонь. Волшебный огонь. Огонь любви, чистоты, приятия мира. Огонь души. И все это уже есть, двигается, отвечает на вопросы, морщит лобик, улыбается. И всего этого могло не быть. Должно было не быть. А где же оно было бы? Куда делось бы? Нелепым образом всплыла в памяти фраза какого-то индийского мудреца (Ганди?), которую я не помнил про себя, но которая, как видно, запала когда-нибудь: «В этом мире редко удается родиться в виде человеческого существа».

— Девочка, как же тебя зовут?

— Аннушка.

— А где мама?

— Пошла на базар. Ты кто?

— Меня зовут дядя Петя. Я раньше жил у вас вон в той комнате.

— А теперь там моя кроватка.

— Ну и хорошо. Только можно ли мне внести чемодан? Я подожду твою маму.

— Хочешь, покажу тебе мои секреты?

— Если ты не боишься их открыть...

— Я тебя не боюсь,— отрезала Аннушка и повела меня за угол дома. Мы пришли на площадку, засыпанную песком. Тут валялись инструменты Аннушки: совочки, лопаточки и формочки.— Сейчас увидишь секреты. Они очень красивые. Смотри.

В одном месте Аннушка начала разгребать песок, который лежал здесь довольно толстым слоем. Я ждал, что она вытащит сейчас из песка какую-нибудь игрушку, что-нибудь спрятанное. Или, может быть, там у нее кто-нибудь похоронен, птичка, например? Тем неожиданнее было то, что я увидел. Я даже не сразу понял, что это такое и как это сделано. Но Аннушка не обманула: это было красиво.

Странно, что мы не знали этого в нашем детстве и что я нигде не встречал этого раньше. Уж не придумала ли это Аннушка сама?

Секрет заключался в том, что в песке на некоторой глубине были уложены разные цветы, одни только головки цветов без стеблей и листьев. Эти цветы были уложены плотно, один к одному, придавлены осколком стекла величиной с чайное блюдце и засыпаны слоем песка. Когда Аннушка разгребла песок, то цветы под стеклом, сплюснутые в ровную плоскость, предстали взгляду как яркое, живописное пятно, как драгоценность, неожиданно обнаруженная в земле.

— Ну и секрет! — вырвалось у меня.

— Правдо, красиво?

— Очень! Покажи еще, если есть.

Аннушка подводила меня то к одному месту песчаной площадки, то к другому, вглядывалась некоторое время, как бы видя сквозь землю, и начинала открывать очередное маленькое чудо. Цветы были разные. И еще ярче, еще необычнее вспыхнули и засветились они, когда Аннушка откопала мне «секрет» не на песчаной площадке, а в обыкновенной черной земле, около грядки с огурцами. В одном месте под стеклом оказались уложенными разноцветные морские камешки, и это тоже получилось неожиданно и красиво, хотя и не равнялось цветам.

— Правда, хорошие камешки?

— Правда.

— Пойдем к морю, я наберу тебе таких же. Я знаю, где водятся самые красивые камешки.

— Пожалуй, пойдем. Я искупаюсь с дороги. Сколько лет не окунался в синее море.

— Сколько лет?

— Тебя еще не было на свете.

— А свет был?

— Свет был.

— И море было? И мама?

— Да. Только одной тебя не было. Чудно.

— Чудно,— согласилась Аннушка, и мы пошли к морю.

Я разлегся на гальке, с наслаждением ощущая излучаемое камнями тепло. Раскинув руки, я купался в золотистом безоблачном небе.

Стоило мне чуть-чуть приподнять голову — и я видел на самой кромке воды и земли, на самом урезе моря, как

сказал бы какой-нибудь водник, девочку в ситцевых трусиках, беленьких, в крупный красный горошек. Девочка бежала вслед за откатывающейся, словно нарочно для нее, волной, выхватывала из-под волны нужные ей камешки и мчалась назад, потому что волна начинала обратное движение. Так они играли — море и девочка.

Девочка была маленькая, а море большое. И можно было увеличивать еще и еще то, что окружало маленькую девочку, потому что больше моря — страна, больше страны — океан, больше океана — земля, больше земли — небо, больше неба... Но, сколько бы ни разбегалось вширь и вдаль, подобно бесшумному взрыву, наше воображение, девочка оставалась все той же, не становилась меньше. Вселенная вселенной, а девочка девочкой. Может быть, обе они — песчинки, может быть, обе безграничны. А может быть, даже равны.

«Отговорил, насоветовал...— думал я между тем, все время взглядывая на девочку.— А что же с ней будет дальше? Можно, конечно, оттолкнувшись от этой точки, в два счета разработать ту или иную сюжетную линию, и после воплощения в форму романа (повести) будут эти линии убедительны и правдоподобны.

О, миллионы сюжетов и вариантов, которые тщетно было бы сводить к двум-трем нарочито огрубленным литературным схемам.

В том-то и дело, что мы и судьбы наши — как камешки на этом морском берегу. Все похожи один на другой, но двух одинаковых не найдешь. И хоть все камешки, вместе взятые, есть масса, и гальку для каких-нибудь строительных нужд можно черпать ковшом экскаватора, исчисляя на тонны, но каждый камешек все-таки сам по себе: этот в желтых прожилках, этот в розовых крапинках, этот черный, словно агат (а ведь бывает и вправду агат!), этот бел, как сахар, этот прозрачен, подобно стеклу.

Итак, миллионы сюжетов и вариантов, не поддающихся даже воображению, но и поддающихся, традиционных тоже много — до Улановой, до Тарасовой, до Гоар Гаспарян или по другому ответвлению — до Космодемьянской, до Терешковой, а там еще до матери Есенина, до подруги и сподвижницы протопопа Аввакума. Или самое-самое простое: дом, муж, работающий на рыбозаводе. Базар. Кабачки и помидоры, стирка, готовка, глаженье, подметанье, московские постояльцы, двое выучившихся детей.

Тут определилось во мне то, что существовало все это

время, эти час-полтора, как смутная, но настойчивая помеха: я понял, что боюсь показаться Кате на глаза.

Не возникало ли в ее сердце упрека, когда разглядывала спящей свою некрасавицу, свою незадачницу, свою уродинку, не проливалось ли над ней тайной или явной слезы? Виду, конечно, не подаст, но встретит прохладно, холодно. Откажет от дома? Комната занята Аннушкой, очень удобно отказать. Если будет холодно, и сам уйдешь, не дожидаясь отказа, надо скорее, до ее прихода вынести чемоданы, перебраться на другую улицу, в другой конец поселка, в другой город. Что, в самом деле, я же независимый человек!

Девочка и море продолжали играть.

— Ну, ты пойдешь со мной? Не боишься у моря? Не утонешь?

— Пойду с тобой. Что-то мама задержалась на базаре.

— А... она любит тебя, твоя мама?

— Я не спрашивала. Разве есть мамы, которые не любят детей?

Уйти, не показавшись, все же было б смешно. Но и чемодан разбирать я пока не стал. Прилег на койку поверх шерстяного жесткого одеяла, и зыбкая, легкая дремота одолела меня. Кажется, я даже уснул. Во всяком случае, не заметил, много ли прошло времени, прежде чем послышался в саду знакомый, ничуть не изменившийся голос:

— Солнышко ты мое, ласточка ты моя! Заждалась. Я вон зашла к Наде Кавун и заболталась. Ах ты, ненаглядная моя! Как ты тут без меня? А почему трусы мокрые? Ты что, купаться ходила? Одна?

— Я не одна. К нам дядя приехал.

— Какой дядя?

— Старый знакомый. Когда меня еще не было.

— Где же он?

— Спит в моей комнате.

— Ах ты, господи! Да ведь это, знаешь ли, наверно, кто?! Давай мы с тобой скорее переоденемся, чтобы он поглядел, какая ты у нас красавица. А то что же ты перед ним такой замарашкой. И я ушла, как на грех. Пойдем, наденешь белое платьице, красные сандалики, подвяжем бант. Ах ты! Он ведь, можно сказать, крестный твой, второй отец. А ты перед ним такой замарашкой, нехорошо.

Возраст, что ли, такой. От простых слов, от песни, от

кадра в документальном кино наворачивается слеза. А еще меня обожгло стыдом за то, что четверть часа назад я так дурно думал о Кате, а вместе с ней — и обо всех человеческих матерях.

1971

HOMO SAPIENS

ПОЕЗДКА НА ОЗЕРО СЕВАН

Накануне мы осматривали Джейранью степь. Никаких джейранов там теперь нет, затем что их давно истребили (а носились когда-то чуткие, шарахающиеся стада), овец же не было по времени года: в апреле они пасутся в других местах. От безлюдья и от всякого беззверья выглядела Джейранья степь фантастично и жутковато, чему способствовали причудливые холмы, окаймляющие ее, и косое, скользящее освещение: закатные лучи светили так, что вокруг нас господствовали только два цвета: черный и красный. Снимать фильм, в котором действие происходит на другой, неведомой нам планете, следовало бы приехать сюда.

Название «степь» меньше всего подходило к этой местности. Холмы и долины создавали впечатление вот именно лунного пейзажа. Каждый камень, каждый бугорок с одной стороны держали на себе кусочек огненного заката, а с другой стороны отбрасывали длинную черную тень. И не было под ногами ни травинки и ни кустика, голая темно-коричневая земля. Говорят, скоро зазеленеет эта степь и станет на короткое время изумрудной. Может быть, может быть. Но, зазеленев, она не производила бы уже такого торжественно-мрачного и космического впечатления.

Джейранов нет, овец нет и людей, кроме нас, случайно заехавших сюда, тоже нет. Издали, осевшая на один бок (яма под колесом), в красных косых лучах, наша машина показалась мне, по чужеродности с окружающей землей, космическим аппаратом, на котором мы сюда прилетели.

Прилетели на планету, а кругом пустота. Впрочем, эту степь, как прообраз неведомой планеты, можно было бы еще пережить. Но что, если она прообраз собственной нашей будущей земли? Коль скоро исчезли джейраны, почему бы не исчезнуть со временем и другой земной живности: лебедям и волкам, слонам и барсам, орлам и лисам, ястребам и журавлям?

С одним человеком мы шли однажды по земле. У чело-

века было ружье. Вдруг с дерева вспорхнула шумная птица. Мой спутник проворно выстрелил, птица, мягко, но громко шлепнувшись, упала на землю.

— Зачем она тебе?

— Ни зачем.

— Зачем ты ее убил?

— А чего она летает?

Через некоторое время на дереве мы увидели белку. Не успел я ничего сделать, как ружье снова выстрелило. Зверек запрокинулся на ветке и, некоторое время покачавшись на одной лапке, полетел вниз.

— Зачем ты ее убил?

— А чего она бегает?

Нет, не устоять природе перед человеком, со стреляющим орудием прогресса в руках.

Прогресс свойствен только человеку. У зверей и растений никакого прогресса нет. У них, в лучшем случае,— эволюция. Получается, что животный и растительный мир нашей планеты — это как бы неподвижные берега, в которых несется бурный и мутный поток человечества. Поток размывает и частично уничтожает берега. Вот, как видим, исчезли стада джейранов.

Мой коллега и гостеприимный хозяин, заметив, какое мрачное, пусть и торжественное, впечатление произвела на меня степь, словно бы извиняясь, заговорил:

— Да, этот уголок нашей республики мрачноват. Но мы здесь граничим с Арменией. До Севана каких-нибудь два часа езды. Дорога пролегает красивым Дилижанским ущельем. Поедем-ка завтра на Севан. Кроме прочего, там знаменитая севанская форель, душистый пар, нежное, розовое мясо.

И вот мы едем по Дилижанскому ущелью. Вчерашние шашлыки и вареная жирная баранина напоминает о себе приступами жажды. Мы останавливаемся, по круглым крупным камням подходим к светлой, стремительно мчащейся воде, намереваемся пить горстями, но шофер подает стакан. Неправда, что вода из горсти вкуснее. Воду надо пить из стекла.

Второй раз мы пьем из родника, оборудованного, заключенного в трубу. Здесь уж мы не одни. Всякая машина, всякий прохожий останавливается, чтобы постоять у воды, попить, взять с собой.

Едем дальше, и я размышляю о гостеприимстве, которым мне теперь приходится пользоваться. Система его

ясна. Мой коллега и друг позвонил в райисполком этого отдаленного от столицы республики окраинного района и попросил разрешения привезти гостя.

Гостеприимство осуществляет теперь «район». Председатель райисполкома лично распоряжается, а иногда и ездит вместе с нами.

Это все хорошо. Но я стараюсь представить, насколько применима эта система к нашей какой-нибудь Владимирской, Вологодской, Рязанской области. Ну, положим, позвоню я в район и скажу, что приеду с азербайджанским (грузинским, украинским, таджикским) писателем. Что же, поможет мне председатель райисполкома? Где он возьмет овцу, чтобы приготовить из нее душистое, вкусное блюдо? И кто ему это блюдо приготовит?

Недостаточно ясно и распределение материальной ответственности. Не думаю, что коллега мой, у которого я теперь в гостях, сам покупает этих овец, этих кур и эти напитки. Сегодня, например, к нам присоединился почтенный, седовласый человек, много лет работавший председателем колхоза, герой, персональный пенсионер. Подозреваю, что сегодняшнюю поездку на Севан он, так сказать, возьмет на себя.

Мои размышления и догадки — из области «чистого искусства», потому что как гость я не могу ни вмешаться, ни исправить, ни даже спросить. Меня везут, мне показывают землю, меня поят и кормят, меня укладывают спать — я в гостях. Дай бог и нам научиться когда-нибудь такому гостеприимству.

Но как описать Севан?

«Есть что-то символическое в восхождении по Дилижанской спирали, словно дорога проложена не только в пространстве, но и во времени. За ярусами этого гигантского амфитеатра — голубая сцена Севана, которая поворачивается перед путником то одним, то другим тысячелетием...» — таким языком пишут теперь путеводители.

Один писатель сравнил Севан с куском неба, опустившимся среди гор на землю, другой — с голубым пламенем. Наверное, говорили также, что это заздравная чаша, поднятая землей в небеса, и что это драгоценный камень, вставленный, как в перстень, в оправу гор. Но все слова вполне бесполезны, потому что больше всего Севан похож на море, а с морем обстоит дело очень просто: кто его не видел, тому ничего не расскажешь на словах, а кто его видел — тому не надо рассказывать.

Но Севан — особое, горное море. Десятки километров хрустальной холодной воды, пронизанной высокогорным солнцем и соприкасающейся с высокогорным воздухом, воды, кажущейся иногда голубым туманом, воды, становящейся вдруг ярко-синей и украшенной белыми барашками, воды, хранящей в себе серебряные стаи севанской форели — рыбы благородной, потому что может жить только в чистейшей и только в холодной воде, не терпя ни теплой бурды, ни мути.

Севан к тому же облагорожен и (можно ли так сказать?) дополнительно одрагоценен тем, что среди голубой севанской чаши положен острогранный камешек, а на камешке построен в девятом веке монастырский храм.

Нетрудно догадаться, что произойдет, если в боку каменной чаши, полной воды, просверлить дырочку. Вода постепенно вытечет. Именно так и поступили с Севаном. Зачем? А чего оно плещется?

Чего оно золотится под солнцем и серебрится в лунные ночи? Чего оно отражает в себе окрестные горы? Чего оно сияет, чего дышит прохладой, чего кормит народ прекрасной рыбой, чего питает тысячи родников в окрестных долинах, чего навевает легенды и песни, поэмы и просто светлые мысли, мечты и хорошее настроение духа?

Севан пока что вытек не весь. И мы увидели все же его ширь и его синеву. Только вот островок с монастырским храмом на нем превратился теперь в полуостров, в этакий узкий перешеек, один конец которого лежит среди севанской воды, а другой упирается здесь, на берегу, в современное, горизонтально-стеклянное здание ресторана. У ресторана мы остановили свою машину.

Всю дорогу мои спутники, мои хозяева, гадали, окажется сегодня в ресторане форель или нет. Конечно, ресторан для того и построен, чтобы угощать севанской форелью. Разварная севанская форель — специальность этого ресторана. Но все равно, оказывается, можно приехать, а форели, скажут, сегодня нет. Приезжайте завтра.

Сегодня форель была. На больших блюдах носили груды этой редкостной рыбы. Положишь ее себе на тарелку, вверх спинкой, проведешь по спинке острием вилки, и она развалится на два пласта, обнажив розовое, сочное мясо. Пар и благодать, аромат и чревоугодие. Гора души-

стой зелени на столе: тархун, кинза, реган, цицмата. Коньяк темно-коричневый, многолетний, араратовский. Не успеем приняться, убирают пустое блюдо — несут другое, со свежим паром, с горячим ароматом. Мне, как гостю, опять самую верхнюю, самую крупную на тарелку — бряк!

За соседним столом тоже, как у нас, воздвигаются горы из объеденных рыбьих скелетов. До хлеба никто не дотрагивается, мяса никто не хочет, идет в дело розовая, нежная, ароматная, сочная, тающая во рту, не отягчающая наших ненасытных утроб серебробокая разварная форель.

Монастырский храм надо было бы посмотреть сначала, до форели и коньяка. Все же остались в памяти темные камни с жесткой травой, пробивающейся между ними, прохлада тесноватого, ничем не украшенного интерьера, кованый железный крест в алтарной части и тонкие желтенькие свечечки, огарочки, прилепленные к темным камням там и тут. Когда мы вошли в храм, одна свечечка теплилась и светилась. Вспоминаю острое желание узнать, кто ее зажег. Ее не могли зажечь давно. Зажегший был в храме только что, перед нами, и кто же он был: пожилая женщина, старик, молодая армянка? Лежали у подножия креста живые цветы.

А нам — торопиться в обратный путь. Машина тронулась и, отъехав с полкилометра, остановилась. Мои хозяева, то есть мой друг и коллега, председатель райисполкома и герой-пенсионер, что-то начали обсуждать на своем языке, причем глаза всех троих невольно косили на багажник автомашины. Значит, догадался я, они говорят о чем-то, что находится в багажнике. Первым делом мне пришла мысль о взятых с собой на всякий случай запасах спиртного. Но что же тут обсуждать? Пить никто из нас больше не хочет, выбрасывать же такие запасы до сих пор было не принято.

Нужно сказать, что мысль моя с самого начала вышла на верный путь, однако ей не хватило фантазии. Поэтому она и остановилась на примитивных бутылках, не долетев, не поднявшись, не взорлив до той степени прозорливости, при которой я угадал бы, что находится в багажнике.

Посоветовавшись и, как видно, ничего не решив, друзья обратились ко мне.

— Ну как, Володя,— осторожно заговорил мой друг.—

Погода хорошая, близко течет река, может, посидим где-нибудь на травке?

— Не знаю... Воздухом, что ли, подышать? А сколько времени остается до поезда? Мы ведь должны сегодня уехать.

— Сегодня, завтра, какая разница?

— Но все-таки, что скрывается за этим свежим воздухом?

Тут они решили открыть свои козыри. Председатель вскинул крышку багажника, и я увидел в его глубине связанную по всем четырем ногам не очень большую овечку. Она была бы, наверное, белоснежной, если ее хорошенько отмыть. Теперь же она казалась просто серой. Черные лаковые копытца, так изящно и точно очерченные тем, кто разрабатывал проект, беспомощно торчали в нашу сторону.

В сознании у меня сразу все сопоставилось. Мы — люди — целый день на свежем воздухе, на солнце, пьем родниковую воду, ведем задушевные беседы, осматриваем древности, едим форель, в это же время в багажнике, в темноте, в неудобном положении, связанная, приготовленная на заклание, ждет своей судьбы бессловесная тварь, участь которой с библейских времен и еще раньше — одевать нас и служить нам пищей.

Приручить в одном экземпляре или даже в ста экземплярах можно кого угодно: лося, белку, ежа, выдру, медведя и даже, говорят, крокодила. Но для того чтобы одомашнить, надо приручить целый вид и все потомство вида на веки веков. С тех пор, как человечество себя помнит, ну, скажем, за четыре тысячи лет, не было одомашнено, по-моему, ни одного нового вида. Все уже было как бы дано: овца, коза, корова, лошадь, осел, собака, кошка, свинья...

Сейчас ученые подбираются к тому, чтобы воздействовать химическим путем на мозговые центры и на гены человека. Тогда можно будет, подмешав, скажем, химический препарат в водопровод, изменить психологию людей сразу целого города. Или народа. Или народов. Все станут покорные и смирные, как овечки. Ни одной мысли о собственной судьбе, ни даже сознания, что над тобой произвели какую-то химическую операцию. Тогда одна преступная группа людей или какое-нибудь одно государство, в руках у которого окажется ужасное снадобье, может добиться того, чего многие на протяжении истории пытались добить-

ся силой грубого оружия,— мирового господства. Повезут вот так же в багажнике, когда поедут осматривать интересные древности!

Но вернемся к нашей овце. Говорят, и раньше, в незапамятных веках, цивилизации на земле достигали время от времени своих высот. Не было ли произведено когда-нибудь подобного воздействия на гены некоторых видов животных? Или, может быть, пришельцы из других миров, представители других, покровительствующих Земле цивилизаций, которые, как говорят, время от времени вносят коррективы в течение нашей истории, помогли нам и сделали для нас покорными, домашними овцу, козу, корову, лошадь, осла, свинью, собаку, кошку?

Нет, вероятно, все было проще. Если приучать из поколения в поколение, можно приучить и человека, не то что овцу. Постепенно сами собой изменяются гены, появляется новая психология. И вот она лежит в багажнике, и нет ни мольбы, ни презрения в ее глазах. Лежит и смотрит черными, маслянистыми, ничего не выражающими глазами.

Эту овцу мне стало жалко. Если бы в ресторане не оказалось форели (а именно на этот случай и была взята овца), то несколько часов назад, на зеленой траве, около быстрой речки, при виде неоткрытых еще бутылок и разгорающегося костра, я, наверное, другими глазами посмотрел бы на эту овцу. Ну, отвернулся бы, может быть, отошел бы в сторону на некоторое время. А потом — душистый шашлык и задушевные разговоры.

Теперь мало того что решили овцу не резать (это решение не трудно было принять на сытый желудок), во мне под воздействием коньяка проснулись вдруг особые чувства.

— Друзья! Давайте мы этой овце сохраним жизнь.

— И так решили.

— Нет, не сейчас, а вообще.

— Как вообще?

— Ну... Давайте развяжем ее и отпустим на волю!

Друзья посмеялись моему чудачеству.

— Я ваш гость. Мы на Востоке. По восточному обычаю, желание гостя — закон. Если бы я вас попросил подарить мне ее, неужели вы бы отказали? Так вот, я прошу — ради чудесного дня, ради Севана, ради этой реки, ради этого облака — подарите мне несчастную овцу, отпустите ее на волю.

Смех прекратился. Друзья тревожно и быстро заговорили на своем языке. Моя просьба озадачила их. С одной стороны, чего бы и не подарить. Подумаешь, овца, все равно бы съели. Но с другой стороны — прихоть, каприз, и нужно ни за что ни про что лишаться целой овцы. Как ребенка, захотевшего слишком дорогую игрушку, начали уговаривать и просить:

— Послушай, дорогой Володя, ты, правда, наш гость, нам для тебя ничего не жалко. Но это бессмысленно. Все равно ведь через полчаса ее превратят в шашлык.

— Кто превратит?

— Первый, к кому она прибьется. Не побежит же она в горы, в ущелье, а побежит она к человеку, к человеческому жилью. Ну, тут — готово.

— А мы увезем ее подальше, в дикие места.

— Нет теперь диких мест. Везде люди.

— Я придумал. Увезем ее во вчерашнюю Джейранью степь. Во! Там — ни души. Пусть порезвится, подышит вольным воздухом, почувствует вкус свободы.

— Послушай, дорогой Володя, ничего она не почувствует. Ей будет очень плохо. Она будет всего бояться. В одиночестве и без людей она будет страдать. Те часы, а может быть, и дни, пока она не прибьется к человеку, будут для нее кошмарным сном. Зачем мы будем бедную овечку подвергать таким жестоким мучениям?

— Но ведь земля большая, впереди весна и лето, неужели она не сможет прожить? Живут же некоторые: лось, олень, дикий кабан.

— Они живут, а она не сможет. Она отвыкла. Она хочет, чтобы отара, чтобы ферма, чтобы зоотехник и кормовой рацион, чтобы ее пасли, стригли...

— Резали.

— Ну и резали, если надо. Ты успокойся, мы сыты, шашлык сегодня жарить не будем, сейчас поедем домой, скоро поезд...

Багажник захлопнулся, и мы покатили дальше.

Перед поездом, собирая вещи (надо и присесть на дорогу, и выпить чаю из самовара, хлопотливо раздуваемого во дворе, и этот, как его... посошок), некогда было думать о бедной овце.

До чемодана дотронуться не дадут. Мы с другом идем впереди, словно два президента, а сзади несколько человек: тот несет чемодан, тот — другой чемодан, тот — сверток

с зеленью на дорогу, тот — сверток со свежим хлебом на дорогу, там еще какие-то бутылки, корзины, а под конец нам в купе, уже через окно, подали большую картонную коробку. Высвобождаются в продовольственных магазинах такие коробки из толстого картона. Не знаю уж, из-под чего они высвобождаются, но знаю, что в дорогу удобно в них укладывать и увязывать разные вещи.

Мой друг, принимая хорошо увязанную коробку, невольно крякнул, и руки его невольно опустились под тяжестью — не ожидал.

— Что там такое тяжелое? — полюбопытствовал я.

— Рис, наверное. У них на базаре бывает очень хороший рис для плова, такого и в Баку не найдешь.

С большими усилиями он поставил коробку наверх над дверьми в купе, и я время от времени, сам не зная почему, на нее взглядывал.

Сначала на картоне появилось темное пятнышко с трехкопеечную монету, потом оно пошло шириться, растекаться во все стороны и вскоре превратилось в широкую бесформенную кляксу. Картон намокал изнутри, и мы с другом, каждый про себя, знали, что от риса картон намокать не будет. Я сказал:

— Подвинь ее подальше. Не стало бы капать.

Друг ответил:

— Капать не будет. Кровь-то они спустили. А это просто так. Оттого, что парное мясо.

1971

«ВОСХВАЛЕНИЕ ГОМЕРА»

В небольшом захолустном городке, в трехстах километрах от Москвы мне посчастливилось купить несколько прекрасных старинных вещей, чудом сохранившихся и доживших до нашего времени. Их владелец писал в письме: «Все, кто заходит в мой дом, ужасаются обстановке и говорят, что пора выбросить весь этот хлам, но я жалею. Среди этого хлама жизнь прожита. Однако с некоторыми вещами я мог бы теперь расстаться. Поймите и то, что мне перевалило за восемьдесят...»

Если бы он написал, что люди удивляются, недоумевают, смеются, осуждают,— можно было бы сомневаться и колебаться, но, прочитав, что люди «ужасаются», я понял: дело тут серьезное и нужно скорее ехать.

Интересно было, кроме того, посмотреть на предметы, которые вызывают ужас у современного человека, живущего в небольшом, отдаленном городке. Не орудия же средневековых пыток собраны у него и развешаны по стенам, расставлены в комнатах? Не колесо для четвертования, не клещи для рванья ноздрей? Не музей восковых фигур с той долей натурализма, когда человек не может решить, чего больше слышит в себе — болезненного любопытства или действительного ужаса?

Я быстро отыскал тихую улочку, а на ней нужный дом. Этот уголок на земле не захватило еще многоэтажное, крупноблочное строительство, и улица была как улица — два порядка домов, а в каждом доме — надо полагать — одна-единственная семья.

В Москве люди расстаются со старыми, дорогими сердцу вещами, отвозя их в комиссионные магазины, в трех характерных случаях.

1. Умерли старики родители, и молодежь немедленно меняет обстановку в доме, выбрасывая (иногда выставляя на лестничные клетки) прекрасные драгоценные вещи, ставя стандартную и безликую дешевку.

2. Семья (вместе со стариками) переезжает из насиженного места в кооперативную малогабаритную квартиру (в Кузьминках, Нагатине, Чертанове), в которой старому шкафу или буфету просто не уместиться по высоте.

3. Семья хочет купить кооперативную квартиру и собирает на это деньги.

Ни одно из трех обстоятельств, столь понятных всякому человеку, не подходило к нашему случаю. Письмо прислал мне сам хозяин дома, а не кто-нибудь из его потомков. В кооперативную квартиру в своем возрасте он едва ли стал бы переезжать. Судя по письму, не было и острой нужды. Но было все более обыкновенно, трогательно, более, я бы сказал, по-человечески... «...поймите и то, что мне перевалило за восемьдесят и я хотел бы знать, что вещи, среди которых я прожил жизнь, не выброшены на свалку, не распроданы неизвестно кому, а находятся у человека, который мне симпатичен и который может их по достоинству оценить».

Интеллигентное, подлинно интеллигентное письмо. Удивительно ли? Он окончил Московский университет еще в 1914 году.

В другом месте и по другому поводу я, может быть,

расскажу подробнее об этом человеке, о судьбе его близких, о его судьбе, о его доме. Теперь у меня другое на уме, и достаточно того, что я нажимаю кнопку звонка у двери и слышу уже некоторое движение в недрах сеней и сейчас мне откроют.

Итак: «Все, кто заходит в мой дом, ужасаются обстановке...» Приготовив себя к преодолению ужаса, я переступил порог.

Судьба благоприятствовала мне, как она умеет иногда благоприятствовать, не объявляя мотивов своего доброжелательства. Хозяин ушел на почту и хотел еще зайти в магазин, а открыла мне посторонняя женщина тетя Зина, которая приходит раз в неделю (все это выспрошено у нее) убраться и помочь по хозяйству. Она была предупреждена о моем возможном приезде и потому позволила мне ходить по комнатам и разглядывать все с той бесцеремонностью и дотошностью, которые были бы бестактны и даже невозможны в присутствии самого хозяина дома.

Шкаф «монашка» с «пламенем», пирамидально пробегающим по ящикам и расцветающим на выпуклых дверцах шкафа. Меня поймут ценители «пламени». Через полчаса я узнаю, что этот шкаф стоял раньше в доме знаменитого Владимира Дурова.

Прекрасные мягкие кресла из сплошного красного дерева, находившиеся в Художественном театре до той поры, как Станиславский решил поменять всю мебель. Бронзово-мраморные часы «Восхваление Гомера».

Гарднеровское настенное блюдо с подглазурной живописью, изображающей встречу Александра I и Наполеона на середине Немана, на плоту.

Большие настенные блюда с изображением дворцовых сцен. Ценитель фарфора сказал бы про них, имея в виду их происхождение, что это «хорошая Вена».

Канделябры, красного дерева кабинет (с бронзой), французский хрусталь, русское серебро с эмалями и без них, Бенуа, Левитан, неизвестные мне голландцы. Было чему ужасаться жителям местного городка.

Собственно говоря, это были вещи, которыми был набит, вероятно, каждый купеческий дом в России (а таких домов было десятки и сотни тысяч), но которые потом все расточились, словно их выдуло ветром, исчезли с лица земли, уступив место дешевым шифоньерам, бумажным цветам, репродукциям из «Огонька» и копиям с шишкинских

«Мишек» в багетных рамках, измазанных пупырчатой бронзовой краской.

Нашелся уголок, как бы ямка, в которой застряло и уцелело от сквозняка несколько крупиц, и вот я хожу, разглядываю и поражаюсь не столько подлинности драгоценных вещей, сколько тому, что они застряли и уцелели. Не нужно представлять, что я ходил по просторным гостиным, кабинетам, столовым. Когда-то были, наверно, просторные комнаты, а теперь все сократилось во много раз — и размеры комнат, и количество их, а главным образом количество вещей. Остались только приметы, признаки, так сказать, стрелочки, показывающие главные направления в главные сферы прежнего быта.

Было русское серебро? Было. От трехсот, допустим, предметов осталось десять.

Было собрание живописи? Да. От пятидесяти картин осталось пять.

Были женские украшения? Ну а как же! Видите портрет покойной жены хозяина дома? Нитка жемчуга спускается ниже пояса, а жемчуг словно лесной орех. От драгоценностей, наполнявших шкатулку, остались одни-единственные сережки. Но и они все равно годятся в музей. И так во всем. От большого гарнитура — два кресла. От хрусталя на шестьдесят четыре персоны — девять, четырнадцать, а то и пять разрозненных бокалов и рюмок. Но, собранные в небольших тесных комнатах, и эти остатки все еще производили впечатление и напоминали о богатстве, о вкусе и красоте, об ином ритме, об ином течении жизни.

Мне были названы предметы, которые могут быть проданы (а некоторые подарены), мы сошлись в цене, и осталась только одна проблема — найти грузовик. Он понадобился из-за дуровского шкафа и мхатовских кресел, потому что все остальное, включая и часы «Восхваление Гомера», поместилось бы в легковую машину. Пришлось обратиться на местную автобазу. Через час с небольшим к дому подъехал фургон (ГАЗ-51), и водитель Владимир Мефодиевич (какие еще сохранились местами отчества!) открыл у фургона заднюю дверь. Началась погрузка и увязка вещей.

Владимир Мефодиевич — мужчина лет сорока—сорока трех — сразу расположил меня к себе. У него было простое и вместе с тем характерное русское лицо из тех лиц, что остались от северных угро-финских племен, пришедших

некогда со славянами в историческое, мирное, взаимно ассимилирующее соприкосновение. Белесые волосы, широковатый рот, голубые глаза, несколько угловатые, со впадинами височные кости. И был он очень на месте в кабине своего грузовика. Если бы играть ему в кино какую-нибудь роль-типаж, то, верно, больше всего подошло бы ему играть именно роль грузового, периферийного, на громыхающем и готовом развалиться на мелкие части грузовике, спокойного и положительного шофера.

Шкаф мы положили на спинку поперек кузова вплотную к кабине. Часы сначала поставили в ящик, купленный мною за сорок копеек в продовольственном магазине, натискали в пустые места ящика старых тряпок и только тогда уж подняли в кузов. Но, может быть, не все представляют себе размер и конфигурацию часов «Восхваление Гомера».

Им полагается стоять на специальном столике, на каминной полке или на очень просторном кабинетном столе. Внизу у них четыре бронзовые лапки, на которых они и стоят. Расстояние между лапками по ширине двадцать пять, а по длине пятьдесят сантиметров. На этих бронзовых лапках покоится массивный беломраморный остов, прямоугольный, украшенный со всех сторон бронзовыми барельефами. Внутри он полый, иначе негде было бы поместиться часовому механизму и маятнику. Левая часть этого мраморного остова выше правой (похоже на печь с трубой). На высокой части, как бы на постаменте, установлен бронзовый бюст Гомера. На нижней части — бронзовая муза протягивает Гомеру венок. Все сооружение семьдесят пять сантиметров высотой и весит около двух пудов.

Эти часы, вернее, ящик с этими часами, мы поставили посредине кузова, ближе к шкафу, но так, чтобы ящик не тер красную полированную стенку шкафа. Пришлось между ящиком и шкафом тоже натискать старых тряпок.

Кресла хорошо встали по бокам, а чемодан с фарфоровыми блюдами и кое-какой хрустальной мелочью удобно уставился вдоль борта: оставалось от шкафа место как раз втиснуть и закрепить чемодан. Пока я прощался с хозяином, Владимир Мефодиевич опутывал вещи длинной белой веревкой. Поглядев, как это у него получается, я понял, что придется вмешаться и внести исправления в его замысловатую, импровизированную систему узлов, перехлестов, оттяжек, перетяжек, петель. Коренная ошибка Владимира

Мефодиевича крылась в том, что голову Гомера, находящуюся географически в центре кузова, он использовал при вязании как главную опорную точку. Он захлестывал веревку за борт, потом за какую-нибудь вещь, потом тянул к бронзовой голове, обкручивал веревкой бронзовую шею и снова тянул конец к борту. Получались веревочные лучи, тяжи, род паутины, с Гомером в центре.

— Отец у меня говорил: «Вяжи — плачь, поезжай — смейся!» — пояснил Владимир Мефодиевич свои старания.

— Представьте, у меня отец говорил то же самое. Но как бы нам не пришлось плакать, когда приедем на место.

— А что такое?

— Да вот — часы.

— По-моему, я хорошо увязал. Видите, какие оттяжки.

— То-то вижу. Кузов во время езды будет перекашиваться, ходить в разные стороны. Одну оттяжку будет натягивать, а другую ослаблять. И каждое движение кузова будет неизбежно передаваться бедной Гомеровой голове. К концу дороги его раздергает так, что привезем мы не часы, а кучу лома.

— Как же быть?

— Надо закрепить по возможности на одном месте сам ящик, чтобы он не бегал по кузову, а голова пусть останется свободной. Если ящик и сдвинется с места, это не страшно. Страшно, если он будет подпрыгивать. Но против этого мы с нашей веревкой ничего не сделаем. Чтобы часы не подпрыгивали, зависит только от дороги и от вас, от водителя. Вам приходилось возить когда-нибудь часы «Восхваление Гомера»?

— Что вы! Мы возим все больше простые грузы: коровью тушу, консервы, мешки с картошкой. Ну, правда, бывает, что стеклотара. Тоже деликатный предмет.

Хозяин вышел на крыльцо проводить нас.

— Счастливо... Сейчас вы — до города — пятьдесят, да там сто, да еще двести...

— Не, на город мы не поедем,— вдруг заявил Владимир Мефодиевич.— Мы на Гриднево.

— А дорога здесь как?

— Отличная дорога. На той неделе по ней ехал.

— Короче, что ли? — забеспокоился я.

— Да, попрямее.

— Бывает, лучше сто километров по хорошему асфальту, чем пять километров по проселку.

— Не, здесь хорошая дорога. Все время ездим.

— Грейдер или камешки?

— Да не беспокойтесь вы. Неужели мы свои дороги не знаем?

Я понял, что мой Владимир Мефодиевич начинает упорствовать и сердиться, и сказал себе: будь что будет. Мы помахали хозяину, который тоже махал нам, стоя на крыльце, и машина тронулась.

Нельзя не сказать несколько слов, какая это была машина. Когда Владимир Мефодиевич стал переводить скорость с первой на вторую, раздался скрежет такой надсадный и продолжительный, что, право, не знаю, каким способом можно было бы вызвать его искусственно, если бы вдруг понадобилось. Быстро вращающееся зубчатое железо скрежетало о зубчатое железо, и когда наконец шестеренки вошли там одна в другую, почувствовалось облегчение, словно внезапно перестала болеть голова или утих зуб. Сложное дребезжание всей машины в целом казалось легкой музыкой по сравнению со скрежетом передач. Но так казалось только первые полчаса. Дребезжание в сочетании с урчанием мотора начало постепенно давить на уши.

— Удивительно, что она едет! — нарочно попробовал я поддеть шофера.

— Так ведь она для того и создана, чтобы ехать,— спокойно ответил тот.

— Когда создана?

— Одиннадцать лет назад.

— А сколько прошла?

— Свое, положенное, она уж три раза прошла. После капиталки вторую сотню тысяч наматываю.

— Списать бы ее...

— Давно пора.

— Ну и что же?

— Экономия средств. Да вы зря на нее напали. Гремит, конечно, особенно без привычки. Но ездить можно. Тридцать километров спокойно. А на хорошем асфальте с разгоном — до сорока.

— Век космических скоростей...

— Так это где? В космосе! А мы пока на земле.

— Не может ли случиться так, что она вдруг развалится на ходу и мы окажемся сидящими на голом асфальте? Судя по ее дребезжанию...

— Не беспокойтесь, долетим, как на крыльях.

Скорость машин, потом, на большом шоссе, обгонявших нас, казалась вот именно космической. В моменты обгонов мне чудилось, что мы едем не вперед, а назад. Но нужно сказать по справедливости, что за все десять часов езды машина ни разу не остановилась, и мы доехали в конце концов, и я много раз вспоминал известную восточную мудрость: «Не бойся двигаться медленно, бойся стоять на месте».

Между тем мы проехали городок, пересекли в одном месте прекрасное, чистое от снега и льда шоссе и на окраине выбрались на ту самую дорогу на Гриднево, по которой решил прокатить меня Владимир Мефодиевич и которая, по его словам, прекрасна.

На первых же метрах этой прекрасной дороги наш фургон перекосило, передернуло, он резко и громко подпрыгнул. Конечно, не слышно из кабины, но мне почудилось, что я слышу, как подпрыгнули в кузове мраморные часы, а вместе с ними и чемодан с фарфоровыми блюдами, с хрусталем.

Владимир Мефодиевич болезненно поморщился и сбавил скорость почти до остановки. На его лице появилось недоуменное выражение.

— Сколько лет езжу, а этой ухабы не замечал!

Характер дороги был таков. В основе своей она была, по-видимому, каменной, но за зиму на ней наросло льда и укатанного снега слоем сантиметров до двадцати. Оно бы и ничего. Но по каким-то причинам и законам черный как уголь лед местами проносился, протаял, образовались как бы ячейки, а проще сказать, выбоины, попадая на которые, неизбежно должна была подпрыгивать наша машина.

Скорее всего дорога всю зиму была такой. Но, возя мешки с картошкой или коровьи туши, не думаешь, резко ли и высоко ли подпрыгивает сзади кузов. Поэтому в сознании Владимира Мефодиевича эта дорога жила как прекрасная и ровная. Собственноручно увязывая и перевязывая часы, он проникся их уязвимостью, хрупкостью, почувствовал их «запас прочности». Поэтому на первых же метрах дороги он и начал морщиться на каждом толчке.

Почти ощупью машина объехала две большие выбоины и понеслась было на все свои тридцать километров, как нас снова тряхнуло.

— Хорошая дорога была...— про себя, но извиняю-

щимся тоном говорил Владимир Мефодиевич,— все время ездили. И на той неделе я ехал.

— Возвратиться пока не поздно и выехать на асфальт...

— Теперь чего уж. Дело заехано...

Да. Вот еще одно обстоятельство: дело заехано. Развернуться и проехать назад три километра, но зато избежать пятидесяти отвратительных километров, как-то получается против характера и против души. Дело заехано. Хорошо ли, плохо ли, надо продвигаться вперед.

— Там, на асфальте, тоже выбоины. Полно. Другой раз так подкинет! А скорость там — больше. Поэтому самая маленькая выбоина...

Владимир Мефодиевич теоретизировал, черная ледяная дорога ползла нам навстречу, стараясь судорожно подсовывать под колеса свои наиболее ровные места, я молчал и прислушивался к происходящему в кузове, а по сторонам дороги проплывали солнечные мартовские пейзажи, наша средняя, наша русская сторона.

— На той неделе ехал, замечательная дорога была. Ни разу и не тряхнуло. Едешь, как спишь.

Я посмотрел на Владимира Мефодиевича и увидел, что от напряжения у него на лбу выступили мелковатые капельки пота. Как и для меня, каждый толчок, каждый перекос кузова, каждая его подпрыжка отзывались для водителя болью, словно мы не в кузове везли хрупкие и драгоценные вещи, но словно было нечто хрупкое внутри нас самих и вот-вот оно разобьется.

— Дорога осталась прежней,— решил и я привнести свою долю теории.— На той неделе она была такой же плохой... Но, собственно, почему она плохая? Мы ведь не завязли, не сползли в кювет, мы едем по сухому твердому месту. Значит, можно сказать, что вы правы: дорога осталась такой же хорошей, какой она была на той неделе. Все дело в вашем отношении к этой дороге. И все дело в том — что везти. Для коровьей туши она просто великолепна, а для «Восхваления Гомера», ну, как бы это сказать... жестковата.

— Да, немножко я не учел... А так-то мы все время здесь ездим. Даже и стеклотару я возил — ничего.

— Стеклотара небось в специальных ящиках, с перегородками. Для каждой бутылки своя ячейка.

— Это уж конечно. Бывает, разобьется одна-другая. Без этого тоже нельзя.

— Вот и новая разница. Бутылки, которые бьются,—

все одинаковы. А наши часы — большая редкость. И блюда тоже. Так что боя быть не должно.

— Всю жизнь вожу, даже и не знал, что существуют такие предметы. Приходилось, ну... Шифоньер, ну диван-кровать один раз перевез. А ведь это что? Едешь, словно стакан с водой на голове везешь. Значит, я так понимаю: разные вещи, разные должны быть и дороги?

— Почему же? Дорога может быть одна, но только хорошая.

Машину снова тряхнуло.

— Давайте отдохнем,— взмолился Владимир Мефодиевич,— постоим. Не могу больше. Такие колдобины. И откуда они взялись? Все время ездим. Хорошая дорога была.

— У меня такая уж специальность.

— Какая специальность? — удивился Владимир Мефодиевич.

— Чтобы плохое казалось плохим, а хорошее хорошим. Настоящее — настоящим, а мнимое — мнимым...

Перед выездом на большую асфальтированную дорогу я решил подвести для интереса некоторые арифметические итоги.

— Значит, так. Если бы мы поехали сразу по шоссе, мы бы сделали?..

— Пятьдесят до города да еще двадцать до этого места, где мы сейчас выезжаем на асфальт.

— Семьдесят. Правильно я вас понял?

— Семьдесят.

— А здесь?

— От силы уж — сорок пять.

— А по времени?

— По времени... Сами видите, как мы ехали.

— Нет, если бы нормально. С коровьей тушей.

— Если нормально, как ни говорите, а минут двадцать выгадываем, а то и полчаса.

— Разве это выигрыш? Зачем же вы ездите по этой дороге, а не по хорошей, в объезд?

Владимир Мефодиевич не сразу нашелся, что ответить, но ответ его оказался, можно сказать, классическим для выражения характера русского человека.

— Ну как же,— убежденно ответил Владимир Мефодиевич,— все-таки попрямее.

Под колеса пошло стремиться ровное широкое полотно асфальта. Машина не прыгала больше, ее не брало на излом с угла на угол, не испытывало на удары и на растряску. Не

требовалось больше ежеминутного скрежещущего переключения скоростей. На одной и той же третьей передаче наш фургон, равномерно вибрируя и дребезжа, шел, развивая скорость чуть ли не до пятидесяти километров. Когда мы оставались на шоссе одни, могло показаться, что мы мчимся с ужасной скоростью. Но когда с коротким рыканьем проносились мимо нас черные лаковые машины, то наш фургон останавливался и даже ехал назад. Но это не портило нашего настроения. Мы расслабились. Лоб у Владимира Мефодиевича обсох.

— А погодка-то, а? — заметил наконец он сияющий солнечный март по сторонам дороги.— Погодка-то разгулялась. Кр-расота...

1970

БУТЫЛКА СТАРОГО ВИНА

Мы сидели в просторной комнате маленького особняка, расположенного в дипломатическом районе Ханоя. Это, правда, не имеет никакого значения для той безделицы, которую я хочу рассказать, но если сам ее услышал в ханойском особнячке, то для чего мне придумывать и убеждать самого себя, что дело было где-нибудь в Варшаве, Софии или Будапеште. Я один самостоятельно путешествовал по Вьетнаму. Кто не проделывал столь занимательного путешествия, тому трудно понять, как я тянулся к каждому русскому человеку. Я ждал, как милости, вечера, когда можно пойти в ту или иную русскую семью и посидеть там, попивая прохладный напиток или даже простую воду из холодильника. (О, наслаждение — кипяченая вода из холодильника!) К тому же у меня в гостинице не было установки, охлаждающей воздух.

Итак, мы сидели в просторной и, самое главное, прохладной комнате. Мой собеседник, хозяин, русский дипломат, давно уж не бывал в отпуске и, значит, скучая по Москве, угощал меня экзотическими и свойственными этому уголку земного шара винами. Естественно, что разговор наш на некоторое время переключился на вина.

— Вы знаете,— признался я чистосердечно,— было время, когда я не понимал никакого толка в натуральном виноградном вине. Попробовал однажды — квас, кисляти-

на, да и крепости никакой. Или вот тоже коньяк. Помню, в студенческом общежитии лежали с ребятами, разговаривали, и вдруг выяснилось, что никто из нас троих ни разу не пробовал коньяка. Спохватились: да что же мы, ребята, пошли немедленно, рестораны еще не закрыты. Тогда рестораны в Москве до трех часов ночи работали, не как теперь.

Побежали, как помню, в «Узбекистан», в нетерпении подзываем официанта:

— Нам бутылку коньяку и что-нибудь закусить.

— Какого вам коньяку?

— ...А разве не все равно? А... какая между ними разница?

Теперь-то все кажется смешным, теперь, когда я не смог бы спутать грузинского «Енисели» с армянским «Двином», когда перепробовал всевозможные там «Камю» и «Курвуазье», это, конечно, кажется смешным. Официант пожал плечами и принес нам то, что попалось под руку. Право, я не помню, что это было. Должно быть, какой-нибудь ординарный дежурный коньячишко. Налили мы по стограммовой рюмке, выпили единым духом — переглядываемся. Бураки! Точь-в-точь украинская самогонка из бураков.

— Вроде бы денатуратом припахивает.

— Нет, клопами.

Заплатили мы по тому времени шестьдесят рублей и в том нашли себе утешение, что никогда уж, никто уж не соблазнит нас на эту дорогую вонючую дрянь.

— Ну что ж, выпьем по этому поводу,— и Николай Сергеевич налил по крохотной рюмочке из породистой коньячной бутылки.

Мы выпили, помолчали, оберегая во рту всю сложность аромата и вкуса, которые накапливались в напитке в течение полутора десятков лет.

— Да... нет... Божественно... Неповторимо...

— И при всем том какая нежность.

— А что касается натуральных вин,— вспомнил я опять свою первую тему,— то они казались мне все положительно на один вкус — кислые, и все. Чтобы улавливать терпкость «Мукузани», пикантную горчинку «Гурджуани», солнечную тонкость «Цинандали», розовую сластинку «Чхавери», сложность, так сказать, вкусовой гаммы «Изабеллы» или легкость «Васкеваза», чтобы улавливать все это и наслаждаться этим, такое не дается с первого раза.

Зато уж если поймешь, приобщишься — в жизни не возьмешь в рот никакой крепленой и подслащенной дряни [1].

Оказывается, Николай Сергеевич знал болгарские вина, и мы провели несколько приятных минут, обмениваясь впечатлениями по этому поводу. Вспоминали густые сорта «маврута», которые там, в Болгарии, называют еще «заячья кровь». Мы поговорили о том, что некоторые вина, в частности самые дорогие сорта настоящей мадеры, «прогуливают»: бочки с вином погружают на корабль, совершающий рейс в Индию. Совершив путешествие туда и обратно, вино приобретает особые качества. Может быть, это зависит от плавного беспрерывного колыхания на морских волнах, может быть, от тропической жары — не знаю.

Какое наслаждение пить небольшими глотками драгоценную влагу, кровь земли, сердцевинную сущность солнца. Конечно, и цвет имеет большое значение: то темный рубин, просвеченный кровавой искоркой, то чистое полдневное золото, то легкая утренняя позолота. Конечно, и посуда не последнее дело. Например, я убежден, что самое тонкое и самое богатое оттенками вино, если пить его из жестяной или алюминиевой кружки, теряет половину своей прелести.

— А еще,— продолжал Николай Сергеевич мою мысль,— большое дело обстановка, в которой пьется вино. Люди, с которыми пьешь, убранство стола, так сказать, весь антураж и зрительный и, ну, что ли, нравственный, психологический. Это отнюдь не последнее дело.

— Николай Сергеевич, вы — дипломат, ездили и видели, вероятно, больше меня, скажите, приходилось ли вам пить очень-очень старые вина? Ведь рассказывают столько легенд и о столетних, и времен Наполеона, и еще дальше. Я сам видел винотеки в подвалах Арарата и все эти замшелые бутылки, но говорят, что вино со временем умирает и остается в замшелой бутылке только уксус. Вот я и спрашиваю, приходилось ли вам пробовать, ну там пятидесятилетнее или семидесятилетнее вино, а если приходилось, то как оно звучит?

— Вы заставляете меня вспоминать один маленький эпизод из моей жизни. Я работал тогда в нашем посольстве

---

* Значит, я не понимал еще тогда прелести десертных вин, которые тоже могут быть либо прекрасными, либо ординарными и дешевыми.

в Париже. По долгу службы часто приходилось угощать дипломатов дружественных, и не очень дружественных, и просто недружественных стран. Разные там приемы и встречи, так сказать, в интимной домашней обстановке — все случается в дипломатической практике. Короче говоря, хорошие вина требовались то и дело. Таким образом у меня завязались потребительские отношения с одним парижским винным погребком — довольно известная во Франции фирма. Я был у них постоянным клиентом, за два года не изменил им ни разу, а частные предприниматели это умеют ценить. Дальше — больше, пора мне собираться домой, в СССР. Тут-то и возникла у меня идея захватить с собой в Москву бутылку очень старого французского вина. Ну не такого уж старого, чтобы, как вы говорите, уксус, не времен Наполеона, конечно, но все же.

Хозяйка встретила меня, как всегда, приветливо, как будто я пришел не покупателем, а дорогим гостем: «Месье, бонжур, мерси, бьен же ву при» и т. д.

Я сказал, зачем пришел, так, мол, и так, хорошо бы в Россию на память бутылку вина, ну хоть... ну хоть... ну хоть начала века, что ли, то есть тысяча девятисотого года.

— Наш дорогой друг, пожалуйста, очень рады, но только тысяча девятисотого года мы вам не советуем. В том году было очень дождливое лето, и виноград уродился не совсем хороший. В нем было много лишней влаги, он был водянистый. Нет, я ничего не говорю, вина получились отличные. Но вы — наш друг, поэтому, если уж хотите совсем-совсем настоящее вино, остановитесь либо на тысяча восемьсот девяносто девятом годе или тысяча девятьсот первом годе. Оба эти года были весьма благоприятные. Тысяча девятьсот первый даже получше.

Я попросил, чтобы мне принесли бутылку 1901 года.

— Вы серьезно ее возьмете?

— Ну конечно.

— Тогда одну минутку. Ее нельзя отдать просто так.

И вот по коридору движется маленькая процессия, несут драгоценную влагу. Двое рабочих погребка идут впереди, играя на мандолинах, третий — на вытянутых руках, на салфетке торжественно держит бутылку. На моих глазах салфеткой отерли бутылку от зеленой замшелости, от плесени, а салфетку тут же подарили мне на память,

чтобы я в Москве мог показать ее друзьям и чтобы все удостоверились, что бутылка действительно была покрыта плесенью.

Затем заставили меня расписаться в какой-то торжественной фирменной книге, чтобы потом они могли кому-нибудь показать, что такая бутылка действительно была и что она продана действительно в Москву. У них есть, конечно, такие бутылки, которые прадедушка завещал не продавать дедушке, дедушка теперешнему владельцу погребка, а он, наверное, в свою очередь завещает наследникам не продавать ее ни в коем случае. Это гордость фирмы, знак ее древности.

По поводу продажи мне редкой бутылки тут же хозяйка открыла молодую бутылку, и мы, как в России это называется, спрыснули мою покупку.

Бережно я вез вино в Москву после такого торжественного ритуала. Но вот бутылка в Москве и даже в холодильнике. Теперь все в порядке.

Случая, достойного бутылки, все не приходилось. Через год мне должно было исполниться сорок лет, я решил отметить это событие бутылкой французского вина, тем более, что меня послали на несколько месяцев в командировку.

Возвратившись домой из командировки, я, едва лишь поцеловав жену, устремился к холодильнику, чтобы убедиться в целостности и сохранности бутылки. Туда-сюда глазами: помидоры, яйца, говядина, сосиски. Черт возьми, где же бутылка!

— Какая бутылка? — наивно спрашивает жена.— Та, что лежала в холодильнике?

— Ну да, конечно, где она, зачем ты ее переложила в другое место?

— Я не перекладывала. Однажды зашел в гости братишка, знаешь, что слесарем на водокачке работает. Ну, а был дождичек. Мне не хотелось бежать в магазин. Я открыла ему эту бутылку.

— Да как же так? Да ведь это...

— Так получилось. Уж он ругался, ругался, мол, какой ты меня густой, липкой дрянью угостила.

— Чем хоть он пил-то?

— Из чашки.

Я потом нарочно ездил к этому Витьке и выспрашивал у него насчет вкуса и запаха, чтобы хоть немного представить, какой это был напиток.

— Да что,— отвечает Витька,— разве я разобрал. Да не убивайтесь вы, Николай Сергеевич, не страдайте, говорю, дрянь,— значит, дрянь. Против нашей «белой головки»...

1970

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Это было ужасно. Двухлетняя девочка, наша дочка, наша Олечка — умирала. И только потому, что прошло с тех пор много времени, некоторые воспоминания о ее болезни вызывают вместо содрогания чуть ли не улыбку.

Ночью начался бред. Доктор — милая, приятная, но совсем растерявшаяся женщина, недоумевала: почему ангина, хотя бы и двухсторонняя, протекает столь тяжело.

— Позвоните Ювaловой,— сказала она, перешагивая, может быть, через свое самолюбие,— терапевту здесь делать нечего. Это специальность — ухо, горло, нос.

— Но Ювалова ночью не поедет!

— Умоляйте. Поезжайте за ней на такси и сами же отвезете обратно. Ее зовут Наталия Дмитриевна.

Трубку долго не снимали, и во мне, пока я слушал длинные надсадные гудки, боролись два чувства. Если трубку не снимут совсем, не надо будет вести тяжелый ночной разговор. Но если ее не снимут, что же нам делать?

Возмущенно и бестолково, перебивая сам себя, я что-то долго говорил Наталии Дмитриевне. Меня слушали молча. И еще некоторое время молчали, когда я сказал все, что мог. Наконец тихий усталый голос ответил:

— Хорошо, приезжайте.

На безвременье между осенью и зимой Москва неприглядна и тосклива. Да еще ночью. Да еще если сознаешь, что двухлетняя девочка бредит и задыхается и температура у нее перевалила за сорок. И надо поймать такси, которые все почему-то идут «в парк». И ехать из Черемушек на Хорошевское шоссе.

Все-таки оказалось, было что делать и терапевту. На двухстороннюю ангину наслоилось двухстороннее же воспаление легких.

— Всю ночь будете давать ей кислород. Дежурная аптека на Серпуховке. Утром попробуем положить в больницу. Не скрою, с больницами сейчас очень трудно. Направление я выпишу, а потом вам придется похлопотать. Попробуйте через Константина Васильевича. У него по долгу службы — обширные связи.

К утру я определил для себя три точки, три телефона, трех человек, к которым придется обращаться за помощью: Константин Васильевич, Дмитрий Алексеевич, Алексей Иванович. Инстанции были одна другой авторитетнее, я бы и не осмелился никогда. Но если умирает дочка, и врачи не скрывают тяжелого положения, и, прощаясь, Ювалова сказала, что она — не бог, а я знаю, в каких случаях врачи говорят, что они не боги, то — был бы телефон — позвонишь и самому богу, а не только Дмитрию Алексеевичу.

Однако вопрос с больницей решился довольно быстро. Все-таки не Дмитрий Алексеевич и не Алексей Иванович, а именно Константин Васильевич и ответил мне через двадцать минут, что к четырем часам дня можно везти девочку... И он назвал крупную детскую больницу. И то хорошо. До четырех часов как-нибудь сообща дотянем. Хотя тянуть-то главную тяжесть приходилось не нам, взрослым, вполне беспомощным людям, а маленькому и слабенькому тельцу, борющемуся за свою жизнь и сгорающему в огне сразу двух жестоких болезней.

Моя помощь состояла в том, что я звонил по разным телефонам, но от этого не выздоравливают. Мать помогала лишь тем, что если девочка открывала глаза, и сознание ее прояснялось, и внешний мир обозначался, пусть туманным, но все-таки просветленным пятном, то всегда в этом пятне была и мать. И не могло никак быть иначе. Если бы пятно почему-либо опустело, девочка, может быть, не открыла бы глаз никогда.

Вот почему в приемном покое больницы мы были ошарашены и потрясены, когда нам сказали, что больную положат одну, а мать пусть идет домой. Наш жалкий лепет насчет человечности, особенностей характера ребенка и насчет «маматерапии», вычитанной в журнале «Здоровье», не произвел на бесстрастных людей в белых халатах никакого впечатления. Тогда я сказал, что скоро приду, чтобы до моего прихода Олю не уносили, и пошел искать правду.

Плоские деревянные диваны приемного покоя, двери с двух концов, не очень просторное помещение, где по ночам тянет сквознячком, а сам воздух пережарен на железных батареях парового отопления, бело-желтоватый колорит стен, кучки одежды, остающиеся после детей, уносимых куда-то в недоступные, безграничные сферы больницы, все это само по себе создавало тягостное, почти безысходное настроение, не говоря уж о хриплом прерывистом дыхании девочки.

Выйдя на улицу, я почувствовал облегчение. Но оно было мнимое. Предстояло возвратиться в тот же приемный покой, возвратиться как можно скорее, возвратиться с положительным результатом.

У заведующей отделением я, помнится, задержался недолго. Полнеющую молодую еще женщину с округлым приятным лицом легче было бы представить хозяйкой стола, накрытого по случаю дня рождения мужа или десятилетия свадьбы. Она бы и потчевала грибной икрой, и просила бы не наедаться закусками, потому что впереди еще телятина, и заварила бы крепкий чай, и запела бы «За окном черемуха колышется»; можно было бы пригласить ее танцевать, и танцевала бы она прилично, примерно, холодновато, стараясь не касаться партнера своим телом, хотя это и невозможно было бы при ее полноте, а в особенности — бюсте. Впрочем, неизвестно, как бы она танцевала.

Но теперь она была заведующая отделением, и от нее зависело, положат мою дочку в больницу одну или положат ее вместе с матерью. В ту минуту мне казалось, что от этой приятной женщины зависит, в сущности, жизнь Олечки. А может, так оно и было на самом деле.

Женщина поглядела на меня серыми большими глазами. Я не вообразился ей в другой обстановке, где графинчики на белой скатерти и крутится пластинка с медленным танцем. Она сказала, что существует распоряжение министерства, которое никто не имеет права нарушать.

— А если главврач больницы?

— Никто, вы понимаете русский язык? Никто не имеет права нарушать приказ министра.

Я ушел от нее озадаченным. Мысль моя не хотела примириться с тем, что так-таки и нельзя ничего сделать. Не может быть, чтоб нельзя! Не было отдано еще ни одного распоряжения, ни в какие времена, ни в какой стране, которое ни разу не нарушалось.

Но сразу к главврачу я не пошел.

Одно дело, если приду я — частное лицо, а другое дело, если попросит учреждение, организация, притом какая-нибудь такая организация, которой никак нельзя отказать.

Редактор влиятельной газеты оказался на месте, и я изложил ему по телефону суть дела.

— Хорошо. Только скажи мне телефон главного врача, чтобы не искать. Ну и как зовут. А потом позвони через десять минут.

За десять минут я успел купить три килограмма бананов, надеясь вернуться в приемный покой не только с хорошей вестью, но и с гостинцами. Ведь если жена моя ляжет вместе с дочкой, все равно придется носить передачи. Теперь сразу будут бананы.

Десять минут прошло, и я снова соединился с редактором.

— Главврач не снимает трубку. Давай сделаем так. Ты сиди у него в приемной. Как только он войдет к себе в кабинет, ты сообщишь мне. Я сразу буду звонить. Тогда он никуда от нас не денется.

Рабочий день между тем шел к концу. В приемной главврача не было уже секретарши. На столе стояли беспризорные телефоны, и никто не мог сказать, вернется ли в свой кабинет главврач.

Пластмассовое пресс-папье, рассыпанные скрепки и кожура от мандарина, забытая секретаршей на уголке стола, излучали тоску и могли бы совсем доконать меня, если бы пришлось дожидаться дольше. Но, посидев в тишине, я стал различать, что из кабинета главврача доносятся приглушенные кожаной дверью голоса. Я подошел к этой черной двери и прислушался. Сомнений быть не могло, в кабинете находились и говорили люди.

Скорее набрал я номер редактора влиятельной газеты.

— Зверь в берлоге. Звоните!

Секунд через двадцать оглушительно зазвонил телефон передо мной, на столе секретарши. Поколебавшись, я поднял трубку.

— Станислав Сергеевич? — спросил редактор важным баском, добросовестно выполняя мою просьбу.

— Сию минуту,— пискляво ответил я, подражая голосу неведомой мне секретарши.

Ответить-то я ответил, но что мне теперь оставалось делать? Решительно открыл я высокую черную дверь, уви-

дел главврача за своим большим столом, еще двух мужчин, разговаривающих с ним, и, не дав им опомниться, четко произнес:

— Извините. Я случайно оказался в приемной. Вас просят взять трубку.

Закрыл дверь и опрометью бросился с третьего этажа. Из уличной будки стал нетерпеливо звонить редактору. Тотчас послышались длинные гудки. Значит, разговор его с главврачом был коротким.

— Старик, ничего не выходит. Он говорит, что есть приказ министра и нарушать его никто не имеет права. Приказ отдан недавно, свеженький, поэтому действует во всю силу.

Мне здесь хлопотать — одна надсада, а каково им дожидаться меня в приемном покое? И с чем же я к ним приду, с тремя килограммами бананов?! Нет, борьба есть борьба. И она не кончена. Схватив такси, я помчался в редакцию. Там, на телефонном столике в кабинете главного редактора, стоит телефонный аппарат, по виду самый неказистый и старомодный. Редко снимает трубку с этого аппарата главный редактор, редко звонит и сам аппарат. Но если нужно, но если важное дело...

— Ты сам знаешь,— без особой радости встретил меня редактор,— это ведь для особых случаев, если важно...

— Что может быть важнее человеческой жизни?

— Хорошо, я дам тебе номер министра, но звонить будешь сам.

Полистав небольшую красную книжицу, он сообщил мне четырехзначный номер, и я без колебаний его набрал.

Усталый низкий голос послышался в трубке. Я представился. Я рассказал, в чем дело, затратив на рассказ минимальное количество слов и придав им максимум выразительности.

— Да, был такой приказ. Он мотивирован и обоснован. Вы просто не знаете положения вещей! Да, это был мой приказ. Но поскольку он мой, я в первую очередь не могу его нарушить.

Пакет с бананами прорвался в двух местах, и держать его стало неудобно и трудно. Бананы грозили рассыпаться. Мне хотелось выбросить их в урну или встать бы на углу улицы и начать расстреливать ими прохожих. Или встать бы в дверях главврача и... Но ни прохожие, ни главврач не

виноваты. Не виноват даже министр. Приказ мотивирован и обоснован.

До меня дошел вдруг весь ужас положения. Из-за этих хлопот я подверг девочку дополнительному риску. Уже два часа она лежала бы в больнице. Вокруг нее хлопотали бы врачи. И вот я возвращаюсь ни с чем. И в ответ на огонек надежды в глазах жены я протяну ей прорвавшийся во многих местах пакет с бананами.

Чем ближе я подходил к приемному покою, тем тяжелее становились мои ноги. Не хотелось туда, к несчастью, к страданию, тем более, что я не знал, что произошло там за два часа. А могло ведь произойти.

Окинув взглядом совсем пустое приемное отделение, я похолодел. Не было ни одной души в этих бело-желтоватых стенах. Ни узелков с детской одеждой, ни какой-нибудь тетечки в халате, у которой можно спросить, справиться, разузнать.

Мое воображение завертелось вокруг возможных вариантов исчезновения дочери и жены, и были эти варианты один хуже другого.

Но в это время из противоположных дверей, из тех, в которые уводят и уносят больных детишек в недоступные, поглощающие сферы больницы, вышла женщина, ведя за руку выздоровевшего мальчика. Лицо ее вспомнилось мне, она сидела здесь (ждала, значит, выписки сына) еще до того, как я ударился в хлопоты.

— А где?.. Вы не знаете... такая, очень больная девочка?

— Положили их час назад.

— Двоих?

— Обеих и положили.

— Кто же осмелился это сделать?! Приказ министра...

— Нянечка в шлепанцах пришла да и увела с собой.

Тут появилась и нянечка с узелком в руках. Протянула одежду мне.

— Ваши, что ли?

— Наши, наши, да где же они?

— В хорошем блоке лежат. Одни. Никто не мешает.

Нянечка была пожилая, худощавая. Такую за гостевым столом и не представишь себе. Когда гости пируют, такие все больше на кухне или в другой комнате детей забавляют, чтобы гостям не мешали. Можно вообразить ее, пожалуй, в очереди в магазине, лифтершей в подъезде, а вернее всего, она здесь на самом своем исконном месте.

— Как же вы так? Министерство и то не могло. Редактор газеты... по «вертушке»...

— Не знаю я ваших вертушек.

— Но кто-нибудь вам сказал?

— И говорить нечего. Нешто я не вижу, что девочку класть надо.

— С матерью-то кто разрешил?

— Нешто я не вижу, что ей с матерью лучше будет. Вылечим твою дочку, ступай домой. Принеси завтра соку какого ни на есть да малинового варенья.

Я уходил со спокойной душой и уверенностью, что дочку действительно вылечат.

Уже на улице я обнаружил в своих руках, кроме узелка с одеждой, и надоевшие мне бананы, которые надо бы отдать нянечке, что ли... А еще я забыл спросить, как ее зовут. Потом, когда дело пошло на поправку, я и вовсе забыл про нянечку. Так и не знаю до сих пор, кто она была: Екатерина Ивановна, Агриппина Николаевна, Фенечка, Паша, тетя Поля, Дуняша, Аннушка...

1960

МЕД НА ХЛЕБЕ

«ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ НА ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ»

Герой Советского Союза, доктор юридических наук, заведующий кафедрой в одном из крупнейших учебных заведений страны, Алексей Петрович был когда-то обыкновенным деревенским подростком.

Небольшого росточка и не имевший еще той профессорской округленности, которая появится впоследствии (и очков в роговой оправе), а обладавший лишь тонкой шеей, торчавшей из широкого воротника великоватой тужурки, в многочисленной поросли (густо было перед войной подрастающих парней в российских деревнях) среди рослых, круглолицых (мордастых — по ничуть не обидному деревенскому выражению) сверстников, он никак не мог считаться заметным парнем, видным парнем, первым парнем на деревне и вообще — выделяться. Поэтому он мечтал о гармони.

Но тут я, возможно, несправедлив. Не обязательно выделяться. Гармонь есть гармонь. И разве самые широкоплечие, кучерявые, белозубые, прямоносые, разве они тоже не мечтали все о гармони? Не для того, чтобы стать первее других, а просто так — растянуть мехи, пробежать пальцами по ладам и басам, расплеснуть залихватский перебор по деревенской улице, по залогам, по полям и лугам, по реке, до соседних деревень, где живут девки, всегда красивее и желаннее своих.

Далеко было слышно гармонь в деревенской тишине.

Ничего не было в окрестном мире громче ржания лошади, петушиного пения, скрипа тележного колеса, звяканья цепи около колодца, звонкого тюканья молотка по наковальне, когда отбивают косу, визжания пилы по дереву... Но разве же это звуки?

Конечно, бывало, ударит колокол или гром, но это редко, по праздникам, во время грозы. А так (кроме грома и колокола) самым голосистым и громким, что можно

слышать в деревенских окрестностях, была гармонь. Не просто гармонь, не гармонь сама по себе, но все знали, что заиграл, выйдя на крыльцо, Васька Кочетков. В Прокошихе играют, а на Броду, в Остахине, в Негодяихе, у нас в Олепине слушают. Вот что означала тогда гармонь. Но только ли это означала она?

В то время не было в деревне побочных шумов, но не было и никакой посторонней музыки. Теперь, когда телевизоры, транзисторы, проигрыватели и портативные магнитофоны с кассетами, нельзя и представить себе тот музыкальный вакуум, который царил в ту пору. Но все же не вакуум. Песни, песни и песни. В сенокос, когда возвращаются бабы с граблями от реки в село, в зимние посиделки, на свадьбах, в престольные праздники за хмельными столами, над колыбелями — негромкие материнские песни.

Если же говорить о музыке, то приходится называть одну гармонь. Пастушьи рожки играли на утренней заре или в лугах, когда найдет на пастуха лирическая минута. Но не пришло бы в голову играть на рожке на гулянье, а также и во время праздничного застолья. Балалайка както не ценилась в наших местах, не считалась за порядочную музыку. Оставалась одна гармонь. Значит, от гармониста зависело веселье на гулянье, на праздничной улице, на свадьбе. Про свадьбу и говорить не приходится. Есть даже поговорка. Когда хотят сказать про что-нибудь несуразное, неудачное, говорят: «Это все равно что свадьба без гармони». То есть нельзя и вообразить.

Свадьба должна быть с гармонью, желательно с двумя, чтобы играли гармонисты попеременно. Но бывало — и сразу вдвоем. Помнится, про свадьбу в наших местах, на которую собралось сразу пять гармоней, говорили потом три года.

«Пирующие» выпили и теперь усиленно закусывают; в тесной избе, где не вздохнуть, не пошевелиться, все делятся на «пирующих», то есть на приглашенных на свадьбу, и на просто набившихся посмотреть. Пирующие едят, а зрители смотрят. Наступает момент некоторого затишья в стуке вилок, в звяканье, в чавканье, и вот, уловив этот момент, без предупреждения, гармонист вдруг растянет мехи, и все сразу преображается в избе, за столом, в душах людей. Ликующие волны подхватывают и поднимают всех до восторга, до всеохватной радости, и тотчас этот восторг находит свободу и выход — грянула всеобщая песня.

Гармонного звука хватило бы, говорю, долететь до

окрестных деревень, а он вынужден биться в четырех тесных стенах. И он бьется, оглушительно и пронзительно. Теперь вообразим, что же было бы на свадьбе, если бы не гармонь? Что это была бы за свадьба? Невозможно вообразить.

А ведь гармонист между тем мог заломаться, закапризничать и отказаться от приглашения.

Не знаю с чем и сравнить авторитет гармониста в деревне, его особенное положение, всеобщее почитание,— частью от зависимости (не придет, и будешь гулять без музыки), но главным образом от радости, которую так щедро дарила гармонь в те безмузыкальные, вернее, безмузыкально-инструментальные времена.

Гармонисту — уважение и почет! От порога едва ли не под руки ведут в передний угол, сажают на скамейку, на видное место, расступаются, только что не сдувают пылинки. Но если выступит пот на лбу, то могут и промокнуть девки собранным в комочек платком.

Теперь представим себе всю гордость девушки, если начала она гулять с гармонистом. Если он, такой выдающийся, такой недосягаемый, такой почти бог среди остальных парней, провожает ее с гулянья, сидит с ней на тихом крылечке. С гордостью и звонкостью выплеснет она при случае лирическую частушку:

Гармониста я любила,
Гармониста тешила,
Гармонисту на плечо
Сама гармошку вешала.

Гармонист сидит в переднем углу, девки подходят к нему, заказывают очередной танец:

— Вася, сыграй тустеп.

Вася играет. Опять же с какой тайной сладостью думает девушка о том, что Вася этот, к которому так почтительно, даже робко обращаются все, что это ее Вася и что старается он, может, в первую очередь для нее.

Хорошо Вася играет,
Ударяет по басам,
Не сама я завлекала,
Завлекал меня он сам.

Даже если не свадьба, не вечеринка, а большое гулянье на все село в большой праздник, все равно без гармони не обойтись.

В том селе, где подрастал до парней Алеша Воронин, престольный праздник — Преображение — 19 августа по новому стилю.

Погода летняя, сухая. Убрана рожь, поспели яблоки. Над желтыми соломенными полями, над стерней — синее небо да белые облака.

С утра, хотя и чувствуется в воздухе что-то праздничное, еще пусты улицы села. Праздник начинается в домах, за столами. Разве что гости из другой деревни пройдут улицей: женщины в крепдешинах, мужчины в белых рубашках, в пиджаках внакидку. Прошли деревенской зеленой улицей, по плотине мимо пруда, оживили улицу ярким живописным пятном — и снова одни только куры на зеленой траве.

Таких групп пройдет в разные дома не по числу ли домов. У кого же нет родни по ближним деревням, какая же родня не придет в гости в Преображение?

Все это потом, напившись и наевшись, высыплет на широкую улицу, образуя гулянье, которое достигает своего пика к четырем, к пяти часам.

Однако главную массу гулянья составляют все же не эти гости, а группы, ватаги, толпы молодых парней, девок и подростков, пришедших из деревень в радиусе десяти километров только для того, чтобы погулять. Те, что гостевались за столом (белые пироги, студень, зеленый лук, яйца, селедка, тушеное мясо), так и остаются чаще всего привязанными к дому, сидят около палисадников, как бы не участники гулянья, а зрители. Но молодежи и без них набирается до нескольких сот человек. Ходят по селу — девки разноцветными длинными шеренгами, взявшись под руки, парни — кучками: прокошинские своей кучкой, топорищевские — своей. Или несколько небольших дружных между собой деревень объединятся и сольются в одну кучку. Оно и предусмотрительно в рассуждении будущей драки с кровопролитием, которая непременно случается в этот день.

Вдруг около церкви, на просторной луговине под липами, заиграла гармонь. Тотчас там, вокруг слышимой объединяющей точки, начинает завихряться и клубиться гулянье, все эти шеренги и ватаги, пока не образуется большой круг, пустой посередине, для танцующих.

Что бы они все делали без гармони? И каково подрастающему пареньку вообразить себя центром внимания уже не просто в избе, где толкутся в тесноте пусть хоть и пятьдесят

человек,— но целого гулянья, когда вся нарядная улица слушает твою игру, подчиняется ей и был бы без твоей игры праздник не праздник.

Я-то совсем не разбираюсь в гармонях, никогда не держал в руках, не извлекал, растягивая мехи, переливчатых, громких звуков за полным отсутствием музыкального слуха.

Начав писать этот рассказ, я заглянул в одну-другую энциклопедию и кое-что вычитал там о гармонях, но, право, не знаю, будет ли это интересно. Во-первых, оказалось, что это — духовой музыкальный инструмент. «Звук гармони образуется от колебания металлических язычков, прилегающих одним концом к планке с прорезями, под действием воздушной струи, направляемой по особым каналам, под действием меха... В России производство гармоней возникло в 30-х годах XIX века. Самым крупным центром производства гармоней была Тула. Гармонь, коренным образом усовершенствованная русскими мастерами, создавшими ряд ее разновидностей (тульская, бологойская, саратовская, сибирская, касимовская, татарская и др.), быстро распространилась в России и стала излюбленным народным инструментом. Русские мастера реконструировали также наиболее распространенный вид гармони, то есть венскую двухрядную, в двухрядную гармонь с «русским строем». Все эти виды и разновидности диатонических гармоней различаются особым положением клавиш и кнопок, количеством их рядов (отсюда названия — однорядка, двухрядка и т. д.), особенности звукоизвлечения... У венки двухрядной — клавиатура правой руки имеет 23 клавиши, левой — 12...

В советскую эпоху гармонь широко используется для пропаганды музыкального искусства, особенно в колхозах. Она применяется в массовой самодеятельности, в клубных и профессиональных ансамблях и в оркестрах как сольный инструмент и для сопровождения народных песен... Систематически проводящиеся в СССР конкурсы и смотры художественной самодеятельности выявляют большое число талантливых исполнителей на гармонях. Для гармони издается специальная музыкальная литература, непрерывно расширяется производство гармоней».

Вспоминаю, что в разговорах о гармонях употреблялись все эти названия: венка, хромка, двухрядка, тальянка, двадцать пять на двадцать пять. Да если бы и без разговоров — из частушек и стихов и то можно получить основные

сведения о гармонях. Технические данные и термины, дойдя до деревень, до зеленых лужаек и соломенных крыш, до белых косовороток и крепдешиновых платьев, преображались в певучую лирику:

Заиграла где-то веночка
В далекой стороне,
Заиграло и забилось
Сердце девичье во мне.

Вот она и заиграла,
Двадцать пять на двадцать пять.
Я туда-сюда глазами,
А залетки не видать.

Ты сыграй, сыграй, тальяночка,
Недорого дана:
От Петрова до Покрова
Все работал на тебя.

Теперь понятно, почему хотелось иметь гармонь Алеше Воронину. Два года просил у отца, вымогал и клянчил:

— Папаня, купи гармонь!

Перед каждой ярмаркой, перед каждой поездкой отца в город — в Юрьев-Польский или во Владимир — одна и та же песенка:

— Папаня, купи гармонь!..

Пиликать Алеша немного научился у завзятого гармониста Витьки Огуренкова, приходящегося дальней родней, почему тот и доверял подержать в руках драгоценный предмет и даже показывал, как расставлять пальцы по перламутровым пуговкам-ладам. Что-то похожее на краковяк выговаривала гармонь под непослушными, как бы немыми еще пальцами подростка: «Раз пошла, два пошла, третий раз подумала». Получается, получается! Если бы на недельку эту гармонь! Посидеть бы с ней на крылечке, подобрал бы «Златые горы». А если бы свою, постоянно, навеки...

— Папаня, купи гармонь!

Не думалось о том, что вместе с почетом гармонь несет еще и обязанности. Приятная, музыкальная, но работа. Недаром девки скомканным платочком собирают пот с гармонистова лба. Заиграл на гулянье, собрал народ в большой танцевальный круг — хочешь не хочешь, а играй. Танец, другой, ну пять танцев... Нет, приходится заряжать часа на два. Другие парни гуляют по деревне, не привязанные к месту гармонью, а ты сиди в кругу, потей, глотай пыль из-

под танцующих ног. И уйти нельзя. То есть можно уйти, никто не приказывает. Но совестно обездоливать народ. Кроме того, видимо, есть это чувство, что за почет надо чем-нибудь и платить. Кроме того, девки уговаривают, а среди них одна, которой и уговаривать не надо. Поглядит — и словно обессилит глазами...

Тому же мечтающему о гармони Алеше Воронину если бы сказала Райка Братчикова: «Поиграй, Алешенька, я тебе и ремешок поправлю...» — и поправила бы ремень на плече. Тогда ведь играл бы Алеша день и ночь.

Эта Райка на глазах перегоняла мальчишек-сверстников, формировалась из подростка, из угловатой девчонки в девку. Все округлялось у нее, наливалось, распирая девчоночьи платьишки, а в глазах появилась дерзинка, что-то такое вызывающее и приманивающее.

Как бы пройти мимо Райкиного дома с гармонью, чтобы она выглянула из окна (чей, мол, там появился гармонист?), пройти бы мимо, не поведя глазом. Или так. Гулянье собралось, а гармони нету. Все ходят понурые, не гуляется без гармони. В это время зайти с задов, из прогона, будто бы от Прокошихи, и растянуть мехи. Все обрадуются: гармонь идет! Васька Кочетков. Ба! Никакой это не Васька, это Алешка Воронин!

Впрочем, может, вовсе не из-за Райки и не из тщеславия хотелось ему иметь гармонь, но вполне безотчетно и беспричинно, из побуждений чистого, так сказать, искусства. Может быть, таился в пареньке прирожденный гармонист с искрой божьей, который стал бы прославленным на все окрестности гармонистом, какого и не бывало до сей поры.

Но отец не хотел покупать гармонь. Баловство, да и дорого. Черта ли в ней, в гармони. Яиц не несет, молока не доит, шерсти тоже с нее не настрижешь. А каждая копейка на учете. Жадноват был Алешкин отец на нелегкую, впрочем, крестьянскую копейку.

Потосковал, пострадал по гармони Алеша Воронин! Но десятилетка в другом селе, за двадцать верст, где приходилось жить на квартире, отвлекла от неутоленной мечты. Потом началась такая круговерть событий, что опомнился Алеша только уж Алексеем Петровичем — доктором юридических наук и профессором.

Внешняя канва получилась такая. Война, и по призыву — на фронт. Фронтовая работа пулеметчика. Пулемет системы «максим». Одна станина — тридцать три килограмма. За форсирование Дуная на венгерском участке

командир пулеметного расчета младший сержант Воронин получил звание Героя Советского Союза. Это и определило его судьбу. Без этого (если б, конечно, уцелел) вернулся бы домой и стал бы работать трактористом. Женился бы, наверное, на Райке Братчиковой.

Золотая Звезда открыла иные возможности, которые, надо прямо сказать, достались в благодарные руки, то есть человеку с достойными личными качествами. Офицерские курсы «Выстрел», Военно-юридическая академия, преподавательская работа в Высшей школе МВД, должность заместителя директора научно-исследовательского института, кафедра в одном солиднейшем учебном заведении страны.

Своим чередом — кандидатская, а потом и докторская диссертации.

Своим чередом — две дочки-малышки, две дочки школьницы, две дочки — студентки московских вузов.

Своим чередом — жизнь сначала в квартире жены (с тещей, шурином, шумными соседями), потом двухкомнатная квартира на Кутузовском проспекте, потом трехкомнатная квартира на Кутузовском проспекте, потом дача в модном пригороде Москвы.

Своим чередом — заграничные поездки, публикация статей, а затем и двух-трех книг по международному праву.

Своим чередом — седина в черных кудрях, брюшко, некоторая одутловатость в лице, роговые очки.

Своим чередом — болезнь щитовидной железы, операция, ежедневные таблетки, восполняющие те вещества, которые вырабатывала вырезанная доля щитовидки.

Своим чередом — все проблемы всех этих лет. Освоение целины, кукуруза, укрупнение колхозов, возникновение совнархозов, Братская ГЭС, экономическая реформа, реконструкция Москвы, ближневосточные проблемы, убийства президентов, угоны самолетов, освоение сибирской нефти, урожайные и менее урожайные годы, международная напряженность, полеты спутников, космонавтов, фестивали, конгрессы, визиты в Москву многочисленных премьер-министров, королей, президентов... Мало ли произошло всего за тридцать лет.

Жизнь у Алексея Петровича получилась интересная, насыщенная книгами, учеными советами, выступлениями перед людьми, работой за письменным столом, поездками по стране и за рубеж, воскресными рыбалками (в особенности подледными) и астрономическим количеством банке-

тов, ибо все эти годы приходилось коловращаться в тех сферах, где выпекаются кандидатские и докторские ученые степени. А сколько защищено диссертаций, столько устроено и традиционных банкетов в «Арагви», в «Праге», в «Узбекистане», в «Пекине»...

Как раз и очнулся-то он после банкета, когда из душного, с низкими потолками зала «Арарата» вышел на Неглинную улицу. Вышли они «тепленькие», шумные, некоторое время не могли еще расстаться и на тротуаре все еще продолжали форсированными голосами начатый за столом разговор. Конечно, не весь банкетный стол, но пять-шесть наиболее знакомых между собой его участников.

Как будто что толкнуло Алексея Петровича, он остановился и стал разглядывать вывеску на магазине, словно это была какая-нибудь редчайшая вывеска, например: «Торговля индийскими слонами» или «Продажа индивидуальных океанических кораблей», а всего-то было написано там: «Музыкальные инструменты». Но надо иметь в виду, что прежде чем поднять глаза на вывеску (потому и поднял), Алексей Петрович увидел прямо перед собой, в метре от себя, за толстым стеклом витрины, полуразвернутую, с малиновыми мехами гармонь.

— Ты куда, Алексей? Подожди! Поедем ко мне, продолжим...

Но Алексей Петрович Воронин не слышал уже дружеских голосов. Полированное, перламутровое, сверкающе-металлическое запестрело перед глазами. Подойдя к продавщице и удивляясь самому себе, точно не сам он все это делал, а кто-то действовал за него другой, Алексей Петрович спросил:

— Гармони в продаже есть?

— Пожалуйста.

Друзья, не поняв шутки, тянули профессора от прилавка, потому что было уже поймано такси в дополнение к темно-вишневой Алексеевой «Волге», в которую всем бы не поместиться.

— Пойдем, Алексей Петрович, пойдем, такси ждет.

— Какие у вас гармони?

— Какую вам надо?

— Двадцать пять на двадцать пять есть?

— Есть.

— Во! Дайте мне двадцать пять на двадцать пять.

Друзья все еще думали, что профессор расшутился, но вот и деньги уплачены в кассу, вот и гармонь уложена

в футляр под оживленное похохатывание друзей. Алексей Петрович, не обращая внимания на смех, понес гармонь к своей «Волге». «Ты сыграй, сыграй, тальяночка, недорого дана...»

Уже первые звуки, когда извлек их, оставшись один на даче, всколыхнули все со дна. Те гулянья, те девчонки, те сверстники, сено в лугу, телеги и лошади, лунные вечера, сладкие волнения, когда появлялась на гулянье Райка Братчикова, само состояние его, Алешки Воронина, свойственное тем временам, показались не только далеким, прошедшим временем, но другой эпохой и как бы даже на другой планете. Но сам-то он был жив и здоров, и показалось теперь, что даже вовсе ни в чем не переменился. Что живет в нем все тот же Алешка Воронин — подросток с тонкой шеей, выглядывающей из великоватой тужурки. Целы и другие внешние приметы: их изба, да и большинство деревенских домов, пруд, плотина, многие люди, даже Райка...

Сладкая мечта вынашивалась теперь Алексеем Петровичем: удивить. Рисовались две основные сцены. Привезти гармонь в деревню, так, чтобы отец, разбирая вещи в машине, не понял, что это гармонь. Незаметно пронести в избу или спрятать в багажнике. Потом, в огороде, например, весело заиграть. Отец выскочит, переполошится, выбегут соседи на улицу: где гармонь? Чья гармонь? Но главное дело — Преображение. Именно зайти с прокошинского прогона, выбрав подходящий момент, когда народу соберется много, а гармони нет еще на гулянье...

Для этого тренировался на даче. Пиликал сначала робко, а потом все бойчее. Если удивлять, то надо и сыграть как следует хоть одну вещь. Надо, чтобы гармонь была как гармонь, на уровне хотя бы среднего деревенского гармониста.

Жена Алексея Петровича, некогда красавица, москвичка Мира Евгеньевна, первой вкусила его музыкального искусства. Но сошлись на том, что новоявленный гармонист будет играть как можно тише, а жена, со своей стороны, проявит снисходительность к «бзику» мужа.

Поездки в деревню каждый раз волновали Алексея Петровича. Он любил свои родные места до мелочей, до запаха крапивы после дождя, до ветлы, наклонившей свой кургузый ствол над прудиком с зеленоватой водой. Хоть и понимал теперь, поездив по белому свету, что бывают места получше. Но все же с детства вошло, притерлось,

соединилось с душой зубчик в зубчик, выемка в выемку, так что при каждой новой встрече происходило полное совпадение и соединение, и не надо было ничего лучшего.

Село Преображенское стоит на холме. Холм одной стороной снижается в огромный зеленый овраг, а другой — более полого и отдаленно — к реке. Потом местность опять поднимается за оврагом и рекой, и там стоит лес. Черемуха около реки, холодные омутки, где все-таки можно окунуться и почувствовать неизъяснимое наслаждение, земляника и рыжики (по времени) в близких лесочках. Полевые и луговые цветы во все стороны, тишина да синее небо. Что еще человеку нужно? К тому же — родная изба, где поползано по печке, по горячим ее кирпичам, сеновал с петухом, горланящим на насесте под самым ухом, сад с красной смородиной, родящей почти виноградной крупнины и тяжести кисти... И то правда, дольше чем на два дня не мог оторваться от московских обязанностей профессор. Этих двух дней как раз хватало, чтобы лишь вкусить и вдохнуть аромат и пожалеть, уезжая, что маловато оказалось времени. И он увозил в Москву желание вернуться сюда опять при первом возможном случае.

Воронин-старший, Петр Павлович, нигде уже не работал по старости и получал пенсию республиканского значения. Он с самого начала колхоза был активистом и постоянно на должностях. К тому же лучики от Золотой Звезды сына невольно обогревали старика, так что пенсия республиканского значения никого тут, в деревне, не удивила.

Остальные дети Петра Павловича тоже все выучились, вышли в люди, народили внучек и внуков, которых привозили на лето, на приволье и молоко.

Одним словом, благополучие жило в этом деревенском доме с палисадником, наполненным золотыми шарами. В дом, где все благополучно, приятно приезжать на побывку, особенно если сознаешь, что в сотворении благополучия есть и твоя немалая доля.

Он приехал на Преображение.

Отец выбежал на крыльцо, мать, Пелагея Ивановна, выбежала за ними — многочисленная родня, сестры, зятья, уже успевшие, как видно, расположиться за праздничным столом (традиция). Всплескивают руками, суетятся, таскают вещи (и пиво) из багажника в избу. Перебивая друг друга, вернее, не слыша друг друга, возбужденно рассказывают каждый свое: зять — колхозный бригадир, сестренка — студентка Плехановского института, мать, отец.

— Я думаю: что-то Ленька мой не едет, обещался, а я уж и пирогов любимых с луком, с яйцами напекла.

— Мы ждем, ждем... По первой выпили, по второй. Спели и «Подмосковные вечера», и «Хотят ли русские войны», и «Я люблю тебя, жизнь»...

— Я говорю им: раньше часу не приедет. Пока с дачи стронется, пока в Москве...

Отец в первые же минуты старался рассказать, какие ловятся караси в пруду, какие пескари на Скворенке, и что грибы высыпали в лесу, и что малина в Крутовском буераке, и будут яблоки, и хороший взяток у пчел. И что село теперь присоединяют к совхозу, и что недавно заезжал секретарь райкома...

— А я как раз вершу вынул. Караси хорошие попались, один к одному. Правда, хоть мелкие карасики, но сладкие. Мать их приготовила со сметаной. Уж и доволен же остался Степан Степанович. О тебе спрашивал. Ты бы съездил к нему в район, поддержал связь...

— Некогда, дед. Если хочет, пусть сюда едет.

— А это у тебя что за сверток в багажнике?

— Не тронь, не тронь! Это не мое. Давай-ка я сам внесу.

— Ну, как знаешь.

Разрушенное приездом «главного» сына застолье быстро опять налаживалось. Тем более что сам стол получил подкрепление в виде постной и сочной ветчины, порезанной еще в столичном магазине, колбасы под названием «сервилат», копченой спинки горбуши, свежих болгарских помидоров. Была и диковинка. Из последней поездки в Венгрию привез баночку испанских оливок, приготовленных оригинальным способом. Косточка хитроумно извлечена, а на ее место внутрь оливки вложен кусочек анчоуса. Все вместе замариновано.

— Нет, вы попробуйте,— настаивал Алексей Петрович,— дед, мама, попробуйте. Из самой Испании.

— Чудят...

— Этошто, э́тошто! Надо же, из каждой ягоды косточку вынуть. А она сладкая, ягода-то? — сомневалась Пелагея Ивановна, поднося оливку ко рту.

— Это же оливка, маслина. Как же она может быть сладкой!

— Что они внутри-то спрятали?

— Это я не скажу. Сами догадайтесь, по вкусу.

— Ой-ой-ой! Ни кисло, ни солоно.

Пелагея Ивановна от неожиданности (неизвестно, чего

она ожидала от заморской ягоды) выплюнула полуразжеванную оливину на ладонь и побежала на кухню.

Но Петр Павлович внимательно покатал оливку по рту, пожевал и в конце концов проглотил.

— Остренькая. Закусывать хорошо. Только мала очень. Одной ягодой не закусишь.

Пробовали и другие под гоготанье и смех. Видно, и другим ягода показалась мала для закуски, потому что через две стопки на третью зять-бригадир залез в банку столовой ложкой, зачерпнул ее с верхом да целой ложкой и закусил. А уж анчоусы там не анчоусы — разбирать некогда.

Воспользовавшись остановкой в питье и еде, профессор вышел в сени, развернул там свой главный сюрприз и решил, лихо заиграв, войти в переднюю избу, к людям. Там в это время громко, но отнюдь не стройно запели. Сразу подобрать мотив и подключиться к песне (это было бы очень эффектно) Алексей Петрович не мог,— значит, надо было ждать, когда пропоют, либо заиграть им наперекор.

«Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба!..» — орали подвыпившие мужчины и женщины за столом. Алексей Петрович решился, подошел к порогу и рванул малиновые мехи. Замысловатый и неясный сперва перебор тотчас вышел на прямую мелодию, и оказалось это — «Златые горы».

Тут могло быть только два варианта. Могли все вскочить от удивления и восторга, оборвав песню, и засыпать вопросами: как, откуда, каким образом?! Могли также (более естественный вариант) сразу сменить, бросить эту «Свадьбу» и подхватить под Алексееву гармонь то, что она диктовала и требовала.

Произошло третье: поющие, нисколько не удивившись самому факту появления гармони в руках Алексея Петровича, приняли его игру как вызов и заорали еще громче (впрочем, и разрозненнее) — кто кого пересилит. В конце концов ни гармонь не перешла на песню, подладившись к ней, ни песня не переключилась на гармонный мотив, а все слилось в невообразимом шуме, а потом рассыпалось на мелкие смешки, возгласы, говор.

Музыкальная стычка прекратилась, но ощущение стычки осталось в душе, по крайней мере у Алексея Петровича. И главное — не спросил никто: откуда гармонь, почему гармонь? Немного обидевшись на такое равнодушие, профессор (тоже ведь стопки три-четыре было уже опрокину-

то) начал потихонечку задираться. Может быть, и не сознательно, но такой нашел стих. Как раз бригадир хвалился чем-то в своем колхозе, не то досрочной прополкой, не то досрочным силосованием.

— Вы лучше оглянулись бы вокруг себя, что с землей-то наделали... — довольно резко оборвал бригадира москвич.

— Что наделали? — недоуменно спросил бригадир. Остальные тоже поглядели на спрашивающего с недоумением, не понимая, что же имел в виду Алексей Петрович, что же они такое наделали с землей?

— А вы не видите? Истерзали всю землю, ободрали, исковеркали.

— Как исковеркали? Мы ее пашем!

— Я о другом говорю. Пойдемте, я вам покажу вашу землю. Да нет уж, пойдемте.

Раззадоренные и, как бы выразился сам профессор, заинтригованные, все пошли из избы, остановились около палисадника.

— Глядите! Кто помнит, каким было наше село? Ты-то, дед, помнишь? Здесь наша сторонка, а вон, напротив, другая. До нее, как видите, далеко. И это пространство было зеленое, чистое. Как стадион. В белых рубашках лежали на траве и не пачкались. Посмотрите теперь...

Посмотрели. Действительно, все пространство между сторонами села было разъезжено тракторами и тяжелыми машинами, так что не осталось тут ни одной травинки, только рытвины, ямы, грязные колеи, вывороченная наизнанку земля. В дождливую погоду машины, очевидно, вязли и буксовали среди села. Из грязи там и сям торчали доски, колья, целые бревна, которые подсовывались под колеса. В нескольких местах валялись в грязи старые автомобильные баллоны, в том числе огромная зубчатая покрышка от колесного трактора. Местами в грязь были набросаны кирпичи и поленья, чтобы по ним перебраться в дождь с одной стороны села на другую. В грязь машины, не надеясь проехать по разжиженной колее, выезжают из нее на сторону и едут рядом, по зеленой траве. Так появляется еще одна колея. Потом и из нее надо выезжать. То же и тракторы. Можно представить, что получается, когда по размытой дождями и схваченной мелкотравным дерном земле проскрежещет, пробуксовывая гусеницами, тяжелый трактор.

Вот и оказалось все село одной сплошной колеей,

а вернее, единым месивом, засохшим теперь, в ведренную погоду, застывшим уродливыми комьями и колдобинами.

— Ну, видите теперь, на что это похоже? Раньше — гулянье в этот день по селу. Как же тут гулять, если просто пройти нельзя?

— Что поделаешь — техника,— начал оправдываться бригадир.

— По-вашему, техника должна портить жизнь? Землю? Почему нельзя устроить за селом стоянку машин? Вокруг села устроить объездную дорогу? Трактористов и шоферов заставить по селу ходить пешком. Они же в село не пахать едут, а обедать, за сигаретами в магазин, путевку отметить в конторе. Неужели они не могут двести шагов пешком пройти? Ведь если на эту грязь каждый день смотреть — заболеть можно.

— Не думает об этом никто,— искренне признался Воронин-старший.

— То-то и оно. Пойдемте, я вам еще покажу.

Алексей Петрович вывел всех за свой огород, за залог, где начинался уже постепенно зеленый, размашистый склон оврага.

— Пейзаж, красота! — воскликнул зять-бригадир.— Какой еловый лесок на той стороне, какие сосны вон, справа!

— Ну и поглядите, что вы сделали с этим пейзажем.

— А что?

— Слепые, что ли? Лес на той стороне видят, а под носом у себя не видят.

Зеленая, ровная, хоть и наклонная, плоскость овражного склона действительно была в трех местах обезображена огромными буграми и ямами. Да и вокруг этих ям земля была ободрана и изрыта. Если бы на теле такие язвы, то была бы это какая-то страшная болезнь, и надо было бы немедленно лечить.

— Это-то? Это прошлогодние картофельные бурты. А левее — траншея, бульдозерами прорыли для силосования грубых кормов.

— Прошлогодние же бурты! Хотя и для них не следовало обдирать хорошо задернованную землю. Но допустим, что не подумали, ободрали. Выбрали картошку после зимы. Неужели не пришло никому в голову заровнять опять это место, загладить, да и засеять сверх того травой. У вас же — техника! Испортили место и бросили. А в этом году где-нибудь в новом месте эти бурты и траншеи заложите?

— Не думает об этом никто,— еще раз подтвердил отец.

— А что это за ссадина наискось по всему склону?

— Тракторы.

— Кто же разрешил им своими гусеницами разрезать овражный склон? Они ведь только раз и прошли тут, чтобы сократить дорогу на полкилометра. Война, что ли, у вас, что лишние полкилометра проехать некогда? А что получается? Нет, вы уж подойдите, поглядите, что получается.

Подошли к гусеничной колее. Современная техника позволяет пройти тяжелым машинам по любой почти местности, не разбирая дороги: овраг так овраг, лесная опушка так лесная опушка, цветочная поляна так цветочная поляна. Вот и здесь, по овражному склону, безжалостно прорезали чудовищную колею гусеничные тракторы Подойдя к колее, увидели, что дождевая вода уже начала размывать ее, промывая глубокую и широкую красноглинистую рытвину.

— Тяжелое ранение земли. И леском там, на другой стороне, между прочим, не хвалитесь. В него же зайти нельзя. Как говорится, черт ногу сломит. Срубленные засохшие деревья, отпиленные верхушки деревьев, сучья, обрубки, пни — все там перепуталось, сохнет, гниет, разводит короедов и дровосеков, мешает расти подлеску. Удручающее впечатление! И все это ведь не в глухой тайге, а в двухстах километрах от Москвы, в километре от колхозной конторы.

— Ты очень уж напустился на нас. Народу в колхозе мало. На полях ничего не успеваем. Рабочие из города выручают, а тебе бы еще и красоту. С красотой погодить можно. Картошка для нас главнее...

— Ну да, как один деятель говорил...

— Ладно,— оборвали его,— пойдем в избу, ты нам лучше сыграй на своей гармони. Гармонь у тебя замечательная.

Все-таки заметили, значит, гармонь. Но странно, играть Алексею Петровичу уже не хотелось. То он обижался, что не обратили внимания, а теперь, когда оказалось, что обратили, но не показали виду, сделалось почему-то еще обиднее. Обошлись словно с маленьким. Он им серьезную проблему ставит, а они — на гармошке поиграй!

Вопрос о заходе со стороны прокошинского прогона отпадал сам собой. Конечно, огромные, многолюдные и пестрые гулянья остались в далеком прошлом, это про-

фессор понимал. Но все же традиции долго еще жили. Люди забыли церковную сущность праздника — какое и чье преображение, но нужен был день в году, когда разъехавшиеся по ближайшим городам и поселкам преображенцы (но даже и из Москвы, как профессор) съезжались в свое село — к родне, не к родне,— и всех можно было увидеть: с кем учились, с кем гуляли мальчишками. Это был как бы съезд землячества. С этим смыслом Преображение существовало еще несколько лет, но и это его существование постепенно заглохло. Так что на этот раз в селе не оказалось не только гулянья, но и хотя бы одной группы девушек, которые прошли бы вдоль села в нарядных платьях.

Оставался клуб. В клубе, наверное, все-таки собирается молодежь. Сначала и туда не хотелось идти Алексею Петровичу, но, пока смотрели по телевизору футбольный матч между двумя «Динамо» — киевским и тбилисским, одновременно потягивая пиво, привезенное в багажнике из Москвы, настроение переменилось, и Алексей Петрович стал звать всех наведаться в клуб.

Все не пошли, отказался в том числе и Воронин-старший, но зять-бригадир и младший брат Алексея Петровича Шурка (впрочем, тоже уже к сорока) согласились.

— Прихвати гармонь,— попросил Алексей Петрович брата, хоть уже и понимал всю нелепость своего московского замысла — вдруг заиграть и всех удивить.

— На кой она?

— Может, сыграет кто-нибудь.

— Кому там играть? Они под музыку пляшут.

— Возьми, тяжело, что ли? Возьми, я тебя прошу.

Шурка нехотя перекинул гармонь через плечо, и охотники до клубного веселья отправились.

В селе Преображенском так называемый клуб находился в бывшем поповом доме. Последовательно в течение многих лет в нем размещались то сельсовет, то правление колхоза, то медпункт, а теперь вот — клуб. Старая планировка дома — одноэтажного, деревянного, но довольно-таки обширного по сельским масштабам — давно утратилась. Она менялась в зависимости от учреждения при помощи фанерных перегородок, оклеенных обоями, но постепенно приняла современный вид: небольшой коридорчик, куда входят с улицы (густо засыпанный окурками), одно сараеобразное помещение и еще маленькая темная комната, где завклубом, приезжая девушка Люба,

держала нехитрый клубный скарб: гитару без струн, домино, шахматную доску (без половины фигур), клей и краски для производства лозунгов, свернутые в трубку готовые болванки для стенгазеты «Колос», четыре десятка книг. Тут же, на отдельном столике, хранился и главный клубный предмет — радиола, здесь Люба ставила пластинки, динамик же, откуда вырываются звуки, был выставлен и нацелен прямо в зал.

В зале висели по всем стенам произведенные Любой лозунги со стрелами от цифры до цифры круто, чуть ли не перпендикулярно вверх. Однако на всех диаграммах были обозначены только два года — текущий и будущий, а прошлых годов не было, так что нельзя было судить о крутизне стрелок в ближайшие прошлые годы.

В обычные дни клуб открывался только вечером, но теперь ради праздника он и днем был открыт.

В помещении клуба (все же сказался праздник) молодежи — битком. Когда наши трое вошли, менялась пластинка, и показалось странным, отчего все эти молодые люди сидят в тесном и душном клубе, а не выйдут на улицу, на вольный воздух. Но тут в уши ударила музыка, голос певца, с нарочитой хрипотцой и как бы давясь почти до рвотной спазмы, заорал из репродуктора, и вся молодежь пришла в движение.

Поездив по заграницам, Алексей Петрович видел несколько раз, что эти самые современные танцы можно, оказывается, танцевать красиво. Но и то даже где-нибудь в мюнхенском дансинге находилось лишь две-три пары из трясущейся массы, на которые хотелось смотреть и даже любоваться. Что же спрашивать с клубной публики в Преображенском? Алексей Петрович поглядел, как неуклюже дергается, вернее, пытается дергаться здоровенный парень с давно не чесанной шевелюрой, и ему сделалось не по себе.

Может, тут бы и развернуть свою гармонь. Но он обжегся уже один раз, когда и в собственном доме за столом не уступили ему. Здесь же это было бы похоже не просто на шутку, но, пожалуй, на хулиганство — заглушать клубную, законную музыку. Добро, если, пересилив джаз, он показал бы настоящую игру на гармони. А то перебить-то перебьешь, а что потом? Вот если на улице, невдалеке от клуба, заиграть... Неужели никто не соблазнится?

Около церковной ограды (где раньше и танцевало

преображенское гулянье) он сел на лавочку. Зять-бригадир и брат, сославшись на какую-то необходимость, отпросились домой.

Не смешно ли, что такой-то человек, почти легендарный для этого села, да и начинающий к тому же седеть, сидит около церковной ограды и наигрывает на простой гармони? А! Кому какое дело! Сижу и играю. Алексей Петрович надел поглубже на плечо гармонный ремень, отстегнул пуговку на узком ремешке, сдерживающем мехи, и, утвердив левую басовую часть инструмента на коленке, правую повел змеей сначала немного вниз, а потом уж и кверху.

Тут вспомнился ему отрывок из стихотворения, услышанного на одном литературном вечере и запавшего в память. Речь шла о том, что на войне русская гармонь попала в руки баварцу. Наверное, осталась в блиндаже или просто в окопе. И вот баварец сидит и играет на «военнопленной» гармони.

Играл баварец ладно, худо ли,
Но не качал он головой,
Не поднимал ее он с удалью,
Не опускал ее с тоской.

Вспомнив стихотворение, Алексей Петрович поймал себя на том, что играет он именно опустив голову, не то с печалью, не то прислушиваясь к ладам. «Хаз-Булат удалой, бедна сакля твоя...» — выговаривала гармонь почти словами все самозабвеннее и, в общем-то, горше. Но никто не вышел из клуба на ее зов.

Очнулся Алексей Петрович от того, что на лавочку рядом с ним кто-то сел. Не переставая играть, гармонист повернул голову и увидел пожилую, очень уже пожилую женщину. Одета она была в выходное, как видно, платье, в синее, мелкими беленькими цветочками, а в сильно загорелых и разработанных (другого слова не подберешь) руках теребила странный для этих рук тонкий батистовый платочек. Глаза у нее синие, но словно бы на одну четверть, а то и больше разбавлены прозрачной чистой водичкой. Волосы гладко зачесаны и на затылке собраны в узел при помощи черных шпилек.

— Ну, сыграй, гармонист, сыграй. Ни разу не слыхала твоей игры. А я, пожалуй, и подпою.

Вдруг она действительно вскочила перед гармонистом и как-то очень естественно, словно тут был круг народу

и весельба и как если бы ее выдернули за руку на круг петь и плясать, пошла, помахивая своим батистовым.

Сколько раз я зарекалась
Под гармошку песни петь.
Как гармошка заиграет,
Разве сердцу утерпеть.

У тальянки медны планки,
Золоты сбориночки,
Я по голосу узнаю
Моего кровиночку.

После этого ударила дробью, и Алексей Петрович увидел, что ноги у нее крупноваты и тоже «разработанные». А на них между тем капрон и довольно-таки модные туфли с широким каблуком.

Ой, подруга, дробью,
Дорогая, дробью,
Кружи ему голову
Горячей любовью.

Под высокое окно
Подставляла лесенки.
Под милашкину гармонь
Подпевала песенки.

Гармонист не заметил сам, как сразу, как только вышла плясунья, оставил своего «Хаз-Булата» и теперь неистово наяривал «Елецкого», и не понять было — то ли женщина подпевала гармони, то ли гармонь подыгрывала ее пению.

Фантастичной показалась бы эта картина стороннему наблюдателю, если бы таковой оказался. Сидит москвич, и не просто москвич, но всем известный Алексей Петрович Воронин, неумело, но до гармонного захлеба рвет мехи, а перед ним пляшет и поет пятидесятилетняя телятница из соседней бригады, Раиса Егоровна Ксенофонтова, а бывшая Братчикова. Одно и оправдание было бы им, что перебрали ради праздничка, но в том-то и дело, что оба были трезвы. Однако было тут как шапкой ударено о землю — и будь что будет.

Милый мой, поверь, поверь,
Я люблю тебя теперь.
Смотри на солнце, на луну,
Поверь, люблю, не обману.

Женщина кончила плясать так же неожиданно, как и начала. Она села рядом с гармонистом, обмахиваясь платочком, и была в этом обмахивании заученность жеста,

оставшегося еще с девичества, потому что на улице было прохладно и вспотеть плясунья, конечно, не успела. Не такие пляски приходилось выдерживать! Она негромко засмеялась и этим смехом все сразу сделала простым и естественным. Подурачился взрослый человек, ну и подурачился, и ничего тут особенного.

— Чай, узнал меня, Алексей Петрович?

— Конечно, узнал. Да и знать не переставал. Разве не помнишь, как позапрошлый год поехали в сельпо в Максимиху, да и застряли около вашего телятника? А ты увидела наше бедствие и пошла в деревню за трактором?

— И то помню.

— Как живете-то?

— Кто? Я лично или мы вообще?

— Вообще я и сам вижу. Неплохо живете. Телевизоров развелось, мотоциклов. Даже магнитофоны.

— Да. И у моего сына мотоцикл. И телевизор у нас в переднем углу. Окно в мир, как пишут в журнале. Включил, и, пожалуйста, тебе — Интервидение. Только разница с окном та, что там видишь, что видно, а здесь глядишь, что покажут. Ну... и на столе тоже — не бедствуем. Яйца и мясо — круглый год.— Женщина замолчала, покосилась на профессора, словно прицениваясь, стоит ли говорить ему золотые слова.— Но, пожалуй, скажу тебе: хорошо живем, а не радостно.

— Что же так?

— А с чего? Радоваться мне, например, с чего? Муж у меня — пьяница. Да и не люблю я его. И не любила, можно сказать, никогда. Выскочила тогда по глупости. А вернее сказать, ради того, что хоть бы за этого. Сколько вон баб без мужиков живут, да помоложе, получше меня...

— Село очень разъездили...

— И село, и вокруг телятника моего — ноги не вытянешь.

Разговаривали, а гармонист пилил и пилил потихонечку. Но тут, вывернувшись из прогона (как раз из того прокошинского прогона, через который мечталось в Москве войти в Преображенское с гармонью и удивить), громко застрекотал мотоцикл. Подпрыгивая на колдобинах и пыля, он наддал по короткой прямой и остановился около Раисы и Алексея Петровича.

— Мать, ты домой-то когда? Садись, подвезу.

— Это мой Слава,— пояснила Раиса.— Вячеслав. Ишь

какой вымахал. Мотоцикл завел, телевизор, теперь магнитофон просит. Какую-то «Соню» ему с кассетами подавай. А за ним в Москву надо. И стоит не триста ли рублей. Почти корова. Шесть овец за одну игрушку отдай! Это что? А ты вырасти их, шесть-то овец...

Вдруг неожиданное решение вспыхнуло в сердце Алексея Петровича. Он быстро снял с плеча гармонный ремень, застегнул пуговки на мехах и протянул гармонь парню.

— На, Слава, бери. Дарю на память.

Парень покраснел, опустил голову, ничего не ответил. Даже матери сделалось неловко за него.

— Что же ты, Слава, бери. Дарят тебе от чистого сердца...

— На кой она мне. Если бы магнитофон. «Сони».— И зачастил, словно прорвало: — За наличные деньги, конечно. Только здесь не достанешь ни фига. «Сони». Японская фирма... Правда, Алексей Петрович! В Москве, говорят, в комиссионных магазинах бывает. Японская марка. «Сони». А деньги маманя вышлет...

...В осенний дождливый день я навестил на даче Алексея Петровича Воронина, моего старого друга и земляка. Пообедали, сыграли три партии в шахматы, я собрался уходить.

— Подожди. Пойдем ко мне в кабинет, чего покажу.

Поднялись по крутой дачной лесенке. Профессорский кабинет. Огромный письменный стол, заваленный учеными книгами и бумагами. Папки, наверное, с диссертациями, присланными на отзыв. Журналы по специальности, газетные вырезки — профессор...

А профессор сел на тахту, и не успел я моргнуть глазом, как у него в руках оказалась гармонь «двадцать пять на двадцать пять».

— Хочешь. поиграю потихонечку? А то жена заругается.

— Господи, да, конечно, хочу. Сто лет не слышал гармони. Но откуда она у тебя, каким образом?

И Алексей Петрович рассказал мне вкратце то, о чем рассказано на предыдущих страницах.

...По подоконнику стучали редкие капли дождя, внизу гремели посудой, а профессор пиликал и пиликал негромко, опустив голову, словно прислушиваясь к ладам. «Ты сыграй, сыграй, тальяночка, недорого дана...»

1975

ПАША

Весной, как только обогреется воздух, а вместе с ним и наш деревенский, закрытый на зиму, промороженный за долгие зимние месяцы дом, мы переезжаем в деревню. Это случается, смотря по погоде, то в середине апреля, то в начале мая. Холодом, пустотой, нежилым духом встречает дом. Воздух в комнатах застоялся, на все осела сероватая липкая пыль. Скорее топим печку, скорее включаем электрические обогреватели, скорее перетираем все, перетрясаем, моем, сушим, проветриваем. А если уже майское тепло, то скорее распахиваем все окна.

Надо еще перетаскать из машины в дом вещи, книги, провиант, надо еще в нетерпении пройтись по саду (по садишку, если выражаться точнее) и увидеть, что волчье лыко, пересаженное мною из леса, уже отцвело, и пожалеть, что не застал его чудесного цветения, когда не весь еще растаял снег, и вот рядом со снегом красуются на кусте яркие цветы, похожие на цветы сирени. Но теперь последние числа апреля, цветы волчьего лыка уже увядают, они потемнели и ссохлись. Что ж... Нельзя захватить в жизни все прекрасное, что-нибудь да приходится пропускать. Впереди цветение вишенья, рябины, одуванчиков, шиповника, ландышей... Все еще впереди. Вот только весен остается меньше и меньше.

То, что около нашего дома появилась машина, видно всем, и, значит, все уже знают, что мы приехали. Но Паши пока не видно. По своей тактичности она не придет, пока мы разбираемся с дороги, трем и моем, суетимся и кружимся. Но наконец все в порядке. Жить можно. Аврал окончен, мы садимся за стол. Теперь можно и даже нужно никуда не спешить, переключившись на более плавное, более естественное для человека течение времени. Сев за стол, я взглядываю в окно и вижу, что в тот же самый момент на улице появляется Паша. Опираясь на суковатую палку и немного волоча одну ногу, обходя весеннюю грязь, она направляется к нашему дому. Раньше было нельзя. Люди с дороги, им некогда. Нехорошо мешать им. А теперь, когда прибрались,— можно. Как Паша узнает этот нужный момент, я не ведаю, но вот мы сели за стол, я наливаю себе рюмку с дороги — и Паша появляется на улице.

Когда я писал «Каплю росы» и рассказывал о жителях нашего села, то не пропустил ни одного олепинского жителя, хотя бы и в грудном возрасте, хотя бы и живущего на

стороне. Как же вышло, что для Паши не нашлось места в «Капле росы»? Не говорю о целой главе, но хотя бы упомянуть, назвать. Мол, существует такая олепинская жительница, Прасковья Павловна. Судьба у нее такая-то, живет в таком-то доме...

Из-за дома главным образом и получился пробел. Я в «Капле росы» обходил дома, а у Паши своего дома нет.

Но вот она сама на пороге, и можно ее теперь разглядеть. Хотел сейчас про нее сказать: «старуха», семидесятилетняя старуха, худощавая старуха, хромая старуха, с морщинистым и смуглым лицом старуха, но чувствую, что «старуха» применительно к Паше не подходит и не звучит. Не то чтобы она выглядела моложе своих лет или слишком энергична и деятельна,— не знаю уж, чем объяснить, но слово «старуха» как-то не подходит для Паши.

А между тем это действительно старая семидесятилетняя женщина, худощавая, со смугловатым, в сеточке мелких морщин, лицом. Свое лицо она носит как-то так, что нижняя его часть выдвинута вперед и приподнята, а затылок откинут назад. Поза Нефертити, сказал бы я, если бы речь шла не о нашей олепинской хромой, никогда и в самые молодые годы не блиставшей красотой и к тому же временами заговаривающейся старухе (упрямое слово встало-таки на свое место!).

Одета она во что бог послал, в ситцевое, темное платье, старинный, с острыми плечиками жакет, поверх платья еще и темный фартук. Но однажды я нарочно пригляделся к Пашиной одежде и увидел, что все на ней стираное, заштопанное, оставляющее впечатление опрятности. И это после зимования в Агашиной избушке. Другой бы вылез оттуда по весне в коросте, пропитанный разными запахами. Поистине, чтобы содержать себя в таком порядке в подобных условиях, нужна либо огромная воля к жизни, либо озаренность идеей, либо уж опрятность и порядочность, ставшие натурой человека. Никаких высоких идей у Паши, конечно, нет,— значит, берем третье.

При разговоре Паша производит впечатление глуховатой. Иногда приходится переспрашивать ее по три раза и кричать. Но это происходит не от дефекта слуха, а оттого, что Паша как соловей или глухарь: когда сама говорит, то ничего постороннего уже не слышит.

Паша одна во всей нашей округе говорит московским говором, на «а», приобретенным в детстве, в дореволюционной еще Москве. Среди поголовно окающих жителей ее

говор выделяется заметно резко. Тем резче и заметнее московское произношение Паши, что человеку, впервые увидевшему и услышавшему ее, наверно, странно встретить чистейшую московскую речь в обстановке Агашиной халупы, в устах безусловной аборигенки. Паша появляется на нашем пороге, стоит, опираясь на палку и обводя всех улыбающимся, теплым, как бы даже удивленным и восторженным взглядом.

— Здравствуй, Паша! — кричим мы ей от стола.

Паша начинает говорить сама по себе, а не в ответ на наши слова:

— Да... Все харашо. Все па-доброму. Розочка. Деточки. Харашо. На улице теперь тёпленько. Да... Скоро грядки капать. Все па-доброму.

— Проходи, Паша, садись. Рюмочку-то налить ли?

— Рюмочку можно. Я люблю винцо, вот ей-богу (слово «богу» она выговаривает через чистое «г» и, когда произносит эту свою присловицу, сама себе обязательно подхихикнет). Тетя Поля умерла, царство небесное. Мы с ней выпивали. Паша, гаварит, схади купи четвертиночку. Мы выпьем, галава меньше балит. Вот ей-богу. Старому челавеку винцо палезно. И тетя Поля любила. Винцо, ано кровь согревает. У старого челавека кровь уж халодная, а рюмочку выпьешь — и харашо. Мы с тетей Полей частенько выпивали, вот ей-богу.

Я наливал Паше рюмку, и Паша долго глядела на нее, держа в руке, улыбалась и пила маленькими глоточками. Ела она очень мало, обломит хлебушек, соблазнится ломтиком московской колбасы, возьмет конфетку.

После рюмки глаза ее делались живее, улыбка еще добрее и умиротвореннее. Перебить или остановить ее рассказ становилось еще труднее. Но все же громкими переспросами удавалось навести ее разговор на ту или иную стезю.

Нужно сказать, что мать ее, Александра, была «жиличкой». Разные существовали в Средней России отхожие промыслы. Уходили в Москву плотничать, извозчиками, половыми в трактиры, женщины иногда шли в «жилички», то есть в прислуги, в кухарки, по-современному — в домработницы. Не знаю, где как, но у нас в селе к жиличкам относились с некоторой долей презрения и смотрели на них свысока, как на людей чем-то неполноценных. Женщина, побывавшая в жиличках, становилась, если возвращалась в деревню, как бы отверженной. Эта отверженность часто

переходила и на детей, поэтому получалось, что если женщина пошла в жилички, то она в некотором роде начинала собой династию жиличек. Дочь шла по ее стопам, а у дочери — дочь, а если сын, то все равно пристраивался в Москве.

В нашем селе зародилась только одна такая династия. В прислугах жила мать Александры, прислугой сделалась и Александра — мать Паши.

— Да... Скоро грядки капать. Земличка сагреется. Начнет расти всякая травка. Все па-доброму, па-харошему.

— Паша, все забываю, как звали того фабриканта, у которого вы с матерью жили?

— Степанида Ивановна винцо не любила. А мне хочется другой раз, вот ей-богу.

— Я говорю, как фабриканта звали?

— Чего? — как бы просыпалась Паша.

— Фабриканта, у которого вы жили?

— Ну и что? Теперь там фабрика Красина.

— Как звали, я говорю.

— Карл Иванович,— отвечала Паша, словно с упреком.— Как это так не знать? Карл Иванович.

— Что ж у него, семья была?

Но вопросов уже не требовалось. Паша, так сказать, выходила на орбиту, и нам оставалось только слушать.

— Карл Иванович был фабрикант. Фабрику содержал. Сам он был англичанин, а фабрику содержал в Москве. Мама жила у него в прислугах, и я с ней. Куда ж мне было деваться? Я была молоденькая, девочка еще, и выделил он нам в своем доме комнатку, вот ей-богу. И Карлу Ивановичу хорошо. Получалось у него две прислуги. Постель убрать, подмести. Это все я могла. Как же так, жить в доме и не делать ничего. Это не полагается. Это нельзя. У людей должно быть все па-доброму, па-харошему. А Карл Иванович хитрый был, вот ей-богу. Стану я подметать у него в спальной, вижу — что такое? — денежка на полу валяется, двадцать копеек. По тем временам двадцать копеек большие деньги. Ну, я положу денежку на комод. Брать нельзя. Как же так, чужую собственность брать, никак нельзя. На другой день опять денежка, а то две денежки, вот ей-богу. Я маме и говорю: денежка валяется на ковре. Мама поглядела и смеется. Это, говорит, Карл Иванович тебя проверяет. А я не брала. Как это можно чужую собственность брать. Никак нельзя, не полагается. Карл Иванович увидит денежку на комоде, тоже смеется. Моло-

дец, говорит, Паша. Вот ей-богу. Дом у него был хорошо обставлен. Цветы, ковры, граммофон, посуда тонкая. Потом Карл Иванович мне говорит: как советуешь, Паша, хочу жениться. Вот ей-богу. Сам смеется. Я говорю: вы мужчина видный, почему же вам не жениться. Тут вскоре и новая барыня появилась. Интересная такая, чистенькая дамочка. Екатерина Михайловна. Белокурая, высокая, глаза строгие. Как посмотрела на меня, я испугалась. Вот ей-богу. Сперва она так приезжала, дом посмотреть. Потом они поженились. Все как полагается. Как у добрых людей. Все па-доброму, па-харошему. Тут Карл Иванович говорит моей маме: Александра, говорит, придется тебе уходить. Я тобой был доволен, но Екатерина Михайловна, молодая хозяйка, хочет новую прислугу иметь. Ну что же, мама ему отвечает, вы хозяин, ваша и воля.

Пока Паша рассказывала, я налил ей еще рюмочку, и она прервалась, чтобы медленно, маленькими глоточками, прижмурившись, вытянуть «винцо» и съесть полломтика колбасы.

— И куда же вы с матерью пошли от Карла Ивановича?

— Строгая дамочка была Екатерина Михайловна. Коробок, коробок понавезла, и в каждой коробке шляпка, вот ей-богу.

— Да вы-то куда пошли, когда он вам расчет дал?

— А как же, полный расчет. Сколько было заработано. Полную цифру. Ты хозяин, мы, понятно, прислуга. А что заработано — отдай.

— Куда же вы пошли от него?

— Как куда?

— Вот я и спрашиваю, куда?

— Он нас к себе на фабрику определил. Выделил комнатку, и стали мы жить. Но тут революция началась. Рабочие с флагами ходят, фабрика остановилась.

— И ты принимала участие в революции?

— Кого?

— Принимала участие в революции?

— А как же? Пришли за мной, говорят, надо слово держать. Народу собралось во дворе фабрики! Все, конечно, рабочие. И тут, как сказать, руководители, ораторы. Выставили меня напоказ, говорят, речь держать. Говорят, пролетарии, эксплуатация, дочь кухарки. Вот ей-богу. А я говорю: вы революцию делайте, а чужую собственность трогать не смейте. Как это так, трогать чужую собственность. Не полагается. Народ смеется, а меня, как сказать, слова

моментально лишили. Да... А у вас все па-доброму, пахарошему, Розочка, деточки. Скоро грядки капать.

— Ну и что, не послушались тебя, лишили собственности Карла Ивановича?

— Карл Иванович! Они в Англию уехали, а мы с мамой — в деревню, потому что, как сказать, началась разруха, продовольствие прекратилось. Мама паглядела-паглядела и говорит: паедем, Паша, в деревню.

Об этом деревенском периоде своей жизни Паша рассказывать не любит, но внешний порядок событий известен каждому, и мне в том числе.

Возвратившись в родное село, мать с дочерью оказались в плачевном положении. Своего дома у них не было. Была, правда, родня — Иван Митрич и тетя Агаша — бездетная, зажиточная, крепенькая, что называется, крестьянская пара. Зажиточность могла произойти именно от бездетности (много ли двоим надо), от скуповатости и от невероятной, прямо-таки лошадиной трудоспособности тети Агаши. Еще и в восемьдесят лет она жала так, что за ней не поспевали молодые жницы. Но тогда, конечно, ей было не восемьдесят лет, тогда она была в цвету и силе. Жиличке с дочерью негде было поселиться, кроме как у родни. Стоит ли говорить, что это жилье могло быть временным.

Подобные вопросы решались тогда на мирских сходках. Не знаю уж, на какие средства: дал ли мир, дала ли церковь, дали ли кто-нибудь из богатых мужиков, но только Александре с дочерью построили маленькую избушку. «Дамо́к» — называет его Паша до сих пор. «Построили нам дамо́к, и стали мы с мамой жить».

Я говорил, что на жиличек в наших местах ложилась печать отверженности. Может быть, поэтому избушку Александре и Паше поставили не в селе, не продолжением какой-нибудь сельской улицы, а на отшибе, в овраге. Избушку почему-то стали звать «келья», а овраг — «келетник». Впрочем, может быть, овраг прозвали гораздо раньше, несколько веков назад, когда село принадлежало еще московскому Новодевичьему монастырю и когда в нем могли, возможно, жить настоящие монашки. В таком случае «дамо́к» для Паши с матерью срубили на месте древних келий, память о которых, возможно, жила в народе. Так и звали бы овраг до сих пор, если бы он не потерял постепенно, по масштабам нынешнего колхоза, своего хозяйственного сенокосного значения. Теперь его не зовут никак.

Этот овраг начинается за селом, за огородами, его

склоны были главным местом наших салазочных и лыжных катаний. Весной по дну оврага бежит бурный ручей: из сельского пруда вытекают излишки воды. Они широко растекаются по лугу в сторону речки. Сначала ручей бурлит в глубокой снежной траншее, местами даже под снегом, а потом снег обрушивается, тает, а вода течет уже по голой земле, по прошлогодней траве.

К июню весь овраг превращается в яркий буйный цветник с желтыми лютиками на дне оврага, где бежала вода, и с малиновыми махровыми гвоздиками по сухим склонам. Ну и ромашки, конечно, и полевая клубника. Лежа среди цветов, можно было за целый день не увидеть здесь никого, кроме пчел и бабочек. Место чистое, тихое, одинокое. Там и поставили миром избушку для Александры с дочерью. Тотчас ли посадили, росла ли раньше, но помню, что перед окнами избушки, всю ее осеняя, распространяла зеленую крону большая ветла. Был еще огородик в четыре грядки, ходили куры. Гераньки на окне, иконы, золотящиеся фольгой в переднем углу. Все чистенько, все, как бы сказала сама теперь Паша, па-доброму, па-харошему.

Избушку поставили, надо полагать, не раньше девятнадцатого года, а я мог ее видеть так, чтобы помнить, пятишестилетним. То есть уже году в двадцать девятом или тридцатом. В это время и Васёнке, Василисе, Пашиной дочке, было столько же лет, потому что мы с нею оказались одного года рождения.

Ветла, о которой я только что упомянул, играет в устном предании о Паше важную роль. Около этой ветлы ее изнасиловали три олепинских парня. Имена их известны. Имя главного насильника известно тоже, так что когда родилась у Паши дочка, Васёнка, как звала ее сама Паша, «Васичка», как звали ее в деревне, то отчество ей было твердо обеспечено: Василиса Петровна. А для Паши — первая и последняя любовь.

Из некоторых фраз самой Паши (из оттенков), а также из олепинских разговоров можно сделать вывод, что после драмы, происшедшей около ветлы, Петр несколько раз опять ходил в овраг, но уже, как говорится, «по-доброму».

Моя память фиксирует события уже в тот момент, когда Васичке, как и мне, лет пять-шесть, мы катаемся с ней на салазках в том самом овраге. Как дикий затравленный зверек, она сначала боялась ко мне подходить, потому что от других деревенских мальчишек не слышала ничего,

кроме дразнения, и ничего не могла ждать от них, кроме больших обид. Я не сознавал тогда, что простым катанием на салазках свершаю большое, доброе дело, разламывая ледяную скорлупу отчуждения и одиночества в другой детской душе. Но помню, что мне было тогда очень хорошо, как бывает хорошо, когда душа прикасается к настоящему человеческому добру.

Овражная горка, где стояла избушка, обтаивала самой первой, и земля прогревалась там раньше, чем где бы то ни было в селе. Помню эту теплую весеннюю землю, кур, греющихся на солнце, а из убранства самой избушки уцелела в памяти только золотая фольга, которой был украшен киот в переднем углу. Из-за этой фольги убогий киот избушки мне казался красивее, да и богаче нашего переднего угла, где могли быть, вероятно, иконы в серебряных, по-настоящему красивых окладах.

Сельские мальчишки дразнили меня Васичкой, и я принимал на себя тогда долю ее отверженности. Но отец с матерью, как помнится, не препятствовали нашим салазкам или собиранию черепков в летнее время.

Момента, когда все там в овраге распалось, не отметилось в моей памяти. Александра умерла, Паша и Васичка уехали в Москву, избушка развалилась, и скоро след ее стерся с лица земли. Осталась одна только ветла, которая все стояла и напоминала о том, что здесь жили люди. Но недавно рухнула и она. На этом месте бульдозером наскребли плотину, желая образовать прудик. Действительно, прудик образовался. Но так как не было взято никаких мер к его поддержанию, то в первую же весну плотину промыло. Вода утекла настолько, чтобы остатки ее уже нельзя было называть прудиком, но не настолько, чтобы не было тут грязной лужи вместо сухого чистого оврага.

О нескольких годах жизни в Москве Паша не может сказать больше трех-четырех фраз. По-видимому, никакой личной жизни у нее не было, а внешне — она работала на каком-то заводике (мыла бутылки), жила в общежитии. Васёнка к началу войны окончила ремесленное училище, осталась в Москве, вышла замуж. Сама Паша во время войны вернулась в деревню.

— Пошли карточки. Заводы подвергались эвакуации. Продовольствие прекратилось. Начали бомбы бросать. Ночью пушки палят. Вот ей-богу.

Однако справедливости ради нужно сказать, что Паша сама о себе многое забывает. В деревню она вернулась вовсе

не в первый год войны, когда Москва была, по существу, осажденным городом и когда ее бомбили, но к исходу войны, потому что потеряла хлебные карточки. Она собиралась перебиться в деревне один месяц, а потом и застряла.

В то же время Иван Митрич и тетя Агаша были хотя и пожилыми людьми, но еще в силе, на своих ногах, и ничья посторонняя помощь им не требовалась. Паша оказалась для них неожиданной гостьей. С этих пор и появилась у Паши одна-единственная мечта, выражаясь по-другому, навязчивая идея — домок.

— Мне бы домок, маленький, вроде баньки, я бы там и жила, никому не мешала. Колхоз обязан мне построить домок. Я живой человек, а домика у меня нету. Где же я должна обитать? Я не зверь лесной. Каждому человеку полагается домок. Когда мы приехали с мамой из Москвы после революции... Карл Иванович, как сказать, уехал к себе в Англию, Екатерина Михайловна тоже с ним, а мы с мамой в деревню. И построили нам домок. Умные люди понимают, что без жилища нельзя. И тварь лесная все равно устраивает себе норки, гнездышки. Все па-доброму, па-харошему. Поросятки содержатся на ферме, овечки и козочки в хлеву. А как же это так, чтобы у живого человека своего домика не было? Пойду к Ворошилову, объясню ему, он человек умный, поймет. Я в Москве работала. Пожалуйста, скажет, Паша, тебе жилье. А как же так, без жилья.

— Почему же ты в колхозе не захотела работать? Кажется, тебя Дмитрий Кузьмич, когда был председателем, звал на работу. Если б ты работала все эти годы в колхозе,— глядишь, колхоз устроил бы тебе жилье.

— Ворошилов мне сразу скажет: ты, Паша, человек трудящийся...

— Почему в колхоз-то не пошла работать?

— Колхоз?

— Ну да.

— Что колхоз?

— Я говорю, почему работать в колхоз не пошла?

— Я бы пошла. Меня Дмитрий Кузьмич приглашал.

— Ну и что?

— Я говорю: назначьте мне цифру. А они этого не могут назначить. Работай, Паша, за трудодни. Я сначала работала. Месяц прошел. Я прихожу, как сказать, в контору: давайте мне цифру. Я человек трудящийся, мне полагается цифра. А какие такие трудодни...

Так-то вот еще в первые послевоенные годы произошел у Паши с колхозом конфликт. Жить ей было, по существу, негде, и ее приютила моя мать, Степанида Ивановна. Тут не было чистого благотворительства. Степанида Ивановна входила в преклонный возраст. Все ее дети разбросались по другим городам, сыновья в армии, у дочерей свои семьи. Возраст был вот именно переходный, когда Степанида Ивановна еще не хотела трогаться с места, покидать дом, в котором прожита жизнь, но и одной управляться стало уже трудно. Жизнь у них шла по принципу, который шутя определяла сама Степанида Ивановна: «Кот не может жить без деда, дед пропал бы без кота». Главная обязанность Паши состояла в хождении на колодец, потому что Степанида Ивановна все домашние хлопоты передоверить ей не могла, а за водой была уже не ходок.

Сосуществование двух старых женщин продолжалось несколько лет. Мирные дни перемежались у них неизбежными конфликтами. У жителей нашего села сложилось определенное мнение, что Паша просто-напросто лентяйка и таковой прожила всю жизнь. Но все же, наблюдая Пашу рядом со Степанидой Ивановной (во время каникул, скажем), я не мог бы назвать ее лентяйкой. Она, как говорится,— кошка, ходящая сама по себе. Паша, ходящая сама по себе. Пожалуй, это вернее всего определяет главную особенность Пашиного характера. Она и в сад пойдет, приведет в порядок малину, то есть обломает старые, сухие и привяжет к колышкам молодые побеги. Она и дров в избу внесет. Она, вероятно, и постирает. Но все это она должна делать по собственному желанию. Заставлять же ее делать то или это — бесполезно. Может быть, она и сделает то же самое, но позже и как бы самостоятельно, а не в тот момент, когда ее просят. Из-за этого, вероятно, и случались у них со Степанидой Ивановной конфликты.

Они прожили годы, но дом наш приходил в крайнюю ветхость, никакие подпорки и затычки уже не помогали, жить в нем сделалось невозможно, и Степанида Ивановна решилась наконец покинуть родные стены и переехать в Москву.

Проблема домика опять выросла перед Пашей. Возможностей было две. Попроситься к дочери, к Васёнке, качать внуков или попроситься к олепинским родственникам. Но Васёнка все обещала прислать письмо с вызовом в Москву, которое Паша ждет и до сих пор. Одно обстоятельство смягчило к этому времени ее судьбу и сделало Ивана Мит-

рича и тетю Агашу более терпимыми к своей незадачливой родственнице. Паша стала получать пенсию — двадцать два рубля в месяц. Ее московских справок о мытье бутылок не хватило бы и на половину пенсионного стажа, но Степанида Ивановна тоже дала ей свою справку, в которую вписала столько лет, сколько требовалось.

Невелики деньги — двадцать два рубля, но все же подспорье, все же не в чистом виде лишний рот, особенно если учесть, что сами старики, будучи колхозниками, пенсии тогда еще не получали, и наличные деньги, пусть и небольшие, в хозяйстве помешать не могли.

Паша оказалась под крышей, но в досадной зависимости. В руках — чистые деньги, но нужно каждый раз их отдавать чужим людям.

Я не знаю наверное, требовали ли старики у Паши пенсию или обогревали и кормили просто так. Но, вероятно, все-таки требовали, потому что тоска Паши по собственному домику не прекращалась, не утихала. Так, когда мы отремонтировали свой дом, она очень просила, чтобы зиму мы разрешили ей в нем пожить. Но дом после перестройки оказался пригодным только для летнего обитания.

...Выпив рюмочку маленькими глоточками в течение многих минут, она заводила свою песню:

— Да... Все па-доброму, па-харошему, Розочка, деточки. А я своей Васёнке говорю: взяла бы ты меня, ейбогу. Говорит, я письмо пришлю. Вот уж столько лет жду-пожду, а письмеца нет. Да. Это неправильно. Как это родной матери письмеца не послать. Это не полагается. Родителей почитать надо. И мать живой человек. Я вот к Ворошилову пойду. Он разберется, кто прав, и скажет: возьми, Паша, себе домик, как ты есть человек трудящийся...

— Да ведь Ворошилов давно умер!

— Он посмотрит и скажет, как это так, чтоб живой человек остался без помещения. Это не полагается.

— Я говорю, умер давно.

— А если зима, мороз да метель, куда же деваться живому человеку. А я говорю, у вас домик в саду, отдали бы его мне.

— Пожалуй, возьми, да жить-то в нем невозможно.

— Я бы там и жила. Уйду в магазин, на дом замочек повешу. Поставлю коечку.

— Жить-то в нем нельзя. Он продувной, без фундамента, без чердака. Только для лета годится.

— Попросила бы Юру Патрикеева, он бы мне печечку там поставил.

— Это все равно что на улице печку топить.

— На окошечко занавесочку бы повесила. Вот ей-богу.

Дом, в котором жила теперь Паша у своих родственников, тоже был не дворец. Надо сказать, что дома в нашем селе исправные, крепкие. Вовремя кроются, вовремя красятся, суриком или в зеленую краску. Наличники покрашены особо, палисадники особо. Один только дом Ивана Митрича и тети Агаши выглядит завалюхой. Осел на один угол, врос в землю почти до окон, железо на крыше заржавело.

Видимо, старики решили, что на их век этого дома хватит, что смерть к ним придет прежде, чем дом окончательно обрушится или повалится набок. И то правда — простой ремонт не мог бы исправить дело. А перебирать капитально... Именно про такие дома говорят: пока стоит, а как тронешь — и гнилушек не соберешь. Пришлось бы им строить фактически новый дом. А зачем им новый дом, когда обоим за восемьдесят? Так что решение стариков доживать в покосившейся избушке нужно считать правильным.

Первым убрался Иван Митрич (при желании смотри мой рассказ «Поминки»), тетя Агаша осталась одна, и Паша сделалась ей даже необходима. Лучшую жницу и запевалу перегнуло в пояснице под прямым углом, зубы все выпали, отчего губы ввалились внутрь рта, и нос и подбородок, в свою очередь, сошлись почти до прикосновения. Казалось, не перезимовать тете Агаше наступающей зимы, но приходила весна, пригревало солнышко, и на обогретое крыльцо выползала обитательница избушки. Остановишься около нее, поздороваешься, заговоришь — а она все одно и то же причитает:

— Я уж молюсь, молюсь: господи, да скоро ли ты мне смерть пошлешь! Ну, что я живу, зачем? Молодые вон умирают — жалко. Мишан Балдов умер, Ванюшка Патрикеев, Николай Жильцов. Молодые все мужики. Им бы жить. У них семьи, жены и дети. А я что? Гнилушка, прости господи. Ни тепла от меня, ни света, чад один. А все никак не дотлею.

Удивительнее всего, что тлеющего тепла хватало еще, чтобы тетя Агаша дотащилась до поленницы и там с Пашей на пару водила пилой по бревну (оно и удобно, все равно сгибаться во время пилки) и в конце концов распиливала

бревно на дрова. А колола Паша. Тоже колольщица-то... Поднимает колун в замахе, а ее и покачнет под тяжестью колуна.

Одиночество все больше окружало Пашу. Умерла Степанида Ивановна, которая, пока жива была, приезжала в Олепино на пять-шесть теплых месяцев, и было Паше к кому прийти, с кем поговорить. Умерла тетя Поля, главная Пашина собеседница за потягиванием из рюмочки «винца», то есть той дряни, которая иногда появляется в магазинах под названием то вермута, то хереса, то портвейна. Впрочем, тетя Поля не пренебрегала и белым винцом, в отличие от своей компаньонки, не подымавшейся выше тридцатиградусной перцовки.

— Перцовочка очень хороша, очень пользительна, потому что в ней — вещества. Согревают внутренности. Вот ей-богу. А тетя Поля ругается: что, говорит, ты, Паша, опять этот верму́т или housand херéс принесла. Принесла бы ты, Паша, беленькой. А оно, беленькое-то, крепкое, сразу в голову ударяет. А в перцовочке — вещества.

Умерла тетя Поля, и лишилась Паша своей главной подруги и компаньонки. Умерла и тетя Агаша. Ну вот, наконец-то исполнилась, казалось бы, Пашина мечта о своем домике. Осталась она в Агашиной избуше одна. Но, во-первых, по завещанию все имущество тети Агаши отошло соседям Тореевым, которые за это обязаны были взять на себя хлопоты по похоронам тети Агаши, что и было исполнено. Тореевым избушка не нужна, разве что на дрова. По всей вероятности, они позволят дожить Паше в этой избушке до конца дней. Но опять и снова — позволят. То есть опять не совсем свое, спокойное, но висящее на волоске и готовое уплыть из рук. Во-вторых, избушка эта досталась Паше в таком состоянии, что каждое утро олепинцы, тот же сосед Тореев, могут найти Пашу на печке, придавленной потолком и крышей, потому что на чем там все держится — известно одному богу. Приходила как будто комиссия от колхоза, осмотрела избушку и заключила, что для жизни она непригодна. Но можно понять и колхоз: в самом деле, не строить же для Паши новый дом, как если бы для колхозного бригадира или для нового председателя.

Есть один очень хороший выход и для Паши, и для колхоза. Я однажды завел с Пашей разговор об этом.

— Говорят, избушка у тебя совсем падает?

— А перцовочка, она полезна для старого человека, потому — в ней вещества. Бывало, мы с тетей Полей...

— Я говорю, избушка плоха у тебя.

— А Степанида Ивановна ни-ни. Совсем не любила винцо. И меня ругала.

— Я говорю, избушка-то...

— Ну и что?

— Плоха, говорят.

— Скоро упадет. Придавит меня на печке. Вот ей-богу.

— Хочешь, я поговорю в области, и тебя сразу возьмут в дом престарелых. Будешь на всем готовом. Тепло, чисто.

— Ну?

— Что ну? Давай согласие, я поеду в область.

— А пенсия?

— На всем готовом там будешь. Зачем же пенсия?

— А как же? Мне, можно сказать, государство навстречу пошло. Ты, говорит, Паша, трудилась, получай свою цифру. А если я в магазин захочу сходить? Бывает, селедочки привезут. Или вон колбасу давали. Вот ей-богу. Захочется посолиться селедочкой, и пойду в магазин. Белое винцо очень крепкое, сразу в голову ударяет, а если красное или перцовочка...

— В общем, ты подумай.

— Иван Митрич тоже не любил винцо. А тетя Агаша любила. Бывало, говорит: Паша, ты пенсию сегодня получила. Сходила бы, принесла четвертиночку. Я схожу, мы и выпьем. Огурчиком соленым закусим. А если, как сказать, в дом престарелых, там уже все будет по расписанию. Завтрак по расписанию. Обед по расписанию. Мне Дмитрий Кузьмич тогда говорил: иди, Паша, к нам в колхоз...

— Что же, ты решительно отказываешься от дома престарелых?

— Я ему говорю: я человек трудящийся. Ты мне скажи, что сделать, и назначь цифру. Может, я раньше других выйду, может, позже. Как это так без цифры. Не полагается. А если по расписанию на обед ходить, как сказать, по сигналу, то мы не согласны... А у вас все па-харошему, па-доброму. На будущий год, наверно, опять приедете?

— Приедем, если живы будем. Так, значит, не ездить мне насчет дома престарелых?

— А я опять приду к вам, погляжу. Все па-доброму, па-харошему.

1975

ТРОСТЬ

Было время, когда Алексей, повинуясь какому-то внутреннему капризу, очередному влечению, накатившему на него, носил трости.

Было время, когда все мужчины ходили с тростями, но люди, родившиеся чуть позже, начиная с двадцатых годов, этого, конечно, не помнят. Читают об этом, видят на старых фотографиях, в кинофильмах, воспроизводящих старые времена. Они знаю из книг, что Бальзак «...заказывает трость, толстую, как дубина, усеивает ее бирюзой и распространяет о ней самые нелепые слухи: например, что в набалдашник ее вделан портрет великосветской дамы, его возлюбленной, изображенной в костюме Евы. Когда он с этой палицей Геркулеса, которая влетела ему в семьсот франков, входит в ложу в Итальянской опере, вся публика смотрит на него как зачарованная, а мадам де Жирарден вдохновляется идеей создать роман под названием «Трость господина Бальзака».

Они знают из многочисленных свидетельств, что Пушкин носит десятифунтовую трость (четыре килограмма) для того, чтобы развивать крепость в правой руке. Эта крепость ему нужна была для меткой стрельбы из пистолета. По другим свидетельствам, трость Пушкина весила двадцать фунтов.

Они помнят из прекрасного романа трость с набалдашником в виде головы черного пуделя, которую изящно носит (часто под мышкой) явившийся на Патриарших прудах великий мессир.

Но не только оригиналы, вот именно все в прошлые времена носили трости, исключая военных, разумеется, да рабочий, мастеровой люд. Но и то можно представить, как заводской мастер, машинист паровоза, столяр-краснодеревщик, тульский оружейник или московский чеканщик по серебру, кончив работу и переодевшись, выходит на улицу с тростью. Это было так же естественно, как то, что мы все по мере возможности носим галстуки.

Был обычай, были, значит, и трости, сейчас трудно и вообразить все их разнообразие, всю их разнообразную красоту. Из черного и розового дерева, с набалдашниками из слоновой кости, из серебра, из серебра с эмалью, из хрусталя, из янтаря, из кораллов, из малахита, из яшмы... Набалдашники в виде собачьих голов, женских торсов, шаров, змей, набалдашники прямые и загнутые клюшка-

ми, набалдашники с монограммами, вензелями, художественной резьбой, на любой вкус и за любую цену. Трости были обыкновенны, бесчисленны, но не стандартны и колебались в своем разнообразии от дешевых поделок до подлинных произведений искусства.

Все условно. Этот обычай мог бы и вернуться, и мы не увидели бы ничего странного в мужчинах, играющих на ходу тростью, или зажимающих трость под мышку, если надо освободить руку, или вешающих трость на левую руку, если набалдашник загнут.

Во всяком случае, когда Алексею плеснуло в голову и он стал носить трость, то, как помнится, никого это особенно не удивило. Только спрашивали друзья, не заболела ли у него нога, да еще люди старались иногда уступить место в метро или троллейбусе, так что приходилось упорно отказываться, убеждать, что он вовсе не инвалид.

Но где взять в наше время трость? Там же, где и любую старинную вещь, в антикварном магазине. Когда пришла фантазия и когда внимание Алексея нацелилось на этот предмет, то в первое же посещение антикварного магазина он обнаружил в углу три старинные трости с разными набалдашниками. Сколько лет жил на свете, сколько раз (как в своеобразный музей) заходил в магазин со стариной, но никогда глаз не задерживался на тростях. Теперь же странным показалось, как можно было зайти в магазин и не увидеть в углу старинные трости!

Первая трость, которая у него появилась, была проста и удобна. Костяная ручка ее легко и изящно изгибалась под прямым углом. Некоторое время он ходил с этой тростью, пока не увидел другую, более тяжелую и эффектную. Ее набалдашник представлял собой довольно объемистый шар с вырезанными на его поверхности семью черепахами. Потом он уж сосчитал, что их семь. Сначала казалось, что шар усеян множеством друг за дружку зацепившихся, образующих резной орнамент черепах. Их даже было нелегко сосчитать, несмотря на немногочисленность. Сосчитанные приходилось загораживать пальцами, чтобы считать остальные. Без этого приема они все путались, переходили одна в другую по мере поворачивания шара, а потому-то и производили впечатление множества. Продавщица уверяла Алексея, что эта старинная японская работа.

Больше других Алексей любил трость с набалдашником (из слоновой же кости) в виде лапы орла, держащей в своих когтях гладкий костяной шар. Один коготок, правда,

был утрачен, скололся когда-нибудь при падении трости, но место это удачно зашлифовали, руку это место не раздражало и общего вида набалдашника не портило.

С этой тростью он однажды приехал в Ленинград. И был приглашен в дом одинокой молодой и красивой женщины, где должны были собраться поэты, артисты, журналисты, художники. Пришли человек пятнадцать, и все мужчины, так что хозяйка блистала и светила всем одна без соперниц. Впрочем, при ее обаянии далеко не каждая женщина помешала бы ей блистать и светить.

Ведение стола Любовь Владимировна взяла в свои руки. Никакого тамады не понадобилось. Она расшевелила всех, заставляла кого читать стихи, кого петь под гитару, кого произносить тосты. При всем том бутылки пустели, все начали понемножку хмелеть, в том числе и хозяйка. Не исключено, что она делала вид, будто хмелеет, а на самом деле пила осторожно и осмотрительно — единственная женщина, к которой тянулось вольно или невольно пятнадцать пар вольно или невольно пристрастных глаз. Но, как осторожно ни пей, как ни отпивай только верхний глоточек из бокала, все же за вечер наберется, и Любовь Владимировна оказалась тоже под легким хмельком, когда лицо горит, глаза блестят возбужденнее, чем обычно, слова сами складываются в интересные, остроумные фразы и вообще жизнь прекрасна!

Для Алексея это была не первая встреча с Любовью Владимировной. Впервые он встретился с ней около года тому назад за каким-то общим столом после какого-то поэтического вечера. Она, приглашенная кем-то на этот вечер (а потом и за стол), оказалось, как говорили раньше, его vis-a-vis. Тоже чокались, и говорили, и читали стихи, и протянулась, между прочим, невидимая ниточка, легла некая маленькая сладостная тайна после перехваченных, а потом и откровенно задержавшихся друг на друге взглядов.

Этому «визуальному блуду», как выражается один знакомый Алексея, подвержено гораздо больше людей, чем можно было бы думать. Если банкет и вообще большое застолье, то какие бы верные пары ни собрались, все равно поверх салатов с майонезом, соленых помидоров и бараньей запеченной ноги на протяжении вечера возникнет несколько маленьких «визуальных» романов, которые, конечно, так и остаются в той же, в общем-то, безобидной застольной стадии.

Но все же несколько дней еще не выветривается из ду-

ши сладковатое воспоминание, светлинка, золотая блестка в сером и бездушном песке.

Второй раз он встретился с Любовью Владимировной случайно на Невском и проводил ее от Книжной лавки писателей до улицы Герцена.

Он не мог сказать, что возникшее между ними «поле взаимного тяготения» усилилось во время этой прогулки. Напротив, Любовь Владимировна смотрела на него спокойными серыми глазами, в которых только иногда, на неуловимое мгновение, проскальзывал солнечный зайчик, словно срабатывала шторка фотокамеры с выдержкой в сотую или двухсотую долю секунды. С той разницей, что шторка открывается, дабы пропустить внешний свет внутрь камеры, а здесь спокойствие глаз нарушалось, дабы обдать Алексея внутренним, в глубине души горящим огнем.

Тем не менее Любовь Владимировна сказала, когда прощались, свой телефон и разрешила звонить, если судьба снова приведет Алексея в Ленинград.

Как видим, ничего не произошло, не случилось. Но в мелькании дней, недель, в мелькании дел, разговоров с людьми, поездок, прочитанных книг жило в Алексее все время ощущение возможности позвонить и встретиться.

Однако получилось так, что первой позвонила она, оказавшись в Москве в однодневной командировке. Попросила, чтобы Алексей свозил ее в Коломенское. После экскурсии пообедали у нее в гостиничном ресторане, и, когда зашли на пять минут в номер, разыгралась безмолвная выразительная сценка. Ведь до «Стрелы» оставалось еще часов пять. Она сказала ни с того ни с сего, но так впопад, что оба они рассмеялись:

— Нет. Приезжай в Ленинград. А сейчас у меня еще кое-какие дела, да и вообще... не люблю комкать.

В Ленинграде (месяцев через пять) он получил разрешение прийти к ней в гости и помчался, нагрузившись пакетами в «елисеевском» магазине. Но за день (а он позвонил ей утром) многое изменилось. Ее пригласили в гости, причем не идти она не могла. Правда, было предложено Алексею сопровождать ее, тем более что «много будет общих знакомых». В гости они пришли вместе, и это само по себе объединяло и сближало их. Алексею было приятно и немножко гордо, что вот они пришли вместе, словно влюбленная пара, как близкие люди, как друзья. Один поднабравшийся к концу вечера поэт даже принялся, горячась

(и, надо полагать, ревнуя), наскакивать на него и кричал в тоне ссоры:

— Думаешь, мы не видим, что ты который раз в Ленинград к Любке приезжаешь?

— Во-первых, я никакой Любки не знаю,— ответил Алексей.— Что же касается Любови Владимировны, то я был бы счастлив приезжать к ней. Но, увы, до сих пор, уж вы поверьте, я приезжал просто в Ленинград по разным делам.

Любовь Владимировна слышала перепалку, настроение было перебито, и Алексей понял (единственно по холодному излучению), что приглашение на сегодня отменяется. Да и время было за полночь. Все устали, все разъехались по домам.

Так он жил с ощущением, что можно позвонить и прийти к Любови Владимировне и что когда-нибудь это все исполнится. Но в Ленинград попадаешь не каждый день, а чтобы бросить все и мчаться очертя голову только к ней, к одной к ней... Ну что же, такого состояния у него, прямо скажем, пока что не было.

Но вот однажды затосковалось. Захлестнуло и повлекло. Словно передалось что-то телепатически. Что же могло передаться, кроме встречного желания увидеться? Неожиданно, не имея билета, Алексей ринулся на вокзал, за час до отхода поезда получил место в вагоне, а когда проснулся, то мимо окон проплывали уж серые, насупившиеся в темноватом ноябрьском утре дома Ленинграда.

— Ах, как мне хотелось, чтобы вы приехали! — выдохнула Любовь Владимировна в трубку.— Хотелось, хотелось. И вот вы здесь. Прекрасно совпало. Приходите сегодня же. У меня соберутся гости. Интересные люди... Но вы не на один день? — В голосе ее Алексей услышал испуг.— До понедельника я беру вас в плен. Три дня. Не отказывайтесь.

Так-то вот он оказался в гостях у Любови Владимировны. Когда познакомились, Алексей не носил еще трости, а потом стал носить. На этот раз он взял с собой любимую трость с набалдашником в виде орлиной лапы, сжимающей в когтях костяной шар. В маленькой прихожей, уже завешанной демисезонами, хозяйка, вышедшая из шумной столовой его встретить, не обратила внимания на трость, и он скромно поставил ее в угол.

Ярко освещенная комната, где стоял стол, гомонила многими одновременными голосами, звякала ножами и

вилками. После промозглого, особенной въедливости ленинградского ноябрьского ветра, после противной стужи на грани между дождем и мокрым снегом (а он назябся на стоянке такси, проторчав там около сорока минут) теплая квартира, да еще с едой на столе, да еще с рюмкой коньяка, показалась Алексею раем, из которого и не выходить бы на мерзкий холод.

Тут он вспомнил, что, может быть, и не придется выходить (до понедельника обещали держать в плену), вспомнив, представил себе, как еще уютнее будет в квартире, когда все разойдутся, со стола будет убрано, гомон прекратится, словно выключат магнитофон с дурной и неинтересной записью вечеринки, верхний свет погаснет... Пусть тогда будет над Невой ночной ветер, пусть хлюпает о набережные тяжелая, черная, в отблесках простуженных фонарей вода.

В руках у Алексея оказалась полновесная рюмка, которую он с передрогу с наслаждением выпил.

Как было уже сказано, ведение стола Любовь Владимировна взяла в свои руки, она заставляла кого читать стихи, кого петь под гитару, кого произносить тосты. Читал и Алексей тоже, причем накал был высоким до звона, голос гремел полнокровно и распоряжался он им без излишнего напряжения, легко, свободно, непринужденно, с сознанием силы и производя впечатление.

Поскольку все уж было условлено, Любовь Владимировна нарочито как бы не обращала на него внимания. Она старалась смотреть на других, улыбалась другим, шутила с другими. Но и самый мимолетный ее взгляд успевал сказать ему: «Ты же знаешь, скоро они уйдут. Им, а не тебе уходить на ноябрьский холод».

И действительно, как-то все сразу, дружно поднялись, начали собираться.

— Проводим их,— шепнула Алексею хозяйка, которая словно еще расцвела за этот вечер и стала необыкновенно хороша. «Господи,— думал он,— неужели все так и будет? И очень скоро...»

Шумной ватагой они прошли по пустынным улицам, по Охтинскому мосту через Неву, ибо на том берегу удобнее было сесть в троллейбус. О такси в такую ночь нельзя было и помышлять.

С Алексеем никто даже и не прощался, думали, наверно, что и он сядет в троллейбус. А когда дверцы закрылись и троллейбус пошел, поздно уж было им соображать: как

же это так вышло, что он остался один с хозяйкой? Но, в конце концов, надо же было кому-нибудь и проводить ее обратно домой, не в одиночестве же идти ей в первом часу через широченную, продуваемую во всех направлениях Неву?

Она взяла Алексея под левую руку, а правой он играл своей старинной, своей антикварной тростью с резным костяным набалдашником в виде орлиной лапы, сжимающей в когтях костяной шар. Он играл тростью теми классическими щеголеватыми движениями, какими играли тростью миллионы мужчин на протяжении веков: вскинуть ее вверх острым концом, опустить на землю, а когда она отстанет на один шаг, опять вскинуть вверх.

Так, наверно, они и дошли бы до тепла, если бы не этот проклятый ветер. Женщина решила взять спутника под руку с другой стороны, чтобы немного загородиться им от ветра, и, значит, трость ему пришлось перехватить в левую руку. Он так и сделал, и теперь только Любовь Владимировна заметила его трость.

— Что это у тебя? Ты что, хромаешь?

— Да нет. Просто трость.

— Пижонство?

— Красивый мужской предмет. Носили же на протяжении веков...

— Наверно, и дорогая?

— Не то чтобы... Но конечно. Черное дерево, слоновая кость, работа...

— Выбрось ее в Неву.

Через два шага женщина остановилась, видя, что мужчина никак не отозвался на ее приказание, и повторила внятно, четко и громко:

— Выбрось ее в Неву!

— Что за фантазия, право...

— Мы не сдвинемся с этого места, пока ты не бросишь ее в Неву. Вернее, мы пойдем в разные стороны — я домой, а вы на троллейбус.

— Это каприз, любезная Любовь Владимировна.

— Хорошо, пусть каприз. Женщина имеет право на каприз. Неужели три дня, которые тебя ждут, не стоят маленького каприза? В конце концов, я ведь не требую, чтобы ты сам прыгнул в Неву.

Они действительно остановились посередине моста, и мужчина понял, что ему дано всего лишь несколько секунд на решение. Эти секунды прошли, и он опять было попробовал идти. Не тут-то было!

Нет, нет. Если не сделаешь, только в разные стороны. Боже мой, где самоотверженность, где рыцарство, где широта, где величие духа? Где юноша, прыгающий за кубком в бурлящее море? Где мужчины, летящие на турнирах с пикой наперевес и рискующие жизнью — жизнью! — ради одного только поцелуя, да что поцелуя, ради одного только ласкового взгляда избранницы своего сердца?..

В голосе Любови Владимировны слышались уже не приказывающие, а уговаривающие и даже просящие нотки. Видимо, и ей было жалко разрушить предстоящее из-за пустяка, но и отступить она не могла уже в силу характера. В ее голосе он слышал за словами, какими бы они ни были: «Ну уступи, ну что тебе стоит? Ну, я такая. Сказала по глупости, а теперь не могу. Такой характер. А ты мужчина. Никогда не унизительно и не обидно уступить женщине. Ну, пожалуйста...»

Слова между тем были совсем иными:

— Боже мой! До чего дошло дело. Не имение, не дом, не детей, не жизнь — жалкую палку мужчина жалеет бросить в реку, хотя об этом его просит женщина!

Непонятное упрямство овладело и Алексеем. Но, может быть, упрямство все-таки и было на втором месте. На первом же — ему и правда было примитивно и вульгарно жалко свою любимую трость. Не потому жалко, что она стоила денег (если бы надо было выбросить бумажные деньги, он бы не колебался), но потому, что это была красивая, редкостная вещь, старинной работы, возможно, одна такая на целом свете. И вообще жалко, и вообще что за каприз! Если потакать каждому мелкому капризу... Что, в самом деле, у него тоже характер. Взбалмошная женщина требует бессмысленной жертвы, и он должен идти у нее на поводу...

— Ну, решайся. Холодно стоять здесь на ветру. Да или нет? Идешь со мной или поворачиваешь обратно?

— Но хотя бы проводить тебя... Нельзя же бросить здесь одну в такой час. Позвольте вас проводить...

— Не позволю. Да или нет?

Алексей резко повернулся и быстро зашагал назад, к троллейбусной остановке.

Наказание пришло незамедлительно. Постояв на троллейбусной остановке и поколебавшись, Алексей бросился опять через весь мост догонять Любовь Владимировну. Ее

уже нигде не было. Идти к ней домой он не посмел. Пока пытался поймать такси, развели мост. Таксист повез его отдаленными, окружными путями, надеясь, что окажутся неразведенными основные мосты. Но и они оказались разведенными. Тогда он заплатил таксисту, тот выключил мотор, и они решили в машине дожидаться утра, пока мосты не сведут и Алексей не сможет попасть в гостиницу. Такая ему выдалась ночь вместо той, которая предстояла.

Но трость была у него в руках. Раздражение на женский каприз было свежо, оно перешло даже в злость, и он жалел вовсе не о том, что находился сейчас не в ее квартире, а о том, что не находится в своей гостинице.

«Всему есть предел,— говорил он себе,— старинную, антикварную вещь — в Неву! Слуга покорный. А она просто злюка. Ну и черт с ней. Скорее бы только свели мосты. В гостиницу, в гостиницу, и выспаться в теплой сухой постели. А завтра самолетом в Москву. И никаких больше звонков, никаких встреч. У меня тоже характер...»

Прошло уже немало лет, когда за диваном, за книгами, сваленными под диван, во время поисков одной понадобившейся ему вдруг книжонки Алексей обнаружил предмет, о существовании которого не вспоминал, по крайней мере, последние три-четыре года,— прекрасную, из черного дерева трость с костяным набалдашником.

Он давно уже перестал носить трости. Одну из них расколол, нечаянно уронив, другую у него украли, третью он забыл в поезде. Но не потому он перестал с ними ходить, что утратились лучшие трости, а потому, что как-то сама собой прошла полоса, пропала охота. Трость, между прочим, ко многому обязывает в одежде, в обуви, в жестах, в осанке, в собранности, в поведении, в общем, если хотите, тонусе. Ну а жизнь Алексея несколько развихлялась. Стало уже не до трости. Он совсем и забыл о том, что одна из прежнего набора, к тому же самая любимая им, цела.

Теперь он нашел ее, запыленную и забытую. Какой праздный, какой ненужный предмет! Если бы можно было сейчас ее променять на... если бы можно было променять сто тростей, все, какие только имеются в мире, трости, все эти бездушные, жалкие предметы... Но кто скажет, где теперь та вода, которая текла тогда под мостом, под ними, стоящими на мосту и так нелепо разошедшимися в разные стороны?

1974—1975

ВАРШАВСКИЕ ЭТЮДЫ

ВСТРЕЧА

Она была — голубой огонь. Синий огонь. Восемнадцатилетняя, тоненькая, гибкая, с загадочной полуулыбкой на красивых губах маленького рта, темноволосая, она буквально ослепляла своими глазами. В них прыгали такие синие зайчики, метался такой синий огонь, что надо было чем-то на него отвечать. И вот мы читали ей стихи — Пушкина, Блока, Фета, Есенина, Тютчева. Но и внимательное, разделяющее ее восторг слушание ее самой могло уж быть необходимым ответом на ее страстность.

Носила она (почему-то так мне запомнилось) черную юбку, прикрывавшую колени, и черную шерстяную кофточку, едва ли не домашней вязки. Эта грубая кофточка застегивалась на пуговицы и не облегала фигуры, но не могла и скрыть под собой ни тоненькой талии, ни маленькой, но все же соразмерной с ее молодостью и возрастом груди. Помнится также, что кофточка — такой уж у нее был фасон — оставляла открытой шею и даже часть плеч. Наподобие того, как на мраморных бюстах иногда делают гладкими лицо, шею и немного плечи, а дальше идет шершавый необработанный камень.

Она была полька, и звали ее Алисой. В то время в нашем — Литературном — институте училось много ребят из стран народной демократии. Некоторые были моими однокурсниками, другие на год моложе (по курсу, а не по годам), с этими мы давно были друзья-приятели. Алиса появилась значительно позже. Мы на четвертом, а она еще только на первом. Вот когда появилась она.

Общежитие нашего маленького института помещалось тут же в учебном заведении и в боковых флигелях, так что после лекции в любую минуту можно было заглянуть в «девчоночью» комнату и просидеть там час-другой, проговорить с Наташей Тарасенковой, с Лиляной Стефановой, с Терезой Квечинской... Поэты, прозаики, драматурги (будущие, но уже в чем-то и настоящие), мы были очень общительны, просты и дружественны. При всем том я не помню ни одного, так сказать, общежитейского романа. Наши сердечные привязанности находились, должно быть, где-то в городе, на стороне, в других институтах — у девчонок свои, у ребят свои. Это-то и делало наше общежитие непринужденным и легким. Если я приходил к девушкам

в комнату, то я приходил к ним вообще, а не к одной из них, как это бывает в общежитиях, когда девушки заранее знают, к кому из подруг пришел человек, и вообще к кому он сюда ходит, и даже стараются стушеваться, а то и вовсе уйти — «создать условия».

Но должен признаться теперь, что некоторое время я приходил в девичью комнату ради польки Алисы.

Вижу, что, употребляя относительно Алисы слова «метался голубой огонь», «страстность», «синие зайчики», я мог ввести читателя в заблуждение и создать некий образ действительно страстной женщины, этакой жрицы любви. Боже сохрани! Я имел в виду вовсе не любовную страстность, но страстность натуры вообще. Она страстно спорила, страстно рассказывала о своей Польше, страстно читала Мицкевича и Словацкого. Во всем остальном она была девчонка и даже скорее — «свой парень».

С ней у нас завязались странные дружеские отношения, с самого начала как бы исключающие все иное. Помнится, ни с того ни с сего она отдала мне носить на целую зиму замечательный белый полушубок (тогда это еще не называлось дубленкой), который ей выдали в посольстве в рассуждении суровой московской зимы. Не знаю, правда, как бы она его стала носить сама, если он и мне, рослому парню, как говорится. не жал в плечах. Но она носить его категорически отказалась и даже сказала, что завтра же отнесет обратно в посольство. Я смирился и целую зиму форсил в замечательном белом полушубке. Эта ее щедрость, щедрость по первому импульсу, щедрость первого жеста, была свойственна ей во всем. Это была ее душевная щедрость, но она отнюдь не касалась той стороны девичьей натуры, которая тогда еще называлась любовью и которую теперь (как летит время) стали звать просто сексом.

Ближе всех из нас дружил с Алисой студент... назовем его Кириллом. Они и потом долго переписывались, не теряя друг друга из виду. Но и он, судя по одному стихотворению. явно относящемуся к Алисе, хотя речь идет там о елочке, о колючей зеленой елочке, которую все же кто-нибудь когда-нибудь срубит на Новый год («Свечи зажгут и отпразднуют...»), но и он, судя по этому стихотворению, остался в конце концов при своей неразделенной любви.

Маленькие шалости были. Поэты и есть поэты. Поэты-студенты. Помню однажды, оставшись на ночь в пустой аудитории (мы ведь работали ночами в пустых

аудиториях института, закрывая их изнутри стулом), мы немножко поцеловались с Алисой. Но что-то не клеилось у нас. Видимо, оба мы чувствовали, что наши внешние действия не поддержаны ничем из глубины сердца. Либо Алиса умела, даже и в подобных отношениях, установить расстояние да так и сохранять его, либо она действительно «льдинка», как я потом прочитаю про нее в одном месте, либо — самое простое и объясняющее — не любила меня, а я ее.

Но все же некоторое время я приходил в девичью комнату общежития ради польки Алисы. Значит, все-таки я тянулся к ней, и она тянулась ко мне, в пределах некоторой симпатии, дружеских отношений, увлеченных разговоров и чтений стихов. Она любила лежать под одеялом и читать книгу. Часто я заставал ее именно в этом положении. Другие девушки в ее комнате кто сидит за столом, кто шьет и штопает, кто входит и выходит. Я брал стул, садился около Алисы, и мы умели забыть про всех. Она шпарила мне Мицкевича целыми главами, а я, ничего не понимая, но наслаждаясь музыкой, даже не стиха, даже не языка, но Алисиного голоса (а через него уже стихом и языком), отвечал ей тем, что шпарил тоже целыми главами и циклами Пушкина, Блока, Есенина, Багрицкого, Тихонова («Орда» и «Брага»), Гумилева, Мартынова.

Принимается на веру, но можно исследовать косвенную роль женщины в политических событиях, в поведении вождей, полководцев, общественных деятелей. Более прослежена роль женщины в искусстве. Косвенная роль, то есть не то, что они создали сами, а то, что создано под их влиянием. Утверждаю также: ничто не может вызвать столь же очевидной первоначальной симпатии к стране, к народу, как симпатия к представительнице этой страны. Как ни странно в этом признаваться, но Польша до Алисы была для меня если не пустой, то холодный звук. Нет, я знал, конечно, что существует на свете Польша. Тут сразу возникали исторические категории. Разделы Польши (экзамены по истории, значит, не очень приятные ассоциации), каламбур нашего историка: «Польшу разделили на три неравные половины». Потом — польские паны (песня Алексея Суркова), потом Минин и Пожарский, Иван Сусанин, Тарас Бульба, Марина Мнишек, осада Троице-Сергиевой лавры, потом еще кое-что из более близких времен... Но все это как-то отвлеченно и умозрительно.

Была и вторая линия связи. Мицкевич с Пушкиным.

Сакраментальная фраза: «Довольно, стыдно мне пред гордою полячкой унижаться». Панна, ради которой Андрий изменил отцу Тарасу Бульбе и отечеству. Сыновья Будрыса, и у каждого в седле под накидкой «полячка младая». Шопен, конечно, Шопен! Но это уже общечеловеческое искусство, а не только польская музыка.

Отрывочные впечатления от Пруса, Сенкевича, Жеромского. Польские восстания. Поляки в Сибири. Танцы — полька, мазурка, полонез, краковяк. Краковская колбаса. Бигус — польское блюдо. «Польский коридор». Польские магнаты: Потоцкие, Вишневецкие, Радзивиллы, Сапеги. Польская шляхта. Польская гордость. Мою знакомую, Нинель Николаевну, остановила на улице женщина и категорически заявила ей:

— В вас течет польская кровь.

— Почему вы решили? — удивилась Нинель Николаевна.

— Але постава, пани.

То есть осанка, общий вид, экстерьер.

Ах да, еще полонез Огинского, пронзающая бессмертная музыка. Это все. Надо иметь в виду, что действие происходит в 50-е годы, когда не было еще у нас в Москве ни польской «Выборовой», ни польских пряжек на женщинах, ни польских кинофильмов на наших экранах, ни личных моих знакомых в Польше.

Но даже и последующие знакомства, если иметь в виду их эмоциональную окраску, во многом зависели от первой личной встречи со страной, и вот приходится повторить — ничто не может вызвать столь же очевидных первоначальных симпатий к стране, к народу, как симпатии к однойединственной представительнице этой страны. Для меня первой ласточкой в моих отношениях с Польшей была Алиса.

Я приходил к ней в общежитейскую комнату, где она любила лежать под одеялом и читать книгу. Одновременно она пила молоко, которое всегда стояло тут же на тумбочке.

Восемнадцать лет. Ни сигаретного дыма, ни кофе, а тем более ресторанов с их напитками. Одно молоко. Она поднимала от книги свои синющие глаза, улыбалась красивыми губами маленького рта и говорила: «Садись». Я присаживался на стул около койки. Тут мог прийти Кирилл или кто-нибудь еще из студентов, и мы образовывали кружок. Алиса смотрела на нас всех спокойными, умудренными и как будто немного смеющимися глазами. Может быть,

и не насмешливыми и не смеющимися даже, но выражающими некоторое покровительство (это у восемнадцатилетней девчонки!). Не побоюсь сказать, что было в ее взгляде что-то материнское по отношению к нам, в общем-то тоже нестарым еще парням. Но взгляд менялся, когда она начинала говорить о Польше, Мицкевиче, Костюшко, Варшаве, Кракове и Вавеле в нем. Я дал ей почитать «За что» Льва Толстого. Она не слышала об этом рассказе и была им потрясена. Я сам наткнулся на него случайно. Листал-листал и вдруг — вижу. Рассказ о ссыльных поляках. Наверное, в другое время я пролистнул бы этот рассказ, вообще-то не относящийся к шедеврам великого писателя. Но я прочитал его с особенным интересом, потому что была уже вот такая Алиса, а прочитав, тотчас принес ей.

История трогательная и печальная. Русский писатель целиком на стороне поляков, благородных, смелых и любящих. И вот — много ли надо — одна только полька передо мной с синими глазами, а уже все для меня освещено в рассказе по-иному, нежели было бы без этой польки.

Я просил ее читать по-польски. Алиса сразу преображалась. Она вся превращалась в голубой, синий огонь. Без нее я никогда бы не понял или понял бы не так скоро красоту ее странного, насыщенного, как известно, шипящими звуками польского языка. Речь Алисы звучала и твердо, и мягко, и отрывисто, и плавно. Она воспринималась как своеобразная музыка. Во всяком случае, когда потом, много лет спустя, я услышал польскую речь вокруг себя уже в Варшаве, на меня повеяло чуть ли не родным и близким.

Но ни у кого из нас не было с Алисой любви. Возможно, что Кирилл вздыхал чуточку поглубже, чем мы, не зря же написал стихотворение про елочку. Но и там, я думаю, и в их отношениях больше подходило слово «дружба». Допускаю, что Кирилл дружил с Алисой крепче, чем мы, а главное, надежнее и последовательнее. Что касается меня, то подошел мой диплом, и я как-то надолго отвлекся и от института, и от его общежития.

Между тем Алиса внезапно уехала из Москвы, не дождавшись окончания учебного года. Прошелестел слушок, что ее не то отозвали соответствующие инстанции в Варшаве, не то порекомендовали уехать, то есть фактически отправили домой наши соответствующие инстанции. Очень смутно и глухо в шелестящем слушке прозвучало имя поэта Ильи Сельвинского. Что ж, она ходила к нему на

семинар и уж, подумалось мне, не повздорила ли с ним по неуемности, бескомпромиссности своего польского характера? Не произошло ли скандала? Не Сельвинский ли настоял на отчислении Алисы из нашего института? Впрочем, этот ее отъезд я совсем прозевал и узнал о нем спустя много времени. Спросил было у Кирилла, что случилось с Алисой, но Кирилл, как ее верный друг, ответил не очень внятно: не то насчет ее болезни, не то насчет болезни ее матери.

Жизнь шла. Диплом, устройство на работу, поездки по стране от журнала «Огонек», обзаведение семьей. Студенческие годы отошли в прошлое. Хотя привязанности есть привязанности, у сердца на них свой счет. Навсегда остался в прошлом светлый солнечный зайчик под названием Алиса. Маленький зайчик. Не пожар, не трагедия, не выжженная пустыня, не взорванные мосты, не возделанный сад, не притихший до времени вулкан, не грандиозный тропический ливень... Алиса. Пылкая девушка, которая немного нравилась мне, которой, может быть, немного нравился я. Студенческое общежитие, стихи. Страстная польская речь. Все мои симпатии к Польше как к народу, как к исторической категории пошли от Алисы, дай ей бог здоровья и счастья!

...Илью Львовича Сельвинского я увидел в 45-м году. Ему, значит, было сорок шесть лет, а мне двадцать один. В 1950 году, соответственно, ему было 51 (сколько сейчас мне, пишущему эти строки), а мне — двадцать шесть. Алисе — восемнадцать. Вот и вся расстановка сил.

В подвале Политехнического музея занималось по четвергам литературное объединение издательства «Молодая гвардия». Как помнится, постоянного руководителя у этого объединения не было, приглашали на каждое занятие того или другого поэта. Бывали Тихонов, Антокольский, Луговской, Кирсанов, Асеев...

Сельвинский сидел в руководительском кресле, немного развалясь и перебирая крупные янтарные четки. Он позировал поэтической молодежи. Он был нельзя сказать что высоким (Луговской выше), но крупным пожилым мужчиной, а тогда мне казалось — стариком.

Смуглый и крупнолицый, с некоторой ленью в движениях, он играл под тигра — своего любимого зверя, часто упоминаемого в стихах. Молоденькие поэтессы, студентки-филологички смотрели на него завороженными глазами, и мне, тогда двадцатилетнему солдату, казалось странным,

что на подобного старика можно смотреть восторженно и влюбленно.

Учась в Литературном институте, я несколько раз заходил на семинары Ильи Львовича, хотя постоянно числился в семинаре Луговского, а потом Коваленкова. Иногда мы, студенты-поэты, бродили по чужим семинарам, даже по прозаическим. Интересно было послушать, коли есть такая возможность, Паустовского, Федина, Леонова, Сельвинского, Антокольского...

Стихи Сельвинского для меня всегда были интересны. Кое-что я знал наизусть. Во всяком случае, встретив в журнале, не пролистывал, но прочитывал обязательно. Да и как не читать — профессия. Но все же за всем не уследишь. Должен признаться теперь, что небольшая поэма, о которой сейчас пойдет речь, не была мною прочитана своевременно. Попалась на глаза, может быть, уже в 55-м году, а не в год ее написания и публикации.

Листая томик стихов Сельвинского, я вдруг увидел знакомое сочетание букв — *Алиса.* И подзаглавие: «Из рукописей моего друга, пожелавшего остаться неизвестным». Сами по себе ничего не говорили слова, в том числе и заглавное слово, но особым чувством я сразу все осознал и понял... Только еще начиная пробегать глазами все пятнадцать этюдов, из которых состоит поэма, я уже уверенно знал, что это про ту, про нашу Алису, а вместе с тем встали на свои места и приглушенные разговоры, и внезапный отъезд ее, и увиливающий от меня взгляд Кирилла.

«Я тебя узнал по сновиденьям... Я тебя предчувствовал, предвидел... И когда вокруг необычайно Сплетня заметалась как в бреду...»

Ну да. О чем же это, если не о том самом?

«Угадал я не глазом, но оком ледяные твои огни... В этот миг я увидел бессмертье, ты же видела лишь старика». Тут хотя еще и нет пока конкретного образа, который хотя бы угадывался, но ледяные огни — это, конечно, Алиса. Но пойдем дальше [1].

«В день, когда по льдинам Заполярья... шел я на собаках в океане, бородатый, тридцатитрехлетний, где-то

---

[1] Надо ли извиняться перед читателями, что я не воспроизвожу целиком этюды Сельвинского? Их можно прочитать в любом собрании его стихотворений. А также и за то, что я стихотворные строки пишу как прозаические, вытягивая их в одну строку.

в Польше родился ребенок: девочка со льдистыми глазами... Я увидел их и содрогнулся... Арктика сквозь мили, сквозь туманы вырубила деву изо льда... Девушка смеется, веселится... Ей ведь, упоенной, невдомек, что она задумана природой лишь затем, чтобы войти в поэму. В черный день ледового похода для меня Алиса родилась».

Таких совпадений быть не могло. Чтобы и Алиса, и полька, и со льдистыми глазами. Значит, вот оно что! Ходила к нему на семинар, и он ее полюбил. Ему пятьдесят один (как мне теперь, когда пишу эти строки), а ей восемнадцать. Были свидания? «На безлунье в бору высоком...» (этюд 2). «Она мне постоянно говорила, что у нее жених, что он красавец и что, мол, нет на свете человека такого некрасивого, как я. И вдруг однажды очень удивленно: «А знаешь? А ведь ты похож на тигра!» (этюд 4).

Как ни странно, сквозь бесконкретные эти стихи проступает конкретный образ Алисы. Это похоже на нее — нарочно называть человека некрасивым, чтобы поддразнить стареющего поэта, рассказывая о своем женихе-красавце. Это целиком в ее духе. Кроме того, оборот «А знаешь?» — ее оборот.

— А знаешь? Я сегодня впервые была в общественной бане. У нас в Польше нет таких бань. Это страшно, Володя.

— Что страшно? Жарко?

— Нет, эти тела, тела! Эти дряблые женщины, бесформенные, с большими животами на тонких ногах. Эти груди, свисающие до живота. Или эти жирные туши все в складках, розовые, как семга, или желтые, как пергамент. Неужели и я буду такая же, Володя? Это страшно. Я не хочу. Я впервые увидела. Я забыла, что пришла мыться. Я смотрела как в круге ада...

Шестой этюд, бесспорно, самый сильный во всей поэме. Пожалуй, я выпишу его целиком. Замечу, кстати, что, значит, была и ревность, вернее, был, наверное, разговор, упрек какой-нибудь с его стороны, она его обрезала и нарочно съязвила в ответ вроде того, что еще не видела таких некрасивых людей или вроде придуманного ею жениха-красавца. Я знал, что никакого жениха в Польше у нее в то время не было.

Я не смею тебя ревновать ни к кому.
Будь на все твоя воля девичья.
Но безумно ревную лишь к одному:
К вековому слову Мицкевича.

О, как плещет в устах твоих польская речь,
Ключевая да серебристая!
Как умеет она прямо в душу истечь,
Утоляющая, словно истина.

Ни о чем я тебя не прошу, не молю,
Лишь одною просьбой измучаю —
Чтобы ты ощутила стихию мою,
Молнией взбаламученную,

Чтобы гул мой, твоим повторенный ртом,
Для тебя прозвучал бы истиною.
Чтобы голос мой жаркий в дыханье твоем
Воскресил ту весну единственную.

И когда твой счастливый красавец жених,
Оборвав тебя на полуслове,
Поцелуем задушит русский мой стих,
Ты почувствуешь ли вкус моей крови?

Вспоминаю свое первое впечатление от прочтения поэмы «Алиса», на котором я себя поймал. Как же так? Один и тот же человек, одна и та же Алиса, для нас — девчонка, немного нравящаяся (посидеть около нее в общежитии, послушать вот именно Мицкевича из ее уст, поносить ее полушубок), а для него — молния, гром, рок, пожар, трагедия, выжженная пустыня, возделанный сад, притихший до времени вулкан, тропический ливень, поэма в конце концов... Алиса.

«Эти болота, пропахшие серой, лес, что был неожиданно нем, в мехе пушистом звезда Венера, встреча русских и польских поэм... Птицы ночные в деревьях сонных, сердце, сердце в набатных стонах — все позабудешь, Алиса, и все ж...» (этюд 7).

«Я хочу вобрать в себя навеки весь пейзаж твоих полярных глаз... Наглотаться бы перед разлукой слов твоих и смеха, милый друг...» (этюд 8).

«Как же быть теперь без нее? Как мне жить теперь без нее? Кофе пить. Газеты читать. Никогда никого не ждать?» (этюд 9).

«Отдай мне ее! Ты слышишь, Москва? Выбрось, как море янтарь!» (этюд 10).

«Железнодорожная держава... Голубой экспресс «Москва — Варшава»... Красный уходящий огонек... Полюби Россию, дорогая...» (этюд 12).

«Имя твое шепчу неустанно. Шепчу неустанно имя твое... Дыханье, пахнущее молоком (очень точно! — *В. С.*).

Теперь ты навечно со мной, недотрога! Постигнут ли твой Болеслав или Стах, что ты не придешь? Ты осталась в стихах. Для жизни мало, для смерти много» (этюд 13).

...Итак, Алиса исчезла и осталась только в стихах, в поэме. Иногда я спрашивал у Кирилла, не переписывается ли он с ней, и Кирилл действительно обладал кое-какими сведениями, но очень скудными. А может быть. она ему так писала. А может быть, не хотела говорить. Во всяком случае, не веяло от его слов процветанием и лучезарным благополучием Алисы. Все же тень московской истории пришлось, видимо, волочить ей за собой. Упоминалось, как помню, общество дружбы «Польша — СССР». где Алиса будто бы работает, но почему-то осталось у меня после разговора с Кириллом ощущение, что Алисе там плохо, трудно и, может быть, придется уйти — то ли из-за ее гордого, неуживчивого характера, то ли из-за характера ее непосредственной начальницы.

* * *

По утрам, даже и в заграничной поездке (они, впрочем, у меня стали редкими и недальними по многим причинам), я стараюсь хоть один час посидеть за столом. Просыпаешься рано. В 7 часов спускаешься вниз и завтракаешь. Завтрак занимает пятнадцать минут. Значит. если даже и просмотришь газету, все равно в 7.30 уже свободен. Первичное рвение, когда, оказавшись в заграничном городе, стараешься каждую минуту, едва ли не ночью. бесцельно бродить по улицам, давно прошло. Если есть какая-нибудь программа, заранее обусловленная встреча, посещение чего-либо, кого-либо, все это позже, начиная от десяти. от одиннадцати. Что же должен делать скромный литератор в эти подаренные судьбой свободные часы? Сидеть за столом. Будет ли это приведение в порядок вчерашних впечатлений, будет ли это статья для местной газеты, будет ли это продумывание предстоящего интервью с еженедельным журналом — все равно хорошо с утра посидеть за столом. Я, впрочем, беру с собой какую-нибудь начатую работу и успеваю продвинуть ее ну хоть на несколько страниц за те три недели, которые заранее и заведомо должны быть потеряны. Кроме того, когда обмениваешься телефонами на встречах, вечерах, по разным деловым и личным поводам, говоришь, чтобы звонили тебе в те же утренние часы. Обязательно дома.

Точно так же было у меня и в гостинице «Европейская» в центре Варшавы. Погода, правда, стояла отличная (майская), и можно было бы с утра гулять по бывшему королевскому саду, что через площадь, или даже ездить в Лазенки, подышать свежей зеленью, но преимущественно я оставался верен себе и утренние часы проводил в гостинице.

Позвонил пан Шиманьский. Анджей Шиманьский. Поэт, переводчик. Я попросил его два дня назад узнать, не работает ли по-прежнему в Обществе польско-советской дружбы некто Алиса Н. Вот он и позвонил как раз, когда я переворачивал исписанный лист бумаги на столе.

— День добрый. Но вот, миле́нький ты мой, сегодня придет к вам Ян Ярцо. Надо приготовиться к интервью. Насчет книги я тоже узнал. Книга будет. В следующий раз, как приедете, получите беше́ные деньги. С кем вы сегодня обедаете?

— Еще не знаю. А помните, я вас просил... Алиса...

— Но вот я узнал. В обществе она давно не работает.

— Где же?

— Говорят, уехала в провинцию, куда-то за Люблин. Работает там учительницей.

— Это далеко от Варшавы?

— Но вот, миле́нький ты мой, это далеко. Это ближе к вашей границе. Хотите поехать?

— Наверное, для поездки нужны беше́ные деньги,— шутя передразнил я пана Анджея.

— Что вы, что вы! Это далеко только по нашим масштабам.

— Можно подумать. Приходите, пообедаем вместе.

Не успел я положить трубку, как телефон зазвонил снова.

— Это Володя? — послышался нисколько не изменившийся за двадцать четыре года голос.— Здесь Алиса.

Интонация разговора была такова, будто мы вчера виделись и условились, что сегодня она мне в десять утра опять позвонит.

— Господи боже мой! Да мы ведь только минуту назад о тебе говорили!

— Хорошо. А я уже здесь.

— Где здесь?

— В Варшаве, приехала на два дня из провинции.

— Но как узнала?

— Узнала. Так приходи ко мне сегодня обедать. Я,

правда, не повариха. И в квартире у меня нежилой дух. Запиши адрес. Возьмешь трамвай номер...

— Я возьму такси.

— Хорошо. Это, правда, не центр, но не так уж и далеко. Скажешь таксисту для ориентира: новый радиокомплекс. Так жду тебя в два часа. Надеюсь, никакой другой программы у тебя сегодня не будет?

— Да, хорошо, в два часа.

— Ну, так поговорим. До встречи.

Выработался и у нас тоже (а может быть, сначала у нас) тип городских домов, которые строятся не на самых окраинах, но все же поближе к ним. Они пятиэтажные, с узкими лестничными клетками и без лифтов, с низкими потолками. Но все же — отдельная квартира, кухня, санузел, все как полагается. Под окнами недавно посажены деревца, которые словно находятся на распутье. То ли им начинать расти и шириться, то ли, постояв в том же виде год-другой, постепенно отмереть и засохнуть. Но майская зелень была свежа в этот неяркий день даже на деревцах, не вошедших еще в полную силу. Свежими были и полураспустившиеся тюльпаны трех расцветок (темно-красные, лиловые и желтые) в моих руках. Я купил их по дороге, для чего мы с таксистом объехали четыре цветочных киоска, пока я выбрал по своему вкусу. Надо сказать, что цветы в Варшаве и хороши и недороги.

Дверь открылась, и на пороге я увидел маленького роста, полную, миловидную сорокалетнюю женщину. Она была одета в ординарный зеленоватый, блеклого цвета костюм и кофточку под жакетом, цвета которой я почему-то не запомнил. Женщина была темноволоса, светлоглаза, с лицом, тоже тронутым блеклостью, и с красной язвочкой, трещинкой в уголке рта. Кажется, такая трещинка в медицине называется заедом. Она быстро проходит, если ее чем-нибудь помазать. Но тут эти губы улыбнулись, и я увидел, что передо мной стоит не кто-нибудь другой, а Алиса. Ее улыбка не изменилась нисколько. Тотчас осветились и глаза тем же синим, озорноватым огнем, осветилось и все лицо, словно на пасмурный летний пейзаж упал внезапно поток солнца, прорвавшегося сквозь тучи, или словно зажгли свет в тускловатой комнате.

Алиса полыхнула мгновенно синим огнем, сверкнула своими белыми зубами и, тотчас переделав радостную улыбку в доброжелательную усмешку, сказала:

— Ну вот. Проходи. Мы не виделись двадцать четыре

года. Только не говори мне, что я не изменилась, не постарела. Я изменилась, Володя. Видишь, стала толстая и невзрачная баба.

— Перестань говорить вздор! Ты нисколько не изменилась, все такая же Алиса...— говорил я, передавая тюльпаны. Я говорил без всякой надежды на действие своих слов, потому что, сколько ни говори мне, например, что я не изменился за двадцать четыре года и что я прекрасно выгляжу, я позволю себе не поверить в эти слова. Трезвая, суровая реалистка Алиса, взяв без видимых эмоций превосходные цветы, также не обязана была верить моим комплиментам, но все же женщина остается женщиной, я заметил, что ей понравился мой уверенный тон.

Поставили цветы в воду. Нашлась ваза из пупырчатого, на современный манер, стекла. Алиса извинилась, что ей нужно на кухню, чтобы довершить хлопоты по обеду, я остался оглядывать довольно просторную, почти квадратную комнату в однокомнатной отдельной квартире. Сейчас в ней было убрано, подметено и протерто, но все равно печать нежилья лежала на ней. Даже и в воздухе чувствовалось еще, что комната долго, в течение месяцев, стояла закрытой, не проветривалась.

В одном углу, там, где слева окно,— небольшой письменный стол и книжные полки над ним. Жидковатые книжные полки, с книгами, наклоненными от их недостатка то влево, то вправо. Преимущественно русские книги, поэтические сборники, учебники по литературе, хрестоматии, история, словари.

— Все книги у меня там, в Люблине,— громко говорила с кухни Алиса, словно видя сквозь стены.— Здесь только кое-что. Я пишу кандидатскую работу.

— А что именно?

— Ваш восемнадцатый век.

Среди поэтических книг на полке ютились два томика Сельвинского. Я воровато и поспешно заглянул в них, на титульные листы, но дарственных надписей на них не было.

Итак, в одном углу письменный стол и полки. В противоположном углу, подальше от окон, широкая, под темным покрывалом тахта. Около стены, влево, диван, а около дивана низкий продолговатый стол, на котором припасены теперь два прибора, тарелка с хлебом, да еще вот ваза с тюльпанами.

— Я здесь не живу совсем. Квартира пустует. Если ты захочешь когда-нибудь подольше пожить в Варшаве, мо-

жешь располагаться. Гостиницы очень дороги, а у меня — живи сколько хочешь. Конечно, не центр, но на автобусе пятнадцать — двадцать минут.

Я захватил с собой армянский коньяк, однако Алиса поставила бутылку польской водки и белое вино. Под зеленый салат, а потом и под борщок, который, надо сказать, удался Алисе, мы выпили, но водка шла как-то мимо, не долетая до цели.

— Ну что тебе сказать? — Алиса сама заговорила, видит бог, я не расспрашивал ее ни о чем, было достаточно ее самой и ее квартиры, чтобы составить себе представление о ее теперешней жизни.— Наверное, интересно, как я живу... Как я жила с тех пор? У меня вырос сын, но я одна. Конечно, я могла бы пойти к этому парню на поклон. В свое время, конечно. Но ты знаешь, я не так устроена. Я — полька. Потом-то он приходил несколько раз, но было поздно, предательство длится одну секунду, но оно навсегда... Работала в Обществе польско-советской дружбы. Пришлось уйти. Сейчас живу у матери, в маленьком городке, под Люблином, почти у вашей границы. Учительница... Преподаю русский язык и литературу.

Она рассказывала о себе, выкладывала те или другие сведения, а сквозь слова, сквозь мимику и жесты вопило одно-единственное слово — одинока, одинока, одинока!

— Теперь у меня проблема. Надо бы переехать мне в Варшаву, в эту квартиру. Но мать тоже привыкла, чтобы я жила с ней, и больно оставить ее одну. Перевезти ее сюда? Тесно. Сын вырос. Да и затоскует мать по своему дому, по своему городку. Уеду я в Варшаву — мать одинока. Оставаться мне там — я одинока. Такая вот неустроенность. А жизнь почти прошла. Ну ладно. Это грустная тема. Я помню все, что ты мне читал тогда в общежитии. Тогда я впервые поняла русское слово, его поэзию, силу. Прочти мне опять вот это... Помнишь Полонского... Он едет, а ямщик не поет. Нет песни про черный день.

— Ну и память! Неужели я тогда читал тебе Полонского?

— Еще как читал! Я даже помню конец: «Про черный день нет песни у меня».

«Так уж и нет» — хотелось сказать мне. Или вовсе теперь ничего не значит для нее, что выходят новыми изданиями стихи поэта и в каждом новоизданном томике поэма с коротким названием, и название это — ее имя, она сама?

В последнем, пятнадцатом этюде, совершенно вздорном

по своей главной мысли, поэт развивает излюбленную тему о том, что человек есть определенная комбинация электронов и что случайно точно такая же комбинация может когда-нибудь повториться.

«Да. я родился, проживу до ста, Чтобы затем навсегда умереть. Но я — электронов случайная доза, А эта случайность возможна и впредь. Вечность — это не только время. Это возможность у нас на земле Любой структуры, любого явления, Структуры Алисы в том числе. Еще ты не раз повторишься, Алиса. Войдешь в грядущую суть наших дней. Всем чутьем материалиста Я чувствую правду догадки моей».

И снова, как прежде, в мученьях, с боем
Найду я тебя на своем пути!
Но только пускай нам будет обоим —
Хочешь? — обоим по двадцати...

Не будет во мне этой душной глуби,
Не омрачит она твой покой...
Но вряд ли таким ты меня полюбишь,
И вряд ли тебя полюблю я такой.

Насчет электронов, конечно, вздор, думал я. Но последнее предположение насчет двадцати лет, пожалуй, правильно. Разве нам не было тогда, в общем-то, по двадцать? И мы действительно не полюбили друг друга. Вот если бы в тебе пылал теперь тот самый, синий юношеский огонь и встретился бы тебе поэт с приопущенными веками, за которыми накопилось кое-что за пятьдесят-то один год...

Я просидел у нее еще часа два. Мы выпили не спеша вино, потом она сварила кофе, потом начались сумерки. Над тахтой загорелась медовая лампочка.

— Стоянка такси далеко ли от дома?

— Я тебя провожу.

Оказалось, стоянка недалеко. Некоторая напряженность, которая чувствовалась в Алисе весь день, исчезла.

— Ну вот. Хорошо. Прекрасно,— говорила она все время про себя, но так, что я слышал.— Так лучше. Чудесно. А вот и такси. Мой адрес у тебя теперь есть.

— Но ты же здесь не живешь.

— Я приезжаю раз в месяц и беру почту. Ну вот, прекрасно. Хорошо. Все хорошо. Так лучше...

Я помахал ей из тронувшейся уже машины, и она тоже помахала мне. Она улыбнулась. Трещинки в уголке рта теперь не было видно, потому что по-настоящему смеркалось. Вечер вдруг оказался пустым. В кино, наверное,

придется сходить. А что она будет делать целый вечер в своей квартире?

На мгновение у меня проснулось желание попросить таксиста повернуть обратно на ту стоянку. Но, зная Алису, я знал, что этого не стоит делать. Алиса — полька и не приняла бы этого жеста, даже если бы он исходил от такого давнего друга, каким был я.

ГРАВЮРА ПАНА РОССАЛЬСКОГО

В центре Варшавы, у подножия Дворца культуры и науки, во многом определяющего сейчас силуэт польской столицы, а проще говоря, у подножия высотного дома, построенного в пятидесятые годы по типу московских высотных домов, шумела книжная ярмарка.

Эти ярмарки ежегодны в Варшаве, но сначала их устраивали в Лазенках, в том замечательном парке, где стоит памятник Шопену и где каждое воскресенье на открытом воздухе для всех посетителей парка звучит шопеновская музыка. Ставят под сенью памятника рояль, ну, микрофоны, конечно, и прославленные польские и европейские пианисты дают концерты.

Между прочим, этот раскрытый концертный рояль с пианисткой, сидящей за ним, расположен около постамента так продуманно, что служит как бы дополнением памятнику и, более того, объясняет позу само́го великого композитора.

Шопен, как известно, изображен сидящим. Он сидит и левым ухом к чему-то прислушивается, а правой, вытянутой в сторону рукой словно бы дирижирует. Не дирижирует в полном смысле слова, как дирижер за пюпитром и с палочкой, но все же показывает рукой, где сделать пианиссимо, чутко прислушивается, а рукой велит: тише, тише, тоньше, нежнее, тише... Так вот, эти его жесты, это его прислушивание, напряженная мимика повисают в воздухе, пока нет столь удачного поставленного рояля и пианиста за ним. А когда они есть, монумент оживает. Теперь голова Шопена повернута к пианисту, левое ухо слушает живую музыку, а рука направляет: тише, нежнее, тоньше...

В этих-то Лазенках и устраивали сначала ежегодные книжные ярмарки. Но потом вовремя увидели, что массовое скопление народа вредит парку, и книжный базар перенесли в центр города. Там Дворец культуры, асфальт,

но все же и деревья, под сенью которых устанавливаются временные фанерные киоски. На киосках обозначены названия издательств: вон «Пив» (Piv), торгующий книгами, переведенными с разных языков, вон Краковское литературное издательство, вон «Пакс» (Pax)... А там еще продают свою книжную продукцию Лодзь и Познань, Катовицы и Вроцлав, Люблин и Гданьск.

Люди гуляют по аллеям небольшого сада, люди толпятся около книжных киосков, многие приходят с детьми. Тут же с лотков торгуют поэтому сластями, игрушками, мороженым и еще одной детской забавой, которой я не встречал нигде, кроме Варшавы. Как-то они смешивают молоко с сахаром, как-то при помощи несложного приспособления (горячий металлический валик) у них получаются тонкие молочно-сахарные нити, подобие ваты. Эту вату они ловко наматывают на палочку, и вот ребенок уносит на палочке ком снежной ваты величиной со свою голову, на ходу облизывает ее, и вата во рту опять превращается в молоко и сахар, но только прибавляется к ним жженый привкус.

Союз польских писателей пригласил на открытие книжной ярмарки маленькую писательскую делегацию из Москвы. По такому-то поводу я вновь оказался в Варшаве после десятилетнего перерыва.

Я говорю — перерыва,— потому что десять лет назад мне как-то везло на поездки в Польшу и я ездил туда четыре раза подряд то по линии Общества польско-советской дружбы, то по приглашению издательства, то по линии того же Союза писателей. Я, правда, нацеливался тогда на книгу о Польше, и эти поездки были для меня очень кстати. Но потом, как говорится, расположение звезд переменилось и книгу пришлось отложить, и приходится говорить теперь, что я приехал в Польшу после десятилетнего перерыва.

Город, в котором давно не был, вспоминается смутно, основными слагаемыми, которые успели в свое время произвести впечатление: отель «Бристоль», Старо Място, Краковское предместье, Висла, мост Понятовского через нее... Кажется, что все нужно будет узнавать заново, знакомиться с городом опять от улицы к улице. Но оказывается, как только приедешь в город, так сразу все и вспомнится, будто не уезжал. Будто зажигаешь свет в полуосвещенной комнате. И даже не в полуосвещенной, а совсем темной, в которой только по памяти знаешь о расположении мебели и вещей. Входя в нее, собираешься шарить руками, чтобы

на что-нибудь не натолкнуться, но вот оказывается, что как только вошел, сразу механически включается свет и все, оказывается, совпадает с предполагавшейся, сохранившейся в памяти обстановкой.

Тем не менее моя задача на улице Злотой оказалась сложнее, чем можно было предполагать.

Открытие книжной ярмарки состоялось. Я побродил-побродил от киоска к киоску и пошел в обход громоздкого Дворца культуры, по зрительной памяти отыскивая тот перекресток, от которого должна начинаться улица с коротким и красивым названием — Злота... Золотая улица. Хотя я, правда, не знаю, за что ее наградили таким названием. В те, десятилетней давности, времена она была длинна и пустынна. По сторонам кое-где торчали уцелевшие от войны руины, а кое-где зияли пустыри, на месте, где руины успели разобрать. А там половина дома отрезана и открылась взглядам стена, которая некогда была внутренней. А там еще один полуразрушенный краснокирпичный, почерневший от городской копоти дом.

Но вдалеке, если идти от центра города, ближе к концу улицы стояло новое многоэтажное здание, серое, бетонное, с множеством окон и балкончиков. Новый жилой дом, единственный новый дом на всей улице. В этом доме на верхнем (девятом? или восьмом?) этаже жила Барбара. И улица называлась Злотой. Все это я помнил, но зато не помнил больше ничего: ни номера дома, ни квартиры, ни телефона. Как бы в насмешку над забытым адресом лежала у меня в кармане довольно примитивная небольшая плоская железка — ключ от лифта. В доме на Злотой улице такой уж порядок. Лифт вызовешь, а открыть его нельзя, открыть можно только своим ключом. У жильцов у всех, конечно, свои ключи. Мне же приходилось либо звонить в чужую квартиру около лифта и просить, чтобы открыли (чего я ни разу не сделал), либо подниматься пешком по узкой лестнице на девятый (или седьмой?) этаж. В конце концов Барбара дала мне тогда запасной ключ, который я, уезжая в Москву, забыл вернуть. По случайности он провалялся у меня в столе десять лет. Собираясь в новую поездку в Варшаву, я взял ключ с собой, и вот теперь он лежал у меня в кармане плаща, а вернее, в ладони, потому что я шел не торопясь — руки в карманы.

Адреса нет, а ключ есть. Ладно, чего там. Пустынная улица Злота. В конце ее новый дом. Его видно издалека. Нельзя не найти. Сейчас пойду и найду.

Но, может быть, следует объяснить (пока я иду до улицы Злотой, как писали в старину), кто такая Барбара и что нас сблизило в те давние времена немножечко больше, нежели ее же и остальных моих товарищей, входящих в состав делегации. Все просто. Нас было четверо, а Барбара была у нас переводчицей, гидом, ездила с нами по всей Польше, мы, естественно, с ней все подружились.

В моем гостиничном номере висела небольшая застекленная гравюра. Сначала я ее не замечал и, вероятно, не запомнил бы, как все другие картинки, забытые мной в многочисленных гостиничных номерах, в каждом номере по картинке. Но однажды я прилег на диван полежать и все смотрел на гравюру, и до того досмотрелся, что она мне понравилась.

Весь лист залит сплошь черной краской. Белыми тонкими линиями на этой черноте обозначены высокие своды готического костела. По белым линиям видно, что это интерьер костела, но никаких других подробностей художник не посчитал нужным изобразить. В левом нижнем углу белыми же тонкими линиями по черноте — коленопреклоненная молодая женщина. Она опустила голову и закрыла лицо ладонями. Больше ничего. Активный черный цвет и несколько белых линий. Коленопреклоненная женщина и основные линии внутренности готического собора, колонны и своды. Женщина маленькая по сравнению с квадратной колонной, у подножия которой она стоит. В левом нижнем углу картины. Картинка мне вдруг понравилась.

Надо сказать, что тогда я только недавно получил наконец квартиру, стены не были еще перенасыщены разными висящими на них картинами и вещами, они еще как бы просили повесить на них что-нибудь. Коленопреклоненная женщина, одинокая в пустынном готическом соборе (очевидно, недалеко от входа в собор, как вошла, так сразу и опустилась на колени и закрыла лицо ладонями), мне понравилась, и я стал думать, как бы эту картинку сделать своей. Чтобы украсть — не могло быть и речи. Но все в те более молодые годы казалось доступным, возможным, легким. Не может быть, чтобы такая сила желания осталась безрезультатной!

Я обратился к пани Барбаре и попросил ее вступить в переговоры с администрацией отеля. Ну сколько может стоить эта картинка? Если дорого — отступимся. Но едва ли. Не Рембрандт же это, в конце концов!

Барбара через два дня сообщила мне, что купить «Молящуюся женщину» нельзя, но что она, Барбара, попробует узнать, кто художник и когда жил. Еще через день она сказала:

— Все в порядке. Я нашла. Его зовут Ричард Россальский. У меня уже есть телефон и адрес.

Так мы, отделившись от делегации (остальные пошли на стадион смотреть футбол, и, значит, ничего им переводить было не нужно), отправились к пану Россальскому, автору понравившейся мне картинки.

Как художнику, отнюдь не избалованному известностью и вниманием, пану Россальскому было приятно, что кто-то заметил его работу в гостинице, и не только заметил, но и захотел непременно иметь. Вдвойне ему было приятно, что этот «кто-то» не стал гоняться за модными картинками с какой-нибудь выставки, а предпочел членораздельную живописную речь дикому и невнятному бормотанью, а то и просто истерическому вою современных крайних авангардистов.

На эти выставки мы успели уже насмотреться. Например, так: картон, и к нему приклеены жженые кружева. Кое-где набиты гвоздочки. Эти гвоздочки то располагаются кучками, то вереницами. Потом опять — жженое кружево. А один выставил картон, разделенный на равные клетки. В каждой клетке проволокой укрепленный какой-нибудь пустяковый предмет: пробка от флакона духов, пуговица, пустая катушка из-под ниток, обломок зубной щетки, использованное бритвенное лезвие. А один положил большой картон около порога в своей квартире, а перед картоном укрепил фанеру, на которую выдавливал из тюбиков разные краски. Каждый входящий в квартиру наступал сначала на краски, потом на картон. Через неделю художественное произведение художник посчитал законченным и выставил его для всеобщего обозрения.

Так что коленопреклоненная женщина в костеле, закрывшая лицо ладонями, изображенная очень скупыми линиями, казалась песней. Аве Мария, Бах, Гуно, Шуберт и Верди. Голос, летящий к сводам готического собора. Драматическое сопрано вместо хрипенья, фырканья и других еще менее благозвучных звуков.

По всем этим обстоятельствам пан Россальский принял нас, не сдерживая радостного сияния. Это был высокий худой старик, когда-то блондин, а теперь с остатками седых

волос на голове, которые не вились и не лежали гладкопричесанными, но образовывали нечто вроде светлого венчика или нимба. Этакий белый пух, просвеченный электрическим светом люстры. Главное, в его худом лице были немного навыкате голубые глаза. Их тронула уже некоторая блеклость, связанная с возрастом, но все же еще глаза пана Россальского были ясные, а теперь — просто сияли.

Я сразу представил себе, что если бы этому, грубо говоря, долговязому старику прибавить пестренькую бородку, да посадить бы его на ребристую клячу с тонкой шеей, то получился бы форменный Дон-Кихот.

Каково же было мое удивление, когда художник (после необходимых слов, комплиментов и взаимных благодарений) начал показывать другие свои работы, и все это были главным образом вариации на тему Дон-Кихота.

Появилась своим чередом и понравившаяся мне женщина в костеле, появилась бабушка, очищающая овощи, коекакие пейзажи, но главным образом возникали перед глазами многочисленные, один другого разнообразнее. Дон-Кихоты.

Маленький Дон-Кихот, лилипутик, взметен под облака крылом огромной, гулливеровской прямо-таки мельницы; Дон-Кихот, летящий на мельницу с копьем наперевес; Дон-Кихот в окружении множества мельниц, и все машут крыльями, и, как затравленный волк среди своры собак, рыцарь не знает, на которую броситься.

Тут было много движения, экспрессии. Крылья мельниц даже гнулись от неистового, как бы даже озлобленного вращения, ветром останавливая и отбрасывая назад бедного Росинанта. Дон-Кихот прижимает подбородок к груди, у него срывает ветром шлем с головы, и всюду мельницы, мельницы, мельницы, и невозможно их победить...

Пани Ядвига, подруга художника, полненькая, пожилая тоже уж пани, накрывала между тем стол для чаепития, и мы провели у Россальских в общей сложности четыре часа за разглядыванием картин, за чаем, за душевными разговорами.

Я ушел, нагруженный пятью гравюрами. Все их развесить дома было бы невозможно (но и не брать тоже было нельзя), так что я в Москве некоторые из них передарил друзьям. Дон-Кихота среди множества мельниц, помнится, подарил одному хорошему поэту на день рождения.

Когда уходили, Барбара и пани Ядвига никак не могли распрощаться, они записывали телефоны друг дружки, снова говорили «до видзеня», «бардзо, бардзо дзенькуем», «проше, проше», «бардзо» и опять — «до видзеня».

Эта почти детективная история с картинкой, посещение семьи художника, их радушие еще больше подружили нас с Барбарой, и я несколько раз заходил к ней в свободные вечера пить кофе. Тогда-то и был вручен мне ключ от лифта. А улица, на которой Барбара жила, называлась Злота.

Теперь я по зрительной памяти, можно было бы сказать — на ощупь, ищу среди варшавских улиц тот перекресток, от которого начинается улица с таким красивым названием. Вот он и перекресток, вот и улица. Сейчас пойду по ней, пустынной, и вдалеке, в конце улицы будет стоять серый бетонный дом.

А между тем я иду и не узнаю улицы. Смотрю на табличку: «Злота», смотрю по сторонам — ничего похожего. Дома стоят рядами справа и слева, и все серые, бетонные. Появились новые магазины на месте руин и пустырей, кафе, зеленные лавки. Магазин женской одежды называется «Барбара». Весьма удачно для меня, разыскивающего польку как раз с таким именем. Надо посмеяться потом: «Не в вашу ли честь, милая пани Барбара...» Но сначала надо отыскать дом.

Захожу в один двор, в другой. Вход был со двора, хотя никакого двора, строго говоря, тогда не было. Но все же надо было свернуть с тротуара и пройти вдоль дома налево шагов семьдесят. Нет, ничего не могу узнать. Скверики, садики внутри дворов, наставлено автомобилей разных марок, преимущественно малолитражных «фольксвагенов» и «фиатов». Обозреваю балконы, на одном из которых я когда-то стоял, стараюсь представить вид с этих балконов — все напрасно. Обстроенная улица совсем изменила вид, и единственный новый дом, стоявший тогда на ней, стал в окружении других домов и в сочетании с ними выглядеть совсем по-другому.

Между тем ноги мои все шли да шли вдоль по улице, по тротуару, пока разглядывал дома и таблички с номерами на них, и вдруг сами собой повели меня влево. Я и теперь не совсем узнал этот дом, не был уверен, что тут вот оно и есть, но доверился влечению и даже вошел в подъезд. Ну, была не была! Ключ-то вот он, у меня в кармане плаща. Вставить и повернуть. Лифт открылся. Это еще не признак, впрочем,

что я на верном пути. Все ключи от лифтов скорее всего здесь стандартные. В скобяном магазине небось полтора злотых. Об этом даже размышлять не приходится — самый верхний этаж. Стоп. Приехали. Теперь остается угадать дверь, в которую позвонить. А их на площадке семь дверей. Опять-таки была не была! Звонок в утробе квартиры задребезжал глухо, словно в воде. Тишина. Какой-то звук. Шаги. Дверь открывается. На пороге стоит Барбара.

Вот они — резкие сдвиги в психологии. Минуту назад все казалось удалившимся до нереальности, то ли было, то ли не было. И дом забыт, и мог ведь человек уехать куда-нибудь, переменить место жительства, мало ли что могло случиться за десять лет. Но проходит минута, а такое впечатление, что этих десяти лет вовсе и не было!

За чашкой кофе надо было рассказать и ей и мне, хотя бы в двух словах, что и как, сколько всего пережито. И тут я спросил:

— А помнишь, Барбара, мы ходили тогда к художнику, Стефану Россальскому, как он, не интересовалась ты им с тех пор?

— Он Ричард, мой милый и давний друг, а вовсе не Стефан. Однако десять лет и правда прошло. Россальский умер. Ядвига пережила его на один месяц. Тут выяснилось, что они хоть и прожили всю жизнь вместе, не были... как это называется... зарегистрированы или повенчаны. Ее не могли похоронить вместе с ним. Не позволили объявившиеся родственники. И вообще она завещала, чтобы никто не знал, где ее похоронят. Так что, где лежит Ричард, я знаю, а где Ядвига — увы.

— Но откуда ты знаешь все эти подробности?

— Как откуда? Это были самые мои близкие люди во всей Варшаве, а значит... и вообще. И я, правда, думаю, что и я для них — тоже. Они были очень одиноки, правда. Ну и я... И вот мы были лучше всяких родных, правда. Я была для них вроде дочери, правда...

Барбаре становилось все труднее говорить, и я сдвинул разговор чуть-чуть в сторону.

— Вот что значит полежать в гостинице на диване.

— То есть?

— Ну как же... Лежал я в гостинице на диване, вглядедся в картинку, влюбился в нее, захотел иметь. И вот пожалуйста — изменение реальности. Одинокие и вовсе чужие люди стали близкими и родными.

— Однако это так, правда.

— Да и мы... в общем-то, подружились. Пожалуй, если бы не эта картинка, я сейчас не сидел бы здесь и не пил кофе.

— Хороша дружба. За десять лет ни письма, ни звонка.

— Не ругайтесь, пани Барбара. Зато я сохранил ключ от лифта...

1977

БАРОМЕТР

Дождик, дождик, пуще!
Старинная детская песенка

Дождь — не от слова ли «даждь»? Дай, подай, подари. Дождь, дожди, дождичек, задождило. Обложные дожди. Накрапывает, моросит, льет как из ведра. Теплый ночной дождичек — открыть окно — шуршит в крапиве, в листве деревьев... А то еще совсем прозаическая фраза из школьного учебника для четвертого класса: «Круговорот воды в природе».

Эта казенная фраза всегда была для меня исполнена глубокой поэзии. Когда я повторял ее то про себя, то вслух по нескольку раз, мне казалось, что этой фразой можно назвать книгу стихов, поэму. «Круговорот воды в природе, круговорот воды в природе»,— твердил я, и одновременно рисовались мне сквозь стеклянную прозрачность слов (как одновременно мы видим, что лежит за большим стеклом витрины и что на нем отражено) белые кучевые облака, плывущие, словно паруса, по синему летнему небу. Потом начинает синеть, темнеть, наливаться лиловой чернотой один край неба, начинает тянуть оттуда прохладой и влагой, свежий ветер неожиданными короткими порывами тревожит листву, и вот уж половина небесной сферы занята нависающей и как бы несущей угрозу тучей, и начинают ударять молнии сверху вниз, и первые крупные капли свертываются в шарики в дорожной пыли, прежде чем хлынет, освежит, напоит, омоет; потечет ручьями, засверкает лужами, засветится на траве и листьях, после того как туча уже прошла над нами и поливает теперь земли других деревень и сел. Начинает все куриться легким парком, испаряется, обсыхает, возносится кверху. Круговорот воды в природе... Вода журчит ручьями, грохочет водопадами, горными реками (талые ледниковые воды), бухает океанскими прибоями. Отражает небесную твердь и землю лесными озерами, большими прудами, тихими омутами,

отстаивается глубоко в недрах неведомыми нам подземными хранилищами воды, размеренно капает за веком век с причудливых сталактитов в пещерах, выбивается к солнцу родниками, ключами, голубеет и зеленеет айсбергами, выпадает на зеленые растения то инеем, то росой... Но при всем разнообразии форм и движений земной воды есть у нее два неотвратимых пути: подняться вверх, в небо, и пролиться опять на землю. Конечно, прежде чем пролиться, поплавает облаками и тучами, где обнадежит, а где, возможно, и напугает.

Однако в наших местах, в средних, как говорится, широтах, как бы угрожающе ни нависала туча, какой тревоги ни внушала бы нам, жителям средних широт, не боимся мы ни грозы, ни дождя, знаем, что ни тропических наводнений, ни тайфунов не принесет нам туча. Дождь у нас почти всегда благо. И боимся мы воды не в грозных и грохочущих проявлениях, а скорее в виде мелкого и занудного ненастья.

Я раздумался про все эти дожди (а можно было бы теперь их живописать и живописать, потому что мало ли я видел их разных), я раздумался про все эти дожди, когда по прошествии многих лет вспомнил один забавный эпизод, связанный с дождем. Эпизод тогда еще показал мне, сколько может стоить один хороший майский дождь.

У Петра Потаповича Кузьменко, которого по выразительности отчества все называли просто Потапычем, было свое отношение к дождю. Небольшой осколок, залетевший во время войны в мякоть бедра, остановился там около какого-то нерва и вот теперь сидит там, оброс мясом и, вообще-то, не мешает Потапычу ни ходить, ни двигаться, ну, там, ворочаться с боку на бок, спать на правом боку, придавливая осколок всей тяжестью своей полноватой уже к шестидесяти четырем годам комплекции. Можно было бы и совсем забыть про злосчастный осколок, если бы он сам не напоминал о себе всякий раз перед сменой погоды.

В небе — ясное солнышко, вокруг — летнее тепло, сухие дороги, по которым шныряют межколхозные автомобили и мотоциклы, поднимая дымовые завесы, медленно рассеивающиеся и оседающие на придорожную землю, припудривая травы и злаки. Ничто как будто не предвещает никакой перемены, и барометр показывает устойчивое равновесие в атмосфере, и сводки погоды в газетах и по

радио — все в один голос пророчат постоянство погоды, а у Петра Потаповича свой барометр.

На фоне, по-современному выражаясь, полной безмятежности и ленивой разморенной благодати во всем теле, при полном отдыхе, опять же по-современному говоря, каждой клеточки организма вдруг кольнет в урочной точке бедра. То ли повернется там осколок другим боком, то ли мясо само вокруг него, скажем, набухнет и плотнее его обожмет, то ли прижмет его к нерву — Петр Потапович не воображал всей точной механики,— но только кольнет и кольнет. Это начало. Потом появляется постоянная ноющая боль. Неприятно, но терпеть можно. Нытье, как по проволоке, растекается в обе стороны, то есть вверх до паха, до тазовой кости, даже и в поясницу будто бы отдает, и вниз до лодыжки, до ступни. Так иногда разболится, что приходится прихрамывать.

Ну, значит, жди, на девятый день сломается погода, и теперь, что бы ни писали в газетных сводках, что бы ни внушали по радио, Потапыч только посмеивается: «Мелите, мелите, я-то лучше знаю, что́ будет».

Само по себе — обыкновенное дело. Мало ли стариков с разными ревматизмами, у которых ноют в ногах суставы, у которых разламывает поясницу к дождю, мало ли операционных швов, старых ран и культей напоминают о себе к затяжному ненастью. Но ведь это все за день, за два, это не мудрено. Потапычев барометр срабатывал за девять дней, а в этом-то и была его редкость.

Кузьменко любил вычитывать в журналах (и выписывал ради этого «Вокруг света», «Науку и жизнь» и даже «Юный натуралист») разные диковинные разности, которых много в природе. В «Юном натуралисте» ему нравилась та страница, на которой сверху было написано: «Оказывается». Слово одно, а применяется на странице к пяти-шести примерам. Много там оказывалось неожиданного и даже невероятного.

Оказывается, в северных морях есть рачки, которые за две недели узнают о шторме и уплывают от берегов в глубокое место. Оказывается, пчелы заранее, в конце лета еще, знают, какая будет зима. Если жестокая, лютая, то усиленно утепляются, заделывают воском летки́, если же мягкая, то ведут себя более беспечно.

Вычитывая такие диковины, Потапыч изумлялся мудрости природы и как-то даже не мог поверить. Пчела! Велика ли тварь? И мозгу-то, наверно, с булавочную го-

ловку, а знает! Почему она знает? Какими такими средствами? Не может этого быть! Нельзя определить на всю зиму вперед, какая будет зима. Это уж сверхъестественное!

Но с тех пор как у самого Потапыча стала ныть нога на непогоду и особенно когда он заметил и высчитал, что болит она загодя, а именно за девять дней, он примирительнее стал относиться и к чудесам природы, вычитанным в журналах.

Если за девять дней возможно, почему же невозможно и больше? В чем-то он почувствовал себя частицей великой природы, вроде пчелы или того рачка из Карского моря. Ведь не великим же человеческим умом он предугадывает погоду, а безмозглой ноющей болью в ноге. Расчеты и выкладки, которыми оперирует бюро прогнозов, здесь ни при чем. Бывало ведь и так, что еще за два дня газеты дают прогноз хорошей погоды, а Потапыч уже знает, что послезавтра все переменится.

Он как раз налаживал шланг для поливки огорода из глубокого колодца при помощи маленького моторчика. То есть не сразу из колодца — холодна была бы вода для огородной овощи, но сначала накачать ее в бак, пусть прогреется на солнце, а потом уж можно пускать на полив огорода. Колодец у Кузьменки — не как бывалошние, с деревянными срубами. Просторная бетонная труба уходит в землю на глубину десяти метров да поднимается над землей на метр серым кольцом.

Есть и еще один колодец на усадьбе Кузьменки, но это уж смекалка и хитрость. Вблизи хаты Потапыч выкопал углубление и утвердил в нем бетонный резервуар. Тоже как бы колодец, но только «глухой», не замыкающийся внизу на водоносные слои грунта, а имеющий бетонное же дно. Вроде стакана емкостью на несколько сотен ведер. Верхний обрез «стакана» — заподлицо с землей, глухая деревянная крышка на нем ради того, чтобы не летела в резервуар пыль, а также чтобы не было испарения.

Обыкновенно по углам крыш приделывают желобки, по которым и стекает на землю дождевая вода. Если подставить кадку — в кадку, а то и просто на камни, которыми обычно выкладывается место под капелью: и не размывается земля, не выбивается ямой, и кадка, в случае чего, стоит ровно, устойчиво.

Петр Потапович Кузьменко перехитрил жившие до него

поколения сельчан. К углам крыши он приспособил длинные оцинкованные желоба, концы которых отвел в приготовленный резервуар. Теперь каждая дождевая капля упавшая на крышу, стекала в бетонное вместилище. А так как в нем было темно и прохладно, то вода могла держаться долго и расходоваться по надобности. Пить не пили застоявшуюся да и невкусную саму по себе пустоватую капе́льную воду, но на поливку, на стирку, мыться, на любые домашние нужды вполне годилось.

В том году пусто и сухо было в резервуаре. Снимешь деревянную крышку, и пахнет в лицо не влагой, не водой, а просто каменным холодом.

Весь апрель простоял сухой и на редкость жаркий. Ну апрель — ладно. Земля еще помнит прохладу снега, весенние воды, хоть их немного было после малоснежной зимы. Но в мае дожди нужны. «Май холодный — год хлебородный». А холодный, значит, и влажный. Старинная поговорка насчет хлебородного года. А то есть и более современная. Запомнил я ее приблизительно, а вторую часть совсем не запомнил, но по смыслу все равно будет похоже. В зонах орошаемого земледелия иногда говорят мужички: «Нам два дождичка по маю́, и все каналы — ю-ю-ю».

В этом рассказе как раз речь идет о местах с орошаемым земледелием.

Так вот, не было «по маю́» ни одного дождя, и пустовал у Кузьменки хитроумный резервуар, и приспосабливал он шланг для полива огорода колодезной водой. В это время у него и повернулся в бедре стальной германский осколочек.

Однако Потапыч не прекратил приготовительных работ, девять дней еще ждать дождя, а огород, он не терпит. Но все же отраднее сделалось на душе. Вот ведь казус! Неприятность, болезнь, осколок спать несколько ночей не даст, хромать придется, а все равно в радость, потому что дождь в конце мая... Это только тот, кто около земли живет, а если точнее сказать, только тот, кто землей живет, да не формально, по сводкам, а кто душой к ней прикипел, только тот знает, что такое дождь в конце мая, если за всю весну не выпало ни капли небесной и пыль на полевых дорогах лежит, как горячий пух, выше щиколотки.

Покажется странным, но по замкнутости ли своего характера, не любя ли хвастаться, но только никому в селе

Петр Потапович Кузьменко про свой удивительный барометр не рассказывал. Может, и говорил кому, но в разговоре, походя, не доводя как следует до сознания, что у него в ноге не просто осколок, а точнейший синоптический механизм. Мало ли кто скажет в деревне: «Что-то поясница побаливает, не к дождю ли?» Обычная деревенская фраза.

Так что встречу в тот день Петра Потаповича Кузьменки и председателя колхоза имени Буденного Егора Васильевича Сывороткина можно считать вполне случайной. Кузьменко пришел в контору за справкой (надо было съездить ему на базар), а в конторе в обеденную пору никого, кроме председателя, не оказалось. Не рассчитал немного Кузьменко, не то запамятовал, думал, что у них с часу перерыв, а оказалось — с двенадцати.

Егор Васильевич был свой же, сельский, что большая редкость теперь, когда председателей присылают со стороны, вернее сверху.

Мужики, то есть Кузьменко и председатель, когда-то и мальчишками бегали вместе, ловили раков, рыбу, лазили на чужие бахчи (хотя своих арбузов — девать некуда) и воевали, можно сказать, вместе, то есть в одно время, хотя и в разных местах.

Закурили по сигаретке (отошло время самокруток и козьих ножек), слово за слово, разговорились. Да и хорошо было сидеть в прохладном помещении, когда на улице пересохший и пыльный зной.

— Сухо,— сказал один.

— Великая сушь,— подтвердил другой.— На днях поливать будем. Звонили из управления, сказали, чтобы готовились принять воду. В этом году не обидно. Надо поливать! А вот прошлый год уж ругался, ругался я с ними. Земля еще влагу держала... помнишь, наверно, весь май дождички перепадали, а они настаивают — поливать. Конечно, им свой план выполнять надо, им деньги тоже нужны. Один только наш колхоз взять — земли обширные. Двукратная поливка стоит шестьсот тысяч рублей. Шутка ли! А поливка должна быть двукратной. Я и так и сяк от них отбивался — нельзя! Поливай, и баста! Так и пришлось поливать по естественной влаге...

(Должен оговориться, что в районах орошаемого земледелия я бывал в разных местах и несколько раз, но давно, в начале пятидесятых годов. Вероятно, сейчас изменилась вся эта система, но тогда организация, выполнявшая рабо-

ты по сооружению водохранилища, канала и всей оросительной системы, выступала в роли фирмы, отпускающей колхозам воду за деньги. Впрочем, по безналичному расчету, конечно. Во всяком случае, цифра «шестьсот тысяч» — в старых деньгах — сохранилась в моей записной книжке тех лет. Но вот как называлась организация, которая строила тогда водохранилища и каналы, и кто ею руководил — я почему-то не записал. Ну, да читатель, если захочет, может навести справки и все узнать. Для моего рассказа о цене дождя это неважно.)

Кузьменко уставился на председателя, можно было бы сказать — вытаращил глаза.

— Неужели такие деньжищи придется отваливать?

— Придется. Хозяева воды шутить не любят. Но в этом году, говорю, не обидно. В ножки еще поклонишься, любые деньги отдашь, только дай воды, ороси!

В глазах у Кузьменки произошла какая-то перемена. На мгновение они оказались сосредоточенными, словно посмотрели внутрь себя, а потом сверкнул в них озорной и живой огонек.

— Когда, говоришь, поливка?

— «Парижская коммуна» уже поливает. За ними «Маяк», начнет, а потом и мы.

— Слышь-ка... что я тебе скажу, Егор Васильевич, не бери ты эту воду, не поливай — такие деньжищи отдавать!

— Как это не бери! Ты что, во вредители меня записать хочешь? Ты знаешь, как мне шею намылят?

— Не намылят.

— Как так?

— А то, что через семь дней дождь пойдет. В четверг на той недели — жди. И получится, что ты их всех обхитрил. И земля полита, и денежки целы. Да и разве они польют, как дождь? Дожжик, он равномерно польет, каждый комочек напитает, каждый корешок омоет. А они —что? Течет вода по бороздкам, а между бороздками сухо.

— Почва пропитывается, иначе какой бы смысл...

— Смысл, может, и есть, я ничего не говорю. Но ты все ж таки на этот раз воду не бери. Верное слово: со среды на четверг ха-ароший дождь будет.

— Тоже мне, бюро прогнозов. Тебя послушаться — и в тюрьму сесть недолго.

— Не бойся, верное слово тебе говорю. Вот послушай-ка...

И Потапыч рассказал председателю про свой предсказывающий погоду осколок.

Возникает вопрос — почему так легко поверил председатель в научно не обоснованное предсказание Потапыча, равно как и вопрос, почему он, когда речь шла о судьбе целого колхозного урожая, действовал, исходя не из требований вышестоящих инстанций, вплоть до области и до управления (назовем так орган, ведающий каналом и оросительной системой), а из безответственных и безграмотных предположений, что в четверг на той неделе обязательно пойдет дождь?

Егор Васильевич Сывороткин считался хорошим и серьезным председателем, практиком, трезвым, рассудительным, без вывертов, без уловок, без ухищрений, когда требуются сводки и цифры в сводках, а цифр фактически еще нет. Одним словом, начальство всегда могло на него вполне положиться.

Ну ладно еще — расчеты, ну ладно еще — объективная реальность. Бывали случаи, когда заставляли сеять, а председатель видит, что земля не готова. Много бывало разных случаев, когда говорили одно, а делать надо было другое. Но ведь там очевидно, что земля не готова, можно взять ее в руки и пощупать. А здесь? Нет в руках никаких обоснований отказываться от полива полей, если только не тронулся человек от перегрузки... Но Сывороткин уперся.

Логически поведение Сывороткина объяснить трудно. Озорной эксперимент? Но дорого он мог обойтись, если на карту ставилась судьба урожая. Да и не был озорником председатель Сывороткин. Жадность, скупость одолела? Но, во-первых, урожай, оказавшийся под угрозой, стоил больше шестисот тысяч, а во-вторых, не свои же, не свои деньги выложил бы Егор Васильевич, строго говоря, даже и не деньги колхозников. Не то чтобы ходить по дворам и собирать на поливку — из банка, перечислением, при помощи одной бумажки и одной подписи переместилось бы там что-то, повернулось бы крохотное колесико на один микроскопический зубчик в огромном государственном механизме. А земля оказалась бы политой.

Искать ли отгадку в иррациональных сферах, в глубинах психологии? В реакции на прошлогодний случай, когда не надо было поливать, а пришлось? В реакции на многие, может быть, накопившиеся «ошибки», когда хотелось сделать не так, а эдак? Ну, тогда, как говорится, хлопнул бы дверью, так нет ведь, уперся самым нелепым, самым осли-

ным образом. Не исключено, что сначала уперся, не подумав как следует, а потом проснулось обыкновенное упрямство, и не мог пересилить сам себя Егор Сывороткин.

В районе, когда доложили кому следует, то есть Александру Михайловичу Шашину, то этот Александр Михайлович даже и не поверил.

— Что? Сывороткин отказывается от воды? Да что он, с ума сошел, что ли?

Тотчас и позвонил в колхоз Буденного.

Егор Васильевич? Привет, привет. Сухо? Сам знаю, что сухо. На днях дадим воду, готовьтесь принять. Там у тебя головной канал перекати-полем, наверно, весь завалило? Надо очистить. И вообще... Что-что? Что?! Не будешь поливать? Ты что, с ума, что ли, сошел, Сывороткин? Через шесть дней дождь пойдет? Да ты в своем уме? Тебе что, бабка на хлебной гуще нагадала? Ты вот что... ты брось эти штучки. Что?! Все равно не возьмешь?! Да ты понимаешь ли, что говоришь?..— Александр Михайлович бросил трубку, чтобы немного остыть, ну и заодно посоветоваться с вышестоящими товарищами.

Между тем сперва по колхозу, потом по соседним колхозам по району очень быстро распространилось: Сывороткин категорически отказывается орошать поля. Такое не могло не дойти и до области, и до управления, ведающего оросительной системой.

Сывороткин знал, что будут нажимать и что нажим будет до хруста костей. Мог бы уехать куда-нибудь, исчезнуть дня на три... Но этого-то он как раз и не мог, оставаясь председателем. В такое горячее время исчезновение председателя все равно что исчезновение с передовой, ну, скажем, командира батальона. Но заболеть бы мог. Стенокардия, спазм головных сосудов, приступ печени, обострение гастрита... Мало ли. Теперь каждый разбирается в своих потрохах и все там знает. Отлежался бы, отсиделся бы дома до четверга...

Но Сывороткин не хотел ни прятаться, ни болеть. Он, напротив, прилежней, чем когда бы то ни было, сидел в конторе около телефона, даже поглядывал на него искоса, и казалось ему, что телефон должен звонить чаще, а он не звонил совсем. И было в этом молчании телефона нечто тягостное, угрожающее, почти страшное.

По району навстречу первому слуху о невероятном непослушании председателя колхоза имени Буденного пошел распространяться другой слух — о том, что Сыво-

роткина с председателей снимают (по другим слухам, уже сняли и даже отдали под суд за саботаж) и что Сывороткин будто бы раскаялся на колхозном собрании, но было поздно.

Легко представить, как себя чувствовал сам Сывороткин, да еще около молчащего телефона. Но телефон все-таки зазвонил. Егор Васильевич услышал в трубке незнакомый, негромкий, кому-то знакомому подражающий голос, но в душевном волнении он не мог вспомнить — кому.

— Товарищ Сывороткин? — тихо, подчеркнуто членораздельно спросили у председателя.

— Сывороткин слушает.

— Вы понимаете, что вы делаете? На какой путь вы становитесь? И чем это грозит? С одной стороны — колхозу, а с другой стороны — вам, товарищ Сывороткин?

— Ну на какой, на какой путь?! — взорвался вдруг председатель.— Что вы мне все грозите? Или я о своей шкуре думаю? Деньги и колхозу нужны. Нам еще машины покупать. Нам еще комбикорма завозить, нам еще за минеральные удобрения платить, нам еще колхозников поддержать надо, нам еще... Что я их, себе, что ли, возьму? Нашему колхозу деньги нужнее, чем вашему управлению. Я же хочу как лучше. Я прошу отложить до четверга. За несколько дней урожай не погибнет. Предполагается, что в четверг начнутся дожди, а вдруг правда? Колхозные же деньги спасем. Не мои же. И труд сэкономим. И воду... Я понимаю, что вам надо свой план выполнять. Но ведь не ради же плана орошение, а ради полей. Если поля дождем польет, вы что, не рады будете, что ли? Я до четверга прошу, попробуем... рискнем...— почти уже с умоляющими нотками в голосе говорил Сывороткин.— Ну, попробуем.

— Одна попробовала...— начали было в трубке, однако не договорили известную грубоватую поговорку до конца.— Дадим воду, извольте принять. Вы меня слышите?

— Пусть приходит, а я ее не возьму,— не узнавая сам себя и тоже спокойно уже ответил председатель колхоза.

В тот же день к вечеру счетовод Шура Никитина приняла телефонограмму: «Председателю колхоза им. Буденного т. Сывороткину Е. В. явиться... к 10.00 во вторник 20 мая...»

«Ну вот,— подумал Егор Васильевич с упавшим сердцем,— там и решится вопрос о моем снятии. И как неудачно — во вторник. Подождать бы до четверга, двух дней всего лишь и не хватает».

Прочитав телефонограмму, Сывороткин положил ее в карман и пошел вдоль села к хате Петра Потаповича Кузьменки.

— Заварили мы с тобой кашу, будь он неладен, твой осколок! — сказал Егор Васильевич, здороваясь с Потапычем за руку.— А вдруг это липа — все твои дожди?

— Будь благонадежен. Сегодня всю ночь не спал. Так-то сильно, пожалуй, никогда не болело. Бури бы какой не случилось.

Тем временем хозяйка, жена Петра Потаповича, Вера Ильинична, соорудила мужикам закусить: нарезала домашнего сала и подала на стол три небольших соленых арбуза. Они хоть и с впалыми боками, сморщившиеся, словно прохудившиеся футбольные мячи (как-никак до мая долежались), но оказались, когда разрезали, с рассолом внутри, не обвялые, одним словом, арбузы что надо. И не перекисли нисколько.

— Вот что значит — погреб глубокий. Ах, хороши. Ну, Ильинична, удружила! Да в этакую-то жару...

Стаканы уже опустели к этому времени. Слово за слово мужики предались воспоминаниям детства. Чего-чего не перевоспоминали. И как, бывало, пекли жаворонков к прилету этих полевых птичек, а вместо глаз вставит стряпуха сушеные ягоды черной смородины. В одну из птах запекали копеечку — кому из семьи достанется. А кому достанется, тому проводить первую борозду. И какие были ярмарки. И стали было вспоминать, что было почем на этих ярмарках, но оказалось, что забыли и спутались. Потапыч утверждал (впрочем, после второй уж дозы), что курица стоила шесть копеек, а Сывороткин спорил, что пятиалтынный. А почем был овес за меру — забыли совсем. Потом повспоминали лошадей. Пошли тут графчики, копчики, вороные, соловые...

За разговором словно бы и забыли о сегодняшней неприятности, но подспудно точила мысль и вскоре навела их на воспоминания о засухах, о молебнах, о крестных ходах.

— Тебя бы с твоим осколком тогдашнему нашему попу отцу Василию, цены бы тебе не было, Потапыч. Как заболела нога — сейчас молебен о дожде. Эффект!

— Не скажи, тоже ведь не ради одного эффекта молились. Верили, что и вправду поможет.

— Средства другого не было, а теперь вон видишь — канал.

Упоминание о канале вернуло Сывороткина к действительности и к телефонограмме. Он погрустнел было, но выпитое, и арбуз, и воспоминания как-то отвлекли и отдалили все, да и Потапыч лишний раз уверил, что будь, мол, благонадежен.

Однако в ночь на вторник Сывороткин долго не мог уснуть. Все его упрямство предстало ему в другом, резком свете, словно при взгляде со стороны. В самом деле, ну чего он затеял и зачем? Заговорила крестьянская жилка? Сработал вековой механизм? Нерасчетливо тратить воду и деньги, если все равно ожидается дождь? Да тебе-то какое дело? Ты хлеб выращиваешь для кого? Для государства. Воду тебе дает кто? В конечном итоге государство. Деньги ты перечислишь кому? В конечном итоге государству. А деньги чьи? В конечном итоге — государственные. Конечно, организации могут называться по-разному. И даже юридически считается, допустим, что колхоз и государство — это разное вроде бы дело. Но дело-то одно — хлеб.

Ну и что же завтра? Покаяться? Признаться, что осознал? Какая-то муха укусила? А какая муха, если разобраться? Не понравилось, что начали нажимать, такая уж натура: чем крепче жали, тем сильнее Сывороткин противился. Значит, весь вопрос в том, можно ли с такой натурой оставаться председателем? А, ладно! Пусть решают, как хотят. Вот только бы Потапычев барометр сработал. Если не сработает, тогда действительно плохо — уж не для Сывороткина, а для хлеба, для главного дела. Нет, а как хорошо бы: его обсуждают, а за окнами дождь шумит...

До района от колхоза Буденного — одиннадцать километров. Надумалось Сывороткину не ехать в район на своем «газике», а встать пораньше и прогуляться пешком. Два часа. Ну, два с половиной тихим шагом. Пройтись, проветриться перед взбучкой. Зайти на полчаса в районную чайную — еще будет время. Выйдет он в дорогу в половине седьмого. Ну а чтобы проснуться — будильник не надо заводить, каждый день председатель в шесть часов уже на ногах.

Еще не открыв глаз, еще не проснувшись как следует, Сывороткин почувствовал, что в мире что-то переменилось. Он откинул оконную занавеску и вместо ясной полосы чистого, зеленоватого, предвещающего чистотой своей раскаленный полдень утреннего неба, перечеркнутого в нескольких местах стволами молодых топольков, увидел

какой-то серый студень, так что даже и топольки почти не видны на нем, сливаются, стушевались и растворились.

Да ведь это же дождь! И не из тучи какой-нибудь, а обложной, повсеместный, устойчивый, на несколько дней. Не пошел еще пока, но если забито все небо таким студнем, то пойдет с часу на час, не надо и сомневаться.

Дождь пошел, когда Сывороткин уже был в пути. Пошел дождь нехотя, мелкой водяной пылью и туманом. Но в этой пыли засверкали крупные полновесные капли, словно в тонком и мелком сите, через которое сеяли там, наверху, дождевую воду, было проткнуто гвоздем несколько дырок. Сито вскоре заменили решетом, а потом грохотом [1]. Окрестности сразу наполнились ровным шумом. То, что было пышной и мелкой, как пудра, дорожной пылью, начало прилипать к ногам сначала крутой, как замазка, а потом разжиженной грязью. Тусклая, запыленная, поблекшая от сухости зелень и справа и слева от дороги стала яркой, как делается яркой переводная картинка, когда сотрут с нее мокрым пальцем слой тусклой бумаги.

Егор Васильевич не думал о том, что идти ему будет все труднее и что он промокнет до нитки. Впрочем, теплым, почти парным был дождь. Не думалось даже о том, зачем и куда он идет, по какому такому поводу. Этот повод странным образом уменьшился и померк перед тем, что окружало теперь человека, шедшего посреди земли, поливаемой обильным дождем.

И как же оценить теперь этот дождь? Это ведь только для одного колхоза — шестьсот тысяч рублей. Конкретное денежное выражение. А остальные поля? А весь район? А леса? А степная зелень? А вся земля?..

У Потапыча в резервуар по двум водосточным желобам хлестала вода. Но к его радости примешивалось грустное чувство: на два дня раньше пошел дождь, стареем, стареем. Только от старости укоротился срок до семи дней, а там, гляди, и еще убавится...

Он прислушался к боли в своем бедре и явственно ощущал, как боль слабеет, уходит, словно растворяется в благодатных, омывающих и освежающих струях дождевой воды.

1976

---

[1] Грохот — большое специальное решето с крупной сеткой. Служило для провеивания зерна.

РЫБИЙ БОГ

Первый взгляд — мельком и вскользь. Слева от дороги зеркало в камышах, плоское, как и все здесь в степи. Не настолько большое, чтобы казаться выпуклым, то есть не море, не озеро, а именно — пруд. Далеко, на другом крае зеркала,— домик, серый наперсточек. Острая вертикальная зацепка для глаза рядом с идеальной зеркальной поверхностью.

Я уезжал из гостей из Семикаракор (донская низовая станица, теперь, впрочем, просто большой населенный пункт с двадцатью тысячами жителей), и пруд мелькнул просто так в левом автомобильном стекле, а внимание все было уже на ростовском аэродроме.

Но зацепка глазу произошла. Разговор в течение последующих минут держался около промелькнувших пруда и домика, и тут я узнал, что это вовсе не захудалая рыбачья или рыбоводческая хижина, где жили бы сторож или кормач, но современный благоустроенный коттедж с двумя прекрасными комнатами и просторным холлом. Вокруг виноградник и сад. За пределами их — бахчи с арбузами.

— Хочешь, Алексеевич, в августе на арбузы? — предложил Борис Куликов, мой семикаракорский гостеприимец.— Я поговорю с председателем рыбколхоза. Будешь жить в этом домике. Рядом Дон, рядом Сал. Полынная степь. Промоешь душу. Договорились?

Так двенадцатого августа я оказался обитателем действительно благоустроенного и удобного коттеджа, окруженного действительно виноградником, на берегу действительно карпового пруда. От фундамента дома до кромки воды — тридцать шагов. Можно сказать, что две недели я жил наедине с прудом, общался с ним и думал о нем.

Но сначала походим вокруг да около. Оглядимся, запомним обстановку и место действия.

«Наедине» — это сказано условно и слишком сильно. Домик, рассчитанный на приезжих гостей, удобен и для более близких колхозных нужд. Главное, что есть кухня с газовой плитой и вся необходимая посуда, включая ножи и вилки. Шагах в пятидесяти, если пройти по узкой тропинке через виноградник, вы окажетесь под большим абрикосовым деревом. Там вы увидите длинный дощатый стол и дощатые лавки. Уже на другой день моего приезда за этим столом отмечалось шестидесятилетие колхозного бухгалтера. Застолье сопровождалось донской ухой, вяленой

рыбой, карпами в рассоле и разноголосым пением бывших казачьих песен. Это мероприятие не было для меня угнетающим, во-первых, потому, что оно не касалось самого домика, а во-вторых, потому, что я, не дождавшись его окончания, ушел гулять в тихую предвечернюю степь.

Второе нашествие случилось неделей позже. Хозяйка с утра еще объявила, что будут доноры.

— Много ли?

— Человек двадцать пять.

— Здесь откроется донорский пункт?

— Нет, кровь они сдадут в больнице. А здесь полагается им после этого угощение. Так уж у нас в колхозе заведено. Не первый год.

— Да кто они, доноры?

— Молодые мужики, колхозники. Кто шофер, кто тракторист, кто моторист.

Мероприятие осложнилось тем, что в этот день шел дождь и под абрикосом сидеть было нельзя. Заняли холл, сдвинув бильярд и поставив столы. Котел с тушеными утками опустошался долго, и мне приходилось ходить, если я хотел выйти из своего верхнего убежища, как раз мимо шумных столов...

В остальные дни появлялись только одиночные посетители. Приезжал председатель. Иван Васильевич Абрамов, пятидесятилетний здоровый, упитанный мужчина, круглолицый и голубоглазый (и в голубой рубашке) фронтовик-разведчик, с осколком, сидящим в нем где-то около диафрагмы. Главный хозяин дома, пруда и всего колхоза. Приезжал на своих «Жигулях» заместитель председателя, главный рыбовод Саша Борисо́в. То есть просто Борисов, если по-русски, но в Семикаракорах своя манера произносить самые обыкновенные фамилии: Ку́ликов, Борисо́в. Саша — совсем молодой мужчина, светловолосый и весь, я бы сказал, какой-то розовый. Недавно только окончил заочно Московский рыбоведческий институт. Приезжал Борис Куликов, поэт и прозаик, живущий в Семикаракорах и сосватавший мне, как помним, это прекрасное обиталище.

Слышались перед домом голоса, стучали бильярдные шары в холле, фыркали моторы отходящего или пришедшего автомобиля.

Семьи хозяйки, обслуживающей домик, в течение целого дня не было слышно. Глава семейства, колхозный шофер, целый день был на работе. Дочка зубрила — сдавала вступительные экзамены в Ростовский юридический

институт. Сама хозяйка либо неслышно хлопотала на кухне, либо копошилась в огороде. Они жили в отдельной комнате, смежной с кухней. Но вечером (великое наше завоевание) семья рассаживалась в холле перед телевизором и включала его как можно громче. Передавали громоздкий, не двадцати ли серийный, детективный фильм, все события которого легко можно было бы уложить в полтора часа, как это и делается в хороших приключенческих фильмах. Тем не менее все серии приходилось если не смотреть, то слушать. Они неизбежно накладывали печать на мое сознание, и вот некоторые отрывки своей прозы я поневоле пишу в духе этого громоздкого зрелища.

Информация к размышлению. Донская уха. Только что пойманную и хорошенько очищенную рыбу кладут в котел (ведро, большую кастрюлю) и начинают варить. Когда вода закипит, опускают в нее большое количество красных, нерезаных помидоров. Через некоторое время помидоры вынимают, разминают в отдельной посудине, отделяют кожицу и получившуюся красную горячую жижу опять выливают в котел с ухой. Таким образом, вся уха получается красного цвета и кисловатого вкуса. Когда я робко попросил сварить мне уху без помидоров, меня не поняли. Для донцов уха без помидоров такая же нелепость, как, скажем, вино без градусов.

Информация к размышлению (продолжение). Карп в рассоле. Впервые я узнал, что такое карп в рассоле, под абрикосовым деревом, во время чествования колхозного бухгалтера. Конечно, бывают караси в сметане, бывает судак, запеченный в тесте, бывает осетрина, запеченная в ломтиках картофеля. Но все же нельзя придумать столь же вкусное и здоровое блюдо, как карп в рассоле.

Только что пойманных и хорошо очищенных карпов варят в течение десяти — пятнадцати минут в тузлуке, то есть вот именно в рассоле, в очень-очень соленой воде. Потом их вынимают и выкладывают на большое блюдо рядами. Каждый ряд пересыпают мелко рубленным укропом, измельченной петрушкой, перцем, раздавленным душистым горошком. Карп остывает и одновременно пропитывается специями и пряностями. Можно этих карпов есть через час, через два, но можно и на другой день. Чем больше они стоят (в холодном месте), тем душистее становятся. У нас они не задерживались, да мы и не готовили их помногу, имея в виду близость пруда.

Меня озадачило слово «сады», произносимое здесь довольно часто.

— Как пройти к Салу?

— А вот пройдешь виноградник и налево. Так все садами и иди.

Я шел, как мне говорили, но не мог понять, что же здесь называется садом. Росли, правда, разрозненные деревья и кустарники, одичавшие и общипанные. В общей сложности они занимали большое пространство и тянулись по берегу теперешнего пруда, как бы повторяя своей протяженностью станицу Семикаракорскую, расположенную на другом берегу. Отдельные деревца, хотя и занимали большое пространство, но стояли друг от друга далеко и никак не могли произвести впечатления садов. Разве что бывших? Борис Куликов мне все рассказал. Было два возвышенных места, а между ними — длинная впадина. Весной она заливалась водой, а летом высыхала. На одной возвышенности — станица, на другой возвышенности — сады. Далековато от куреней. Но это не мешало. Приезжали на лошадях и обрабатывали. Загородок не было, баловства не водилось. Росли яблони, груши, сливы и вишни. Потом у людей нашлись другие заботы и печали, стало не до садов, и сады остались бесхозными, начали хиреть, вырождаться, исчезать с лица земли. Теперь мы видим только остатки. Как будто открыли некий краник, и утекла живая вода. Осталось сухое и бесплодное место.

— А жаль,— заключил Борис Куликов.— Прекрасные были сады.

Я любил гулять по этим одичавшим садам от одного дерева к другому далекому дереву. В одном месте несколько яблонь и слив сбились в кучу, точь-в-точь как это сделали бы в конце сечи остатки побежденного и начисто почти полегшего войска. Сплотились бы человек сто, ощетинились бы во все стороны саблями и пиками, чтобы подороже продать свои жизни.

Было тут так: на яблоне десяток уцелевших яблок, а под ней — желтый или красный круг. Вся земля усыпана опавшими плодами. Яблоко к яблоку, без просвета. Я поднял яблоко пополосатее, вытер о полу куртки и врезал в него зубы. Да ведь это же мое детство! Дедушкин сад и яблони в нем под названием «пресная». Взрослые не любили эти пресные яблоки без всякой кислоты и без необходимых яблочных ароматов: только сласть под толстой кожуркой, впрочем, немного вяжущая и горькова-

тая. Но я их любил. И вспоминал часто, как безвозвратное детство, потому что негде было взять в современных садах, специализировавшихся на трех-четырех основных сортах, это, может быть, и не имеющее большой товарной ценности, но дорогое мне яблоко. И где же я его встретил? На Дону! В одичавших и вымирающих семикаракорских садах, там, где последние яблони и сливы сбились в кучу и образовали нечто вроде круговой обороны. Но и в их строй уже врубился топор. Вчера еще не было, а сегодня я вижу — три старые сливы срублены под корень...

Впрочем, все равно эти кустики и деревья подлежат расчистке и сноске (и уже местами поскоблил землю бульдозер). Председатель Иван Васильевич наметил место бывших садов занять под бахчу. Тогда, вероятно, исчезнет и само словечко «сады» применительно к этому месту, продолжающее пока существовать в обиходном языке семикаракорцев.

Итак, между станицей и садами всегда существовала впадина, балка, заливаемая весенней водой и сухая летом, а тем более в зимнее время. Впадину улучшили где надо, местами выровняли ее дно, местами насыпали земли, чтобы создать надежные берега, а из Сала накачали в нее воды. Эту систему водоснабжения я видел. Сал, протекающий метрах в семистах от впадины, отделен от нее сухой степью. Его русло лежит ниже пруда. Поступили так. Насосами по трем коротким широким трубам поднимают воду круто вверх в узкий канал (канаву), по которому она уже самотеком идет к впадине. Впадина перегорожена верхней плотиной. По этой плотине продолжается канал, приведший сальскую воду. В трех местах на плотине положены короткие наклонные трубы. Вода из канала устремляется по ним и постоянно пополняет пруд. Здесь его начало, его верх. Внизу стоят шлюзы, через которые можно сбрасывать воду по мере надобности. Можно выпустить ее всю. По другой канаве она самотеком течет обратно в Сал: ведь его русло лежит ниже пруда. Всю эту систему я проследил от начала до конца, но можно ее и не знать, а просто жить на берегу пруда и любоваться каждый день его огромным зеркалом, оживленным по краям высокими зарослями камыша, а посередине кое-где штриховыми ажурными камышовыми прядями.

Живя на одной и той же земле, разные биологические виды (семейства, отряды) тем не менее некоммуникабельны, как теперь принято говорить. Едва ли делятся впе-

чатлениями и эмоциями между собой, скажем, барсук и сорока, белка и лось, бабочка и кузнечик. Впрочем, о языке животных мы можем только гадать. Возможно, существуют какие-то эманации, внушающие другим то или иное чувство. Замечено, например, что крыса, пробегая мимо, вызывает у человека почти неизбежное чувство не только омерзения, но и страха. В конце концов не тигр и не волк, чтобы напугать. Но, может быть, промчавшийся мимо волк вызывает у человека меньше разных отрицательных эмоций, нежели крыса.

Многие виды вообще не знают о существовании друг друга, хотя часто приносят друг другу взаимные неприятности. Например, доказано, что муравьи нас не видят и в нашем человеческом облике нас не знают. Мы существуем для них как некая сила почти космического порядка: расшевелили муравейник палкой, подожгли муравейник, вырубили вокруг лес, посыпали лес химическим порошком... Они знают нас по результатам наших действий, но не знают непосредственно как таковых. Для комаров мы, вероятно, проявляемся только в виде теплоты, которую они улавливают на расстоянии, и, может быть, в виде запаха — знак: можно напиться как из озера...

И все же между нами и пчелой, между нами и птицей, между нами и белкой есть одно великое общее: мы живем в одной стихии, мы обитаем на суше, на воздухе, и нас не делит та, смертельная в обе стороны грань, которая разделяет сушу и воду. Птица, мышь, слон, человек, оказавшись под водой, сразу погибают, точно так же погибает любая рыба, оказавшись на берегу. Две сферы существования, как бы даже два разных измерения, хотя и соприкасающихся и соседствующих: только протянуть руку или высунуть нос. Но нет проще способа погубить на земле все живое, как залить землю водой. И нет проще способа погубить все живое в воде, как взять и выпустить из водоема всю воду. Потоп и антипотоп. Потоп водой и потоп воздухом, атмосферой, пустотой. Спасайся на Арарате, на высоком месте, выступающем из воды, или спасайся в яме, в глубоком месте, не заполненном еще враждебной стихией воздуха!

А между тем две враждебные сферы жизни соседствуют, соприкасаются, и места их соприкосновения как ничто другое украшают нашу планету. Что была бы наша земля без океанов, без быстрых и медленных рек, без ручьев и речушек, без лесных и горных озер, без прудов, обсаженных пышными деревьями или обросших по берегам

камышом, как вот этот пруд, перед которым я сижу на деревянных мосточках.

Я пришел и сел на берегу пруда, любуясь им, собираюсь купаться. Я еще ничего не знаю о его обитателях и могу только догадываться, что в таком пруду должна жить рыба.

Странно шуршат и шевелятся камыши, словно кто-то трясет их в воде, задевает за них, колеблет. Мне не видно виновников этого шуршания, но я знаю теперь, что водоем обитаем. В нем живут некие существа, способные трясти и качать камыш.

В таком пруде, как этот, жизнь не замедлит проявиться и дать о себе весть. Раздается всплеск. Оборачиваюсь. На воде круги. Через некоторое время из воды к нам, в нашу стихию, свечой взвивается золотистая рыбина. Поднявшись на полметра над поверхностью воды, она шлепается обратно. Что она увидела здесь, в нашем мире?

Посередине озера медленно тарахтит катер кормача. Водяной трактор — назвал бы я его. С борта по специальному лотку сыплется в воду корм. За катером — кипит, бурлит, плещется. Сотни рыб одновременно взлетают вверх и шлепаются в воду. Не со всего ли пруда сбежались карпы. (Комбикорм дают!) Суетятся, толкаются, оттирают друг друга, теснятся, жадно хватают корм, мчатся дальше за тарахтением катера. То есть, вообще-то ведут себя так же, как вели бы себя и мы, если бы жило нас в тесноте очень много тысяч, и если бы мы были голодны, и если бы нам выбросили еду. Может быть, только обходится без брани да без драк, а впрочем, кто знает?

В других водоемах плавают разные рыбы, и живут они там просторно. Щука стоит в траве и поджидает добычу, какую-нибудь там плотицу; окунь гоняется за мальком; налим сидит в норе; голавль держится на перекате на быстром течении; сом лежит в глубокой яме; жерех лупит хвостом по воде и тотчас хватает оглушенную мелкую рыбку; карась копается в иле; язь выглядывает из-под ивового куста — не упадет ли на воду жирная стрекоза, чтобы метнуться стрелой и молниеносно схватить. У каждого свой образ жизни, у каждого свое дело, у каждого свой срок жизни. Может быть, съедят тебя в это же лето, а может быть, сохранишься и проживешь многие годы. Говорят, попадались щуки с петровскими еще кольцами в жабрах, позеленевшие от старости.

Так или иначе, даже в самых огромных водоемах, в земных океанах, эти наши странные и удивительные

сожители по планете в чем-то испытывают влияние человека. Судьба их в чем-то зависит от него. Там он опустит трал и выловит кучу рыбы, а там он прольет в воду нефть или другие ядовитые вещества, там закинет крючок с приманкой. Вертолеты высматривают сверху селедочьи косяки, локаторы прощупывают толщу океана, плотины перегораживают текучие реки. Меняется водный режим, меняются условия питания. Некоторые обитатели гибнут, а некоторые выживают. Такова уж современная жизнь.

И все же на жизнь естественных водоемов влияет вообще человек со своей цивилизацией, а здесь у нас полновластный хозяин, как говорится, и бог — Иван Васильевич Абрамов, председатель колхоза. Вот он подъехал на «газике», вышел на берег пруда в голубой рубашке, окинул взглядом свое хозяйство. Два миллиона четыреста тысяч карпов сидят в этом пруде, и все в его руках, в его председательской власти. Да их и на свете не было бы, если б не он. По его распоряжению в марте закрыли нижние шлюзы, остановили весеннюю воду, подкачали из Сала до нужного уровня. По его распоряжению были заранее выращены в других прудах маленькие карпики, которых и выпустили в апреле в этот пруд. Было в каждом карпике от пятидесяти до восьмидесяти граммов весу.

Известно, что пятьсот карпов на каждом гектаре пруда могут жить и развиваться в естественных условиях, без подкормки. Но если их посадить в пруд в двадцать раз больше, по десять тысяч штук на один гектар, значит, их надо кормить, иначе они не вырастут.

Я спросил у главного рыбовода Саши Борисова:

— Что будет, если вдруг перестать кормить этих рыб, не бросать им ни комбикормов, ни размоченной пшеницы?

— Сначала остановятся в росте, начнут худеть, а потом вымирать. В конце концов останется, если не вмешаться, естественная норма — пятьсот штук на гектар. Но может случиться худшее: от голода начнутся болезни, и вымрет все население пруда. Все как у нас, если бы нас посадить на необитаемый островок в такой же тесноте, или окружить в городе и не давать никаких продуктов, или окружить забором, или вообще окружить... Для каждого биологического вида существуют определенные нормы плотности обитания. А мы здесь не просто должны поддерживать их существование, но кормить так, чтобы они быстро росли и чтобы к осени были все по восемьсот граммов, а то и боль-

ше. У нас задача — дать государству тысячу шестьсот тонн живой рыбы.

Информация к размышлению. В состав гранулированных рыбных кормов могут входить жмыхи, шроты: льняного не более 10 процентов, рыжикового 8 процентов, кунжутного 15 процентов, арахисового или соевого 30 процентов. Вика, чечевица, горох, овес, ячмень, пшеница, рожь, кукуруза в зерне. Мука, сечки, отруби, рыбная мука, мясокостная мука, мел, люпин горький, люпин сладкий, мельничная пыль, ракушечниковая мука, травертиновая, кровяная мука.

Дезинфицирующие вещества: хлорная известь, едкий натрий, негашеная известь, формалин, марганцевокислый калий.

Лечебные препараты: горчица, фенотиозин, биомицин, феносал, метиленовая синь, бриллиантовая зелень.

Удобрения: аммиачная селитра, калийные удобрения, суперфосфаты.

Ростостимулирующие вещества: лизин, гидролизные дрожжи, террамизин.

Примечание: лекарственные вещества добавляются в корм, а дезинфицирующие вещества прямо в воду. Удобрения вносятся в воду. Иногда производится известкование воды.

Теперь скажите, чем же не бог для карпов председатель Иван Васильевич, чем же не его главный архангел — Саша Борисов? Начались в рыбном царстве заразные болезни, грозные эпидемии и массовое вымирание. Но — чу! Что-то произошло такое, отчего эпидемии прекратились сами собой. Чудо произошло. Не оставил бог своей милостью. Откуда им знать, что добавили в корм сильнодействующие препараты и заодно растворили в воде дезинфицирующие вещества. Или замечено в рыбьем царстве, что средний прирост каждого карпа сильно увеличился по сравнению с прошлым месяцем. Акселерация! Рыбы могут только гадать о причинах, считая их причинами постороннего космического порядка. А дело объясняется тем, что в рыбколхоз завезли ростостимулирующие вещества, с которыми в прошлом месяце случился непредвиденный перебой.

И у богов бывают промашки. Сегодня утром я слышал, как председатель распекал своего заместителя, главного рыбовода. Думали, что на складах лежит двадцать тонн кормов, а на деле их там не оказалось. Сегодня и завтра

рыбы не получат привычного пропитания, поступающего к ним откуда-то с неба.

— Поезжай немедленно в совхоз. Они нам должны,— приказывал Иван Васильевич своему главному архангелу.

— Почему совхоз вам должен корма? — поинтересовался я.

— Корма поступают постепенно, согласно плану. Скажем, в апреле пришли корма, а они нам в апреле почти не нужны. Карпы еще маленькие. Корм будет лежать. Совхоз просит в долг, мы и даем. Взаимовыручка.

— Им-то зачем рыбий корм?

— Это же комбикорм! Питательный продукт. Свиньям, уткам, куда угодно.

— Ну, а вот завтра вы поедете... Они вам отдадут те же комбикорма?

— Где им взять? Дадут обыкновенной пшеницы.

— Пшеницу и будете кидать в пруд?

— Бесполезно. Целое сухое зерно карп, конечно, проглотит с голодухи, но, извините за выражение, оно так непереваренным из него и выскочит с другого конца.

— Как же быть?

— Сначала пшеницу размочим. У карпа в глотке есть такой пресс, вроде жернова. Прежде чем зерно проглотить, он его этим прессом раздавливает. Ну, а раздавленное — оно уже переварится.

— Сухое ему не раздавить?

— Сухое не раздавить.

О боги, боги! У вас там, оказывается, свои дела; свои отношения с совхозом, свои расчеты, а мы из-за этого должны глотать вместо нежных и питательных гранулированных кормов плохо и наспех размоченные пшеничные зерна,— могли бы сказать, наверно, карпы.— Ну да ладно,— продолжили бы они,— нечего бога гневить — все-таки корм. Тарахтит катер кормача, сыплется с лотка струя пшеницы. Вдоль всего пруда в привычном месте ложится на дно полоса зерна. Как-нибудь разжуем, раздавим, с голоду не умрем. Только на два дня и случился перебой. А сегодня опять с утра затарахтел мотор. Скорее туда со всех сторон, изо всех углов. Братцы, пшеничные зерна дают!

Кипит вода позади катера, выныривают сразу десятки рыб и опять шлепаются в воду, теснятся, отталкивают друг друга, суетятся, хватают и насыщаются. Ладно. Жить можно. Бог дал день — бог дал и пищу.

Информация к размышлению. План по тресту:

1966 год — 67 558 центнеров живой рыбы.

1970 год — 69 750 центнеров живой рыбы.

1973 год — 120 000 центнеров живой рыбы.

1975 год — 177 000 центнеров живой рыбы.

Сегодня тихо над прудом, нет никакого ветерка, не шелестит камыш, не рябит вода. Большая серая цапля делает круг над серединой зеркала и отражается в нем, парит.

— Смотрите-ка, цапля! — радуюсь я, стоя на берегу рядом с Иваном Васильевичем.

— Цапля...— осуждающе подтверждает рыбий бог и смотрит вслед парящей птице с ненавистью, как на врага. В его глазах я читаю смертный приговор этой большой и красивой птице.

— Неужели не любите? Хорошая же птица, и становится редкостью. Беречь бы...

Но Иван Васильевич только рыбий, а не всеобщий бог, и смотрит на цаплю с гневом.

— Может быть, на естественных водоемах она и не приносит большого вреда. Может быть, там она приносит даже пользу, производит естественный отбор среди обитателей, но у нас — дело другое. Наш пруд перенаселен карпами. Куда ни ткнет она своим клювом — попадает в живую рыбу. Тут нет никакого отбора, один урон нашему хозяйству. Весной, когда карпики только выпущены, мы находили в желудках у цапель до восьмидесяти штук этих карпиков. А восемьдесят штук — это осенью восемьдесят килограммов рыбы, а то и центнер. Да и теперь вот, будете ловить на удочку — сами увидите, то и дело попадаются карпы с большими ранами. Это она своим клювом... Нет, мы их по возможности стараемся убивать. А сейчас поедем, я вам покажу, где сальская вода поступает в пруд. Вы еще не видели этой картины.

И вот мы видим, что в плотине, перегородившей балку (верхняя плотина), проделан узкий канал, который проще назвать канавой. Тоже своя жизнь в канаве. Разные водяные травы, водяные жучки, лягушки. Течет вода по канаве вдоль всей плотины. Но вот небольшое приспособление — квадратный резервуар, и вода его наполнила, накопилась в нем. Она течет и дальше. Резервуар этот — как узелок на веревке, и таких узелков на плотине три. От резервуара в сторону пруда отходит широкая наклонная труба. Ее

можно перекрыть, но теперь она открыта, и часть воды из канала переливается в пруд.

Место, где вода стекает в пруд, огорожено сетками и решетками. Да и на саму трубку, на нижний вытекной конец ее, надета капроновая сетка. Значит, вода попадет не прямо в пруд, но в предварительную сетчатую камеру и только потом уж, через стальные ячейки, растекается по пруду и смешивается с общей прудовой водой.

Решетчатые проволочные предосторожности предприняты не напрасно. Полчища карпов сомкнутыми рядами буквально штурмуют металлические заграждения. Метров на тридцать вокруг рыба толпится вплотную одна к другой. Карпы разбегаются и выпрыгивают из воды на метр и выше. Словно обезумев, они ударяются о сетку, падают в воду и выпрыгивают снова. Но, может быть, это выпрыгивают другие карпы, а ударившиеся уходят в глубину, чтобы прийти в себя от удара, отдышаться и снова устремиться на штурм. Справа и слева от сетчатой камеры рыба выбрасывается на берег, на крутой скат плотины. Трепыхается три-четыре раза, ударяясь то одним боком, то другим, и соскакивает обратно в воду. Можно ее в это время схватить и положить в кошелку.

Почти хрестоматийным стал случай, как один смекалистый старик ловил рыбу, сидя на такой же, но только низкой плотине. Та плотина разделяла пруды один от другого. Карпы стремились из нижнего пруда перепрыгнуть в верхний. Выпрыгнет свечкой, оттолкнется от плотины и шлепнется в воду уже в другом пруду. Старик устроился с кошелкой на этой своеобразной коммуникации. Но после того как три карпа оказались в сумке, он заметил, что переселение приостановилось. Не слыша всплесков от предыдущих карпов, остальные перестали выпрыгивать. Тогда старик, кладя очередного карпа в сумку, бросал в воду камень, чтобы произвести всплеск. Карпы обманулись, и дело пошло.

Если это не выдумка, то перед нами элементы сознательности, то есть разума. Но все же там была тихая и мирная обстановка, когда можно прислушаться, подумать, сообразить. Два таких пруда, разделенных низкой плотиной. Подплывая к плотине, карпы своими органами ощущают близость другой воды, и... почему бы не попробовать? Но азарта там нет. Вода за плотиной такая же тихая, сонная, прудовая.

Здесь им думать, прислушиваться, рассуждать не при-

ходится. Ведь что такое для них эта струя воды, втекающая в пруд по наклонной трубке? Это ниточка, связующая пруд со всеми остальными запасами воды на нашей планете, проводочек, который замыкает эту теплую, перенаселенную лужу на огромные водные пространства.

Я спросил у главного рыбовода:

— Неужели только потребность в кислороде заставляет этих рыб бросаться на проволочные заграждения?

— Вовсе нет,— ответил Саша Борисов.— Кислорода в пруду достаточно. Если бы его не хватало, то карпы там, где вы живете, около домика, выпрыгивали бы из воды и глотали воздух ртами. Нет, кислорода хватает, и они чувствуют себя превосходно. Быстро растут, жиреют.

— Тогда почему же они бросаются? Что ими руководит?

— Только желание вырваться из пруда. В этой струе они угадывают большие и свободные воды.

В самом деле: вода по каналу притекает из Сала. Сал впадает в Дон. Дон — в Азовское море. И все притоки Сала и Дона. Карпы чувствуют, что эта вода пришла оттуда, из огромного мира, не ограниченного двумя плотинами, тарахтением катера кормача, распоряжениями Ивана Васильевича и планами, спущенными из треста.

Но попытки их совершенно безнадежны. Если бы карп пробил проволочную сетку или нашел дыру в ней, он все равно не попал бы в наклонную трубу, потому что на трубу надета сеть из капрона. Даже если бы он попал в трубу, он не сумел бы преодолеть наклонного течения в ней и не выбрался бы в канал. А если бы он выбрался в канал, то, проплыв вдоль него, оказался бы под бурным водопадом, низвергающимся из трех широких труб. Ни водопада, ни потока воды в трубах, гонимой мощными насосами, одолеть ему не дано. А там и еще некоторые другие преграды, вроде плетня из прутьев, отделяющего русло Сала от той ямы, из которой качают насосы. Нет, за семью печатями для него Сал, протекающий, в общем-то, очень близко. Но вода из Сала поступает в пруд. Это вода-знак, вода-напоминание, что есть, кроме пруда, иные, огромные текучие воды. В струе, попадающей в пруд, для карпов надежда на избавление и вкус свободы. Но — увы, только вкус. Сал недоступен, хотя и недалек. И вот уж сколько дней, недель, месяцев беспрерывно штурмуют рыбьи полчища проволочную сетку и крутой берег плотины вокруг нее, а ни один еще не ушел из пруда, разве что поймавшись на удочки.

Для ловли карпов в таком пруду, как этот, не нужно тонких, изощренных снастей. Любая длинная палка годится на удилище, леска должна быть толстая и крепкая, крючок — средней величины. Насадка: хлеб, кусочек вареной картошки, пшеничное зерно, кусочек сыра, одним словом, все, что съедобно. В первый день (и впервые в жизни) я ловил карпов на обыкновенные промасленные оладьи. Работник местной газеты, приезжавший меня навестить, закинул удочку с мостков и ушел, забыв про нее. Когда же возвратился через четверть часа, удочки на месте не оказалось. Ее нашли спустя неделю в густых камышах. Каким-то образом карп сумел отцепиться. Говорят, он не может отцепиться от крючка на свободной широкой воде. Но когда запутает удочку в камышах, то сильными рывками, должно быть, оборвав себе губу, все-таки отцепляется.

Да, можно ловить карпа на любую насадку, но на червя он ловится здесь отменно. Это и понятно, если вспомнить про вегетарианский рацион, на котором их держат. Как ни составляй комбикорм, все же мясо есть мясо, а тем более живое, пахнущее землей и навозом. Да вот беда, червяка в этих местах труднее добыть, чем карпа.

Сначала я пытался копать червей в винограднике. В тени под лозами земля и черна, и рыхла. Но сколько я ни вонзал заступ в разных местах виноградника — ни одного червяка не попалось. Почва без дождевых червей? Но ведь это значит — больная почва. Вероятно, виноваты разные химические удобрения или та жидкая химия, которою обливают листья винограда.

За час усердной работы мне удалось добыть всего лишь двух червяков. Ископав также и весь огород, и весь берег, наконец-то в одном месте, под кучей старой, прелой травы, я наткнулся на колонию земляных дождевых червей и радовался им не меньше, чем если бы под лопатой обнаружился золотой песок.

Добыча червей — самое трудное из всей охоты за карпами. Остальное доступно и младенцу.

— Лексеич! — кричит хозяйка.— Скоро ужин, а рыбы нет.

— Хорошо, сейчас будет.

Ради ловли как таковой я ни разу в течение недели не забрасывал удочку, но лишь единственно ради пропитания, притом ловил ровно столько, сколько нужно на донскую уху или на карпа в рассоле, если варить в кастрюле средней величины.

Варварство — ловить такую рыбу, не имея подсачка, а его в этом доме не было. Вот я кинул в воду горсть комбикорма и на месте многих взбулек забросил удочку. Поплавок полежал немного и быстро пошел в сторону и немного вглубь. Подсекаю. Рыба мечется, а я поднимаю ее на согнутом удилище все выше и выше к самой поверхности воды. Одновременно подтягиваю к мосткам. Теперь подцепить бы ее подсачком — и дело с концом. Ни мне волнений, ни ей излишних мучений. Но нет, надо поднимать на всей снасти, гадая каждый раз, оборвется удочка или выдержит. Карпа, оказавшегося на мостках, сильно прижимаешь к доскам и начинаешь извлекать из мускулистого и жирного рта крючок. Хорошо если он зацепился за край губы. Да и то в губе есть какие-то кости или хрящи, которые никак не дают освободить крючок безболезненно и легко. Дергаешь, расшатываешь его, стараясь расширить отверстие, которое он проделал в живом мясе. Карп смотрит на тебя обезумевшим, вылезающим из орбит глазом и даже не дергается, словно понимая, что, чем он будет неподвижнее, тем скорее окончится пытка. Если же крючок застрял в глотке — совсем плохо. Пока дергаешь, пока ковыряешься там толстыми, грубыми пальцами, карп выплевывает на мостки сгустки крови, хотя и холодной, но яркоалой,— каждый раз приходилось ополаскивать мостки прудовой водой, заодно отмывая и свои кровавые руки...

А потом кидаешь карпа в ведро (без воды), и он, потрепыхавшись некоторое время, затихает. А через полчаса для него вообще не останется никаких проблем, потому что хозяйка возьмет большой острый нож и отправится в виноградник, где стоит дощатый стол специально для чистки рыбы.

Юная наблюдательница, оказавшаяся на мостках и долго глядевшая, как я вылавливаю карпов и как они бьются в ведре, посочувствовала:

— А все-таки жалко его.

— Кого?

— Да вот этого карпа, которого вы только что бросили в ведро. Такой хороший карп и, наверное, все чувствует. И больно ему, и кровь идет. А главное, все для него кончено — прощай, пруд, прощай, вольная жизнь.

— Ну какая же она вольная? Разве вы не знаете, что скоро начнется массовый вылов? Иван Васильевич уже назначил день — двадцатое сентября. Понимаете? Они пла-

вают и ни о чем не подозревают, а уже назначен день — двадцатое сентября. Все будет кончено. Два миллиона четыреста тысяч штук. 1600 тонн живой рыбы.

— Не все же попадутся, может, который спрячется, уцелеет.

— Как же он уцелеет, если двадцатого сентября спустят пруд? Антипотоп. Понимаете? На месте пруда зимой одна только мерзлая земля. Поземка гуляет. А знаете, как их ловят? Там, где выпускают воду, у нижнего шлюза, есть глубокая яма. Вода уходит, а карпы собираются в яме. И называется эта яма — рыбоприемник. Рыбоприемник! Из него рыбу краном, в больших сетках, по центнеру за раз, черпают в грузовые машины и цистерны. Развозят по городам. В магазины. Теперь рассудим, чем судьба этого карпа, попавшего на удочку, хуже судьбы его собратьев? Через полчаса для него не останется никаких проблем. А там — пережить панику, томительное чувство неизбежности общей гибели. Все эти сетки, перевозки, теснота, духота, переполненный садок в магазине, где половина рыбы еще кое-как держится, а половина уже не дышит или едва шевелится. Потом — весы, бумажные свертки, авоськи, да еще, не дай бог, пустят поплавать в ванне, продлят мучения. А конечный результат один — сковорода, кастрюля. Карп в сметане, карп жареный, карп в рассоле. Так что не понимаю, чем судьба этого карпа хуже. Иван Васильевич назначил день. Двадцатое сентября...

— Но все же месяц еще мог бы плавать.

— А вот это уже детские рассуждения. Двадцатого августа или двадцатого сентября — какая разница?

— А вы не видите?

— Я не вижу абсолютно никакой разницы. Какая может быть разница, если назначен день? И все-таки частично вы правы. Дело в том, что, когда начнется этот рыбий потоп, шестьсот карпов из двух с половиной миллионов попадут в число избранных. Может быть, случайно попал бы в избранные и этот бедняга, оказавшийся в моем ведре. Тогда действительно ему крупно не повезло. Но согласимся, что вероятность очень мала. Шестьсот штук из двух с половиной миллионов.

— Как интересно! И куда же их... избранных?

— Это действительно интересно. Представьте — всеобщая паника, всеобщая гибель, никакого избавления. И вдруг некая сила поднимает тебя, отделяет от гибнущей

массы — и вот ты уже в большом просторном пруде, гораздо более прекрасном, чем этот всеобщий пруд.

— Так куда же их?

— В отдельный пруд, где выращивают производителей. Вместо гибели, вместо сковородки и рассола открываются большие перспективы. Несколько лет беззаботной жизни до полного созревания.

— А потом?

— Потом снова лотерея, снова отбор. Стадо производителей состоит у них из ста двадцати гнезд. Гнездом называется одна самка и два самца. Значит, всего в племенном стаде сто двадцать самок и двести сорок самцов. Избранные — почти бессмертные по сравнению с другими бедолагами, обреченными на двадцатое сентября. Несколько лет созревания и восемь лет жизни в племенном стаде. Восемь сезонов любви. Они вырастают до десяти, до пятнадцати килограммов. Не карпы, а медные самовары. Их холят, им даже делают прививки.

— А потом, через восемь лет?

— Через восемь лет они считаются постаревшими, и их выбраковывают. Ежегодно происходит так называемый ремонт племенного стада. Из тех шестисот, которые окажутся избранными в этом году, изберут снова и заменят несколько стариков и старух. Не в полном смысле дряхлых стариков и старух, но все же перешедших уже за зенит своей племенной деятельности. Да и болезни, естественный отбор, цапля ударит в глаз... Мало ли... Ради ремонта стада шестисот счастливчиков окажутся избранными. Но маловероятно, что именно этот карп, который в ведре. А между двадцатым августа и двадцатым сентября я, право же, не вижу никакой разницы. Она есть, но мнимая. В ней что-то от мелкой и, я бы даже сказал, тщеславной суеты...

Неожиданно разговор о карпах произвел на меня самого большее, наверно, впечатление, чем на мою собеседницу. Ночью я ворочался и долго не мог уснуть. Ночью границы реального немного смещаются, некоторые значительные вещи стушевываются и выглядят пустяком, а некоторые пустяки делаются яркими, выпуклыми, выходят на передний план.

В самом деле, интересная судьба у этих шестисот карпов. Все гибнут, а этих неведомая сила берет, переносит, одаривает жизнью, благополучием.

Если бы они были разумные, эти шестьсот карпов, то, наверное, поверили бы в некую силу, реально существую-

щую за пределами их пруда и способную распоряжаться их судьбой. Хотя войти в контакт с этой силой (с Иваном Васильевичем Абрамовым) им невозможно ни при каких обстоятельствах.

Суров и жесток рыбий бог Иван Васильевич, председатель рыбоводческого колхоза. Суров и его заместитель Саша Борисов. Все же и для этих избранных строго отмерены время и образ жизни. Своевременный ремонт стада, своевременная выбраковка. Все производители на учете, под наблюдением, под номерами. Вот если бы судьба взяла и перенесла этих карпов в Сал — это был бы поистине божественный жест. Но для этого бог должен быть либо сумасшедшим, либо хулиганом, либо поэтом.

Конечно, если в то время, когда начнут спускать воду из пруда (двадцатого сентября), если в это время полоснуть ножом по сети, перегораживающей канал, то вместе с водой рыбий поток устремится к степной реке. И тут уж действительно — свобода и полная независимость. Я спросил однажды у главного рыбовода, какие естественные враги могут быть в Сале у взрослого карпа? Рыбовод ответил мне, что практически никаких. Щука его уже не возьмет. Выдра в этих местах не водится.

— И сколько же он может прожить?

— Десятки лет. Щуки вон по триста живут. Карп, конечно, не такой долгожитель, а все-таки поплавал бы в проточной воде в свое удовольствие.

Но разрезать сеть — либо сумасшествие, либо уголовное преступление. Нанесение народному хозяйству материального ущерба. А вот если... Ах, как захотелось побыть хоть один час в роли всемогущего и всемилостивейшего бога...

Едва дождавшись рассвета, я наспех умылся и пошел на мостки. Удочка всегда лежит там наготове, червяки остались со вчерашнего дня.

Над водоемом сосредоточилась полная, казавшаяся мне таинственной, тишина, словно и вправду готовилась здесь великая и божественная акция. Даже в том, что очень долго у меня не клевало, я видел некий дополнительный смысл: должен пойматься именно тот карп, которому суждено...

Однако первые три карпа не годились для моего замысла. Один был слишком мал и тщедушен, чтобы на него изливать свою милость, а два других глубоко проглотили крючки, и пришлось их сильно изуродовать, освобождая от удочек. Четвертым клюнул «мой» карп. Такого красавца

еще не попадалось за все эти дни. Крупная, ровная чешуя, словно золотые монеты, резвость, силища, непокорство. Самое же главное, что зацепился за краешек губы, и, когда я выбросил его на мостки, не нужно было снимать с крючка, он отцепился сам и едва не упрыгал обратно в воду. Да, это был такой карп, о каком я думал. Зачерпнув половину ведра воды, я положил туда кандидата на бессмертие, и начался для него поистине космический перелет через сухую августовскую степь, через убранные пшеничные поля, поверх трав и цветов, поверх мышиных нор и человеческих тропинок, поверх кузнечиков и ящериц, поверх земли, поверх смерти.

Степь была по-особенному прекрасна в это утро. Впервые за многие дни выпала крупная, как горох, роса. Когда я шел через виноградники, меня поразило обилие паутин, огромных, я бы сказал, классических в своей законченности и сохранности. В сухие солнечные дни я видел, что тут есть паутины, но они скрадывались, были незаметны, не бросались в глаза. Теперь же они неожиданно проявились и обозначились. Крупным жемчугом осела на них роса. Надо ли добавлять, что роса сверкала в косых и ярких лучах раннего солнца.

И вся степь была в таких же сверкающих паутинах. Это были дополнительные и, может быть, необязательные украшения степи, потому что и без сверкающих паутин она была прекрасна. Перепадавшие в эти дни дожди оживили многие травы, поэтому общий сероватый степной тон светился во многих местах свежими зелеными пятнами. Во множестве росли степные растения с сухими, сильно разветвленными стеблями, но с живыми, чистого и полного тона, лиловыми цветами на них. Во множестве своем они расстилались вдоль и вширь просторными лиловыми туманами.

Я шел по степи напрямик, предполагая, что обязательно выйду к Салу. Дикая степь кончилась, и началось скошенное поле. А когда кончилось и оно, я увидел перед собой камыши на том и на этом берегу, а между стенообразными зарослями камыша, синеватая от неба, волокнистая от течения, простиралась неширокая вода Сала.

Да, непривычно будет тебе после застойного пруда в текущей воде. Ну ничего, найдешь на первое время какую-нибудь заводь в камышах, оглядишься, привыкнешь. Не будет и кормача в определенные часы, пропитание придется добывать самому. Растрясешь прудовой жирок,

обостришься с морды, подтянешься, научишься пошевеливаться. Найдешь себе подходящую карпиху или сазаниху. Есть предание, что несколько лет назад промыло плотину и много карпов убежало тогда в реку. Так что водятся, водятся здесь твои сородичи. Оглядишься и приспособишься. Зато не будет у тебя двадцатого сентября. Цени, брат, вспоминай потом московского чудака литератора, которому хоть на один час захотелось сделаться всемогущим и всемилостивейшим. А теперь — ступай.

Карп постоял в моих опущенных в сальскую воду ладонях, тихонько отплыл (ошалел, наверно, в ведре), повернулся ко мне мордой, словно захотел поглядеть на меня, и, вильнув хвостом, растворился в темной воде...

— Справочная? Пожалуйста, телефон рыбного магазина на улице Горького. Спасибо.

— Магазин? У вас есть в продаже живые карпы?

...За карпами стояли к трем продавцам три хвоста человек по тридцать. Я занял очередь наугад, к первому продавцу.

— Как вы думаете, это надолго?

— За час пройдем.

Карпы плавали в стеклянном садке, вернее, не плавали, а сидели, потому что плавать в такой тесноте никак нельзя.

Им было так же почти тесно, как и нам, толпящимся перед прилавком в трех очередях. Время от времени продавец окунал в садок черпак и выворачивал в большую эмалированную мелкую ванну ворох живого трепыхающегося золота.

В очереди разговоры на тему:

— Хорошие карпы, крупные.

— Как их лучше-то?

— На сковороду — и жарить. Можно изрезать на куски, можно целиком.

— А то в духовке хорошо, со сметаной.

— Да ведь живые, убить бы их, что ли, сперва.

— Продавец разве не убивает?

— Если бы он каждого карпа убивал, до утра бы здесь простояли.

— Сначала голову ему отрезать, а потом уж и чистить.

— Без головы он некрасивый, если подавать целиком.

— Чисть так, подохнет на сковороде.

— Что ты! Я один раз положила на сковороду, а он как трепыхнется да на пол.

— Живучие, черти. Самая живучая рыба.

— А если в ванну пустить, до субботы доживет? Ко мне в субботу зять в гости...

— Доживет и до понедельника. Похудеет немножко. Самая живучая рыба.

— Их надо в рассоле варить,— не удержался и я от кулинарного совета.

— Как в рассоле? Как в рассоле? — накинулись на меня с разных сторон.

Я начал рассказывать, как готовить карпа в рассоле, а перед глазами у меня туманился тихий огромный пруд, с камышом, с мостиками, с цаплей, парящей над чистым зеркалом. Никак не удавалось мне вообразить на месте пруда обнаженную черную землю, осенний дождь, поливающий ее, и собирающиеся небольшие грязные лужицы.

Что бы я ни покупал: грибы, яблоки, бруснику, калину, ландыши, обязательно надо мне спросить, где оно все росло. Так и теперь я спросил у продавца, когда он заворачивал в бумагу четырех увесистых карпов:

— Откуда рыба, не знаете?

— Говорят, из Ростовской области. Хорошие карпы, крупные, один к одному. Видать, у хорошего хозяина росли... Четыре шестьдесят пять, платите в кассу.

1975

МЕД НА ХЛЕБЕ

Теперь словно свихнулись все — мумиё, мумиё!

Три года назад покупали это снадобье еще из расчета две тысячи рублей за килограмм. То есть десятиграммовая росинка, завернутая аккуратно в пергаментную бумажку, этакая черная, лоснящаяся бляшка величиной с ноготок мизинца, пахнущая не то овечьей отарой, не то битумом, стоила двадцать рублей.

Тогда судьба занесла меня в Тянь-Шаньские горы, и я даже видел, как два умельца в течение многих дней варили там мумиё.

Не то чтобы варили, вернее сказать — вываривали. Они — оба альпинисты — уходили высоко в горы и приносили в рюкзаках камни с небольшими черными натеками, словно измазанные нефтью. Камни они клали в воду, и черные натеки в воде растворялись. Эту воду надо было потом выпаривать. Воду ставили в воду (кастрюлю в кастрюлю),

а не на прямой огонь, и постепенно, скажем, из ведра черной воды получалось полстакана черной, похожей на деготь, массы. В дальнейшем эта масса становилась еще гуще, твердела. Вот она-то и стоила две тысячи рублей за одну литровую банку. Это тогда. Но прошло три-четыре года, и вот мумиё ценится уже по восемь рублей за один грамм. Килограмм — восемь тысяч. Машина «Волга». Кооперативная квартира. Стомесячная зарплата среднего нашего служащего. За один килограмм. А мед на любом базаре стоит пока что пять рублей. Не восемь тысяч, а просто пять. Но я вам вот что скажу: оттого мед так дешев, что его на земном шаре пока что много.

Вообразим себе такую картину: исчезли пчелы, исчез и мед. Человечество даже забыло о нем, как будто его и не было никогда. Трудно это вообразить, и все же вообразим, исчезли же мамонты. И вот где-то в глухих лесах (хотя их в будущем вообразить еще труднее) стали находить в небольших количествах странное незнакомое сладкое и ароматное вещество. Ну, скажем так: можно добыть с большими усилиями на все многомиллиардное человечество сто килограммов в год.

А между тем начали изучать новонайденное вещество, подвергать его исследованиям, химическим анализам, наблюдать воздействие его на человеческий организм и с каждым днем открывать все больше и больше драгоценных свойств. Приходят к выводу, что это целебнейшее вещество, чудодейственное вещество, сосредоточивающее в себе целебную силу разнообразных цветов, тысяч видов цветов, так что если даже одна чайная ложка меда, то и в этой ложке есть от каждого, от каждого цветка по крохотной капельке.

Да, открытия и сообщения об этих открытиях следуют одно за другим, человечество читает в газетах и книгах: «Мед — это сладкий продукт, производимый медоносными пчелами» [1].

«Пчелиный мед — это естественный продукт, незаменимый по своим качествам. Он занимает первое место среди всех лекарств, которые нам подносит природа посредством цветов и лекарственных трав. Мед содержит витамины, обновляющие кровь, успокаивающие нервы и дарующие новую жизнь».

---

[1] Все цитаты из книги Стоймира Младенова «Мед и медолечение». София, 1974.

«Пчелиный мед оказался одним из сложнейших биологических продуктов, в составе которого обнаружено много важных для организма человека веществ. Поэтому значение меда для человека важнее значения какого-либо другого пищевого продукта».

«Для того чтобы собрать один килограмм меда, пчела должна принести в улей нектар... до 150 тысяч раз... Чтобы получить один килограмм меда... пчела должна пролететь 360—460 тысяч километров — расстояние, в 11 раз большее, чем окружность земного шара по экватору».

«В зависимости от красящих веществ, находящихся в нектаре... цвет меда может быть различным — от бесцветного, светло-желтого, лимонно-желтого, золотисто-желтого, темно-желтого, коричнево-зеленого до черного... Самый светлый мед — акациевый, с еле заметным кремовым оттенком. Преобладающим цветом цветочного меда является желтый... Разные сорта меда различаются между собой и по аромату».

«С химической точки зрения пчелиный мед представляет сложную смесь. В его состав входят глюкоза, фруктоза и сахароза, декстрин, вода, белковые вещества, небелковые азотные вещества, ферменты, органические кислоты, витамины, минеральные вещества... В составе меда обнаружены алюминий, бериллий, бор, висмут, барий, ванадий, германий, галий, железо, золото, олово, калий, кобальт, кальций, литий, магний, медь, марганец, молибден, никель, натрий, свинец, серебро, кремний, стронций, титан, фосфор, хром, цинк, сера, хлор, цирконий... Состав элементов в меде зависит от вида медоносной растительности и от минерального состава почвы в районе медосбора... Мед, как естественный растительно-животный продукт, содержащий такое значительное число микроэлементов в наиболее подходящей для усвоения организмом форме, не имеет себе равного...»

«В меде открыты следующие ферменты: инвертаза, диатаза, каталаза, оксидаза, перксидаза и протеолитические энзимы...»

«В результате исследований... в меде установлены следующие витамины: B_1, B_2, B_3, B_5, Вс, Е, К, С и каротин».

«Химический и биологический состав меда... делает его не только отличным питательным, но и важным фармакологическим (лечебным) объектом».

«...Регулярное потребление меда продлевает жизнь человека и повышает устойчивость его организма».

«Мыслители и врачи древности придавали большое значение употреблению меда для продления жизни человека. Великий философ и математик Пифагор утверждал, что достиг преклонного возраста благодаря тому, что употреблял мед. В предании говорится, что Юлий Цезарь, присутствовавший на торжестве у сенатора Полия Румелия, праздновавшего свою сотую годовщину [1], спросил, какое средство он употреблял для поддержания силы тела и духа. Ответ был: «Внутрь мед».

«Польский ученый и пчеловод Н. Витвицкий в своей книге «О благотворном влиянии меда на человеческий организм» писал, что польский поэт Трембецкий в продолжении 30 лет добавлял к пище всегда и мед. Когда Витвицкий познакомился с ним, поэту было 80 лет, но его внешность, веселость и настроение удивили Витвицкого. Учителю Трембецкого Мольбахеру было 120 лет, но выглядел он не старше 70; и он ежедневно принимал мед».

И вот когда узнали бы о всех свойствах чудесного вещества, о том, что одна чайная ложка меда в день уже оказывает на организм сказочное благотворное действие и разнесся бы о меде слух по всему человечеству, а его на все человечество сто килограммов в год,— как думаете, сколько стоила бы одна литровая банка меда? Не дороже ли мумиё, которое ходит теперь по восемь рублей за грамм?

А у дедушки бывало этого меда — сорокаведерная липовая кадка. Да еще дубовое корыто, в котором рядами установлены рамки, соты: белые (но все же и золотистые), если липовый мед, цвета крепкого чая, если гречишный, ясно-золотой с майского и июньского разноцветья. (А то еще Крысов Иван Александрович, живущий под Вяткой, подарил мне однажды большое эмалированное ведро, ярко-белое внутри, полное зелено-золотистого василькового меда. Больше я такого уж никогда не встречал.)

О целебных свойствах дедушкиного меда не думалось. Намазывали его на кусок мягкого черного хлеба, тоже по-своему душистого и вкусного. И когда сочетается медовая

[1] Напомним, что средний возраст человека в Древнем Риме был 25 лет. Это происходило, по существующей теперь гипотезе, из-за того, что римляне пользовались свинцовой посудой и свинцовыми водопроводными трубами, так что столетний римлянин был, конечно, тогда форменным чудом.

сласть с кисловатостью черного хлеба и соединяются воедино два аромата, то могло ли быть что-нибудь вкуснее для нас, деревенских ребятишек, чем мед на хлебе?

О целебных свойствах не думали. Ели с хлебом, пили с ним чай, варили брагу под названием (в наших местах) «кумушка», добавляли в квасы.

И теперь бы, пусть бы и в городских условиях, держать бы дома постоянно медовые соты (бывают же на базаре) и попивать иногда чаек, тщательно обкатывая и обсасывая во рту остающийся комочек воска. Тем более что известно теперь — сотовый мед, мед с воском, еще полезнее, чем просто мед.

Но нет, с возрастом, с забвением простой и размеренной человеческой жизни, а следовательно, и с подкравшимися болезнями, даже и мы со старшей моей сестрой Катюшей, к примеру, научились смотреть на мед не как на обыкновенный домашний припас (липовая кадка и корыто с сотами!), не как на яство и лакомство даже, а как на целебное снадобье.

У нее одна болезнь, у меня другая. Но мед ведь от всех болезней. Вот и надо иногда идти на рынок и выбирать там который подушистее, получше, а в последние годы еще и который понатуральнее, помедовее.

Чего только не научилось подделывать человечество! Подделываются деньги, старинные рукописи, картины великих мастеров, скульптуры, драгоценные камни, благородные металлы, стихи и, как вершина всего этого ряда, подделываются чувства и самое драгоценное из них — любовь. Да, самую высшую возможную ценность, самое золотое золото, самую чистую чистоту — любовь человека к человеку — научились фальсифицировать и использовать в низменных и корыстных целях.

Мед — категория не нравственная, не духовная, но в ряду других вечных ценностей вместе с золотом, серебром, алмазом, янтарем, розовым маслом мед тоже есть эталон вечной и незыблемой ценности. Более того, он так же исключителен и уникален на Земле, как исключительна и уникальна сама пчела.

Заповедник ли вселенский, зверинец ли (тип вольера), подопытная ли станция наш маленький шарик, на который выпущено пастись множество разных видов живых существ, лаборатория ли, в которой исследуются взаимоотношения между живыми существами, разные там проблемы экологических равновесий и эволюций,— как бы там ни

было, но мир наш устроен так, что обязательно в нем кто-нибудь кого-нибудь должен есть.

Если же возьмем более достойную и горделивую версию, что просто наша Земля как бы космический корабль, несущийся во времени и пространстве с миллиардами разнообразных пассажиров на нем, то признаем, что жизнеобеспечение корабля и самообновление жизни продумано гениально, хоть и покажется на первый взгляд, что оно построено на жестокости. Но зато не надо ничего добавлять — ни еды, ни питья: все кормят друг друга, вернее, все кормятся друг другом, и все живут, благоденствуют и могут жить и благоденствовать бесконечно долгое время. Конечно, ястреб убивает и ест перепелку, а перепелка — жука, но в конечном счете благоденствуют под земным солнцем и ястребы, и перепелки, и жуки, благоденствуют тысячи и тысячи лет.

Где-то я вычитал фразу, что бурундук является главной кормовой базой медведя и росомахи. Точно так же мы знаем, что белка есть основная кормовая база соболя, антилопа — льва, мышь — лисицы, совы, хорька, ласки и горностая, лемминг — песца, тюлень — белого медведя... Лягушка проглатывает насекомых, змея — лягушку, еж пожирает змею, лиса или волк съедает ежа.

Существуют, правда, вегетарианцы, растительноядные. Бобр, например, валит и грызет осиновые деревья. Но ведь и дерево — живой организм, и притом очень сложный, растущий, плодоносящий, стареющий и умирающий, как и все прочие организмы на Земле. Значит, и бобр убивает и съедает тоже.

Впрочем, речь сейчас идет не о растительном, а о животном царстве Земли, в котором, как это ни печально, каждый живой организм ради собственного существования должен съесть, поглотить другой живой организм, будь то амеба, хватающая инфузорий, морская звезда, пожирающая живые кораллы, или мы с вами — любители раков и перепелок, карасей и зайчатины, тушеной баранины и щей со свининой.

Я могу ошибиться, ученые найдут, возможно, и другие подобные организмы на Земле, но на грубый поверхностный взгляд пчела является каким-то особенным существом на Земле, каким-то выродком, что ли, потому что, оглядевшись вокруг, не вижу другого живого существа, которое бы в такой же степени никого не ело, не приносило бы кому бы то ни было никакого вреда. Сиюсекундного

вреда, микровреда. В конечном счете взаимосвязанному и единому организму природы не приносят вреда ни волк, ни ястреб, ни щука. Но вот пока что видим: заел же лев молодую и трепетную лань, а у нее детеныш беспомощный... Пчела же вроде святого существа среди прочих живых существ. Даже цветам, за счет которых живет, не только не приносит вреда, но является для них высшим благом. Пчела для цветов вроде как любовь, которая снисходит, слетает, посещает в определенное мгновение. Цветы не могут видеть пчелу и осознавать ее в конкретных пчелиных формах, но вот снисходит на цветок что-то такое, отчего сладостная дрожь по всему существу, и совершается великое, ожидаемое, предчувствуемое, предопределенное, необходимое. Цветок оплодотворен и дает семя; потомство будет жить во времени и пространстве.

А пчеле корысть — нектар да пыльца. Ни одна клетка у растения не повреждена, кожица не прокушена, сок не выпит. Это не огромная чудовищная корова, которая подойдет и слизнет сразу десятки растений под самый корень. Или гусеницы, способные за полдня сожрать листву с целого дуба. Пчела никого не ест. Ей нужны нектар да пыльца. Ей нужны не жертвы, а только дары. Но зато и сама она одаривает по-царски.

Нектар — это еще не мед. Нектар — это жиденькая сладенькая ароматическая водичка. Надо эту водичку выпаривать до определенной густоты, надо привнести в нее собственные ферменты и секреты определенных желез, надо сделать ее стерильной, противостоящей бактериям, непрокисающей, негниющей, надо превратить ее в мед. Но все же свойства разнообразных цветов, все их целебные особенности отнюдь не выпариваются вместе с водой, а остаются в меду.

Сотворяется чудо-вещество, одна из подлиннейших и вечных ценностей на земле, которую мы запросто разливаем по стеклянным банкам, наклеивая на банки будничные этикетки — «Мед пчелиный».

На базары мед привозят либо в металлических флягах для молока, либо в обычных ведрах. И стоят весы на прилавке, и стоят банки, и лежит деревянная палочка, чтобы при ее помощи пробовать мед, выставлена цена на бумажке — пять рублей.

В магазине (если, к примеру, завезли мед) выбирать не из чего. Завезли его одного сорта и вида, в одинаковой расфасовке. Тут берешь не что тебе хотелось бы взять, а что

дают. На рынке же, хоть и не ахти как многолюдны и бурливы медовые ряды (обычно пять-шесть торгующих), все же можно походить, попробовать на язык, понюхать, а главное, расспросить. Если даже и пять-шесть торгующих, то у каждого мед свой, разный, из разных — главное — мест.

— Что-то темен очень ваш мед...

— Так это же лесной мед! Кто не понимает — за луговым гоняется, за полевым, а это же — лес! Самая целебная сила. Тут же исключительно почти кипрей да лесная малина. А знаете ли вы, что такое кипрей, иван-чай то есть? Как он зацветает на порубках да на погорелых местах лиловым цветом... А малина лесная... по буеракам, настоится лесной силой... Тут и хвоя рядом, и крапива растет.

Не торговец, не пасечник, а поэт какой-то!

— Опять же валерьяновые цветы на лесных полянах, таволга... Но это для разнообразия. Главный состав моего меда — кипрей и лесная малина...

— В каких же лесах?

— Брянский лес. И тепла в меру, и влаги в меру. Самые наши здоровые места.

Можно ли после этого удержаться и не взять хотя бы немного? Кипрей да малина встают перед глазами, еловые шатры да дремучие буераки. Да еще и светлый ручеек — по дну буерака. Уж он-то, ручеек, казалось бы, никакого касательства к меду иметь не может, но покажется тебе, что и он имеет, что вся земная, летняя благодать сосредоточена в меду чудесным образом.

Но подойдешь к другому хозяину меда, и тот, если бы обладал подобным же красноречием, затмил бы предыдущего краснобая.

— Лес! Хрен ли в нем толку, в лесу-то, сырость да глухомань! Мало ли что кипрей. А ты вспомни-ка, мил человек, как в июне луга цветут. Ты вспомни-ка желтенькую сурепку на меже поля, василечки во ржи, лазорев цвет, одуванчики во множестве, да и все цветы. Солнышко да ветерок продувной, а простору, простору-то сколько вокруг. Опять же речные туманы по ночам луга охлаждают. Перепелки, коростели кричат...

— Зачем коростель? Почему коростель хвалишь? — возразил бы соседний торговец — киргиз, если бы и он был поразговорчивее, чем есть.

— Какой сурепка? Какой василек? Наш киргизский горы самый чистый воздух, самый чистый вода, самый чистые цветы. Пыль — нету, бензин-керосин — нету, удоб-

рения химические — нету. Наш киргизский горы — снег как сахар, лед как сахар, вода как лед. Лед рядом, цветы рядом. Цветы ярко цветут — глазам смотреть больно. Самый чистый мед высокогорный мед. К небу ближе. Небесный мед!

Как все это хорошо и прекрасно! Воистину земная благодать. Но приходится, к великому огорчению, с подозрением принюхиваться и приглядываться к выставленным медам, ибо в числе прочих ценных ценностей — золота, янтаря, драгоценных камней, стихов и даже чувств — дошел черед до хитроумной фальсификации и пчелиного меда.

В той книге, из которой мы так широко выписывали на эти страницы разные сведения о меде, то и дело встречаем тревожные оговорки.

«Наименование «мед» не может носить продукт, полученный при подкормке пчел сахаром или сахарными сиропами».

«Мед, полученный от пчел, подкармливаемых сахарным сиропом, не содержит органических летучих веществ, и поэтому у него нет аромата, присущего цветочному меду».

«Мед, полученный от пчел, подкармливаемых сахарным сиропом, фальсифицированным инвентированным сахаром или искусственной глюкозой, виноградным или арбузным медом, желатином и крахмалом, менее сладок, чем цветочный. При фальсификации меда примесями сахара, дульцина и глицерина вкус его может быть очень сладким, а реакция щелочной».

«Минеральные вещества в меде способствуют выявлению фальсификации меда обыкновенным сахаром, не зависимо от того, внесен ли он непосредственно в мед или же пчелы подкармливались сахарным сиропом. В таком меде находятся только следы минеральных веществ, а преобладающим элементом является кремний».

«Ферменты имеют большое значение для определения происхождения, порчи и фальсификации меда».

Итак, значит — фальсификация, а проще — подделка. Я уж в одном месте писал, но повторяю и теперь, как пришлось столкнуться с фальсификацией вина «Изабелла». Виноград «изабелла» настолько душист, аромат его настолько своеобразен, что сохраняется даже в больших разбавлениях. Скажем, если получить сто литров чистого виноградного сока, а потом добавить к нему сто, а то и двести литров воды, то получившаяся жидкость все равно

будет пахнуть «изабеллой». А сладость восстановить за счет сахара. Или делают еще проще: сольют чистый сок, а в выжимки нальют воды и добавят сахара. Получается так называемая «вторичная» «Изабелла». По вкусу можно и не отличить, особенно человеку неопытному. Но, конечно, химический анализ с точки зрения ферментов да микроэлементов сразу бы обнаружил, что перед нами не вечная ценность, а лишь подделка, не золото, а дешевенькая фольга. Так вот, у тети Даши Соколовой, живущей в Абхазии, я и спросил: у кого из соседей можно с полной надеждой купить настоящую, «первичную» «Изабеллу».

— Только за себя могу поручиться,— ответила Дарья Игнатьевна. Потом помолчала и добавила: — Да и то...

Это «да и то» прозвучало очень многозначительно. Значит, как же велик соблазн! Этот эпизод был рассказан мной в одной повести, но у него было хоть и маленькое, но тоже знаменательное продолжение.

Ездил я однажды с большой группой абхазских писателей в Ясную Поляну. В автобусе оказался рядом с поэтом и президентом (то есть, значит, с Председателем Президиума Верховного Совета Абхазии) Багратом Васильевичем Шинкубой. Дорога не близкая, говорили о том, о сем. Я и рассказал ему случай с Дарьей Игнатьевной Соколовой.

— Ну мы-то у себя дома, абхазские писатели... (ну и президент, надо не забывать!) знаем такие места, где можем всегда найти чистую «Изабеллу».

— Ну вы-то, конечно! Вы-то у себя дома...

Баграт Васильевич помолчал, усмехнулся краешком рта, посмотрел на меня с промелькнувшим в его темных глазах озорным огоньком, вздохнул глубоко и сказал:

— Да и то...

Изощренность фальсификаторов меда, их, я бы сказал, иезуитство состоит в том, что они подделывают мед не сами (было бы очень просто!), но привлекают к этой операции добросовестнейших, но и наивных в своей добросовестности пчел. Жулики, они заставляют жульничать этих невинных, можно сказать, святых по степени честности тружениц. Желая потом обманывать себе подобных, то есть нас с вами, жулики-пчеловоды обманывают сначала обитателей ульев. А делается это очень и очень просто. Если на пасеке вблизи ульев поставить сахарный сироп, залив водой, допустим, десять килограммов сахара, то очень быстро этот сахар весь будет перетаскан пчелами в ульи и запечатан в соты. Пчелы, конечно, добавят в него немного своих ферментов,

облагородят, как могут, может быть, даже смешают с настоящим цветочным медом, и будет их продукция напоминать настоящий мед, так что даже, возможно, и не отличишь (вроде той «Изабеллы»), но все равно десять килограммов сахара есть десять килограммов сахара, и заменяет собой эта тупая безликая масса десять килограммов, которые были бы собраны, как помним, в результате 1 миллиона 500 тысяч вылетов на разнообразные летние лесные, луговые, приречные, полевые цветы.

А тут еще досужие популяризаторы учат в своих статьях и книгах, что-де можно заставить пчел по нашему желанию производить разные витаминизированные сорта меда, мед с разными вкусовыми и цветовыми оттенками. Нужно только подсовывать пчелам соответствующие сиропы. И будут у вас меды — смородиновый, шиповниковый, лимонный, морковный... Да грызите вы эту морковь в чистом виде или купите соковыжималку, ешьте смородиновое варенье, пейте чай с лимоном, а пчел оставьте в покое! Пусть они делают без ваших выдумок простой, натуральный цветочный пчелиный мед!

Но научили, выпустили воробья. И вот теперь ходишь по базару, выбираешь мед, а на душе неспокойно. Дело не только в том, что за сахар, подделанный под мед, будешь платить по пять [1] рублей вместо 94 копеек, бог бы уж с ними, с деньгами. Но будешь ведь надеяться, что перед тобой чайная ложка уникальнейшего чудодейственного, насыщенного разными разностями целебного вещества, и сейчас проглотишь его, и будет хорошо твоему организму, твоим мозгу и печени, нервам и кровеносным сосудам, легким и сердцу, желудку и щитовидной железе... а оказывается, ешь ты обычный ширпотребовский сахар.

Не хочу тем самым сказать, что все пасечники — жулики и что весь мед на базаре — поддельный мед. Тоже ведь и проверяют его там. Но все же хочется какой-то особенной, стопроцентной гарантии. Что — проверка! Можно, наверно, проверить и разоблачить мед, в котором 80 процентов сахара, а если только 15, 20 процентов? Но все равно ведь нехорошо. Потому и хочется стопроцентной гарантии. Да где же ее, эту гарантию, возьмешь? Самому разве начать пчел разводить? Тогда уж было бы твердо и стопроцентно. Да и то...

И все же мы с моей старшей сестрой Екатериной

---

[1] Теперь, увы, уже — восемь. *(Примечания автора 1983 года.)*

Алексеевной знали, что у нас гарантия есть, гарантия эта — наше родное село, а в селе — Марюша.

Совсем еще недавно, еще на моей памяти, процветало в Олепине несколько крупных пасек. Опять же крупных в наших масштабах. Сорок домов — село. Церковь посередине. А скажи где-нибудь поюжнее, почерноземистее — будут смеяться. Экое село — сорок домов! Тысяча, две тысячи — похоже будет на село, а сорок — это же хуторишко. Возьмите вон донские станицы. Тоже ведь села по сути, а похожи на города. Несколько тысяч жителей. А у нас в Олепине, когда стали мы с мальчишками считать, и всего-то оказалось сто два человека. Деревеньки вокруг и того меньше — по десять — пятнадцать дворов, таковы уж у нас масштабы.

Может быть, на том же Дону, на Кубани, на Украине шумели и гудели пасеки по двести ульев (наверное, шумели), у нас же двадцать пчелиных семей — гигантское пчеловодческое хозяйство, потолок и предел.

Но все же было на сорок домов несколько превосходных пасек. У нашего деда — раз, у дяди Феди Воронина — два, у Егора Михайловича Рыжова — три, у Василия Ивановича Воронина — четыре...

У дяди Феди, помнится, пасека обнесена была высоким, глухим забором. Доски были положены поперек, горизонтально, скорее стена, чем забор. Огораживали они не весь сад, а лишь небольшое пространство, примыкающее ко двору, и было там летом безветренно и жарко, словно бы в другом климате. Забор поднимался не на три ли человеческих роста, во всяком случае, выше вишневых деревьев. Сделано это было для того, по разумению дяди Феди, чтобы пчелы, покидая пасеку и возвращаясь, вынуждены были бы подниматься высоко от земли, не натыкались бы на играющих вокруг ребятишек и вообще на соседей и не жалили бы их понапрасну. Впрочем, забор, пожелтевший, потемневший от времени, тронутый кое-где трухлявинкой, обросший внизу высокими зонтичными и крапивой, прекрасно вписывался в летний деревенский пейзаж и не бросался в глаза.

Были на пасеках омшаники, то есть специальные утепленные, пропитанные запахами воска и пчел избушки. Тут же груды осиновых гнилушек для дымаря и сам дымарь с холодным запахом дыма, и рамки, и запасные ульи, и вощина, и всякие пчеловодческие принадлежности.

Постепенно все пасеки исчезли. Началось движение

людей. Старики умирают, молодежь уезжает в город. Иногда целыми семьями снимались олепинцы с насиженных мест и уезжали во Владимир, в Ставрово, на Собинку. Так уехали Симионовы, Виктор Воронин, Александр Павлович Кунин, Черновы, Пеньковы... Из окрестных деревенек переезжают к нам, на центральную усадьбу колхоза, новые семьи. Этот процесс, наверное, одинаков везде в нашей нечерноземной полосе. Вся жизнь сосредоточивается на центральной усадьбе колхоза, а деревеньки, входящие в этот колхоз, расточаются, исчезают с лица земли, и места, на которых они стояли, запахиваются тяжелыми тракторами, превращаясь в поля.

На центральной усадьбе — своя жизнь. Ползают гусеничные тракторы, буксуют в грязи грузовики, оглушительно верещат мотоциклы и бензопилы, торчат антенны многочисленных телевизоров, бесперебойно работает сельмаг... Надо обладать особым вкусом и пристрастием, чтобы, преодолевая стиль жизни современной центральной усадьбы колхоза, еще и разводить пчел.

И все же одна пчеловодческая ниточка в нашем селе не прервалась, дотянувшись из дальнего далека до наших дней.

Основателем этой пасеки был лет восемьдесят назад Василий Иванович Воронин. Сам он давным-давно умер, но его дочь Марья, которую все у нас зовут Марюша и которой теперь уж тоже не восьмой ли десяток, продолжает держать несколько пчелиных семей.

Вот на ней-то, на Марюше-то, и покоились целую зиму наши надежды на подлинный стопроцентный мед.

Приходилось, приходилось зимой покупать на рынке, и был он как будто неплох, рыночный мед (лесной — кипрей да малина), но все же почему бы не помечтать.

— Вот подожди,— говорил я своей сестре,— поедем летом в Олепино, купим у Марюши свежего, только что собранного...

— Если бы продала, можно бы и на зиму запасти. Без хлопот.

— И без сомнений. Надо и то иметь в виду, что весь он, мед, будет с наших олепинских цветов. Там мы родились, там и выросли. Это тоже что-нибудь значит.

— Кто где родился, там и пригодился,— вторила мне сестра.

В мае по реке зацветают ветлы, этакие золотистые облака среди неприглядной еще природы. С них и возьмут

Марюшины пчелы свой первый взяток. С них да еще с лесной ивы в Самойловском лесу и в Журавлихе...

— Ну, до Журавлихи им, пожалуй, не долететь.

— Да там же два километра по прямой. А пчел в округе ни у кого не осталось. Раздолье Марюшиным пчелам — бери где хочешь. Нет, они обязательно полетят в Журавлиху, на цветущие ивы. Пойми, в это время не с чего больше брать. Ведь ива цветет, когда у других деревьев и листвы еще нет. Чернота да земля вокруг, а ива золотисто цветет. И как бы мы могли воспользоваться журавлихинскими ивами, их ранним цветением, если бы не Марюшины пчелы?

— А потом липы около церкви зацветут...

— Липы! Липы еще когда? До лип еще земляника зацветет по всем пригоркам да порубкам, вокруг старых сосновых пней. Земля-ника! Ты думаешь, если полезна сама ягода, если полезны в народной медицине земляничные листья, то в цветах земляники ничего полезного нет? Ого! Пчелки, они найдут, они свое дело знают.

— Но все же липы...

— Еще до лип мята будет цвести около речки. Да вишенье в садах, да яблони, да терновник, да рябина, да тмин, да шиповник, да черемуха, да сирень, да одуванчики по всему приволью...

— Ну липы...

— Про липы и говорить нечего. Одна старая липа дает столько же нектара, сколько целый гектар гречихи. А у нас вокруг церкви столько лип? Сорок штук! И все старые! Помнишь, какой запах на все село, когда они расцветут?

— Да еще ведь около Глафириного дома две старые липы.

— Да, и они. Да еще одна липа около Жиряковых.

— А в Самойловском лесу я знаю, где валерьяна растет, но им туда не добраться.

— Пчелам-то?

— Ну да. Это за буераком, на Василевской стороне.

— Доберутся... На то они и пчелы, чтобы каждый цветок найти.

— А с ночной фиалки они берут или нет?

— Боюсь, что любка опыляется ночными бабочками. Но, с другой стороны, если цветок распустился, а пчела летит мимо...

— Хорошо, если бы и с ночной фиалки они хоть немножко принесли...

Так мечтаем мы зиму, но и когда переберемся в начале мая в село, долго еще приходится мечтать. Еще майское разноцветье должно отцвести, июньское, самое яркое и сочное, самое медовое. А липы зацветут в июле, а медовый спас, когда свежим медом, бывало, разговлялись,— жди до августа. Положим, теперь никто не приурочивает первую выемку меда именно к медовому спасу, но так ведь и само собой, по делу получается, что насчет меда наших пчел раньше августа беспокоить не следует. Значит, остается у нас еще три месяца мечтаний и предвкушений. Увидим пчелу на цветке, и кто-нибудь из нас в шутку уж (вроде своеобразной семейной игры) непременно скажет:

— Марюшина, наверно, пчела. Наш будущий мед понесла домой.

С нами жила в тот год и еще одна моя сестра, Антонида. У нее другая, не мечтательная натура и несколько, я бы сказал, суроватый характер. А мы при ней все — Марюша да Марюша, надоели, наверно.

Однажды, придя из магазина с полной кошелкой (пачка соли, подсолнечное масло, вермишель, селедка, рыбные консервы, случайно заброшенная в наш угол мороженая треска), Антонида объявила нам громким голосом:

— Видела вашу Марюшу в магазине, вместе с ней в очереди стояла.

— Что она брала? — Голос у меня почему-то слегка дрогнул.

— Сахарный песок.

— Много?

Дожидаясь ответа, я уж предчувствовал его и уже искал защитных объяснений Марюшиному поступку. Надвигается сезон варенья. Скоро и вишня поспеет, и малина, и черная смородина. Как же не покупать сахар? И все же не хотелось мне, не хотелось, но Антонида уже приговорила нас недрогнувшим голосом:

— Целую наволочку, восемнадцать килограмм.

Катюша не могла знать моих мыслей, я ничего ведь не сказал вслух, но тотчас послышался Катюшин успокоительный голос:

— Ну и что же особенного? Варенье варить. Теперь все песок берут. И Ксения Петровна вчера пронесла полнаволочки. Что же особенного?

Так-то так. Но само собой получилось, что мы все реже и реже вспоминали про Марюшу, и, когда уезжали осенью в Москву, я не напомнил, и Катюша забыла, так мы и не

запаслись на зиму вымечтанным нами Марюшиным медом.

И опять я хожу на базар и выспрашиваю у пчеловодов, из каких они мест, да с каких цветов у них мед, да нюхаю, наклонившись над ведром, стараясь вспомнить в эту минуту, как же пах тогда, в детстве, дедушкин мед в липовой кадке. И знаю, что хорошие на базаре продаются меды, но все мне кажется, что дедушкин был душистее. Надо попробовать бы намазать на черный хлеб, да где возьмешь теперь деревенского, кислого, матерью моей Степанидой Ивановной заквашенного, в русской печи испеченного, теплого еще, остывающего под холщовым полотенцем, настоящего черного хлеба!

1977

ПРИГОВОР

ПОВЕСТЬ

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.

А. Фет

1

Одному иностранцу, по просьбе его личной и по просьбе Иностранной комиссии, я показывал Троице-Сергиеву лавру. Иностранец был известный, высокопоставленный, и в лавре его принял патриарх всея Руси Алексий. Естественно, что и я оказался в патриарших палатах. Бутерброды с икрой, чашечки кофе. Кто пожелает — рюмочка коньяку.

Обычно на сопровождающее лицо не обращают внимание, если это просто переводчик, гид, расторопный и безымянный. Но случай особый: звук имени не пустой для русского слуха. Если патриарх только заинтересованно посмотрел на меня и благосклонно, одобрительно кивнул в знак того, что звук именно не пустой, то один из гостей патриарха, оказавшийся в палатах прежде нас, а теперь за столом оказавшийся справа от меня, стал выражать самые бурные чувства, забыв на время про иностранца и, кажется, даже про патриарха:

— Как это вы про террор среды-то, а! (Он произносил «тéррор» вместо «терро́р».) Я читаю, кричу Татьяне Сергеевне: «Татьяна Сергеевна, Татьяна Сергеевна! Ты посмотри, как тут про террор среды написано!»

Это был человек лет семидесяти, но ему ни за что нельзя было бы дать его лет. Худощавый, спортивный, подвижный, живой в разговоре и в обращении, он сразу располагал к себе, с ним становилось легко, как с товарищем, несмотря на разницу в возрасте. При всем том он производил впечатление человека глубоко интеллигентного, да так оно и было на самом деле. Медицинское образование он получил в дореволюционном Московском университете, окончив его как раз в 1917 году. Это был крупнейший хирург, академик Борис Александрович Петров, почетный доктор многих зарубежных университетов и обществ, а по прямой

своей должности — заведующий хирургическим отделением в Институте имени Склифосовского. Но возникает вопрос: как он оказался в патриарших палатах?

К патриарху при его жизни была очень близка семья Остаповых: Алексей Данилович, Людмила Владимировна и маленький Сережа. Однажды профессору Петрову позвонили из канцелярии патриарха. Ему передали просьбу патриарха всея Руси немедленно выехать в Одессу (там есть летняя резиденция патриарха) и спасти женщину, которую могла спасти только срочная операция. «Чайка» домчала профессора Петрова и его ассистента до аэродрома, где ждал самолет с заведенным мотором. Меньше чем через два часа они оказались в Одессе, где их снова ждала быстроходная «Чайка». Операция прошла успешно, и Борис Александрович был провозглашен спасителем Людмилы Владимировны. С тех пор он каждый год получал приглашение в дом Остаповых на семейное торжество и, как правило, заодно получал аудиенцию у патриарха, в палатах которого состоялось, как видим, наше знакомство, сразу сделавшееся интересным и близким.

Петровы со своей машиной. Лавра иностранцу показана, и он отправлен в Москву. Татьяна Сергеевна ведет машину, а Борис Александрович с присущей ему живостью и с некоторой, тоже присущей ему, эксцентричностью восклицает:

— Главное — движение. А в движении главное — темп. Темп, темп и темп. Садовое кольцо за час сорок — вот это темп! Дома — душ, махровое полотенце. Помоложе я уезжал на электричке до Пушкина, а оттуда пер пешком в хорошем спортивном темпе.

— До окраин Москвы?

— Что-о? До дома, до самой квартиры. Движение — основа жизни. Ветер раскачивает деревья. Для них это единственная возможность двигаться. Думаете, деревьям вредно? Ветер расшатывает их и ломает сучья? Черта с два! У них от раскачивания укрепляется корневая система. Вырастают дополнительные корни. Жизнь становится полнокровнее.

— Борис Александрович,— невольно вырвалось у меня,— какая досада!

— А что?

— Еду в одной машине с таким хирургом. Можно сказать, подружились и — нечего вырезать! А ведь когда понадобится, до такого светила не доберешься!

— Владимир Алексеевич,— серьезно ответил Петров,— если понадобится, прямо к нам. Все вырежем в лучшем стиле. По первому классу. На высшем уровне. Только обращайтесь своевременно. Я не люблю безнадежных больных. Я люблю возвращать здоровье, а не продлевать агонию на несколько месяцев... Да обгони ты эту душегубку к чертовой матери!

Татьяна Сергеевна включила знак левого поворота и пошла на обгон быстро идущего тяжелого грузовика, обдававшего нас клубами выхлопных газов.

«Обращайтесь своевременно,— думал я.— Я могу обратиться хоть сейчас, да ведь у меня ничего не болит».

А между тем, как я теперь вспоминаю, я уже тогда мог бы показать хирургу одно место на своем теле, и, может быть, это было бы своевременно. Но ведь если с каждым пятнышком, с каждым бугорком бегать к профессору...

— Да, очень досадно,— подтвердил я,— еду в одной машине и — нечего вырезать.

— Дай бог, чтобы не было никогда. Но если понадобится — по высшему классу.

— А можно посмотреть хотя бы одну вашу операцию? Мне как писателю интересно.

— Пожалуйста. В четверг у меня интересная операция. Девчонка девятнадцати лет. Хватила уксусной эссенции. От любви. Черт их знает, современную молодежь. Всех ведь в случае чего везут к нам, к Склифосовскому.

— Травятся?

— В Москве больше прыгают.

— Как прыгают?

— Дома теперь высокие. Возьмите университет. Прекрасная возможность для прыганья. Пятнадцатый этаж, двадцатый этаж — шикарно! Но, знаете, некоторые не разбиваются. Не до смерти. Везут к нам. У нас, во-первых, есть группа реанимации. Удавленники тоже. Да вот придете, я вам их покажу.

— А эта девочка девятнадцати лет? Решила, что эссенция лучше?

— Она из Сыктывкара. Хватила уксусной эссенции, сожгла к чертовой матери весь пищевод. Он зажил, но сросся. Глотать нельзя. Ей проделали в боку дырку и в желудок ввели резиновую трубочку с воронкой на конце. Очень неэстетично. Сама должна пережевывать пищу и выплевывать в воронку. Ужасно! Она мучается уже больше

года. В четверг мы ей из ее же толстой кишки сделаем новый пищевод.

...Степанида Ивановна с детства внушала мне, что есть на земле два самых печальных места: тюрьма да больница. Как ни странно для нашего нервного и вообще беспокойного времени, я дожил, можно сказать, до седин, не побывав ни в том, ни в другом месте. И теплилась надежда, что, может быть, так и доживешь свой век, не вкусив великой печали ни тюрьмы, ни больницы. Умирают же внезапно, кому дано. Как, например, недавно умер один известный критик в Доме литераторов за партией в шахматы. «Ваш ход»,— говорит ему партнер, а он как будто не слышит. Что ж, в шахматах полагается подумать, и торопить партнера некорректно. Но все же по прошествии пяти минут еще раз напомнили Федору Марковичу, что его ход. Когда он и на этот раз не откликнулся, догадались толкнуть, не вздремнул ли? Толкнули, а его уж, оказывается, и нет. Он уже далече. И от шахматной партии, и от ЦДЛ, и вообще неизвестно где. Но такую смерть, как говорят в народе, не купишь.

Тем не менее на всякий случай во время застолий (ну там Новый год, праздник или банкет) я где-нибудь в конце вечеринки люблю провозгласить:

— А теперь, друзья, выпьем за сердечно-сосудистую! Она хотя и без того на первом месте у нас на земном шаре, но все же выпьем за нее на всякий случай, потому что, если та, которая на втором месте...

Тут меня шумно и дружно прерывают подвыпившие друзья, кричат, что не к месту я завожу подобный разговор (допустим, на свадьбе или на дне рождения), и кричат зря. Ибо еще древние греки на пирах ставили на видное место погребальную урну, чтобы во время самого сладкого хмеля жизни помнить о том часе, который неизбежен для всех без исключения, хотя некоторым кажется, что все разговоры по этому поводу не о них, а о ком-то постороннем.

— За сердечно-сосудистую! — настаиваю я.— За нее, голубушку, внезапную, моментальную, а еще бы лучше — во сне!

Но вообще-то говоря, мне удалось прожить половину века, ни разу не увидев, как умирают другие люди, то есть именно того момента, когда с последним выдохом отлетает жизнь. Дедушка Алексей Дмитриевич умер в возрасте восьмидесяти пяти лет легко и просто. Утром сходил в церковь (была ранняя, со снегом, но оттепелью пасха). Сел

пить чай и стал лить из стакана мимо блюдца. Его уложили в постель, и ночью, когда я спал, Алексея Дмитриевича не стало.

Отец, Алексей Алексеевич, умер в олепинском доме, когда я был в Москве. Встал ночью сходить на двор, закружилась голова, покачнулся, упал и — готово дело. Тоже ему было за восемьдесят. В таком же возрасте умерла и Степанида Ивановна, не на моих глазах.

Покойников немало пришлось повидать на своем веку, хотя бы стоя в почетных караулах (Твардовский, Паустовский, Яшин, Фатьянов, Гладков, Панферов, Пришвин, Серафимович, Чуковский, Ахматова...), а вот самый момент смерти увидеть не привелось.

Итак, в больницу впервые в жизни я попал не как больной, а как экскурсант, как любопытствующий писатель. В белом халате я сразу стал похож (по возрасту и вообще по обличью) на профессора (не на парикмахера же!). Так, наверное, и воспринимали меня больные рядом с подлинным профессором Борисом Александровичем, когда он повел меня по Институту Склифосовского, по узким его коридорам, из палаты в палату, с этажа на этаж. «Консилиум ходит, профессора!» И тянулись с каждой больничной койки молящие взгляды, полные, кроме мольбы, затаенной надежды, колебавшейся подобно красной стрелке на грани с нулевой безнадежностью. Но все же — профессора! Борис Александрович подходил к койке, двумя-тремя фразами умел сказать самое главное, то есть то, что хотел от него услышать больной.

— Ну, как твой пузырь?

— Болит, батюшка.

— В понедельник вырежем.

Больная замялась, и это почувствовал Борис Александрович.

— Что еще у тебя?

— Не хотелось бы в понедельник. Во вторник или в четверг.

— Тяжелый день? Ладно, перенесем операцию на вторник. Спи спокойно, набирайся силенок.

— Спасибо, батюшка. Богу молить...

— Молись, хуже не будет. Ну, а у тебя как?

— Глотать трудно. Вроде как застревает.

Женщина, изможденная, посеревшая насквозь, с огромными желтыми пятнами у глаз, смотрит уж даже и без мольбы, но равнодушно и едва ли уж без внутренней гор-

чайшей усмешки. Но нет, и у нее в глубине взгляда все-таки прыгает зайчик надежды.

— Пройдет. В этой стадии болезни всегда так. Нормально. Потом будет лучше. Совсем хорошо.

Когда отошли от этой больной и вышли в коридор из палаты, Борис Александрович обронил, не оборачиваясь, для меня, поспешающего сзади:

— Доедает рачище пищевода. Чудовищный рачище. Неоперабельна.

— А говорите, лучше будет, совсем хорошо?

— Во-первых, я, как врач, не имею морального права ни при каких обстоятельствах говорить больному, что ему будет хуже и что он скоро умрет. А во-вторых, хуже для нее уже быть не может. Все теперь, включая и смерть,— для нее лучше... Ну вот, а здесь у нас хранятся запасы крови для переливания. В нашем институте, куда привозят со всей Москвы попавших в разные катастрофы — начиная с автомобильных и кончая нападениями бандитов, кровь — первая необходимость. Теперь мы стали пользоваться трупной кровью, а сначала это считалось неэтичным.

— Как трупной?

— Да. Мы ее любим больше, чем свежую.

— Кого любите?

— Трупную кровь.

Ничего себе разговорчики. Но стараюсь выдержать тон (может, меня просто разыгрывают ради дружеской шутки):

— И за что же вы предпочитаете трупную кровь живой и свежей?

— А в ней много защитных веществ. Дело в том, что если человек умирает от инфаркта или от тромба, например, то организм выбрасывает в кровь в виде защитной меры разные вещества. Тревога! Катастрофа! Пожарные меры! Все — в кровь! Любой ценой сделать ее жиже, активнее! Но человек все равно умирает, и тогда кровь, обогащенную этими веществами, можно взять. Долгое время это считалось неэтичным. Трупная — одно название... Я помню, сначала брал тайком, на чердаке. Чтобы кровь хорошо вылилась, труп вместе со столом надо наклонить головой вниз, а он у меня поехал.

— Труп?

— Ну да. Я его схватил. Обнялись. Черт знает какая картина... А здесь мы храним запчасти.

Борис Александрович открыл большой холодильник,

который открывался сверху, как сундук. Там я увидел множество свежих костей. Кажется, это были преимущественно суставы и коленные чашечки.

— Моментальная заморозка при семидесяти градусах и — шикарные запасные части. Теперь спокойно. Мы заходим в отдел реанимации.

— Оживление трупов?

— Если быть точным — да. Но, конечно, не в полном смысле трупов. Жизнь должна теплиться. Если вынуть из петли раньше трех минут, есть надежда возвратить жизнь. Но позже происходят необратимые процессы в мозгу.

На высоком узком столе лежала небольшого роста, полная, а вернее сказать, плотная женщина. Коротышка, можно было бы сказать про нее при жизни. От аппаратов, стоящих в изголовье, тянулись к женщине, к ее ноздрям, рту, венам на кистях рук, тонкие резиновые трубочки, на короткой шее женщины я разглядел лиловый рубец — след петли, из которой ее вынули несколько часов назад.

Нельзя сказать, чтобы группа реанимации суетилась вокруг женщины. Наблюдали, конечно, поглядывали, следили за пульсом, за давлением, за температурой. Но никакой суеты, никаких внешних действий больше не требовалось. Аппаратура подавала в легкие воздух и втягивала его обратно. Это делалось в ритме нормального человеческого дыхания. Дыхание насильно навязывалось организму в течение вот уже нескольких часов в надежде, что включится мозг, включится собственное, а не принудительное дыхание, а затем вернется сознание. Ведь включилось же сердце. Как я понял, трудность этого случая (а он вовсе не был здесь исключением и редкостью) состояла в том, что мозг не включался и не было теперь почти никакой надежды, что он включится. Но и как же, с другой стороны, взять и выключить этот дыхательный аппарат? Как отсоединить все эти питающие и подающие лекарства трубочки, если сердце еще стучит? Да, она сама залезла в петлю. Да, она уже фактически была мертва и теперь давно бы окоченела, если бы не эта попытка оживить труп. И все же остановить аппаратуру и отсоединить трубочки, пока сокращается сердце,— все равно что убить ее еще раз.

Тут надо было бы мне, по моей писательской дотошности, расспросить обо всем: сколько часов они собираются ее держать на этом столе? Сколько случаев из десяти бывают успешными? Сколько человек привозят к ним в сутки? Есть ли закономерности? Кого бывает больше — молодых или

пожилых? Мужчин или женщин? Когда больше? В будни, в праздники, перед праздниками, после них? Сколько человек из десяти оживших жалеют, что они ожили, а сколько рады?

Но я не вникал в эти подробности и тонкости потому, что во мне зародился замысел. А что, если, подумал я, написать об этом институте небольшую книжицу. Были у меня «Письма из Русского музея», а теперь будут «Письма из Института Склифосовского». Там — искусство и дух, а здесь — плоть и страдания. Впрочем, и дух тоже. И социальные мотивы. Статистика, выводы. Мало ли здесь предметов для размышления. История этой «Шереметевской больницы». Изменения масштабов. Отношение к жизни и осмысление смерти. О, тут будет о чем поговорить! Конечно, только при содействии Бориса Александровича. Сейчас, правда, в ближайший год, мне некогда заниматься институтом, надо закончить начатое. Пусть замысел зреет. Но потом — непременно, всенепременно. Через год или как только появится свободное время. Для этого надо высвободить, по крайней мере, год. А фигура такого хирурга, как Петров, объединит весь материал вокруг себя. Петров будет центром композиции. Он обеспечит соразмерность всех частей...

— Борис Александрович, если я попрошу, вы дадите разрешение посещать ваш институт и бывать здесь на оживлении?

— Что, захотелось написать? Пожалуйста! Доступ на все этапы реанимации. Моя операционная, морг, выезды на наших машинах на места аварий и всяческих происшествий. Шикарно!

Женщина лежала. Дыхательный аппарат работал. Сознание не возвращалось к ней. Мы вышли в коридор. Я с недоумением увидел, что в коридоре на трех стульях сидят одетые в пальто какие-то люди. Точно на вокзале ждут поезда. Чего они ждут? Не очереди же на реанимацию? Ах да, они, вероятно, ждут результатов реанимации. Оживет или не оживет? Это их родственница. Я уж знаю, что надежд — никаких, а они этого еще не знают. Я нахожусь по эту сторону черты. По одну сторону все больные и вообще все люди, которые будут больными, а по другую сторону — все врачи. Не только благодаря белому халату, но так уж получилось, что я теперь оказался психологически по другую сторону черты. За кулисами, а не в зрительном зале — вот в чем дело. Вот — колосники. Вот — убор-

ные. Вот — артисты с чемоданчиками. Вот — составленные кое-как декорации из картона, фанеры, тряпок. Веревки. Задники. Щит с рычагами и кнопками. Я — за кулисами. В то время как зрители рассаживаются по местам и сфера их впечатлений — гардероб, гардеробщица, предлагающая бинокль, сияющее огнями фойе, буфет, кресла, для меня сфера впечатлений — деловая суета, грубый грим, бутафорские одежды, промывание горла, волнение и отдаленный гул заполняющегося зрительного зала по ту сторону занавеса.

— Так когда же вам понадобится разрешение на беспрепятственный вход в институт?

— Нужно дописать книгу. Я думаю, не раньше чем через год.

— Не важно. Когда хотите. Все здесь будет к вашим услугам.

Кто же мог знать, что через год мне самому придется ложиться под нож хирурга и что не будет никакой возможности лечь под нож Бориса Александровича, потому что за шестнадцать суток (!) реаниматоры (чудовищный тромб в главном стволе головного мозга) не добьются никаких результатов, и на похоронах на Немецком кладбище кто-то из профессоров подойдет ко мне сзади и проговорит на ухо:

— Фактически мы хороним Институт Склифосовского.

А на мой недоуменный взгляд с резким поворотом головы пояснит:

— Заведение, конечно, останется. Я имею в виду традиции, стиль и дух.

2

Эти мысли могли бы прийти и без посещения Института Склифосовского. Но все же институт направил и подтолкнул. Нетрудно заметить, что все разнообразие человеческих смертей делится на четыре основные категории.

1. Люди не хотят умирать, но на них набрасываются разные болезни и убивают их медленно или быстро.

2. Здоровые, не подвергшиеся болезни люди, которым бы жить да жить, сами убивают себя.

3. Люди не больные и не желающие добровольной смерти погибают от несчастного случая: автомобильные и авиационные катастрофы, крушение поездов, пароходов, землетрясения, наводнения, пожары, взрывы и весь регистр

человеческих бедствий от войны до трехлитровой банки с компотом, которую недавно столкнула по небрежности с четвертого этажа мойщица окон как раз на голову пятилетней девочки, оставленной отцом у дверей магазина, в то время как он пошел в магазинную толчею купить себе бутылку вина, а девочке леденцов.

Какова же четвертая категория? Видимо, человек может дожить до такого возраста, когда умереть для него будет столь же естественно, как и жить. Нить жизни истончается до такой степени, что распадается сама по себе, без дополнительных внешних усилий, будь то болезнь, веревочная петля, грузовик, наехавший на пешехода... Только здесь, при естественном и безболезненном засыпании, может быть у людей одинаковое отношение к смерти: умереть, как уснуть. И вообще не о чем говорить. Нет никаких проблем, как не возникает их ну, скажем, при заходе солнца или при опадении пожелтевших листьев.

Но эти смерти (когда человека оставляет всякое борение страстей) исключительно редки. То есть чтобы и окружающие воспринимали смерть человека столь же безмятежно, как и он сам. Чаще мы наблюдаем бесчисленные оттенки.

Но, прежде всего, два крайних случая.

В ту весну прошелестела зловещим ветерком по редакциям, издательствам, по Дому литераторов (многолюдная толчея в фойе и ресторанные столики), просто по писательским квартирам, в Лаврушинском переулке, на Ломоносовском проспекте, в районе метро «Аэропорт» — Яшин, Яшин, Яшин...

Не остановило, я думаю, в растерянности чьего-либо пера, не прервало машинописной дроби, но все же в сознание вошло: Яшин болен. Не просто болен. Мало ли ежедневно больных людей. Болен именно той самой болезнью, и, кажется, уже сделана операция. На «Каширке». И делал ее сам Блохин. И сразу услышавшие начинали прикидывать в уме, сколько же теперь Яшину, и, прикинув, с ощущением щемящей в груди тоски осознавали, что Яшину всего лишь пятьдесят пятый год.

Перед этим были годы, когда я встречался с Яшиным так или иначе. Например, приглашал его на зимнюю подледную рыбалку в Карачарово, на Григоровы острова. Или читал он новые стихи у себя на даче. Или мимоходом, бывало, подсядешь на четверть часа за его столик. Или на большом литературном вечере совпадет, что окажешься

в одной афише, а значит, и за одним столом на сцене перед большим залом. И все идет чередом. А часы его болезни, оказывается, уже тикали и тикали, и никто не расслышал вовремя их торопливого необратимого тиканья.

Но сам-то он неужели ничего не слышал? Не томило предчувствие, не побаливало, не покалывало? Не наваливалось во сне в виде тяжелого кошмара или вещего сна, когда приходит близкий умерший человек и зовет с собой, а то еще и потянет за руку?

Мало ли где у нас у всех побаливает и покалывает! К тому же доподлинно известно, что в последние года Яшин то и дело обращался к врачам. Его лечили от колита и от гастрита, еще от какой-нибудь чепухи. И будто бы он не раз говорил докторам: «Ищите во мне серьезную болезнь. Хватит меня от геморроя лечить. Я же чувствую, что я болен». Но серьезную болезнь врачи просмотрели. В Вильнюсе, где Яшин случайно оказался по литературным делам, он разговорился с другом. Друг посоветовал врача. Врач наконец разобрался и поставил настоящий диагноз. И сразу же — на «Каширку».

Прежде чем лечь в раковую больницу, то бишь в онкологический институт, Саша объехал в Москве дорогие ему места, побывал у памятника Пушкину, пешком прошелся по Арбату, постоял у Кремля, посидел в «Арагви». Из этого видно, что он понимал всю серьезность дела. В письме Василию Белову так прямо и написал (говорю по памяти, потому что письмо хранится у адресата): «Болезнь, как видно, уже запущена. Говорю это не для розовых соплей. Помнишь ли ту березу, которую я тебе показывал на Бобришном угоре? Так вот, хочу лежать там. Только там...»

Пока объезжал Москву, может, кто и встречался с Яшиным, может быть, с кем-нибудь он и попрощался, ложась в больницу, но на это смотрели пока еще отвлеченно.

— Ну ничего, вырежут, поправляйся. Многие ложатся в больницу, а потом живут себе до ста лет. Счастливо. Не падай духом.

Но вскоре прошелестело по редакциям, по издательствам, по Дому литераторов, просто по писательским домам — Яшин, Яшин, Яшин... И уж если прошелестело, то, будьте уверены, так оно на самом деле и есть.

Горе усиливалось тем, что Александр Яшин как писатель, несмотря на возраст, не достиг своего писательского потолка. Он набирал высоту и только еще входил в полную силу. Это редко бывает, чтобы к пятидесяти годам не до

конца была ясна величина писателя, а его возможности оставались бы нераскрытыми. Обычно к этому времени лицо художника определяется и его место в искусстве тоже. Рост может продолжаться, но, так сказать, вширь. Многое можно успеть и после пятидесяти, но в количестве. Качественно новым во второй половине своего века предстать уже трудновато.

Александр Яшин был тем редчайшим случаем в искусстве, когда все чувствовали по его стремительному развороту, что главное у него впереди. Он и сам это чувствовал, поэтому и умирал с таким нежеланием. Он все просил у профессора Блохина после операции, когда начал слабеть с каждым днем:

— Сделайте что-нибудь. Дайте три месяца. Повесть дописать должен. Потом умру. Поддержите чем-нибудь. Любыми уколами. Вы же медицина двадцатого века! Не жизни прошу у вас, а три месяца. Любые средства. Сделайте что-нибудь!..

Митя Воробьев мог бы поделиться с Яшиным и не тремя месяцами. Кто знает, сколько ему полагалось прожить на земле, сорокадвухлетнему, высокому, крепкому, красивому, купающемуся в реке до ноября, до льда, а потом и ныряя в прорубь. Все будущие годы стали вдруг не нужны Мите Воробьеву, и он мог предложить остронуждающемуся любое количество лет. Как если бы человек просит на перекрестке двадцать копеек на буханку черного хлеба, а ему вдруг случайный прохожий бросает в шапку тугую пачку в банковской упаковке, а в пачке несколько тысяч.

Художник-живописец (и собиратель живописи), меломан (и собиратель старинных граммофонных пластинок), охотник, поэт, прозаик, автор многих хороших книг, то есть человек, воспринимавший жизнь активно и глубоко по многим направлениям, Митя Воробьев спокойно уехал на дачу в Абрамцеве, спокойно слил воду из отопления и на дачном участке (дабы сама дача не была связана со смертью) из ружья разнес себе вдребезги заднюю часть головы.

Как же можно сопоставить эти два чудовищных факта? Человек, жаждущий хоть трех месяцев жизни, не получает и лишнего дня, а человек, у которого в распоряжении десятилетия, сам отказывается от десятилетий и не хочет больше ни одного часа? Две крайние точки отношения к смерти. Вернее, к жизни. Между ними лежит весь огромный разнообразный регистр.

Когда тетя Агаша, девяностолетняя старуха в нашем селе, причитает, сидя на крылечке на солнышке: «Уж я все молюсь, господи, скоро ли ты меня приберешь? Ну кому я нужна? Ни тепла, ни света, прости меня, господи, одна копоть...»

Когда писатель Н. недавно в бессильном озлоблении (в котором, впрочем, и была прожита им вся жизнь) кричал докторам: «Сволочи, убейте меня! Гады, сделайте мне укол!..»

Когда известный артист Всеволод Аксенов, поняв, что умирает, спокойно срежиссировал свои собственные похороны, расписав, где должен стоять гроб, кто должен открывать траурный митинг, какая музыка должна при этом звучать...

Когда великий физиолог, умирая, фиксировал и диктовал секретарю изменения, происходящие в нем в последние часы, а на телефонные звонки отвечал через секретаря же: «Скажите, что Павлову некогда, он умирает...»

Когда Людовик XVI, взойдя на эшафот и увидев после темницы первого живого человека, с которым мог бы перекинуться словом, спросил у палача с топором в руках: «Братец, что слышно об экспедиции Лаперуза?»

Недавно сидели за чашкой чая, и был среди нас, сорока- и пятидесятилетних, человек, проживший восемьдесят четыре года. Он был бодр, подвижен. До сих пор не бросил своего ремесла (уроки пения). За чаем сыпал случаями из своей бурной артистической жизни и анекдотами. Как раз в те дни умер маршал С. М. Буденный. Разговор, естественно, зашел о его смерти.

— Только бы жить,— сокрушался наш собеседник.— Все было: почет, свободное время, покой, материальное благополучие. Лови рыбу, собирай грибы, путешествуй. Да просто так — смотри на цветы, на солнышко, на привольную землю.

— Так ведь пожил,— робко возразил я,— девяносто два.

— Ну и что, девяносто два! Только бы и жить при таком благополучии.

Сначала мы подумали, что Леонид Федосеевич говорит шутя. Тут я вспомнил, что ему самому восемьдесят четыре года и что если для меня «девяносто два» есть отвлеченная, почти астрономическая цифра, нисколько не отличающаяся от двухсот пятидесяти или двухсот двадцати, то для него

она близка и реальна, как для меня, сорокадевятилетнего, пятьдесят пять.

Разнообразно отношение к смерти, вернее, к жизни между двумя крайними точками.

3

Над Кобулетами сияло чистое, ослепительно синее небо — редкость для этих мест в сентябрьское время — время шумных и по-своему прекрасных субтропических ливней, заряжающихся иногда сразу на две недели. И совсем уж большая редкость, даже роскошь — и справа, и слева вдали, если встать лицом к подковообразному морю, на дальних краях подковы, в прозрачной синеве, каждый день по утрам очерчивались розовато-белыми ломаными линиями висящие в воздухе горы. В обычное для Кобулет время они скрыты в облаках или в дымке, так что видны только ближние, вовсе не розово-воздушные, а темно-зеленые тяжелые холмы, придавленные сверху серыми тюками облачной ваты.

Но небо весь месяц ослепительно сияло, заставляя быть, в свою очередь, не менее синим и не менее ослепительным раскинувшееся под ним море. Вдалеке, там, где можно было предположить турецкие, не столь далекие здесь, берега, обе синевы соединялись, и линия их соединения была едва различима в синем мареве. Только в минуты заката явственно различалось, что тут две синевы, ибо одна синева не мешала видеть красную и распухшую половину солнца, а другая скрывала нижнюю половину, постепенно засасывая в себя и весь солнечный шар, словно он был недостаточно тяжел, чтобы утонуть и погрузиться мгновенно.

Две синие стихии были различны и по остроте человеческих ощущений. Верхняя бесконечно радовала глаза, а значит, и душу, но, любуясь, было неизвестно, что же с ней делать дальше. Ну, ощутить ветерок на коже, ну, дышать (запахами моря и сосен был настоян прибрежный воздух), ну, что еще? В то время как в нижнюю синюю стихию можно было войти, погрузиться, окунуться с головой, чтобы она обхватила, обволокла, обняла и сжала.

Я только что, две недели назад, совершил единственное в своей жизни восхождение на настоящую горную вершину в Тянь-Шане. Эта маленькая победа, это довольно-таки

суровое испытание, вот именно, физических и нравственных сил, оставшееся позади, наполняли меня особенной радостью бытия. Кроме того, так получилось, что эту кобулетскую осень делила со мной молодая и прекрасная женщина.

Предвижу на полях рукописи в этом месте карандашную галочку редактора. Предвижу также кисловатые мины друзей, которым случится читать написанное, предвижу недоумение всех бескомпромиссных и строгих моралистов с их возможными репликами:

— Как? А семья? Это же форменное безобразие!

— Ну хорошо. Все не ангелы. Но зачем объявлять и расписывать? Еще Христос некогда вопрошал толпу, защищая грешницу: «Кто без греха, пусть бросит в нее первый камень», чем и привел всю (всю!) толпу в смятение и заставил рассеяться. Все так. Но все же такие дела делаются в строжайшей тайне.

— Да это уж надо потерять всякую совесть!

Но может быть, робко спрошу, более бессовестно любить женщину, принимать от нее любовь и бояться или стыдиться показываться с ней на глаза людям?

Кроме того, я ведь пишу не отчет о командировке, а художественное в некотором роде произведение. И вот, представьте себе, что для художественной выразительности, для сюжета мне надо поставить своего героя в условия наиполнейшей радости жизни, окунуть его во всю полноту жизни, поселить его в раю, со всеми райскими атрибутами. Значит, где же я выберу место для такого рая, если не в Грузии и не на берегу теплого моря? Какое время я возьму для рая, если не приморский сентябрь? И могу ли я, поселив своего героя в раю, оставить его без Евы?

Если бы я написал так: «Иван Иванович Перетяжкин был счастлив в эту свою сорок восьмую осень. Он только что совершил восхождение на первую в жизни вершину в горах Тянь-Шаня. Он поселился после этого в отличном санатории на берегу Черного моря. У него была с собой любимая работа. И так получилось, что эту осень делила с ним молодая и прекрасная женщина», если бы я написал так, не возникло бы карандашной редакторской галочки на полях, не было бы недоуменных вопросов, осуждающих взглядов и шиканий за спиной.

Но я все свои книги пишу от первого лица. Кроме того, как писатель, я владею, по-видимому, даром убедительности, так что все тотчас принимают написанное мною за

документ, а между главным героем каждого рассказа и автором не делают никаких различий.

Но, право же, мне теперь все равно. Хотите считайте это (как я вам советую) литературным приемом, хотите считайте (если вам больше нравится) потерей стыда и совести. Но в раю должна быть Ева, и действительно, так уж получилось, что эту кобулетскую осень делила со мной молодая и прекрасная женщина.

«Еве» шел двадцать пятый год. Она только что кончила Московский университет (русскую филологию), и эта «гора с плеч» тоже способствовала, должно быть (помимо других обстоятельств), ее радости, легкости, ее, точнее говоря, счастью.

Это была высокая, безупречно сложенная женщина со светлыми волосами, льющимися на плечи. Серые, немножко исподлобья глаза, нос с едва заметной (польской) горбинкой, большой, но красивый рот и широковатая щелочка между двумя верхними фарфоровой белизны резцами. Мужчины даже в Москве (о Кобулетах попозже) провожали ее взглядами, а один в метро оставил плачущую жену и выскочил вслед за ней в уже задвигающиеся вагонные двери и плелся за ней, как лунатик, по улицам, пока она не села в такси и дальнейшее преследование сделалось невозможным, потому что свободных машин на стоянке не было.

Один из троих мужчин, провожавших ее глазами, громко говорил ей вслед, так что ей было слышно:

— Ну что ж, на уровне мировых стандартов.

Так и неизвестно до сих пор, был ли это комплимент или фраза подсказана тем же чувством, с которым известная лиса взирала на известный виноград в басне великого русского баснописца.

В эту осень и именно для меня оказалось у Евы еще одно дополнительное качество, сверх всех ее постоянных качеств. Она никогда не видела моря. Она никогда не купалась в море. Не окатывалась ласкающей двадцатидвухградусной синевой. Не барахталась в остро пахнущей водорослями пене прибоя. Не вздрагивала от внезапного прикосновения к сиреневатым шарам медуз. Не искала ярких камешков в прибрежной гальке, не смотрела в синюю даль, где проплывают время от времени игрушечные белые пароходики.

Кроме того, она никогда не бывала и в Грузии, не знала грузинских базаров, грузинских застолий. Не видела гор,

горных речек, чайных плантаций, мандариновых и апельсиновых садов, бамбуковых рощ, аджарских деревень. Она никогда не пила маджари, не ела хаши, не пробовала «Изабеллы», не держала в руках и не нюхала цветка магнолии, не сидела на террасе приморского ресторанчика, не собирала каштанов, не глодала вареных кукурузных початков, размазывая щепотью по ним, еще горячим, крупную острую соль.

В человеке живет извечная потребность — поделиться радостью. Или, может быть, точнее сказать — приобщить к своей радости другого, а тем более близкого, человека. С энтузиазмом показывает один человек другому свой город, свою библиотеку, свой дачный участок, свои родные места. Но что дачный участок и даже город по сравнению с Черным морем? Показать его свежему человеку, пережить еще раз всю остроту и всю радость первого знакомства с ним, первого потрясения им, первой любви к нему — уж одно это есть неподдельное и глубокое счастье.

Добавим ко всему сказанному, что Ева не умела плавать (она умела к своим двадцати четырем годам многое другое) и что мне предстояло в течение месяца научить ее держаться на воде и хотя бы немного передвигаться по ней.

— Ты не боишься? — спрашивал я у Евы.— Теперь у нас будет общее море. А это ведь не сходить в кино. Это огромно и надолго. Обрастешь воспоминаниями, связанными с морем. Эти воспоминания свяжут и нас — не боишься?

— Я счастлива,— отвечала Ева.— У меня в жизни никогда еще не было такого счастливого месяца, и дело не только в море.

— В чем же?

— Ко мне никто еще так не относился.

— Как к тебе относились?

— Плохо. Жестоко. Потребительски. Я отвечала тем же. А теперь — море! Господи! Моя жизнь — и Черное море!

Не знаю, что она хотела сказать, воскликнув это, но что бы там ни было, восклицание было в пользу Черного моря.

Первое утро выпало по заказу. Мог бы тянуть ветерок. Море могло бы морщиться, плескаться, а мне хотелось либо уж многотонных валов, катящихся на берег, либо зеркальной тишины, сквозь которую мерцает дно, как если бы никакой воды вовсе не было.

Было именно такое тихое утро. Конечно, море не может совсем застыть, замереть, не подавать признаков жизни.

Вода у наших ног была живой водой, а не остекленевшей безликой массой. Но что это было за движение? Если бы я поставил ступню ноги как раз на границу черного с синим (то есть гальки и воды), то вода, ритмично раскачиваясь, время от времени доставала бы до моей лодыжки. Ее усилий хватало омыть полоску берега шириной сантиметров в тридцать, но омыть так тихо и осторожно, что не шевелился ни один камешек.

Ева сбросила ситцевый халатик и осторожно пошла к синеве. Эта женская, приближающаяся по изяществу к кошачьей грация — оставшись на одной ноге, другой дотронуться до поверхности моря и отдернуть ногу, словно обжегшись, хотя здесь галька заметно холоднее воды...

— Морской царь, увидев тебя, оторопел в первые мгновения, но сейчас он опомнится и пошлет к твоим ногам своих рыб, дабы они приветствовали тебя от его имени.

— Что для этого нужно?

— Ступить в море хотя бы по колено.

В ответственные моменты любопытство женщины всегда пересиливает страх, и Ева шагнула в море.

— Ну, где же рыбы?

— Покажи им, что ты готова их принять. Пошевели пальцами ног.

Ева пошевелила и увидела, как из глубины со всех сторон к ее шевелящимся пальцам сплываются черные спинки рыб. Они возникали внезапно, словно не приплыли, а сотворились тут же из колеблющихся теней и бликов на дне.

— Как интересно! А где сам царь? Хочу к морскому царю!

Берег уходил под воду довольно круто. Каждый шаг приходилось бы делать не столько вдаль, сколько вниз. Поэтому я крепко взял Еву за руку и вел ее, нашедшую в себе силы не упираться и не визжать, пока синева не коснулась плеч, возможно все еще не до конца растерявших ночное постельное тепло.

— Моя жизнь и — Черное море!

— Твоя жизнь впадает в Черное море.

...Километрах в восьми от Кобулет, если ехать к Батуми, есть местечко под названием Цихидзири. Морской берег, в отличие от кобулетского, здесь высок и крут. Вернее, гряда предгорий, отступившая в Кобулетах на несколько сот метров от берега, здесь подходит к нему вплотную. На высоком холме, нависшем над морем, на

высоте трехсот, скажем, метров,— остатки древней крепости, обломки стены, похожей на обкрошившийся зуб. Рядом устроили ресторанчик с террасой, парящей над морем (на трехсотметровой высоте) и утопающей в зелени. Все здесь захлестнуто зелеными округлыми клубами. Стоя около ресторанного домика, и не увидишь за зеленью никакого моря. Но, выйдя на террасу, испытываешь иллюзию полета, парения над синей бездной, местами затемненной тенями от кучевых облаков, а местами в золотой чешуе отраженного солнца.

Впервые мы пришли сюда с Фридоном Халваши, батумским писателем, и поэтому в другие приходы нас встречали не как средних, безликих, случайно зашедших туристов или курортников, но предупредительно, услужливо, как гостей. Мы парили над морем вместе с нашим столиком, на котором умело расставлялись грузином по имени Гиви зеленая фасоль с орехами, свежая брынза, ворох зелени, обрызнутой водой (кинза, тархун, цицмата, реган, петрушка), острое мясо, помидоры и парочка бутылок «Саэро», легкого белого вина, самого распространенного здесь, в Аджарии.

Впрочем, уже через полчаса парения Гиви приносил и ставил на стол еще три бутылки, потом еще пять, а на наше недоумение отвечал:

— Это вам прислали с другого столика.

Хотелось бы тешить себя мыслью, что, может быть, вино послано мне как писателю, связанному с Грузией давнишней дружбой. Но все же вернее предположить, что вино присылалось благодаря Еве, хотя она и садилась всегда лицом к морю, а спиной к остальному ресторану.

Если бы нам брать с собой и копить все эти бутылки, мы, вероятно, могли бы открыть вскоре свой духан наподобие Цихидзири. Но приходилось оставлять вино на столе и вокруг стола, может быть, к обиде грузин, ревностно следящих издали, как мы относимся к их подаркам.

Из всего ароматического, я бы сказал кобулетского, базара мы предпочитали виноград «изабеллу». Говорят, так его назвали испанские (не то португальские) моряки, нашедшие его в Южной Америке и прижившие у себя на родине. У нас главным местом, выращивающим «изабеллу», надо считать Абхазию. Но все же этот виноград растет и в других местах на берегу Черного моря, в том числе и в Аджарии.

Есть тысячи сортов винограда, отличающихся друг от друга цветом, размером и формой ягод, временем созрева-

ния, степенью сладости, терпкости, ароматом и оттенками аромата. Но вкус и аромат «изабеллы» настолько своеобразен и отличен от других сортов, что непривычному человеку сначала даже не нравится. Кажется резким. Потому что одно дело вкус, а другое — привкус. «Изабелла» обладает исключительным, одному только этому сорту присущим привкусом. Кроме того, ягоды «изабеллы» своеобразны и по внешнему ощущению. Вы раздавливаете ягоду во рту и ждете, что сок из нее тотчас вытечет, облив язык, губы, нёбо, весь ваш рот и даже гортань. Тем более если раздавливаются сразу две-три, а то и четыре ягоды. Но ничего похожего не происходит, когда вы едите «изабеллу». Кожица лопается, и содержимое ягоды выскальзывает из нее упругим скользким комочком, который нужно еще, в свою очередь, раздавливать с некоторым усилием. Впрочем, можно проглотить целиком. Все равно уплотненное содержимое ягоды успеет, пока проскальзывает, передать вашему рту и всю свою сладость, и весь свой, как мы условились, привкус.

Вы можете привыкать к «изабелле» долго, или полюбить ее сразу, или считать, что так и не привыкли в конце концов, но, взяв когда-нибудь другой виноград и начав его есть, вы вдруг почувствуете, что в нем чего-то, увы, не хватает. Он пустоватый, неинтересный, этакая сладкая водичка. Тогда вы вспомните «изабеллу» и будете стремиться вернуться к ней, возобновить во рту ее вкус. Но для этого нужно ехать в Абхазию или вообще на Черное море, потому что до Москвы «изабеллу» почему-то не довозят, так же как и вино с этим названием.

Фридон собирался свозить нас в Верхнюю Аджарию, в глухую деревню, где живет винодел, который делает будто бы самую лучшую «Изабеллу».

Вот из каких ощущений и предвкушений состояла моя жизнь в том сентябре. По утрам я работал (без этого у меня не может быть полноценного восприятия жизни), остальной день заполнялся шумным базаром, купанием, предвечерней прогулкой по набережной, иногда «киношкой» — и всюду я ловил себя еще на одном драгоценном ощущении. Смотрел ли я на Еву, сидя за столиком в Цихидзири, смотрел ли, как она переходит улицу, смотрел ли, как она ест «изабеллу», смотрел ли, как она входит в морскую воду,— мне не верилось, что она, именно она, и остается со мной вечером.

Но были теневые стороны. Слух о светловолосой и

стройной красавице быстро распространился по всему курортному городку. Евин знакомый москвич Коля Макаров, случайно встретившись с ней на почте, обрадовался:

— А, так это о тебе все говорят как о прекрасной москвичке. А я думал, о ком, о ком.

Ей нельзя было выйти одной ни на улицу, ни на пляж без того, чтобы не начали навязываться со знакомством, предлагая тотчас же поехать в Батуми, а то и в Тбилиси.

— Послушай, дэвушка, машина есть, деньги есть. Говори, чэго хочешь.

Однажды я видел (нарочно наблюдал с другой стороны улицы), как Ева шла по тротуару с базара, а рядом с тротуаром со скоростью пешехода и с приглашающе открытой дверцей все три километра за ней ехала «Волга». В конце концов я перешел улицу, и не успел водитель «Волги» опомниться, как оба мы — я и Ева — уже сидели в его машине.

— Насколько я понимаю, вы предлагаете нам свои услуги? Отвезите нас, пожалуйста, в Цихидзири.

Растерявшийся и сохранивший в глубине души врожденную вежливость грузин молча развернулся и отвез нас куда нужно. Три рубля, которые я пытался всучить ему, он не взял.

Еще большую настойчивость приходилось переживать Еве на пляже, особенно в те часы, когда я работал. И вот однажды (сюжет, сделав окольный и, казалось бы, никчемный виток, выходит на прямую и ложится на курс) мне пришлось даже поругаться с солидным, интеллигентного вида отдыхающим из нашего санатория.

— Вы же великая нация,— бил я обросшего шерстью ловеласа по самым больным местам. — Мы приехали из Москвы, мы фактически гости этого края. Где же ваше благородство, ваше рыцарство? И что это вы бросаетесь на нее, как дикари. Ну ладно бы еще комплименты, ухаживания, а то ведь сразу: машина, цитрусы, деньги. Вы что, никогда не видели белой женщины? Или думаете, что она не видела ваших цитрусов?

Накопившееся раздражение прорвалось у меня.

— Отойдите немедленно на десять шагов и не смейте больше никогда приближаться к ней на более близкое расстояние.

Грузин, оказавшийся все же интеллигентным (или испугавшись), отошел и лежал до конца дня на своем лежаке, не поворачивая головы в нашу сторону, но злость

на меня, видимо, затаилась в нем. На другой день, когда мы с Евой, выйдя из воды, растирались махровыми полотенцами, он подошел ко мне и, ловко скрывая свои истинные чувства, заговорил:

— Слушай. Я не хочу с тобой ругаться, потому что ты скоро умрешь. Ты видишь этот черный бугорок у себя на коже? Ты знаешь, что это значит? Это меланома, мой дорогой. Самая скоротечная форма рака. Я — хирург. Я сам режу такие опухоли. Я бы на твоем месте немедленно полетел в Москву.

— В самом деле, что это у тебя такое? — заинтересовалась и Ева.

— Пустяки. Просто очень изощренная форма мести. У нас в Москве был писатель (умер совсем недавно), который любил говорить людям гадости. Подойдет к человеку и скажет: «А ты плохо выглядишь. И цвет лица у тебя какой-то серый. У тебя, братец, не рак ли?» — «Что ты, что ты,— замашет руками жертва.— Я себя хорошо чувствую».— «Сначала все себя хорошо чувствуют. Ты уж поверь, я повидал на своем веку. У тебя, наверное, рак».— «Да я и молодой еще».— «Ничего не значит. Рак молодятину еще больше любит. Он тебя скоро съест».

— Какой ужасный это был человек! Но на самом деле, что это у тебя и давно ли? — не унималась Ева.

— Уже два года. Да забудь ты о ней. Неужели какая-то жалкая бородавка на коже бедра может затмить для нас эту жизнь. Море, небо, деревья, «изабеллу», тебя, наконец. Рай — и вдруг бородавка! По всей вероятности, это узелок завязался на сосуде. Единственная неприятность от него: когда заденешь — болит. Например, вчера, когда меня волочило прибоем по гальке...

Но тут на пляже появился Фридон в сером костюме, галстуке, и мы пошли одеваться, чтобы ехать в Верхнюю Аджарию и пить там настоящую «Изабеллу». Жизнь прекрасна!

4

Звучит, не жалуя, не милуя,
Мотив знакомый издавна:
«Твоих лучей неясной силою
Вся жизнь моя озарена».

Озарена, как утром розовым,
Или как ночь озарена,
Когда плывет над тихим озером
Во всем величии луна.

Так освещает скудость сада
Цветущей яблоней весна
Иль золотистый свет лампады
Икону древнего письма.

Так голубой туман долины
Пронизан солнечным лучом.
Так белоснежный снег вершины
Лучом заката освещен.

И благодарно и влюбленно,
Той озаренностью дыша,
Как снег, вода и лик иконный,
Ответно светится душа.

5

Если бы воспринять слова грузина-хирурга всерьез, то вот уж поистине — гром среди ясного неба. Нарочно бы не придумать столь же радужной, идиллической обстановки для объявления мне столь внезапной и страшной новости. На подобном контрасте построена целая повесть Пушкина «Выстрел». Что толку убить тебя, когда ты не боишься смерти, равнодушен и, быть может, даже устал от жизни. Нет, я убью тебя, когда ты счастлив, когда ты хочешь жить. Среди обильного пира жизни настигнет тебя стрела моя.

Однако я отнюдь не бросился на аэродром, или хотя бы в какую-нибудь батумскую поликлинику, или хотя бы к врачу в санатории, а поехали мы в Верхнюю Аджарию на поиски «Изабеллы». Потом еще целых две недели купались, потом я полетел в Тбилиси на декаду русской поэзии и только к 10 октября возвратился в Москву. А возвратившись, вскоре уехал опять, на этот раз в благословенное Карачарово на Волге под добрую опеку Бориса Петровича Розанова (об этом позже).

Объяснима ли такая беспечность? Во-первых, легко было принять слова грузина за злую шутку. Во-вторых,

я носил эту «штуку» на бедре два или три года. Она не доставляла мне никаких беспокойств, я к ней привык и не обращал на нее никакого внимания. В-третьих... В-третьих, в нашей (ведомственной литфондовской) поликлинике каждый год проводится так называемая диспансеризация. Прекрасное, как я сейчас понимаю, мероприятие. Раз в год каждый писатель обязан обойти все врачебные кабинеты (ухо-горло-нос, хирург, глазник, рентген, ЭКГ, кожник, терапевт, анализы) и удостовериться, что он здоров. Либо обнаружить, что не совсем здоров, и начать лечиться. Занятие скучное — сидение в очередях перед дверями каждого кабинета. Отнимает обычно целый день. Поэтому писатели от него всячески отлынивают. Поликлиника принуждает. А средство принуждения у нее только одно: буде понадобится справка в Дом творчества или санаторий, таковую справку писателю не выдавать, пока он не пройдет диспансеризацию. К концу года накапливается много нерадивых писателей, и вот они группами, если не толпами, вереницами во всяком случае, с обходными листочками бродят из кабинета в кабинет, исполняя свой долг перед родной поликлиникой. Брожу и я каждый год, ничего не поделаешь. И вот приходится засвидетельствовать. Один год (первый год Ее появления) я ничего не сказал о Ней и на вопрос хирурга, «на что жалуетесь», ответил, что у меня все в порядке. И, довольный тем, что так быстро отделался от хирурга, побежал к следующему врачу. На другой год я Ее врачу показал как нечто не заслуживающее внимания, что и подтвердилось небрежным взглядом врача и его замечанием:

— Пустяки. Видимо, узелок на сосуде.

— Я тоже так думаю. Теперь, знаете ли, мы все стали грамотные.

— К сожалению. Будьте здоровы. До свидания.

На третий год я опять показал Ее и опять не встретил никакой тревоги со стороны врача. Правда, получил совет, но в безоблачной, безмятежной форме:

— Пустяки. Покажите ее на всякий случай онкологу.

Не то у онколога была большая очередь, а я торопился, не то онколог вышел из своего кабинета, а я не захотел ждать, но к онкологу я в этот раз не попал. Диспансеризацию мне зачли и так. Не устояли, наверное, перед моей убедительной просьбой. Подумаешь, пропустил один кабинет из десяти. Да и кабинет такой неприятный. Да и что мне делать у ракового врача? Нет же у меня рака в конце кон-

цов! Да если бы и был где-нибудь затаившийся рак, то за три минуты его не распознаешь. А уж если он обнаружит себя, то прибежит писатель без всякой диспансеризации, в неурочное время, начнет жаловаться на боли, на тошноту, на кашель, на мрачные предчувствия, на общую слабость. Короче говоря, на третий год я словчил, избежав кабинета онколога. Это было в конце декабря, а в сентябре следующего года грузин-хирург на кобулетском пляже поставил, как помним, свой диагноз.

Нельзя сказать, чтобы слова грузина совсем не задели меня. Прежде всего я невольно стал вспоминать, откуда Она взялась и при каких обстоятельствах появилась. Но в том-то и дело, что взялась ниоткуда и никакие обстоятельства не сопровождали Ее появления. Просто однажды я почувствовал на левом бедре, на ровной и гладкой коже в сантиметрах десяти ниже паха, слабую, но остренькую ущемленную боль. Приподняв край трусов и вглядевшись, я увидел, что из глубины, раздвигая мясо, простите, мышечную ткань, тщится вылезти на поверхность черненький пузырек. Почему-то мне пришло в голову, что это кровеносный сосуд расширился в этом месте, образовав нечто вроде крохотной грыжки, подобно тому как образуются венозные узлы на икрах, да еще и огромные. Мой-то бугорок, когда выкарабкался окончательно из проделанной им же самим щелочки в мышце, оказался размером с горошину. Пока он раздвигал волокна и в первые дни после его утверждения на новом месте немного покалывало, щемило, но потом все прошло, и я стал жить с этим пузырьком, не придав ему никакого значения.

Вспоминаю сейчас, что, кроме своей поликлиники, показывал его еще в кисловодском санатории лечащему врачу, но тоже был успокоен, что это пустяк и что — не вырезать же его!

Приходится удивляться теперь задним числом не тому, что никто из трех-четырех врачей, видевших мой пузырек, не поставил диагноза (для этого потребовались впоследствии сложные исследования и анализы), но что он никого из них даже не насторожил, хотя по внешнему виду, как я теперь понимаю, выглядел типичной, не вызывающей сомнений опухолью.

Итак, нельзя сказать, что слова грузина на пляже совсем не задели меня. Я вспомнил, как Она появилась, и у меня зародилась мысль показать Ее все-таки онкологу. Я даже два раза записался к врачу (у нас это делается по

телефону), но оба раза прийти в поликлинику мне помешали какие-то мелочи.

Первый раз, помнится, я был записан на три часа дня. но в этот же день, именно в три часа, совпало заседание президиума Литфонда, а так как я перед этим пропустил несколько подобных заседаний, то пропускать еще одно было крайне неловко, и я выбрал заседание вместо поликлиники и сидел на нем несколько часов. Мы разбирали заявления членов Литфонда о путевках, о пособиях, о намогильных памятниках, слушали отчет комиссии, обследовавшей Дом творчества в Переделкине, и все это было хорошо и прекрасно, но к врачу я в этот день не попал.

На другой неделе я записался снова на три часа. До этого времени предстояло сделать несколько небольших дел. Заехать в издательство «Молодая гвардия» и поговорить там в отделе художественного оформления, чтобы они поискали хорошего гравера для будущей моей книги, затем заехать в издательство «Советский писатель» и отдать им четыре стихотворные рукописи, которые были даны мне для прочтения и отзыва, затем заехать к машинистке и взять у нее перепечатанную рукопись будущего однотомника стихотворений, затем заехать к одной неизвестной мне старушке и посмотреть у нее будто бы старую икону, затем заехать в сберкассу и взять немного денег, потому что деньги у меня кончились. Между этими делами я должен был позвонить по телефону в шесть других мест и решить похожие же книжные, журнальные, статейные, стихотворные, переводческие дела, которые можно было решить по телефону. Время я рассчитал как будто точно. Но всегда получается потом, что тратишь на дело двадцать пять минут вместо пятнадцати и пятнадцать вместо пяти. Достаточно встретиться на лестнице с кем-нибудь из своих товарищей, поздороваться, спросить, ответить, рассказать, выслушать — и вот уж нет двадцати минут. Нужные телефоны в этот день, как нарочно, все были заняты, так что частые острые гудочки больно отзывались в ушах. Вместо трех часов я освободился от дел только в четверть пятого. И теперь можно было еще поехать к врачу, но я к этому времени почувствовал такой голод, что вместо поликлиники отправился в Дом литераторов, вместо онкологического кабинета оказался в ресторане, где и пообедал до шести часов вечера. А на другой день уехал в Карачарово с намерением провести там намеченные полтора месяца, написать три давно уже задуманных рассказа, а также закончить

давно начатую небольшую работу о Державине. И еще кое-какие мелочи. В частности, скорее надо было разделаться с переводом Абуталиба Гафурова, народного поэта Дагестана, за который я взялся еще весной. Собственно говоря, это была не книга, а ворох подстрочников (стихи, поэмы, проза), все, что написал за свою жизнь Абуталиб. Из этого я на свой вкус должен был выбрать, перевести и составить хотя бы небольшую книжицу, чтобы (по желанию издательства «Современник») русский читатель получил представление об этом девяностолетнем поэте, известном больше из книги Расула Гамзатова «Мой Дагестан» по многочисленным притчам «Абуталиб сказал».

Никакой ощутимой тревоги в сердце не было, иначе я не променял бы посещение врача на заседание и обед. Но вот я поймал себя на том, что невольно стремлюсь возвратиться к недописанному, скорее сесть за задуманное и вообще навести порядок в своем литературном хозяйстве.

Но почему Карачарово и почему обязательно уезжать из Москвы? Начну со второй половины вопроса. К пятидесяти годам складываются привычки, которые трудно ломать. К тому же известно, что каждый писатель имеет своенравные привычки, граничащие иногда, на посторонний взгляд, с чудачеством и капризом. Чехов садился за рабочий стол только в самой лучшей, «парадной» одежде. Куприн, напротив, любил писать (по крайней мере, в доэмигрантский период) совершенно разоблачившись. Бальзак устраивал искусственную ночь, занавешивая окна и зажигая свечи. Шиллер ставил ноги в таз с холодной водой. Тот пишет только карандашом, тот пишет только в школьных тетрадях, тот пишет только при музыке. Мало ли бывает привычек. У меня тоже выработалась своя привычка: работать в полную силу я могу, только уехав из Москвы. Есть квартира, просторный кабинет, хороший письменный стол. Но садишься утром и видишь, что все твои мысли расходятся пучком в разные стороны, а не фокусируются, как им полагается, на листе бумаги. И напротив, хоть какая-нибудь захудалая гостиница в захудалом городишке, тесный номерок с унылым видом на хозяйственный двор, но сядешь за стол и смотришь — пошла продукция, копятся исписанные страницы.

Лучше всего, конечно, в родном Олепине. Но в нашем доме мы не живем зимой, а только с мая, когда прогреет землю весна. Вот и мечешься всю зиму по Домам творчества и разным «берлогам». Одна из таких великолепных

берлог — «второй» корпус в доме отдыха в Карачарове. Иногда подсчитаешь, и получается, что в году у тебя было приблизительно 230 немосковских рабочих дней и соответственно 130 нерабочих московских.

И в Москве я могу написать то, что можно написать за один присест, за одно рабочее утро. Небольшую статью, рецензию, выступление на радио. Но писать изо дня в день длинную вещь, жить в сфере этой вещи — не получается. И в Карачарове я не постоянно сижу за столом, гуляю, обедаю, даже смотрю кино. Однако Карачарово не выдергивает меня из сферы вещи, над которой работаю.

В Карачарово на Волге начал я ездить лет пятнадцать назад, и сначала только ради подледного рыбного лова. Директор карачаровского дома отдыха Борис Петрович Розанов (племянник замечательного русского писателя Соколова-Микитова) — человек широких взглядов и прекрасной души. Он всячески привечал нас (меня и моих компаньонов по рыбалке), да и рыба там, особенно около Григоровых островов, на Бабне, под Корчевой, ловилась отменная.

Азарт к рыбалке постепенно угас, зато однажды пришла счастливая мысль попроситься у Бориса Петровича не на рыбалку на два дня, а на месяц ради работы. Наверное, он найдет и выделит отдельную комнату, а в питании я не капризный. То есть люблю, конечно, вкусно поесть, но могу довольствоваться и малым.

В первый мой рабочий карачаровский сезон Борис Петрович поселил меня в отдельной комнате, но в общем корпусе. Жить можно (и даже работать), но все же гоготня отдыхающих в коридоре, громкое радио в других комнатах, а то и песни под аккордеон делали жизнь малоприятной. Между тем на территории дома отдыха стоял почти легендарный для меня некий так называемый второй корпус, в котором любил жить в зимнее время Константин Александрович Федин. Я был приглашен в гости, и при первом посещении второй корпус показался дворцом. Прихожая (стоячая вешалка), холл (диван, торшер, журнальный столик, радиоприемник), кухня (газ, холодильник), просторная столовая (овальный стол, буфет с посудой, стулья, кресла, диван, телевизор), рабочий кабинет, спальные комнаты. И все это одному человеку! За рюмкой и видя, может быть, что Федин (по воспитанности своей) разговаривает со мной за равного, и видя еще, как загорелись у меня глаза, Борис Петрович тотчас и предложил:

— Константин Александрович через восемь дней уезжает. Если хотите, перебирайтесь на его место.

С тех пор каждую зиму я стремился приехать в этот замечательный деревянный одноэтажный уютный дом. Только полагалось заранее скоординировать свои сроки с фединским, приоритетным там, пребыванием.

Раньше это был дом управляющего имением. Устроив в имении (князя и русского художника Гр. Гр. Гагарина) профсоюзный дом отдыха, домик этот оставили для приезжих гостей. Ну, скажем, небольшая иностранная делегация. Профсоюзный деятель с семьей. Однажды в доме жил в течение двух недель и тренировался гроссмейстер Петросян, готовясь к ответственному турниру. Потом для гостей был построен современный, совсем на другом уровне (стекло, бетон, голубоватые ванны), особняк на отшибе, и деревянный, старомодный, с небольшими окошками второй корпус сразу сделался провинциальным и захолустным, вроде Арбата в Москве, когда построили рядом широкий и современный проспект Калинина, он же «Новый Арбат».

Но захолустье-то домика, осененного вековыми гагаринскими липами, и делало его особенно привлекательным. Просторно, тишина до звона в ушах, и совсем один. Просторность тоже не последнее дело. Недаром в маленьком водоеме рыба останавливается в росте, и получаются старенькие, но маленькие карасики.

Сколько счастливых для меня страниц было написано в этом домике, сколько пережито тихих, блаженных дней! А рядом ведь еще и широкое зеркало Волги с перелеском на том берегу. Вокруг ведь еще и прямые пересекающиеся аллеи старинного парка с шуршащими желтыми листьями в сентябре и с лиловыми подснежниками в апреле. И теперь, когда я почувствовал потребность остановиться, оглядеться вокруг и, что называется, зачистить некоторые концы, меня безудержно потянуло в Карачарово, в мою, смею так называть, обитель.

Я привычно обосновался там, разложил все свои бумаги, книги, навострил перо, быстро пришел в хорошую рабочую форму, но тут понадобилось съездить в Москву.

Значит, тайная мысль все же точила меня, если я сделал новый заход, и на этот раз ничто не помешало мне попасть в поликлинику. Онколог, пожилая и, должно быть, опытная, усадила меня на стул, стоящий, как всегда, около стола, и начала перелистывать историю болезни, в которой, несмотря на ее многолетнюю пухлость от обилия всяких

записей, болезни пока не значилось. Ну, там насморк, вазомоторный задний ринит. Ну, там ангина, грипп, нападающие на меня ежегодно, треплющие по десяти дней с высокой температурой. С ее точки зрения, это все не болезни.

— Ну, так что же вы хотите мне сказать? — оторвалась наконец онколог от писанины.

— Видите ли, у меня на бедре вот уже года три сидит какая-то черная штучка. Раньше я не обращал на нее внимания.

— Покажите.

Я спустил до колен штаны и поднял край трусов.

— Вот она. Уж три года.

Женщина дотронулась до нее двумя пальцами, подвигала ее из стороны в сторону, попробовала сверху, тверда ли.

— Одевайтесь. Я думаю, что ничего *очень* страшного нет. Но все же надо исследовать. А если уж исследовать, то сразу в высшую инстанцию, то есть *там.*

— Где там? — не понял я.

— В онкологическом институте. Сейчас я вам выпишу направление.

— Когда же я должен буду туда пойти? Дело в том, что я живу и работаю в Карачарове и у меня три рассказа...

— Ходили вы с ней три года, походите еще. Но я бы не откладывала. Я вам советую пойти завтра.

Легкий, присасывающийся к сердечной стенке холодок возник у меня в груди. В онкологический институт напрасно не посылают. Но сразу же и защитная мысль: «Мало ли что? Исследовать, конечно, необходимо. Исследуют, и буду я знать, что ОНА — действительно пустяки. Но неужели завтра же идти? А как же Карачарово, разложенные бумаги, недописанные рассказы?»

Вдруг с отчетливой и беспощадной ясностью я понял, пока шел от докторского кабинета до раздевалки, что моя жизнь до посещения врача и моя жизнь после посещения — это уже две разные жизни, с разными законами, с разным течением времени, с разными понятиями о том, что важно, а что не важно, как, допустим, жизнь государства до объявления и после объявления войны. И прерываются отпуска, и откладываются свидания, и отменяются разные поездки, покупки, ремонты квартир, планы на лето — все уже идет не так, как час назад, нынче утром. И не сразу еще отрешится сознание от мирного, привычного течения жизни, переключится на новый лад, а потом даже и приспособится к нему.

6

Направление было выписано на «Каширку», в Институт Блохина, то есть из всех возможных раковых мест в самое раковое место. Я должен был явиться со своей бумажкой в регистратуру (первый захватывающий зубец машины) и, захваченный этим первым зубцом, начал бы перемещаться и коловращаться по коридорам, пока в конце концов машина не разжала бы своих крепких рычагов либо не схватила еще более цепкими рычагами и не опрокинула бы лицом кверху на узком операционном столе.

Наш главврач, подписывая направление, посоветовал:

— «Каширка» — это чистилище и ад, вместе взятые. Не дай бог попасть в общий поток. Со всех концов страны с разными формами... Едва успевают резать. А ты иди лично к заведующей поликлиникой. Ее фамилия Чеботарева. Позвони предварительно. Представься...

Заведующая поликлиникой, взглянув на мои бумаги, написала что-то на направлении и послала меня в регистратуру. В регистратуре бесстрастно заполнили карточку и присвоили номер.

— Запомните свой номер. Когда будете приходить к нам, сразу же называйте. А сейчас в кабинет двести шестой, к врачу.

Вот и началось мое движение по коридорам. И где? На «Каширке». У Блохина. Бывало, само сочетание звуков «Каширка», Блохин навевало тоску. Сюда ходили к умирающему Яшину. Проезжаешь мимо в село Коломенское или в Царицыно, скосишь глаза направо, на приземистые стекло и бетон, а также на строительные краны вокруг — прибавишь скорости. Отметишь про себя: расширяются, строятся. Но попасть туда — не приведи бог. Ан вот и попал. Что значит попал? Я же просто так. На исследование. Поглядят, удостоверятся, что это пустяк. Это другие попали. Те, которые лежат, те, которых оперируют, облучают. Вот Василий Леонидович в прошлом году — тот действительно попал. Собрался ехать в Кисловодск в санаторий и стал выправлять курортную карту в районной поликлинике. Но врач, который просвечивал его рентгеном, говорит: «У вас в желудке не язва ли? Вы проверьтесь как следует». Через несколько дней он уж лежал здесь, на «Каширке», у Блохина (вместо кисловодского санато-

рия!), и после операции, как это часто бывает, не воспрял. Походил несколько месяцев, поохал, подержался за живот, постонал, да и успокоился навсегда. Вот он действительно попал на «Каширку». А я что? Меня эта «Каширка» не касается. Постой, постой, а куда же ты пришел, если не на «Каширку»? И этот коридор, где же он? Может быть, ты идешь сейчас по фойе Большого театра, по кобулетскому парку или отправился в Журавлиху за рыжиками? Неужели? Снова защемило сердце. Всем ведь кажется, что идут сюда на исследование или для профилактики. Даже если и режут, одному скажут — язва, другому скажут — полипы, третьему скажут — бородавка. Однако ведь есть у них и другая формула: «Ну что же, посмотрели мы вас. Вы больной не наш. Идите и лечитесь у себя в поликлинике». Вот как они говорят в иных случаях. А уж если оставили у себя... Скорее, скорее в кабинет 206.

В коридоре перед каждыми дверями на стульях и так вдоль стенки терпеливо, покорно сидят и стоят больные. Приглядываюсь к их лицам. Не похожи как будто на раковых больных. Есть, конечно, утомленные, потухшие, блеклые, сероватые, но в общем-то обыкновенные современные лица, как если бы не в коридоре онкологического института, а в магазинной очереди, или в трамвае, или в обыкновенной больнице перед таким же кабинетом врача. Встал и я в скорбную очередь. В нетерпении зашагал взад-вперед по узкому, еще и суженному сидящими людьми, коридору. Ненароком пробурчал себе под нос:

— И здесь очередь.

И был услышан терпеливо ожидающими людьми. И один мужичок, как видно приезжий и поэтому более терпеливый по сравнению с нами, москвичами, резонно заметил на мое недовольство:

— Теперь уж, если сюда попал, торопиться не надо. Чем тише, тем лучше.

Была раньше такая медицинская максима: «Если после разговора с врачом больному не стало легче, то это плохой врач». Как быть, если нынешние врачи почти не разговаривают с больными? Первым делом без разговоров они посылают больного на рентген и анализы. Без анализов современный врач глух и слеп. Расспросить об образе жизни за последние годы, о возможных отклонениях от нормальной жизни, о встрясках, называемых ныне стрессами, о постоянном душевном беспокойстве, если оно есть, о его причинах, о положительных и отрицательных эмоци-

ях, о пище, о рабочем месте, о материальной озабоченности, о возможных комплексах — расспросить обо всем этом у врача нет ни времени, ни желания. При любой жалобе: «Анализы, рентген, электрокардиограмма». На основании бумажки с анализами за две минуты врач назначает лечение, выписывает рецепты, а главное, выписывает бюллетень. Может, оно и правильно: зачем дощупываться до желудка и печени, когда рентген покажет все тотчас как на ладони. Зачем докапываться до тонкостей самочувствия, когда анализ точно покажет, что в крови билирубин выше нормы. Два года назад у меня была резкая, временная, правда, потеря веса. За полтора месяца я непроизвольно потерял семь килограммов и, естественно, начал беспокоиться. Обратился в крупный гастроэнтерологический институт. Сделали все анализы, обнаружили немного билирубинчика в крови, дали рекомендации, как обходиться с печенью, как ее щадить, чем подлечивать.

— Но все же вес... Неужели из-за печени?

— Едва ли.

— Тогда что же? Может быть, щитовидная железа? — Это я уж сам подсказываю врачу.

— Может быть. Но эндокринология не наша специальность. Со щитовидкой вам надо обращаться в другой институт.

И никому из них (а были они все крупные профессора и светила) не пришло в голову расспросить меня о тонкостях самочувствия, о временами нападающей слабости, когда ничего не хочется, кроме как лежать, закрыть глаза, о беспричинном временами обливании потом во сне, когда в комнате прохладно и даже холодно. А потом (не могли же семь килограммов исчезнуть ни с того ни с сего) и поинтересоваться, нет ли где-нибудь у меня на коже этакой черной штучки величиной с горошину. Должен же знать современный врач, что именно эта штучка в период медленного многолетнего созревания может вызвать временную резкую потерю веса. Я и то теперь это знаю. Так и лечил бы я свою печень творогом и боржомом до тех пор, пока она стала бы мне совсем не нужна.

В 206 кабинете врач, женщина лет тридцати пяти, оказалась немногословнее остальных врачей.

— Покажите, что у вас там.

Покатала двумя прямыми пальцами из стороны в сторону, помяла вокруг, надавила сверху.

— Я думаю, ничего *очень* страшного. Придется вам

пройти трехдневное изотопное исследование. После этого решим, что с нею делать. Я даю вам направление в нашу лабораторию. Туда можно пройти по улице. И для этого придется одеваться. А можно — цокольными коридорами. Запутанный длинный переход, но спросите, разберетесь. В лаборатории вам «поднесут» рюмку радиоактивного фосфора, вы ее выпьете. Потом три дня подряд будете приезжать для исследования. Это довольно точный, безошибочный метод диагностики поверхностных опухолей. Так что через три дня будем все знать. Я думаю, ничего очень страшного.

Подземные переходы из одного корпуса в другой, цокольные коридоры, желтые от слабого освещения, кафельные, с толстыми, обложенными асбестом трубами над головой. Если бы снять в кино мой переход, то коридоры эти приобрели бы значение символа. Я шел сначала пригнувшись, так низко нависали как бы жирные трубы, но потом осмелился, распрямился, и оказалось, что можно идти свободно в рост, и еще оставался между мной и трубами небольшой просвет.

Хотя иду один по чудовищным, не трехсот ли метровым, переходам, но — в общем потоке. Больной номер... (номер я забыл) — и ничего больше. Преодолел все коридоры, повороты, поднялся по лестнице и оказался перед дверью с надписью: «Лаборатория радиоизотопной диагностики». Перед дверями стол, бумага, телефон, девушка в белом халатике. Предъявляю ей направление. Она записывает меня в какую-то книгу и деловито советует:

— Сегодня не стоит вам это пить. Впереди два выходных дня. А надо выпить и явиться на другой день на исследование. Значит, приезжайте к нам в понедельник. Мы вас угостим изотопами и в течение трех последующих дней будем считать.

— В понедельник вы же здесь будете дежурить?

— Не имеет значения.

По тем же чистилищным переходам (так и тянет пригнуться) пошел обратно. Вспомнил ни с того ни с сего, попали на язык (как это бывает, если стихи — профессия) и прилипли строчки из чьего-то (Леонида Мартынова?) стихотворения. Иду и твержу про себя нараспев вперемешку со своими практическими соображениями:

Я тебе чего-нибудь куплю
В магазине изотопов.

В Карачарово сегодня вернуться не удастся. В Карачарове бумаги разложены на столе, книга раскрыта на середине. В Карачарове свежий снежок на аллеях парка. Белки шныряют по парковым аллеям.

Я тебе чего-нибудь куплю
В магазине изотопов.

В Карачарово удастся вернуться не раньше четверга, а то и в пятницу. Неделя, считай, пропала. Есть и в Москве дела. Ладно. Заеду на телевидение, возьму икону из реставрации, позвоню в издательство «Современник».

Я тебе чего-нибудь куплю
В магазине изотопов.

Чертовы переходы. Кафель и трубы. Но главное, напоят в понедельник изотопами, а потом считать. Что считать? Изотопы считать? Чепуха, да и только. А главное, ждать до понедельника. Нет, ждать до вторника. Считать начнут лишь во вторник. Нет, ждать до четверга. Ведь три дня надо считать. К врачу в 206 кабинет я попаду не раньше пятницы, а то и на следующей неделе. А в Карачарове бумаги разложены, книга раскрыта на недочитанной странице:

Я тебе чего-нибудь куплю
В магазине изотопов.

На улице по выходе из ворот меня встретил все тот же ноябрьский, с ранним мокрым снегом под ногами, с сырым хмурым небом, с пронзающим ветерком промозглый день, но еще более противный, чем утром.

«...Ах, Борис Александрович! — говорил я тогда в машине в день знаменательного знакомства.— Еду с таким хирургом и — нечего вырезать! А ведь когда понадобится, до такого светила и не доберешься». Так и вышло. Профессор Петров лежит в земле, а я брожу, безымянный и рядовой, по чистилищу, по предварительным пока что кругам, и хорошо, если на этом все и кончится.

Вспомнив о Борисе Александровиче, я вспомнил о Татьяне Сергеевне и тотчас позвонил ей, не имея в виду конкретной пользы, а просто так, ради доброго и опытного совета.

— Владимир Алексеевич, дорогой! Как вы?

— Да ведь как? Говорил я тогда Борису Александровичу, когда ехал из Загорска...

— А что такое?

— Ничего очень страшного. Но все же — надо провериться. Возможна и операция.

— Подождите... Вы говорите, это на коже? Так ведь Агнесса Петровна заведует как раз таким отделением в Институте имени Герцена.

— Кто она, Агнесса Петровна?

— Профессор. Моя подруга. Борис Александрович не считал хирургию женской профессией и к женщинам-хирургам относился, ну, скажем так... снисходительно. Только для Агнессы Петровны он делал исключение и находил ее на своем месте. Это очень энергичная женщина. Иногда в шутку мы ее зовем Агрессор Петровна. Кстати, она ваша читательница. И буквально на днях спрашивала, нельзя ли достать вашу последнюю книгу. Хотите ее телефон? А я позвоню со своей стороны. Все будет сделано на самом высоком уровне. По высшему классу.

— Что это за институт и почему — Герцена?

— Герцен, между прочим, внук того, вашего Герцена. Основоположник русской онкологической школы. Институт онкологический, как сами понимаете. Расположен на Беговой.

— Но это же рядом с домом! Не надо ездить на исследования через всю Москву! И потом интересно, что Герцена.

— Почему?

— В Доме Герцена, в Литературном институте, началась фактически моя литературная жизнь. Мы, поэты, любим такую вот законченность в композиции, такую вот окольцованность.

— Ну, это вы бросьте! Звоните Агнессе, и все будет о'кей.

7

Сыплет небо порошею
На цветы, на зарю.
Помни только хорошее,
Я тебе говорю.

Сыплет небо порошею,
Все пути хороня.
Помни только хорошее
Про себя и меня.

Сыплет небо порошею,
Допиваем вино.
Помни только хорошее
Все равно, все равно.

Время мчится непрошенно,
Мы уходим, скорбя.
Помни только хорошее,—
Заклинаю тебя.

Помни только хорошее.
Скрежеща и круша,
Жизни мелкое крошево
Перемелет душа.

Нелегко и невесело,
Но, веленью верна,
Жизни вязкое месиво
Пересилит она.

И омоется молодо,
И останется в ней
Только чистое золото
Отсветившихся дней.

Сыплет небо порошею,
Затемняясь, рябя.
Помню только хорошее
Про себя и тебя.

Сыплет небо порошею,
Обнажается дно.
Помню только хорошее
Дорогое одно.

Сыплет небо порошею,
Не дотянешь руки.
Помню только хорошее
Я всему вопреки.

В снежной ветреной замяти
Темнота, темнота.
Остаешься ты в памяти
И светла и чиста.

Оглянусь на хорошую
На последнем краю —
Светишь в зарослях прошлого,
Словно Ева в раю!

8

Все по-другому оказалось для меня в Институте имени Герцена. И Агнесса Петровна с раскрытыми объятиями вместо не поднявшей на меня глаз заведующей поликлиникой, и моментальное, даже поспешное заполнение медицинских документов, и громкий энергичный голос Агнессы Петровны, лично осмотревшей мое больное место. Вот только последняя фраза Агнессы Петровны удивительно совпала по смыслу (даже и буквально) с пусть тихой и вялой фразой докторши из 206 кабинета.

— Я думаю, ничего очень страшного. Придется вам пройти изотопное исследование. После этого мы окончательно решим, что с ней делать. Сейчас я позвоню в нашу лабораторию.

Шел по двору и спрашивал: «Где у вас тут корпус под названием «башня»?» Миновал двухэтажное здание, из которого даже через стены пахло животными, живущими в тесноте. Виварий. Тут им (кроликам и мышам) прививают болезни, а потом облучают, пичкают химией. А потом в конце концов разрезают, разглядывают в микроскоп. Вонь из вивария — чтобы не забывал, по какому двору идешь и куда идешь.

Однако лаборатория на третьем этаже башни встретила меня не просто гостеприимно, а даже как-то далеко от больничного. Научный сотрудник Жанна Павловна первым делом заговорила о литературе, а не о болезни. Тут я заметил, что у работников лаборатории к белым халатам на груди прикреплены небольшие черные плоские аппаратики — информаторы радиации. А когда я восторженно отозвался о пышном «варварином цвете» и удивился, что он цветет раньше времени, а не в декабре, на великомученицу Варвару, и вообще подивился пышности цветов на окнах и стенах лаборатории, то Жанна Павловна пояснила:

— Да. У нас люди хиреют, а цветы жиреют. Повышенная радиация благотворно влияет на растения. Но, конечно, в таких незначительных дозах, как у нас.

Лаборантка Рита повела меня в подвальный бункер, где

за тяжелой свинцовой дверью, на большом столе, стояла одна-единственная коническая чарочка из толстого зеленого стекла. В чарочке граммов пятьдесят прозрачной жидкости. Мне велели, и я выпил ее, стараясь уловить оттенки вкуса (впервые в жизни приходится пить радиоактивный фосфор!), но никаких оттенков вкуса не обнаружил. Нейтральная чистая вода.

— Ну вот. Завтра приходите на целый день. Запаситесь чтением или работой. Дело в том, что мы будем считать ваши изотопы через каждые два часа, с девяти утра до пяти вечера. Девять, одиннадцать, час и так далее. Возьмите работу. Мы отведем вам стол, и будете чувствовать себя, как в Доме творчества.

— Разве к завтраму из меня не улетучатся все изотопы?

— Полураспад фосфора — четырнадцать дней. То есть четырнадцать дней вы будете радиоактивны, будете излучать.

— Опасно для окружающих?

— Нет. Ничтожная доза. Ничтожное излучение. Но наши счетчики все уловят.

На другой день в девять часов я был опять около Жанны Павловны. Надо сказать, что это была женщина между тридцатью и сорока, с добрым лицом, но с какой-то постоянной напряженностью не то в лице, не то в интонации голоса. Я сначала не мог понять, в чем тут дело, но, пока мы готовились около аппарата, в лабораторию вошла молодая девушка с перевязанной ногой и с одним костылем.

— Ба, кто к нам пришел! — обрадованно всполошились все лаборантки.— Наденька к нам пришла!

Надя передала Жанне Павловне коробку конфет.

— Это всем девочкам к чаю.

— Что вы, что вы! Возьмите назад. Ну как прошла операция? Как самочувствие?

— Ничего. Но вот нога отекает. Я ведь пришла узнать... Да вы все равно не скажете...

Как я понял, Надя исследовалась в лаборатории (как буду сегодня исследоваться я), потом ей сделали операцию, и вот теперь она из хирургического отделения приковыляла навестить лаборанток и заодно узнать результаты анализа вырезанной опухоли, то есть свою гистологию. Придется привыкать к этому чуждому для слуха словцу.

— Ну... У вас что же... У вас... все в порядке.

— А я слышала, что не очень в порядке.

— Откуда вы слышали? Есть небольшое отклонение, но

очень поверхностное... Так что не беспокойтесь. А как шов? Заживает? Как общее самочувствие? Скоро выпишетесь домой...

Разговор о литературе, цветах и травах располагает к доверительности. Когда Надя вышла, я спросил Жанну Павловну:

— Все время приходится обманывать?

— Другой раз так скажем, что и сами поверим.

— Что у Нади?

— У нее так же вот на ноге... Но настоящая меланома. И операция была более сложной. Все же девушка, и красота ноги имеет значение. Ей, кроме основной, делали еще и пластическую операцию. Взяли кожу на животе и перенесли на оперируемое место.

— Красота живота, по-вашему, не имеет такого значения, как красота ноги?

— Ну все же...

— Вы сказали, что операция была более сложной? Чем какая? Чем будет моя?

Жанна Павловна замялась.

— Вообще.

— Вообще-то вы правы. На моей ноге красоты наводить не потребуется.

— Да что вы! У вас ничего и нет. Это у меня случайно вырвалось. Садитесь около аппарата. Что касается внутренних опухолей, то, конечно. А наружные наш аппарат определяет довольно точно. Обнажите ваш узелок. Типичная ангиофиброма.

— В чем принцип этого аппарата?

— Вы излучаете радиоактивные частицы. Их излучает каждый участок вашей кожи. Но злокачественные клетки имеют свойство накапливать эти частицы и, таким образом, излучают их больше, чем остальные участки. Сейчас мы приставим счетчик к вашей безобидной фиброме... вот так... а потом через четыре минуты к симметричному месту на другой ноге. И сравним, сколько вылетит оттуда, а сколько отсюда. Простейшая арифметика.

— И какая разница считается показательной?

Жанна Павловна смутилась. Ей не хотелось отвечать на мой вопрос. Она на него и не ответила.

— Вы знаете, очень по-разному. Это зависит от многих факторов. И потом у нас здесь своя арифметика. Мы делим, умножаем, вычитаем...

— Извлекаем квадратные корни...

— Не смейтесь. Давайте лучше вашу фиброму.

Около аппарата с несколькими циферблатами стоял больничный топчан. Им надо было положить меня на топчан, тогда я лежал бы и глядел в потолок, и мы переговаривались бы с Жанной Павловной в течение четырех контрольных минут, и я не видел бы ни циферблатов на аппарате, ни записей, сделанных Жанной Павловной карандашом на листе бумаги. Но положить меня на топчан они постеснялись и усадили на него боком, так что сидеть было неудобно. Тогда взяли стул, и я оказался лицом к аппарату. Лист бумаги, пока еще без цифр, лежал на топчане перед моими глазами.

Металлическую трубку одним концом приставили к моей черной горошине, повернули рукоятку, и тотчас в застекленном окошечке аппарата начал проскальзывать овальный зеленый огонек. Я наблюдал. То вспыхивали один за другим два-три огонька, то намечался между ними промежуток, то они выскакивали реже, то опять быстро, один вдогонку другому. С каждым огоньком на другом циферблате передвигалась на одно деление стрелка.

Возможно, поняв свою оплошность и стараясь отвлечь меня от циферблата, Жанна Павловна расспрашивала:

— Значит, вы сейчас в доме отдыха? Как называется? Карачарово?

— Да. Вот исследуюсь и опять поеду. Или придется ее удалять?

— Удалить ее надо во всяком случае. Но не к спеху, я думаю. Потом. Когда совсем вернетесь из Карачарова. Вам, вероятно, ее удалят амбулаторно.

— То есть?

— Чтобы не ложиться в больницу. Выщипнут, и пойдете домой. Так... Что у нас там получилось? Четыреста девяносто. Теперь давайте другую ногу. Такое же место. Приставим.

Невольно мы замолчали, впившись глазами в стеклянное окошечко в аппарате. Редкие, разрозненные, далеко отстоявшие один от другого вспыхивали и проскакивали там огоньки. И без всякого счетчика было понятно, что их будет гораздо меньше, чем в первом случае. Разговор сразу расклеился. В лице Жанны Павловны и в ее интонациях появилась та самая напряженность, которую я отметил в первую минуту нашего знакомства и которая стала понятна мне во время разговора Жанны Павловны с бедной Надей.

Жанна Павловна взяла листок с карандашом, пошла

было и села за стол, чтобы там, а не на моих глазах, поставить вторую цифру, но тут же сообразила, что в течение трех дней прятать от меня листок все равно не удастся. Да и какой смысл его прятать, если все циферблаты все равно перед моими глазами. Она снова положила бумагу на топчан. Намечая два столбца (сделаются длинными за три дня), на листе появились цифры: 490—80. Как бы случайно вошел и встал за моей спиной заведующий лабораторией молодой профессор Агранат.

— Ну что там? Порядок?

— Вообще-то... Сейчас попробуем еще раз.

Повторный результат оказался: 500—110, после чего я мог два часа заниматься чем-нибудь своим в ожидании следующего сеанса.

Жанна Павловна сникла. Профессор Агранат вышел из аппаратной, никак не прокомментировав наши цифры. Атмосфера неблагополучия окружила меня, а я (может, кто и не поверит, но это правда) устроился за отведенным мне столом и начал переводить прозаические зарисовки Абуталиба: маленькие истории, притчи, басни в прозе. Я давно уже заметил за собой, что во время больших неприятностей и личных катастроф работается с фанатическим рвением. Но какие там были раньше личные катастрофы? Измены, разрывы, ссоры? Побольше бы мне теперь таких катастроф вместо нависшей, не будем пока говорить, что обрушившейся, беды.

Между сеансами я то сидел и писал за столом, то устраивался около телефона и названивал по разным делам, то ездил домой обедать. Столбики цифр на странице тянулись вниз: 400—70, 420—75, 390—60, 360—70. На этом закончился первый день исследований.

Я не знал, хороши или плохи мои цифры, но я видел, что в лаборатории ждали другого результата, что Жанна Павловна прячет от меня глаза, что лицо у нее от сеанса к сеансу все более вытягивается и что, как бы ни скрывали они свою тревогу, тревога витает в воздухе, а потом обнаруживается и в словах.

Второй день начался опять с «доброго утра». Я подарил Жанне Павловне книгу, которую она попросила у меня накануне, и мы опять уселись около аппарата.

— Значит, вы сейчас работаете в доме отдыха? — спрашивала Жанна Павловна, приставляя трубку к моей ноге.— Как называется? Карачарово? А это далеко от Москвы?

— Сто пятьдесят. На Волге.

— Вы, значит, после исследования собирались опять туда?

— У меня там бумаги разложены. Рассказ остановился на середине фразы. Вот посчитаете все мои изотопы, и я — туда. Или у вас другие соображения на этот счет?

— Нет. Но... может быть, сначала избавиться от нее? Зачем ее возить взад-вперед. Нужна она вам!

— Как избавиться? Операция? Но это же надолго. Или, как вы говорили,— амбулаторно?

— Может быть, лучше избавиться от нее раз и навсегда. Основательно. Я ничего не решаю. Агнесса Петровна будет решать. Я предположительно говорю.

— А если не амбулаторно, то сколько дней?

— Как будет заживать. Недели две-три. Так... Что у нас сегодня? Хорошо. 300—70. Устойчивое соотношение. Пока идите поработайте. Через два часа...

В комнату, где я переводил Абуталиба, вошел профессор Агранат.

— Владимир Алексеевич, что я слышал! Ничего, что я вас оторву? Вы в разговоре с Жанной Павловной будто бы высказали мысль, что рак не есть болезнь легких, печени, кожи, желудка, но что это есть болезнь всего организма. То есть болеет сам организм. А уж где проявится эта болезнь, в желудке или на коже,— дело десятое.

— Ну да. Я это говорил. Как, например, обмен веществ. Прыщ при диатезе может выскочить на ухе, на носу, на голове — не все ли равно. Лечить надо не прыщ, а обмен веществ. Так и тут.

— Но это же моя точка зрения! Она не решает проблемы, конечно, потому что характер заболевания всего организма нам неясен. Тридцать миллионов клеток, из которых состоите вы. Только представьте. Каждая клетка знает свое дело. Вернее, подчиняется чему-то такому в организме, о чем мы пока не имеем никакого понятия. Например, вы содрали кожу на руке. Поверхностное ранение. Тотчас начинают делиться кожные клетки, чтобы затянуть рану, восстановить ободранный участок кожи. Восстановили. Деление клеток немедленно прекращается. Кто-то распорядился, чтобы деление клеток здесь прекратилось, и клетки подчинились приказу.

— Но они делятся и без ранения. Одни сгорают, другие приходят им на смену. И это всюду: в мозгу, в крови, в селезенке...

— Совершенно верно. Но делятся они опять-таки по

железным законам. Равные количества хромосом, установленный порядок деления и вообще — порядок. Но вот некоторые клетки перестают повиноваться этому *нечто*, которое руководит их жизнью в организме. Они начинают делиться не так, как им предписано, а как им хочется. Они начинают делиться беспорядочно. Тем самым они выходят из игры, из общего разумного и целесообразного процесса жизни.

— А что же организм? Ведь должны же быть у него средства защиты, подавления и пресечения?

— Да. Стоит попасть в организм какой-нибудь болезнетворной клетке, будь то бацилла или вирус, как легионы, стоящие на страже организма, бросаются в бой, в смертельную схватку и чаще всего побеждают незваных пришельцев.

— Ну? А здесь?

— Все коварство этой болезни состоит в том, что в ней участвуют не чужие инородные тела, не злые пришельцы, а свои собственные клетки, но только переродившиеся. Клетки-перерожденцы. Организм не реагирует на них: свои же! А они тем временем вовлекают в анархию все большее и большее количество клеток, влияя на них каким-то образом, заставляя их перерождаться. И организм гибнет.

— Но гибнут и эти злые? Или, точнее, злокачественные клетки?

— Увы, это единственное утешение для погибающего организма.

— Вернемся к началу нашего разговора. Кого надо винить: клетки, вышедшие из повиновения, или те руководящие центры, которые это неповиновение допустили? Ослабили какие-то там участки? Проморгали? Или, может быть, в результате вот именно общей болезни утратили способность четко и точно управлять?

— Этого мы не знаем. Мы многого не знаем об этой болезни. Вот, например, опухоль кожи... Несколько процентов больных после операции выходят чистыми из воды. Ни рецидивов, ни метастазов. Ничего. Живут по сто лет. Но почему этот вышел, а этот не вышел — мы не знаем. Но вообще-то... Боязнь этой болезни в народе преувеличена.

— Как так?

— Вот скажите, почему так получается? На земном шаре на первом месте смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Так?

— Да. Я тоже знаю статистику.

— Однако, если человеку скажут, что у него больное

сердце, он не воспринимает это как приговор, живет и часто в ус не дует. Но стоит сказать человеку, что у него рак, сразу ужас, паника, слезы. А ведь смертность от рака всего лишь на втором месте.

— Прекрасно, профессор. С меня довольно сего сознания. А что, цифры действительно вызывают тревогу?

— Какие цифры? Ах, ваши! Мы их еще не анализировали. Я еще ничего не знаю.

— Я слышал, в Америке больному говорят, если у него заподозрен рак. Вы ведь тоже иногда делаете ставку на жизненные силы организма. Так вот, еще неизвестно, в каком случае организм активнее борется — когда мозг знает или когда не знает.

— Да, у них там своя школа...

— Вот-вот. Например, во Франции... Смех. Первое место в мире по циррозу печени. Это понятно. Обедают только с вином. Так вот, у нас печеночникам разрешают есть только вареное мясо, а во Франции вареное мясо есть запрещают.

— Что же едят? Не жареное же?

— Жареное. Но на решетке, над углями, без жира, без сковороды. Считается наиболее безвредным. Большие оригиналы, не правда ли?

Под этот облегченный разговор о французах-оригиналах профессор и ретировался из комнаты, а я сел за очередную притчу Абуталиба.

Во время нового сеанса Жанна Павловна повела следующую речь:

— Операция, конечно, нужна. Но для полного спокойствия хорошо бывает перед операцией облучить это место. Только вот какой из способов выбрать...

— Какие способы?

— Можно облучить одноразово, дав ударную дозу, но без глубокого проникновения. А можно облучать в течение двух недель ежедневно.

— Наверное, уж выберут, что лучше. Не мне же выбирать.

— Но не подумайте ничего дурного. Это только в целях профилактики. Исключительно. На всякий случай. Знаете, чтобы лучше все зажило после операции.

В этот вечер я и дома почувствовал вокруг себя какую-то особенную, осторожную атмосферу. Жена неожиданно сообщила:

— Звонил Коля. Какой-то знакомый предлагает ему

мумиё. Десять граммов стоят двадцать рублей. Может, взять парочку порций? Пусть лежат.

— А знакомой знахарки или гадалки Коля еще не предложил?

— Знахарки нет [1]. Но у них там в Самборе есть в лесу родничок, а над ним часовенка...

---

[1] До знахарки дело все же дошло. Гораздо позже мне пришлось быть в Болгарии. Там, в Софии, нашлась «сестра по несчастью» — замечательная писательница и поэт Блага Димитрова. Ей тоже сделали операцию, аналогичную моей, но только полостную, то есть в несколько раз сложнее. Кто-то ей порекомендовал народного лекаря Петра Димкова, девяностолетнего старца. Собираясь к нему с первым визитом, Блага предложила пойти и мне, я пошел.

У Димкова своеобразная диагностика. Он сажает пациента перед собой на стул и с помощью лупы заглядывает в зрачок, на стене висит карта, похожая на два полушария. Это карта обоих глаз. Глаза испещрены сотнями точек. Каждая точка будто бы соответствует той или иной болезни.

Обстановка в квартире скромная. Петр Димков лечит бесплатно. Говорят, что им написана книга в тысячу страниц по народной, а вернее, по его собственной медицине, и, говорят, книга эта скоро будет издана.

Заглянул он и мне в оба глаза.

— Я вам дам баночку мармелада. Но это только для начала. Такого мармелада потребуется для полного лечения много. Делается он так: берутся ягоды полевой бузины (бузина травянистая, бузина вонючая, sambucus ebulus.— *В. С.*), рассыпаются ровным слоем в толщину пальца. Сверху насыпается на ягоды такой же слой сахарного песка. Надо ждать когда весь песок растает. Тогда все это процеживается — и сироп готов. В мармелад его можно не превращать. Курс лечения таков: за десять минут до еды выпивать неполный стакан дистиллированной воды (150 гр.), а после еды, на десерт, съедать столовую ложку сиропа.

Если вы будете делать так полтора месяца, вы будете здоровы, как эскимос,— заключил лекарь Димков,— и стройны, как солдат королевской гвардии. Если бы все ели этот сироп, злокачественных заболеваний было бы на 80 (восемьдесят!) процентов меньше. Если бы вы пришли ко мне своевременно, не нужна была бы и операция.

В порядке лирики он рассказал про бузину некоторые подробности. Ласточки, прежде чем лететь за море, наклевываются ягод полевой бузины и легко преодолевают без отдыха огромные расстояния. Ласка нападает на змей. Если змея искусает зверька, он прерывает поединок, убегает, быстро нажирается ягод бузины и тотчас как ни в чем не бывало возвращается, чтобы победить противника.

— Но в чем же смысл дистиллированной воды?

— Происходит очистка крови (в комплексе с бузиной). Если вы выпьете стакан простой воды, то, по крайней мере, треть стакана задержится в организме. Если вода дистиллированная, то мало того что она сама уйдет вся, она захватит с собой еще треть стакана воды из организма.

Тут Димков показал нам постоянно действующий у него портативный аппарат для перегонки воды с производительностью до одного литра в сутки. Такие аппараты будто бы продаются в Софии и стоят 55 левов (около шестидесяти рублей), но в частные руки — неохотно, так как очень удобны для производства сливовой водки.

— Насколько я понимаю, звонила Агнесса Петровна. И что сказала?

— Да ничего не сказала. Это я просто к слову.

...Заканчивая все наши подсчеты (так и шло: 300—60, 290—56, 370—70), Жанна Павловна как бы вскользь и между делом напутствовала:

— Наши цифры сами по себе еще ничего не значат. Завтра соберется консилиум, тогда и будет поставлен окончательный диагноз.

— Окончательный диагноз, как мы знаем из романа с таким же названием, определяется только на вскрытии.

То, что я так весело и беззаботно шучу, понравилось Жанне Павловне. Но еще больше ей, быть может, понравилось, что я не вспомнил, по крайней мере вслух, одну опрометчивую фразу, сказанную ею перед началом исследований. А именно, что поверхностные опухоли их метод распознает и определяет довольно точно.

9

Итак, допустим, что приговор. Кто же вынес его? Этот аппарат? Или Жанна Павловна? Или вынесет завтрашний консилиум? Было бы несправедливо взвалить на них такую ответственность. Да и вынесен приговор гораздо раньше. Но за что?

По-моему, в жизни каждого современного человека найдется достаточное количество фактов, за которые его следует либо немедленно сделать святым, либо немедленно стереть в порошок. Не буду настаивать на том, что каждого, дабы не обидеть ненароком случайно праведника (пусть каждый сам заглянет в себя), но у меня предостаточно наберется того и этого.

Несколько лет назад я начал писать роман с попыткой разобраться в своих поступках именно с этой точки зрения. Именно рассортировать их направо и налево, как овнов и козлищ, но тотчас столкнулся с непреодолимыми трудно-

---

К этому курсу лечения я пока не приступил. Во-первых, только недавно вернулся из Болгарии. Во-вторых, добывать полевую бузину надо где-то в более южных краях, у нас она не растет. В-третьих... в-третьих, ни один из наших справочников не рекомендует ее как лечебную траву, а «БСЭ» указывает на нее лишь как на средство от мышей и клопов. В-четвертых... в-четвертых, все было как-то слишком просто.

стями. Поступок, который на первый взгляд кажется великодушным и добрым, иногда может иметь самые горестные последствия, а поступок кажущийся дурным, эгоистичным и даже злым, оборачивается добром и благом для окружающих.

Впрочем, роман продвигается медленно не потому, что я в нем запутался, а по другим причинам. Не будем их здесь касаться. Важно, что протеста против приговора я в себе не услышал. Да и бессмысленно было бы обжаловать, хотя бы и перед самим собой, то, что обжалованию не подлежит. Не будешь ведь кричать: «Я хороший, я добрый, я нужный, я талантливый, наконец!» Нет, не будешь кричать.

— О прочих качествах помолчим. Но талант действительно был тебе дан.

— Ну и что? Я старался употреблять его на благо... У меня читательских писем двадцать тысяч.

— А сколько употребил? Хорошо, если десятую часть. Остальное прозаседал, прогулял, прообедал, проболтал на собраниях, просуетился, растряс и пустил по ветру.

— Дайте время, я докажу...

— Время тебе было дано. Ты должен был погибнуть осенью сорок второго вместе со своими сверстниками Валькой Грубовым, Борькой Грубовым, Серегой Черновым, Борисом Московкиным, Иваном Куниным... Теперь посчитай, сколько же тебе было дано, чтобы ты успел развернуться и показать. Больше тридцати лет.

— Кое-что я все же успел. Я ведь не был лежебокой и лодырем. Я написал много книг. Из деревенского мальчика я сделался московским писателем. Мои книги издают за границей... Думаете, легко и просто олепинскому мальчишке...

— От тебя ждали большего. И у тебя были возможности.

— Какие возможности?! Если бы вы знали условия, привходящие обстоятельства.

— Ты был жив — вот условие. Раз ты был жив, значит, мог. Только смерть отнимает возможности.

— Хорошо, виновен. Но зачем же так рано?

— Не рано и не поздно. Сколько тебе? Почти пятьдесят? Конечно, можно скрипеть до преклонного возраста. Но ведь многие умерли моложе тебя. Не будем заниматься миллионами. Возьмем известные имена. Пушкин — 37, Байрон — 36, Лермонтов — 27, Маяковский — 36, Есенин — 30, Белинский — 37, Блок — 40, Никитин — 37, Пи-

сарев — 27, Петефи — 26, Христо Ботев — 28, Добролюбов — 25, Гоголь — 42, Джек Лондон — 40, Грибоедов — 34, Мопассан — 43, Чехов — 44, Данте, наконец,— 56 лет... Причем о многих из них у нас нет представления, что они ушли очень рано, безвременно. О Данте, Чехове, Гоголе, Мопассане, по крайней мере, у нас нет такого представления, не говоря уже о приблизительных твоих сверстниках: Ломоносов — 54, Мольер — 51, Булгаков — 49, Костер — 52... Не помню точно, но даже Наполеон успел уже к твоему возрасту если не совсем, то почти отбыть свой земной срок. Так что жаловаться тебе нельзя.

— Я и не жалуюсь. Но не слишком ли жестокий способ? Если бы сразу... Сердечно-сосудистая...

— Стыдись! Тебе что, нижнюю челюсть миною оторвет, как Вальке Грубову? Или ты перед смертью в окружении в осеннем голодном лесу наскитаешься? Или в тифозной теплушке? Ледяная переправа через широкую реку? Блокада? А в концлагере посидеть не хочешь, пока с голоду не дойдешь? Землю покопать под конвоем, лес порубить — нет желания? Парочку хороших допросов с пристрастием не угодно ли? А на костре сгореть на широкой площади? А к стене под ружейные дула? На колу посидеть? Веревочную петлю на себя собственной рукой накинуть? Понятно, что не о самом конце идет речь. Сам конец у всех абсолютно одинаковый. Его, строго говоря, и нет. Для наших ощущений он вовсе не существует. Понятно, что речь идет о переходе. Так вот, тебя не будут привязывать к мчащимся лошадям, тебя не будут заталкивать в паровозную топку, не будут лить тебе в глотку свинец, на твоих глазах не будут умирать с голоду твои дети, тебя не выпустят на арену на растерзание львам, тебя не приколотят к стене гвоздями... Ну, какие там еще бывают страшные переходы? То, что перечислено,— не придумано. Все это происходило с живыми людьми. Такие уж им доставались переходы. Ничего не поделаешь. Причем перечислены, надо сказать, не самые-самые страшные. Если бы собрать коллекцию предсмертных человеческих мук, которые выпадали отдельным людям... Собственных детей приходилось есть, собственные руки от кандалов отпиливать. А ты будешь лежать в хорошей палате. К тебе будут внимательно относиться. Болеутоляющие уколы. Снотворное. Интересная книга. Выпить разрешат, когда навестят друзья.

— Не хочу!

— А вот это уж глупо. У тебя и не спрашивают. И насчет внезапной я бы на твоем месте не настаивал. Может быть, тебе дается последняя фора. Не большая, но одуматься можно. Может быть, ты за это время успеешь сделать какой-нибудь шаг и этот шаг окажется очень важным. Если же сердечно-сосудистая, мгновенная, то как сам понимаешь, ничего уж успеть нельзя.

— Какой еще шаг? Не знаю я никакого шага.

— Подумай хорошенько. Для этого и дается немножко времени.

— Но почему именно я?

— Не понимаю.

— Как же? Друзья-то ведь останутся. Чем они лучше меня? Чем я виновнее их?

— Кто останется? — Тут, хотя собеседник мой был воображаемым, но даже и у него в голосе послышалось неподдельное недоумение и как бы даже испуг.— Кто останется?

— Ну, они... Люди, с которыми я на земле вместе живу.

— Ни-ко-го. Ни одного человека. Из всех, с кем ты вместе живешь на земле, не останется ни-ко-го. Вот моя рука и честное слово.

— На какое-то время...

— Вот вы о чем! А я вас принимал за серьезного человека. Неужели вы придаете значение той микроскопической разнице, с которой разные люди уходят из этой жизни? Стояли на эшафоте Людовик XVI и палач. Рядом стояли судьи, которые осудили Людовика. Людовику отрубили голову, палач пошел домой ужинать, судьи пошли судить. Но где они все теперь? Разве все уже теперь не в одном месте? Во-первых, все они там, в восемнадцатом веке. И даже для нас, живых людей, разница в несколько лет, с которой они ушли из своего времени, не имеет никакого значения. А для них и подавно. Так что будьте благонадежны. Никакого обмана с вами учинить не хотят. Эта система работает добросовестнее и надежнее других. К тому же завтра будет консилиум... Кто знает... Возможно, вы получите основательную отсрочку. Но я бы на вашем месте за ней не гнался. И потом, если эта болезнь окажется не смертельной, то отчего же вы умрете в конце концов? Придется вам подвергаться какой-нибудь новой болезни, и, поверьте, она окажется нисколько не лучше этой. И не через триста лет, а гораздо-гораздо раньше. Отсрочка, как вы сами понимаете, не может быть столь основательной,

чтобы стоило о ней говорить всерьез. Ну, десять — пятнадцать лет... Когда вы переехали в новую квартиру?

— Двенадцать лет назад.

— А кажется?

— Кажется, что это было вчера.

— То-то вот и оно. Миг, дуновение времени. А теперь отмерьте такой же миг, но только вперед. Вот и вся арифметическая задача. Да еще учтите: чем дальше, тем годы летят все быстрее и быстрее.

10

Захотелось
Быть, быть, быть.
Через море
Плыть, плыть, плыть.
Через горы
Вверх, вверх, вверх.
Через души
Всех, всех, всех.

Захотелось
Лет, лет, лет.
На пороше
След, след, след.
На сирени
Цвет, цвет, цвет.
От любимой
Свет, свет, свет.

Захотелось
Петь, петь, петь.
Чтобы в горле
Медь, медь, медь.
Чтобы в песне
Боль, боль, боль.
Чтобы в жизни
Бой, бой, бой.

Захотелось
Стать, стать, стать.
Против кривды
Встать, встать, встать.

Сбросить тяжесть
С плеч, с плеч, с плеч.
Обнажая
Меч, меч, меч.

Захотелось
Сметь, сметь, сметь...
За плечами
Смерть, смерть, смерть.

11

На консилиум я пришел ровно к двенадцати часам, как и было велено. Однако кабинет, в который я заглянул, оказался пустым. Шагая по коридору институтской поликлиники, я встретился с Агнессой Петровной. Она обрушила на меня водопад положительных эмоций.

— Ну как? Самочувствие? Настроение? Я думаю, все это пустяки! Я уверена! Но я хочу, чтобы другие посмотрели тоже. И подкрепили мое предположение. Я думаю, что это просто фиброма. Ангиофиброма. Сейчас они соберутся. Подождите.

С этими словами она ушла в кабинет, а я остался перед его дверьми. В коридоре появилась Жанна Павловна с казенной папкой в руках.

— А... Это вы? А я вот несу все ваши изотопы. Заключение нашей лаборатории. Сейчас они их посмотрят и сделают выводы.

— Вы-то что заключили?

— В этой вашей штучке может быть очень много сосудиков. За их счет и получилось сдвинутое представление. Да вы не волнуйтесь, они сейчас разберутся. Они даже профессора Ларионенко вызвали. Это наше светило. Она уже на пенсии, но попросили — и обещала приехать.

Наконец меня позвали. Все дальнейшее происходило в таком темпе, что я не успел опомниться.

— Ложитесь на спину, обнажите бедро. Уважаемые коллеги, прошу посмотреть и высказать свое мнение.

Одна за другой подходили ко мне доктора, все без исключения женщины. Каждая по очереди, несколько секунд они рассматривали мою опухоль, трогали ее двумя пальцами, двигали из стороны в сторону, надавливали на нее сверху, быстро задавали вопросы.

— Давно она у вас?

— Несколько лет.

— Никогда не кровоточила, не трескалась, не пачкала белья?

— Никогда.

— Болит, мешает?

— Если заденешь — больно. Если лечь на нее, минут через пять начинает ныть.

Тут дверь открылась, и в кабинет вошла пожилая женщина. Судя по тому, что она опоздала, это и была та самая профессор, которая нарочно приехала из дома. Она вошла, не поздоровавшись ни с кем, и прямо подошла к моему бедру. Наклонилась, потрогала.

— Никогда не кровоточила, не трескалась?

— Никогда.

Вдруг все доктора по очереди произнесли какие-то мудреные медицинские одни и те же слова.

— Я очень рада, уважаемые коллеги, что ваше мнение совпадает с моим. Владимир Алексеевич, вы не возражаете против операции? Распишитесь здесь. В понедельник вы сдадите кровь на резус-фактор и другие анализы. Во вторник мы вас кладем, а в среду прооперируем.

— Я должен съездить в Карачарово. Там у меня бумаги разложены. Рассказ на середине фразы...

— Что вы предлагаете?

— Недельки бы две еще.

— Никаких неделек. Идя вам навстречу, даю один день. В среду ложитесь, а в четверг оперируем... Ну вот. Я же говорила, что ничего страшного.

Медсестра с историей моей болезни в руках спросила профессора:

— Как написать название операции?

— Широкое иссечение пигментного образования на коже в верхней трети левого бедра. До свидания, Владимир Алексеевич. Поезжайте и дописывайте свой рассказ.

12

Как ни странно, этот консилиум-фейерверк успокоил меня. Я забыл о лаборатории, о кислом лице Жанны Павловны, о прыгающих огоньках в окошечке аппарата. В тот же день я уехал в Карачарово и после дороги быстро и крепко заснул. Однако, проснувшись ночью, поворочался с боку на бок, зацепился полусонной мыслью за какой-то

штришок и вдруг резко вынырнул из стихии сна. Освежел, окончательно проснулся. В каком-то новом, ясном и трезвом свете я увидел сегодняшний консилиум и с беспощадной очевидностью понял, что диагноз был поставлен ими до консилиума, на основании данных лаборатории, которые, конечно же, были им известны. Агнесса Петровна по три раза в день звонила в лабораторию и спрашивала о результатах исследования. А весь этот консилиум не больше чем хороший спектакль, чтобы успокоить меня перед операцией. Если тут жалкая доброкачественная фиброма, то почему спешка? Почему дорог день? Зачем широкое иссечение?

Я не представлял себе в полной мере, что такое *широкое* иссечение, но все же само сочетание слов уже говорило о тревоге, об опасности, о крайних мерах.

О чем из покидаемого на земле человек жалеет, когда приходится умирать? Как ни странно (и тут — парадокс), он больше жалеет о том, что уже успел узнать, увидеть и пережить, нежели о том, что осталось пока неизведанным и непознанным. В самом деле, ведь меньше человек жалеет о том, что не успел увидеть, как в Гренландии зарождаются айсберги, сползая и откалываясь от ледяного массива, и плюхаются в воду, нежели о том, что не придется больше сходить по грибы в туманный осенний денек, не придется больше искупаться ранним утром в прозрачной речке, рвать цветы, смотреть на облака, целоваться с женщинами.

Да, я не ловил морских черепах, не охотился на китов и крокодилов, не бурил землю, не водил паровозов, не был летчиком-испытателем, не строил домов, не разводил кроликов, не мудрил в химических лабораториях, не был на Соломоновых островах, не работал в угрозыске, не ел бизоньей губы, не сражался с акулами, не бастовал вместе с докерами, не стоял у власти, не был в Ла Скала, не спал с негритянками, не летал на воздушном шаре, не прыгал с лыжного трамплина, не был вратарем сборной СССР, не опускался под воду в батисфере, не стоял под секвойями, не видел Айи-Софии и египетских пирамид, не путешествовал по Японии, Индии и по множеству других стран. Я не был даже на Камчатке и на Байкале... Теперь бы и проснуться острому сожалению, что вот не увидел, не сделал, не попробовал. Нет же, в горле перехватило, когда я вспомнил батумские дожди и когда я подумал, что, может быть, не услышу больше их напористого бурного шума, не окунусь в синюю соленую влагу.

Кое-что я все-таки успел повидать. Как раз не так много, чтобы мир успел примелькаться и наскучить, но достаточно, чтобы понять красоту и разнообразие земной благодати. Я видел Париж, Лондон, Будапешт, Варшаву, Софию, Мюнхен, Бонн, Эдинбург, Берлин, Дрезден, Кёльн, Ханой, Пекин, Тирану, Шкодер, Бухарест, Краков, Копенгаген, остров Борнгольм, Ниццу, Экс-ан-Прованс, Марсель, Сан-Мишель, Тырново, Белград, Любляну и многие другие города в странах, где мне пришлось побывать. Но даже там... Взять хотя бы Париж... Мало ли есть что в Париже, чего я не успел увидеть, о чем даже и не догадываюсь. Но жалко теперь не то, что никогда не увижу неувиденного, а жалко, что не увижу вновь Париж с высоты знаменитого холма, что не пройду больше по узкой улочке Рю дю Бак, с которой начинались все мои парижские пешеходные маршруты. Не успеешь пройти по этой улочке сто шагов, как она вливается в бульвар Сен-Жермен, и тут же, как раз на углу, около входа в кафе, корзины с устрицами, переложенными остро пахнущими морскими водорослями. Если пойти теперь налево, то начнутся другие кафе и ресторанчики, и тут же недалеко церковь Сен-Жермен-де-Пре. Если же по Рю дю Бак спуститься вниз, то попадешь на набережную Сены и, посмотрев направо, уже различаешь громаду Нотр-Дам, а прямо через Сену — и сам Лувр.

Нет, в острый момент прощания (или, по крайней мере, осознания, что прощание приближается) тянет не на Соломоновы острова, где не был, а в какую-нибудь Саранду или в Созополь, где бывал. Да господи, не надо мне и Саранды! Мне бы в апреле пройти по нашей олепинской горе от села до луга, прочищая палкой ручеек талой воды. Он еще только накапливает силенки, местами бежит уже в руслице, промытом в снегу, а местами снег глушит и поглощает его. Если в это время чертить палкой по набрякшему водой снежному месиву, то как обрадованно, как облегченно, булькая и переливаясь на солнце, течет вода по неожиданному для нее новому руслу. А набрякший снег по сторонам от руслица на глазах белеет, пустеет и обезвоживается. А там уж и русло есть, но его забило снежным крошевом, обломками льда, и вот наслаждение — той же палкой разрушать преграду и подпертым заторами озеркам воды давать вольный ток. Ручеек ниже затора сразу выходит из берегов, несется стремительнее, чем тек, пока одним толчком не пополнит озерко около другого затора. Подойдешь с палкой к другому и так идешь по обогретой солнцем,

больше чем наполовину в проталинах, отлогой горе, пока не проводишь ручеек до луга, а потом и до впадения его в реку, уже набухающую и приподымающую зимний тяжелый лед.

Да господи, не надо мне и пропруживания ручья. То есть надо, но это уж — пир горой и грандиозная благодать. Однажды, в апреле же, на горячем солнечном припеке взял я в горсть снег, и он оказался зернистым и сверкал на ладони, словно крупная соль, и приятно холодил разгоряченную ладонь. Так я и держал его, пока прозрачных зерен становилось на ладони все меньше и меньше. Такую бы горсть апрельского снега подержать в руке еще раз. А Соломоновы острова — бог с ними. Наверное, это прекрасно, но не о них я теперь жалею.

Однако внутри нас действуют сложные и мудрые механизмы. Между двумя отделениями в организме, между двумя узлами, как сказал бы специалист по машинам, может отсутствовать прямая связь, этакий проводочек, коммуникабельность. Напротив, как бы проложена изолирующая прокладка, при нарушении которой возникают всевозможные мании, комплексы, психозы, и жизнь становится невыносимой.

Каждый человек знает, что он умрет. Каждому нормальному человеку не хочется умирать. Отчего же мысль о смерти не мучает нас всю жизнь? Отчего мы говорим о смерти с легкостью, а то и смеясь, как будто речь идет не о нашей смерти? Потому что в организме в нужных местах поставлены изолирующие прокладки. Вот идет он, жизнелюб, весельчак, деятельный, здоровый.

— Ты ведь умрешь,— говорят ему.

— Я? Конечно, умру! — и смеется. Хохочет. Открывает новую бутылку вина, целует женщину. Уходит с ней, оборачивается, смеясь: — Все умрем! — Весельба. Комедия. Животики надорвешь. Белозубая улыбка. Жизнь бьет через край. Переспрашивает: — Я умру? Разумеется! Все умрем.— И снова хохочет.

В организме, в психике, где-то там, в сокровенных глубинах мозга, нарочно не поставлен тоненький проводок. Отсутствует связь. Защитные функции человеческого организма. Точно так же женщины забывают о родовых болях и снова беременеют и рожают, хотя во время родов клянутся сами себе, что это в последний раз. А потом и помнят, но как бы не про себя. Легла изолирующая прокладка.

В добром здравии хорошо смеяться над смертью. А если припечет? Если петух клюнет в темечко? Если, как гово-

рится, запахнет жареным? Тогда, оказывается, у организма есть другие защитные средства. Во время опасной, а тем более смертельной, болезни, возможно, вырабатываются (я только предполагаю) где-нибудь там, в надпочечниках, и поступают в кровь некие вещества, которые притупляют остроту возможной приближающейся развязки. И даже примеряют с ней. Возникает необходимая доля безразличия, угнетенности и усталости, когда просто лежать и ни о чем не думать приятнее и желаннее, нежели опять суетиться, бегать по делам, пробивать, толкать и вообще действовать.

Вспоминаю, что и раньше наплывали на меня волны усталости и серого безразличия, но они никогда не накрывали меня с головой. Я ловил себя на том, что как-то мне сегодня ничего не хочется. Нет зацепки, за которую хотелось бы зацепиться, нет действия, которое хотелось бы исполнить, нет состояния, в котором хотелось бы находиться. Идти на прогулку — не хочется. В лесу жечь костер — не хочется. Ловить рыбу — не хочется. В шахматы играть — не хочется. Оказаться в Париже — не хочется. Ехать на поиски старины — не хочется. Сидеть с друзьями и выпивать — не хочется... Но в том-то и дело, что, испуганно перебирая возможные свои действия, я всегда находил в себе живое место, находил то, чего мне хотелось бы. Значит, усталость была еще неполной, не смертельной усталостью. Никогда еще не было такого, чтобы не хотелось писать. Работа всегда спасала меня. Желаемое отыскивалось иногда в отдаленности, такое, что невозможно исполнить тотчас же. Скажем, хотелось под теплый дождь в еловом лесу, а за окнами стояла московская зима. Но это не важно. Главное, чтобы отыскалась в тебе зацепка за жизнь, чтобы чего-нибудь тебе хотелось, хотя бы и неисполнимого именно в эту минуту. Главное, чтобы было в тебе живое местечко, через которое ты бы и ощутил себя живым человеком. Но пугающее предчувствие возникало. Вдруг, думал я, наступит такой день, что ничего-ничего не захочется больше, как только лечь, закрыть глаза и лежать, ни о чем не думая.

13

Не ходить путями старыми,
Новых вовсе не торить.
Благодарствуйте, сударыня,—
Буду нынче говорить.

Все, что было нам подарено,
Утекает, как вода.
Благодарствуйте, сударыня,
За последние года.

Сколько свету разбазарено,
Догорают угольки.
Благодарствуйте, сударыня,
За последние деньки.

Доставалась, как в угаре, нам
Радость девичьей красы.
Благодарствуйте, сударыня,
За последние часы.

Вот уже косой ударено,
Покачнулась трын-трава,
Благодарствуйте, сударыня,
За последние слова.

Никнет пламя, меркнет зарево,
Опускается стекло.
Благодарствуйте, сударыня,
За последнее тепло.

Было много мне подарено:
Север, запад, юг, восток.
Благодарствуйте, сударыня,
За последний лепесток.

Благодарствуйте и царствуйте,
Вспоминайте иногда.
Даже это «благодарствуйте»
Утекает, как вода.

14

В карачаровском доме ничего не изменилось за эти дни. Раскрытая книга лежит на прежнем месте в холле, на низеньком столике перед диваном. Джойс Кэри «Из первых рук». Великолепная книга. Около книги чашка с остатками зеленого чая. Остатки в чашке как бы покрылись жирным пятном. На шахматной доске расставлена трехходовка,

которую не успел тогда решить. На столе в кабинете очередная страница, исписанная до половины. Надо во что бы то ни стало докончить этот рассказ с будущим названием «Грабеж». Надо.

Все тут по-прежнему. Жизнь бежала, бежала несколькими потоками и остановилась, замерла. Как в сказке, остановилось все, когда царевна уколола о веретено свой розовый пальчик. Потом поцеловали царевну, и все завертелось опять, с полуслова, с полушага. Так и у меня тут: налить в чашку свежего чая, перевернуть книжную страницу, сделать ход ладьей, написать начатую фразу. Течение жизни не оборвалось, но только приостановилось. И всего-то прошла какая-нибудь неделя. Но какой идиллически нереальной показалась мне моя жизнь здесь неделю назад. Как будто я взглянул на свои вещи, разложенные там и сям, из другой эпохи.

Три дня... Суббота, воскресенье, понедельник выхлопотаны мной у Агнессы Петровны. Три лишних дня на берегу Волги, в старинном парке, на удобном диване, за рабочим столом. Как нарочно, установилась такая погода, какой я никогда не видел в Карачарове за пятнадцать лет. Неожиданно (семнадцатое ноября) ударил в полном безветрии пронизанный невысоким солнцем мороз. На Волге образовалось черное, четырехсантиметровой толщины, зеркало льда, а на деревьях осел пушистый иней, при том что на земле еще не было ни снежинки. Черная земля и желтые листья от недавнего листопада. Но и листья покрылись инеем, и каждая травинка, и даже каждая палка, валяющаяся на земле. Сквозь лед было видно все в воде: и темно-желтое, как сквозь кофе, песчаное дно в мелких ребрышках, и трава, и окуньки, плавающие в траве. Передвигаться по льду можно было только мелкими скользящими шажками. Лед прогибался, мелодично тренькал. Казалось, не трещины, а именно звуки разбегаются во все стороны по рисунку паутины. Но все же лед держал на себе, позволяя шмыгать и скользить по всему, километровой ширины, зеркалу водоема. Но хороший удар палкой пробивал лед насквозь. Отдаленные заиндевевшие перелески на том краю зеркала выглядели сказочнее и заманчивее, нежели заиндевевшие деревья этого берега прямо над головой. В природе было то самое состояние, про которое говорят обычно, не ища других определяющих слов,— сказка. Это была сказка, и с моим настроением я воспринял ее как прощальный подарок.

Но, собственно, почему прощальный? Ведь операция не смертельна. Никто еще не умирал от иссечения опухоли бедра. Так-то так, но все же, если приговор уже вынесен...

Многие друзья советовали мне решительно отказаться от операции. Доводы были одни и те же: «Одна знакомая ходила с такой штукой всю жизнь. Потом надумала удалить. Через три с половиной месяца все было кончено», «Один знакомый удалил как будто невинную родинку, да через четыре месяца и умер».

Гриша Поженян (бывший мой однокурсник и поэт) говорил убедительнее других:

— Я этот институт знаю, как дом родной. Через него прошли один мой друг и две женщины. Я их туда отвозил. Я им носил передачи. Я их выписывал. Я их хоронил. Возьми любую паршивую книжонку по опухолям, везде в первую очередь написано черным по белому: она (под ней он понимал меланому) боится ножа. Как никакая другая опухоль. Ее клетки от ножа хирурга разбегаются во все уголки организма. Сначала после операции человек чувствует себя как будто хорошо. Подъем сил, хорошее настроение, хорошее физическое состояние. Потом через три-шесть месяцев — температура. Начинают как бы лечить пневмонию и — все. Жора Оганянц, мой друг, знал весь этот порядок. Он окружил себя красивыми женщинами, вином. Я ругал его... После операции нужен покой, размеренный образ жизни. И знаешь, что он ответил? Он спросил: «Кто из нас умирает — ты или я?» Больше я не сказал ему ни слова. Ты понимаешь, старик, эта штука может дремать годами. Нож хирурга включает в организме часы. Ты понял? Начинают тикать часы. Как во взрывном устройстве. И остановить их уже нельзя. Они тикают от трех месяцев до трех лет. Все зависит от того, включатся ли после ножа часы. Я знаю один случай. В этом же институте. Диагноз самый плохой. А женщина очень мнительная. Если ее облучать, она сразу обо всем догадается. Я взял ответственность на себя. Никаких облучений, никакой химии. Ставка на организм. Ее выписали и сказали: «У тебя ничего нет».

— А на юг мне можно?

— Хоть в Африку.

— А загорать можно?

— Хоть поджаривайтесь на сковороде.

Пошел уже десятый год, и она забыла про свою опера-

цию. Но это случай один из тысячи. Обычно часы включаются.

— Так зачем делать операцию, если заранее известно?..

— Как же не будешь делать? Допустим, ты в океане спасаешься на обломке мачты. Показалась земля. Ты знаешь, что высаживаться на нее опасно. Там звери, малярийные комары, мухи цеце, людоеды. Шансов на спасение — никаких. И все же ты будешь стремиться к земле, а не оттолкнешься от нее, чтобы опять уплыть на своем бревне в безбрежный океан [1]. Но с чего она к тебе привязалась?

В самом деле — с чего? Здесь, в Карачарове, у меня было время поразмыслить и над этой, в общем-то, неразрешимой загадкой. О наследственности не могло быть и речи. Все мои предки, о которых только можно помнить по рассказам и преданиям, жили долго и умирали тихой нормальной смертью между восемьюдесятью и девяноста годами. Они, правда, не писали стихов, не были членами Московской писательской организации, не жили в огромном городе.

Идя по заиндевелой аллее старинного гагаринского парка и машинально шевеля палкой затвердевшие под инеем дубовые и липовые листья, я перебирал в уме все, как теперь называют, отрицательные эмоции, но не те,

---

[1] Судьба предоставила мне посмотреть на случай, когда человек не делал себе операции. Ко мне в гости пришел литератор, поэт, живущий в небольшом городке нашей Владимирской области. Я рассказал ему о своей операции (она к тому времени уже была сделана). Тогда гость расстегнул рубашку на груди и молча мне показал. В ложбинке груди у него сидела черная плосковатая блямба (не буду искать другого слова), по сравнению с которой моя горошина была бы как цыпленок рядом со взрослым индюком. С трехкопеечную монету величиной, да еще около нее высыпали уже несколько чечевиц.

— Как? Давно ли?! — вырвалось у меня.

— Восемнадцать лет. Пятнадцать лет она сидела и не росла. Была как горошина. Последние три года растет. Я думаю, что лет на пять меня еще хватит.

Итак, восемнадцать да пять — двадцать три года. Вот судьба человека, «оттолкнувшегося» от опасного берега. Ибо ни один больной после операции такого количества лет не живет. А если живет, значит, у него была незлокачественная опухоль. После операции часто гибнут в первые месяцы и редко (10%) переваливают за три года. Вот и решай — высаживаться ли на берег с крокодилами и людоедами или уплывать от земли опять в открытое море. К сожалению, эпизод с гостем и его болезнью произошел уже после моей операции. Впрочем, от операции я все равно бы не отказался.

которые стремительно врываются в жизнь, а потом исчезают, а те, которые постепенно, медленно, но верно угнетали бы меня на протяжении многих лет, доведя душевную организацию до той степени эмоциональной усталости, после которой противоборство угнетению сменяется безразличием и капитуляцией организма.

Если вам предстоит сделать за единицу времени пять дел, а вы чувствуете, что успеваете сделать лишь три дела, вы невольно начинаете нервничать. В вашем организме создается невольное напряжение. Пятнадцатиминутный сон прекрасно освежает уравновешенного, пусть даже и очень усталого, человека. Но попробуйте уснуть на пятнадцать минут, если вы знаете, что всюду опаздываете и не успеваете сделать нужных дел. Вы будете лежать пятнадцать минут неподвижно, вроде бы отдыхать, но вам будет жарко, вы даже вспотеете, как если бы уже бегали по своим делам. Цейтнот, даже непродолжительный, пагубен для человеческого здоровья. Если же он продолжается годами, он разрушителен и смертелен.

Только и слышно теперь — отрицательные эмоции, отрицательные эмоции. Избегайте отрицательных эмоций! Проснувшись, в первую очередь старайтесь улыбнуться. И вообще как можно больше улыбайтесь и смейтесь. А главное, избегайте отрицательных эмоций.

Но будто отрицательные эмоции — это только ссора, неприятное известие, перебранка с продавцом в магазине, с начальником на службе, пьяный муж, изменившая жена, двойка у дочери в дневнике, испортившийся телевизор, прожженная утюгом кофточка, распустившийся чулок, проигрыш в шахматы, лишение премиальных, привод в милицию сынка-подростка — и все вообще внезапные, но тем не менее повседневные неприятности.

Я убежден, что, если вы утром из своего окна каждый день будете видеть красивое дерево, красивую улицу, красивый дом, красивый пейзаж, хотя бы и городской, вы будете себя чувствовать лучше и проживете дольше...

...Но приходится признаться, что все эти мои рассуждения на заиндевелой аллее карачаровского парка о происхождении болезни были красивы и романтичны, да вряд ли верны. Медицина утверждает, что меланома, в частности, чаще встречается у лошадей, нежели у человека. Или придется уж допустить, что и лошадям свойственны угнетающие отрицательные эмоции, каковая гипотеза была бы, как выражаются ученые люди, не вполне корректна.

15

Какого вкуса чувства наши —
И скорбь, и лютая тоска?
И впрямь горька страданий чаша?
Любовь и впрямь, как мед, сладка?

Горчинка легкая в стакане
У грусти явственно слышна.
Живая соль на свежей ране,
Когда обида солона.

Среди страстей, среди боренья
Я различить тотчас берусь
И резко-кислый вкус презренья,
И кисловатый скуки вкус.

Под вечер горькая услада,
И на просвет почти черно
Вино дождя и листопада,
Печали терпкое вино.

Но все оттенки — бред и бренность,
И ничего не слышит рот,
Когда стоградусная ревность
Стаканом спирта оплеснет.

Все так. И пусть. И горечь тоже.
Приемлю мед, приемлю соль.
От одного меня, о боже,
По милосердию уволь:

Когда ни вьюги и ни лета,
Когда ни ночи и ни дня,
Когда ни вкуса и ни цвета,
Когда ни льда и ни огня!

16

Словно стеклянная завеса опустилась между мной и остальным миром. Все видно, и даже очень явственно, даже выпуклее и ярче, чем обычно, но все какое-то постороннее, существующее само по себе, тогда как я — сам по

себе. Мне было не страшно, не больно, не жалко, не безысходно, но постороннe. Жаловаться мне было не на что. Если бы на самом деле было нечто, которое дало бы мне жизнь пятьдесят лет назад, а теперь решило бы меня ликвидировать, было бы свинством обижаться. Этому ощущению во мне помогло откристаллизоваться одно письмо из того десятка непрочитанных писем, которые я походя взял со стола и сунул в портфель, уезжая в Карачарово. Эти письма все были из того, по другую сторону стекла, мира, но все же я начал разрывать конверт за конвертом и пробегать глазами написанное разными почерками. «...Я посылаю Вам уже третье письмо. Я настоятельно прошу Вас выслать адрес бабки Софьи Павловны, описанной Вами в книге «Трава». Мой сын неизлечимо болен...»

Писем с такой просьбой я получил уже больше десяти. Значит, надо каждому объяснить, что нелепо было бы обращаться к Толстому, например, и спрашивать у него адрес Анны Карениной. Но допустим, допустим, что существует прообраз бабки, допустим. Значит, теперь я, член СП СССР, должен давать всем адрес знахарки, объяснять, что зовут ее не Софья Павловна, и брать на себя долю моральной ответственности за то, что люди будут терять время на переписку с бабкой, вместо того чтобы пользоваться средствами современной медицины.

«...Сегодня моя мама зачитала мне выдержку из одного Вашего произведения. Там Вы жалеете тех, кому непонятно чувство увлеченного коллекционированием человека... Все это я пишу к тому, что если Вы когда-нибудь будете в нашем городе, то я приглашаю Вас в гости к нам. Мой муж был большим коллекционером и собирал многое: марки, монеты, медали, иконы, оружие, курительные трубки, открытки, книги...»

«...Помнится, я говорил Вам в ЦДЛ о миссис Хартли из Оксфорда. Она все еще ждет Ваши книги. Напомню: «Закон набата» и «Олепинские пруды». Книги нужны ей для ее лекций и статей. Ее лондонский адрес...»

«Уже второй год, как я послал Вам свой капитальный труд под названием «Коллективология». Никакого отзыва до сих пор не получил. Неужели советский писатель...»

«...Если помните, у Вас в «Осенних листьях» есть высказывание, что верующие обращаются к богу с разными просьбами: «помилуй», «спаси и сохрани», «помоги, господи», «пошли, господи» и т. д.— и что если бы Вы были

верующим, то обращались бы к богу с одним словом «благодарю». Но мне кажется, Владимир Алексеевич, что так хорошо говорить тому, над кем, как говорится, не каплет, при полном благополучии, здоровье и вообще процветании во всех отношениях. Если же человека раздирают болезни, семейные неурядицы и вообще страдания, то Ваша формула едва ли пригодна».

Да, надо бы поехать в Рославль, куда манят оставшиеся после мужа коллекции старины, надо бы послать книги миссис Хартли в Оксфорд, надо бы отозваться человеку о его нелепой трехтомной, в две тысячи рукописных страниц, «Коллективологии». Но все это странным образом осталось по другую сторону стекла, и прочтение писем не побудило ни к каким действиям.

Однако над последним письмом я задумался. Прав ли я был, когда высказывал свою мысль в «Осенних листьях»? Или это было временное настроение, не способное выдержать проверку жизнью? Пришла проверка. Болезнь и через два дня операция. Приговор оглашен и приводится в исполнение. В дополнение ко всему — семейная неурядица. Отношения с близкими в тупике. Я кладу все это на чашу весов, и она, конечно, летит вниз, в бездну. В тартарары. И я не знаю, что надо положить на другую чашу, чтобы если не уравновесить, то хотя бы остановить ее падение.

Но ничего и не требуется класть. Я не перебираю свою жизнь по событиям. Я как-то одновременно, одномгновенно вижу ее всю, осознавая и немаловажный факт своего рождения, появления на земле, и действительно не нахожу в себе другого чувства, кроме искренней и горячей благодарности, захлестнувшей и омывшей вдруг мою душу горячей и светлой волной. По-моему, так. Если человека нет (а его нет, если он не народился), если есть только черное и немое небытие, по-моему, если человека вывести из состояния небытия ради одного только теплого дождя, ради одного куска хлеба, ради одного поцелуя... Вот опять началось перечисление! Зачем оно? Если разбудить человека на мгновение, чтобы только показать ему травинку, осыпанную росой, и ничего больше, по-моему, он должен быть благодарен, ведь могло не быть и этой травинки, осыпанной росой. А теперь вспомним, что было. То-то вот и оно. Чаша весов остановилась и медленно, но уверенно пошла подыматься кверху.

17

Приемлю удар за ударом,
Слабею и падаю я.
Последний от неба подарок —
Любовь золотая твоя.

Твоя золотистая кожа,
Твои голубые глаза,
Тобой припасенное ложе,
Твоя на прощанье слеза.

Недаром мы вместе, недаром,
Пустой болтовне прекословь!
Но вдруг не подарок, а кара
Твоя молодая любовь?

И послана ты в наказанье,
Когда обрывается нить,
Чтоб было острее страданье
С земли от тебя уходить?

18

Мне захотелось, прежде чем уехать из Карачарова, написать еще одно стихотворение. Предчувствие его уже тревожило меня. Значит,— я это знал — оно сидит во мне и уже стронулось с места в глубине души, уже всплывает, чтоб показаться на поверхности, как всплывает с речного дна цветок валиснерии, когда ему пора обогреться на солнышке и подставить себя стрекозам и бабочкам.

У меня есть тут один привычный маршрут. От своего домика прямо к волжской воде, потом налево на берегу Волги до дома дяди Вани (Ивана Сергеевича Соколова-Микитова), потом, беря влево, мимо дома дяди Вани, по лесной аллее до выхода ее на травянистую солнечную поляну. И было уже пять-шесть раз, что именно на этой лесной аллее предчувствуемое и томящее стихотворение выныривало на свет. То есть уже в голове, а не только в душе возникла стихотворная ситуация и рождались первые строчки. Вспоминаю, что «Мужчины», «Я никого на свете не убил», «Листопад», «Ольха», «Синие озера», «Аргумент» проявились именно на этой дороге. Поверив

в счастливую закономерность, я и на этот раз решил пройти по излюбленному кругу. Конечно, не всегда и не обязательно. А то и успевали бы вылетать из-под пера стихотворные сборники. Но все-таки, все-таки. И вот уж иней хрустит под тяжелыми башмаками и мертвые листья шуршат, ворошимые машинальной палкой. Сначала стихотворение бродило кругами. Вокруг да около. Зацепилось за известную строку из «Теркина»: «И хотя бы плюнь ей в морду, если все пришло к концу!» И начало вязаться и плестись, основываясь на этой строке.

Нет, в морду ей плевать не надо,
Сумей достойно умереть,
Воспринимая как награду
Тебе дарованную смерть.

Но никакой перспективы тут не было. Строфа не несла в себе зародыша и ростка, она сама исчерпывала себя, замыкалась сама в себе. Она могла быть концом стихотворения, а не его началом. Но она была таким концом, ради которого не хотелось городить огород.

Вскоре я потерял эту нить, погрузился в бездумное шагание по хрустящей листве, а когда очнулся и оглянулся вокруг, увидел себя уж на лесной аллее, под высокими, сводчато склоняющимися друг к дружке деревьями черной лесной ольхи, и стихотворение уже отчетливо прорисовалось. Оставалось только сесть на полдня и записать его на бумагу. То есть все остальное было, как любят говорить шахматисты, делом техники. Строки складывались такие:

Жизнь — как война. Я получил раненье.
Смертельное. На то и есть солдат.
Уйдут вперед остатки поколенья,
Я упаду, откинувшись назад.

Я упаду,
Без удальства и гнева
Приемля свой назначенный черед,
Как шаг назад упал товарищ слева,
Как через шаг и справа упадет.

Упорный гул слабеет в отдаленье,
То жизни гул спадает, словно груз,
И странно мне в последние мгновенья,
Что я к нему никак не отношусь.

Лесок, тропинка, речка, дом, деревня,
Букварь, тетрадь, доска, карандаши,
Цветы и пчелы, птицы и деревья
И теплый дождь в сиреневой глуши.

Зима, в печи трещащие поленья,
В июле земляника возле пня,
Босой ступни к земле прикосновенье
И ржавый гвоздь, чем проткнута ступня,

Грибы, мальчишки, книги и рогатки,
Семестр, зачет, каникулы, прогул,
Станки, продмаги, рельсы и палатки,
Рычанье, скрежет, содроганье, гул.

Заборы, шахты, проходные, трубы,
Собранья, общежития, табак,
Глаза, улыбки, стиснутые губы
(Теперь уже целуются не так),

Озноб, стихи, редакции, поэты,
Троллейбусы, афиши, вечера,
Гомер, Шекспир, симфонии, балеты,
Бесплоднейшие споры до утра.

Шум городов и лестничные клетки,
Бухарский зной и празднества грузин,
Настольный свет, снотворное, таблетки,
Гриппозный жар и сульфадимезин.

Стада коров, стреноженные кони,
Моих детей живые голоса,
Музеи, храмы, древние иконы,
Испорченные реки и леса.

Парижи, вены, лондоны, тираны,
Гостиницы, приемы, телефон,
Бифштексы с кровью, коньяки, бананы,
Морской прибой и колокольный звон,

В ночах любовных женские стенанья,
Базары, лыжи, шахматы, кино,
Все ликованья, но и все страданья,
Полеты ввысь и паданье на дно,

Авансы, книги, критики и темы,
Газеты утром, золото, свинец,
Китай, ближневосточные проблемы,
Судьба моей России, наконец,

И даже ты с горячим длинным телом,
Во всем величье женской красоты,
Что страсть одну взяла себе уделом,
Ты, воплощенье плоти, даже ты,

Весь мир вещей, эмоций и событий,
Далеких планов, нынешних забот,
Слепых поползновений и наитий,
Меня крутивший, как водоворот,

Весь этот мир туманится как небыль,
Слабеет в отдаленье жизни бой.
Мы остаемся только — я и небо,
Я на земле, а небо надо мной.

И прежде чем погаснет свет сознанья
В моих глазах,
Успеть бы только мне
С ко мне склоненным ликом мирозданья
Хоть миг один побыть наедине.

Ну, Агнесса Петровна, стихотворение, которого мне не хватало, написано. Пройден круг по карачаровской аллее. Берите свой скальпель.

Но я не признавался до сих пор, что выпрашивал у них лишний день не только ради того, чтобы собрать бумаги, разложенные в карачаровском доме. Была еще одна — лирическая — причина. Но чтобы объяснить ее, надо сделать небольшое отступление и перенестись на два года назад. Теоретики литературы назвали бы это место вставной новеллой.

19

В тот день к Борису Петровичу приехал из Москвы крупный профсоюзный деятель, и Борис Петрович решил угостить москвича художественной галереей, находящейся неподалеку в областном городе. Пригласили меня.

Черная «Волга» лихо подкатила к главному подъезду бывшего царского Путевого дворца, и мы уверенно направились к входу. За черным дверным стеклом наискось повешенная на шпагатиках табличка извещала, что сегодня у музея выходной день.

— Тем лучше,— тотчас нашелся Борис Петрович,— выходной день для посетителей, а не для сотрудников. Поэтому в залах никого нет, а мы попросим, и нас проведут.

В том, что нам могут отказать, у Бориса Петровича не было и мысли. Стучались, звонили. Открыла, увидев троих прилично одетых людей, простая привратница, дежурная сторожиха, у которой нельзя было бы испрашивать разрешения на осмотр галереи. Она ушлепала в глубь коридора, загибающегося дугой, и вскоре оттуда из глубины вышла высокая, стройная, темноволосая, с зеленовато-серыми глазами, немного скуластенькая, в возрасте десятиклассницы девушка. В белой блузке. С румянцем на щеках (говорили в старину), точно маков цвет. Она робко осведомилась, что нам нужно. Тотчас московский гость достал свою коричневую с золотым тиснением книжицу и, развернув ее, показал из рук молодой сотруднице галереи.

— Извините, но у нас выходной. Директора нет, а я ничем не могу помочь. Я молодая сотрудница, и вообще... извините.

— А с нами еще писатель. Может, слышали? — ударил Борис Петрович последним козырем.— Может, слышали — Солоухин.

— Владимир Солоухин? — быстро переспросила девушка.— Ой, тогда пожалуйста. Я сама вас проведу, но только не очень долго.

Я был уверен всегда, что начисто лишен тщеславия. Но боже мой, какая вдруг волна именно удовлетворенного тщеславия залила меня с головой в этот миг. Никакие хвалебные статьи, никакие премии, если бы они были, не принесли бы мне большей радости, чем этот удивленный возглас краснощекой смуглянки. И в какой момент! Какое торжество, какая внутренняя ухмылка. Я почувствовал прилив благодарности к девушке, мне захотелось сделать для нее что-нибудь хорошее, и я сказал про себя, что пришлю ей книгу с теплой надписью и пусть это будет для нее маленьким сюрпризом.

Мы ходили по пустынным залам дворца. Девушка рассказывала нам. Экскурсия заняла не больше тридцати

минут. Между тем мне, в исполнение замысла, надо было узнать, как ее зовут и как ее фамилия, потому что иначе кому же я пошлю свою книгу. Пришлось ее втягивать в посторонний для нашей экскурсии разговор. Девушка неохотно и более чем сдержанно рассказала все-таки, что она окончила десятилетку, но поступить в институт не удалось. Не прошла. Устроилась пока работать сюда. Но летом опять будет пробовать.

— Куда?

— В Ленинград. В Академию живописи на искусствоведческий факультет.

Да... Я ничего не сказал, но про себя подумал, что, наверно, трудновато ей будет поступить. Ленинград, Академия живописи! Шутка ли?

Видимо, тревога в моих глазах не ускользнула от внимания нашей экскурсоводки. Как бы споря со мной, она резко сказала:

— А я все равно буду пробовать!

Между тем во время экскурсии я увидел, что девушка талантлива, работает здесь по призванию, об искусстве рассказывает со страстью, и к первому, может быть необоснованному, импульсу присоединилась убежденность, что талантливому человеку хорошо бы помочь.

Эпизод постепенно притупился и изгладился. Прошло несколько месяцев. В Ленинграде собрался съезд Российского общества по охране памятников культуры. Но в Ленинграде ведь важно оказаться. Повод ведь можно потом забыть. Начинаются телефонные звонки, встречи, прогулки и разговоры. Так с моим другом ленинградским художником Евгением Демьяновичем Мальцевым мы оказались на завтраке у другого крупного ленинградского художника. Соответственно возрасту хозяина ели творог (со сметаной или с медом — по желанию), восторгались огромным ньюфаундлендом, потом перешли в мастерскую посмотреть новое полотно художника: обнаженная женщина лежит около озера. Картина, написанная смело и с блеском, восхитила нас, наше непритворное восхищение обрадовало хозяина, атмосфера создалась самая теплая и дружеская.

Вдруг в разговоре двух художников, обсуждавших при мне свои ленинградские дела и проблемы, промелькнула Академия живописи. Оказалось, что наш гостеприимный хозяин работает там и озабочен как раз принятием нового контингента, и тотчас же вспомнилась мне девушка из областного музея. Как вышла она из глубины здания по

изогнутому коридору в белой блузке, с ярким румянцем на щеках...

— Послушайте... девушка страстно мечтает поступить в ваше учебное заведение. Она уже пробовала. Не получилось. Она пробует снова. Она не знает, что мы сейчас говорим о ней. Она зубрит где-нибудь у себя в городском саду, на диване, а между тем здесь, за чашечкой этого великолепного кофе, может решиться ее судьба. Она и хочет-то всего лишь на заочное отделение.

Опять разглядывали картины, опять восторгались ньюфаундлендом, чесали ему за ухом, жали на прощанье друг другу руки. И уже мы с Женей перешагнули порог, когда хозяин, провожавший нас, вдруг спросил:

— А как на всякий случай зовут девушку? Действительно она хотела бы учиться у нас?

Помнится, я загостился в Ленинграде, и уже можно было бы поинтересоваться успехами юной абитуриентки, но второй раз затевать разговор не хотелось, и я решил сам съездить в Академию живописи, посмотреть списки принятых, развешанные в коридоре.

Наверное, нашел бы я эти списки в коридорах, но совпадение было таково, что, как только я подошел к Академии, так и увидел свою подопечную, только что вышедшую из здания.

Она остановилась передо мной, вспыхнула своим румянцем до красноты трех пластмассовых вишенок, приколотых к серенькому платьицу, гневно полыхнула молния в ее зеленоватых глазах, едва ли не затопала на меня ножкой в простенькой, областной кондиции, туфельке.

— Как вы смели? Кто вас просил? Позор, позор! Вы думали, я ничего не узнаю? Но мне дали понять... Мне намекнули на ваше имя. Я сразу все поняла!..

— Да приняли вас или нет в конце концов?

— В том-то и дело, что приняли.

— Так что же? В чем же трагедия?

Девушка взяла тоном ниже.

— Как я теперь узнаю, на сколько процентов я имею право здесь учиться?

— Ну как — как? Вот будет экзаменационная сессия, и сразу все прояснится. Если вы не способны учиться в этом институте, вас отчислят.

— Правда? — как бы даже обрадовалась новоявленная студентка.

— Правда. А теперь время обеда, я приглашаю вас.

Оказавшись наедине за ресторанным столиком (под куполом ресторана «Нева»), мы попали в затруднительное положение. Ни она, ни я не смогли найти верного тона хотя бы на эти два-три часа. Чтобы наше внимание не останавливалось на мучительной неловкости, я беспрерывно что-то говорил, может быть, говорил не самое глупое, но меня не покидало ощущение, что я говорю не то и что все это не нужно моей собеседнице. Она совсем ничего не пила и не ела, все смотрела на меня своими зелеными глазищами, то ли внушая мне какую-то свою мысль, то ли спрашивая, что же мне от нее нужно?

Мне не нужно было от нее ничего. Вернее, мне не было нужно от нее ничего в те дни, когда я решил ей помочь, и сегодня, когда я приглашал ее обедать. Но все же ее молодость, красота, возбужденность, эти немигающие глаза, смотрящие на меня неотрывно со столь близкого расстояния, обстановка ресторанного столика, графинчик коньяка, уже выпитый мной,— все это смещало реальный план, рождало смутные иллюзии, протягивало ниточки в отдаленное будущее. В конце концов мы это поняли оба, так что, для того чтобы не оставалось тут неясного места, я вынужден был сказать:

— Не думайте, что мне от вас что-то нужно. Случайно вы узнали о моей помощи, и случайно мы сегодня столкнулись перед входом в Академию. Сейчас отобедаем и расстанемся навсегда.

Но тут я посмотрел на нее, и мне вдруг больно и остро захотелось, чтобы это не было навсегда. Захотелось какой-нибудь зацепки, соломинки, огонька надежды. Поэтому, свернув с прямой и короткой дороги начатой фразы, я пошел на зигзаг и многоречиво заговорил:

— Понимаете, будут идти годы, вы будете учиться, станете совсем взрослой...

— Я взрослая...— нетерпеливо перебила она.

— Вы станете совсем взрослой. Если вы когда-нибудь захотите, можете позвонить мне или прислать письмо. Одну только фразу: «Я хочу вас увидеть». Договорились? Пусть это будет через несколько лет. Не важно. Главное, чтобы вам действительно захотелось.

Я уезжал из Ленинграда, и она провожала меня на поезд. Около двери вагона, куда мне предстояло войти, на нее нашла непонятная для меня вспышка гнева. Вместо

того чтобы мирно попрощаться, сказать «до свидания» (да не мешало бы и «спасибо» сказать, черт возьми!), она вдруг затараторила срывающимся от волнения и, пожалуй, злым голосом:

— Никогда я вам не позвоню и не напишу. И вы мне не звоните, понятно? И не пишите. Дайте слово, что не будете звонить и писать. Дайте слово!

— Пожалуйста! Кто вам сказал, что я собираюсь... Пожалуйста.

Она опять раскраснелась и, раскрасневшись, стала еще прекраснее, и некий внутренний голос отчетливо подсказал мне, что надо сейчас, в ответ на ее вспышку, разорвать билет, бросить его под колеса вагона, остаться и — будь что будет. Но я вместо этого довольно твердо и даже слегка обидевшись выговорил, уже берясь за железный поручень:

— Хорошо. Я обещаю не писать, не звонить. Живите спокойно. Учитесь...

Поезд тронулся.

За два года многое происходит с человеком. Многое произошло и со мной. Но под всеми событиями (книги, поездки, встречи, горы, море) глубоко-глубоко сохранилась, оказывается, одна болевая точка, участочек сознания, который заведовал отношением к этой девушке, не забывал о ней и чего-то ждал. Поэтому я как-то даже и не удивился, когда однажды разорвал конверт, надписанный все еще школьным почерком, я прочитал там на тетрадном листе в клеточку занявшее только верхние строчки страницы: «Вы дали мне право написать Вам, если я захочу. Я хочу Вас видеть. Приезжайте к нам в город. Жду Вас».

Письмо было получено мной за день до визита к профессору Агнессе Петровне Баженовой. Потом начались изотопные исследования, после которых сразу же назначили операцию. Но для того я и выпрашивал лишний день...

Надо же так совпасть. Два года. Семьсот и сколько-то дней, а все сошлось на последнем дне перед моей операцией. Если бы писать роман и строить сюжет, и то не придумать бы такого же неправдоподобного совпадения. Но жизнь смелее нашей сочинительской фантазии, потому что она не боится показаться неправдоподобной и нарочитой.

Так, значит, я все-таки увижу тебя! Соберу бумаги, напишу стихотворение, и у меня останется еще целый день.

Огромный, свободный день. Езды до вашего города полтора часа. Разве это езда! Это миг по сравнению с вечностью. Значит, кто-то, может быть, и правда (под названием судьбы) сочиняет наши жизни. И вот — подарок в эти черные дни. В канун хирургического отделения онкологического института, в канун больничной палаты, няни, «уток», термометров, снотворных, уколов и всей больничной безысходности. Вспышка жизни и света. Резкая скорость автомобиля, необычность и острота свидания после двух лет, вино и улыбка, зеленые глаза и черные волосы по плечам. Изотопы... Изотопы, они наговорят! Какие могут быть изотопы, если вот она — жизнь. Перемываешь время, словно золотой песок, в котором через песчинку — крупица золота. А то вдруг и самородок величиной с грецкий орех!

Но проклятая стена странным образом отделила меня от жизни. Словно и правда опустилось стекло между мной и остальным миром. Все видно, и даже очень явственно, даже выпуклее и ярче, чем обычно, но все какое-то постороннее, существующее само по себе.

Я уже ехал к тому перекрестку дорог, где можно налево повернуть в Москву, а направо — в другой, ее, город. Я ехал с твердым намерением поехать направо, но с ужасом не чувствовал в себе ни волнения перед встречей, ни трепета, ни желания встречи. Напротив, лишних два часа сидеть за рулем и завтра опять эти два часа в дополнение к неизбежной дороге до Москвы. А я устал, и мне все — все равно, и надоело сидеть за рулем, надоело ехать, надоело следить за мельканием деревьев и безобразных, вывороченных бульдозерами глыб земли, на серое небо, на голодных черных птиц, нахохлившихся под ноябрьским ветром. И вообще — надоело смотреть. Можно представить себе в кино, как золотоискатель моет всю жизнь песок в надежде на золотой самородок, а потом, когда самородок оказывается в руке, не хватает уже сил поднести его к глазам, либо у глаз не хватает сил разглядеть. И все туманится, размывается, а потом и меркнет.

Перекресток оказался перед моим радиатором быстрее, чем я его ждал. Кто-то другой включил за меня знак левого поворота и повернул баранку налево. Кто-то другой за меня ощутил на щеке постороннее и щекочущее, дотронулся пальцами и увидел, что пальцы мокры. Это делал кто-то другой, а я просто ехал к Москве, все ближе и ближе к Онкологическому институту имени Герцена на Беговой улице

и все дальше и дальше от молодой зеленоглазой женщины, написавшей на тетрадном листе бумаги: «Я хочу Вас видеть. Приезжайте в наш город. Я жду Вас».

20

В приемном отделении, как видно, были предупреждены, что я в двенадцать часов приду. Во всяком случае, женщина в белом халате, прежде чем оформить меня, достала из ящика стола книгу и тоже, как и в лаборатории неделей раньше, попросила дарственную надпись. «Перед входом в чистилище... Входящий, надежду оставь за дверями», надо бы написать что-нибудь в этом роде. Но я написал обыкновенное: «Уважаемой Надежде Ивановне (допустим) на добрую память».

Тотчас мне пришлось раздеться и получить на временное пользование настоящую полотняную рубаху с длинными рукавами, исконную нательную рубаху, каких я не носил с солдатской поры, и синюю бумазейную пижаму. Ношеную-переношеную, стираную-перестираную. Новая моя униформа. Получив автограф, женщина в белом халате не могла уж отказать, чтобы я в нарушение порядка пронес с собой серую трикотажную рубашку, дабы не сидеть в бумазейной куртке, а также (что гораздо важнее) черный чемоданчик под названием «дипломатический», наполненный чистой бумагой, подстрочниками Абуталиба и книгами.

Переодетого (бумазейные синие штаны едва до щиколоток, у курточки рукава чуть-чуть длиннее, чем до локтя), проводили по лестнице на третий этаж. Пока шел, успел схватить глазом надпись на дверях туалета: «Больным вход воспрещен». А я — больной. Я теперь по другую сторону от этих медсестер, врачей и нянечек. Нас разделяет отныне невидимая черта. Я больной, а они здоровые. Я в синей куртке, больной из шестидесятой палаты, один из сорока, допустим, больных, размещенных на третьем этаже, и ничего более. Диагноз поставлен, анализы все известны, операция назначена, койка в шестидесятой палате определена. Одна из четырех, та, что у правой стенки в дальнем от двери углу.

Как кошка на новом месте обходит все углы, так и я пошел по коридорам поглядеть, где что расположено. Холл, четыре обеденных стола, закрытая в этот час раздача. Здесь

больные берут тарелки с едой, за этими столами едят. Тут же и холодильник, набитый кульками, пакетиками, банками, свертками, бутылками с молоком и кефиром. Тут и я буду хранить все, что мне принесут из дома в дополнение к больничному питанию. Тут же стоит телевизор. После ужина все садятся и смотрят, как в самом невинном доме отдыха. От холла тянется коридор. По правой руке — медицинские комнаты, перевязочная, процедурная, медикаменты, белье, туалеты. По левой руке — палаты. Их немного на этаже, всего десять. Двери их почти всегда открыты в коридор. Больше воздуха, да и не так скучно лежать. Впрочем, на нашем этаже лежачих больных мало. Все подвижны и ходят. Только вот через палату от нашей лежит женщина, не поднимая головы от подушки. Пожелтела лицом. По протянутой поверх одеяла руке видно, насколько бессильно ее тело, насколько оно примирилось с постелью, насколько ему хочется лежать и не двигаться. Вот, говорят, на других этажах — там все лежат. Один этаж отведен под опухоли матки, второй — под опухоли желудка, тот под опухоли легких. Ну а шестой этаж общий для всех — там режут. Да, на других этажах, говорят, тяжелые. Потому что хоть болезнь одна и смерть одна, но все же есть разница, когда вырежут участок кожи и лимфатические узлы около паха, а другое дело, когда распотрошат живот, грудь, отхватят желудок, пищевод, половину легкого.

На первые дни, по крайней мере, я запасся тремя хорошими детективами. Может быть, мучительным окажется ожидание операции, может быть, после операции хорошо будет отвлечься за азартным и легким чтением. Кроме того, три соседа по палате. И от них тоже лучше будет уйти куда-нибудь в лондонские переулки, парижские кафе, фешенебельные современные отели, в большие аэропорты, в международные вагоны экспрессов, в пригородные виллы, на банкеты, рауты, в каюты трансатлантических гигантов — всюду, куда уведет фантазия автора.

В последние годы моя жизнь складывалась так, что мне не приходилось жить в общежитии. Ах, был бы «голубой подвал» — общежитие Литературного института, где жило нас в одной комнате сразу шестнадцать будущих прозаиков и поэтов. И чувствовали мы себя там прекрасно. Приходилось и собственной семьей ютиться по четверо и по пятеро (если приедет теща) в одной не очень просторной комнате. Ночевал и в Домах колхозника

на одной из шести коек, пахнущих керосином, где один жилец слушает радио как можно громче, другой уже уснул и храпит, третий приходит, когда все уснули, и опять включает свет и радио сразу.

Но постепенно с годами (с износом нервов?) я стал воспринимать сожительство с другими людьми как незаслуженное наказание. Стало казаться нелепостью, чтобы ни за что ни про что поселили в гостинице с посторонним, случайным человеком. И вынужден оставаться с ним в одной комнате, разговаривать, слушать ерунду, которую он будет молоть (хорошо, если не пьяный), слушать, как он сопит, чихает, кашляет (а он вынужден то же самое терпеть от меня),— но за что? И уж совсем перестал понимать я людей, которые едут в дом отдыха (!), в санаторий (!!) отдыхать (!!!) и живут по нескольку человек в палате.

Недавно я читал научную статью о зверях, находящихся в неволе, о том, насколько просторными должны быть клетки или вольеры. Оказывается, дело вовсе не в обширности жизненного пространства. Вы не захотели бы жить в помещении размером с заводской цех. Оказывается, зверю важнее, чтобы было убежище, где бы он мог уединиться. Без такого убежища зверь очень быстро гибнет, если даже вольера просторна. Зверю необходимо спрятаться, отсидеться, и только в этом случае ему понадобится окружающее пространство.

С годами я заметил, что вся моя жизнь подчинена (кроме разных там литературных замыслов, идей, планов, поездок, увлечений) двум противоположным стремлениям: стремлению уединиться, когда я нахожусь в людской суете, и стремлению окунуться в людскую суету, когда нахожусь в уединении.

Прекрасно наше человеческое общежитие, хождение в театр, на стадион, в гости, на собрания, на большие литературные вечера, на дружеские застолья, на художественные выставки, на пляжи, на тихие задушевные беседы, на заседания редколлегии... Прекрасны наши троллейбусы, автобусы, метро, многолюдные магазины, кинотеатры, кафе, почтамты, рестораны, просто улицы. Но в конце концов я должен остаться в комнате один, сесть в удобное кресло, зажечь настольную лампу. От полного одиночества я, вероятно, завопил бы через месяц-другой. От невозможности уединиться я погиб бы на третий день. Так мне казалось, когда меня клали в четырехместную палату. Оттого я и вооружился безошибочным детективным

чтением. Свое убежище я видел в трех этих книгах, пронесенных мною в контрабандном черном чемоданчике.

Но до чтения в этот день так и не дошло. Не потому, что мне мешали, а потому, что... как-то так получилось, что не возникло потребности прятаться в убежище при помощи этих книг.

С каждым из трех больных возникла особая коммуникабельность. Все они были разные, если исключить одно общее — болезнь, из-за которой мы все сюда попали.

Виктор Михайлович, мой «визави» по койке, с отнятой до паха ногой и, естественно, с костылями, которые весьма пригодились мне в первые два дня после операции, лет пятидесяти пяти, небольшого роста, крепко скроенный человек. Ответственный работник районного сельского масштаба. Сразу после войны, когда нужны были кадры, возможно, он работал даже и секретарем райкома. Но потом недостаточный образовательный ценз отодвинул его на вторые роли, потом потеря ноги, пенсия и эта болезнь. Дома у него есть «Запорожец». С женой он, по его словам, часто ругается. Характер.

— Я ей говорю: «Галя, поставь воды на ночь, таблетки запивать. Я забыл». А она: «Сам сходишь, не велик барин».

— И что же вы? — спрашиваю я, поскольку рассказ не продолжается.

— Как что? Костылем.

— А она что?

— Жаловаться бежит. А что толку. Я инвалид. Не заберут же меня. Или поедем кататься на «Запорожце», устроимся на опушке. Тут бы посидеть не торопясь, отдохнуть. Так нет, начинает зудеть: «Поедем скорее домой». Какой уж тут отдых.

Но, как я понял, он потому вспоминал все эти досадные мелочи, что была более свежая и более крупная обида. Он лежит в больнице уже несколько месяцев. Надоело. Болезнь, как говорится, ни шьет ни порет. Он давно понял, что надо бы домой. Все равно, где болеть. Написал письмо жене, чтобы приехала. Без нее он не может даже и выписаться, потому что лег летом, в костюме, а теперь конец ноября, нужны теплые вещи. А жена не едет. Теперь надежда на брата. Лежит, ждет, когда ему привезут пальто и шапку. Разговор со мной он всегда заводил первым.

— Ну и как? Вот если ты написал книгу, отдаешь ее на проверку?

— Что там проверять?

— Как же? Мало ли ты чего напишешь. Может, не соответствует.

— Чему не соответствует?

— Ну... Указаниям, положениям...

Я начал объяснять, каков путь рукописи в журнал или издательство. Но вскоре наш разговор сам собой перескакивал на предметы, которые вот именно не соответствуют теме и характеру этого очерка. Два русских человека (это было замечено еще сто лет назад), познакомившись и разговорившись, не могут тотчас не обсудить главных политических проблем, стоящих если не перед человечеством, то перед народом.

Но постепенно наши разговорные отношения выровнялись, многое мы прояснили, и теперь Виктор Михайлович мог начинать и с самых пустяковых, и с самых неожиданных вопросов.

— Ну вот. Ты бывал за границей. Правда ли, что там лежать в больнице — надо деньги платить?

— Я не лежал в заграничных больницах. Но говорят, что надо платить. Причем очень дорого.

— Ну как — дорого?

— Точно не знаю. И больницы там разные. Одни дороже, другие дешевле.

— Допустим, такая, как мы теперь лѐжим.

— Мы лежим... Мы лежим — таких институтов только два в СССР — на «Каширке» да здесь.

— Ну и что?

— Давай прикинем хотя бы мой случай. Оперировать будет профессор. Не меньше тысячи долларов. Врачу-анестезиологу полагается пусть хоть триста. Все анализы, все исследования — долларов по пятьдесят за анализ. Да за лежание — сто долларов в сутки.

Виктор Михайлович даже подскочил на койке.

— За что же дерут?!

— Сестры, няньки, дежурные врачи, медикаменты, дорогая аппаратура, вообще оборудование. Если клиника частная, она ведь оправдать себя должна, да еще и приносить доход.

— Что же получается? Полежал двадцать дней — и несколько тысяч? А я вот уж сколько месяцев лежу!..

— Ну, там бы ты не лежал несколько месяцев. Твоя Галя быстро бы за тобой прискакала.

Мы могли молчать, я мог дремать, отвернувшись к стене, или читать книгу (я вспоминаю теперь вопросы Викто-

ра Михайловича, задаваемые не обязательно в первый день моего пребывания, но и в другие дни), когда без предисловий, но голосом достаточно громким, чтобы я мог понять, что меня втягивают в разговор, Виктор Михайлович произносил:

— Как это? Сейчас столько ученых людей, наука, можно сказать, забросила нас на Луну, а многие думают, что от человека после смерти что-нибудь да останется. Душа, например. Это какой же темнотой надо обладать, чтобы в это поверить!

— Нас с тобой не останется. Но от нас, может, что и останется,— подзадорил я своего собеседника.

— Как так?

— Ты видел на воде пузыри? В дождик или около моря, когда прибой. Есть большие, есть маленькие, но каждый пузырь — пузырь. Не так ли?

— Ну так.

— А каково его содержание?

— Воздух и больше ничего. Воздух и тонкая пленочка.

— Ну да, оболочка. Теперь мы видим, что пузырь лопается. Исчез, умер, перестал существовать. Нет больше пузыря. Оболочка исчезла. Но содержание ведь не исчезло. Оно сливается со всеобщим воздухом, с атмосферой, с воздушным океаном. И вот некоторые предполагают, что, может быть, существует океан духа. Пузыри возникают и лопаются, возникают и лопаются, а всеобщая атмосфера, из которой они сотворились и с которой опять сливаются, продолжает существовать...

После этого Виктор Михайлович молчал целый час. Я думал, что следующий вопрос будет задан о Париже, что там едят, или, напротив, о колхозных делах. Но моя шутливая концепция насчет пузырей, как видно, крепко засела у Виктора Михайловича в голове.

— А пленка? Она-то куда же девается?

— Пленка — это вода. Она сливается с лужей. Или с морем. Из воды взят и в воду тую же пойдешь. Пленка вниз, а содержимое — вверх...

Второй жилец нашей палаты, Яков Васильевич, попал сюда с рецидивом. Несколько месяцев тому назад ему в Ялте вырезали маленькую черную штучку (вроде моей), а теперь вот за несколько дней до моего прихода удалили уж лимфатические узлы в паху. У него бледно-розовое лицо и седые волосы, производящие впечатление скорее не шевелюры, а нимба. Он не участвовал в наших дискуссиях

и вообще говорил мало, хотя успел рассказать, что его оставила жена, и что живет он теперь одиноко, и что если его сейчас выпишут, то сразу в Ялту он вряд ли поедет. Там надо топить печку и, кроме того, через весь двор ходить в туалет, а ходить ему трудно. Так что, может быть, его на время в Москве приютят дальние родственники.

В общении с каждым из нас был он немногословным, но действенным. Он первым занимал для всех нас очередь у раздачи, а также и места за столом. Когда Виктор Михайлович затемпературил, он без всякой просьбы принес ему еду в палату. То же самое он сделал и для меня в первый день после операции. Он незаметно прибирал, если кто-нибудь из нас по небрежности насорил. В других палатах у него завелись друзья, к которым он уходил на час или два.

Об Иване Адольфовиче я ничего не узнал за все это время: ни кто он, ни кем работает или работал. Мы знали о нем только то, чего нельзя было бы не знать. Он тоже «рецидивист». Несколько месяцев назад ему вырезали черную штучку (вроде моей) на верхней губе. Теперь он готовился к операции по вырезанию лимфатических узлов вокруг горла. Он москвич. К нему каждый день приходили то жена, то дочь, с которыми он подолгу просиживал в холле. Все остальное время он готов был самозабвенно, фанатически играть в шахматы. Не заметив как, я уже в первые пятнадцать минут оказался против него за шахматной доской. А когда меня привезли после операции и я не мог еще повернуться со спины на бок, я тем не менее в первый уже час, кося глазами и неудобно нашаривая левой рукой фигуры, тоже играл с ним в шахматы. За двадцать дней мы с ним сыграли, я думаю, партий сто или больше.

Таков был экипаж нашей скорбной шестидесятой палаты.

21

Вечером мне сделали успокаивающий укол, чтобы я перед операцией не волновался и крепче спал. Тем не менее мне приснился отвратительный сон. Я видел, будто собак, немецких овчарок, натренировали на распознание по запаху раковых опухолей внутри человеческого организма, подобно тому как они распознают в таможнях спрятанные

даже и в автомобильных баллонах наркотики. И вот я лежу голый, а меня обнюхивает со всех сторон большая собака. Легкие, пищевод, желудок. Добравшись до печенки, она стала нюхать особенно пристально и вдруг, ткнув носом мне под правое ребро, заскулила. Я проснулся. Большой прямоугольник окна превращался из черного в серый, проходя лиловую стадию. У окна были две высокие нижние доли и две верхние, короткие. Так что переплет поднимался над всеми нами, лежащими в шестидесятой палате, как правильных пропорций надмогильный крест, только без нижних перекладинок. Так я лежал под этим крестом, пока не зажегся свет. В палату вошла сестра и каждому из нас сунула по градуснику.

В половине девятого меня укололи еще раз, а ровно в девять обе половинки двери распахнулись и сестра Галя, вся маленькая и ладная, в ослепительно хрустящем халатике, вкатила высокую узкую длинную тележку. По сути дела — перекатные носилки. Она сказала, чтобы я разделся догола, лег на эти носилки и укрылся простыней.

— Но я же сам могу подняться на шестой этаж, а там уж и лечь на операционный стол. Зачем же меня, пока еще подвижного и здорового, возить на этой тележке?

— Полагается.— И ушла.

Быстро я улегся под простыню, и тотчас опять появилась Галя. Она повезла меня под сочувственные и понимающие взгляды завтракавших больных к лифту, а там вверх, а там в помещение, уже сверкающее никелем хирургических инструментов, с огромной круглой лампой над пустым пока столом и с множеством людей в зеленых халатах, дожидающихся меня вокруг этого пустого стола.

— Ну как самочувствие? — зарокотала Агнесса Петровна.— Как спали? Ничего, все будет хорошо. Ложитесь теперь сюда.

Тотчас у моего изголовья встала молодая женщина, врач-анестезиолог.

— Вы ангел-хранитель или валькирия? — пошутил я.

— Что такое валькирия?

— Восприемница.

— Восприемница кого?

— Моей души.

— Тогда я — ангел-хранитель.— И начала прилаживать к моим венам в изгибе правого локтя резиновую

трубочку с игольчатым наконечником, тянущуюся вверх к стеклянным сосудам. Левую руку мне привязали к столу Ноги тоже привязали.— Не волнуйтесь, Владимир Алексеевич. Сейчас я вам начну давать наркоз. Постарайтесь дышать поглубже,— и отвернула на резиновой трубочке зажим, так что какая-то жидкость, видимо, потекла ко мне в вену. Добросовестно я стал дышать как можно глубже и снова услышал над собой голос женщины: — Вы меня слышите? Вы меня слышите? Постарайтесь открыть глаза. Откройте глаза!

Я с трудом разлепил веки и увидел, что никакой операционной уже нет, а лежу я совсем в другой комнате, и тихо и протяжно от паха до коленки ноет мое бедро.

— Ну, просыпайтесь окончательно. Я приду часа через два.

В Америке теперь замораживают иных умерших миллионеров, чтобы потом, лет через сто или двести, оживить и вылечить. Значит, и для них не будет тоже никакого перерыва между закрытием глаз и открытием глаз? В моем случае прошло полтора-два часа. Но могло ведь пройти и два миллиона лет. И все равно не было бы даже мгновения, как не было никакого перерыва между двумя фразами врача-анестезиолога. «Постарайтесь дышать глубже... Откройте глаза». Не прошло и секунды. Совсем ничего не прошло. Никакого времени. Ноль. Полный ноль. Иногда не просыпаются от наркоза...

Хотя я и открыл глаза, но, должно быть, наполовину спал. Не сразу я пошевелил рукой, не сразу слегка поерзал, чтобы лечь поудобнее. Что-то мелькало в голове, какие-то голубые вспышки понятий и представлений, но все это в тумане, малоразборчиво и совсем необременительно. Одна лишь мысль прорисовывалась яснее других: не прошло и мгновения, а они уже сделали все, что хотели. Отхватили пол-ляжки. Это еще хорошо. А то проснешься и осознаешь, что внутри у тебя нет, допустим, желудка. Каково?

Опять появилась милосердная сестра Галя, повезла меня к лифту; вниз, в палату. Помогла мне перелечь с высокой тележки на низкую койку. Улегся, умялся. От радости, что желудок у меня цел, тотчас выпил бутылку молока. Иван Адольфович немедленно подсел ко мне, пододвинул еще один стул, положил на него шахматную доску. Кося глазами и неловко нашарив левой рукой, я передвинул королевскую пешку.

Однажды в электричке, где-то между Серпуховом и Чеховом (ехал из гостей от Серафимы Федоровны и Николая Ильича), я прислушался невольно к разговору сзади меня на тех двух вагонных диванах, к которым сидел спиной.

— Если бы заранее знать, что, к примеру, через месяц умрешь. Ну или там через неделю.

— Что было бы?

— Как что? Полная власть и воля.

— Какая воля, если через неделю умрешь?

— Такая. Допустим, возьму и убью ненавистного человека. Меня судить, в тюрьму. А я — вот он, через неделю готов. Я тем против них вооружен, что известен мне смертный час.

— Кого же бы ты убил?

— Я не про себя, вообще говорю. Взять сейчас в поезде и зарезать пятерых, шестерых. Потеха! Меня — в кандалы, к расстрелу, а я и в ус не дую. Через неделю все равно помирать.

— Что за странные мысли!

— Да нет, это я только так. К примеру. Если такая философия... Или дачу у соседа поджечь. Тоже славное зрелище. Как начнет полыхать. Дорогие книги. Рояль...

— Убийство и поджог — это, пожалуй, ни к чему. Это уж слишком,— вступил в разговор третий.— А вот имущество распродать все что можно, деньги прогулять и пропить, сколько успеешь, это — да! Продать все, остаться, как есть, в одном костюме и рассчитать по дням. Скажем, помирать тебе назначено в понедельник, значит, в воскресенье пропивай последний двугривенный.

— Зачем же пропивать? — вмешался человек с тихим, но убежденным голосом.— Раздать все имущество другим людям. Вам все равно — смертный час, а им — поддержка...

Тут, пока не была произнесена новая, ответная фраза, в моем мозгу прокрутился весь этот разговор, и я понял, что он касается, пусть и в такой упрощенной форме, двух самых главных линий человеческого поведения, двух основных если не философских, то нравственных категорий.

Если бы человек жил в одиночестве (Робинзон), то схема «отдать и взять» осуществлялась бы у него только по

отношению к природе. Но человек живет в тесноте. Ежедневно и ежеминутно он вступает в разнообразные отношения со своими сожителями по семье, по квартире, по городу, по обществу в конце концов. Как бы ни были разнообразны действия человека среди себе подобных, каким бы сложным ни было его поведение, все равно от двух основных функций «даю» и «беру» никуда не денешься.

Не будем касаться производственного упорядоченного так или иначе соотношения этих двух функций, тем более что в производственной сфере они часто не касаются сознания человека. Он отработал восемь часов и получает зарплату. Больше ли он отдал за восемь часов, чем взял в виде зарплаты, меньше ли, он об этом не задумывается. Будем считать, что пропорция тут сбалансирована Госпланом. Да и не об этом речь, ибо тут в некотором роде вынужденная отдача и вынужденная получка. Мы говорим не о производственном поведении человека, определяющемся в большой степени дисциплиной и жизненной необходимостью, а о его нравственном, добровольном поведении, о свойствах и качествах его души.

Нетрудно заметить, что тенденция «брать» развита у людей немножко больше, чем тенденция «отдавать». В этом многие философы видели основное зло рода человеческого, основной порок и основную причину его будущей гибели.

Действительно, существуют люди, которые исповедуют и даже учат других: «Бери, хватай все что можно». Деньги, завод, концерн, власть, соседнее государство, дачу, квартиру, женщин, все блага жизни.

Как промежуточная ступень, некоторые говорят: да, я буду брать деньги, заводы, концерны, соседние государства, миллионы человеческих жизней. Я буду брать, но зачем? Чтобы отдавать людям. У одних я буду брать, а другим отдавать. Таким образом, совершая зло, я буду творить добро.

Ах, эта извечная проблема добра и зла! Очевидно для всех, что добро лучше. Считается, что высшую радость человек может получить, только творя добро, то есть отдавая в широком, нравственном, душевном (но и в буквальном тоже) смысле этого слова. Считается, что сделать добро для других — более чистая и глубокая радость, чем сделать добро для одного лишь себя. Это лежит в основе идеалистической христианской концепции. Если все (*все*) будут отдавать всё (*всё*) друг другу, то наступит золотая бла-

женная жизнь. Теоретически это так и есть. То есть если на земле одни только овцы, то угроза быть съеденной или зарезанной на шашлык сведена к нулю. А что, если хоть один на земле — волк? Что, если все будут отдавать, отдавать, отдавать, а один займется при этом противоположным действием? Не соберет ли он в конце все в одни свои руки до такой степени, что остальным отдавать друг другу будет уж нечего? А если таких собирателей окажется несколько? И сумеют ли десять тысяч овец перевоспитать одного волка и сделать его овцой? А если собирателей большинство? Так что схема, может, и правильная, но человечество как-то не доросло до нее и нет никакой угрозы, что в ближайшем будущем дорастет.

Надо ли еще раз повторять, что речь тут шла не о буквальной раздаче имущества и денег, а о самом принципе душевного поведения, которое может быть только двух состояний: со знаком плюс и со знаком минус.

Вот и ты, почувствовав около сердца подступающий холодок, займись-ка давай раздачей. Помирись с людьми, с которыми (считается) ты враждуешь. Вместо того чтобы не здороваться с ними при встрече, напиши о них положительные статьи. Откажись от любви (не в философском, а в биологическом смысле этого слова), откажись от собрания древней живописи. Откажись от просторной квартиры. Откажись от всех действий, которые могут принести другим людям хоть какие-нибудь неприятности. Все радости жизни (быть может, и правда мнимые, призрачные, мишурные) смени на радость самоотречения, на радость *раздачи*.

Но, пожалуй, ты, как и человечество в целом, не дорос до этого идеального состояния и, пока не умер, остаешься человеком, отнюдь не ангелом. Вот разве в последние минуты... Но будешь ли ты знать, что они последние? Человек надеется, пока дышит.

Все это прокрутилось в моем мозгу после фразы, как помним, четвертого собеседника с тихим, но убежденным голосом:

«Зачем же пропивать? Раздать все имущество другим людям. Вам все равно — смертный час, а им — поддержка».

Может быть, я и дальше развивал бы в себе свою философию, но тут спорщик ответил, и меня поразила та простота, с которой он в один миг разрушил красивую концепцию сторонника раздачи имущества.

— Ну и что,— отпарировал он.— Другим отдашь — другие пропьют. Теперь таких, которых от голодной смерти спасать, у нас нет... разве что в других государствах. Бедный-бедный, а телевизор каждый вечер глядит. Ну и отдай ему. «Спасибо» он скажет. А сам надсмеется в душе. Вот, мол, «блаженный» какой, на нормального человека не похож. Чудак. Или чокнутый. Взял да и отдал мне ни за что ни про что. Чудак! Иди-иди, раздавай, высыпай кошелек, снимай рубашку...— все более разъярялся спорщик, видя, что его оппонент потупился и молчит.

Но тут подоспела станция «Чехов», и «философы», доставившие мне несколько интересных минут, сошли.

23

Потянулось больничное время. Утром в шесть часов трогают за плечо и дают градусник. Сунешь его под мышку и снова дремлешь. Раз в день зайдет лечащий врач, спросит о самочувствии. Остальное время — свободное. Сначала был такой порядок, что родные и знакомые приходили к больным в любое время дня. Позвонив из ординаторской Толе Никонову, я объяснял, как ко мне пройти.

— Да нет. Иди свободно. Можно и это пронести. Отметим мою операцию. Конечно, я из-за печенки даже и не нюхал целый год, но послушай... При моей теперешней болезни, что я буду делать со своей прекрасной печенкой? Понесу ее на протянутых ладонях показать господу богу? Вот какую я сумел сохранить прекрасную печенку. Вина в рот не брал, творожком питался и медом. Нет уж, давай неси. В любой час. У нас здесь свободно. Мы же как смертники, нам все позволено.

Я шутил, говоря так. Но доктор Ольга Александровна насторожилась и прислушалась к моей болтовне. Навострила ушки. Наверное, доложила на утренней пятиминутке, что думают больные об их (в общем-то правильных) порядках, и со следующего дня пускать к больным стали только от четырех до шести.

Оказавшись на самом низу больничной иерархии, в роли рядового больного, я понял все величие профессорского звания. Приход обыкновенного лечащего врача больные расценивают как большое событие и благодать. Когда же в коридоре раскатывался голос Агнессы Петровны, по

палатам благоговейно шелестело: генеральша пришла. Генеральша... Агнесса Петровна.

Рядовой-то рядовой, но все же я выпросил у старшей сестры Валентины Александровны ключ от ее комнаты, и, когда она уходила домой (около пяти), у меня появлялось прекрасное убежище. Просторный кабинет, письменный стол с телефоном. Теперь несколько часов в день я мог работать, хотя я не привык писать вечером.

Поскольку все равно в больнице и дни проходят, я попросил, чтобы меня заодно обследовали со всех сторон. Так что днем я иногда ковылял по коридорам на рентген, на исследование почек, на скенирование печени.

В палате происходили некоторые события. Виктор Михайлович совсем было загрустил. Я смотрю, а у него на глазах слезы. Хочет мне что-то сказать, а губы дрожат, не слушаются. Сейчас, если бы было у меня в тумбочке... Но там, увы, ничего не было. Я пошел в свой кабинет и позвонил хорошему другу.

— Слушай, можешь ты немедленно взять такси и привезти мне бутылку водки. Нужно. Понимаешь, необходимо. Я знаю, что не пускают. Но с другой стороны здания есть запасной ход и лестница. Я тебя очень прошу.

Все же прошло минут сорок, пока я, незаметно пронеся, как бы вот именно из тумбочки, достал бутылку «Старки» (то, что попалось моему другу под руку) и как бы между прочим сказал пригорюнившемуся Виктору Михайловичу:

— А что, не тяпнуть ли нам по баночке?

Разные бывают случаи в жизни, и во время праздников, и на рыбалке. Но, пожалуй, еще никогда я не видел, чтобы бутылка зелья оказалась так же кстати, как на этот раз.

На другой день (по совпадению) Виктор Михайлович получил письмо от жены, которое начиналось словами (он нам это письмо бесконечно показывал): «Здравствуй, Витюша!..» И опять ему на глаза набегали слезы, но только совсем другие, нежели накануне.

Ивану Адольфовичу сделали операцию, и он два дня не мог играть в шахматы. Неважно себя чувствовал. По ночам невыносимо храпел, потому что операция была около горла и гортань отекла. После операции ему назначили химию.

Обычно говорят так:

— Ну, поздравляем. У вас оказалось все хорошо. Но

для того чтобы закрепить результаты, для полной гарантии, чтобы никогда к этому не возвращаться, мы назначили вам облучение.

Облучение и химия. Радиотерапия и химиотерапия. Больные, как бы мало они ни разбирались в тонкостях своей болезни, все же знают, что если назначены облучение или химия, то, значит, у них — то самое. Но это они знают, пока облучение и химия назначаются другим больным. Когда же дело доходит до них самих, они смотрят на врача большими, полными надежд глазами и зачарованно слушают его речь.

— У вас все хорошо. Полный порядок. Но для того чтобы закрепить результаты, для дальнейшей профилактики... Исключительно для профилактических целей...

Так что, когда после операции я говорил по телефону с одним знакомым хирургом, он первым делом меня спросил:

— Облучение назначили?

— Нет.

— Химию?

— Тоже нет.

— Гистология уже пришла?

— В том-то и дело, что восьмой день, а нет еще гистологии.

Ожидание гистологии послеоперационными больными, то есть микроскопного исследования вырезанной опухоли, это те томительные минуты, когда суд ушел на совещание и скоро раздастся окрик: «Встать, суд идет!» И раздастся торжественный голос, оглашающей приговор. Только эти томительные минуты растягиваются здесь на несколько дней.

Не знаю, благодаря каким особенностям своей психики я не томился в ожидании гистологического анализа. Я ждал, когда снимут швы, ждал, когда выпишут (впрочем, и этого как-то не особенно ждал), но все же, когда десять дней прошло, а гистологии все еще не было, я поинтересовался у Ольги Александровны, в чем там все-таки дело.

— Это не скоро. Они же сначала обезжиривают опухоль, потом пропитывают ее парафином, потом делают тонкие срезы. Десять дней — вполне нормально. Быстрее не бывает.

Я думал, придет профессор в окружении свиты. Или позовет меня к себе в кабинет. Или во время врачебного

обхода торжественно сообщат... Но в двенадцатом часу дня, в самое неурочное время, когда Иван Адольфович осуществлял против меня пешечную атаку на королевском фланге, не видя еще в азарте, что тем самым оставляет своего короля открытым, в палату словно случайно и мимоходом заскочил на минутку дежурный врач, совсем еще молодой человек. Без всякого предисловия он сообщил:

— Ну, вас можно поздравить. У вас все хорошо. Гистология хорошая. Поздравляю.

Я в это время делал ход конем, и, пока делал его, молодой человек исчез.

В этот же день на перевязке заместитель Агнессы Петровны, Леонид Данилович, говорил мне, лежащему перед ним:

— Считайте, что выиграли в лотерею. Шанс был один из ста тысяч. Мы вам только не говорили, но диагноз был самый плохой. А теперь главное — ни о чем не думайте.

— Облучение и химию разве не собираетесь назначать? — кинул я пробный камешек.

— Ставка на защитные силы организма...— выскочила вперед Ольга Александровна. Но Леонид Данилович так вскинул на нее свои глаза, что она тотчас же прикусила язычок.

— А как же изотопы? Их, кажется, напрыгало там очень много.

— Они сказали вам сколько?

— Я не знаю значения цифр, но кое-что понимал по их обеспокоенным лицам.

— Ох уж эти мне лабораторные работники! Изотопы у вас были выше нормы, видимо, потому, что в этой вашей штучке, которую мы удалили, ужасно густо переплелись кровеносные сосудики. Вот из-за них-то и произошла ошибка в диагнозе.

Убедительно говорят. «Так иногда скажем, что и сами поверим». Но до чего же мнительным становится больной человек! Интонация, сопоставления вчерашних и сегодняшних слов врача — все для него предмет внимания и размышлений.

«Ставка на защитные силы организма». Если гистологический анализ показал, что опухоль незлокачественна, зачем, спрашивается, делать ставку? Не надо никакой ставки. Я и без вашей ставки как-нибудь проживу. Если же вы делаете ставку...

Или вот еще выразительный эпизод. На скенирование печени я пришел в ту же лабораторию, где мне делали изотопные исследования. Соседняя комната. В тот момент, когда я выходил из нее, в холле по телефону разговаривала Жанна Павловна.

— ...Да нет, я сама видела ее. Она оказалась такой маленькой, когда обезжирили. Изотопы? Просто там очень много переплелось кровеносных сосудиков. Нет-нет, у него все в порядке. Я уверена. А, это вы! — повернулась ко мне Жанна Павловна, положив трубку.— Я разговаривала как раз о вашей опухоли.

— Я так и понял. С кем это вы разговаривали?

— С Леонидом Даниловичем.

— А...

— Так что живите. Главное, не думайте о ней. И все будет в порядке.

Все будет в порядке или все уже в порядке? И как это мне на каждом шагу советуют о ней не думать. Помнится, Насреддин, пообещав купцу клад, посадил его на целый день в мешок и сказал, что клад будет найден при условии, если купец не будет думать про обезьяну.

И что же, у Жанны Павловны не было за десять дней другой минуты поговорить обо мне, кроме той минуты, когда я мог услышать ее разговор? Да они уж двадцать раз все обсудили и пересудили. И зачем она втолковывает Леониду Даниловичу про сосуды, если он сам только что толковал мне о них? Но спасибо, конечно, им. Старание выше похвал.

Когда я уходил домой, то пообещал на прощание Ольге Александровне — лечащему врачу:

— Напишу небольшую повесть. Расскажу о всех своих переживаниях, связанных с этим.

— Какие у вас могли быть переживания? Вы ведь не знали, что вам грозит. Над какой пропастью вы висели.

— А если знал?

— И вели себя спокойно?

— Что же мне оставалось делать...

Проходили дни, заживал шов, забывалась больница. Работают ли внутри меня часы, пошли ли они, включенные ножом хирурга? Это прояснится в течение года. В каждом из нас идут свои часы. Разница только в том, на какую цифру поставлена дополнительная стрелка будильника.

Почему-то я и до операции не так уж переживал свою аварию, а теперь совсем успокоился. Сумели-таки, внушили врачи. Я, в свою очередь, стал внушать их внушения всем знакомым, друзьям.

— Знаете, диагноз не подтвердился. Они очень испугались после изотопных исследований, но гистологический анализ...

— Да, они вырезали мне очень большой кусок. Перестраховались. Очень широкое иссечение. Но их можно понять. Они ведь думали после изотопных исследований... А теперь все в порядке.

— Почему шов плохо заживает? Очень сильное натяжение. Они выхватили килограмм мяса. Но заживет. Главное, что тревога оказалась напрасной.

— Почему под наркозом? Ну... я не знаю. Они долго копались, наверное, проверяли лимфатические узлы. Да, слава богу, кажется, я вышел сухим.

Начали брезжить в голове отдаленные планы, куда поехать в апреле, в мае? Как распорядиться будущим летом? Как продолжать роман? И вообще — как жить дальше? Некоторые, кому рассказывал, считают рисовкой или лицемерием, но был, я отчетливо помню, что был момент, когда я с явственной досадой (скажем мягче, с оттенком досады) понял, что надо опять впрягаться в телегу жизни и тянуть воз. Не оттого ли я и пошел в библиотеку, чтобы найти там наконец одну книгу, которую давно собирался найти. Не странно ли, что при таком обилии разговоров про изотопы я до сих пор не удосужился узнать, что же в этих исследованиях считается нормой, что тревожным отклонением от нормы, а что определяет болезнь. У меня разница между больным и здоровым местом была, если я не забыл... 400—70, 420—75, 390—60, 360—70. И еще там были цифры на второй день: 300—60, 310—56... 290—70.

Но что означают эти цифры? Хорошо или плохо? Насколько плохо? Кровеносные сосудики... Через их лабораторию проходят тысячи больных, и все без кровеносных сосудиков? Нет, надо найти книгу и узнать в конце концов, что означают эти цифры.

Я положил перед собой стопу специальных книг и начал их бегло листать. Ужасные подробности о кожных опухолях мне были не нужны. Я знал, что ищу, и вскоре добросовестно и скрупулезно выписал на листе бумаги, как если бы собирался писать полемическую статью, и наткнулся на

очень выигрышный, убийственный для противника аргумент.

«Профессор Р. Райчев, Вл. Андреев. «Злокачественные опухоли кожи», «Медицина и физкультура». София, 1965 год».

«Вместе с Р. Лазаревым и П. Пенчевым мы испробовали и тест с радиоактивным фосфором (P^{32}). Было исследовано 44 больных с различными кожными опухолями, среди них 31 со злокачественной меланомой. Средняя величина фактора при меланомах около 4,0, при спиноцеллюлярных карциномах — 2,1, при базоцеллюлярных карциномах — 1,5 и при доброкачественных пигментных образованиях — 1,0—1,8. Фактор — это соотношение между импульсами, полученными в участке исследуемой опухоли, по сравнению с симметричным участком здоровой кожи».

24

Живешь ты в июне,
А я в сентябре,
Ты в зелени юной,
А я в серебре.

Есть время промашек
И время наград.
Ты — поле ромашек,
А я листопад.

Веселые чайки
И сумрачность век.
Привал на лужайке
И поздний ночлег.

В промозглом саду
За порогом темно.
Огонь разведу
И открою вино.

За время промашек
И время наград!
За поле ромашек,
За мой листопад!

— Ева? Здравствуй, Ева.

— Плохо слышно.

— Перезвоню.

— Теперь вот — другое дело. Как ты?

— Что — как?

— Себя чувствуешь?

— Превосходно... Ты могла бы бросить все и уехать со мной на несколько месяцев?

— Куда?

— Придумаем. Камчатка, Тобольск, Байкал, Кавказ, Самарканд, Душанбе, Молдавия, Сусамыр, Ленинград, Белое озеро, Варшава, Париж, Соломоновы острова...

— Сегодня вторник?.. В среду вечером у меня примерка. Извини, но я смогу выехать только послезавтра.

1975

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Свидание в Вязниках

Зимний день

Олепинские пруды

Владимир Алексеевич

СОЛОУХИН

Собрание сочинений в четырех томах

Том второй

Редактор *Н. Иванова*

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
Т. Таржанова

Корректоры
Н. Замятина
и *В. Широкова*

ИБ № 2443

Сдано в набор 22.12.82. Подписано в печать 28.10.83. А 13167. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 27,72. Уч.-изд. л. 30,66. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-1266. Зак. 733. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

